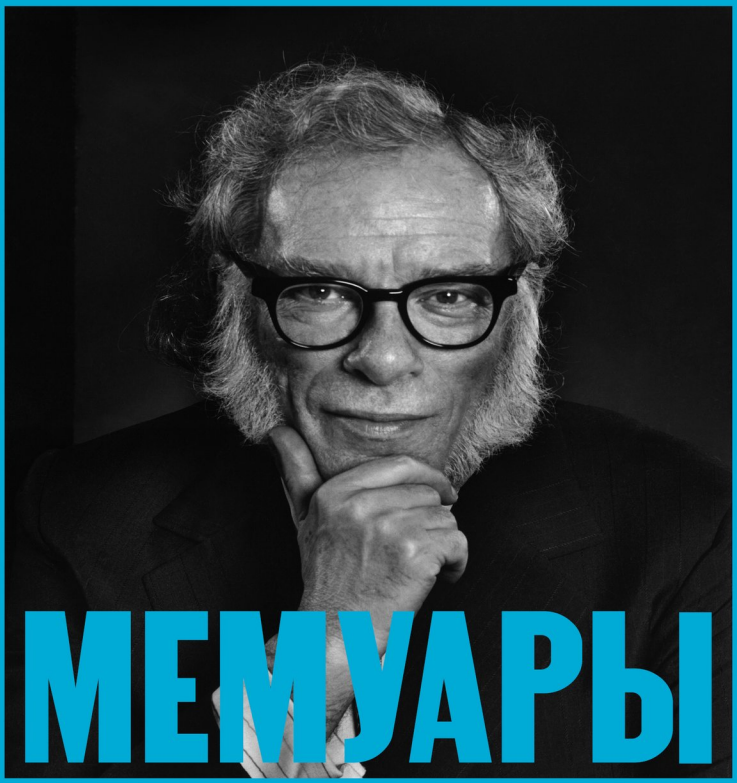
Автобиография одного из величайших авторов нашего времени

Я, АЗИМОВ



МЕМУАРЫ

Я, Азимов. Мемуары
Айзек Азимов

Аннотация
Айзек Азимов. Я, Азимов. Мемуары
Введение
1. Вундеркинд?
2. Мой отец
3. Моя мать
4. Марсия
5. Религия
6. Мое имя
7. Антисемитизм
8. Библиотека
9. Книжный червь
10. Школа
11. Взросление
12. Долгие часы работы
13. Бульварное чтиво
14. Научная фантастика
15. Начало писательства
16. Унижение
17. Неудача
18. Футурианцы
19. Фредерик Пол

20. Сирил М. Корнблат
21. Дональд Аллен Уоллхейм
22. Первые продажи
23. Джон Вуд Кэмпбелл-младший
24. Роберт Энсон Хайнлайн
25. Лайон Спрэг де Камп
26. Клиффорд Дональд Саймак
27. Джек Уильямсон
28. Лестер дель Рей
29. Теодор Старджон
30. Аспирантура
31. Женщины
32. Разбитое сердце
33. «Приход ночи»
34. Начало Второй мировой войны
35. Магистр искусств
36. Перл-Харбор
37. Брак и проблемы
38. Родственники
39. NAES
40. Жизнь в конце войны
41. Игры
42. Акрофобия
43. Клаустрофилия
44. Докторская степень и публичные выступления

45. Постдокторантура
46. Поиск работы
47. Большая тройка
48. Артур Чарльз Кларк
49. Снова о семье
50. Первый роман
51. Наконец-то новая работа
52. Doubleday
53. Gnome Press
54. Школа медицины Бостонского университета
55. Научные статьи
56. Романы
57. Нон-фикшн
58. Дети
59. Дэвид
60. Робин
61. На лету
62. Гораций Леонард Голд
63. Жизнь за городом
64. Автомобиль
65. Уволен!
66. Плодовитость
67. Проблемы писателя
68. Критики
69. Юмор
70. Секс в литературе и цензура

71. Судный день
72. Стиль
73. Письма
74. Плагиат
75. Научно-фантастические конвенции
76. Энтони Бучер
77. Рэндалл Гаррет
78. Харлан Эллисон
79. Хэл Клемент
80. Бен Бова
81. Выше головы
82. Прощай, фантастика
83. The Magazine of Fantasy and Science Fiction
84. Джанет
85. Детективы
86. Лоуренс П. Эшмид
87. Лишний вес
88. Еще о конвенциях
89. «Путеводитель по науке»
90. Алфавитные указатели
91. Названия
92. Сборники статей
93. Книги по истории
94. Библиотека справочной литературы
95. Коллекция Бостонского университета
96. Антологии

97. Введения
98. Мои «Хьюго»
99. Walker & Company
100. Неудачи
101. Подростки
102. Эл Кэпп
103. Оазисы
104. Джуди-Линн дель Рей
105. Библия
106. Сотая книга
107. Смерть
108. Жизнь после смерти
109. Развод
110. Второй брак
111. «Путеводитель по Шекспиру»
112. Примечания
113. Новые родственники
114. Больницы
115. Круизы
116. Книги Джанет
117. Голливуд
118. Конвенции по «Стар Треку»
119. Детективные рассказы
120. «Пауки-затворники»
121. «Менса»
122. Клуб «Угощение по-голландски»

123. «Добровольцы Бейкер-стрит»
124. Общество Гилберта и Салливана
125. Другие клубы
126. American Way
127. Институт Ренсселера
128. Mohonk Mountain House
129. Путешествия
130. Путешествия за границу
131. Мартин Гарри Гринберг
132. Isaac Asimov's Science Fiction Magazine
133. Автобиография
134. Сердечный приступ
135. Crown Publishers
136. Simon & Schuster
137. Косвенное участие
138. Nightfall, Inc
139. Хью Даунс
140. Бестселлер
141. Из прошлого
142. Текстовый процессор
143. Полиция
144. Хайнц Пагельс
145. Новые романы о роботах
146. Снова о Робин
147. Тройное шунтирование
148. Азазел

149. «Фантастическое путешествие II»
150. Лимузины
151. Гуманисты
152. Пенсионер
153. Снова о Doubleday
154. Интервью
155. Почести
156. Русские родственники
157. Грандмастер
158. Детские книги
159. Недавние романы
160. Обратно к нехудожественной литературе
161. Роберт Силверберг
162. Собираются тени
163. Дни наши – семьдесят лет
164. Больница
165. Новая автобиография
166. Новая жизнь
Эпилог. Джанет Азимов

Аннотация

Айзек Азимов – один из самых влиятельных писателей современности. Он придумал три закона робототехники (и сам термин), которые становятся все актуальнее, чем ближе мы подходим к изобретению настоящего искусственного интеллекта. Азимов успел выпустить больше 500 книг – созданные им миры заслужили множество литературных наград и до сих пор экранизируются, вдохновляя новые поколения.

В своих мемуарах Азимов делится с читателями не только историей собственной жизни, но и мыслями, эмоциями, мнениями. Полушуточное соперничество с Артуром Ч. Кларком, работа над циклом «Основание» и отношения с дочерью – все эти и многие другие темы Азимов описал в своей последней книге. Полный юмора, ностальгии и самоиронии, его автопортрет вышел максимально искренним и реалистичным.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Айзек Азимов
Я, Азимов
Мемуары

Посвящается
Джанет – моей дорогой жене,
спутнице жизни и единомышленнице

© Copyright 1994 by estate of Isaac Azimov
© С. Карпов, перевод, 2026
© ООО «Издательство «Эксмо», 2026
Individuum®

Введение

В 1977 году я написал автобиографию. Взявшись за любимую тему, я изрядно разошелся и выдал 640 тысяч слов. В издательстве Doubleday ко мне всегда были необычайно добры, поэтому опубликовали всё — но в двух томах. Первый — «Пока память зелена» («In Memory Yet Green», 1979), второй — «Пока восторг ощутим» («In Joy Still Felt», 1980). Вместе они довольно подробно описывают пятьдесят семь лет моей жизни.

Жизнь эта была тихой, без особых приключений, и, хоть я компенсировал их отсутствие, как мне кажется, очаровательным литературным стилем (скоро вы поймете, что ложной скромностью я не страдаю), выход книг не потряс мир. Однако их с удовольствием прочитали несколько тысяч человек, и меня периодически спрашивают, будет ли продолжение.

Я всегда отвечаю: «Сперва надо его прожить».

Я вбил себе в голову, что должен дождаться символического 2000 года (такого важного для фантастов и футурологов) и лишь тогда продолжить мемуары. Но в 2000-м мне исполнится

восемьдесят лет — вполне возможно, я до тех пор не дотяну.

Когда прямо перед семидесятилетием я довольно тяжело заболел, моя дорогая жена Джанет строго сказала: «Начинай третий том сейчас же».

Я робко возразил, что в последние двенадцать лет моя жизнь была еще тише обычного. О чем тут рассказывать? В ответ она заметила, что первые два тома автобиографии выстроены строго хронологически. Я перечислял все события точно по календарю (спасибо дневнику, который я веду с восемнадцати лет, не говоря уже о моей превосходной памяти), а о внутреннем мире почти ничего не говорил. И в третьем томе ей хотелось бы увидеть что-то другое: ретроспективу, в которой события отступают на второй план перед моими мыслями, реакциями, философией жизни и так далее.

— Но кому это интересно? — спросил я еще более робко.

И она решительно заявила (поскольку говорит обо мне с еще меньшей ложной скромностью, чем я сам):

— Всем!

Вряд ли она права, но вдруг? Так что стоит попытаться. Не хочу начинать с того, на чем

остановился в прошлый раз. Вообще-то это даже опасно. Первых двух томов уже давно нет в продаже, так что многие, кому понравится этот (чем черт не шутит), не смогут найти их ни в твердой, ни в мягкой обложке и всерьез на меня обидятся.

Так что я собираюсь описать всю свою жизнь через призму собственных размышлений в виде независимой, отдельной автобиографии. Я не намерен вдаваться в подробности, изложенные в первых двух томах. Я разобью эту книгу на множество глав — каждая из них будет посвящена какому-либо жизненному этапу или человеку, повлиявшему на меня. И постараюсь придерживаться этого принципа до конца — вплоть до настоящего момента, если потребуется.

Верю и надеюсь, что так я раскроюсь перед вами во всех подробностях и, кто знает, возможно, даже кому-то понравлюсь. Меня бы это очень порадовало.

1. Вундеркинд?

Я родился в России 2 января 1920 года, но мои родители эмигрировали и прибыли в Соединенные Штаты 23 февраля 1923 года. А значит, я с трех лет американец по сути (а по прошествии пяти лет, с сентября 1928 года, еще и по гражданству).

Я практически ничего не помню о первых годах в России; не говорю по-русски; не знаком (за исключением того, что знает любой образованный американец) с русской культурой. Я целиком и полностью американец по воспитанию и мироощущению.

Но, если я сейчас буду рассказывать о себе в трехлетнем возрасте и позже — а я это время помню, — неизбежно придется делать такие заявления, из-за которых меня всегда называют «эгоистичным», «тщеславным» или «самовлюбленным». А ради красного словца могут сказать, что у меня «эго размером с Эмпайр-стейт-билдинг».

Но что поделать? Не скрою, я высоко ценю себя, но только из-за качеств, которые, на мой взгляд, заслуживают восхищения. У меня есть

немало изъянов и недостатков, я их спокойно признаю, но вот этого как раз почему-то никто не замечает.

Так или иначе, если я говорю что-то с виду «тщеславное», то, заверяю вас, это правда, и я отказываюсь выслушивать обвинения в тщеславии, пока кто-нибудь не докажет, что я солгал.

Поэтому сделаю глубокий вдох и заявлю: я — вундеркинд.

Не знаю, есть ли у этого слова подходящее определение. Оксфордский словарь говорит, что вундеркинд — это «ребенок, гениальный с раннего возраста». Но насколько раннего? Насколько гениальный?

Вы, возможно, слышали про детей, которые начинают читать в два года, знают латынь к четырем, а в Гарвард поступают в двенадцать. Наверное, это истинные вундеркинды, и в таком случае я не из них.

Пожалуй, будь мой отец американским интеллектуалом, обеспеченным и погруженным в исследования классической литературы или естественных наук, и заметь он во мне кандидата в вундеркинды, он стал бы мной заниматься и добился бы чего-то в этом роде. Могу только благодарить судьбу, что меня минула чаша сия.

Принужденный, доведенный до пределов возможного, ребенок может сломаться от давления. Но мой отец был мелким лавочником без знания американской культуры, без лишнего времени на мое обучение и без особых на то способностей, даже если бы время вдруг нашлось. Он мог только побудить меня хорошо учиться в школе, а я и так собирался это делать.

Другими словами, все сошлось так, что я сам нашел комфортный режим, в котором я и вундеркиндом стал, и сам поддерживал давление, позволявшее быстро продвигаться вперед без малейшего напряжения. Так я сохранял свою «гениальность» в том или ином виде всю жизнь.

Более того, когда меня спрашивают, не был ли я вундеркиндом (а меня спрашивают, причем до неприличного часто), я по привычке отвечаю: «И был, и есть».

Читать я научился еще до школы. Осознав, что родители до сих пор не могут читать на английском, я попросил соседских детей научить меня алфавиту и звучанию каждой буквы. Потом начал проговаривать вслух слова на вывесках и вот так научился читать почти без посторонней помощи.

Когда отец узнал, что его сын-дошкольник

умеет читать, и, главное, когда, после расспросов выяснил, что учился я по собственному почину, он изумился. Возможно, тогда он и заподозрил, что я необычный. (Он верил в это всю жизнь, хотя это и не мешало ему критиковать меня за множество недостатков.) Из-за веры отца в то, что я необычный, и из-за того, что он об этом сказал напрямую, я и сам впервые об этом задумался.

Надо думать, в мире хватает детей, которые научились читать до школы. Например, моя сестра, но ее учил я. Меня не учил никто.

Когда в сентябре 1925-го я наконец пошел в первый класс, то поразился, как трудно остальным дается чтение. Еще больше меня озадачивало, что другие дети всё забывали, когда им что-то объяснили, и тогда приходилось объяснять еще и еще.

Вот этот момент, думаю, бросился мне в глаза очень рано: в моем случае достаточно сказать всего раз. Я и не знал, что у меня выдающаяся память, пока не заметил, что у моих одноклассников с этим гораздо хуже. Сразу поясню: «фотографической памяти» у меня нет. В ней меня не раз обвиняли те, кто восхищается мной больше, чем я того заслуживаю, но я всегда отвечаю: «У меня всего лишь почти фотографическая память».

Вообще-то, на не особенно интересные мне

вещи память у меня вполне обычная, если не хуже. Происходят даже жуткие оплошности, когда я слишком ухожу в себя. (А я поразительно увлечен собой.) Однажды я увидел, но не узнал свою прекрасную дочь Робин. Не ожидая встречи с ней, я различил только смутно знакомое лицо. Робин нисколько не обиделась и даже не удивилась. Она повернулась к подружке и сказала: «Вот видишь, я же говорила: если я буду просто стоять и молчать, он меня даже не узнает».

Но, если меня что-то интересует — а такого хватает, — я это вспоминаю практически мгновенно. Однажды, когда меня не было в городе, моя первая жена Гертруда поспорила о какой-то мелочи со своим братом Джоном, и малышку Робин, тогда лет десяти, послали в мой кабинет за нужным томом «Британской энциклопедии».

Робин подчинилась, но возмутилась: «Вот бы папа был дома. Он бы вам и так все сказал».

Конечно, во всем этом есть свои трудности и недостатки. Может, я и одарен чудесной памятью и сообразительностью с раннего возраста, зато обделен обширным опытом и глубоким пониманием человеческой натуры. Мне было и невдомек: другие дети не оценят, что я знаю больше, чем они, и гораздо быстрее учусь.

(И почему это, интересно, среди школьников ребенок с выдающимися спортивными способностями — объект почитания, а ребенок с выдающимися интеллектуальными способностями — ненависти? Существует какое-то негласное правило, что человека определяют мозги, а не мускулы? И если ребенок плох в спорте, то он просто плох, а если он не блещет умом, то сразу чувствует себя недочеловеком? Не знаю.)

Беда в том, что я не пытался скрывать блестящий интеллект. Я демонстрировал его в классе каждый день и ни разу — ни разу — даже не подумал «скромничать». Я все время радостно давал понять окружающим, как я умен, и сами можете догадаться, к чему это привело.

Результат предсказуем, тем более для своего возраста я был маловат и слабоват, да еще и младше остальных одноклассников (в итоге — на два с половиной года, потому что периодически перескакивал классы и все равно оставался «самым умным»).

Надо мной издевались. Естественно.

В конце концов я понял причину, но еще много лет не мог с этим смириться, потому что никак не получалось заставить себя скрывать гениальность. Поэтому надо мной издевались — хотя с

каждым годом всё меньше и меньше — вплоть до двадцати лет. (Впрочем, не стоит сгущать краски. Физическому насилию я не подвергался. Ровесники просто меня высмеивали, обзывали и бойкотировали — все это я вполне мог вынести без особых переживаний.)

Но я все-таки кое-что усвоил. То, что я необычный, до сих пор невозможно скрыть, учитывая, сколько книг я написал и издал, а также как много тем в них затронул, но в обычной жизни я научился держать себя в руках. Научился «отключать гений» и общаться с людьми на равных.

В результате у меня появилось множество друзей, с которыми я поддерживаю очень теплые отношения.

Вот бы вундеркинды рождались не только с отличной памятью и высоким интеллектом, но и с пониманием человеческой натуры. Но не все дается от рождения. Самые главные черты развиваются постепенно, с опытом, и везет на самом деле тому, кто усвоил их быстрее и проще, чем я.

2. Мой отец

Мой отец, Юда Азимов, родился в России, в селе Петровичи[1], 21 декабря 1896 года. Он был смышленым молодым человеком, получившим полное образование в рамках ортодоксального иудаизма. Усердно изучал «священные тексты» и бегло говорил на литвакском (литовском) диалекте иврита. Позднее в наших беседах он с удовольствием цитировал на иврите Библию или Талмуд, а потом переводил для меня на идиш или английский и объяснял смысл.

Было у него и светское образование — он с легкостью говорил, читал и писал на русском, хорошо разбирался в русской литературе. Рассказы Шолом-Алейхема он знал практически наизусть. Помню, как-то раз он процитировал мне один — на идише, понятном мне языке.

Он достаточно хорошо знал математику, чтобы вести учет в семейном деле своего отца. Мрачные дни Первой мировой войны он пережил, каким-то образом избежав службы в русской армии. И

[1] Примечания: 1

Село Петровичи располагалось в Смоленской губернии, а в настоящее время в Шумячском районе Смоленский области. — Прим. ред.

это хорошо, иначе, вероятно, он бы погиб, и я бы не родился. Пережил отец и послевоенные беспорядки, а на моей матери женился где-то в 1918-м.

До 1922 года, несмотря на тяготы войны, революции и гражданских волнений, ему неплохо жилось в России — хотя, конечно, кто знает, что бы случилось с ним и со мной в еще более мрачные дни сталинской тирании, Второй мировой войны и нацистской оккупации наших родных мест.

К счастью, об этом можно не задумываться, потому что в 1922 году сводный брат моей матери Иосиф Берман, за несколько лет до того перебравшийся в Соединенные Штаты, пригласил нас переехать, и родители после долгих и мучительных размышлений так и поступили. Решение далось им непросто. Пришлось бы покинуть село, где они провели всю жизнь, где оставались все их родные и друзья, и отправиться в неизвестные края.

Но родители рискнули и успели как раз вовремя, потому что уже в 1924 году ввели строгие миграционные квоты и нас бы попросту не впустили.

Отец приехал в США с надеждой на лучшую долю для своих детей — и ее он явно добился.

Еще при жизни он увидел, как один его сын стал известным писателем, второй — успешным журналистом, а дочь обрела счастье в браке. Однако это дорого ему обошлось.

В России отец принадлежал к зажиточной купеческой семье. В Штатах он оказался без гроша. В России он считался образованным человеком, которого уважали за знания. В Штатах он оказался практически безграмотным, потому что не писал и даже не говорил на английском. А главное, его образование ни в грош не ставили светские американцы. На него смотрели свысока, как на невежественного иммигранта.

Все тяготы он переносил без жалоб, потому что сосредоточил силы на мне. Я должен был воздать за всё — и я сумел это сделать. С тех пор как с возрастом пришло понимание, на какие жертвы отцу пришлось пойти, я испытываю к нему неизменную благодарность.

В Штатах он брался за любую работу: продавал по домам губки, демонстрировал пылесосы, работал на производстве обоев, а потом — в мастерской по пошиву свитеров. Через три года отец скопил на первоначальный взнос для открытия семейной кондитерской, чем обеспечил и определил наше будущее.

Как я уже говорил, отец никогда не требовал от меня блестящих результатов. И никогда не наказывал: это он оставлял матери — она умела мне хорошенько всыпать. А сам, если я не слушался, довольствовался лишь долгими нотациями. Пожалуй, вынести взбучку от матери было легче, но я всегда понимал, что отец меня любит, даже если ему трудно передать это словами.

3. Моя мать

Моя мать — урожденная Анна Рахиль Берман. Ее отец — Исаак Берман. Он умер, когда она еще была маленькой, и меня назвали в его честь.

Мать выглядела как типичная русская крестьянка и ростом была всего полтора метра, она освоила грамоту, могла читать и писать как по-русски, так и на идише.

И здесь я хочу пожаловаться на родителей. Когда они хотели тайком обсудить между собой что-то не предназначенное для моих больших ушей, они разговаривали на русском. А если бы бросили глупую привычку так секретничать и разговаривали по-русски со мной, я бы впитал его как губка и овладел еще одним международным языком.

Но не судьба. Думаю, отец просто хотел, чтобы я выучил английский как родной язык, не отвлекаясь на другой, и стал настоящим американцем. Что ж, так и вышло, а раз я все равно считаю английский самым восхитительным языком в мире, пожалуй, оно и к лучшему.

Не считая умения читать, писать и считать — в

пределах, необходимых для работы кассиром в лавке ее матери, — моя мать осталась безграмотной. Ортодоксальный иудаизм просто не предполагал обучения для женщин. Она не знала иврита и не получила светского образования.

И все-таки я не раз слышал, как она посмеивается над почерком моего образованного отца — и, думаю, вполне заслуженно. Судя по моему опыту, у женщин почерк почему-то красивее и разборчивее, чем у мужчин. Например, в сравнении с почерком сестры мой — кривой, как у полуграмотного. Поэтому я бы не удивился, если бы мать писала по-русски элегантнее отца.

Роль моей матери в жизни можно описать одним словом: «работа». В России она была старшей среди множества братьев и сестер, и ей приходилось заботиться обо всех в придачу к работе в лавке. В Штатах она воспитывала троих детей и бесконечно трудилась в кондитерской.

Она отлично понимала ограниченность своей жизни и отсутствие той свободы, что была у других. Часто она предавалась жалости к себе, и, хотя я ее ни в чем не виню, чаще всего ее слезливые речи приходилось выслушивать именно мне. А от ее недвусмысленных намеков, что и я — крест, который ей приходится нести, причем не самый

легкий, — меня переполняло чувство вины.

Из-за тяжелой жизни она стала вспыльчивой и гнев тоже вымещала главным образом на мне. Не стану отрицать, я не раз давал повод, но била она меня часто и безо всякой жалости. Это не значит, что она не любила меня до умопомрачения, — любила. Жаль только, не могла показать этого как-то иначе.

Ей так и не выпала возможность научиться хорошо готовить. Стряпать из-за работы в кондитерской приходилось на скорую руку, поэтому на протяжении всей юности (на самом деле, вплоть до свадьбы) я ел только жареное, время от времени — отварную говядину или курятину с картошкой. Овощами мы питались редко, зато налегали на хлеб. Впрочем, не жалуюсь. Мне нравилось.

Но, думаю, из-за стряпни моей матери я и начал вести образ жизни, который привел меня к проблемам с коронарными артериями в преклонном возрасте. А с другой стороны, ее блюда подвергали мой желудок таким тяжелым испытаниям, что теперь я могу переварить что угодно.

Были у матери и фирменные блюда — тертая редиска с луком и вареными яйцами доставляла мне райское наслаждение, но, если питаться

так целую неделю, люди начнут обходить тебя стороной.

Еще она готовила холодец из говяжьей голяшки с луком, яйцами вкрутую и бог знает чем еще. Называлось это «пчах»[2], и я бы отдал за него весь Элизий. Даже после свадьбы мне время от времени перепадал целый тазик пчаха. Конечно, это блюдо на любителя — и в один не самый прекрасный день моей жене Гертруде оно пришлось по вкусу. Моя доля тут же урезалась наполовину. Я с грустью вспоминаю последний пчах, приготовленный для меня матерью.

Моя нынешняя жена Джанет, самая дорогая для меня женщина на свете, старательно нашла рецепт и даже сейчас время от времени готовит мне пчах. Вкусно, но, боюсь, все же не как у мамы.

[2] Примечания: 2

В оригинале Айзек Азимов использует слово «pchah», но в английском больше распространено написание «ptcha», так и в русском это блюдо называют «пчах» или «птча». Это традиционное ашкеназское заливное блюдо. — Прим. ред.

4. Марсия

Мое детство прошло в обществе младшей сестры Марсии, родившейся 17 июня 1922 года в России и оказавшейся в Штатах в восьмимесячном возрасте. Она часто жалуется, что я редко рассказываю о ней в своих произведениях — и тут она права. Но в 1974 году я выпустил книгу, где все-таки упомянул о ней и о том, что она родилась в России.

Я позвонил сестре и прочитал отрывок вслух, чтобы доказать, что иногда о ней рассказываю, и она тут же громко и истерично разрыдалась.

— Что такое? — спросил я в смятении.

— Теперь все знают, сколько мне лет, — всхлипнула она. (Ей тогда исполнилось пятьдесят два.)

— Ну и что? — сказал я. — Не возьмут теперь на конкурс «Мисс Америка»?

Зря, конечно. У меня так и не получилось ее успокоить, а у вас теперь есть представление, как чаще всего складывались наши отношения.

Марсия — не настоящее имя моей сестры. Ее назвали очень красивым русским именем, но мне запрещено его разглашать. Во взрослом возрасте

она сама выбрала стать Марсией, и теперь только так я и обязан ее называть.

В детстве мы плохо ладили. Ничего удивительного. С какой стати нам было ладить? У нас слишком разные характеры, и, не будь мы братом и сестрой, ни за что бы не подружились. Но деваться было некуда — мы жили вместе и постоянно злились друг на друга.

Почти все, что делал я, раздражало ее, и наоборот. Начинались споры, быстро перераставшие в крики, а потом и в зверские вопли. Может, все сложилось бы не так плохо, если бы родители могли нас разнять, терпеливо выслушать каждого, пока мы в подробностях излагаем ужасные преступления и проступки друг друга, а потом справедливо рассудить. К сожалению, у наших родителей не хватало на это времени.

Мать влетала на второй этаж из кондитерской и бросала нам «указ»: «Хватит ссориться». Потом разражалась сердитой речью, что мы — единственные дети в районе, да куда там, во всем мире, кто так безобразно ругается, а все остальные дети — сплошь свет и умиление. Еще она говорила, что нас услышат покупатели и соседи на два квартала вокруг и примчатся в кондитерскую спросить, что случилось, и ей будет неописуемо стыдно.

Сказать, что мы выучили эту речь наизусть, — ничего не сказать. И действовать она на нас уже перестала, особенно потому, что я знал: другие братья и сестры ладят не лучше нас.

А вот интересный момент. Марсия помнит, что я подсадил ее на Гилберта и Салливана и что у меня были интересные и остроумные друзья из мира научной фантастики, но не помнит ни одной ссоры. Она рисует идиллическое сосуществование, и я обнаружил, что это относится ко многим, с кем у меня есть общие воспоминания. Они стирают целые континенты фактов, выстраивают какую-то сказочку, которой никогда не существовало, и потом настаивают, что так все и было. Может, кому-то проще выдумать себе прошлое, но у меня так не получается. Слишком уж отчетливо я все помню, хотя не хочу сейчас сказать, будто мое собственное прошлое совершенно не подвержено перестройке. Работая над автобиографией и сверяясь с дневником, я то и дело поражался, что здесь одно забыл, а другое запомнил неправильно. Впрочем, это касалось мелочей.

Марсия была умным ребенком. Я научил ее читать (иногда против ее воли) еще до школы, и она, как и я, с легкостью усваивала програм-

му, выпустившись в пятнадцать лет. Но тогда, к несчастью Марсии, поднял голову иудейский мужской шовинизм. Отец был беден, но все-таки как-то сумел устроить обоих сыновей в колледж. А о том, чтобы продолжить образование Марсии, не могло быть и речи. Раньше девочки, в конце концов, считались предназначенными только для замужества.

Поэтому в пятнадцать лет Марсии пришлось искать работу. Она была еще молода для брака и, если уж на то пошло, для работы тоже, по крайней мере по закону. Наверное, она скрыла свой возраст. Так или иначе, она устроилась секретаршей и неплохо себя проявила.

Замуж она вышла только в тридцать три. Будучи ее братом, я не умел замечать ее достоинств и поэтому совершенно не удивлялся. Помню, когда тринадцатью годами ранее я сам готовился жениться, какая-то женщина (очевидно, старой закалки) удивилась: «Братья, — сказала она, — не должны жениться раньше, чем выйдет замуж сестра». Быть может, этот обычай имел смысл в Восточной Европе тех времен, когда браки были договорами и любую девушку могли выдать замуж (и обычно выдавали) еще в подростковом возрасте — главное, чтобы приданое устраивало.

Но здесь? В Америке? Я ответил: «Если буду дожидаться сестру, умру холостяком».

Но я ошибался. Она покорила сердце тридцатисемилетнего Николаса Репанеса — пассивного, тихого и доброго человека. Они поженились, родили двух замечательных сыновей и счастливо прожили тридцать четыре года до смерти Николаса 16 февраля 1989 года. Мы с Джанет ездили в дебри Квинса на похороны (он лежал в гробу в очках). Это было наименьшее, что я мог сделать для человека, ставшего таким хорошим мужем для Марсии.

Марсия, кстати, всего полтора метра ростом, она очень великодушная и улыбчивая. Мне жаль, что мы не сумели поладить.

5. Религия

Отец, несмотря на религиозное образование, в глубине души не был ортодоксальным иудеем. Мы с ним это почему-то никогда не обсуждали — может, я чувствовал, что для него это слишком личное, и не хотел навязываться. По-моему, тогда, в России, приверженностью к религии он просто хотел порадовать своего отца. Полагаю, такое встречается довольно часто.

Возможно, из-за того что отец рос при царской тирании, когда на евреев часто устраивали жестокие гонения, в душе он стал революционером. Насколько мне известно, в настоящей революционной деятельности он не участвовал — был для этого слишком осторожным.

Для еврея один из способов стать революционером, работать на благо нового мира социального равенства, гражданской свободы и демократии — это вырваться из мертвой хватки ортодоксии. Ортодоксальный иудаизм диктует каждый шаг каждого дня и утверждает такие различия между евреями и иноверцами, что гонения на более слабую группу практически неизбежны.

Вполне логично, что отец, приехав в Штаты и освободившись от гнета своего отца, начал мирскую жизнь. Конечно, не во всем. Трудно отучиться от пищевых запретов, когда тебе с детства вдалбливают, что свинина — это эссенция ада. Невозможно обойти стороной местную синагогу или полностью утратить интерес к библейским преданиям.

Но зато отец не читал множества молитв, предписанных для каждого поступка, и ни разу не пытался научить им меня. Он даже не подумал устроить на мое тринадцатилетие бар-мицву — обряд, после которого мальчик становится евреем, обязанным соблюдать иудейский закон. Я остался без религии просто потому, что никто и не пытался мне ее привить — никакую.

На некоторое время в 1928 году отец из-за потребности в дополнительном заработке устроился секретарем в местную синагогу. Поэтому ему пришлось ходить на службы и иногда брать меня с собой. (Мне это не нравилось.) Еще он для проформы зачислил меня в еврейскую школу, где я начал осваивать иврит. Это подразумевало изучение еврейского алфавита и произношения всех букв, а поскольку у идиша алфавит примерно такой же, я обнаружил, что могу читать и на

идише.

Я показал отцу, что умею, хоть и с запинками, и поразился, когда он сперва оторопел, а потом забросал вопросам о том, как это у меня получилось. Я уж думал, к этому времени он должен перестать удивляться всему, что я делаю.

Отец недолго проработал секретарем; он не успевал и в синагоге, и в кондитерской. Поэтому через несколько месяцев меня забрали из еврейской школы — к моему величайшему облегчению, потому что там мне тоже не нравилось. Не нравилась зубрежка, и я не видел пользы от обучения ивриту.

Возможно, здесь я ошибался. Любая учеба полезна, но тогда мне было всего восемь, и я этого еще не понял. Впрочем, в голове все же отложилось кое-что из того давнего времени и из лекций отца на разные темы, которые он иллюстрировал библейскими цитатами. У меня возник интерес к Библии. Став постарше, я перечитал ее несколько раз, точнее, Ветхий Завет. В итоге после некоторых сомнений и раздумий я прочел и Новый.

Ко времени, когда я добрался до Библии, научные и научно-фантастические книги уже рассказали мне о своей версии мироустройства, и я не был готов принять за истину историю о

Творении или всевозможные чудеса, описанные в Книге Бытия. Благодаря знакомству с древнегреческими мифами (а позже и с более мрачными скандинавскими) мне стало понятно, что я читаю еврейские мифы.

В преклонном возрасте отец, перебравшись во Флориду и не зная, чем заняться, не придумал ничего иного, кроме как присоединиться к другим пожилым евреям, у которых вся жизнь вертелась вокруг синагоги и обсуждения мельчайших деталей ортодоксии. Там он очутился в своей стихии, потому что обожал спорить из-за пустяков и никогда не сомневался в своей правоте. (Эту черту я отчасти унаследовал.) Я даже иногда саркастично говорю, что отец ни разу не отказывался от своего мнения, кроме тех редких случаев, когда случайно оказывался прав.

Так или иначе, в последние месяцы жизни он снова с радостью стал ортодоксальным иудеем. Не думаю, что внутри, но снаружи точно.

Иногда люди думают, что я нерелигиозен назло ортодоксальным родителям. Пожалуй, так можно сказать о моем отце, но не обо мне. Я ничего не делал назло. Мне позволили выбирать свободно, и я полюбил эту свободу. То же самое произошло с моими братом, сестрой и нашими детьми.

Следует отметить, это не значит, что я не нашел для себя в иудаизме ничего ценного и вынужден искать нечто иное для заполнения духовной пустоты. Никогда, ни разу в жизни, ни на секунду меня не тянуло ни к одной религии. Дело в том, что я и не чувствую духовной пустоты. У меня есть своя жизненная философия, которая обходится без сверхъестественного и вполне меня устраивает. Короче говоря, я рационалист и верю только в то, во что велит верить здравый смысл.

И, надо сказать, это не так-то просто. Нас окружает столько историй о сверхъестественном, столько легковерия в сверхъестественное, столько громких слов от авторитетов, всеми силами убеждающих нас в существовании сверхъестественного, что засомневается и самый непоколебимый.

Недавно со мной случилось что-то в этом роде. В январе 1990-го я лежал днем на больничной койке (пока не забивайте себе голову почему; в свое время мы до этого дойдем), и моей дорогой жены Джанет не было со мной — она на несколько часов вернулась домой по неотложным делам. Я спал, и тут меня ткнули пальцем. Я, конечно же, проснулся и осоловело огляделся, чтобы понять, кто меня разбудил и зачем.

Дверь палаты заперта на замок да к тому же закрыта на цепочку. Комната, залитая солнечным светом, была совершенно пустой. Как и чулан, как и ванная. Несмотря на весь свой рационализм, я никак не мог удержаться от мыслей о вмешательстве некой сверхъестественной силы, стремящейся передать, что с Джанет что-то случилось (это, конечно, мой главный страх). Мгновение я колебался, пытаясь прогнать это чувство, и в любом другом случае прогнал бы, но речь шла о Джанет. И я позвонил домой. Она тут же ответила и сказала, что все в полном порядке.

Я с облегчением повесил трубку, но, присев, начал размышлять, кто или что меня ткнуло. Может, это просто сон, сенсорная галлюцинация? Возможно, но ощущение было совершенно реальным. Я задумался.

Когда сплю один, я часто обнимаю сам себя. Еще я знаю, что, когда засыпаю некрепко, у меня подергиваются мышцы. Я лег в прежнюю позу и представил, что у меня дернулись мышцы. Очевидно, мне в плечо ткнул мой же палец, только и всего.

А теперь представим, что в тот самый момент, когда я ткнул сам в себя, Джанет по какому-нибудь совершенно бессмысленному совпадению

споткнулась бы и поцарапала коленку. И представим, что я бы позвонил, а она простонала: «Я только что ушиблась».

Смог бы я удержаться от мысли о сверхъестественном вмешательстве? Надеюсь, что да. Но наверняка не знаю. Таков уж наш мир. Он может поколебать и самых стойких, а я себя таковым не считаю.

6. Мое имя

Мое первое имя, Айзек (Исаак), — самое еврейское имя на свете, возможно, за исключением Моисея. Я отлично понимаю, что есть Айзеки и среди старинных новоанглийских семей, и среди мормонов, и еще много где, но уверен: в девяти случаях из десяти это имя носят евреи.

В детстве я об этом ничего не знал. Мне просто нравилось имя. Я был Айзеком Азимовым и не мечтал стать кем-то другим. Даже в годы юности — возможно, это как-то связано с моим ощущением исключительности. Раз имя принадлежит мне, то и оно должно быть особенным.

Проблема в том, что не всех мое имя приводило в восторг. В первые годы после иммиграции соседи считали своим долгом предупредить мою мать, что она отягощает меня нежелательным бременем. Имя «Айзек» афишировало мое еврейство, ставило клеймо, а к чему усугублять неудобства, с которыми я неизбежно столкнусь. Зачем, мол, лишний раз напоминать об этом людям.

Мать впала в замешательство. «Как же тогда

его назвать?» — спросила она.

Ответ был прост. Надо оставить первую букву в знак уважения к деду, в честь которого меня назвали, но при этом взять какое-нибудь старинное и благородное англосаксонское имя. В данном случае — Ирвинг, или, если произносить по-бруклински, «Ойвинг».

(Вообще-то толку от таких переименований мало. Если множество Исааков и Израилей станут Исидорами и Ирвингами, от старинных аристократических имен повеет еврейским душком, и мы вернемся к тому, с чего начали.)

Но до этого не дошло. К тому времени мне уже исполнилась пять лет, и я сам слышал этот разговор, а после предложения назвать меня Ирвингом поднял такой вой, какого мать от меня еще не слышала[3]. Я четко обозначил, что ни при каких обстоятельствах не соглашусь стать Ирвингом и откликаться на это имя, а буду вопить каждый раз, как только услышу «Ирвинг». Мое имя — Айзек, и оно никуда не денется.

Так и произошло, и я не жалею об этом по сей

---

[3] Примечания: 3

Я рассказывал об этом в предыдущей автобиографии. Прошу меня простить, но иногда нужно повторить отдельные истории, чтобы дать правильный контекст. Помните и о том, что многие читатели этой книги не читали предыдущую. — Прим. авт.

день. Клеймо или нет, но я — это Айзек Азимов, а Айзек Азимов — это я.

Конечно, мне пришлось терпеть насмешливые прозвища «Иззи» и «Айки», которые я стойко сносил, потому что выбора не было. Когда я наконец вырос и смог лучше управлять своим окружением, я потребовал, чтобы меня звали полным именем. Я Айзек, и никаких прозвищ (только старых друзей, которые так привыкли звать меня Айком, что вряд ли смогут переучиться.)

Помню, как-то раз встретил человека, который похвалил меня за то, что я сохранил имя Айзек, и сказал, что для этого нужна недюжинная храбрость. Потом он назвал меня «Заком», и мне с немалым раздражением пришлось его поправить.

Позже, в подростковом возрасте, когда я стал пробовать себя в литературе, проблема имени вернулась. Я не мог не заметить, что у всех авторов популярной литературы простые имена северо-западноевропейского происхождения, особенно англосаксонского. Возможно, они были настоящими, а может, и псевдонимами.

Псевдонимы были обычным делом для авторов популярной художественной литературы. Одни работали в разных жанрах и для каждого брали

новый псевдоним. Другие хотели скрыть, что пишут развлекательное чтиво. А третьи полагали, что простое американское имя привлечет больше читателей.

Кто знает? Так или иначе, по большей части имена были англосаксонскими.

Я не хочу сказать, будто еврейских писателей совсем не было. Кое-кто даже печатался под своим именем. Среди лучших фантастов 1930-х есть два еврея — Стэнли Г. Вейнбаум и Нат Шахнер. (Вейнбаум публиковался всего полтора года и тут же зарекомендовал себя самым популярным фантастом Америки, после чего трагически скончался от рака, когда ему не было и сорока.)

Отмечу, что их фамилии — немецкие, а это еще куда ни шло. Несмотря на Первую мировую войну, Германия по-прежнему оставалась Северо-Западной Европой. И такие имена приемлемы. Стэнли — очередное староанглийское имя. (Моего брата по требованию матери назвали Стэнли, несмотря на перевес наших с отцом голосов — мы хотели назвать его Соломоном.) Да и Натан, если сократить до «Нат», тоже звучит неплохо.

А у меня было откровенно еврейское имя и (упаси боже!) славянская фамилия. Меня предупреждали, что редакторы наверняка захотят

переименовать меня в Джона Джонса. Такие комментарии меня возмущали. Я бы не позволил ни одному своему рассказу выйти под каким-либо именем, кроме Айзека Азимова.

Готовность пожертвовать писательской карьерой, лишь бы сохранить свое странное имя, может показаться эксцентричной, но так все и было. Я настолько сильно отождествлял себя со своим именем, что публикация рассказа без него не принесла бы никакого удовлетворения. Даже наоборот.

Впрочем, до такого не дошло. В конце концов мое имя приняли, причем без возражений. Больше полувека оно появляется на книгах, в журналах и газетах — везде, где публикуются мои многочисленные тексты. И со временем это имя стали печатать все более крупным шрифтом.

Не хочу приписывать себе лишнюю славу, но мне кажется, я посодействовал слому традиции навязывать авторам пресные легкоусвояемые имена. В частности, я отчасти помог писателям быть открытыми евреями в мире популярной литературы.

И все же… все же…

Этого как будто мало. Друг из Атланты прислал мне статью из Atlanta Jewish Times от 10 ноября

1989 года. Там приводятся размышления некоего Чарльза Джарета, «социолога из Университета штата Джорджия, исследователя евреев и еврейских тем в фантастике».

И вот еще цитата из статьи: «Возможно, самый известный еврей в фантастике — это писатель Айзек Азимов. Но связь Азимова с иудаизмом в лучшем случае слабая». «В его творчестве легче найти темы христианства, чем иудаизма», — писал Джарет.

Это несправедливо. Я не раз объяснял, что не воспитывался в еврейской традиции. Я очень плохо разбираюсь в тонкостях иудаизма. Разве можно меня в этом обвинять? Я свободный американец и не обязан писать на еврейские темы только потому, что мои бабушка с дедушкой были ортодоксальными иудеями.

То, что я еврей по обычному определению, еще не связывает меня по рукам и ногам. Исаак Башевис-Зингер[4] пишет на еврейские темы, потому что ему так хочется. Я не пишу, потому что мне не хочется. У меня те же права, что и у него.

Я устал периодически слышать от евреев, что я

---

[4] Примечания: 4

Исаак Башеис-Зингер (1902–1991) — американский литератор, писавший на идише: лауреат Нобелевской премии по литературе (1978). — Прим. ред.

недостаточно еврей.

Приведу пример. Однажды я согласился выступить с речью в день, на который пришелся еврейский Новый год[5]. Я не знал об этом совпадении, но даже если бы и знал, то ничего бы не изменилось. Я не отмечаю праздники — ни еврейский Новый год, ни Рождество, ни День независимости. Для меня каждый день — рабочий, а праздники даже плодотворнее, потому что никто не отвлекает почтой и телефонными звонками.

Но скоро мне позвонил один еврей. Он увидел в газете, что я выступал в священный день, и довольно сурово меня за это отчитал. Я, сдержав возмущение, объяснил, что не соблюдаю праздники и что если бы я не выступал, то уж точно не пошел бы в синагогу.

— Неважно, — ответил он. — Вы должны быть образцом для еврейской молодежи. А вы просто хотите скрыть, что вы еврей.

Это уже не лезло ни в какие ворота.

— Прошу прощения, сэр, — сказал я, — но у вас здесь нечестное преимущество. Вы знаете мое имя, но я не знаю вашего.

---

[5] Примечания: 5

Еврейский Новый год (Рош ха-Щана) отмечается в первые два дня месяца тишрей, приходящегося на сентябрь-октябрь. — Прим. ред.

Я, конечно, рискнул, но победил. Не назову его настоящее имя, но дальнейший диалог вышел примерно таким:

— Меня зовут Джефферсон Скэнлон, — представился он.

— Понятно, — сказал я. — Итак, если бы я хотел скрыть, что я еврей, то первым делом — первым же делом — сменил бы имя с Айзека Азимова на Джефферсона Скэнлона.

Он бросил трубку, и больше я о нем не слышал.

В другой раз меня упрекнул в недостаточном еврействе некий Лесли Аарон, который пользовался только именем Лесли.

И чего все эти люди меня третируют? Сидят со своими благообразными именами «Чарльз», «Джефферсон», «Лесли» и порицают меня за то, что я скрываю еврейство, хотя я под любыми текстами подписываюсь как Айзек, и говорю в печати о своем происхождении свободно и открыто, когда на это есть причина.

7. Антисемитизм

Эта тема подводит меня к разговору об антисемитизме в целом.

Отец с гордостью говорил, что в его селе погромов не было, а евреи и неевреи отлично уживались. Даже рассказывал, что дружил с одним православным мальчиком и помогал ему с домашней работой. После революции тот мальчик стал местным чиновником Коммунистической партии и помог отцу с документами для эмиграции в Соединенные Штаты.

Это важно. Пылкие романтики часто предполагают, будто наша семья сбежала из России от преследований. И, похоже, единственным выходом было скакать по льдинам через Днепр, пока нам в затылок дышали гончие и вся Красная армия.

Ничего подобного. Нас не трогали, уехали мы вполне законно, проблем было не больше, чем с любой другой бюрократией, включая американскую. Если это кого-то разочарует — увы.

Нет у меня страшилок и о жизни в Штатах. Я ни разу не пострадал из-за еврейского проис-

хождения в том смысле, что меня не били, не калечили. Надо мной часто насмехались: иногда в открытую — молодые балбесы, гораздо чаще завуалированно — люди более образованные. Я принял это как неизбежное положение вещей, которое не в силах изменить.

Я знал, что из-за происхождения для меня закрыты некоторые обширные сферы американского общества, но это касается любого христианского общества в мире на протяжении вот уже двух тысяч лет, и с этой правдой жизни я тоже смирился.

Что было *действительно* трудно вынести, так это чувство уязвимости и даже ужаса из-за того, что творилось в мире. Я имею в виду 1930-е, когда Гитлер усиливал свои позиции, а его антисемитское безумие становилось все более свирепым и смертельным.

Каждый американский еврей осознавал, что сперва в Германии, а потом в Австрии евреев нескончаемо унижали, угнетали, сажали, пытали и убивали только из-за их происхождения. Невозможно было не заметить, что партии нацистского типа возникали и в других регионах Европы, поднимая на знамена антисемитизм в качестве ключевого лозунга. Даже Франция с Ве-

ликобританией не остались в стороне — в обеих существовали партии фашистского типа, в обеих есть давняя история антисемитизма.

Даже в Соединенных Штатах мы не чувствовали себя в безопасности. Здесь подспудный антисемитизм ощущался всегда. Время от времени случались нападения невежественных уличных банд. Но теперь повеяло и нацизмом. Еще можно понять Германо-американский союз[6] — щупальце нацистов. Но антисемитские взгляды открыто выражали и такие люди, как католический священник Чарльз Кофлин[7] и герой авиации Чарльз Линдберг[8]. Существовали и доморощенные фашистские движения, маршировавшие с антисемитским стягом.

Как американские евреи выживали под таким

---

[6] Примечания: 6

Германо-американский союз — организация нацистского толка, созданная в США в 1936 году на основе нескольких прогерманских сообществ. Занималась распространением нацистской идеологии и пропагандой дружественного отношения к гитлеровской Германии. — Прим. ред.

[7] Примечания: 7

Чарльз Кофлин (1891–1979) — американский католический священник канадского происхождения, популярный радиопроповедник в 1930-е годы. — Прим. ред.

[8] Примечания: 8

Чарльз Линдберг (1902–1972) — американский летчик, в 1927 году совершивший первый одиночный трансатлантический перелёт. — Прим. ред.

давлением? Как они не сломались? Наверное, большинство просто практиковали «отрицание». Старались ни о чем не задумываться и вести обычную жизнь, как получится. Во многом так делал и я. Иначе просто никак. (Евреи в Германии жили так же, пока не грянула буря.)

Еще я сохранял оптимистичный настрой. Я верил, что Соединенные Штаты Америки никогда не последуют примеру Германии.

И действительно, бесчинства Гитлера — не только расизм, но и националистическое бряцанье оружием, его все более очевидная паранойя, — вызывали гнев и отвращение у самых солидных слоев американского населения. Даже если в целом Штаты смотрели на страдания европейских евреев сквозь пальцы, к Гитлеру они относились все хуже и хуже. По крайней мере, так казалось мне, и это меня утешало.

Еще я старался не зацикливаться на антисемитизме как на главной мировой проблеме. Многие мои знакомые евреи делили мир только на евреев и антисемитов. Они не признавали никаких проблем, кроме антисемитизма, нигде и никогда.

Но я заметил, что предубеждения повсеместны, а все социальные группы, которым не повезло за-

нять доминирующее положение могли оказаться потенциальными жертвами. В Европе тридцатых массово угнетали евреев, но в Штатах хуже всего приходилось не им. Здесь, как мог заметить любой, кто не закрывал глаза на правду, сильнее всех доставалось афроамериканцам.

Два века они жили в настоящем рабстве. После его формальной отмены положение афроамериканцев в большинстве сфер общества осталось почти-рабским. Их лишили обычных прав, презирали и не позволяли участвовать, что называется, в погоне за американской мечтой.

Я, хоть и еврей, да вдобавок бедный, все-таки получил первоклассное американское образование в лучшем американском университете, могу лишь догадываться, скольким афроамериканцам выпала такая же возможность. Мне всегда сложно осуждать антисемитизм, не осуждая жестокость человека к человеку в целом.

Люди слепы — я знавал евреев, которые безмерно сетовали на антисемитизм, но при переходе на тему афроамериканцев и глазом не моргнув превращались в мелочных гитлеров. А когда я обращал на это их внимание и резко возражал, они разгневанно набрасывались на меня. Они просто не сознавали, что творили.

Однажды я слушал, как одна дама разглагольствовала о том, что гои ничем не помогли евреям в Европе.

— Им нельзя доверять, — сказала она. Я немного подождал, а потом внезапно спросил:

— А чем вы помогаете черным в борьбе за гражданские права?

— Слушайте, — сказала она, — у меня и своих забот хватает.

— Как и у европейцев, — сказал я. Но она только пусто на меня уставилась. Совершенно не поняла смысла моих слов.

Что тут поделать? Весь мир словно живет под лозунгом: «Свобода — это замечательно, но только для меня».

Однажды в мае 1977 года, в довольно тяжелых условиях, я сорвался. В тот раз я был на сцене с другими людьми, среди них — Эли Визель[9], который пережил холокост (истребление шести миллионов европейских евреев) и теперь ни о чем другом не говорил. Визель меня задел, когда заявил, что не доверяет ученым и инженерам, потому что они приложили руку к холокосту.

---

[9] Примечания: 9

Эли Визель (1928–2916) — американский и французский еврейский писатель, журналист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1986). — Прим. ред.

Вот уж обобщение! Точно так же сказал бы антисемит. «Я не доверяю евреям, потому что однажды несколько евреев распяли Спасителя».

Я кипел, сидя на сцене, и наконец не сдержался:

— Мистер Визель, ошибочно полагать, что раз какая-то группа пострадала от тяжелых гонений, то это значит, будто она невинна и добродетельна. Возможно, так и есть, но сами гонения еще ни о чем не говорят. Они только показывают, что пострадавшие были слабы. А были бы они сильны — как знать, они и сами могли бы стать гонителями.

— Назовите хоть один пример, чтобы еврей устраивал гонения, — взбудоражился Визель.

Я, конечно, был к этому готов и сказал:

— В Маккавейском царстве, II век до н. э., Иоанн Гиркан из Иудеи покорил Идумею и дал идумейцам выбор: обратиться в иудаизм или погибнуть. Идумейцы, будучи разумными людьми, обратились, но потом к ним все равно относились хуже, потому что они, хоть и были евреями, все еще оставались идумейцами.

— Это единственный раз, — продолжал горячиться Визель.

— Это единственный раз, когда евреи были

при власти. Один из одного — не такой плохой результат, — сказал я.

На этом дискуссия закончилась, но, должен тут добавить, публика сердцем и душой поддерживала Визеля.

А я бы мог продолжить. Я бы мог привести в пример отношение израильтян к ханаанцам во время правления Давида и Соломона. А если бы предвидел будущее, мог бы сказать и о том, что происходит в Израиле сейчас. Американские евреи разглядели бы ситуацию лучше, если бы представили себе смену ролей: палестинцы правят страной, а евреи отчаянно бросаются камнями.

Однажды у меня случился похожий спор с Аврамом Дэвидсоном[10], блестящим фантастом — евреем (естественно), причем, по крайней мере на тот момент, демонстративно ортодоксальным. Я написал статью о Книге Руфи, толкуя ее как призыв к терпимости в свете жестокости священника Ездры, заставлявшего евреев «отпустить от себя» иноплеменных жен. Руфь была моавитянкой — представительницей народа, который

[10] Примечания: 10

Аврам Дэвидсон (1923–1993) — американский писатель еврейского происхождения, работавший в жанрах научной и детективной фантастики, критик, редактор. — Прим. ред.

евреи ненавидели, — и все же изображалась образцовой женщиной и была прародительницей Давида.

Аврам Дэвидсон оскорбился из-за намека, что евреи были нетерпимы, и написал мне письмо, где нисколько не сдерживал сарказм. Он тоже спрашивал, когда это евреи хоть кого-нибудь преследовали.

В ответе я написал: «Аврам, мы с тобой оба евреи, живем в стране, где население на девяносто пять процентов нееврейское, и живем очень неплохо. Интересно, Аврам, как бы нам пришлось, будь мы неевреями и живи в стране с населением, на девяносто пять процентов состоящим из ортодоксальных евреев».

Он мне так и не ответил.

Сейчас идет приток советских евреев в Израиль. Они бегут, потому что ждут религиозных преследований. Но стоит им ступить на землю Израиля, как они становятся израильскими националистами безо всякой жалости к палестинцам. Из гонимых в гонители — в мгновение ока.

Это касается не только евреев. Просто я замечаю нашу конкретную ситуацию из-за своего происхождения, но это общее явление. Когда языческий Рим устраивал гонения на первых христиан, те

молили о терпимости. А когда христиане пришли к власти, где была та терпимость? И близко не видать. Тут же начались обратные гонения.

Болгары требовали свободу от деспотического режима и воспользовались ею для того, чтобы истреблять этнических турок на своей земле. Азербайджанцы требовали свободу от централизованной власти Советского Союза, но похоже, что им эта свобода нужна, только чтобы истреблять местных армян.

Библия гласит, что испытавшие гонения *не должны* сами становиться гонителями: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской» (Исход, 22:21). Но кто об этом помнит? Стоит мне об этом заговорить, я всем кажусь чудаком и теряю популярность.

8. Библиотека

Как только я научился читать, причем мои навыки в этом деле постоянно улучшались, возникла серьезная проблема. Читать было нечего. Учебников хватало всего на несколько дней. Я проглатывал их залпом в первую же неделю семестра и осваивал программу на полгода вперед. Учителя не могли сказать мне ничего нового.

Отец купил кондитерскую, когда мне было шесть, и там было что почитать, но он меня к этому и близко не подпускал. Ему казалось, что это мусор. Я сказал, что такое читают другие дети, но отец ответил: «И забивают мозги мусором, а их отцам все равно. Мне — не все равно».

И я дулся.

Что делать? Отец оформил библиотечную карточку, и мать периодически водила меня в библиотеку. Когда матери надоело за мной присматривать и мне разрешили гулять самостоятельно, я первым делом направился именно туда.

И снова обо мне позаботился счастливый случай.

Будь у отца время и познания в американской культуре, наверняка он бы оберегал меня внимательней, чем просто не подпуская к ерунде в кондитерской. Он показал бы мне хорошую, на его вкус, литературу и в результате, сам того не желая, сузил бы мой кругозор.

Но он не мог. Я был сам по себе. Отец думал, что любая книга в общественной библиотеке — это качественная литература, и не следил за тем, что я там брал. А я без присмотра перепробовал всё.

Благодаря чистейшей случайности я наткнулся на книги о древнегреческих мифах. Все имена я читал неправильно и многого не понимал, но был заворожен. Более того, уже через несколько лет я перечитывал «Илиаду» снова, снова и снова, брал ее в библиотеке при любой возможности и возвращался к первой строке, как только дочитывал последнюю. Мне попался перевод Уильяма Каллена Брайанта, который (с высоты прожитых лет) кажется слабоватым. И все-таки я знал «Илиаду» наизусть. Мне могли бы процитировать любой случайный стих, а я бы ответил, откуда он. Читал я и «Одиссею», но уже без того удовольствия — она не такая кровавая.

И вот что меня удивляет. Я не помню, когда впервые прочитал о древнегреческой мифоло-

гии, но, видимо, совсем рано. Понял ли я, что это выдумки, а не правда? То же можно спросить и о сказках (а я прочел все сказки в библиотеке). Как человек понимает, что это всего лишь «сказки»?

Предполагаю, в обычных семьях детские книги читают ребенку вслух и тут же как-то поясняют, что на самом деле зайчики не умеют разговаривать. Не знаю. Как ни странно, я забыл, как это получилось у моих детей. Я им мало читал (слишком был занят своими делами) и не припомню, чтобы конкретно говорил: «Это просто выдумка».

Понятное дело, в детстве многие боятся ведьм, чудовищ, тигров под кроватью и прочих ужасных вещей, о которых начитаются, а значит, сперва принимают их за правду (особенно простодушные продолжают в это верить и во взрослом возрасте). Я никогда ничего такого не боялся — видимо, с самого начала знал, что все это просто вымысел, но, *откуда знал*, сказать не могу.

Конечно, я мог у кого-то спросить, но у кого? Отца слишком поглотили дела в кондитерской, чтобы его дергать, а мать была совершенно необразованной (не считая умения читать, писать и считать). Меня никогда не покидало неловкое ощущение, что их нельзя тревожить по пустя-

кам. И я точно не спрашивал сверстников. Мне бы и в голову не пришло обращаться к ним с интеллектуальными вопросами. В итоге я был предоставлен сам себе, но все кончилось хорошо, вот только я не помню, как так получилось.

На самом деле, несмотря на мою превосходную память, многие очень важные для меня моменты я не помню и, как ни перебирай детские события, вспомнить не могу.

Например, в детстве мне попался томик с собранием сочинений Уильяма Шекспира. Точно не из библиотеки, помню, что он пробыл у меня долго. Наверное, кто-то дал почитать.

Я совершенно отчетливо помню, как продирался через «Бурю» — первую пьесу в книге, хоть она и последняя написанная Шекспиром (и единственная, в которой сюжет придумал он сам). Помню, например, как меня ставило в тупик слово «yare» («быстро, живо»). Складывалось впечатление, что это какое-то выражение моряков, но я ни разу не видел его ни до, ни (вроде бы) после.

Помню, как наслаждался «Комедией ошибок» и «Много шума из ничего». Даже как будто припоминаю, что мне нравились сцены с Фальстафом из первой части «Генриха IV». Короче говоря, меня

привлекали комичные сценки, чего и следовало ожидать. Еще помню, что «Ромео и Джульетта» мне не понравились из-за телячьих нежностей.

Но вот что доводит меня до белого каления. Читал я «Гамлета» и «Короля Лира» или нет? Нет ответа. Более того, не помню, когда прочитал «Гамлета» впервые. Должен же быть момент, когда я его прочитал впервые или хотя бы попытался. Была же у меня какая-то реакция. Но нет, в памяти нет ничего. Пустота.

Если задуматься, тут встает целая серия вопросов. Когда я узнал, что Земля вращается вокруг Солнца? Когда впервые услышал о динозаврах? Предположительно, об этом и многом другом я вычитал в научно-популярных книгах для детей из библиотеки, но почему я не помню, чтобы говорил: «О боже мой, наша Земля летит вокруг Солнца. Как здорово!»

А остальные помнят, когда впервые о таком слышали? Это только я такой дурак?

С другой стороны, возможно, стоит в молодости во что-то твердо поверить, из памяти тут же стирается предыдущее состояние «незнания» или «неправильного знания»? Функция памяти просто вычищает из мозга все, что было раньше? Это полезно, ведь кому захочется жить с детским

впечатлением, будто зайчики умеют разговаривать, когда ты уже узнал, что это не так. С таким вариантом я бы смирился и радовался, что я не дурак.

Следовательно, прихожу к выводу: я все-таки прочитал «Гамлета» и так высоко его оценил, что функция памяти выбрала простой вариант, будто я знал его всегда. И, полагаю, все остальное, что я узнавал в книгах, усваивалось не только в тот самый момент, но и ретроспективно.

Одно цепляется за другое, даже случайности. Однажды я заболел и не мог пойти в библиотеку, поэтому уговорил сходить мою несчастную маму, пообещав прочитать все, что она принесет. Принесла она художественную версию биографии Томаса Эдисона. Я расстроился, но раз уж дал слово, прочитал и, *возможно*, так впервые познакомился с миром науки и технологий.

Потом, с возрастом, художественная литература привела меня к нехудожественной. Невозможно прочитать «Трех мушкетеров» Александра Дюма и не заинтересоваться французской историей.

С историей Древней Греции (а не мифами) я познакомился, полагаю, потому что прочитал «Ревнивых богов» («The Jealous Gods») Гертруды Атертон (видимо, принял за мифологию). И вот я

уже читал об Афинах и Спарте, а в особенности — об Алкивиаде. Представление об Алкивиаде по версии Атертон не оставило меня до сих пор.

Опять же, «Слава пурпура» («The Glory of the Purple») Уильяма Стернса Дэвиса познакомила меня с Византийской империей и Львом III Исавром[11], не говоря уже о греческом огне[12]. Другая его книга, чье название сейчас вылетело у меня из головы, познакомила меня с Персидской войной и Аристидом[13].

Все это привело меня к истории в целом. Я прочитал книгу по истории Хендрика ван Лоона, потом решил, что мне нужно что покрепче, поэтому, помню, взялся за мировую историю от французского автора девятнадцатого века Виктора Дюрюи. Я перечитывал ее несколько раз.

Читал я все это совершенно бессистемно, и словами не передать, до чего иногда добирался и как глупо это наверняка выглядело для остальных.

---

[11] Примечания: 11

Лев III Исавр (685–741) — византийский император (717–741), основатель Исаврийской династии, правившей до 802 года. — Прим. ред.

[12] Примечания: 12

Греческий огонь — горячая смесь, использовавшаяся византийской армией в морских сражениях и при осаде крепостей, прообраз современных напалмовых смесей и огнеметов. — Прим. ред.

[13] Примечания: 13

Аристид (ок. 530–467 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель. — Прим. ред.

В одной библиотеке (я обходил все в округе) я нашел сброшюрованные тома *St Nicholas* — детского журнала, процветавшего сто лет назад. Я брал подшивку за подшивкой — большие, в каждой — ежемесячники за год микроскопическим шрифтом, — и читал их запоем.

Там же я нашел сериал «Дэйви и Гоблин», хотя высоко его не оценил, потому что принял за подражание «Алисе в Стране Чудес», причем плохое. (Вот опять! Когда я впервые прочитал «Алису»? Не помню, но совершенно уверен, что, когда бы ни прочитал, просто влюбился.)

В каждом номере печатались доггерели[14] о компании наивных гоблинов, которая вечно попадала в опасные приключения. Иллюстрации доставляли особое удовольствие — например, один гоблин всегда одевался как стереотипный англичанин (цилиндр, фалды и монокль) и страдал в передрягах больше всех остальных вместе взятых.

Я, конечно, многое пропускал, но многое и читал.

Немного повзрослев, я открыл для себя Чарль-

---

[14] Примечания: 14

Доггерель — разновидность неравносложного вольного стиха, преимущественно использующаяся для шуточных и сатирических произведений. — Прим. ред.

за Диккенса («Записки Пиквикского клуба» перечитал двадцать шесть раз, а «Николаса Никльби» — где-то раз десять). Я даже продрался через такие неожиданные вещи, как «Вечный жид» Эжена Сю (меня привлекло слово «жид» в названии) и «Парижские тайны» (меня привлекли «тайны»). Прочитанное меня потрясло. Оторваться было невозможно, но меня от начала до конца поражала картина бедности и преступности, которую рисовал Сю. До сих пор содрогаюсь от одной мысли. В диккенсовских картинах нищеты и несчастий всегда оставалась крупица юмора, благодаря чему они были терпимы. А Сю не сдерживался.

Читал я и заслуженно забытую книгу «Десять тысяч в год» («Ten Thousand a Year») Сэмюэла Уоррена с блестящим злодеем Ойли Гэммоном. Кажется, тогда я впервые понял, что настоящим протагонистом может быть злодей, а не «герой».

Практически единственное, что я пропустил полностью, — художественная литература двадцатого века. (Но не документальная — ее я читал с жадностью.) Сам не знаю, почему обошел современную литературу. Может, меня привлекали самые пыльные книги. А может, в библиотеках, куда я ходил, с современной литературой было

хуже.

И этот детский бзик сохранился. Я до сих пор очень редко берусь за современную литературу (не считая детективов).

Все это невероятно разнообразное чтение — результат отсутствия присмотра — оставило неизгладимый след. Меня заинтересовали сразу двадцать разных направлений, и все эти интересы сохранились. Я написал книги о мифологии, Библии, Шекспире, истории, науке и так далее.

Оставило след даже незнание современной литературы — я отлично понимаю, что у меня несколько старомодный стиль. Но мне он нравится, и читателей, которым он тоже по душе, хватает, чтобы я не разорился.

Азы образования я усвоил в школе, но этого было мало. Настоящее образование — надстройку, детали, истинную архитектуру, — я нашел в библиотеках. Для бедного ребенка, чья семья не могла себе позволить книг, библиотека раскрыла двери к чудесам и достижениям, и я никогда не устану радоваться тому, что сообразил броситься в эту дверь и вынести для себя как можно больше.

Сейчас, постоянно читая о все новых и новых сокращениях библиотечных бюджетов, я думаю

только о том, что эта дверь закрывается и американское общество нашло очередной способ самоуничтожения.

9. Книжный червь

Так уж все сошлось, что в молодости я выбрал ненормальный образ жизни — «ненормальный», конечно, только в сравнении со среднестатистическим образом жизни подростка. Для меня в нем ничего ненормального не было, даже наоборот. Я сидел, обложившись книжками, и сочувствовал другим детям.

Не подумайте, что я был слишком замкнут. Я не мизантроп или сверхзастенчивый «одиночка». На самом деле (так утверждают окружающие) я настоящий экстраверт. Я громкий, шумный, я много болтаю и смеюсь. (Пишу здесь в настоящем времени, потому что, судя по всему, я не изменился.) А значит, я мог общаться с одноклассниками и соседскими детьми, даже время от времени с ними играть. Но только время от времени, и на то есть несколько причин.

Когда я начал работать в семейной кондитерской, часы досуга сократились почти до нуля. Времени на игры не оставалось.

Даже будучи каким-то образом втянутым в

игру, я отказывался участвовать в играх с малейшим намеком на насилие, даже понарошку. Я был маленьким и хилым, в любой потасовке именно мне досталось бы сильнее всего.

Во многие игры — с шашками, волчками, шариками или другими вещами — играли «на интерес». Победитель забирал безделушки проигравшего. Я очень рано понял, что не создан для таких игр. Если я терял с трудом накопленные сокровища, заменить их было уже невозможно. Отец не собирался баловать меня такой ерундой, и я это отлично понимал. Я играл только ради удовольствия — то есть когда главной наградой была слава победителя и все оставались при своем. Большинству играть на таких условиях совсем не весело, поэтому поиграть так, как мне хотелось, получалось редко.

Если оглянуться в прошлое, можно подумать, что я поступал довольно глупо, никогда не ставя мелкие безделушки на свои умения, но в этом есть и плюсы. Я всю жизнь удерживался от соблазнов перед азартными играми. Только раз, всего *раз* запятнал эту строгую неазартную чистоту. В возрасте около двадцати лет я поддался искушению «влиться в компанию» и сыграл в покер,

когда меня убедили, что ставки будут низкими.

Потом, измученный совестью, я признался отцу, что играл в покер на деньги.

— И как? — спросил он спокойно.

— Проиграл пятнадцать центов, — ответил я.

— Слава богу, — сказал он. — А представь, если бы ты *выиграл* пятнадцать центов.

Он отлично знал о притягательности порока.

Мои предубеждения не ограничиваются только азартными играми. Я не просто не играю в покер и на скачках. При каждом решении в жизни я пытаюсь оценить вероятность успеха. Если, на мой взгляд, шансы не стоят риска, я не рискую. Это полезно, если умеешь верно оценивать ситуацию, а я, судя по всему, умею. По крайней мере почти все, за что я брался, заканчивалось хорошо, даже когда *другим* казалось, что шансов нет. Если *мне* так *не* казалось, я отдавался делу всей душой и почти всегда добивался своего.

Поэтому я писал книги, в чей успех не поверил бы никто, кроме, наверное, безумца, и все же они продаются. С другой стороны, я всегда считал, что любые контакты с Голливудом, кроме самых поверхностных, даже если они на данный момент *кажутся* прибыльными, закончатся катастрофой, потому держался от него подальше.

И нисколько об этом не жалею.

Как видите, я не вписался в компанию детей по соседству и с возрастом вписывался все меньше и меньше. Может, я и экстраверт, может, я и люблю поболтать, но по сути я белая ворона — и легко бы мог, страдая из-за этого, отравить себе всю жизнь. (Некоторые мои друзья в какой-то степени отравили себе взрослую жизнь, потому что в детстве считались белыми воронами.)

Меня это просто не беспокоило. Не припомню, чтобы переживал, когда оставался один. Не припомню, чтобы смотрел, как остальные дети бешено носятся по округе, и мечтал к ним присоединиться. Напротив, такая перспектива меня не прельщала.

Понимаете, у меня были книги. Я бы лучше почитал.

Помню жаркие летние дни, когда покупатели не шли, и отец — с матерью или без — справлялся в кондитерской без меня. Я сидел снаружи (на всякий случай — всегда неподалеку), откинувшись на стуле к стене, и читал.

Помню, когда после рождения брата, Стэнли, мне поручали с ним гулять, я двадцать-тридцать раз обходил с ним вокруг квартала, читая книжку на рукоятке коляски.

Помню, как возвращался из библиотеки с тремя книгами: две под мышками, а в третью уткнулся носом. (Матери сообщали об этом «странном поведении», и она меня ругала, потому что они с отцом ужасно боялись отпугнуть покупателей. Естественно, я все пропускал мимо ушей.)

Другими словами, я был классическим «книжным червем». Тому же, кто книжным червем никогда не был, наверняка, странно слышать, что человек готов читать и читать, не замечая вокруг жизнь во всей красе, тратить беспечные дни юности, упускать чудесную игру мышц и связок. В этом может видеться что-то печальное и даже трагичное — поневоле задумаешься, что же толкает подростка на такое поведение.

Но жизнь прекрасна, когда она счастливая; дни беспечны, когда ты счастлив; игра мысли и воображения куда лучше игры мышц и связок. Я вам так скажу, если вы не знаете по своему опыту, для некоторых (например, для меня) чтение хорошей книги, погружение в слова и мысли — счастье невероятной силы.

Если мне хочется ощутить покой, умиротворение, удовольствие, я вспоминаю те ленивые летние дни: стул прислонен к стене, на коленях лежит книга, а под рукой мягко шуршат стра-

ницы. В моей жизни бывали времена восторга, моменты облегчения и триумфа, но с этим тихим и мирным счастьем не сравнится ничто.

10. Школа

Мне нравилась школа. На уроках — по крайней мере в начальной и средней школах, — меня ничего не пугало. Все давалось легко, и я блистал — а я любил блистать.

Проблемы, конечно, возникали. Проблемы есть всегда. Даже если не считать непопулярность у одноклассников, я не был любимчиком и среди учителей. Хотя я неизбежно становился самым умным (и юным) в классе, именно я вел себя хуже всех. Впрочем, когда я так говорю, вы должны учитывать, что шестьдесят лет назад стандарты «плохого поведения» значительно отличались от сегодняшних.

Сейчас мы живем в обществе, где школьники употребляют наркотики, ходят в школу с оружием, избивают и иногда насилуют учителей.

В школах моего времени это было немыслимо. Я вел себя хуже всех потому, что перешептывался в классе. Я всегда находил что сказать о происходящем, и ничто не могло помешать мне шепнуть соседу об этом.

Тогда жертва наверняка хихикала, чем привле-

кала внимание учителя. Раз хихикавший всегда сидел рядом со мной, вывод был очевиден — и с меня не спускали глаз. Мне ни разу не удавалось отвести от себя подозрение.

Зачем я так себя вел? Почему не делал выводов? Сам не знаю. Может, я просто сперва реагировал, а потом уже думал. Так я себя веду всю жизнь, хотя в последнее время — все реже. Порой и сейчас, когда в голову приходит что-нибудь смешное, но совсем неуместное, оно слетает с языка раньше, чем я успеваю его прикусить.

Так, однажды в фойе театра, где ставили мюзикл Гилберта и Салливана (это моя страсть), во время антракта ко мне подошла женщина и попросила автограф. Я расписался (никогда не отказывал в автографах), и она сказала:

— Вы всего второй человек, у которого я попросила автограф.

— А кто был первым? — праздно поинтересовался я.

— Лоуренс Оливье[15].

И я с ужасом услышал свой ответ:

— Оливье гордился бы, если бы узнал об этом.

Я, конечно, просто пошутил, но женщина от-

---

[15] Примечания: 15

Лоуренс Оливье (1907–1989) — популярный британский актер театра, кино и телевидения. — Прим. ред.

шатнулась с таким видом, что можно было не сомневаться: она всем рассказала, какое я самовлюбленное и тщеславное чудовище.

Одними разговорами я не ограничиваюсь. В тот же вечер одна пожилая дама (а к тому времени, как вы понимаете, я и сам стал пожилым человеком) мне сказала:

— Я училась с вами в начальной школе.

— Правда? — ответил я, естественно, ее не узнавая.

— В школе № 202.

Я заинтересовался. Я и в самом деле учился в школе № 202 с 1928-го по 1930-й. Она продолжила:

— Я вас запомнила потому, что однажды учительница что-то сказала — уже не помню, что, — и вы ей ответили, что она ошибается. Она заспорила, и на обеденной переменке вы сбегали домой, вернулись с большой книгой и доказали, что она ошибалась. Помните?

— Нет, — сказал я. — Но это точно был Айзек Азимов. Еще не придумали другого такого школьника, который пойдет на все, чтобы унизить учительницу и напроситься на неприятности, лишь бы доказать свою правоту в каком-нибудь пустяке.

Да, в течение всей учебы мне было сложно с преподавателями — вплоть до докторантуры. Более того, было сложно со всеми, кто стоял выше меня в любой иерархии. Я не знал покоя, пока не стал работать только на себя. Я не рожден работать на других.

Если уж на то пошло, у меня есть сильные подозрения, что я не рожден быть и работодателем. По крайней мере, у меня ни разу не возникало желания нанять какого-нибудь помощника или секретаря. Чутье подсказывает, что из-за нашего общения работа только замедлится. Лучше трудиться одному, к чему я в итоге и пришел.

Меня иногда спрашивают, не вдохновил ли меня какой-нибудь учитель в школе и не мог бы я рассказать о нем поподробнее. Но я на самом деле не запомнил практически ни одного учителя — не потому, что они такие незапоминающиеся, а потому, что я слишком эгоцентричен. Впрочем, трое все же приходят на ум.

В первом классе у нас месяц преподавала одна упорная, добрая и любящая учительница (и черная — единственная черная учительница в моей жизни). Она подталкивала меня вперед, и, когда мне пришлось покинуть ее класс, я расплакался и сказал, что хочу к *ней*, а она меня погладила по

голове и ответила, что мне придется уйти. Когда на следующий день я снова пытался проскользнуть на урок в ее класс, она вывела меня за руку.

В пятом классе была мисс Мартин, которая (в отличие от большинства учителей) меня любила и проявляла ко мне доброту, несмотря на все мои недостатки. Какое же это приносило облегчение.

В шестом классе была мисс Грауни с репутацией «строгой училки», повергавшая школьников в ужас. Она их ругала, кричала на них — порой и на меня. Я хотя бы привык к этому и переносил все стойко. По-моему, я ей тоже нравился — может, потому что явно ее не боялся. (Я довольно рано обнаружил, что «самому умному в классе» иногда спускают с рук чуть ли не убийство.)

11. Взросление

Наверное, каждый ребенок хочет вырасти и получить все права и привилегии взрослого. Очевидно, дети осознают, ограниченность своей жизни — когда родители вечно говорят, что можно, а что нельзя, когда не дают самостоятельно принимать решения и так далее. Так они делают вывод, что у взрослых есть невероятная свобода. (Позже они, скорее всего, еще поймут, что это лишь пропуск в куда более изнурительное рабство… но не будем об этом.)

Во времена моего детства взросление сопровождалось некоторыми специфическими изменениями во внешнем виде. Дети носили «shorties» — я имею в виду бриджи, которые застегивались на пряжки под коленками, а не брюки аристократов восемнадцатого века. И, конечно, приходилось надевать длинные гетры до колен. С возрастом к «shorties» нарастала тлеющая ненависть, ведь они были символом детства. Дети с нетерпением ждали, когда смогут впервые надеть «longies» — обычные штаны до щиколоток, без всяких пряжек.

Помню, как впервые надел длинные штаны. Я чуть не лопнул от гордости. Вышел на улицу и расхаживал по округе, чтобы другие заметили: в мире прибавился еще один взрослый. Но мне тогда было всего тринадцать, и я быстро узнал, что длинные штаны еще не делают тебя взрослым.

И все-таки меня поразило, когда немного погодя «shorties» пропали из обихода. Дети их больше не носят. Не знают этого дискомфорта — и это, по-моему, нечестно. Почему это меня заставляли носить знак позора, а сегодня никого не заставляют?

За мою жизнь случилось много перемен в одежде. В моей молодости каждый подросток носил кепку. Матерчатую кепку с козырьком. Козырек можно было заломить наверх или вниз, кепку можно было смять, делать с ней что хочешь — и она всегда оставалась пригодной для носки. Самый удобный головной убор в моей жизни; у некоторых были даже наушники для холодной погоды.

И вот их нет, пропали без следа. Слышал, в первых гангстерских фильмах кепки всегда носили злодеи, и потому американская публика — известная своей неспособностью думать самостоятельно, — от них отказалась.

Неважно. Я дорос до федоры[16] — «взрослой» шляпы. В итоге я ее возненавидел, хоть она и универсальная. В кино все надевали на улицу федору. Даже в драках, которые в дешевых фильмах случались часто, она ни за что не слетала с головы.

Для меня стало большим облегчением, когда федоры тоже пропали и все стали ходить с непокрытой головой. Конечно, с возрастом я нашел в шапке пользу — в ней тепло — но сейчас ношу меховую ушанку в русском стиле, которую, как и кепки времен моего детства, можно сунуть в карман. Круг замкнулся.

Я наблюдал и другие изменения в мужской моде. К костюмам раньше шли двое брюк. Теперь нет. Практически пропали жилеты. Штаны лишились подворотов (очень нужных для сбора катышков и камешков). Исчезли часы на цепочках.

Пуговицы на ширинках сменились молниями. Вот это дар небесный, потому что в моем детстве излюбленной игрой было подойти к ничего не подозревающей жертве и разорвать ей ширинку под издевательский смех. Не знаю, открывалось

---

[16] Примечания: 16

Федора — классическая мужская шляпа из мягкого фетра с тремя вмятинами на тулье и небольшими полями, обвитая атласной лентой. — Прим. ред.

ли там что-то достойное внимания, но стыд был ужасный, особенно если рядом находились девочки. Очевидно, если злодею удавалось оторвать пуговицу-другую, его победа становилась славнее, а чьей-то несчастной маме приходилось пришивать их обратно.

12. Долгие часы работы

Главным фактором моей жизни с шести до двадцати двух лет стала отцовская кондитерская.

У нее было множество достоинств. Отец работал на себя, его не могли уволить. Это было очень важно, когда после обвала рынка в 1929 году началась Великая депрессия. Миллионы безработных без страховки, без государственных выплат, без веры, что общество готово хоть чем-то помочь несчастным, кроме как время от времени подкинуть грош на чашку кофе («Приятель, не будет мелочи?»[17]), — в таких условиях оставалось только торговать в драном пальто яблоками на углу, ковыряться в мусорных баках или голодать.

Великую депрессию было невозможно пережить без шрамов. Ее последствия — по крайней мере в Соединенных Штатах, — оказались масштабнее, чем от Второй мировой войны (если забыть о миллионах убитых, а это, конечно,

---

[17] Примечания: 17

Строчка из песни «Brother, Can You Spare a Dime?» (1932), одной из знаковых композиций времен Великой депрессии. Первым ее исполнил Бинг Кросби, однако сейчас существует больше 52 кавер-версий от самых разных музыкантов. — Прим. ред.

трудно). Ни один ребенок депрессии не мог стать яппи. После депрессии ничто не убедит человека в экономической стабильности мира. Постоянно ждешь, что банки закроются, фабрики встанут, а тебя уволят.

Что ж, семье Азимовых повезло. Конечно, не так уж сильно. Да, мы жили *бедно*, но у нас всегда было что положить в рот и чем заплатить аренду. Нам никогда не угрожали голод и выселение. А все почему? Кондитерская. Она нас поддерживала. Да, минимально, но во время Великой депрессии и минимум — это манна небесная.

Конечно, у этого была своя цена. У всего есть цена. На кондитерскую уходило все время отца и матери (хотя мать улучала моменты, чтобы приводить дом в маломальский порядок и готовить).

А значит, с шести лет я остался без традиционных родителей — без матери, которая сидит дома, часами хлопочет на кухне и в любой момент может с чем-то помочь; без отца, который возвращается вечером после работы, занимается с тобой чем-нибудь на выходных.

Зато я всегда знал, где их искать. В кондитерской, где же еще им быть. Пожалуй, хоть какая-то уверенность в жизни.

Когда мне было девять, а мать снова забеременела, мне пришлось работать. У отца не осталось выбора. А раз попав в кондитерскую, я из нее уже не выходил, пока не переехал и мне на смену не пришел брат — он, в конце концов, и стал причиной моего рабства. (Хотя я-то это рабством не считал, что вскоре и объясню).

Самым примечательным в кондитерской был долгий рабочий день. Отец открывался в шесть утра — и в снег, и в зной, и в ураган. Закрывался в час ночи. На сон ему оставалось четыре-пять часов. Наверстывал он двухчасовым послеобеденным сном. И так — *каждый* день, включая субботу, воскресенье и праздники.

Купив кондитерскую (всего у нас их было пять, сменяли одну за другой) в еврейском районе, мы не открывались в самые важные еврейские праздники, чтобы уважить чувства соседей, но в основном мы работали в нееврейских районах и там обходились без этого. Более того, помню, в редкие моменты, когда лавка стояла закрытой, мне было как-то не по себе, словно это странное противоестественное явление. И я вздыхал с облегчением, когда лавка снова открывалась и жизнь возвращалась в свою колею.

Как на меня повлияли долгие часы работы?

Если говорить о минусах, то они съели практически все мое свободное время. Они убили надежды на общественную жизнь даже в подростковые годы, и во время, когда бы я мог открыть для себя женщин, мне это оставалось делать только на расстоянии.

В школе я не участвовал во «внеклассных занятиях», не вступал в кружки или спортивные команды, потому что меня ждали дома, в лавке. Это повредило моему послужному списку. Без внеклассных занятий я так и не попал в список почетных выпускников, но все же не пытался оправдываться домашней ситуацией. Показалось бы, будто я жалуюсь на родителей, чего мне не хотелось.

И все же я был не против работать.

Конечно, надо быть куда глупее, чем был я, чтобы не понимать, что только кондитерская и стояла между нами и гибелью.

И надо быть куда несознательнее, чем, надеюсь, я есть, чтобы наблюдать, как отец и мать выбиваются из сил, и не помочь.

Но дело не только в этом. Были и плюсы. Должно быть, мне нравилась долгая работа, потому что, став старше, я ни разу не подумал: «Я упорно трудился все детство и молодость, а теперь рас-

слаблюсь и буду спать до полудня».

Напротив. Я всю жизнь придерживаюсь часов работы нашей кондитерской. Встаю в пять утра. Приступаю к работе как можно раньше. Работаю как можно дольше. И так каждый день, включая праздники. Я не ухожу в отпуск по настроению, даже на отдыхе стараюсь не сбиваться с темпа. (И даже в больнице.)

Другими словами, я до сих пор в кондитерской и всегда там буду. Конечно, я не жду покупателей; не принимаю деньги и не выдаю сдачу; мне не приходится быть вежливым со всеми, кто придет (это мне на самом деле как раз никогда не давалось). Я делаю что хочу — просто у меня есть график; график, который мне вбили в голову; график, против которого, можно подумать, я бы взбунтовался, представься мне шанс.

Могу лишь сказать, что у кондитерской были определенные преимущества, связанные не с одним только выживанием, но и с захлестывающим счастьем, и оно настолько увязалось у меня в голове с долгими часами работы, что я полюбил их всей душой и соблюдал всю жизнь. Сейчас я объясню, что имею в виду.

13. Бульварное чтиво

В 1920-х и 1930-х не существовало телевидения. Практически не издавалось комиксов. (Было, конечно, радио, и на какое-то время главным увлечением страны стали такие передачи, как «Эмос и Энди»[18]). Но в целом ниша помойной пищи для ума заполнялась «палп-журналами».

Они так назывались, потому что производились из дешевой целлюлозной бумаги (pulp), которая быстро желтела и становилась хрупкой. Они были шершавыми с грубыми краями. Их противоположностью выступали «глянцевые журналы» с гладкой поверхностью и хорошей бумагой, где, на мой взгляд, печатали чуть более солидную помойную пищу для ума.

Палп-журналы выходили раз в месяц, в некоторых случаях — два, а иногда — даже каждую неделю. Поначалу в них печатались эклектичные мелодраматичные остросюжетные истории всех

---

[18] Примечания: 18

«Эмос и Энди» — комедийный радиосериал о приключения двух чернокожих мужчин, перебравшихся из сельской местности сначала в Чикаго, а затем в Нью-Йорк; один из первых ситкомов на радио. В различных форматах выходил с 1928 по 1960 год. — Прим. ред.

мастей от разных авторов (примеры — Argosy[19] и Blue Book[20]), но в итоге оказалось, что аудитория предпочитает жанровую литературу.

Люди хотели читать детективы, или ужастики, или вестерны, или истории о любви, или войне, или спорте, или джунглях, или что-то еще, часто исключая все остальное. Следовательно, они покупали журналы, посвященные конкретной тематике.

Пожалуй, самыми успешными были палп-журналы, посвященные супергероям. Конечно, самый великий — Тень с его странным смехом и способностью перемещаться как призрак, который дважды в месяц вставлял палки в колеса злодеям. Были Док Сэвэдж — «Человек из Бронзы» — с пятью довольно комичными помощниками. Были Паук, Секретный агент Икс и Оперативник 5. Были G-8 и его Боевые Асы, которые одной левой побеждали кайзера Германии, месяц за месяцем срывая зловещие научные пла-

---

[19] Примечания: 19

Argosy — популярный американский палп-журнал, выпускавшийся с 1882 по 1978 годы считается первым американским изданием такого рода. — Прим. ред.

[20] Примечания: 20

Blue Book — популярный американский палп-журнал, выходивший с 1905 по 1975 год; в период расцвета входил в «большую четвёрку» самых продаваемых изданий. — Прим. ред.

ны немецкого ученого Герра Доктора Крюгера.

От этого-то бульварного чтива отец и пытался меня оградить с помощью библиотечной карточки и в целом был прав — он даже не догадывался, куда меня заведет эта (нет, больше не буду называть ее помойной, слишком уж многим я ей обязан) довольно низкопробная писанина.

Но, когда я начал работать в кондитерской, не подпускать меня к журналам становилось все сложнее и сложнее, а я становился все настойчивее и настойчивее в требованиях их почитать. Я напомнил отцу, что он и сам постоянно читает журналы про Тень. Отец ответил, что учит английский, а я английский уже знаю и могу найти занятие получше. Он был прав, но я не унимался, и он наконец уступил, так что я прибавил к своему библиотечному чтению и палп-журналы.

Как раз эти журналы из кондитерской я и ценю превыше всего; это они примирили меня с работой, долгими часами и всем прочим, что может показаться утомительным; это они помогли вести такой образ жизни даже после того, как кондитерской не стало. Если бы я там не работал, вряд ли бы смог их себе позволить. А так я читал все очень аккуратно и как будто бы нетронутыми возвращал на стойки для продажи.

Когда я подрос и был готов начать собственную писательскую карьеру, я читал с одинаковой жадностью как «хорошие книжки» из библиотеки, так и «низкопробную писанину» в палп-журналах. Так что же повлияло на мой стиль?

Уж простите. Бульварное чтиво.

Я с самого начала хотел создавать бульварное чтиво — по крайней мере, в конкретном жанре (до этого я еще дойду), поэтому мне хотелось писать так, как пишут рассказы в журналах. Я довольно наивно думал, что только так писать и надо.

Конечно, в результате мои первые пробы получились чрезвычайно бульварными. Перебор прилагательных и наречий. Герои чаще «шипели», чем просто «говорили». Слишком много действий, неестественные диалоги, нулевая проработка персонажей. (Вряд ли я тогда вообще знал, что такое проработка персонажей.)

А самое поразительное, что мои ранние рассказы — ну или по крайней мере некоторые из них — вообще публиковали. Я объясняю это двумя вещами. Во-первых, палп-журналы требовали материал в таких количествах, что понижали планку качества, иначе бы они вообще не смогли издаваться. Планка опускалась достаточно низко,

чтобы взяли меня.

Во-вторых, конкретное ответвление бульварного чтива, интересовавшее меня как *писателя*, было самым маленьким, самым нуждающимся, и, следовательно, туда было легче всего пробиться. Волею судеб с тех пор литературная планка моего конкретного жанра поднялась намного выше, и я отлично понимаю (о чем сам часто говорю), что, начинай я подростком *сегодня* — только с тем очевидным талантом, который у меня был в том возрасте, — я бы в жизни не пробился.

Вот как важно оказаться в нужное время в нужном месте.

Конечно, я уже отошел от прежнего стиля. Со временем набил руку, бульварность ушла, хотя, может, и не совсем. Подозреваю, зоркий глаз и сейчас заметит в моих вещах наследие бульварщины, за что я прошу прощения и стараюсь исправиться как могу.

Раз уж мы заговорили о бульварном чтиве, позвольте сделать несколько оговорок. Оно процветало в довоенное время, а тогда расизм и расовые стереотипы были неотъемлемой частью американской жизни. Только Вторая мировая война и противостояние Адольфу Гитлеру вывели расизм из моды.

Я не хочу сказать, что после войны расизм окончательно исчез, пример Гитлера лишь погубил респектабельность этого воззрения для всех, кроме троглодитов, которые всегда будут среди нас. Люди по-прежнему могут во всех отношениях оставаться расистами, но говорят об этом с осторожностью, а если им хватает приличия (и у большинства хватает), то и борются с ним в себе.

Довоенное бульварное чтиво было откровенно расистским, против чего никто не возражал. Не возражали даже жертвы этого расизма. Тогда меньшинства еще не обзавелись воинственностью и уверенностью в себе.

Так что герои бульварного чтива — неизменно стопроцентные американцы северо-западноевропейского происхождения.

А все остальные… Что ж, если их вообще упоминали, то итальянцы были немытыми шарманщиками, русские — мечтательными мистиками, греки — смуглокожими и ненадежными, евреи — комичными персонажами, жадными до денег, афроамериканцы — комичными персонажами и либо трусами, либо убийцами (смотря чего требовал сюжет), китайцы — утонченными и

жестокими (в те времена доктор Фу Манчу[21] считался совершенно приемлемым злодеем). Все, кроме северо-западных европейцев, разговаривали с сильными акцентами, которых в реальной жизни не услышишь. (Если на то пошло, фильмы того периода ничем не лучше, и сейчас просвещенный зритель постыдится смотреть многие из них.)

Все это принимал даже я.

Но, когда пришло время заняться творчеством, я, несмотря на всю бульварность моего стиля, старался избегать стереотипов. Уж в этом надо отдать мне должное. Однако все мои персонажи носили имена вроде Грегори Пауэлл, Майк Донован[22] и так далее. Только позже я начал пробовать называть героев с национальным колоритом.

Есть и еще одна довольно любопытная черта

---

[21] Примечания: 21

Доктор Фу Манчу — отрицательный персонаж ряда комиксов, фильмов, сериалов и книг, представляющий собой стереотипное расистское воплощение азиатского злодея. Создан писателем Саксом Ромером в 1913 году. — Прим. ред.

[22] Примечания: 22

Грегори Пауэлл и Майкл Донован — персонажи ряда научно-фантастических рассказов из сборника Айзека Азимова «Я, робот» («Выход из положения», «Как поймать кролика», «Логика», «Хоровод», «Робби»), инженеры компании U. S. Robots and Mechanical Men, Inc., занимающиеся доводкой экспериментальных моделей перед сдачей заказчику или запуском в серийное производство. — Прим. ред.

бульварного чтива. Хотя злодеи то и дело угрожали женщинам, суть этих угроз никогда толком не объяснялась. На дворе стояли времена подавления любой сексуальности, и в «семейных журналах» о половых актах и угрозах сексуального характера разрешалось упоминать только очень расплывчато. Замечу, что никто не возражал против нескончаемого насилия и садизма — это для семьи считалось нормальным, — но никакого секса.

Так женщины сводились к субтильным манекенам и никак не участвовали в сюжете. Им угрожали (без уточнения), их ловили, связывали и заточали, чтобы, конечно, потом спасти невредимыми.

Женщин вставляли только для того, чтобы злодеи показались злее, а герои — героичнее. Во время спасения они играли чисто пассивную роль, а их реплики в основном состояли из криков. Не припомню (хотя, уверен, случались и редкие исключения), чтобы женщина вступила в бой и помогла герою; чтобы она взяла палку или камень и попыталась одолеть злодея. Нет, они напоминали ланей, что скромно пасутся и ждут, пока самцы выяснят отношения и решат, в чей гарем они теперь попадут.

В таких обстоятельствах любой настоящий самец (вроде меня, конечно), читая палп-журналы, быстро терял терпение на описаниях женщин. Заранее зная, что они будут только функциями, я хотел от них избавиться. Помню, как писал в журналы жалобы на женских персонажей — на само их существование.

Это одна из причин (не единственная), почему в первых рассказах я оставлял женщин за скобками. В большинстве случаев вообще о них не писал. Безусловно, это был недостаток — и очередной признак моего бульварного происхождения.

14. Научная фантастика

Одной из ветвей бульварного чтива — самой незначительной и неуважаемой — была «научная фантастика». Она вошла в эту сферу с журналом *Amazing Stories* («Удивительные истории»), первый номер которого появился в апреле 1926 года. Его редактор и, следовательно, отец-основатель журнальной фантастики, Хьюго Гернсбек, называл жанр «научнохудом» (scientifiction) — жуткий гибрид.

С редакторского места его вытеснили в 1929 году, после чего он тем же летом учредил два конкурирующих журнала *Science Wonder Stories* («Чудесные научные истории») и *Air Wonder Stories* («Чудесные воздушные истории»), которые скоро слились в *Wonder Stories* («Чудесные истории»). В связи с этими журналами он впервые заговорил о «научной фантастике».

Слово «наука» в новом журнале стало для меня манной небесной. Я убедил наивного отца, будто журнал под названием «Чудесные научные истории» — о науке. Так что научно-фантастические журналы были первым бульварным чтивом, ко-

торое мне разрешили читать. Возможно, отчасти поэтому, когда настало время мне самому стать писателем, я выбрал своим жанром научную фантастику.

Еще одна причина — научная фантастика активно захватывала юное воображение. Это она познакомила меня со Вселенной, особенно с Солнечной системой и планетами. Даже если я уже читал о них в научных книгах, именно фантастика отпечатала их в моем разуме раз и навсегда.

Был, например, трехчастный сериал Эдмонда Гамильтона[23] под названием «Мародеры Вселенной» («The Universe Wreckers»), выходивший в майском, июньском и июльском номерах *Amazing* 1930 года. Там Землю угрожали уничтожить пришельцы из-за пределов Солнечной системы, но им помешала отвага героев, отправившихся спасать мир на Нептун. (Намного интереснее и волнительнее, чем поймать какого-то там преступника!)

Там я впервые прочитал о Тритоне, крупнейшем из двух спутников Нептуна. Мелькнула на вторых ролях и Альфа Центавра, и, возможно,

---

[23] Примечания: 23

Эдмонд Гамильтон (1904–1977) — американский писатель-фантаст, один из основоположников поджанра «космической оперы». — Прим. ред.

тогда я впервые услышал о ней и осознал, что это ближайшая к нашей Солнечной системе звезда.

О принципе неопределенности, одном из базовых оснований современной физики, я впервые узнал, читая двухчастный сериал «Неопределенность» («Uncertainty») Джона В. Кэмпбелла-мл.[24] в октябрьском и ноябрьском номерах *Amazing* 1930 года.

Заметьте, я не говорю, что научная фантастика — надежный источник истинных научных знаний. Вообще-то во времена моей молодости дело обстояло даже наоборот. В те давние дни многие фантасты, будучи авторами бульварного чтива, пробовали себя как в этой сфере, так и во многих других, причем с откровенно рудиментарными познаниями. Писали и ретивые подростки со знаниями ненамного лучше.

И все же среди мусора обязательно найдутся жемчужины, и отыскать их предстояло разборчивому читателю. Например, с сентябрьского выпуска *Amazing* 1932 года писатель Дж. У. Скидмор вел серию рассказов о двух сущностях Пози и Неге, что, конечно, означало «положительный» и

---

[24] Примечания: 24

Джон Вуд Кэмпбелл-младший (1910–1971) — американский писатель-фантаст и издатель, оказавший колоссальное влияние на становление «золотого века» научной фантастики. — Прим. ред.

«отрицательный», и, подозреваю, в истории 1932 года я впервые узнал о протонах и электронах.

Как же мне повезло, что у отца была кондитерская, а не любой другой магазин. Впрочем, удача тут ни при чем. Это неизбежность. Отец был иммигрантом без всяких навыков, кроме умения вести учет, поэтому выбора у него не осталось. Ему не хватало знаний, чтобы стать мясником или пекарем, он бы вряд ли управился даже с бакалеей. Кондитерская, где продавались только упакованные товары (не считая подготовки к работе сифона, чему легко научиться), не требовала специализации и особых познаний. Проще некуда.

Кстати, одна трудность чтения журналов со стойки — читать приходилось быстро, чтобы никто не успел купить журнал, пока не закончу я. Если бы пришел покупатель и попросил «Дока Сэвэджа», пока я читал единственный экземпляр, его бы моментально вырвали у меня из рук. К счастью, научная фантастика пользовалась не самым высоким спросом. Не помню ни единого случая, когда мне пришлось отдать журнал раньше, чем я дочитал. И, конечно, если нам приходило несколько экземпляров, как часто и получалось, мне практически ничто не угро-

жало.

Часто один или несколько журналов из моего списка любимчиков оставались нераспроданными. Казалось бы, я мог оставить себе экземплярчик, но, когда выходил новый выпуск, старый еще разрешалось вернуть по оптовой цене, что отец и делал. Мне ни разу не разрешили оставить журнал себе, но я знал, что мы живем на грани, а потому не жаловался.

В конце концов, все остальное мне доставалось бесплатно. Я мог периодически пить шоколадную газировку, хотя сперва надо было спросить разрешения. Невежды зовут ее «эгг-крим», хотя там нет ни яиц, ни сливок. А есть там густой шоколадный сироп и газированная вода. И даже не пытайтесь найти современный эквивалент. Не знаю, что за синтетическую дрянь наливают нынче вместо сиропа, но в ней совсем нет вязкой шоколадной насыщенности того, что продавал в кондитерской отец. А мать часто готовила мне шоколадное солодовое молоко под предлогом, будто это полезно для растущего организма. И для *моего* организма — так и *было*. Полтора стакана молока, солода и щедрой порции доброго шоколадного сиропа, взбитого в пену, от которой оставались такие усы, что жалко вытирать.

Но я отвлекся…

Вас, наверное, удивляет, чем же бульварное чтиво помогло мне и моему интеллектуальному развитию. Отец называл его «мусором», и, хоть мне и неприятно это признавать, старик был прав где-то на 99 %. Но вот что скажу я.

Хоть бульварное чтиво и было мусором, оно заставляло людей *читать*. Молодежи, жаждущей нелепых, неуклюжих, неровных, полных клише рассказов, чтобы удовлетворить свой интерес, приходилось, читать слова и предложения. Аудитория из-за этого становилась грамотнее, а небольшой ее процент даже переходил на что-то-то покачественнее.

Теперь посмотрим, что с тех пор изменилось. В конце 1930х рынок наводнили комиксы, палп-журналы уступили в борьбе. Из-за Второй мировой начался дефицит бумаги — и их позиции ослабли еще больше. Приход телевидения добил остатки палп-журналов (за исключением, как это ни удивительно, научной фантастики).

В общем за последнюю половину века наметился переход от слова к картинке. Комиксы повысили уровень просмотра и снизили уровень чтения. Телевидение довело эту тенденцию до предела. Даже глянцевые журналы вымира-

ли из-за конкуренции со стороны журналов с картинками 1940-х и появившихся позднее журналов для девочек.

Короче говоря, эпоха бульварного чтива стала последней, когда подросткам, чтобы дорваться до примитивных сюжетов, приходилось быть грамотными. Теперь это в прошлом, и тинейджеры не сводят остекленевших глаз с телевизора. Результат налицо. Истинная грамотность стала утраченным искусством, а нация неуклонно «отупляется».

Мне тяжело это видеть, и, оглядываясь на времена бульварного чтива, я тоскую не только по своей юности, но и по обществу.

15. Начало писательства

Я начал писать в 1931 году, в одиннадцать лет. Тогда я не писал научную фантастику, а взялся за кое-что попримитивнее.

До периода бульварного чтива существовала эпоха «грошовых романов»[25]. Я застал самый ее конец. Когда отец приобрел первую кондитерскую, он продавал в ней старые пыльные потемневшие книжки в мягких обложках о Нике Картере, Фрэнке и Дике Мерриуэлле.

О каждом из этих персонажей — и, полагаю, множестве других — выходили десятки и десятки книг. Ник Картер — детектив и мастер маскировки. Фрэнк и Дик Мерриуэллы — истинно американские мальчишки, постоянно побеждавшие в трудных бейсбольных матчах во имя старого любимого Йеля. Я их ни разу не читал. Отец категорически запрещал, а когда он наконец разрешил приобщиться ко всякому мусору, тех грошовых романов уже не осталось.

---

[25] Примечания: 25

«Грошовые романы» (dime novels) — разновидность популярной художественной литературы, выпускавшаяся в виде дешевых книг с бумажной обложкой. Были распространены в США со второй половины XIX — до 20-х годов XX века. — Прим. ред.

Были «серии» — книги в твердых обложках с каким-нибудь центральным персонажем, о котором постоянно выходили новые истории. Какие-то серии предназначались для очень маленьких детей, например книги о Банни Брауне и его сестре Сью (в детстве я даже читал одну или две), а для детей постарше — о близнецах Боббси, о приятелях Дэйруэлл, о Рое Блейкли, о Роппи Отте и так далее. (Такие книги просуществовали многие десятки лет — особенно о братьях Харди и о Нэнси Дрю.)

В дни моего детства наибольшей популярностью пользовалась серия о братьях Роверах. В книге «Братья Роверы на Великих озерах» («The Rover Boys on the Great Lakes») промелькнула девушка по имени Дора — такого примитивного примера «романтического интереса» я больше нигде не замечал. У нее была дружелюбная, но беспомощная мать, становившаяся постоянной жертвой скользкого мошенника мистера Крэбтри. Там присутствовала и более отъявленная парочка злодеев, отец и сын (хотя папаша в итоге исправился).

Начиная писать, я прямо и даже слепо подражал этой книге. Я назвал ее «Гринвилльские приятели в колледже» («The Greenville Chums in

College»).

А теперь вопрос: почему я начал писать?

Я часто рассказываю о своих первых шагах и говорю обычно, что мне не нравилось жить без *постоянного* чтения, довольствуясь только книгами, которые приходилось возвращать в библиотеки, или журналами, которые приходилось возвращать в кондитерскую. Мне пришло в голову сделать копию книги и оставить себе. Для этого я выбрал издание о древнегреческой мифологии и уже через пять минут понял, как это непрактично. И тут наконец меня посетила другая идея — писать для постоянной библиотеки собственные книги.

Это, несомненно, одна из причин, но к ней вся мотивация не сводится. Должно быть, меня просто неодолимо тянуло выдумывать истории.

А почему нет? Многих людей тянет выдумать истории. Это наверняка распространенное человеческое желание — неприкаянный разум, таинственный мир, ощущение соперничества, когда историю рассказывает кто-то другой. Разве у костра не рассказывают истории? Разве множество общественных мероприятий не посвящено воспоминаниям? Разве нам всем не нравится рассказывать о том, что произошло на самом

деле? И разве эти истории неизбежно не приукрашиваются и не улучшаются, пока совсем не утрачивают всякое сходство с реальностью?

Можно представить, как первобытные люди сидели у огня и рассказывали о великих охотничьих подвигах, нелепо преувеличивая истину, но никто не задавал лишних вопросов, потому что и сам готовился столь же красочно солгать. Особенно лихую историю будут повторять еще долго и припишут какому-нибудь предку или легендарному охотнику.

Неизбежно, если кто-то будет рассказывать особенно хорошо, на его талант появится спрос во время досуга. Возможно, за действительно интересную байку даже наградят куском мяса.

Естественно, тогда рассказчик постарается сочинять больше, лучше и увлекательнее.

Не знаю, какие тут могут быть сомнения. Большинство рождается с тягой рассказывать истории, а если это в должной степени сочетается с талантом и желанием, подавить ее уже невозможно. Так и было в моем случае.

Я просто *должен* был писать.

«Гринвилльских приятелей в колледже» я, конечно, так и не закончил. Написал восемь глав и иссяк. Потом попробовал написать что-то еще,

а когда снова выдохся, попробовал что-то еще, и так в течение семи лет.

Писать было волнительно, потому что я никогда не планировал наперед. Я сочинял на ходу, и это очень напоминало чтение книги, которую я еще *не написал*. Что случится с персонажами? Как они выберутся из этой передряги? Ради этого волнения я и писал в те ранние годы. И даже в самых безумных мечтах не представлял, что мои вещи опубликуют. Я писал не из-за амбиций.

На самом деле я до сих пор пишу именно так, сочиняя на ходу, с одним важнейшим исключением. Я узнал, что нет смысла придумывать по мере продвижения, если у истории нет четкой и определенной развязки. В ранних рассказах я выдыхался потому, что ее не было.

Сейчас я придумываю проблему, а потом *решение для этой проблемы*. Затем начинаю писать, сочиняя на ходу, тем самым сохраняя волнение от раздумий, что произойдет с персонажами и как они выберутся из передряг, но неуклонно продвигаясь к известному пункту назначения, чтобы не потеряться по дороге.

Когда новички спрашивают у меня совет, я всегда твержу об этом. Знайте свою концовку, говорю я, иначе река сюжета в итоге зачахнет в

песках пустынь и так и не впадет в море.

16. Унижение

Я уже сказал, что всегда считал себя исключительным, с самого детства, и никогда в этом не сомневался. Надо ли говорить, что не все были со мной согласны?

Я говорю не о тех, кто замечает моих изъяны, говорливость, навязчивость, увлеченность собой, бестактность. Я тоже это сознаю и стараюсь (с переменным успехом) исправиться. Я говорю о тех, кто не считал меня исключительным интеллектуалом и не признавал мои необычные (или вообще любые) таланты.

Первые шесть лет школы я учился с поразительной легкостью и пребывал в полной уверенности, что никто из одноклассников не в силах сравниться со мной. Но все кончилось в 1932 году, когда я перешел в старшую школу и поступил в десятый класс.

Одна проблема заключалась в том, что я пошел не в районную старшую школу — школу Томаса Джефферсона. Мне хотелось в Старшую школу для мальчиков — она находилась на довольно приличном расстоянии, хотя все еще в Бруклине

— боро[26], где я провел юность. В те дни Старшая школа для мальчиков считалась элитной, и мы с отцом думали, что учеба там увеличит мои шансы поступить в хороший колледж.

Но это же значило, что туда собирались «самые умные» со всего боро, и кое-кто был поумнее меня — по крайней мере, если судить по оценкам. Я это сразу понял, когда, с полной уверенностью, что я — великий математик, попытался вступить в математический кружок (Старшая школа для мальчиков неизменно выигрывала олимпиады по этому предмету). Там я быстро выяснил, что другие ученики знали то, о чем я даже и не слышал, и в смятении был вынужден уйти.

Еще через некоторое время я стал замечать, что многие одноклассники учатся лучше меня по тому или иному предмету. Это меня не смутило. Я помнил, что в предыдущей школе один мальчик выиграл приз по биологии, но отставал в математике, а второй выиграл приз по математике, но отставал в биологии — я же занял второе место *в обоих случаях*.

К сожалению, еще я обнаружил, что у некото-

---

[26] Примечания: 26

Боро — единица административного деления города Нью-Йорк. Нью-Йорк состоит из 5 боро: Манхэттен, Бруклин, Куинс, Бронкс, Статен-Айленд. — Прим. ред.

рых учеников даже средние баллы выше моих. То есть они не просто превосходили меня, а делали это постоянно. Средние баллы вывешивались всем на обозрение, и я с раздражением отыскивал свое имя на десятом или двенадцатом месте. (Еще не позор, но я уже не был «самым умным»).

На меня это произвело такое впечатление, что я до сих пор, спустя полвека, помню имена трех учеников, обгонявших меня. Это удивительно для такого человека, как я, — слишком эгоцентричного, чтобы запоминать чужие имена. Очевидно, *эти* ученики меня сразили наповал.

Это не поколебало веру в мою исключительность, но я все же пытался самостоятельно найти объяснение. Я всегда пытаюсь найти объяснение самостоятельно, а в том случае у меня не осталось другого выбора. Не мог же я к кому-нибудь подойти — особенно к учителю — и спросить: «Почему у них оценки лучше?»

Очевидный ответ: «Потому что они умнее тебя, Азимов, наглый ты ребенок, чему я очень рад». Не это я хотел услышать и тем более принять.

Взамен я рассудил, что эти незаурядные дети происходили из благополучных обеспеченных семей, росли в интеллектуальной атмосфере, имели предостаточно времени для учебы и были

умными, потому что так модно.

А на мне все еще была кондитерская, так что времени для учебы оставалось не так много. К тому же я не очень-то его искал. Я упрямо верил, что мне просто не надо учиться. Я читал учебники, слушал учителя — и на этом все.

Вот только верить мало, и если бы я действительно хотел посоперничать, действительно хотел бы получать более высокие отметки, то я бы постарался, но я отказывался. Я решил, что не нуждаюсь в этом, ведь мне не надо доказывать самому себе свою исключительность рекордными отметками. Мое удовольствие от того, что я — это я, не поколебалось. В конце концов, я же был не просто школьником — я был *писателем*.

Но я все равно был обречен пострадать от унижения в старшей школе. Я действительно страдал — сильнее удара мое эго до тех пор не получало. В 1934 году учитель английского Макс Ньюфилд, консультант школьного литературного журнала, выходившего раз в полгода, решил устроить особый класс творческого мастерства, надеясь собрать таким образом побольше материала. Я тут же записался туда. Мне исполнилось всего четырнадцать, а всем остальным — шестнадцать-семнадцать, зато я был *писателем*.

Большая ошибка. Нам задали сочинение, и я написал нечто бесповоротно отвратительное. Когда Ньюфилд вызвал добровольцев прочитать свою работу, взлетела моя рука. Не успел я прочитать и четверти, как учитель прервал меня и назвал мою писанину оскорбительным непристойным словом. (Я еще никогда не слышал, чтобы учитель говорил «грязные слова», и был в шоке.). Но одноклассники даже не удивились. Они оглушительно хохотали надо мной, пока я, сгорая от стыда и унижения, возвращался на место.

Но я не ушел из класса. Я знал, в чем моя ошибка. Я пытался писать «литературно», хотя толком не знал, как это делать. *Такую* ошибку я больше не допущу. (И не допустил. Другие случались, но не эта.) Я твердо вознамерился стать лучше.

Наконец нас попросили написать что-то специально для литературного журнала, и я снова угрюмо взялся за дело. Я сочинил эссе «Младшие братья» о том, как пять лет назад в нашей семье появился малыш. Я пытался писать весело. Ньюфилд даже принял мою работу и в итоге опубликовал — мой первый значительный текст в печати.

Я попытался поблагодарить Ньюфилда, надеясь, что он отметит мой прогресс, но не дождался

ничего подобного. Оказывается, в разгар Великой депрессии все ученики, изрядно ей потрепанные, написали мрачные тексты в духе Достоевского. И только я, спасенный кондитерской, выдал что-то позитивное. Ньюфилд искал именно такой текст — и мой оказался единственным. Учителю хватило неприличия и жестокости, чтобы сказать, по какой причине была принята моя работа. Он даже добавил в журнале примечание редактора, где чуть ли не извинялся за свой выбор.

И как я это пережил?

Скажу без прикрас: меня это потрясло до глубины души, и уже не помню, как получилось себя убедить, что я все-таки хороший писатель и сумею добиться успеха. Видимо, я просто упрямо держался за собственное хорошее мнение о себе и нашел прибежище в ненависти к Ньюфилду. (Я редко ненавижу по-настоящему, но *его* — ненавижу.)

У всех «успешных» людей наверняка есть мысли из разряда «если бы такой-то знал об этом, он бы пожалел о своих словах». Или «она еще пожалеет, что меня отвергла». Вас может знать и восхвалять целый мир, но все портит кто-то из прошлого — навечно недостижимый, навечно недооценивший. Всегда остается клякса, пятно

тьмы, неутолимая боль.

В моем случае это Ньюфилд. Думаю, он умер раньше, чем я действительно прославился, а значит, так и не осознал, что наделал. Но время от времени я все-таки жалею, что у меня нет машины времени, чтобы вернуться со своими книгами и статьями обо мне в 1934-й и сказать ему: «Как тебе такое, вшивый поганец? Ты-то и не знал, кто у тебя учится. Если бы ты правильно со мной обращался, вошел бы в историю как человек, раскрывший мой талант, а войдешь только как вшивый поганец».

Более того, за полвека страданий я так расковырял эту рану, что недавно написал рассказ «Путешественник во времени» («Time Traveler»), где персонаж, пострадавший точно так же, как и я, вернулся-таки в прошлое. К сожалению, я писатель и потому был вынужден закончить все драматично и правильно, а совсем не так, как меня бы действительно устроило. (Нет, концовку я не расскажу.)

Мое единственное удовлетворение: где-то еще существуют выпуски того литературного журнала с «Младшими братьями». Например, один есть у меня. И я вас уверяю: в содержании нет ни одного известного имени, кроме моего. В

число поэтов входил Альфред Э. Дакетт, молодой талантливый афроамериканец, написавший впоследствии значительные вещи, но по большому счету единственное узнаваемое имя — мое. На свете есть коллекционеры, вполне готовые, наткнувшись на этот выпуск, выложить за него кругленькую сумму только по той причине, что в нем опубликован мой первый текст — тот самый, за который извинялся Ньюфилд.

Когда нам раздали школьный альбом, в нем был список — лучший ученик, лучший писатель, лучший тот, лучший этот… Не стоит и пояснять, что меня не назвали лучшим ни в чем, и незачем говорить, что никто из этих лучших (насколько мне известно) не сделал себе имя. Я во всем альбоме, честно признаться, упомянут только в одном месте — под своей фотографией, и то там сказано: «Когда он смотрит на часы, они не просто останавливаются, а идут в обратную сторону». Детское остроумие.

Нет, мою школьную карьеру ни в каком отношении успешной не назовешь, хотя выпустился я с очень высоким средним баллом. Причем несмотря на то, что я, к своему немалому ужасу, с некоторыми предметами не справлялся.

Я привык с одинаковой легкостью осваивать

любые академические предметы — от грамматики до алгебры, от немецкого до истории. Но в Старшей школе для мальчиков у меня был семестр экономики, и я с огромным удивлением обнаружил, что ничего в ней не понимаю. Лекции учителя не помогали, от чтения тоже толку не было. Впервые в жизни я уперся в стену — предмет, который наотрез отказывался мне поддаваться.

И мне пришлось все это пережить. Я терпел и унижение в классе творческого мастерства, и то, что по среднему баллу не вхожу даже в первую полудюжину, и то, что меня совершенно забыли в альбоме, и то, что я не понимаю отдельные предметы.

Я выжил. По крайней мере, не помню, чтобы опускал руки. Я все равно оставался исключительным и намеревался показать это миру. Я окончил школу в 1935 году — всего в пятнадцать лет.

17. Неудача

Я собирался поступать в Колумбийский колледж — элитную подготовительную школу Колумбийского университета. Отец не мог позволить себе оплату за обучение, но предложил переживать об этом потом. Сперва надо было поступить. Я отправился на собеседование в Колумбийский университет — и впервые ступил на его кампус 10 апреля 1935 года.

Меня не приняли. Я знаю, почему. Квота на евреев в Колумбийском колледже уже была заполнена. Так я впервые столкнулся с «мешающим эффектом» антисемитизма. Но со мной обошлись человечно, а отказ объяснили тем, что я не подхожу по возрасту. Поступить на первый курс Колумбийского колледжа можно было только с шестнадцати. Мне предложили пойти в Младший колледж Сета Лоу — другую подготовительную школу университета. (Я обратил внимание, что там минимальный возраст для поступления — тоже шестнадцать, но в менее элитной школе это, видимо, роли не играло.) Он находился в Бруклине, его образовательная

программа длилась два года, а последние два года я мог доучиться со студентами Колумбийского колледжа.

Я согласился. Мне практически ничего иного и не оставалось.

Но не согласился отец. Он был готов практически на все, даже занять деньги, лишь бы отправить меня в Колумбийский колледж, а не в Сета Лоу. Так что я смирился и пошел в Сити-колледж, куда тоже подавал документы и где меня приняли. Он был бюджетный, но в духе школ гетто — строго еврейский, и у выпускников было немного шансов найти хорошую работу.

Там я провел три унылых дня, и единственное, что осталось из них в памяти, — это медицинский осмотр. Всем в картах ставили WD, а мне поставили PD. Я поинтересовался. WD, объяснили мне, означает «well developed» — «хорошо развитый». PD же означало «poorly developed» — «плохо развитый». То, что я на три года младше остальных, в расчет не принималось. Я чувствовал себя глубоко оскорбленным.

Но потом пришло письмо из Сета Лоу. Куда это я пропал? Отец, открыв письмо, позвонил, чтобы объяснить: это нам не по карману. Там предложили стодолларовую стипендию — и он не смог

устоять. Меня перевели в Сета Лоу. Позже я получил письмо из Сити-колледжа. Они просмотрели результаты теста умственного развития, который сдавали студенты, и теперь им не терпелось поговорить со мной. Я отписал им довольно холодное письмо и сказал, что уже поздно. Я поступаю в Колумбийский. («Плохо развит», тоже мне.)

(Из-за этого случая, кстати говоря, у нас случилась большая ссора с отцом. В России письмо было таким редким явлением, что его открывал тот, кому оно первому попало в руки. Я с обидой объяснил, что в Штатах все устроено иначе. Письма, адресованные мне, открывать могу только я. Отца эта категоричность удивила, но с тех пор моя почта оставалась неприкосновенной.)

Сет Лоу тоже оказался колледжем в стиле гетто — наполовину еврейским, наполовину итало-американским. Оказывается, туда поступал излишек абитуриентов, не втиснувшихся в квоты Колумбийского.

Сету Лоу успех не сопутствовал. Стоило мне закончить первый курс, как его закрыли, и нас массово перевели в кампус в Морнингсайд-Хайтс. Оставшиеся годы я слушал лекции со студентами Колумбийского колледжа, сдавал такие же тесты и оценивался по тем же стандартам.

Но был ли я студентом колледжа? Нет. Я считался просто студентом (undergraduate student). При выпуске все студенты Колумбийского колледжа получили диплом BA — бакалавра искусств, благородное звание. Я получил BS, то есть бакалавр наук, менее почетную степень. Я думал, дело в том, что у меня специальность из сферы естественных наук, но нет, как я впоследствии узнал, так там обходились со всеми гражданами второго сорта — очередной источник моего раздражения.

Более того, в итоге университет учредил в качестве своей подготовительной программы Общеобразовательную школу. Главным образом там учились вечерники, которые днем работали. В этом учебном заведении они имели разные статусы, в том числе и студентов. А значит, я числюсь выпускником Общеобразовательной школы, и любой ленивый биограф решит, что я учился на вечернем. *Это не так.*

Разумеется, в конце концов Колумбийский университет в достаточной степени удовлетворился моими достижениями, присвоил мне почетную докторскую степень, превозносил меня и звал выступить на том или ином мероприятии. А когда меня пригласили выступить в Колумбийский

колледж, у меня уже хватило влияния заявить, что я приду, только если меня официально занесут в список выпускников 1939 года. Они сделали это, и в 1979 году я посетил встречу в честь сорокалетия со дня выпуска. Не потому, что хотел (обычно я не хожу на встречи выпускников, потому что не особо ценю погружение в ностальгию), но тогда пришел, чтобы, так сказать, заявить права. Я не знал больше никого на встрече, а они мало знали обо мне — вряд ли кто-то помнил, что я был их однокурсником.

Выходит, во многом мои годы в колледже — неудача посерьезнее старшей школы. Ухудшились и мои оценки. В начальной и средней школе я считался самым умным. В старшей — одним из самых умных. В колледже я стал просто умным.

Но самая большая неудача поджидала меня в конце обучения.

Дело в том, что опасным было само по себе окончание учебы. Пока я ходил в младшую, среднюю, старшую школу и колледж, я был школьником, жил дома, работал с семьей, вел привычную и размеренную жизнь.

Но годы шли, приближались выпуск и диплом бакалавра, мне предстояло искать работу. Выпускался я в 1939-м. Мне исполнялось девятнадцать,

и ситуация с работой оптимизма не внушала.

А главное, некоторые дороги были для меня закрыты, что бы я ни делал. Никаких шансов устроиться туда, где евреев не принимали по определению, — естественно, именно там и начиналась карьерная лестница к самым престижным и прибыльным позициям. Но не буду оправдываться антисемитизмом. Даже *не будь* я евреем, но все еще оставаясь собой, меня бы никуда не взяли. Я производил не лучшее впечатление — нескладный, прыщавый, улыбался до ушей без причин, отчего, по-моему, у меня было довольно глупое выражение лица, да вдобавок невероятно неуклюжий в разговорах. Представить не могу, чтобы я кому-то понадобился.

Единственным решением оставалось продолжать учебу и, если возможно, готовиться работать на самого себя. По странному стечению обстоятельств в итоге я достиг этой цели, сам того не заметив. На предпоследнем и последнем курсах я продал свои первые два-три рассказа и заделался профессиональным писателем.

Но я еще даже не помышлял, что смогу заработать творчеством больше нескольких долларов на карманные расходы. Мысль о писательстве как *карьере*, к тому же прибыльной, могла прий-

ти в голову только человеку с манией величия, а я, несмотря на всю свою самоуверенность, все же не такой.

Среди открытых для евреев профессий с частной практикой наиболее престижными и перспективными казались врач, стоматолог, юрист, бухгалтер и так далее. Лучше всего, конечно, врачу. Множество нью-йоркских медиков были евреями — для нас это считалось верной дорогой к успеху в слегка антисемитском обществе.

Так вышло, что на это уже давно рассчитывал отец. Как только я окончу колледж, рассуждал он, я, естественно, поступлю в медицинский университет и стану врачом. Мне никогда не приходило в голову спорить по таким вопросам, поэтому, разумеется, я тоже так думал.

Но со временем меня стали одолевать сомнения. Во-первых, откуда взяться деньгам? Я не мог позволить себе оплату обучения, учебники и инструменты. Даже колледж получилось оплатить только каким-то чудом — с помощью летней подработки, нескольких проданных рассказов, мизерных стипендий и практически всех семейных накоплений. Лишних денег у нас не водилось. А медицинский гораздо дороже. Заработать на него шансов не было.

Что хуже, в 1938 году у моего отца развилась стенокардия, из-за чего встал серьезный вопрос, сможет ли он дальше работать в кондитерской и не придется ли мне занять его место, поставив крест на всех надеждах, кроме карьеры лавочника.

К счастью, отец, тогда весивший сто килограммов, целеустремленно сбросил вес до семидесяти и больше не толстел до конца жизни. Он принимал лекарства и продолжал работу в кондитерской, но вариант с учебой в медицинском все равно оставался сомнительным.

Плюс ко всему был еще и вопрос отъезда из дома. Что, если бы меня приняли в университет где-нибудь в Огайо или Неваде?

Факт остается фактом: я прожил дома всю жизнь и покидал Нью-Йорк только в очень редких случаях и на кратчайшие сроки. Опять же, как и в случае с долгими часами работы, я бы мог взбунтоваться и, как только появится шанс и исчезнет необходимость оставаться дома, с огромным удовольствием отправился бы постигать мир. Мой брат Стэнли так и поступил. Они с женой объехали весь свет и остались в полном восторге.

К сожалению (или, возможно, к счастью — кто

тут разберет?), во мне желание путешествовать зачахло. Я не хотел уезжать из дома. Даже боялся этого. Я не мог уснуть от мысли, что придется перебраться в другой штат, жить одному и самому о себе заботиться. Я этого просто *не умел*.

Конечно, со временем мне пришлось покинуть дом, заботиться о себе и в придачу о жене с детьми. Но каждый раз, когда я могу назвать какое-то место своим домом, я мгновенно привязываюсь к нему и не хочу оттуда уезжать.

Так было всегда, и со временем моя неприязнь к путешествиям, мое желание оставаться дома в комфортном и знакомом окружении только усилились. На данный момент я живу в Манхэттене и провел здесь больше двадцати лет. Я делаю все от меня зависящее, чтобы не покидать Манхэттен. Говоря совсем откровенно, меня даже из квартиры не особо тянет выходить. Ужасно завидую литературному детективу Ниро Вульфу[27], который практически ни разу не выходил из своего дома на Западной Тридцать Пятой улице.

Следующая причина — самая простая. Чем

---

[27] Примечания: 27

Ниро Вульф — персонаж детективных произведений американского писателя Рекса Стаута, отличавшийся пристрастием к высокой кухне и сильным избыточным весом. Все преступления Ниро Вульф расследует, не покидая своего кабинета, на основании информации, добытой его помощником Арчи Гудвином. — Прим ред.

больше я думал, тем больше понимал, что не хочу быть врачом — никаким. Я не переношу вида крови, меня мутит от одних разговоров об увечьях и чрезвычайно удручают описания болезней. Я по своему опыту знаю, что люди привыкают ко всему. Привык и я, когда взял в колледже курс зоологии, но повторять этот болезненный процесс больше не хотелось.

К счастью, проблема медицинского разрешилась сама собой. Я подавал документы только в пять профильных вузов Нью-Йорка (поскольку твердо настроился не уезжать из дома). Два, в том числе Колледж врачей и хирургов Колумбийского университета, отказали мне сходу — возможно, из-за квоты на евреев. В остальные три я ходил на собеседования и, как обычно, произвел не лучшее впечатление. Обратите внимание — не специально: я изо всех сил старался быть очаровательным и приятным, но это просто не мое — по крайней мере, так было в то время.

Меня отвергли все пять, когда я еще учился на третьем курсе, а когда я подал документы через год, отказы пришли еще быстрее.

Это ужасно разочаровало отца. Впервые его исключительный сын попробовал силы в чем-то значительном — и проиграл.

Полагаю, ему казалось, что в этом есть моя вина (а так оно и было), поэтому отношения между нами на какое-то время охладели. Сам я точно пострадал от уязвленной гордости — я все-таки человек. Моего лучшего друга по колледжу — с худшей успеваемостью, зато очень презентабельного, — *приняли* в медицинский, и ненадолго мной овладело болезненное чувство зависти, которое я почти никогда не испытываю.

Впрочем, я все же оправился, и дальнейшая жизнь только подтвердила мои мысли, что мне не дано быть врачом. Даже если бы денег на учебу хватило, меня бы подвергли новым унижениям, а затем и вовсе бы отчислили — просто потому, что у меня нет нужных способностей и, что важнее, подходящего темперамента.

Какой бы это был *удар*. Вот от него я бы мог уже и не оправиться. Я всегда вспоминаю об этом опасном периоде жизни с огромной благодарностью к прозорливости и уму тех, кто составлял требования для поступления и постарался не допустить меня в медицинский.

18. Футурианцы

Я стал «фанатом» научной фантастики (это слово — сокращение от «фанатика», я не шучу) в середине 1930-х. Под этим я имею в виду, что не ограничивался только чтением. Я пытался приобщиться к жанру. И самым доступным способом стали письма в редакцию.

Во всех фантастических журналах печатались колонки с письмами, читателей призывали писать. Больше всего меня интересовал журнал *Astounding Stories* («Изумительные истории»). Он начал жизнь в 1930-м в издательстве Clayton Publications. После мартовского выпуска 1933 года его вместе с Clayton задушила Великая депрессия, но эстафету приняли Street & Smith Publications — самый крупный издатель бульварного чтива.

Так через полгода после своей смерти *Astounding* воскрес с октябрьским выпуском 1933 года. И под творческим руководством редактора Ф. Орлина Тремейна быстро стал самым успешным научно-фантастическим журналом — и просто лучшим. Он существует и сейчас, хотя сменил название

на *Analog Science Fact — Science Fiction*[28] («Аналоговый научный факт — научная фантастика»). В январе 1990-го журнал отпраздновал шестидесятый юбилей (но, к моему великому сожалению, я не смог прийти из-за болезни).

В *Astounding* я и написал свое первое письмо в 1935 году, и его напечатали. Как и любой фанат, я перечислил, какие рассказы мне понравились и не понравились, обосновал, почему, и попросил о гладких краях, а не типичных грубых из дешевой бумаги, которые крошились и оставляли повсюду ошметки. (В конце концов журнал стал печататься с гладкими краями. С таким решением тянули не из-за нелюбви к читателю. Сглаживание краев стоило денег.)

К 1938 году я писал в *Astounding* каждый месяц, и обычно меня печатали. Для меня это оказалось важнее, чем я мог себе представить.

Существовали и другие способы фанатеть. Некоторые знакомились друг с другом (например, через колонки с письмами — там указывались имена и адреса). Если жили неподалеку, то встречались, обсуждали рассказы, обменивались журналами и так далее. Это переросло в

[28] Примечания: 28

Сейчас он существует под другим названием — Analog Science Fiction and Fact или просто Analog. — Прим. ред.

фан-клубы. В 1934 году один журнал придумал Фантастическую лигу Америки, и вступившие в нее читатели заводили друзей по всей стране.

Постоянно пропадая в кондитерской, я ничего не знал о фан-клубах, и мне даже в голову не приходило вступить в Лигу. Но одноклассник заметил мое имя в письмах из *Astounding* и в 1938 году прислал открытку с приглашением на встречи Фантастического клуба Квинса.

Это меня невероятно взбудоражило, и я тут же приступил к переговорам с родителями. Сперва надо следовало убедиться, что мне можно отлучиться из кондитерской. После этого — попытаться уговорить выдать деньги на проезд и пару лишних центов на случай, если мы в клубе пойдем перекусить или мне понадобится что-то купить.

Тут нужно уточнить, что я никогда не получал карманные деньги. Я работал за еду, кров, одежду и образование, и родители считали, что этого достаточно, как, впрочем, и я. О карманных деньгах я узнал из кино, комиксов и прочего, но меня не покидало со смутное ощущение, что это романтическая небылица.

Конечно, если мне требовались деньги на что-нибудь полезное (проезд до школы, обед или

даже такие вольности, как кино), мне никогда не отказывали, но надо было просить. Только начав получать чеки за рассказы, я смог завести собственный банковский счет, и то с четкой оговоркой, что деньги пойдут на учебу и прочие неизбежные школьные расходы и ни на что другое.

Впоследствии мне казалось странным, что отец держал меня без гроша, но при этом свободно допускал к кассе. Конечно, мы записывали все продажи, и, если бы я время от времени забирал четвертак, это бы заметили, зато я вполне мог продать что-нибудь мелкое — сладости или сигареты, — а потом «забыть» положить деньги в кассу и прикарманить. Но меня хорошо воспитали, и подобное ни разу не приходило мне в голову, как, видимо, и отцу.

Так или иначе, получив деньги и разрешение съездить на встречу клуба, 18 сентября 1938 года я впервые познакомился с другими фанатами фантастики. Но между первым приглашением и второй открыткой с объяснением, как добраться до места встречи, в клубе Квинса произошло разногласие, и отколовшаяся группка образовала новую организацию. (В конце концов я понял, что фанаты фантастики — вздорная и неуживчивая

компания, а клубы то и дело раскалываются на враждующие группировки.)

Школьный друг принадлежал к раскольникам, и я, не подозревая, что еду не в клуб Квинса, присоединился к ним. Они откололись, поскольку были активистами и полагали, что фанаты фантастики должны категоричнее заявить об антифашистской позиции, тогда как главная группа считала фантастику выше политики. Знай я о расколе, решительно бы встал на сторону отделившейся группы, так что в итоге я оказался на своем месте.

Новая группа взяла довольно длинное и высокопарное название, но в обиходе они звались футурианцами и явно были самым удивительным фан-клубом в истории. В него входили блестящие подростки — все, насколько я мог судить, из неблагополучных семей и с несчастным или по меньшей мере небезопасным детством.

И снова я стал белой вороной — из-за своей сплоченной семьи и счастливого детства, но будучи совершенно очарован футурианцами, я чувствовал, что обрел духовный дом.

Чтобы рассказать, как изменилась моя жизнь, надо объяснить мои взгляды на дружбу…

В книгах или кино часто говорят о детской

дружбе на всю жизнь; об одноклассниках, которые поддерживают общение на протяжении многих лет после выпускного; о сослуживцах, которые постоянно напиваются вместе и вспоминают радости казарменной жизни; об однокурсниках, которые помогают друг другу ради былого студенческого братства.

Может, бывает и так, но я смотрю на это со скепсисом. Мне кажется, что те, кто вместе учился или служил, жили в вынужденной близости, которую не выбирали. Такого рода дружба по обычаю или подобию по-настоящему существует лишь у тех, кто понравился друг другу независимо от места встречи или сблизился за пределами искусственной среды школы или армии, но никак иначе.

В моем случае ни одна школьная дружба не пережила школу, ни одна армейская — армию. Отчасти из-за того, что у нас не было возможности поддерживать общение за пределами школы или армии, а отчасти из-за моего эгоцентризма.

Но с футурианцами все получилось иначе. Здесь, хотя общение часто прерывалось, хотя я на долгое время терял контакт то с одним, то с другим, я обрел крепкую дружбу, которая в отдельных случаях продержалась полвека — до настоящего времени.

Почему?

Я наконец-то встретил людей, горевших тем же, чем и я; любивших фантастику так же, как я; хотевших писать фантастику так же, как я; обитавших в том же краю хаотичной гениальности, что и я. Мне не пришлось сознательно постигать родство душ. Я это почувствовал сразу, не задумываясь. Более того, в отдельных случаях — как с футурианцами, так и за пределами их сообщества — я находил духовную близость и вечную дружбу даже с теми, кто на самом деле мне не нравился.

Так или иначе, я планирую посвятить в этой книге небольшие эссе тем, кто сильно повлиял на мою карьеру или чьи судьбы как-то переплелись с моей, и не могу придумать начала лучше, чем с рассказа о самых выдающихся футурианцах.

19. Фредерик Пол

Фредерик Пол родился в 1919 году, всего на несколько недель раньше меня. Когда мы познакомились в клубе футурианцев в сентябре 1938 года, у нас обоих намечался девятнадцатый день рождения. Хотя по возрасту мы ровесники, он всегда казался более практичным и здравомыслящим, чем я. Я это понимал и без колебаний обращался к нему за советом.

Фред выше меня, очень учтивый. У него заметный неправильный прикус и часто недоумевающее выражение лица, отчего он немного смахивает на кролика, но, на мой взгляд, это мило, потому что он сам мне очень нравится. У него светлые волосы, начавшие редеть уже на момент нашей встречи.

Фред — человек очень необычный. Он не блистает время от времени, как я или некоторые другие футурианцы. Нет, он источает ясный ровный свет. Это один из умнейших людей, что я встречал в жизни, его письма и колонки, выражающие мнение по различным научным и общественным вопросам, часто публикуются в

фанатских или профессиональных журналах. Я читаю его жадно, поскольку он пишет четко и очаровательно, и за пятьдесят лет у меня еще не возникло повода с ним не согласиться. В очень редких случаях, когда его точка зрения отличалась от моей, я сразу же понимал, что ошибаюсь я, а он — прав. По-моему, он единственный, с кем я никогда не расходился во мнении.

С ним я сблизился сильнее, чем с любым другим футурианцем, несмотря на то что наши характеры и судьбы очень различаются. У него было неустроенное детство, хотя подробностей он никогда не рассказывал, и из-за Великой депрессии ему пришлось бросить старшую школу. К этому он относится с юмором и называет себя «недоучкой». Но не заблуждайтесь. Он продолжал заниматься самообразованием вплоть до того, что теперь обладает более глубокими познаниями и по более широкому кругу тем, чем человек с моим интенсивным образованием.

Его социальная жизнь хаотичнее моей. Например, он был женат пять раз, и его нынешний брак

— пятый, с Бетт[29], — очень крепкий и счастливый.

На момент нашего знакомства он, как и все остальные футурианцы, бешеными темпами писал фантастику: в одиночку, в соавторстве, под множеством псевдонимов. Я к этому не присоединился, твердо желая писать самостоятельно и под своим именем. Вышло так, что я первый из футурианцев начал продавать рассказы на постоянной основе, но остальные ворвались в жанр сразу за мной.

Фред начал подписывать рассказы собственным именем с 1952 года, когда в соавторстве с другим футурианцем Сирилом Корнблатом опубликовал в *Galaxy* трехчастный сериал «Планета под соусом» («Gravy Planet»). В 1953 году тот вышел в виде романа под названием «Торговцы космосом» («The Space Merchants»)[30] и сделал имя как Фреду, так и Сирилу. Они оба стали заметными фантастами.

---

[29] Примечания: 29

Свой пятый брак шестидесятипятилетний Фредерик Пол заключил в 1984 году с исследовательницей фантастики, литературоведом Элизабет Энн Халл. Супруги прожили вместе до самой смерти писателя в 2013 году. — Прим. ред.

[30] Примечания: 30

Также на русском языке роман издавался под названием «Операция “Венера”». — Прим. ред.

Как он связан со мной?

В 1939 году он прочитал мои не принятые к публикации рассказы, назвал их лучшими отвергнутыми рассказами, что он видел (чем меня очень порадовал), и дал отличные советы, как писать лучше. Затем в 1940-м, всего в двадцать лет, стал редактором (и каким!) двух новых фантастических журналов — *Astonishing Stories* («Поразительные истории») и *Super Science Stories* («Супернаучные истории»). Для них он купил несколько моих ранних вещей. Этим я жил, пока не добрался до лучшего журнала в жанре — *Astounding*. В соавторстве с Фредом я написал два рассказа, хотя, боюсь, и не очень хороших[31].

В 1942 году, когда я зашел в тупик с повестью, которую *надо* было сдать где-то через неделю, он подсказал, как сдвинуться с мертвой точки. Помню, что тогда мы стояли на Бруклинском мосту, но, в чем заключалась моя закавыка и предложенное решение, уже не помню. (Как я узнал много лет спустя, на Бруклинском мосту мы стояли, потому что первая жена Фреда Дорис считала меня «чудиком» и не желала пускать

[31] Примечания: 31

Речь идет о рассказах «Законный обряд» (Legal Rites) и «Маленький человек в туннеле» (The Little Man on the Subway), опубликованных в 1950 году. — Прим. ред.

в квартиру. Прочитав об этом в автобиографии Фреда, я был сражен наповал, потому что всегда симпатизировал Дорис и даже не чувствовал ее неприязнь. Помириться уже не удалось, потому что она умерла молодой.)

В 1950-м Пол сыграл важнейшую роль в издании моего первого романа. Короче говоря, Фред сделал для моей карьеры больше, чем кто-либо другой, не считая Джона В. Кэмпбелла-младшего (о котором я скоро расскажу).

20. Сирил М. Корнблат

Сирил М. Корнблат был самым молодым и в каком-то смысле самым непредсказуемо блистательным футурианцем. Он родился в 1923 году, и на момент нашей встречи ему исполнилось всего пятнадцать. Он был низеньким и пухлым, с кудрявыми каштановыми волосами и казался тяжелым в общении, так что особенно приятным человеком его не назовешь.

Он был умнее меня и, по-моему, намного перспективнее, но, как и Фред Пол, не доучился в школе — почему, я так и не узнал. Может, я и завидовал его гениальности, но не сомневался, что он несчастный человек. Почему не знаю, но, подозреваю, что дело в осознании, что мир населяют люди куда глупее его, не способные оценить его по заслугам.

С другой стороны, меня он не мог грести со всеми под одну гребенку, и все же у меня создалось впечатление, будто я ему не нравлюсь — и это еще слабо сказано. Конкретных доказательств у меня нет. Он ни разу не говорил напрямую, что я ему не нравлюсь, но избегал меня, никогда со

мной не разговаривал, а временами даже насмехался. С другой стороны, он со всеми вел себя угрюмо и язвительно, поэтому, возможно, мне только кажется, что он придирался именно ко мне. Возможно, ему действовала на нервы моя нескончаемая шумная жизнерадостность, но я не раздражал его нарочно. Я ничего не мог поделать со своей жизнерадостностью, как и он ничего не мог поделать со своей угрюмостью.

Однажды, когда я пел песню для тенора «A Maiden Fair to See» из «Корабля Ее Величества „Пинафор“»[32], я с легкостью взял высокую ноту в последней строчке, и Сирил пробормотал: «С ума сойти! Получилось!» — словно так и ждал, когда я сфальшивлю, чтобы насладиться моим конфузом.

А когда я выступал с речью на собрании любителей фантастики, Сирил перебивал меня так часто и так недружелюбно, что я ненадолго замолчал ради драматической паузы и привлечения внимания, а потом громко и четко произнес: «Сирил Корнблат — Джордж О. Смит для бедных».

---

[32] Примечания: 32

«Корабль Ее Величества «Пинафор»» — комическая опера композитора Артура Салливана на либретто Уильяма Гилберта, высмеивающая классовую систему, состояние флота и политическую элиту Британии. Первая постановка состоялась в 1878 году. — Прим. ред.

Джордж О. Смит — еще один фантаст и ужасный зануда. На любой встрече он доводил что выступающего, что публику до белого каления своими бестолковыми комментариями невпопад. Нелестное сравнение с Джорджем мигом заткнуло Сирила. Больше он не перебивал.

Но при этом он оказался писателем с блестящим ровным стилем, а также демонстрировал в своих вещах остроумие и чувство юмора, каких *никогда* не показывал в реальной жизни. Лучше всего ему давались рассказы, а его самый известный — «Марширующие идиоты» («The Marching Morons», Galaxy, апрель 1951). В нем он изображает мир идиотов с интеллектом ниже среднего, среди которых осталась горстка умных людей, благодаря которым мир еще не развалился. Уверен, Сирил писал о себе.

Он писал «Торговцев космосом» в соавторстве с Фредом Полом и издал несколько романов под своим именем. Я уверен, что он собирался завязать с научной фантастикой и, в ближайшем будущем переключившись на мейнстримные романы добиться мировой известности, но все внезапно прекратилось.

У него было больное сердце, и 21 марта 1958 года он разгребал снег после неожиданной метели

в день весеннего равноденствия. Затем помчался на свой поезд, а на вокзале у него случился инфаркт, и он умер. Ему было всего лишь тридцать пять.

21. Дональд Аллен Уоллхейм

Дональд Аллен Уоллхейм, родившийся в 1914 году, был самым старшим футурианцем. А также самым энергичным участником и подмял общество под себя, но, с другой стороны, он, пожалуй, был самым активным фанатом фантастики и в стране — за возможным исключением Форреста Дж. Аккермана[33] из Лос-Анджелеса.

Красавцем его не назовешь из-за его носа-картошки, а когда мы встретились впервые, у него (как и у меня) еще не прошли прыщи. Но в нем все же неоспоримо чувствовалась мощь, хоть он и был таким же мрачным, как Сирил Корнблат. В 1941 году он стал редактором двух фантастических журналов — *Stirring Science Fiction* («Волнующая научная фантастика») и *Cosmic Stories* («Космические истории»). Они издавались за сущие гроши. Вообще-то ему даже не хватало на гонорары и приходилось полагаться

[33] Примечания: 33

Форрест Джеймс Аккерман (1916–2008) — американский писатель-фантаст, редактор. В качестве литературного агента представлял интереса Рэя Брэдбери, Рона Хаббарда, Айзека Азимова и других фантастов. На протяжении более 70 лет оставался активным популяризатором научной фантастики. — Прим. ред.

на собратьев-футурианцев, что они поделятся материалом, не востребованным в других изданиях. Он просил рассказ даже у меня, и я отдал «Таинственное чувство» («Secret Sense»), вышедший в мартовском номере *Cosmic* 1941 года. Я не мог его продать, потому что он получился паршивым даже на мой вкус, так что я не возражал пожертвовать его бесплатно, по дружбе.

Но Ф. Орлин Тремейн, редактор *Astounding* до 1938 года, тоже начал новый журнал *Comet Stories* («Кометные истории») и платил по высшему разряду — пенни[34] за слово. Он мне сказал, что авторы, которые дарят рассказы журналам, где не платят, помогают им отбирать читателя у журналов, где *платят*. Эти авторы подводят собственных коллег и фантастику в целом, поэтому их надо заносить в черный список.

Я испугался. Тут же позвонил Уоллхейму и попросил за рассказ десять долларов (пятая часть цента за слово), лишь бы получить возможность говорить, что номинально получил за него гонорар. Уоллхейм заплатил, но вместе с чеком прислал очень неприятное письмо.

Он совершил немало великих дел. Писал мно-

---

[34] Примечания: 34

«Пенни» в США называют монету достоинством в 1 цент. — Прим. ред.

жество рассказов, первый — «Люди с Ариэля» («The Man from Ariel», Wonder Stories, январь 1934), вышел за пять лет до моего дебюта. Больше всего меня поразил его рассказ «Мимикрия» («Mimic», Fantastic Novels, сентябрь 1950). Еще он написал ряд фантастических романов, в основном для молодой аудитории.

Однако было ясно, что у него, как и у легендарного Джона Кэмпбелла из *Astounding*, душа больше лежала к редактуре, чем к писательству. В 1943-м он стал редактором первой антологии журнальной фантастики «Карманная книга научной фантастики» («The Pocket Book of Science Fiction»). Долгое время работал в Ace Books, делал там немало достойного и новаторского. Потом основал DAW Books — первое издательство книг в мягких обложках, работавшее исключительно с фантастикой, — и в процессе вывел в люди ряд современных корифеев жанра.

В 1971 году вышла его книга «Создатели Вселенной» («The Universe Makers»). Это история фантастики, в которой он развенчал самые дикие домыслы о легенде Кэмпбелла. Еще он лестно отзывался о моем цикле «Основание» (в свое время я расскажу о нем сам) и заявлял, что тот сформировал современную научную фантастику.

Я не вполне с этим согласен, но был благодарен за похвалу и наконец простил за случай с «Таинственным чувством». (Да, я падок на лесть. Это очень быстро узнают практически все, особенно мои редакторы.)

В 1989 году Дон перенес инфаркт, парализовавший тело, но не разум[35]. Работа DAW Books без заминок продолжилась под руководством его жены Элси (его *единственной* жены — иногда мне кажется, что среди фантастов это редкость) и дочери Бетси.

[35] Примечания: 35
Дональд Аллен Уоллхейм умер 2 ноября 1990 года. — Прим. ред.

22. Первые продажи

Только в семнадцать лет мне пришло в голову, что надо придумать историю с предопределенной концовкой, а не выдумывать на ходу. Я начал такой рассказ в мае 1937-го, назвал его «Космический штопор» («Cosmic Corkscrew») и писал его урывками, иногда прерываясь на целые месяцы.

Но в начале 1938 года *Astounding* без предупреждения изменили график выхода и не прислали журнал в ожидаемый день. Испугавшись, что они закрылись, я позвонил в Street & Smith и узнал, что журнал придет позже. Из-за секундной паники, когда казалось, что журнал исчез навсегда, я раскопал и дописал «Космический штопор». Мне хотелось послать рассказ, пока было куда посылать. Я закончил его в июне 1938-го.

Откуда внезапное желание опубликоваться? По-моему, к 1938 году мне надоело все бульварное чтиво, *кроме* фантастики. Я читал только ее, а ее авторы казались полубогами. Мне тоже хотелось стать полубогом.

А еще я мог подзаработать на рассказах кое-какую мелочь, и мне очень хотелось расплатиться

с долгами за учебу, не обращаясь к отцу. В 1935 году я нашел летнюю подработку на несколько недель, но мне там ужасно не понравилось, я бы лучше зарабатывал за печатной машинкой.

Но теперь, когда рассказ дописан, как его отправить? Отец, разбиравшийся в этом не больше моего, предложил отнести рукопись редактору лично. Я сказал, что мне слишком страшно. (Так и представлял, как меня пинками выгонят из кабинета с громкими оскорблениями.) Отец спросил: «Чего тут бояться?» (Еще бы, идти-то предстояло не ему.)

Я давно привык во всем слушаться отца, поэтому поехал на метро в Street & Smith и попросил о встрече с мистером Кэмпбеллом. И не поверил своему счастью, когда секретарша позвонила ему, а затем сказала, что редактор меня примет. Так получилось, потому что я не был для него неизвестной величиной. Он получал и публиковал мои письма, поэтому знал, что я нешуточный фанат фантастики. А кроме того, как я выяснил, он обожал поговорить и нуждался в публике, и на тот момент решил, что за публику сойду я.

Джон Кэмпбелл принял меня с величайшим уважением, взял рукопись, пообещал не затягивать с чтением и сдержал слово. Я получил ее

обратно, но с таким обходительным отказом, что тут же сел за следующий рассказ — «Коварная Каллисто» («Callistan Menace»). На него у меня ушел всего месяц.

После этого я писал по рассказу в месяц и приносил Кэмпбеллу, а он читал и возвращал с полезными комментариями.

21 октября 1938 года, ровно через четыре месяца после моего первого визита, я смог продать третий рассказ «В плену у Весты» («Marooned off Vesta»), но не Кэмпбеллу, который не принял и его. Я продал рассказ в *Amazing Stories* — этот журнал как раз начал выходить у нового издателя Zif-f Davis, решившего публиковать бульварные остросюжетные истории и повышать тиражи в ущерб качеству текстов.

Тогда редактором там был Рэймонд Э. Палмер, горбун ростом метр двадцать с необыкновенно живым и нестандартным мышлением. Впоследствии он практически единолично зародил повальный интерес к летающим тарелкам и издавал журналы о псевдонауке. Он умер в 1977 году в шестьдесят семь лет. Ни разу не встречал его лично, но он стал первым редактором, купившим мой рассказ и впоследствии очень этим гордившимся.

Я получил 64 доллара, рассказ опубликовали в мартовском выпуске *Amazing* 1939 года. На прилавках выпуск появился 9 января 1939-го — через неделю после моего девятнадцатилетия. Отец разослал всем друзьям хвастливые велеречивые письма (я и не знал, что у него есть друзья) и, похоже, настроился повторять это после каждой публикации. Отучил я его от этой привычки с трудом.

Второй рассказ, «Коварная Каллисто», я позже продал Фреду Полу, и он вышел в *Astonishing* в апреле 1940-го. Я так и не продал первый рассказ «Космический штопор» и семь других ранних текстов. Их уже не существует в природе. Подозреваю, когда я уехал из города в 1942-м (до этого я еще дойду), мать, не сознавая, что делает, выкинула их. С литературной точки зрения невелика потеря; напротив, мир от их исчезновения только выиграл. Но с исторической точки зрения — обидно. Ранние вещи всегда вызывают некий интерес.

Первый рассказ, который у меня купил Кэмпбелл, назывался «Маятник» («Trends») и вышел в *Astonishing* в июле 1939-го. К тому времени в *Amazing* уже напечатали другой мой рассказ — очень плохой, под названием «Слишком страш-

ное оружие» («The Weapon Too Dreadful to Use», *Amazing*, май 1939), так что мой первый рассказ в *Astonishing* — третий по счету из опубликованных.

Меня это никогда не устраивало. Я не учитывал свои первые две публикации, потому что не одобрял *Amazing* от Zif-f Davis и мне было стыдно, что мои вещи угодили в такое некачественное общество. Хотелось-то мне в *Astounding*, и в глубине души я считаю своим первым опубликованным рассказом «Маятник».

Впрочем, тут я не прав, потому что те два рассказа в *Amazing*, возможно, спасли меня от участи похуже смерти. Джон Кэмпбелл всей душой верил в простые и приятные имена писателей и, не сомневаюсь, попросил бы меня в обычном порядке взять псевдоним в духе «Джон Смит», а я бы отказался наотрез и на этом, вероятно, завершил писательскую карьеру.

Но те два первых рассказа в *Amazing* вышли под моим настоящим именем — Айзек Азимов. Палмера это, слава богу, не волновало, и, возможно, именно потому, что сделанного не воротишь и мое имя, какое бы то ни было, уже украсило страницу содержания в фантастическом журнале, Кэмпбелл даже слова не сказал и на августовских

страницах *Astounding* появились слова «Айзек Азимов», как и положено.

В общем на выпускном курсе в Колумбийском я заработал 197 долларов. Немного, хотя в 1939 году это была гораздо более внушительная сумма, чем сейчас, но для начала неплохо. Для начала не только времени, когда я сам смог оплачивать учебу, но и вообще моих самостоятельных заработков, моей свободы от обязательств.

Но и это еще не все, потому что кое-чего я хотел гораздо больше денег. Я хотел, мечтал, жаждал увидеть свое имя в содержании и, шрифтом покрупнее, еще и на первой странице самого рассказа.

Я его увидел, и это грело мне сердце.

23. Джон Вуд Кэмпбелл-младший

Джон Вуд Кэмпбелл-младший родился в 1910 году и был всего на девять с половиной лет старше меня, хотя в нашу первую встречу он показался мне вечным. Он был высоким и крупным, со светлыми волосами, кривым носом, широким лицом с тонкими губами, а в его зубах вечно торчал мундштук.

Он отличался словоохотливостью, категоричностью, смекалкой и напором. Любой разговор с ним превращался в его монолог. Некоторые писатели этого не выносили и старались его избегать, но мне он напоминал отца, так что я был готов слушать его бесконечно.

Как и у многих блестящих персоналий из мира фантастики, у него выдалось несчастливое детство. Подробностей я так и не узнал, потому что сам он не распространялся, а если кто-то не склонен о чем-то рассказывать сам, то и я не спрашиваю. Во-первых, у меня нет желания совать нос в чужие дела; а во-вторых, я бы все равно лучше поговорил о себе, чем о других.

Он учился в Массачусетском технологическом

институте, но так и не окончил его. Насколько я понимаю, у него возникли проблемы с немецким. Он перешел в Университет Дьюка в Северной Каролине, во времена моей молодости известный исследованиями Джозефа Б. Райна[36] в области экстрасенсорного восприятия, что в дальнейшем могло определить взгляды Кэмпбелла на эту тему.

Его первый изданный рассказ — «Когда проиграл даже атом» («When the Atoms Failed», *Amazing*, январь 1930). В те времена самым знаменитым фантастом считался Эдвард Элмер («Док») Смит[37], писавший «супернаучные рассказы». Смит первым написал о межзвездном путешествии — в романе «Космический жаворонок» («Skylark of Space», *Amazing*, август, сентябрь и октябрь 1928), и Кэмпбелл стремился подражать ему

---

[36] Примечания: 36

Джозеф Бэнкс Райн (1890–1985) — американский ботаник, позднее переключившийся на исследования в области парапсихологии — именно с его именем связано становление этой дисциплины в современном понимании. Проводил эксперименты по изучение экстрасенсорного восприятия. Современные ученые скептически относятся к результатам его исследований из-за многочисленных методологических недостатков. — Прим. ред.

[37] Примечания: 37

Эдвар Элмер Смит (1890–1965) — американский писатель-фантаст, один из пионеров начального периода развития журнальной фантастики. Наряду с Эдмондом Гамильтоном считается одним из основателей жанра «космической оперы». — Прим. ред.

и его историям о сверхлюдях, расшвыривающих звезды и планеты. С повести «Привилегированное пиратство» («Piracy Preferred», *Amazing*, июнь 1930) он начал знаменитый цикл «Уэйд, Аркот и Мори» («Wade, Arcot and Morey»), практически встав в один ряд со Смитом.

Но Смит писал свою «супернауку» до самой смерти в 1965 году в возрасте семидесяти пяти лет. Он один из самых обожаемых писателей в фантастике, но так и не сошел с одного места. Его первые вещи на десять лет опередили свое время, а последние — на десять лет отстали от него, хоть Кэмпбелл и продолжал их преданно публиковать в *Astounding*.

Но сам Кэмпбелл от «супернауки» уже устал и двинулся в других направлениях. В 1936-м и 1937-м он написал для *Astounding* цикл в восемнадцати частях о последних открытиях в изучении Солнечной системы. Это один из первых заходов фантаста в мир настоящей науки.

Еще важнее была его смена стиля. Вместо «супернауки» он стал писать настроенческие вещи. Они настолько отличались от предыдущих, что ему пришлось взять псевдоним, чтобы не разочаровать читателей, которые будут ожидать супернауку. Псевдоним Дон Э. Стюарт — простая

анаграмма с девичьей фамилией его жены, Доны Стюарт. «Сумерки» («Twilight», *Astounding*, ноябрь 1934-го), первый рассказ, вышедший под псевдонимом, стал классикой на все времена.

Он бросил кэмпбелловские рассказы и продолжал писать стюартовские, пока не издал «Кто идет?» («Who Goes There?», *Astounding*, август 1938). Это, возможно, величайший фантастический рассказ в истории.

Но к тому времени он уже нашел свое истинное призвание. В 1938 году он стал редактором *Astounding* и вел его до самой смерти. Название быстро сменилось с *Astounding Stories* на *Astounding Science Fiction* (обычно просто ASF).

Кэмпбелл был самой могущественной личностью за всю историю фантастики и в первые же десять лет работы покорил эту сферу. В 1939-м он начал издавать *Unknown* («Неизвестное») — журнал со взрослым фэнтези, совершенно уникальный и волшебный, — но этот проект погиб из-за дефицита бумаги во времена Второй мировой войны.

В те же чудесные десять лет он открыл и вывел в люди десяток перворазрядных фантастов, включая меня.

Казалось, этого титана никогда не ждут сумер-

ки упадка, но увы. Именно его успех, придавший научной фантастике новый статус — области сюжетов об ученых и инженерах, а не об авантюристах и супергероях, — и породил конкуренцию. В 1949 году открылся и добился успеха журнал *The Magazine of Fantasy and Science Fiction* («Журнал фэнтези и научной фантастики», F&SF) с редакторами Энтони Бучером и Фрэнсисом Маккомасом. В 1950-м на сцене появился *Galaxy Science Fiction* («Галактическая научная фантастика») с редактором Горацием Л. Голдом и тоже оказался успешен. В их тени *Astounding* пришел в упадок.

Крах ускорила эксцентричность Кэмпбелла. Ему нравилось заходить на края науки, соскальзывая в псевдонауку. Похоже, он принимал всерьез летающие тарелки, психонические таланты вроде экстрасенсорного восприятия (вот и влияние Райна) и еще более дурацкие выдумки вроде «двигателя Дина»[38] и «машины Иерони-

[38] Примечания: 38

Двигатель Дина — устройство, разработанное изобретателем-самоучкой Норманом Лоримером Дином, якобы способное демонстрировать эффекты, противоречащие законам движения классической физики. Публике были представлены только демонстрационные образцы — ни рабочих моделей, ни теоретического обоснования «двигателя Днна» так и не появилось. — Прим. ред.

муса»[39]. А главное, он отстаивал «дианетику»[40] — нестандартный метод психического лечения, придуманный фантастом Л. Роном Хаббардом[41]. Впервые ее основы были опубликованы в статье «Дианетика» («Dianetics», *ASF*, май 1950).

Все это повлияло на кэмбелловский выбор рассказов и, на мой взгляд, сильно навредило журналу. Некоторые авторы писали о псевдонауке, чтобы наверняка продать их Кэмпбеллу, но лучшие ушли, и я был в их числе. Я не бросил писать для него и не разорвал с ним дружбу, но наши отношения охладели, потому что я его взглядов не принимал и нисколько этого не скрывал.

Я написал рассказ «Вера» («Belief»; *ASF*, октябрь 1953), *по-своему* взглянув на психонические таланты. После долгих споров я согласился сменить

---

[39] Примечания: 39

Машина Иеронимуса — приборы для выявления «скрытого излучения» материи, изобретённые инженером Томасом Галеном Иеронимусом (1895–1988). Теории Иеронимуса не получили научного подтверждения и считаются типичным примером псевдонауки. — Прим. ред.

[40] Примечания: 40

Дианетика — созданное Л. Роном Хаббардом учение, представляющее собой совокупность методик по устранению нежелательных эмоций и ощущений, беспричинных страхов, психосоматических заболеваний. Научное сообщество считает дианетику псевдонаукой. — Прим. ред.

[41] Примечания: 41

Лафайет Роальд Хаббард (1911–1986) — американский писатель-фантаст, наиболее известный по научно-фантастическому циклу «Миссия ”Земля“», создатель «Церкви сайентологии», а также связанного с ее

вероучением комплекса идей и практик. — Прим. ред.

для Кэмпбелла концовку и так его за это и не простил.

Он оставался редактором *ASF* — хотя в начале 1960-х журнал сменил название на *Analog* — до самой смерти 11 июня 1971 года в возрасте шестидесяти одного года. Но в последние двадцать лет жизни уже превратился в блеклую тень прежнего себя.

24. Роберт Энсон Хайнлайн

За первую пару лет работы с Джоном Кэмпбеллом я встретил немало людей, которые позже стали звездами фантастики первой величины. Дружба на этой почве, как всегда и бывает в научно-фантастическом сообществе, продлилась целую жизнь.

Причина, думаю, в том, что все мы чувствовали себя крошечной группкой, презираемой и оклеветанной подавляющим большинством, совершенно нас не понимавшим. Мы держались вместе ради комфорта и чувства безопасности, создали братство, которое никогда не подводило. Даже конкуренция не сделала нас врагами. В те дни в фантастике водилось так мало денег, что и конкурировать было не за что. Мы, собственно, писали по любви.

(Подозреваю, теперь все иначе. Сейчас фантастов стало в десять раз больше, чем в 1939-м, а деньги, будь то авансы, продажа прав на экранизации и так далее, крутятся огромные. Мне кажется, в таких условиях то старое чувство братства существовать не может.)

В каком-то смысле моя самая важная дружба — с Робертом Энсоном Хайнлайном. Это был настоящий красавец с аккуратно подстриженными усами, доброй улыбкой и такой учтивостью, что в его присутствии я особенно остро чувствовал собственную неотесанность. Крестьянин рядом с аристократом.

Он служил в американском флоте, но в 1934 году ушел в отставку по инвалидности из-за туберкулеза. В 1939-м, в тридцать два (поздновато для фантаста), он попробовал себя в литературе, и его первый рассказ «Линия жизни» («Lifeline»; *ASF*, август 1939) вышел через месяц после моего «Маятника». С первой же публикации оторопевшие знатоки жанра назвали его лучшим фантастом в мире, и он сохранил за собой это звание до конца жизни. Я точно впечатлился. И одним из первых начал строчить в журналы письма с похвалами в его адрес.

Он тут же стал звездой *ASF* и сдружился с Кэмпбеллом, хотя, оказывается, одним из условий дружбы Хайнлайн поставил то, что Кэмпбелл никогда не откажет ему в публикации.

Он тяжело переживал увольнение с флота. После новостей о Перл-Харборе даже пытался вернуться, но его не взяли. Тогда он отправился

на Восточное побережье в поисках гражданской должности.

Он устроился на экспериментальную станцию авиации ВМФ (NAES) и стал искать других смекалистых людей ученого/инженерного склада ума. Нашел Спрэга де Кампа (о нем еще будет что рассказать) и предложил работу мне. В конце концов, после долгих метаний, о которых напишу позже, я согласился.

Моя дружба с Хайнлайном, кстати говоря, не всегда оставалась гладкой и ровной, как все остальные мои приятельские отношения в мире фантастики. Это стало понятно, почти сразу, как только мы начали работать на NAES. Открыто я с ним никогда не ссорился (я стараюсь ни с кем не ссориться открыто) и никогда от него не отворачивался. До самой его смерти мы при встрече тепло здоровались.

Но дружба у нас была с оговорками. Хайнлайн не принадлежал к числу покладистых фантастов, которых я знал и любил. Он не верил в принцип «делай свое дело и не мешай другим делать свое». Он полагал, что все знает лучше, и умел уболтать долгими лекциями на что угодно. Этим славился и Кэмпбелл, но он-то, если с ним не соглашались, всегда сохранял безмятежное безразличие, а Хай-

нлайн срывался.

Я не умею общаться с теми, кто уверен, что во всем разбирается лучше меня и постоянно об этом напоминает, поэтому начал его избегать.

К тому же, хотя во время войны Хайнлайн был пылким либералом, после ее окончания он почти сразу стал махровым правым консерватором. Причем как раз тогда, когда развелся с либералкой Леслин и женился на махровой правой консерваторше Вирджинии.

Точно так же было у Рональда Рейгана, когда он развелся с либералкой Джейн Уайман и женился на ультраконсервативной Нэнси, но Рейгана-то я всегда считал пустоголовым дураком, который только повторяет за всеми, кто с ним сблизится.

Перемену Хайнлайна я этим объяснить не могу, потому что не верю, будто он слепо следовал мнению жены. Я долго размышлял об этом с недоумением (естественно, мне и в голову не пришло спросить самого Хайнлайна — уверен, он бы отказался отвечать, причем с нескрываемой враждебностью) и пришел только к одному выводу. Сам я никогда не женюсь на женщине, не согласной с моими политическими, общественными и философскими воззрениями.

Жениться, когда расходишься с человеком в

таких базовых вопросах, — это либо напрашиваться на жизнь, полную споров и разногласий, либо (что намного хуже) негласно договориться никогда такие вещи не обсуждать. Шансов на согласие я не вижу. Я точно не собираюсь менять мировоззрение только ради покоя в доме и не хочу жить с женщиной, которая на это готова, потому что не имеет собственного мнения. Нет, мне подавай ту, с кем мы изначально сходимся во взглядах, и должен сказать, это относилось к обеим моим женам.

Еще о Хайнлайне: он был не из тех писателей, которые, раз набив руку, всю жизнь придерживаются одного стиля, несмотря на меняющиеся тенденции. Я уже говорил, что таким был Э. Э. Смит и, должен признать, я тоже. В последнее время я пишу такие же романы, как в 1950-х. (Меня за это уже критикуют, но скорее небеса рухнут, чем я прислушаюсь к критикам.)

А Хайнлайн пытался не отставать от времени, так что его последние романы были «на волне» литературной моды после 1960-х. Я говорю «пытался», потому что, по-моему, у него не получилось. Я не судья чужих произведений (и даже своих) и не хочу выдвигать субъективные мнения, н о здесь вынужден признаться:

я всегда жалел, что он не сохранил стиль таких рассказов, как «Никудышное решение» («Solution Unsatisfactory», *ASF*, октябрь 1941), написанный под псевдонимом Энсон Макдональд, и таких романов, как «Двойник» («Double Star») 1956 года издания — это, по-моему, его лучшая вещь.

Он оставил след и за пределами ограниченного журнального мирка научной фантастики. Первым из нашей компании прорвался в «глянец», опубликовав «Зеленые холмы Земли» («The Green Hills of Earth») в *The Saturday Evening Post*. Какое-то время я очень завидовал, пока не пришел к выводу, что он помогает делу фантастики в целом, упрощая остальным дорогу в том же направлении. Еще Хайнлайн работал над одним из первых фильмов, старавшихся быть и фантастическим, и логичным, — «Место назначения — Луна» («Destination Moon»). Когда в 1975 году Американская ассоциация писателей-фантастов стала вручать премию «Гроссмейстер фантастики», Хайнлайн при всеобщем одобрении получил ее первым.

Он скончался 8 мая 1988 года в возрасте восьмидесяти лет, оплакиваемый даже вне мира фантастики. Звание величайшего фантаста он сохранил до самого конца.

В 1989 году посмертно издали его книгу «Ворчание из могилы» («Grumbles from the Grave»). Это сборник писем редакторам и главным образом его агенту. Я ее прочитал, покачал головой и пожалел, что она появилась на свет, поскольку Хайнлайн (на мой взгляд) в этих письмах раскрыл ту свою гадкую сторону, которую лично я видел уже во времена NAES, но которую не стоило демонстрировать всему миру.

25. Лайон Спрэг де Камп

Лайон Спрэг де Камп родился в 1907 году — в один год с Робертом Хайнлайном. Он высок и привлекателен, держится прямо и говорит красивейшим баритоном (хотя не может спеть ни единой ноты). В нашу первую встречу у него были опрятные усы, к которым в дальнейшем он прибавил стриженую бородку. В его внешности есть что-то очень британское.

Из всех, кого я знаю, он в наименьшей степени подвержен переменам во внешности. Я познакомился с ним, когда ему исполнилось тридцать два. Сейчас, пятьдесят лет спустя, его так же легко узнать — чуть поредели волосы, чуть поседела бородка, но это все тот же Л. С. де Камп. Другие изменились: поставь их рядом с фотографией в молодости — покажется, будто это разные люди; но не он.

Он кажется солидным и надменным, но это просто иллюзия. На самом деле он *застенчив* (в это даже трудно поверить). Наверное, поэтому мы так хорошо и ладим: в моем присутствии невозможно оставаться застенчивым — я не раз-

решаю. Со мной он может расслабиться. Как бы то ни было, я испытываю к нему глубочайшую привязанность. С первой нашей встречи в кабинете Кэмпбелла в 1939-м, когда я был зеленым юнцом девятнадцати лет, а он — уже матерым писателем, он относился ко мне с уважением и совершенно меня покорил. И в дальнейшие годы мы поддерживали связь по телефону или переписке, если оказывались в разных городах.

Кэмпбелла я никогда не мог называть по имени из-за вечного благоговения и почтения, а Хайнлайна — потому что никогда с ним настолько не сближался. Но де Камп для меня просто Спрэг — всегда был и всегда будет.

Сейчас он уже больше пятидесяти лет женат на Кэтрин (когда мы с ним познакомились, они были молодоженами). Она его одногодка и сохранила прежнюю красоту не хуже мужа. Как будто не тронутые временем, они ведут активную жизнь в творчестве и разъездах.

Спрэгу было трудно заработать на жизнь во время Великой депрессии (а кому приходилось легко?), и в 1937-м он начал писать фантастику. Его первый рассказ «Полиглоты» («The Isolinguals») вышел в сентябре 1937-го, в *ASF*. То были докэмпбелловские дни, а когда в ре-

дакторское кресло сел Кэмпбелл, он ввел такие изменения, что многие известные до него авторы не сумели перестроиться и остались на обочине. (Примерно в духе катастрофы для звезд немого кино, когда появились звуковые фильмы.) Но Спрэг выдержал перемены легко.

Он из тех писателей, кто с равной легкостью работает как с художественной литературой, так и с документальной. Он написал много книг о малоизвестных областях науки и при этом всегда сохранял строжайший рациональный подход. Еще он сочинял прекрасное фэнтези и превосходные исторические романы.

Во время Второй мировой войны Хайнлайн, Спрэг и я вместе работали на экспериментальной станции ВМФ. Вначале мы числились гражданскими специалистами. Хайнлайн не мог получить офицерское звание, а я категорически не хотел. Но Спрэг поддался и уже скоро стал лейтенантом флота. Еще до конца войны его повысили до лейтенанта-коммандера, хотя он работал все за тем же столом в NAES.

А теперь я повторю то, о чем уже рассказывал в предыдущей автобиографии…

По причинам безопасности нас обязали носить опознавательные бейджи с именами при входе

на территорию NAES. Если мы их забывали, то подвергались порицанию, получали временный значок, а почасовой оклад сокращался.

В первые дни мы со Спрэгом часто приходили на работу вместе, и как-то раз, подойдя к воротам, он схватился за лацкан и сказал:

— Я забыл бейдж!

Для него это были не шутки — он считал, что занесение такой оплошности в послужной список помешает ему получить звание.

Тогда я снял свой, отдал и сказал:

— Вот, Спрэг, бери и носи. Все равно на них никто не смотрит, тебя пропустят. Вернешь после работы.

— А как же ты? — спросил он.

— Ну, помурыжат меня. Я уже привык.

— «Доброе сердце дороже гербовой короны»[42], — хрипло пробормотал в ответ Спрэг.

С тех пор Спрэг не устает петь мне дифирамбы как на словах, так и в печати, хотя сам заявляет, что не помнит того случая. Мне нравится думать, что я так поступил из-за искренней любви к Спрэгу, но, будь я настоящим циником с даром предвидения, счел бы это хорошей инвестицией.

---

[42] Примечания: 42

Устойчивое выражение из стихотворения Альфреда Теннисона «Леди Клара Вер-де-Вер» («Lady Clara Vere de Vere»), 1842. — Прим. пер.

После Второй мировой я вернулся в Нью-Йорк, а Спрэг остался в Филадельфии. Я был на его восьмидесятилетии 27 ноября 1987 года. В 1989-м Спрэг и Кэтрин переехали в Техас, в климат потеплее и поближе к своим сыновьям, Лайману и Джерарду. Но это неважно. Мы разговаривали по телефону буквально вчера[43].

[43] Примечания: 43
Лайон Спрэг де Камп ушел из жизни 6 ноября 2000 года. — Прим. ред.

26. Клиффорд Дональд Саймак

Клиффорд Дональд Саймак родился в 1904 году, по профессии был журналистом и работал в Миннеаполисе. Впервые я узнал о нем, когда прочитал рассказ «Мир красного солнца» («The World of the Red Sun») в декабрьском *Wonder Stories* 1931 года. Он мне настолько понравился, что на обеденной переменке в средней школе я сел на тротуаре и подробно пересказал его толпе преисполненных внимания школьников.

Тогда я не обратил внимания, что автор — Клифф Саймак. И не осознавал этого еще сорок лет, пока не стал собирать антологию своих любимых рассказов 1930-х, вышедшую под названием «До золотого века» («Before the Golden Age», Doubleday, 1974). К тому времени Клифф уже стал моим старинным драгоценным другом, и меня поразило, что рассказ, который я так полюбил, принадлежит ему.

Вообще-то «Мир красного солнца» — его первый рассказ. Он написал еще несколько и бросил, потому что ему не нравилась издававшаяся тогда фантастика. Но, когда в *ASF* пришел Кэмпбелл,

Клифф вернулся в строй и быстро стал одним из его главных авторов.

Здесь я должен рассказать, как мы с ним подружились, хоть уже и говорил об этом раньше.

Клифф Саймак написал «Правило 18» («Rule 18», *ASF*, июль 1938), и я упомянул в одном из писем, которые слал в журнал каждый месяц, что этот рассказ мне не понравился, и сильно занизил ему оценку.

Мне тут же пришло вежливое письмо от Клиффа с просьбой пояснить в подробностях, чем рассказ плох, чтобы впредь писать лучше. У меня захватило дух от его вежливости и мягкости, и, если честно, не могу вообразить, чтобы сам проявил такие же качества к нахальному сопляку, которому хватило дерзости критиковать *мои* рассказы.

Но для Клиффа это обычное дело — это одна из наименее скандальных личностей в научной фантастике. Ни разу не слышал о нем дурного слова, только всеобщее одобрение и похвалы.

Как бы то ни было, я быстренько перечитал «Правило 18» (я уже дошел до стадии, когда собирал *свои* фантастические журналы) и, к немалому стыду, обнаружил, что это очень хороший рассказ и мне он нравится.

А сбило меня то, что Клифф переходил от сцены к сцене без всяких прослоек, и при первом прочтении, будучи непривычным к такой технике, я запутался. Но во второй раз уже все уловил и понял, что он сделал и зачем. Это невероятно ускоряло сюжет.

Я написал очень смиренное письмо и объяснил свою ошибку. Таким образом, переписка и дружба начались еще до того, как я продал свой первый рассказ, а продлились до смерти Саймака.

А еще из-за того случая я стал читать его рассказы внимательнее и подражать его легкому и незамусоренному стилю. Думаю, в какой-то степени я преуспел, и качество моих текстов значительно выросло. Выходит, он третий человек, повлиявший на мою писательскую карьеру. Джон Кэмпбелл и Фред Пол повлияли своими решениями, а Клифф Саймак — примером.

Я рассказывал об этом так часто, что Саймак, человек необыкновенной скромности, довольно сконфуженно спросил, когда же я перестану его хвалить.

Мой ответ уложился в одно слово: «Никогда!»

Клифф получил «Гроссмейстерскую премию» от Американской ассоциации писателей-фантастов, и абсолютно заслуженно.

Скончался он 25 апреля 1988 года в возрасте восьмидесяти четырех лет. Но меньше чем через две недели умер Хайнлайн, и смерть Саймака в умах большинства читателей ушла на второй план. Мне от этого неприятно, потому что, хоть Хайнлайн и более успешный писатель, не могу избавиться от мысли, что Клифф был лучше как человек.

27. Джек Уильямсон

Джек Уильямсон — подходящее англосаксонское имя для палп-журналов, но он его получил честно. Его настоящее имя — Джон Стюарт Уильямсон, а Джек — прозвище.

Он родился в 1908 году и на данный момент безоговорочно является старейшиной фантастов, поскольку его первый рассказ «Металлический человек» («The Metal Man») вышел еще в декабре 1928 года в *Amazing*, а он до сих пор активно пишет — насколько я знаю, этот рекорд не знает себе равных в любой области литературы. Это еще одна всеми любимая персона, стоящая выше скандалов и критики и уступающая только Клиффу Саймаку. Его работы времен 1930-х — среди моих самых любимых.

Он один из немногих, кто без труда совершил переход от докэмпбелловских времен в кэмпбелловские, и второй (после Хайнлайна), кто получил «Гроссмейстерскую премию» от Американской ассоциации писателей-фантастов.

Впервые я испытал на себе доброту Джека в 1939 году, когда после публикации своего перво-

го рассказа «В плену у Весты» получил от него открытку: «Добро пожаловать в наши ряды». Благодаря этому я впервые *почувствовал* себя фантастом и буду вечно благодарен ему за такой любезный и великодушный жест.

Уильямсон родился в бедной семье на юго-западе США и к началу творческого пути он получил весьма ограниченное образование. Но по прошествии времени он вернулся к учебе и в итоге стал профессором. Совершенно поразительный человек.

Как и Клиффа Саймака, Джека я вижу только в тех редких случаях, когда мы оба приезжаем на одни и те же фантастические конвенции.

28. Лестер дель Рей

Лестер дель Рей (упрощенная форма его звучного испанского имени) родился в 1915 году. Это низкий щуплый человек с зычным голосом и воинственным характером. У него треугольное лицо с острым подбородком и очки с толстыми линзами, которые он носит после операции по удалению катаракты. Когда я познакомился с ним в 1939 году, он был гладко выбрит, но с тех пор отрастил окладистую бороду. Меня не покидает ощущение, что так выглядит Гэндальф из толкиновского «Властелина колец».

Гораций Голд (фантаст и редактор, о котором я еще расскажу позже) любил говорить, что у Лестера «тело поэта и душа дальнобойщика» — по-моему, прямо в точку. К сожалению, Гораций закончил свою эпиграмму словами: «А у Айзека тело дальнобойщика и душа поэта». Вот тут он, по-моему, ошибся по обоим пунктам.

Лестер из тех людей, кого мне действительно повезло встретить на своем пути. Он совершенно честен, настоящий человек слова, абсолютно надежен. После того как повидаешь в мире столько

фальшивок, столько мерзавцев, столько людей, чьему слову нельзя верить, порой возникает противное ощущение, будто жизнь — это выгребная яма, а люди в ней — гнилые банановые шкурки. И все же *один* честный человек освежает воздух, испорченный тысячей коварных подлецов. Вот почему я так ценю Лестера и других честных людей, которых встретил как в фантастике, так и вне ее.

В нравоучительной еврейской литературе есть притча о том, что Бог не губит этот порочный и грешный мир лишь из-за горстки праведников — они встречаются в каждом поколении. Будь я религиозен, верил бы в это всей душой и никогда бы не устал благодарить судьбу за то, что встретил так много праведников и так редко попадал в руки к грешникам.

У Лестера было четыре жены. Не знаю, может, в писателях есть что-то, подталкивающее к разводу. Вероятно, профессия требует от писателя полного погружения в себя, полной отдачи творчеству, и у них почти или совсем не остается времени на семью. Видимо, тут редко кто продержится долго. Особенно это верно в том плане, что писатели редко богатеют и вторая половинка даже не может прошептать себе под нос: «Ну, он

(она) хотя бы кормит семью».

Я довольно хорошо знал третью жену Лестера, Эвелин. Она была тонколицей, привлекательной и интеллигентной женщиной. Насколько я понимаю, сперва я ей пришелся не по душе. (Не знаю почему, и теперь уже не узнаю.) Но, познакомившись со мной поближе, она изменила мнение. Мне же она нравилась всегда. Это Эвелин помогла вернуться мне в фантастику, когда я на долгое время выпал из нее (я об этом расскажу в свое время). В марте 1967 года Эвелин меня спросила:

— Почему ты больше не пишешь фантастику, Айзек?

— Ты отлично знаешь, что я отстал от жанра, — грустно ответил я. — Я устарел.

— Да ты с ума сошел, Айзек. Когда ты пишешь, ты и *есть* жанр, — сказала она.

Я принял это близко к сердцу, и в свое время это действительно помогло мне вернуться к фантастике.

Эвелин трагически погибла в автомобильной катастрофе 28 января 1970 года. Ей было всего сорок четыре года.

В молодости у Лестера был период, когда мне казалось, что он увлекается выпивкой. Может, я это преувеличиваю из-за своей антипатии к

алкоголю, и, в любом случае, если проблема и была, он с ней справился уже много лет назад.

Но тут встает вопрос, не является ли алкоголизм профессиональным заболеванием писателя. Я слышал такое утверждение всерьез и, кажется, понимаю, почему это может быть правдой. Писательство — работа одинокая. Даже если писатель регулярно выходит в свет, он, вернувшись к главному делу своей жизни, остается наедине с печатной машинкой или текстовым процессором. Больше ни для кого места нет.

К тому же писатели славятся неуверенностью в себе. Не пишет ли он чушь? Даже если писатель популярен и успешно публикует все, что напишет, качество текста все равно может беспокоить. Мне кажется, из-за сочетания одиночества и мнительности (плюс в некоторых случаях неизбежного гнета дедлайнов) слишком легко найти утешение в спиртном. И я действительно знаю многих пьющих фантастов.

Как этого избежал я? Во-первых, меня вырастил непьющим строгий отец. Во-вторых, то, что толкает к выпивке других, в моем случае отсутствует. Мне *нравится* оставаться одному, хотя я могу быть разговорчивым в компании, если мне позволят болтать за всех. И я никогда не верю,

что пишу чушь. У меня совершенно отсутствует критическая жилка — нравится все, что у меня получается.

Что меня удивляет, так это почему не пьет ни капли Харлан Эллисон (о ком будет позже), который куда талантливей меня, но которому приходится куда тяжелее в литературной жизни. По-моему, я, он и Хэл Клемент (о нем тоже будет позже) — три самых известных трезвенника в фантастике.

Но я отвлекся…

Жизнь Лестера полностью изменилась, когда он женился в четвертый раз, на Джуди-Линн. Об этой весьма драматичной перемене я напишу позже.

Первый рассказ Лестера «Верный, как пес» («The Faithful», *Astounding*, апрель 1938) написан в таких обстоятельствах, какие чаще встретишь в литературе, чем в реальной жизни. Прочитав фантастический рассказ, который ему не понравился, Лестер запустил журнал в стену и заявил:

— Даже я напишу лучше.

После чего его девушка, к которой он обращался, ответила:

— Спорим?

Он тут же сел за стол, а остальное уже история.

Мой любимый рассказ дель Рея «Жизнь прошла» («The Day Is Done», *ASF*, май 1939) я прочитал в метро и расплакался. Однажды я неосторожно в этом признался Лестеру, и с тех пор он не устает об этом напоминать.

29. Теодор Старджон

Теодора Старджона, родившегося в 1918 году, сначала звали Эдвард Гамильтон Уолдо, но он взял имя отчима. Как у Фреда Пола, Джека Уильямсона, Лестера дель Рея и прочих, у Теда была трудное детство и плохое образование. (Может, плохое образование приводит людей к писательству из-за отсутствия более очевидной профессии?)

Теда носило по разным подработкам, пока он наконец не засел за фантастику. Его первый рассказ «Дитя эфира» («Ether Breathers») опубликован в сентябрьском *ASF* 1939-го. Через месяц после первого хайнлайновского и через два — после первого моего. В те счастливые дни Кэмпбелл открывал крупных авторов на ежемесячной основе.

Тед, как и Рэй Брэдбери, — поэтический писатель. (Брэдбери — единственный крупный писатель 1940-х, которого открыл не Кэмпбелл и который буквально ничего ему не продал. Они просто не подходили друг другу, но Брэдбери это не волновало — он все равно пришел к славе и

достатку.)

Беда поэтического стиля в том, что если попадешь в десятку, то результат прекрасен; если промахнешься — отвратителен. Обычно поэтические писатели неровные. Такие прозаики, как я, никогда не достигают вершин, но и не падают на дно. Так или иначе, рассказы Теда обычно — то, что надо.

Тед был очень неземным человеком. (Не знаю, что конкретно значит этот эпитет, но, что бы он ни значил, Теду подходит.) Он был тихим, мягким и казался стеснительным — в точности такой тип, при виде которого у девушек просыпается материнский инстинкт, даже если этот человек взрослый. В результате его сексуальная жизнь и брачная история казались настолько запутанными, что я даже не рисковал в них разобраться. Это сказалось и на его творчестве, все чаще касавшемся любви и секса в разных проявлениях.

В 1940-х и 1950-х он писал очень много, но потом о себе дал знать творческий кризис, и в последние годы жизни он докатился до полной неуверенности в себе. Порой писал мне и просил взаймы небольшие суммы, чтобы избежать постыдных осложнений, и я всегда отправлял ему деньги.

Я в этом отношении легкая добыча, и десятки

писателей время от времени откусывают от меня небольшие суммы. Дело в том, что потребностей у меня немного, поводов разбрасываться деньгами — еще меньше. Уже в армии солдаты выстраивались в очередь, чтобы занять у меня до получки. Если не куришь и не пьешь, деньги остаются в кармане. У меня такое ощущение, что я каждый раз одалживаю в знак глубочайшей благодарности за то, что именно даю в долг, а не беру.

И обратно я денег не жду. Считая каждый заем чуть ли не подарком, я, во-первых, рассуждаю реалистично. Те, кому приходится занимать у друзей, чаще всего не в том положении, чтобы возвращать, а я, конечно, *никогда* попрекать не стану. Во-вторых, не ожидая возврата, я избегаю разочарования. Но должен сказать, во многих случаях — хотя и не всегда — деньги-таки возвращали.

Однажды ко мне обратился за деньгами другнееврей, и я, не говоря ни слова, достал чековую книжку и выписал чек. Он пообещал вернуть через шесть недель — и вернул. А потом сказал:

— Я сперва обошел друзей-неевреев — и все мне отказали. К тебе я пришел в последнюю очередь, потому что ты еврей, — и ты дал денег.

Я лишь сказал — надеюсь, получилось с доброй

иронией:

— Ого, да еще и процент не попросил. Наверное, я просто забыл, что я еврей.

Но вернемся к Старджону. Тед был из тех, кто возвращал всегда, однажды даже спустя столько времени, что я уж и забыл о долге.

Конечно, с этим ему не всегда было легко. Както раз Тед договорился об участии нескольких фантастов в каком-то проекте на радио. К сожалению, у руководителя что-то не срослось и все отменилось, гонорары не выплатил — деньги небольшие, но все же. Тед месяцами уламывал его раскошелиться. В конце концов тот поддался, и каждый писатель получил чек, в том числе я.

Через несколько недель я получил от Теда довольно жалобное письмо. Он в красках расписывал, на что ему пришлось пойти, чтобы добыть деньги, и добавил: «Из всех писателей, кому я отправил чеки, поблагодарил меня только ты».

Мне всегда казалось, что проявлять небольшие знаки доброты не так уж сложно, зато люди наверняка охотнее сделают добро в ответ.

30. Аспирантура

Хотя 1939 год выдался таким насыщенным благодаря писательству и знакомству с фантастами, главная проблема никуда не делась. Я не мог прожить на 197 долларов в год, так что был вынужден считать писательство приятным хобби, но не больше.

Не попав в медицинский, я должен был решать, чем займусь, когда учеба подойдет к концу. Мне все еще казалось глупым просто уходить с дипломом бакалавра. Так бы я работы не нашел — и мне пришлось остаться в колледже.

Если вариант с доктором медицины (MD) отпадал, мне оставалось устремиться к степени доктора философии (PhD). Поможет ли найти работу докторская степень, я не знал, но главным для меня было остаться в колледже еще на два-четыре года, а после этого загадка могла бы разрешиться сама собой.

Но если поступать в аспирантуру, то по какой специальности? В колледже я по-прежнему увлекался историей, как во времена, когда брал книги в библиотеках. С тех пор я уже давно перешел к

Геродоту и Эдуарду Гиббону[44].

Я думал — и помню это совершенно отчетливо, — что, возможно, стоит стать профессиональным историком. К этому лежала душа, но, подумав еще, я решил, что с таким образованием смогу найти только место преподавателя, и то, скорее всего, в маленьком колледже. Возможно, придется уехать далеко от дома, и, возможно, я никогда не смогу много зарабатывать.

Тогда я решил стать ученым в области естественных наук, поскольку тогда смог бы работать по специальности или устроиться в какой-нибудь важный исследовательский институт. Так у меня был шанс заработать много денег и славы, получить (кто знает) Нобелевку и так далее.

Но иногда от серьезных доводов толку мало. *Стану* я ученым, и что в итоге? Найду место в преподавательском составе колледжа, действительно маленького и далеко от дома, и так и не заработаю. (К счастью, жизнь все это перечеркнула, как я объясню дальше.)

И все же знайте, что я так и не расстался со своим желанием стать историком. Сын моего брата

---

[44] Примечания: 44

Эдуард Гиббон (1737–1794) — английский историк, автор монументального шеститомного труда «История упадка и разрушения Римской империи». — Прим. ред.

Стэна, Эрик, закончив колледж, поехал в Техас учиться в докторантуре по истории, а я ощутил отчетливый укол зависти и призадумался, как бы изменилась моя жизнь, если бы я сам так поступил. (Впрочем, Эрик передумал, вернулся в Нью-Йорк и стал журналистом, как отец.)

Если бы я хотел стать доктором философии, то в какой научной области? К счастью, ответ нашелся сам собой. Я уже выбрал специальность при поступлении и, поскольку тогда предполагал, что готовлюсь к медицинскому и мне нужен подготовительный курс, взял зоологию. Это одна из моих самых невероятных ошибок. Я терпеть не мог зоологию. О, я бы справился, если бы надо было только зубрить книги, но нет. У нас была лаборатория, и мы препарировали червяков, лягушек, катранов и кошек. Мне это ужасно не нравилось, хоть я и привык.

Но беда в том, что от нас требовалось найти дворовую кошку и убить ее, засунув в бак с хлороформом. Я, дурак, так и сделал. Я же всего лишь следовал приказам, как любой нацистский чиновник в лагерях смерти. Но так от этого и не оправился. Та убитая кошка живет со мной, и по сей день, спустя полвека, я хватаюсь за голову от одной только мысли о ней.

Пройдя годовой курс, я ушел с зоологии.

Это, между прочим, пример разницы между пониманием умом и пониманием сердцем. Умом я понимаю необходимость в экспериментах на животных ради прогресса медицины (при условии, что эксперименты абсолютно необходимы и причиняют минимум страданий). Я могу это убедительно доказать.

Но я никогда, ни при каких обстоятельствах не буду участвовать в таких экспериментах сам или даже наблюдать за ними. Когда приводят животных, я ухожу.

Вычеркнув зоологию, я должен был выбрать между химией и физикой. Физика тоже быстро отпала, потому что требует знания математики. После многих лет легкого обучения математике я наконец дошел до интегрального исчисления и уперся в стену. Я понял, что дальше не сдвинусь, и до сих пор так и не сделал этого, разве что совсем поверхностно.

Так осталась химия, не такая уж математическая. Получается, химия выиграла за неимением конкуренции — так себе основа для выбора профессии, но делать больше было нечего.

К сожалению, из-за того, что я изначально рассчитывал на доктора медицины, а не философии,

поступить стало сложно. Я посещал слишком мало курсов по химии. Для медицинского — достаточно; для аспирантуры — нет. К тому же я не нравился декану химического факультета. Со временем я понял, что не нравился ему абсолютно.

Само по себе меня это не тревожило. Я уже давно привык, что не нравлюсь учителям и профессорам — несомненно, по уважительной причине. Однако декан мог и, судя по всему, собирался не пропустить меня в аспирантуру.

Так началась наша дуэль. Он раз за разом гнал меня из кабинета; я раз за разом возвращался со сводами правил, гласившими, что я могу поступить на испытательный срок, на котором останусь, пока не сдам недостающий курс — физическую химию.

Я добился своего чистейшим оголтелым упрямством. Я обрел поддержку других сотрудников факультета, и декан сдался, но жизнь мне не упростил. Я мог попасть на курс физической химии при условии, если пройду полную программу других курсов (для которых требовалось знать физическую химию). В придачу от меня требовали средний балл как минимум «хорошо», иначе бы мне не дали кредит на курсы, и все деньги, какие я потратил бы на год обучения, оказались

бы пущены на ветер. Драконовские условия, но я согласился. Какой у меня был выбор?

Я справился. На курсе физической химии профессора Луиса П. Хэммета я стал одним из трех студентов в большом потоке, получивших «отлично». Так всего спустя полгода от начала испытательного срока я стал полноправным аспирантом.

Тогда мне исполнилось двадцать, и это был мой последний академический триумф.

На самом деле со времен былой исключительности моя успеваемость мало-помалу скатывалась. В колледже я все еще считался умным студентом. Но в аспирантуре — ненамного выше среднего. Другие в целом усваивали материал лучше и легче меня, а в лаборатории я и вовсе был безнадежен. Эксперименты удавались редко, а когда удавались, я все равно отставал в проворстве и знаниях от всех остальных.

В каком-то смысле это неудивительно. Другие студенты посвятили химии жизнь. Они всерьез стремились занять выгодные позиции в академических кругах или промышленности. Я же лишь коротал время и выбрал химию, потому что все остальное еще хуже, только чтобы оттянуть черный день, когда придется искать работу и (как

я угрюмо предчувствовал) не найти.

Но что же случилось с моим мнением о собственной исключительности (с которым я не расставался в детстве)? Теперь, когда я уже был не гениальной величиной, а всего лишь обычным хорошистом (кого *по-прежнему* недолюбливали профессора), сдулся ли я, лишился хотя бы доли самоуверенности, ушел ли на задний план и приготовился к неизвестности и сожалениям из-за жизни, что началась за здравие, а закончилась за упокой?

Как ни странно, ничего подобного. Все это меня не тронуло, мнение о себе не поколебалось. Видите ли, я стал мудрее. И начал понимать, что академические достижения — это не просто отметки да контрольные, которые лишь более-менее произвольно и незначительно отражают прогресс молодежи. А истинной ценностью всего, чем я занимался в школе (и библиотеке), стала основа для знаний и понимания в самых разных областях.

И неважно, что остальные аспиранты лучше разбирались в химии. Большинство остались практически безграмотны в десятках других сфер, где я-то чувствовал себя как дома.

Я начинал понимать, что я не специалист; что

в *любой* области найдутся те, кто знает куда больше меня, кто может в этой области заработать деньги и славу, тогда как я не мог. Я — *универсал*, нахватавшийся немалых знаний практически обо всем. Есть сотни или тысячи разных специалистов, говорил я себе, но Айзек Азимов всегда будет только один. Сперва это ощущение казалось довольно смутным, но со временем проступало все отчетливее.

Мания величия? Нет! Я разумно оценивал свои способности и таланты и собирался продемонстрировать их миру.

Мои успехи в химии угасали (пока, увы, не угасли совсем), но творческие успехи росли, а ощущение исключительности стало прочным (и, пожалуй, обоснованным), как никогда.

31. Женщины

Мне повезло никогда в жизни не смущаться и не сомневаться по поводу секса. Уже в детском саду я замечал, что на девочек смотреть гораздо приятнее, чем на мальчиков. Тогда я еще не задумывался, почему. Просто принимал как факт.

Время шло, и я, конечно, узнал о сексе. Сами понимаете, не от родителей. Отцу и матери даже в голову бы не пришло обсуждать со мной секс (да и друг с другом, хотя, подозреваю, тут могу их зря оклеветать). А меня и мысли бы не возникло обращаться к ним с таким вопросом.

Не услышал я о сексе и из какого-нибудь доверенного источника. Я узнал о нем по превратным и несовершенным представлениям других парней. Это обычный удел молодежи в обществе, слишком ханжеском для того, чтобы обучать сексу так же, как любому другому знанию.

Учитывая, как важен секс, какой это источник удовольствий, какой источник несчастий и болезней, как он вездесущ в ухаживаниях и браке, разве не странно, что мы изо всех сил стараемся научить детей играть в футбол, но даже палец о

палец не ударим, чтобы научить их заниматься сексом?

Любая попытка ввести уроки сексуального образования в школьную программу встречается свирепыми протестами. Те, кто выступает против, считают (если сорвать с них лицемерную маску «морали»), будто сексуальное просвещение подтолкнет подростков к экспериментам и приведет к нежелательным беременностям и болезням.

Как по мне, все это глупости. Ничто на свете не помешает подросткам экспериментировать с сексом, если только не держать их в таком невежестве и темноте, что можно извратить и сломать им жизнь. Разоблачив таинственность секса и заговорив о нем открыто, мы избавим его от ощущения незаконности, от притягательности «запретного плода». По моему мнению, грамотность во всех аспектах секса, в том числе правильных методах предохранения и гигиены, на самом деле снизит число нежелательных беременностей и болезней.

Я бы, конечно, мог узнать о нем больше, чем мне рассказывали парни, и испытать на деле свои смутные и несовершенные познания. Было бы не так уж сложно экспериментировать с де-

вушками. В идеале я мог бы встретить опытную девушку, которая бы с радостью научила меня всему.

Но правда в том, что ничего этого не произошло. И не потому, что я не хотел. Я смотрел на девушек с вожделением и научился довольно неуклюже флиртовать, но из этого ничего не вышло.

Главная причина — мне не хватало времени. То зубришь в колледже, то вкалываешь в кондитерской. И вишенка на торте — отец решил продавать вечерние выпуски *Daily News*, которые выходили в конце предыдущего дня и не доставлялись на лотки напрямую. Поэтому каждый вечер последних лет моей юности, без исключений и невзирая на погоду, я топал полмили до распределительного центра, ждал грузовик, забирал газеты, расплачивался и нес обратно в лавку. Это, по сути, занимало целый вечер и лишало меня всякой возможности даже невинного общения с девушкой.

На самом деле на первое свидание я пошел в двадцать лет.

Ситуация усугублялась тем, что с двенадцати до девятнадцати лет я учился в Старшей школе для мальчиков, Младшем колледже Сета Лоу и Колумбийском колледже, куда девушки не

допускались. То есть в школе я находился в монашеском уединении.

Это не так уж плохо. Отсутствие противоположного пола позволяло без помех сосредоточиться на учебе. К тому же из-за того, что я быстрее переходил из класса в класс, все одноклассницы были бы на два года старше меня, смотрели бы на меня как на ребенка и с презрением отвергли бы любые проявления внимания, на какие я бы осмелился.

Но и хорошего было мало. Отсутствие женщин сказалось на моем социальном развитии. Еще из-за этого пришлось начать брачную ночь (в двадцатидвухлетнем возрасте) девственником с женой-девственницей. Быть может, моралистам это покажется чем-то чудесным, но, по-моему, все обернулось катастрофой.

32. Разбитое сердце

В конце концов, поступив в девятнадцать лет в аспирантуру, я попал в классы, где учились девушки. И мне повезло обнаружить, что девушка за соседним столом на курсе органического синтеза — привлекательная блондинка, всего на год старше меня и куда лучше разбирается в химии.

(Когда я стал одним из трех, кто получил «отлично» по физической химии, она была второй, причем ей это далось куда проще.)

При таких обстоятельствах не вижу ничего удивительного в том, что я тут же влюбился. Пожалуй, глупо было терять голову с такой стремительностью, но, по-моему, вполне естественно.

Меня нисколько не смущало, что она намного лучше разбирается в химии. Оглядываясь в прошлое, думаю, это самое убедительное доказательство моей смены приоритетов. Раньше, когда для меня важнее всего были оценки, я плохо относился к тем, кто учится лучше меня или хотя бы способен на это (впрочем, никогда не тратил время на утомительные ненависть или зависть).

Если бы у меня все еще оставался тот взгляд на «ум», то ее успехи в химии меня бы оттолкнули.

Девушка была милой и доброй, старалась ни в коем случае меня не обидеть, хотя не имела ко мне ни малейшего романтического интереса. Мы сходили на несколько свиданий (первых в моей жизни), где она терпела мою невероятную неуклюжесть.

Например, это она меня научила, что кафетерии с самообслуживанием — не единственное место, где можно поесть, и сводила в маленький ресторанчик, очень мягко предупредив, чтобы я не забыл оставить чаевые.

А самый счастливый день моей жизни — на тот момента — настал 26 мая 1940 года, когда я водил ее на Всемирную выставку, гулял с ней целый день и даже умудрился пару раз чмокнуть, что считал за «поцелуи».

Впрочем, на этом все и кончилось. К тому времени она уже получила диплом магистра и к большему не стремилась. Она устроилась по специальности в Уилмингтоне, штат Делавэр, а 30 мая распрощалась со мной и оставила меня убитым горем.

Потом я ее видел дважды. Один раз я ездил к ней в Уилмингтон и мы вместе ходили в кино.

А четверть века спустя я давал речь в Атлантик-Сити для Американского общества химиков, и женщина, которая тихо дожидалась, когда закончится лекция, подошла и сказала: «Помнишь меня, Айзек?»

Это была она, и я ее узнал, но прежних чувств уже не осталось. Я поужинал на набережной с ней и ее мужем. У них уже было пятеро детей.

После того нашего расставания последовало, как мне кажется (*сейчас*, спустя полвека), самое интересное во всем этом происшествии. Я страдал из-за разбитого сердца — в первый и последний раз за всю жизнь.

Разбитое сердце, судя по моему ограниченному опыту, — это боль из-за утраты предмета любви в том случае, когда предмет любви не отвечает взаимностью, прерывает общение (по-хорошему или жестоко) и исчезает. Тот, кого ты любишь, пропал, но все еще существует, просто не рядом. Довольно безобидная ситуация в сравнении с безвозвратной утратой любимого из-за смерти, но не менее болезненная.

На долгое время я забыл о радости и улыбках. Для меня сгустились тучи, солнечный свет потерял всякий смысл. Я почему-то не мог думать ни о чем, кроме той девушки, а когда думал о ней,

у меня что-то сжималось в груди и становилось трудно дышать. Я решил, что в жизни нет смысла, и был совершенно, совершенно, *абсолютно* уверен, что никогда этого не переживу. Даже задумывался, не стоит ли просто лечь и помереть от тоски.

Странное дело — я все пережил, но не помню, как. Поэтапно? Меня медленно отпускало день ото дня? Или я просто проснулся однажды утром припеваючи? Даже не помню, сколько времени занял этот период.

А когда все кончилось, не осталось и шрама. Вот почему я говорю, что ситуация безобидная. Полагаю, чем ты моложе в момент разлуки, тем слабее удар и чище исцеление. (Интересно, кто-нибудь изучал этот вопрос с научной точки зрения?) Если допустить, что я прав, то я рад, что испытал это не позже двадцати.

Еще я бы хотел тут предположить, что разбитое сердце дарит некий иммунитет, если только человек не чересчур эмоционален. По крайней мере, после того опыта я внимательно следил, чтобы страсти не овладели мной вновь. Я держал чувства к девушкам в узде и позволял им разрастаться, только если видел ответную реакцию. Итог — мне больше никогда не разбивали

сердце.

В результате я женился дважды, каждый раз по любви, но при этом, думаю, действуя разумно, и во второй раз — разумнее, чем в первый.

33. «Приход ночи»

К весне 1941 года я опубликовал пятнадцать рассказов, четыре из них — в *ASF*. Еще рассказов десять не продал. Большинство опубликованных вещей высоким качеством не отличались. Но я уже начал цикл о «постироничных роботах», который позже принес мне определенную известность. Тогда я опубликовал из него три рассказа. Это «Странная нянька» («Strange Playfellow»), который я позже переименовал в «Робби» («Robbie», *Super Science*, сентябрь 1940), «Логика» («Reason», *ASF*, апрель 1941), и «Лжец!» («Liar!», *ASF*, май 1941). Вот они — довольно неплохие.

Но почти за три года работы я так и не написал ничего выдающегося.

Но 17 марта 1941 года, когда я пришел в кабинет Кэмпбелла, он зачитал мне следующую цитату из раннего сочинения Ральфа Уолдо Эмерсона[45] «Природа»: «Если бы звезды являлись нам раз в тысячу лет, как веровали бы в них люди, как

---

[45] Примечания: 45

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский пастор, философ, эссеист. Опубликованное в 1836 году эссе «Природа» считается манифестом философии трансцендентализма, выразившим ключевые идеи этого течения. — Прим. ред.

почитали бы их, передавая из поколения в поколение память о граде Божьем!»[46]

— По-моему, Эмерсон ошибается, — сказал Кэмпбелл. — По-моему, если бы звезды являлись раз в тысячу лет, люди бы сошли с ума. Хочу, чтобы ты написал об этом рассказ и назвал его «Приход ночи».

Алексей Паншин, известный историк фантастики, убежден, будто Кэмпбелл выбрал именно меня. Мне что-то не верится. По-моему, Кэмпбелл просто поджидал, когда войдет кто-нибудь из проверенных авторов, и по случайности им оказался я. Если так — мне повезло. Это могли быть Лестер дель Рей или Тед Старджон, а я бы упустил возможность всей жизни.

Я работал над «Приходом ночи» так же, как над любым другим своим рассказом, и продал его Кэмпбеллу в апреле. Публикация состоялась в сентябрьском номере *ASF* 1941 года.

Для меня это был просто очередной текст, но Кэмпбелл, разбиравшийся в таком куда лучше, разглядел в нем что-то необыкновенное. Впервые выплатил мне премию, прислав чек, где поставил один цент с четвертью за слово вместо обычного

---

[46] Примечания: 46
Пер. Н. Виленской. — Прим. пер.

пенни. (Причем не предупредил, так что я сперва засомневался, а потом, следуя строгому кодексу этики, привитому отцом, позвонил и сказал, что мне переплатили. Кэмпбелла это немало позабавило. Он привык к претензиям за слишком маленькие гонорары; впервые ему жаловались на переплату. Он, конечно, все разъяснил.)

Еще он выставил меня на обложку — тогда я впервые попал на обложку *ASF*, — и мой рассказ был главным в номере.

С тех пор «Приход ночи» считается классикой. Великое множество людей думает, что это мой лучший рассказ, а кое-кто — что это вообще лучший журнальный фантастический рассказ в истории. Если честно, я считаю и всегда считал, что это глупости.

Главное, в стиле еще хватает бульварных черт. По моей оценке, я избавился от наследия бульварного чтива только в 1946-м.

Признаю, сюжет интересный и дает пищу для размышлений (о вечно освещенном мире, что видел тьму лишь раз и давным-давно), но с тех пор я писал рассказы — и немало, — которые мне нравятся куда больше «Прихода ночи».

Впоследствии Кэмпбелл создал, как он это называл, «аналитическую лабораторию», где

подсчитывали голоса читателей и вычисляли сравнительную популярность рассказов в конкретном выпуске. Существуй она в 1941 году, лучшим рассказом в том же номере, что и «Приход ночи», выбрали бы — нисколько не сомневаюсь — «Адама без Евы» («Adam and No Eve») Альфреда Бестера. И заслуженно, потому что Бестер как писатель лучше, чем я (и тогда, и впоследствии), а этот рассказ невероятно хорош.

В дальнейшем объединения научных фантастов присуждали всё более престижные премии за лучшие произведения года в разных категориях. Две самые важные — «Хьюго», которая вручается на Всемирной конвенции научной фантастики, и «Небьюла», которой награждает Американское сообщество научных фантастов. Существуй они в 1941-м, «Приход ночи», нисколько не сомневаюсь, не получил бы премию в категории рассказов. В том году самыми популярными фантастами и звездами *ASF* были с большим отрывом Роберт Э. Хайнлайн и Э. И. ван Вогт. Наверняка все премии заграбастали бы они.

И все же «Приход ночи» удерживает свои ретроспективные позиции. Регулярно занимает первое место во множестве читательских опросов о

самых любимых рассказах. Даже сейчас я довольно регулярно слышу, что если его включают в программу курса фантастики, то он неизбежно оказывается любимчиком.

Мне этого никогда не понять.

И все же это поворотный момент, пусть я даже не понимаю, почему. После «Прихода ночи» я перестал получать отказы из журналов. Я просто писал и продавал и через год-другой уже достиг уровня Хайнлайна / ван Вогта — или почти достиг.

Когда спустя сорок лет после публикации я учредил собственную корпорацию, выбора у меня не было. Я назвал ее Nightfall, Inc.

34. Начало Второй мировой войны

Почти в то же время, когда я поступил в аспирантуру, в Европе разгоралась Вторая мировая война.

Мне неприятно искать внешние причины падения своей успеваемости, но война действительно отвлекла меня от учебы. А как иначе? Ни один смышленый еврейский подросток, много лет следивший за ситуацией в Европе с болезненным вниманием, не мог отмахнуться от войны только потому, что она его будто не касается, поскольку его страна в ней не участвует и сохраняет нейтралитет. Если бы победила гитлеровская Германия, под угрозой оказался бы каждый еврей в мире.

Я отчаянно мечтал о поражении Гитлера. Отчаянно!

Год учебы, отмеченный моим бестолковым романтическим увлечением, начался с вторжения в Польшу, а завершился падением Франции. Я каждый день часами (*часами!*) слушал радио и читал газеты в безуспешном поиске хороших новостей — чего угодно, лишь бы приподнять дух. Летом

1940 года боль от моего разбитого сердца отяготило схожее чувство из-за страданий Европы.

Конечно, учеба не могла не пострадать. Стало трудно сосредоточиться на ней и не потерять в ней смысл. Меня поражает, что я продолжал писать. Могу это объяснить только по опыту дальнейшей жизни. Когда мне грустно и тяжело, моим единственным утешением (поскольку я никогда не курил, не пил и не принимал наркотики) становится писательство. Только оно приглушает страхи. Однажды, когда Робин сломала лодыжку и я отчаивался из-за мыслей, будто что-то помешает выздоровлению и она навсегда останется хромой, моим единственным спасением стало сесть и написать одно за другим три длинных эссе.

Но в то черное время даже писательства оказалось мало. Всего через несколько месяцев после продажи «Прихода ночи» немецкие войска в огромных масштабах и с огромной силой вторглись в Советский Союз. Когда рассказ появился в печати, казалось, СССР находится на грани уничтожения.

Но США по-прежнему сохраняли нейтралитет. Конечно, каждая победа Гитлера ослабляла позиции изоляционистов в стране.

Каждая победа пугала все больше и больше людей, и они хотели, чтоб Штаты делом помогли тем, кто борется с Гитлером. В частности, впечатляющая борьба Великобритании против Гитлера осенью 1940-го — победа в Битве за Британию — оживила американские симпатии настолько, что мы все настойчивее требовали вступить в войну. Даже тех, кто боялся Советского Союза больше Германии (а их хватало), перекричало подавляющее большинство, питавшее все более непримиримое отвращение к Гитлеру.

35. Магистр искусств

В конце концов любому аспиранту приходится сдавать экзамены, чтобы узнать: А) достоин ли он получить степень магистра искусств (MA), и Б) если достоин, позволят ли ему двинуться дальше к степени доктора философии.

Девушка, в которую я влюбился, без труда сдала экзамены и получила после года учебы степень MA — и, если бы хотела, могла бы претендовать на PhD. Вот показатель того, как упала моя успеваемость: сдав экзамен, я получил MA, но в моих глазах это был только утешительный приз, потому что оценки не позволяли претендовать на PhD.

Тогда я оказался на распутье — на том самом распутье, где провел уже несколько лет. Если бы я получил MA и на этом остановился, мне бы пришлось уйти с учебы и искать работу. С другой стороны, я мог продолжить учебу, потому что экзамены разрешалось пересдать.

Конечно, ситуация на рынке труда значительно изменилась. Теперь Штаты вооружались к войне, чтобы если не вступить в нее, то хотя бы

послужить «арсеналом демократии», как выразился Франклин Рузвельт.

Поэтому повсюду искали умных студентов, изучавших естественные науки, которые могли трудиться в тылу. Я был бы рад получить такое место и ощутить, что вношу свой вклад в борьбу с Гитлером.

К сожалению, против меня говорили две вещи. Я уже не считался умным студентом — по крайней мере, в области химии. Во-вторых, давняя-предавняя проблема: профессора были невысокого мнения обо мне, а к рекомендациям при наборе студентов прислушивались в первую очередь.

Еще до этого я столкнулся с очередным профессором, любившим измываться над студентами. Я выступил против такого подхода и полагаю, что он расценил это как неуважение, а значит, вряд ли меня куда-то порекомендовал, а его слово весило очень много. Так я доучился до магистратуры, а сам по-прежнему не мог установить приличные рабочие отношения с преподавателем.

Затем меня невзлюбил профессор Артур Томас — брюзга наихудшего пошиба, — и из чистого отчаяния я попросил о беседе с ним, чтобы изложить свою версию событий. (Ему поступали

жалобы, будто я пою в лаборатории и отвлекаю других студентов — напомнило мои давние проблемы с перешептыванием в классе.) Я постарался выставить себя в лучшем свете и заслужить его расположение — и, о чудо, мне удалось.

К моему изумлению, он встал на мою сторону, а вскоре его назначили исполняющим обязанности декана химического факультета. Подозреваю, одна из причин почему он передумал на мой счет, — он давал задание лаборантам (как они мне рассказали через год) подкидывать мне аналитические задачки посложней, чтобы таким образом избавиться от меня. Но я решал их упорно и без жалоб, потому что мне не хватило ума разглядеть заговор.

Я часто вспоминал ту беседу с Томасом и гадал, куда бы повернула моя жизнь, если бы я каждый раз включал обаяние вместо того, чтобы вставать в позу и говорить: «Я прав, вы — нет, и никаких компромиссов». Но я так не делал. Пока я не начал работать на себя, то и дело влипал в серьезные неприятности с каждым, кого можно было считать вышестоящим по иерархической лестнице.

Сдав экзамены второй раз, 13 февраля 1942 года я наконец получил разрешение претендовать на PhD — возможно, благодаря вмешательству

оттаявшего профессора Томаса. Но и на этом мои затруднения не кончились. Теперь мне нужно было найти профессора, который согласится стать моим научным руководителем, даст тему и проследит за ее исследованием компетентно и миролюбиво. К сожалению, ни один профессор факультета не подпустил бы меня к себе и на пушечный выстрел, а сам Томас был слишком погружен в административную работу и не занимался исследованиями.

Но знакомый студент рассказал, что его профессор Чарльз Реджинальд Доусон — добродушный малый, принимающий всех «хромых дворняжек», которым другие дали от ворот поворот. Меня не обидело такое прозвище, потому что я понимал его обоснованность.

Я бросился к Доусону, и он меня принял. Это был человек среднего роста, интеллигентный и со спокойным характером. Он никогда не выходил из себя, никогда не злился. (У этого могла быть своя цена — он тяжело страдал из-за язвы двенадцатиперстной кишки.) Он отличался безграничным терпением, и я его забавлял. Меня это устраивало. Я не возражал против статуса чудака, особенно если альтернатива — статус проблемного студента.

Доусон был человеком безмерной доброты и моим вдохновителем. Несмотря на мою безнадежную непригодность к работе в лаборатории, Доусон руководил внимательно и неустанно, следил, чтобы я справлялся. Кажется, у него почему-то сложилось впечатление, будто я неутомимо фонтанирую идеями и в целом исключительный человек. (По крайней мере, я слышал, как он обсуждает меня с другим профессором, и с трудом узнал себя в этом описании.)

Итог? Что ж, он стал свидетелем моей карьеры, ему посвящено несколько моих книг, и я не раз хвалил его в прессе. (У меня хватает грехов, но греха неблагодарности за мной точно не числится.)

На самом деле он мне даже сказал — уверен, дружески преувеличивая, — что его главной заявкой на славу в итоге оказалось то, что у него учился я. Мне это не кажется правдой, но все-таки хотелось бы поверить — иначе представить не могу, чем еще отплатить ему за все, что он для меня сделал.

36. Перл-Харбор

За два месяца до того, как меня допустили в докторантуру, японцы разбомбили Перл-Харбор, и 7 декабря 1941 года мы вступили в войну.

Пожалуй, было бы здорово сейчас сказать, что я тут же бросил все и пошел добровольцем в вооруженные силы, воевал и вернулся домой с боевыми медалями и ранениями.

Если бы мир был идеален, а мы — совершенны, я бы так и сделал, но и мир не такой, и я никуда не пошел. Я всегда признавал, что во мне нет ни капли героизма.

Если бы меня призвали, я бы, конечно, пошел, хотя и боялся бы до смерти на каждом шагу. Представить себе не могу, чтобы из меня вышел солдат. Меня парализует уже одна мысль о том, что под огнем я бы струсил и с воплями убежал или выкинул бы какую-нибудь глупость похуже. Утешаюсь надеждой, что в конце концов люди принимают правильное решение — даже трусы находят в себе запас сил, если потребуется.

Что ж, может, и так, но, думаю, лучше стране послужили бы мои мозги, чем мое дрожащее тело.

Да, мне, конечно же, стыдно, что я не стоял в первых рядах добровольцев, но было бы стыдно куда сильнее, если бы я изображал храбрость, которой не имею. Как бы то ни было, меня не призвали — по крайней мере, тогда, — и я просто писал дальше и продолжал путь к степени PhD.

37. Брак и проблемы

В 1941-м я вступил в Бруклинский клуб авторов. Мы собирались, читали и критиковали рукописи. Было довольно интересно. Одному молодому человеку из клуба Джозефу Голдбергеру понравился мой рассказ, и он предложил сходить на двойное свидание. Я ответил, что у меня нет девушки, а он пообещал мне ее предоставить. Я с волнением согласился.

Как я в итоге узнал, девушка Голдбергера Ли решала, выходить за него замуж или нет, и хотела познакомить его с лучшей подругой, чтобы спросить у нее независимое мнение. Поэтому позвала ее, Гертруду Блюгерман, на свидание вслепую, — хотя бы для того, чтобы составить впечатление о Голдбергере. Гертруда нехотя согласилась. Меня ей описали как усатого русского, и один бог знает, что за экзотичную личность она себе вообразила. Свидание назначили на 14 февраля 1942 года. Уверен, тогда никто из нас не заметил, что это день Святого Валентина, уж точно не я.

Я, действительно, уже год ходил с усами, но довольно жуткими, и однокурсник поспорил

на доллар против моих усов, что меня примут в докторантуру. 13 февраля меня приняли, я сбрил усы и встретился с Гертрудой без них.

Она бросил на меня взгляд, полный ужаса, и (по-моему) попыталась сбежать под предлогом мучительной головной боли, но Ли ее не пустила. Это всего-то на пару часов, сказала она, и ты все-таки должна мне помочь определиться с Джо.

В моем случае все произошло наоборот. Я посмотрел «Капитана Блада» с Эрролом Флинном и Оливией де Хэвилленд, и, хотя я не из тех, кто влюбляется в кинозвезд, кем-то я все же восхищаюсь больше других. В то время Оливия де Хэвилленд казалась мне воплощением женской красоты. Гертруда предстала перед моими ослепленными глазами вылитой копией де Хэвилленд. Она, правда, была поразительно красива.

Моя реакция была неизбежна, но прошло три года с тех пор, как влюбился в химической лаборатории. Мне нисколько не улыбалось снова испытать тоску от разбитого сердца. Поэтому я отреагировал осторожно, действовал постепенно.

Но все же напористо. Мои манеры и твердость, моя настойчивость на будущих свиданиях, моя спокойная уверенность, что мы поженимся, сделали свое дело. Она явно не считала меня

предметом романтических воздыханий (да и кто бы считал?), но я заговорил ее до умопомрачения, и она согласилась рискнуть. (Естественно, она оценила мой интеллект. Это тоже не помешало.) 26 июля 1942 года, меньше, чем через полгода после встречи, мы поженились.

Брак был непростой. Все-таки, уверен, она меня не любила. Мы оба были девственниками (хоть она и на два года старше меня), и без опыта секс у нас не заладился. Развились и другие несовместимости, которые гораздо труднее описать. Не буду и пытаться.

Впрочем, на одну несовместимость я закрыл глаза еще во время ухаживаний (по той простой причине, что не имел ни малейшего представления о ее тяжести), а она вызвала огромные трудности в браке.

Гертруда курила!

Сделаем шаг назад и поговорим о табаке. Одним важным источником дохода кондитерской был табак. Мы продавали сигареты пачками и упаковками, сигары поштучно и коробками, а также разнообразный табак для трубок. Не помню, были ли у нас сами трубки, зато помню вертикальный автомат с круглыми банками нюхательного табака Copenhagen. Сомневаюсь, что мы продавали

жевательный табак.

Трубки и сигары были довольно экзотичны, но сигареты курили почти все. Отдельные пачки ведущих брендов по двадцать сигарет стоили тринадцать центов, брендов похуже — десять. А главное, одну пачку каждого ведущего бренда мы держали открытой, чтобы люди могли покупать из поштучно, за пенни. Многие подростки — завсегдатаи кондитерской и мои сверстники — покупали так сигаретку, закуривали и уходили, пуская дым.

Сигареты, очевидно, были доступны и мне. Только руку к пачке протяни. Но отец установил строгие правила. Товары в лавке — для *продажи*, а *не употребления*.

Что касается сладостей, это было испытанием. У нас на стойке лежало множество коробок сластей, все открыты и на виду, приходила молодежь с мелочью, выбирала, что хотела, и я отдавал. Но мне их пробовать было нельзя, *никогда*.

Нет, я обходился и без них. В целом я всегда мог спросить отца или (еще лучше) мать: «Мам, можно взять „Херши“?» Иногда, хотя, конечно, не часто, в ответ звучало «да», и мне этого хватало для счастья. То же относилось и к сигаретам. Ничто не мешало сказать: «Пап, можно сигарету?»

Я ни разу не попросил. Ни разу. И так знал, что ответом будет «нет». В результате я ни разу не курил. Как видите, я некурящий в силу обстоятельств. Чуть изменилось бы отношение отца — и я бы вполне мог вырасти заядлым курильщиком.

Сестра и брат тоже никогда не курили, как и мать. Стэнли рассказывает, что какое-то время (но недолгое) отец много курил, и я это слушаю с глубочайшим изумлением. Брат в этом клянется, и я не могу усомниться в его словах, он человек честный, но, как ни стараюсь, не припоминаю отца с сигаретой в руке.

Возможно, моя ретроспективная нелюбовь к курению так сильна, что я попросту заблокировал это в памяти.

Но в 1942 году, хоть и сам я не курил, но против чужого курения не возражал. Люди дымили в кондитерской, и нас это устраивало — табак составлял немалую долю нашей небольшой прибыли. Я привык к запаху и не задумывался о нем. И поэтому курение Гертруды не показалось чем-то таким, что следует учесть, собираясь жениться, — и это уже была роковая ошибка.

Если бы тогда я относился к этому так же, как сейчас или через несколько лет после свадьбы,

меня бы ничто не убедило жениться на курящей женщине. Свидания — да. Сексуальное приключение — да. Но навсегда запираться в квартире с курильщицей? Никогда. Никогда. Никогда. Ни красоте, ни доброте, ни любому другому качеству этого не перевесить.

Но я же не знал. Я никогда не жил в доме или квартире, что вечно заполнены дымом и вонью мертвого содержимого пепельниц. Когда я узнал, что жизнь с Гертрудой без этого невозможна и спасения нет, наши отношения зачахли.

Должен сказать, что Гертруда во многих отношениях была хорошей женой. Не утрачивая красоты, она поддерживала порядок в доме, хорошо готовила, оставалась мне верной и строго вела семейный бюджет.

Все это важно, но дело портят мелочи. Вот байка о человеке, решившем развестись с женой, которую все его друзья считали идеалом. Они с ним спорили, превозносили ее качества и добродетели, а он слушал, сколько мог. Потом снял туфлю, протянул остальным и сказал:

— Кто-нибудь из вас может сказать, где мне жмет?

И помните, дело не в одной вони табака. Я начал понимать, что табак влечет проблемы со

здоровьем. Тогда впервые заговорили о болезнях дыхательной системы и раке легких, и я не видел разницы в том, какой дым вдыхаешь: свежий или после того, как его выдохнули.

Потому я начал кампанию за то, чтобы Гертруда бросила курить, или хотя бы курила поменьше, или хотя бы никогда не курила в спальне, в машине или за едой. К сожалению, я не преуспел ни в чем. Шли годы, вопрос по-прежнему был как болячка, что натиралась и шла волдырями, раздражая все больше и больше.

Я терпел дольше, чем мог, по трем причинам. Во-первых, я знал, что она курит, когда на ней женился, и казалось нечестным наказывать ее за то, с чем вначале мирился.

Во-вторых, я всегда помнил, что сам уговорил ее выйти за меня, а она противилась как могла. Поэтому казалось, что теперь мне положено терпеть.

В-третьих, ко времени, когда я начал втайне подумывать о разводе, у нас уже было два маленьких ребенка. Я бы мог развестись, учитывая, как мне казалось, адекватные претензии, но ни за что бы не бросил детей. Пришлось дождаться, пока они вырастут.

Может показаться странным, что такой пустяк,

как курение, разорвет многолетний брак, устраивающий во многом другом, но дело, конечно, не только в этом. Хватало и других разногласий, о которых рассказывать сложнее. Например, я сомневаюсь, что когда-либо нравился Гертруде, и это ранило мою самооценку. Через двенадцать лет я устал любить без взаимности и разлюбил, хотя брак продолжался еще много лет по чистой инерции.

Впрочем, отдам Гертруде должное. Может, я ей и не нравился, но она никогда не принижала мой интеллект. (Вот *этого* я бы точно не вынес.)

Например, в армии я прошел какой-то тест на определение уровня интеллекта под названием AGCT[47] — не помню, как это расшифровывается. Я набрал 160 баллов, чего еще не видел никто из проводивших тест. Видимо, это что-то близкое к максимуму. Я позвонил Гертруде и похвастался.

На моей следующей увольнительной она возмущенно рассказала, как сообщила приятелю, что я набрал 160 баллов.

— Ты, наверное, имеешь в виду 116, — сказал он.

— Нет, — возразила Гертруда, — 160.

---

[47] Примечания: 47

Army General Classification Test (AGCT) — армейский общеклассификационный тест. — Прим. пер.

— Откуда ты знаешь?

— Так сказал Айзек, — ответила она.

Друг рассмеялся:

— Да он соврал, — чем поверг Гертруду в приступ ярости.

Я поинтересовался у нее:

— Откуда ты знаешь, что я не соврал?

Я хотел услышал тот простой факт, что я никогда не вру, но нет. Она только сказала:

— Для тебя 160 — это просто норма. С какой стати тебе врать?

Затем через двадцать лет к нам в гости пришла Ли — девушка, которая устроила то самое двойное свидание. (По-моему, к тому времени она уже успела развестись с Джо Голдбергером.) Она спросила Гертруду:

— Когда ты только начала встречаться с Айзеком, могла ли себе представить, что он станет тем, кем стал?

— Конечно, — сказала Гертруда. — Этого я и ожидала.

— Почему ты этого ожидала?

— Он с самого начала *сказал*, что так и будет.

Не могу не вспомнить похожую историю о Фреде Поле. Когда мы оба вернулись из армии, он мне заявил:

— Мой балл по AGCT — 156. А твой?

Я помялся, потом нехотя сказал:

— Прости, Фред. У меня — 160.

— А… — ответил он.

Но он в моих словах не сомневался. Он знал, что я не способен соврать, только чтобы обойти его, и за это я любил его еще больше.

38. Родственники

Женитьба означала, что у меня появилась вторая семья — Блюгерманы. За годы брака я их видел чаще, чем свою родню. После переезда мы периодически возвращались в Нью-Йорк и всегда останавливались у Блюгерманов, потому что так хотела Гертруда. Я ее не винил. Моя семья с кондитерской не могла предложить того же гостеприимства.

Отец Гертруды Генри Блюгерман был очень тихим, очень добрым, очень мягким человеком, которого любили все, даже его пасынок. Внешностью он мне напоминал Эдварда Г. Робинсона[48]. (Учитывая, что отец и мать Гертруды довольно невзрачны, я дивился, что у них родилась такая красавица дочь и такой же красавец сын.)

Генри был традиционным безвольным еврейским отцом. Я шутил — не в присутствии Гертруды, — что в четырнадцать она спросила мать: «Кто это всегда сидит с нами за обедом?»

---

[48] Примечания: 48

Эдвард Голденберг Робинсон (1893–1973) — американский киноактер, получивший широкую известность, благодаря ролям гангстеров в криминальных драмах («Маленький Цезарь», «Последний гангстер». «Пять последних звезд» и др.). — Прим. ред.

Намного позже я услышал анекдот о горе-актере, который вернулся домой и радостно заявил, что получил роль.

— Какую? — спросил друг.

— Я играю еврейского отца, — сказал актер. На что его друг ответил:

— А что случилось? Не было ролей со словами?

Вот таким и был Генри.

Правила в семье мать Гертруды Мэри. Она была всего полтора метра ростом и, на мой взгляд, полтора же метра вширь. Действительно тучная женщина. А еще она служила центром, вокруг которого вращалась эта маленькая семья. Она громко командовала, все исправляла, везде требовала делать по-своему и, как мне кажется, сломила внутренний стержень детей, сделав их слишком зависимыми от нее и неспособными на крепкие отношения вне семьи.

По-моему, это из-за привязанности к матери (на мой взгляд — нездоровой) Гертруда не могла отдаться нашим отношениям полностью. Думаю, о многом говорит тот факт, что после свадьбы, когда мы уезжали на медовый месяц, мать громко окликнула ее прямо на улице:

— Помни, Гиттель, если ничего не получится, ты всегда можешь вернуться домой ко мне!

Можете себе представить, как это ударило по моей самооценке.

Мэри, когда я с ней познакомился, исполнилось сорок семь, и она страдала от проблем со здоровьем. По крайней мере, это она так говорила, чем и держала семью в узде. В решающие моменты ее здоровье мигом ухудшалось к безмерной тревоге всех родных.

Гертруда верила, что ее мать (повторюсь, сорока семи лет) — старая-престарая женщина, неспособная позаботиться о себе. Более того, в первый год брака моя жена не раз просилась в Нью-Йорк, чтобы ухаживать за несчастной ветхой родительницей. «Она уже старенькая», — возмущенно твердила Гертруда, когда я напоминал, что ее место — со мной. Впрочем, она так и не исполнила свою угрозу вернуться в Нью-Йорк на роль круглосуточной няньки для матери.

Много лет спустя, когда Гертруда отпраздновала пятидесятый день рождения, я спросил, помнит ли она, как рвалась домой к старой-престарой матери и хотела о ней позаботиться. Гертруда неосторожно вспомнила, и я сказал (стыдно признаться, с капелькой злорадства):

— Что ж, она была на четыре года младше, чем ты сейчас.

У Гертруды был брат Джон, девятнадцати лет на момент нашего брака. Его я никогда не понимал. Он был чуть повыше меня, силен и чрезвычайно хорош собой. На мой взгляд, он так же смахивал на Кэри Гранта[49], как его сестра — на Оливию де Хэвилленд.

Джон был довольно умен и, оказывается, получал удовольствие, подкалывая парней, которых Гертруда время от времени приводила домой. Как выяснилось, одним из моих достоинств в ее глазах было то, что меня Джон подколоть не сумел. (А я и не заметил, что он пытался.)

Самое странное в Джоне — он был глубоко несчастным человеком, на мой взгляд, безо всяких на то причин. Я ясно видел, что, несмотря на внешность и интеллект, он страдал из-за низкой самооценки. Как, собственно, и Гертруда.

На этот счет у меня есть теория. Я уверен, что безумно любящая мать требовала от Джона так много, что он разуверился в своих силах. Он считал, что не способен оправдать ожиданий и довольствовался чем-то другим, меньшим. Он не

---

[49] Примечания: 49

Кэри Грант (1904–1986) — англо-американский актер театра и кино, одна из ярчайших звезд Голливуда своего времени. Наиболее известен ролями в фильмах «Только у ангелов есть крылья», «Его девушка Пятница», «Филадельфийская история» и других. — Прим. ред.

попал в медицинский и отучился на стоматолога, так что в итоге стал, по словам матери, «доктором стоматологической хирургии». Но собственную практику так и не открыл.

Он заинтересовался юнговской психиатрией и поехал в Швейцарию, но через долгое время вернулся, так и не закончив курс. И так и не женился.

Гертруда была на шесть лет старше Джона (она родилась 16 мая 1917 года), и мать ее обожала до рождения Джона. Но Джон все же *мальчик*. Гертруда сразу стала гражданкой второго сорта, и это потрясло маленькую девочку до глубины души. Более того, как она мне рассказывала, мать то и дело называла ее *некрасивой* и требовала, чтобы та не задирала нос. Неудивительно, что у Гертруды была такая низкая самооценка.

Помню, однажды, когда я во время ссоры пожаловался на ее беспричинно депрессивный взгляд на жизнь, она ответила:

— В браке с тобой кто хочешь станет депрессивным.

На что я сказал:

— Но твой брат, Джон, еще депрессивнее, а он на мне не женат. У вас, случаем, нет чего-нибудь еще общего?

Гертруда меня поняла. Наверняка поняла, потому что разозлилась.

Мы с тещей не ладили. Меня она подчинить не смогла. Я этого не допускал. Видимо, мое очевидное сопротивление она считала большим недостатком.

Еще ее волновало, что мой растущий успех оставляет в тени ее любимого сына, которого она всегда называла «сыночек» — как мне кажется, специально, чтобы он чувствовал себя ребенком. Однажды она мне довольно высокомерно заявила:

— Мой сыночек — *артист*, а не бизнесмен, как ты.

На что я ответил:

— Я профессор колледжа и романист. Это что, не артист?

(Еще какой; записывайте очередной недостаток.)

Деловые советы матери для Генри, которым он безвольно следовал, привели к катастрофе. После Второй мировой он ушел с работы и открыл собственный неудачный бизнес, вскоре разорившись. И все-таки Мэри избегала любой ответственности и во всем винила несчастного и невинного Генри.

Я был единственным в семье, кто с ней спорил и пытался поставить ее на место, — вот и еще один недостаток.

Но надо отдать ей должное. Лучше повара, чем Мэри Блюгерман, я не встречал. За ее жареную фаршированную курицу, за ее лапшевник с печенью, за ее штрудель я бы простил что угодно. Поэтому и Гертруда, многому научившись у матери, тоже хорошо готовила, хоть и не *настолько*.

39. NAES

Весной 1942 года Роберт Хайнлайн начал вербовать меня со Спрэгом де Кампом на экспериментальную станцию ВМФ в Филадельфии. Я встал перед дилеммой, потому что мог привести одинаково убедительные аргументы как в пользу предложения, так и против.

Веский аргумент против Филадельфии — я никуда не хотел переезжать. Я хотел жить дома. Мне уже шел двадцать третий год, но я до сих пор боялся самостоятельной жизни.

Во-вторых, я все еще хотел защитить докторскую. Не хотел прерывать обучение на неопределенное время, а то и навсегда.

Но аргументы *за* поездку в Филадельфию выглядели куда убедительнее. Я в любом случае не мог быть уверен, что меня допустят до защиты. Первые месяцы после Перл-Харбора выдались для Штатов тяжелыми, и, хотя Европа и Советский Союз уже собрались с силами и сдерживали немецкую армию, этот рубеж мог стать последним.

Вероятность призыва нависла над многими

молодыми американцами, а я бы не рискнул утверждать, будто моя докторская степень важнее военных действий. Если бы я работал на NAES, мои усилия приносили бы непосредственную пользу нашей стороне, а я знал, что сумею больше сделать в качестве довольно способного химика, чем пехотинца-паникера, и, возможно, правительство со мной бы согласилось.

Еще один аргумент за Филадельфию — это была, как ни крути, работа. Я хотел жениться на Гертруде, но как мне ее обеспечивать? Я накопил на счету 400 долларов, и это казалось приличным стартовым капиталом, но нужна была работа, приносящая стабильный доход. Хайнлайн предлагал 2600 долларов в год. Этого бы хватило.

В итоге победило мое желание жениться. Я переехал в Филадельфию 13 мая 1942 года и умудрился около десяти недель прожить самостоятельно (на выходных возвращаясь в Нью-Йорк к Гертруде). После свадьбы я провел медовый месяц длиной в неделю в Эллебен-Эйкрс, что в горах Катскилл.

Там я продемонстрировал Гертруде свой уровень интеллекта, когда вызвался поучаствовать в викторине и гарантировал ей, что выиграю. Она села на балконе одна, чтобы избежать стыда

из-за моего проигрыша, но я, *конечно же*, выиграл. И заработал на курорте много врагов, потому что, когда вставал отвечать на вопросы — очень нервничая, что опозорю Гертруду, — мою нервозность принимали за глупость и все смеялись. (А над другими не смеялись.) Когда я выиграл, все, кажется, решили, что я не имел права так глупо выглядеть и вводить их в заблуждение.

После медового месяца я увез невесту в Филадельфию, где мы сняли квартиру (а потом — квартиру получше) чуть больше чем за сорок долларов в месяц. Я обнаружил, что жить вдали от Нью-Йорка не так уж плохо, ведь с Гертрудой я все равно *чувствовал* себя как дома. К сожалению, она мои чувства не разделяла. Квартирка была тесная, без кондиционера (в те времена кондиционеров не было почти ни у кого) или даже сквозной вентиляции, а лето стояло филадельфийское — жаркое и сырое. Пока я работал в проветриваемой лаборатории, Гертруде приходилось сидеть одной в духоте. Все это ужасно ей не нравилось, тем более что она скучала по матери и дому.

Каждую неделю мы уезжали в пятницу вечером в Нью-Йорк. Я возвращался вечером воскресенья, а она оставалась до среды, пока мать всячески

хлопотала над ней дома, чтобы в Филадельфии она почувствовала себя еще несчастнее. И каждую неделю я думал, что она не вернется, но она всегда приезжала. И все равно я просто никак не мог сделать ее счастливой, отчего иногда впадал в отчаяние.

Я проработал на NAES три с третью года с 1942-го по 1945-й. Надеюсь, я принес пользу армии; мне говорили, что да.

Благодаря работе меня не призвали, и я не мог не заметить, что в лаборатории с лихвой хватало молодых парней того же возраста (и в куда лучшей физической форме), которые вроде бы ничуть не огорчались из-за того, что избежали призыва. Я, ни на минуту не забывавшей о своей трусости, вечно метался между нежеланием идти в армию и стыдом из-за того, что не иду. Незачем говорить, что в конце концов нежелание перевесило, особенно из-за отчаянной любви к Гертруде, с которой я просто не мог расстаться.

Мое время в NAES не назовешь счастливым. В целом я работал ужасно. Уверен, если бы не военное время и если бы я не состоял на госслужбе, подверженной, как и в любой стране, невероятной инерции, меня бы уволили. А так меня разок довольно быстро повысили с прибавкой к жало-

ванию до 3200 долларов в год — и на этом все. Мне было понятно без слов, что больше рассчитывать не на что.

Почему? Все как обычно. Уверен, вам уже надоело это слушать. (Чудо, что мне до смерти не надоело с этим *жить*.) Я не поладил с начальством. Конечно, в дальнейшем тамошние руководители относились ко мне очень хорошо, а я был дружелюбен в ответ (почему бы и нет?), но не сомневаюсь, всем нам хватало цинизма понимать, как мало это значит. Во время войны я был для них «проблемой» в лаборатории.

Теперь я уже сам не понимаю, почему не старался задобрить руководство. В конце концов, я впервые жил не только ради себя. Я бы вытерпел отсутствие прибавок, потому что работа все равно временная и впереди меня еще ждет долгая карьера намного лучше. Но мой провал видела Гертруда, и ее, так сказать, беспокоило, что другие зарабатывают больше. Я твердил: «Потерпи, милая, и через десять лет будешь ходить в бриллиантах». Хотя потом она говорила, что верила мне, на тот момент ее это как будто слабо впечатляло.

А что с моим творчеством?

Из-за жесткого шестидневного графика и же-

лания уделить редкое свободное время Гертруде возможности для творчества резко сократились. На самом деле в первый год я не написал ни слова. И все же даже работа и брак не могут заглушить тягу к творчеству, и в 1943 году я снова начал писать.

До этого я закончил рассказ «Основание» («Foundation»), вышедший в майском *ASF* в 1942 году. Еще я написал его продолжение «Узда и седло» («Bridle and Saddle»), которое вышло в следующем выпуске. Именно с ним мне помог Фред Пол на Бруклинском мосту. «Узда и седло» появился на прилавках в тот же месяц, когда я попал в NAES.

Эти два рассказа — первые из моего цикла «Основание», и, вернувшись к творчеству в период работы на NAES, я написал и опубликовал еще четыре продолжения, вышедших в *ASF* за годы войны. Это «Большое и малое» («The Big and the Little»), «Клин» («The Wedge»), «Мертвая рука» («The Dead Hand») и «Мул» («The Mule»).

Теперь позвольте объяснить, почему это важно.

Я уже рассказывал о раннем интересе к истории, желании учиться по этой специальности и даже получить докторскую степень в этой об-

ласти знаний. Я от всего отказался, поскольку не верил, что у меня что-то получится. И взамен выбрал химию, но мой интерес к истории никуда не делся.

Я обожаю исторические романы (если в них не слишком много насилия или похабного секса) и до сих пор их по возможности читаю. Естественно, как любовь к фантастике вызвала желание писать фантастику, так и любовь к историческим романам вызвала желание писать исторические романы.

Но писать исторический роман было непрактично. Для этого нужно очень много читать и изучать, я не мог тратить на это время. Мне хотелось просто *писать*.

Тогда мне сразу пришло в голову, что можно написать исторический роман, выдумав собственную историю. Другими словами, можно написать исторический роман о будущем — научно-фантастический сюжет, который будет *читаться*, как исторический.

Не стану притворяться, будто это я придумал писать историю будущего. Это уже делали не раз, лучше и поразительней всего — британский писатель Олаф Стэплдон, автор романов «Последние и первые люди» («First and Last Men») и «Создатель

звезд» («The Star Makers»). Но эти книги больше похожи на научные труды, а мне хотелось написать исторический *роман* — с диалогами и действием, как в любой другой фантастике, только с акцентом не на одних технологиях, а на политических и социальных проблемах.

Я предпринимал попытку еще в 1939 году, с рассказом «Паломничество» («Pilgrimage»). Он был ужасен, Кэмпбелл его и видеть не желал. Наконец его получилось продать журналу *Planet Stories* («Планетные истории») под названием (по выбору редактора, не моему) «Черные монахи пламени» («Black Friar of the Flame»), и он вышел в весеннем выпуске в 1942 году. Вполне возможно, это мой худший опубликованный рассказ с худшим названием. (До публикации я переделывал его семь раз и с каждым разом становилось все хуже. С тех пор я не правлю тексты существенно, если только в качестве исключения.)

Тот опыт меня остудил, но желание написать исторический роман о будущем так и не отпускало. Я как раз закончил перечитывать «Историю упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона, и мне пришло в голову, что можно бы написать историю упадка и разрушения Галактической империи.

1 августа 1941 года я пришел с этой идеей к Кэмпбеллу, и он загорелся. Он хотел не просто рассказ, а длинную сагу с открытым финалом — об упадке Галактической империи, следующем Средневековье и итоговом возрождении Второй Галактической империи, все это при содействии выдуманной науки «психоистория», благодаря которой ученые предсказывают движения масс в истории будущего.

Вышло так, что цикл «Основание» стал самым популярным и успешным моим произведением, а его продолжение в 1980-х после длительной паузы оказалось еще популярнее и успешнее. Эти истории значительнее любых других помогли мне разбогатеть и прославиться больше, чем я мог даже вообразить. При этом основная часть была написана, пока я показывал себя полным неудачником на NAES.

Конечно, я никак не мог об этом знать, пока работал химиком во время Второй мировой, но теперь вижу, что мои успехи в химии — моей профессии — продолжали снижаться, причем со временем все больше и больше. Я не только не ладил с начальством, но и просто не был хорошим химиком — и никогда не буду.

Но *история*, от которой я отказался, вернулась

в самом неожиданном обличье — в виде цикла научно-фантастических исторических романов о будущем — и вознесла меня к высотам.

Я знал, что меня ждет успех, но ни за что бы не догадался, каким он будет.

40. Жизнь в конце войны

2 сентября 1945 года война закончилась, Соединенные Штаты с диким ликованием отмечали День победы над Японией. 7 сентября 1945 года меня призвали в армию.

Какой повод для жалости к себе! Все праздновали, а я таращился на письмо, начинавшееся со слова «Гражданину…» До моего двадцатишестилетия оставалось всего шесть недель, а после Дня победы в Европе двадцать шесть лет установили верхним пределом призывного возраста. Подождали бы они всего шесть недель — и я был бы в безопасности.

Жалость к себе — ужасное чувство, и я сделал все от себя зависящее, чтобы избавиться от него при помощи логичных аргументов. В конце концов, призыв велся в течение всех долгих лет кровавых сражений, и, когда очередь наконец дошла до меня, настал мир. Пушки замолчали. Надо благодарить судьбу, что от моей трусливой натуры никогда не потребуют набраться сил на подвиги.

А главное, я знал, почему должен пойти в ар-

мию, а не в лабораторию — чтобы дать солдату, прошедшему через пекло сражений, вернуться домой. Я занимал его место в безопасности. Стоит считать призыв необычным и интересным опытом.

Все это доводы логики и здравого смысла. Они нисколько не помогли. Я все равно ужасно себя жалел.

Я вступил в армию 1 ноября 1945 года. Вечером первого дня, 2 ноября, я оглядел опустевшую базу и подумал: «Два года! Два года!» Я заглядывал в бездну вечности.

Вообще-то в армии со мной обходились хорошо. Мне пришлось пройти тяготы и скуку основного курса боевой подготовки и я не ладил с большинством солдат (удивлены?), но меня никогда и ни за что не наказывали. Благодаря 160 баллам по AGCT я считался в глазах офицеров слишком тупым, чтобы быть солдатом, и они меня подчеркнуто игнорировали, что меня совершенно устраивало.

К февралю 1946 года я более-менее свыкся с армейской рутиной. Кэмп-Ли в Вирджинии, где я проходил курс подготовки, находился достаточно близко к дому, чтобы время от времени видеться на увольнительных с Гертрудой. Я очень надеял-

ся, что потом меня направят в часть еще ближе к Нью-Йорку.

Не тут-то было. На юге Тихого океана, на атолле Бикини, готовились испытания атомный бомбы, и я попал в число солдат, выделенных для участия в них. Мне предстояло оказаться в десяти тысячах миль от дома на неопределенный срок, и на тот момент, кажется, я бы больше обрадовался смерти.

Добрая библиотекарша спросила меня, почему я так ужасно выгляжу, и я жалобно изложил ей свою печальную историю. Она выслушала, а потом холодно ответила: «Слушай, и здесь, и во всем мире нет ни одного человека без проблем. С чего ты взял, что ты особенный?»

Знаете, тут я прочувствовал свою глупость и смирился с судьбой.

Не буду углубляться в подробности службы, скучной и утомительной. Как я стал лучшим по результатам теста AGCT, так же я хуже всех проявил себя в физических упражнениях — причем в обоих случаях с немалым отрывом. Время от времени меня ставили в наряды на кухню, но по большей части я их избегал, потому что быстро печатал, а машинисты А) пользовались в администрации высоким спросом и Б) освобождались

от нарядов.

Конечно, во мне развилось абсолютное презрение к армии, ее рутине, бездумности, черствости, бессмысленности, но, вспоминая прошлое, я вижу, что проблема была во мне, а не в армии.

Отказ взглянуть на ситуацию рационально помешал мне изучить интересную субкультуру, которой можно было бы воспользоваться для статей и рассказов, и не дал насладиться немногочисленными преимуществами службы. Например, по пути на Бикини я провел десять недель на Гавайях без всяких обязанностей. Мне бы все это время любоваться красотами, но я сам себе запрещал. Я упорно считал это жестоким изгнанием. (И умудрился подцепить на Гавайях легкую форму грибка стоп, от которой не избавился до сих пор.)

Между прочим, на Гавайях произошло событие, которое само по себе никак не могло показаться чем-то важным, но впоследствии я всегда считал его переломным моментом в своей социальной жизни — возможно, главным.

В отряде, перекинутом на Бикини через Гавайи, находилось шесть «критически необходимых специалистов» (то есть солдат с естественно-научным образованием, один из них — я), окруженных

толпой людей со школьным аттестатом, а то и без него. («Фермеры», — звал я их про себя недобро, но они ко мне относились еще хуже и иногда это демонстрировали. Я был самым старшим в казармах, и меня иногда звали Папашей, чем немало задевали, поскольку я-то все еще считал себя вундеркиндом.)

Мы, «критически необходимые специалисты», конечно, держались вместе, и наше сближение в пути на поезде и корабле из Кэмп-Ли на Гавайи стало лучшим, что со мной случалось за годы службы в армии. Мы бесконечно резались в бридж. Я играл ужасно, но это и не имело значения, потому что мы играли просто для удовольствия.

Как бы то ни было, однажды в Гонолулу остальных пятерых куда-то отправили, и я остался один в казармах. Не зная, о чем общаться с фермерами, я лежал на койке и читал.

Неподалеку сидели трое из них, увлеченные (как и все мы, учитывая цель нашей миссии) атомной бомбой.

Один решил объяснить остальным, как устроены атомные бомбы, — незачем говорить, что совершенно неправильно.

Я устало отложил книгу и начал было подни-

маться, чтобы подойти, взять на себя «бремя образованного человека» и просветить их. Но не успев встать, задумался: «А кто тебя назначал им в учителя? Им что, будет хуже от заблуждений об атомных бомбах?» И я вернулся к чтению.

Это первый случай на моей памяти, когда я сознательно воспротивился желанию блеснуть интеллектом перед окружающими.

Вряд ли мой характер внезапно полностью изменился, но это все же шаг — первый крошечный шаг к созданию, как мне кажется, нового меня. Я по-прежнему вел себя с другими самодовольно, как и прежде не ладил с начальством, но начал меняться. Научился «отключаться», не демонстрировать интеллект постоянно.

Я отвечаю на вопросы, когда меня спрашивают, объясняю, где это требуется, пишу научно-популярные статьи для тех, кому *интересно* их читать, но научился не вываливать свои знания без спроса.

Поразительно, к каким изменениям это привело. Я словно понемногу оттаял. И в процессе, кажется, смягчил самую заметную черту характера — синдром всезнайки, который приводил к непопулярности среди других. Если прислушаться к тому, что мне с нарастающим упорством

твердили на протяжении многих лет, к старости я, похоже, вообще стал всеобщим любимчиком. Вспоминая, как дела обстояли почти две трети жизни назад, я всегда этому поражаюсь, особенно когда красивые барышни относятся ко мне так, будто я мягкий плюшевый мишка. К счастью, я уже приучился упиваться всеобщими восторгами.

И клянусь, отсчет этому всему я веду с того мгновения в казармах Гонолулу.

Почему это тогда случилось? Возможно, из-за непривычной роли старшего, Папаши, во мне пробудилась соответствующая возрасту солидность. Возможно, сказался упадок успеваемости — поверьте, не ускользнувший от моего внимания, — не давал мнить себя жутким «умником» в школьном смысле.

Очевидно, все, что мы делаем, — результат различных меняющихся обстоятельств, над которыми у нас обычно нет власти. Я превратился из несносного ребенка во всеми любимого старейшину не из-за обдуманного решения, а потому что во многом сама жизнь сделала меня таким, как своего рода бессознательный объект.

И остается только порадоваться, что она вылепила что-то толковое, но моих заслуг в этом нет.

Скажу больше, я из-за этого ничего не потерял. Не потерял радость от объяснений и просвещения. Еще придет время, когда я напишу тысячи статей, чтобы образовывать и просвещать своих читателей; когда я выступлю с сотней речей, чтобы образовывать и просвещать своих слушателей; когда даже в моей фантастике повеет дидактизмом.

Но — и вот важный момент — никого не заставляют читать то, что я пишу, и, собственно говоря, подавляющее большинство земного населения и *не читает*. Я просвещаю только тех, кто добровольно тянется к знаниям.

Это целиком и полностью отличается от моего былого порыва просвещать случайных жертв, и только от него я решил отказаться — и только из-за этого изменилось все.

Еще необычный момент: во время службы я умудрился написать один рассказ. Во время курса подготовки я уговорил библиотекаршу, чтобы она, уходя на обед, запирала меня в библиотеке, где я мог пользоваться пишущей машинкой. В несколько заходов я закончил рассказ о роботах и отправил по почте Кэмпбеллу. Он назывался «Улики» («Evidence») и вышел в сентябрьском *ASF* 1946 года.

Самое интересное в нем — как я заметил недавно, вычитывая на предмет опечаток для издания в сборнике, — это первый мой рассказ, получившийся таким, будто я написал его на сорок лет позднее.

Вся бульварность внезапно испарилась, и со времен «Улик» я пишу гораздо рациональнее (по крайней мере, на мой взгляд). Не знаю, почему в армии вдруг повзрослел мой стиль. Я об этом задумывался, но ответа так и не нашел.

Так получилась, что полные два года я не отслужил. Из-за ошибки клерка Гертруда получила уведомление, что ей прекращают выплаты как жене солдата, потому что мой срок службы закончен. Я тут же отправился с ее письмом к капитану. Он подумал и сказал, что не собирается забивать себе голову, а просто отправит меня обратно в Кэмп-Ли разбираться самому. (Наверняка он был только рад избавиться от меня.)

В итоге я вылетел в Кэмп-Ли за день до того, как наш корабль отчалил на Бикини. Поэтому так и не увидел взрыв атомной бомбы вблизи. А еще, возможно, поэтому не умер от лейкемии в сравнительно молодом возрасте.

В Кэмп-Ли я тут же принялся подбивать клинья, чтобы «уволиться для исследовательской рабо-

ты», раз уж в армии мне теперь заняться нечем и после демобилизации я бы действительно вернулся к исследованиям. И меня отправили домой (наверняка тоже были только рады избавиться от меня). Я покинул армию 26 июля 1946 года, что совпало с четвертой годовщиной нашего брака. Всего я отслужил восемь месяцев и двадцать шесть дней.

41. Игры

В предыдущей главе я упоминал, что бесконечно резался в бридж с «критически необходимым специалистами», причем получалось у меня плохо. Игры мне вообще не даются.

Я говорю не о суматохе дворовых игр, не о школьной физкультуре и не об организованном спорте, где нужны зоркий глаз и хорошая реакция, как в теннисе и гольфе.

В таких вещах я и вовсе жалок.

В 1989 году я выступал с речью в престижном загородном клубе и обнаружил себя в окружении элиты, для которой конференция — только повод поиграть на досуге в теннис и гольф. На обозрение были выставлены вещи, которые участники могли выиграть за лучшие результаты, и один предмет меня чрезвычайно смутил. Я внимательно его рассмотрел и наконец спросил у молодого парня с внешностью человека, который может ответить на вежливый вопрос:

— Прошу прощения, что это такое?

Он на меня уставился, а потом ответил:

— Сумка для гольфа.

— А, вот как? — сказал я с наивностью семилетнего ребенка, хотя на самом деле годился молодому человеку в дедушки. — Никогда раньше не видел.

Уверен, слухи об этом разошлись и все с величайшей тревогой задались вопросом, зачем пригласили меня выступать. Впрочем, я им доказал, что можно не знать, что такое сумка для гольфа, и все равно произносить хорошие речи.

Неудачи в спорте никогда меня не беспокоили. Когда я был молодым и глупым, даже успокаивал себя мыслью, что они — побочный продукт «ума», но с возрастом обнаружил, что я плох и в тех соревновательных играх, где требуется думать. Я не умел играть не только в бридж — я не умел играть в карты в вообще, в чем есть и свои преимущества: я удержался от азартных игр.

Зато меня беспокоили неудачи с шахматами. В детстве у меня была шахматная доска, но без фигур, и я просто читал учебники и учил ходы. Затем вырезал картонные квадратики, на которых нарисовал символы разных фигур, и попытался сыграть сам с собой. В итоге я уговорил отца купить настоящие фигуры. Потом научил сестру и играл с ней. Конечно, оба мы играли очень неуклюже.

Мой брат Стэнли научился, глядя на нас, и в итоге попросился за доску. Я, добрый старший брат, разрешил и приготовился разнести его в пух и прах. Только закавыка в том, что *он* победил *меня* в своей первой же игре.

В дальнейшем я обнаружил, что меня обыгрывают *все* — вне зависимости от расы, цвета кожи или религии. Я просто самый ужасающе отвратительный шахматист в истории, и со временем бросил играть.

Эта неудача приводила в смятение. Казалось, она идет вразрез с моим «умом», но теперь я знаю (ну или мне так сказали), что величайшие шахматисты приходят к своему уровню за долгие годы обучения, запоминая огромное число сложных «комбинаций». Они видят в шахматах не последовательность ходов, а закономерности. Я понимаю, что это значит, поскольку вижу закономерности в статье или рассказе.

Но это разные таланты. Каспаров[50] видит на шахматной доске закономерность, а в статье

---

[50] Примечания: 50

Гарри Кимович Каспаров (р. 1963) — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам. Азимов несколько заблуждается насчет неспособности Каспарова писать — впоследствии тот проявил себя ярким шахматным литератором и публицистом, написавшим более двух десятков книг. Хотя многие из них были написаны в соавторстве. — Прим. ред.

— набор слов. Я вижу закономерность в статье, а на шахматной доске — набор ходов. Поэтому он может играть, а я могу писать, и не наоборот.

Но этого мало. Я никогда и не собирался равнять себя с гроссмейстерами. Меня беспокоило, что я не мог победить никого! Наконец я пришел к выводу (не знаю, правильному или неправильному), что не готов изучать позиции на доске и взвешивать последствия каждого возможного хода. Даже те, кто не видит сложных закономерностей, могут предсказать игру хотя бы на два-три хода вперед, но не я. Я ходил только импульсивно, если не наобум, и не могу с собой справиться. А это почти верный проигрыш.

Но опять же — почему? Для меня все очевидно. Я избалован способностью понимать и вспоминать все сходу. Я ожидал увидеть все и сразу, а потому отказывался принимать, что это невозможно. (Как отказывался зубрить в старшей школе и колледже.)

Мне повезло, что в творчестве и речах я вижу закономерность мгновенно и без труда. Если бы мне пришлось задумываться, полагаю, и тут бы ничего не вышло. (И совсем не удивлюсь, если это из-за нежелания обстоятельно думать наперед и не сложилась моя карьера ученого.)

42. Акрофобия

Я не летаю на самолетах из-за акрофобии, и это, как я скоро объясню, уважительное оправдание. Но мне все же пришлось подняться в воздух один раз во времена работы на NAES и один раз — в армии. Расскажу, почему так вышло.

На NAES я работал с «красящими маркерами», которыми пилоты, упавшие в океан, окрашивали воду, чтобы их было легче заметить с поисковых самолетов. (Этот проект мне очень нравился, потому что очевидно помогал нашим бойцам и оправдывал мое отсутствие в их рядах — ну, хоть как-то.)

Чтобы испытать действенность красящих маркеров, необходимо подняться в воздух на самолете и сравнивать их видимость лично. Но я придумал способ проверки, который, на мой взгляд, решал проблему и не требовал затрат на полеты. Однако, чтобы доказать его пригодность, мне требовалось сравнить его результаты с результатами от воздушного наблюдения. Если итоги получатся одинаковые, тогда…

Я так загорелся энтузиазмом (и, кажется, это

моя последняя вспышка настоящего энтузиазма на исследовательской работе), что сам попросился в полет для наблюдения за маркерами. Я взлетел на маленьком двухмоторном самолете NAES, который пилотировал один из наших офицеров. Из-за интереса к крошечным зеленым кляксам на воде я забыл об акрофобии и *не впал* в панику. Я даже планировал слетать еще раз, но начальство хотело знать, *гарантирую* ли я результат.

— Конечно нет, — сказал я. — Если бы я его гарантировал, мне бы не понадобилось лететь.

Из-за невероятной глупости они отменили мои полеты.

Второй раз я летал, вернувшись с Гавайев. Я просил первый же доступный морской транспорт до Сан-Франциско, хотя путь по океану занимал шесть дней. И это меня вполне устраивало.

Правда в армии самолет тоже относится к «морскому транспорту». Я горячо возражал, но старший сержант просто приказал мне садиться, не оставив выбора. Самолет мгновенно взлетел и двенадцать часов нес меня до Сан-Франциско. Все произошло так быстро, что охватившие меня смятение и замешательство не оставили места для паники.

Но ни один из этих полетов не излечил меня от фобии. Конечно, у них особо не было шансов. Первый прошел на маленьком самолете, не предназначенном для перевозки гражданских, а второй — на выпотрошенном DC-3, где пассажиры спали — или пытались уснуть — на неровном деревянном полу.

А что, если бы я полетел на современном самолете с удобными креслами, разносящими еду стюардессами, фильмами и так далее? И в самом деле, что? Этого я никогда не узнаю, потому что ни за что не соглашусь (если только Джанет и Робин не будут где-нибудь далеко, и я им отчаянно и срочно не понадоблюсь). Более того, крушения описывают с такими поразительным вниманием и жуткими подробностями, что после каждого кровавого инцидента моя твердая решимость никогда не летать только укрепляется.

Но правда ли у меня акрофобия — или это просто предлог не летать? Как однажды намекнул Лестер дель Рей, быть может, я не акрофоб, а просто трус?

Поверьте, я акрофоб. Впервые я осознал это, когда устроил себе настоящую проверку. Во время визита на Нью-Йоркскую выставку 1939 года с моей возлюбленной из химической лаборатории

мне пришла мысль прокатиться на американских горках.

Судя по тому, что я видел в кино, там девушка должна кричать и хвататься за меня, а это, считал я, замечательно.

Стоило вагончикам, преодолев первый и самый высокий подъем, ухнуть вниз, я тут же отреагировал как акрофоб. В ужасе закричал и отчаянно повис на девушке, которая сидела спокойно и неподвижно. Выходил я полумертвый, а будь я постарше и с сердцем послабее, уверен, что и вовсе бы не выжил.

Не думаю, что этот случай *вызвал* акрофобию. Думаю, страх был со мной всю жизнь, но до той поры еще не выдалось случая подняться достаточно высоко и испугаться падения. Интересно, родился ли я с фобией, есть ли она в моем генетическом строении. Интересно, исследовал ли это кто-нибудь.

Осознав свою акрофобию, я старательно избегал всего, что может меня напугать. Только раз по глупости нарушил эту разумную предосторожность.

В декабре 1982 года, к Хануке[51], установили большую менору[52] на десятиметровой высоте на Коламбус-серкл — это в пределах шаговой доступности от моей квартиры. Мне позвонил раввин и попросил в конкретный день зажечь огонь горелкой, произнести небольшую речь и повторить за ним короткую молитву. Соглашаться не очень-то хотелось, но я обычно стараюсь не вести себя так, будто меня вообще не волнует еврейская культура.

— Как туда подняться? — спросил я.

— На сборщике вишни, — ответил он, имея в виду подъемную люльку, которую используют для сбора урожая с деревьев.

— Я не могу, — сказал я. — У меня акрофобия. Смертельно боюсь высоты.

— Вздор, — сказал он. — Я поднимусь вместе с вами, и помните: чем вы выше, тем ближе к Богу.

Вот это действительно вздор. Даже если бы Бог существовал, то не где-то там «наверху». Он бы

---

[51] Примечания: 51

Ханука — еврейский праздник, посвященный возобновлению богослужений в иерусалимском храме в 165 году до н. э., Отмечается зимой на протяжении восьми дней. — Прим. ред.

[52] Примечания: 52

Менора — ритуальный подсвечник на семь свечей, считается одним из древнейших и наиболее известных символов иудаизма. — Прим. ред.

присутствовал во всем творении. Но я позволил себя уговорить. Сам не могу поверить, что оказался настолько глуп, но именно так все и было.

В тот вечер я дошел до Коламбус-серкл с Джанет и ее племянницей Патти. Джанет кипятилась из-за того, что я согласился, — причиной ее раздражения были сам факт участия в религиозном обряде и беспокойство по поводу моей акрофобии. А сам я думал: «Дух сильнее плоти. Я просто проигнорирую, что поднимаюсь в воздух».

Но, стоило мне встать в люльку и почувствовать рывок вверх, сразу стало понятно, что одним разумом фобию не победить. Я растянулся на дне, и все, что люди видели снизу, — это мои пальцы, побелевшие от того, с какой силой я вцепился в край. Я тогда болел стенокардией, и обычно она давала о себе знать только во время ходьбы. Впервые приступ произошел, когда я не двигался.

Думал я лишь о том, как бы не схлопотать инфаркт. «Если я сейчас умру, Джанет меня *убьет*», — крутилась в голове навязчивая мысль.

Но я сумел-таки подняться к меноре, все еще живой, и с величайшим трудом зажег нужные лампы. (В жизни до этого не держал в руках горелку, и учиться регулировать пламя в припадке фобии — то еще приключение.)

Я толкнул речь на несколько минут, хотя и малейшего понятия не имел, о чем говорю, а потом в мучениях повторил слоги на иврите, которые произнес раввин. (У него фобии не было.)

Наконец-то — *наконец-то* — мы начали опускаться, и я с благодарностью думал, что с каждым футом все больше удаляюсь от Бога и приближаюсь к благословенной земле.

На этом неприятности не закончились. На уровне земли я обнаружил, что из-за нервного паралича не могу сдвинуться с места. Меня пришлось вынимать из люльки. Я распрямился и, когда Джанет подхватила меня с одной стороны, а Патти — с другой, пошаркал прочь. Пока меня вели домой, мышцы ног постепенно пришли в норму.

Я кусал губы из-за того, что мне скажет Джанет, — всю дорогу она хранила зловещее молчание (прямо как моя мать, готовясь задать мне взбучку по возвращении в квартиру). Чтобы этого избежать, я жалобно протянул:

— Я боялся, что если у меня будет инфаркт и я умру, то ты меня убьешь.

А она ответила:

— Тебя — нет, но раввина бы я убила.

Однажды я видел человека, не страдавшего

акрофобией, в деле и до сих пор не могу отойти от впечатления. В нашем доме появилась трещина в стене, и во время непогоды влага проникала через нее в квартиру. 17 декабря 1986 года с крыши спустился работник в люльке, расковырял кирпичи и нашел брешь. Помост казался очень шатким, а трудиться приходилось на высоте тридцать третьего этажа.

Я подивился беззаботному виду работника и, пока у меня самого тряслись поджилки, спросил, не против ли он висеть так высоко. Он посмотрел вниз, потом на меня и ответил: «Нет».

Он нашел в стене железку, очевидно, ставшую причиной появления бреши, и, когда попытался ее вырвать, она внезапно поддалась. Работник пошатнулся назад, а я отреагировал, как акрофоб, — нечеловеческим воплем. Поручни помогли избежать падения, лишь на мгновение он показался слегка встревоженным, а потом принялся заделывать стену новыми кирпичами, как ни в чем не бывало.

Вот что значит *не быть* акрофобом.

43. Клаустрофилия

Раз уж я заговорил о своих особенностях в отношении фобий, можно заодно упомянуть еще одно легкое состояние, доставляющее мне неудобства. Это клаустрофилия, или любовь к замкнутым пространствам.

Давайте расскажу, как я узнал о нем. Время от времени я ходил с Гертрудой в магазин. (Ненавижу магазины, и мне нельзя доверить даже покупку собственной одежды, поэтому Гертруда присматривала за мной, а заодно выбирала вещи и для себя.)

Пока мы шли по магазину, я разглядывал витрины вокруг и обнаружил, что мне особенно интересны стенды с мебелью.

В магазинах выставляли образцы спален или гостиных. Мне они казались необыкновенно привлекательными, теплыми и дружелюбными. И нравились мне как будто даже больше обычных комнат в моей квартире или у моих друзей.

Но почему? Мои комнаты нормально обставлены и не особенно отличались от представленных в магазине вариантов интерьера. Я бился над

этой загадкой и однажды, разглядывая очередную комнату-образец с обычным желанием в ней поселиться, наконец увидел разницу.

Там *не было окон*. Комнату заливал только теплый искусственный свет. Никаких резких солнечных лучей.

И вдруг я понял о себе то, о чем раньше не задумывался. Когда наша семья владела одной из кондитерских, жили мы в квартире, расположенной этажом выше. В подсобке кондитерской от предыдущих хозяев остались плита и другие кухонные принадлежности — раньше там находилась закусочная. Родители ее прикрыли, но я частенько обедал в той комнатушке.

Я любил ее намного больше, чем нашу кухню наверху. Узнав о своей клаустрофилии, я вспомнил и о том, что в комнатушке не было окон и даже среди бела дня я обедал там при свете электрической лампочки.

В метро в те дни стояли лотки с газетами, журналами и конфетами. На ночь их деревянные ставни запирались, и до утреннего часа пик они напоминали закрытые ящики.

Когда-то мне хотелось иметь такой лоток, и я фантазировал, как после работы останусь внутри с электрической лампочкой. Тогда я смогу

читать любые журналы — в полном уединении и отрешенности, — время от времени слушая рокот поезда. (Такие земные проблемы, как походы в туалет посреди ночи, мне в голову не приходили.)

У меня не острый случай клаустрофилии. Я предпочитаю замкнутые пространства, но отлично чувствую себя в залитых солнечным светом комнатах и на открытом пространстве. У меня нет ни намека на агорафобию (боязнь открытых пространств), хотя, пожалуй, я лучше пройдусь по каньонам Манхэттена с нависающими небоскребами, чем по Центральному парку.

Моя клаустрофилия проявляется в кабинете, где я никогда не поднимаю шторы и работаю только при искусственном освещении, даже если на улице светло и солнечно. Более того, печатная машинка всегда стоит так, чтобы я, сидя за ней, смотрел в пустую стену без окон.

Сейчас текстовый процессор находится в нашей гостиной, залитой солнечным светом, потому что мы здесь никогда не закрываем шторы. И все же, хоть в комнате и светло, я включаю люстру.

Однажды клаустрофилия сослужила мне добрую службу.

Когда становишься старше и начинаешь разва-

ливаться, врачи благодаря прогрессу медицины могут поиграть с новыми медицинскими игрушками, выбрав тебя в качестве жертвы. Однажды мне назначили магнитно-резонансную томографию — неинвазивный и безопасный метод исследования органов. (Сразу скажу, что ничего плохого у меня не нашли.)

Для этого меня положили в аппарат цилиндрической формы и оставили там на полтора часа, слушать какое-то странное постукивание. Самое главное — цилиндр был тесным, слишком напоминал гроб, а лежать полагалось неподвижно, слишком напоминая труп.

Там было скучно, и я испугался, что врачи про меня забыли и ушли домой, но замкнутое пространство и теснота меня не волновали. Не знаю, как обследуют клаустрофобов (людей с боязнью замкнутых пространств). Наверное, никак.

Можно даже сказать, что весь мой образ жизни — последствие клаустрофилии. Полное погружение в творчество создает для меня теплый искусственный замкнутый мирок (без окон), огражденный от сурового внешнего мира с его палящим солнцем. И, пожалуй, неслучайно я изобразил в книге «Стальные пещеры» («Caves of Steel», Doubleday, 1954) подземные города внутри

Земли — максимально замкнутое пространство.

Хайнлайн в связи с рассказом «Мечты — личное дело каждого» («Dreaming Is a Private Thing», *F&SF*, декабрь 1955) добродушно обвинял меня в том, что я монетизирую свои неврозы. Вообще-то «Стальные пещеры» — пример более подходящий. И мне не стыдно. Уверен, каждый писатель выжимает из своих неврозов все, что может.

44. Докторская степень и публичные выступления

Может показаться, что если прервешь работу над докторской диссертацией на несколько лет, то уже никогда к ней не вернешься. Должен признаться, меня и самого посещали эти горестные мысли — что тоже стало небольшим аргументом против работы в Филадельфии. Один мой одногруппник даже был уверен, что я не вернусь в университет — не столько из-за работы, сколько из-за запланированной свадьбы. Он считал, что семейные обязанности переведут мою жизнь в другую, более бытовую колею.

Перерыв, вызванный войной, работой на NAES и службой в армии, растянулся на четыре с половиной года. К счастью, у моего брака еще не появились осложнения в виде детей, и я твердо решил, что *не брошу* диссертацию. Так в сентябре 1946 года я явился в Колумбийский с твердой готовностью продолжать. Профессор Доусон все еще там работал, хорошо меня помнил и искренне обрадовался моему возвращению.

Но нельзя войти в одну реку дважды. Все уже

изменилось. Я был на четыре года старше, на четыре года больше разочарован в науке, на четыре года увереннее, что не гожусь для научных исследований. Хуже всего, что за время моего отсутствия в химии после применения квантовой механики произошла революция — в основном благодаря трудам великого Лайнуса Полинга.

Я отстал от времени и с ужасом обнаружил, что химия уже превратилась для меня в тарабарщину. К счастью, все курсы я прошел до отъезда в Филадельфию и не было необходимости заниматься чем-то кроме исследований. Невероятная удача, потому что теперь я бы вряд ли сумел сдать хоть один курс.

Очередной этап моего упадка. Не просто посредственный студент, а обреченный на провал.

И все-таки что-то хорошее во время работы над докторской случилось — то, в чем сквозили отголоски грядущих событий.

В обязанности докторантуры входил семинар по моей теме исследований. (Я занимался кинетикой, то есть скоростью действия, одного малоизвестного энзима.)

Я посещал такие семинары моих коллег, и обычно они оборачивались полным провалом. Обычно у того, кто их вел (пусть даже отличного

химика), не было особых талантов устного изложения. Более того, специфическую тему непросто понять без обстоятельного серьезного объяснения, которое мог предоставить только он. А публика, по опыту зная, что перестанет понимать после первых пяти слов, готовилась к мучениям и приходила лишь по необходимости.

Я же взялся за дело с воодушевлением. Меня радовало, что тут не требовалось ничего делать руками. Не надо было переживать о поломках оборудования или таинственных ошибках в экспериментах.

Но это далеко не все. Мне не терпелось выступить — и, если честно, я сам не знаю, почему. У меня не было никакого опыта публичных выступлений, а они обычно считаются главным испытанием уверенности в себе, камнем преткновения даже для самых отважных. Есть люди, которые скорее готовы встретиться с разъяренным носорогом, чем с мирной сонной аудиторией. На трибуне чувствуешь себя уязвимым со всех сторон. Всегда есть шанс прилюдно облажаться. Я и сам не знаю, почему меня не коснулось это крайне распространенное чувство.

Придя в кабинет задолго до семинара, я исписал огромную доску математическими и химически-

ми уравнениями, чтобы не пришлось прерывать размеренный монолог. (С чего я взял, что так надо? Могу только предположить, что подсказало некое чутье. Как у меня есть почти врожденное понимание основ писательства, благодаря которому я начал уже в одиннадцать лет, так и, похоже, есть почти врожденное понимание азов публичных выступлений.)

Конечно, когда публика собралась и увидела уравнения, от нее повеяло ощутимым шоком и тревожной неуверенностью. Уверен, все подумали, что ничего не поймут. Но я поднял руки и с полной уверенностью сказал: «Просто слушайте, что я говорю, и все будет прозрачно, как горное озеро».

Откуда я это знал? Это явно пример наглой самоуверенности, больше присущей мне в школе, чем не в годы угрюмого разочарования в своих способностях, начавшиеся с колледжа.

Но дело в том, что этого я еще никогда не пробовал. У меня еще не было случая разочароваться в выступлениях, и я грыз удила от желания испытать себя.

И ведь сработало! Никаких страхов, никаких бабочек в животе. Я говорил легко и плавно с самого начала (лекторы на семинарах так делали редко

— они сразу нервно окунались в свои хитросплетения, возможно, чтобы продемонстрировать эрудицию). Я шел уравнение за уравнением, понятно объясняя каждое по ходу дела.

Публика в конце выглядела воодушевленной, а профессор Доусон кому-то сказал (и это тут же передали мне), что это самая понятная лекция, которую он слышал.

Так я впервые выступил перед публикой с формальной часовой речью. Новая возможность сделать что-то подобное появилась лишь через несколько лет — даже планов или идей по этому поводу у меня не возникало. И все-таки с того дня я знал, что могу без труда выступать перед людьми.

Тут встает интересный вопрос. Очевидно, у меня был талант к публичным выступлениям — долгое время он оставался скрытым. Просто не подворачивалось случая его проявить. Когда в возрасте двадцати семи лет мне представилась подходящая возможность, я блеснул ораторским мастерством.

Предположим, это произошло бы раньше. В каком возрасте я бы мог произнести речь без проблем? Этого я, конечно, не знаю. Или, предположим, такая возможность представилась

бы гораздо позже или вовсе никогда. Можно ли допустить, что я за всю жизнь так и не узнал бы, что отлично выступаю на публику?

Вполне вероятно.

Это заставляет задуматься. Может быть, у меня есть и другие таланты, проявить которые было бы интересно и полезно, но повода для этого никогда не возникало? Не знаю.

Раз уж на то пошло, это касается всех. Кто знает, какие нереализованные таланты дремлют в каждом человеке и как много мы теряем из-за того, что они так и не задействуются?

Во время исследовательской работы случилось еще одно неожиданное открытие.

Я сидел за столом, готовил материалы для сегодняшнего эксперимента и страдал из-за надвигающихся сроков сдачи докторской диссертации. Это очень стандартизированный документ. Железные правила требуют придерживаться строгого и неестественного (а иногда даже дурацкого) стиля, чего мне, конечно же, делать не хотелось.

Тогда меня осенила дерзкая идея в духе Пака[53]: если написать пародию на докторскую диссерта-

[53] Примечания: 53

Пак — персонаж английского фольклора, веселый лесной дух, склонный к шалостям и проказам. — Прим. ред.

цию, возможно, она меня приободрит и поможет взяться за настоящую с воодушевлением.

Я как раз работал с крошечными перистыми кристаллами быстрорастворимого в воде соединения под названием катехол. Когда я бросил кристаллы в воду, они растворились, едва коснувшись поверхности. Я спросил себя: «А если бы они растворились *за долю секунды до* контакта. Что тогда?»

В результате я с максимальным занудством написал псевдо-диссертацию о соединении, которое растворяется за 1,12 секунды до контакта с водой. И назвал ее «Эндохронические свойства тиометилина после повторной возгонки».

Я прислал ее Кэмпбеллу, ему понравилось, он был не против время от времени печатать пародийные статьи. Я заметил, что она выйдет примерно тогда же, когда я буду сдавать свои решающие устные экзамены, и предупредил, чтобы Кэмпбелл выпустил ее под псевдонимом.

Она вышла в мартовском *ASF* 1948-го, и Кэмпбелл забыл про псевдоним. Вот текст, а вот «Айзек Азимов» большими буквами, и, естественно, о публикации прознал весь химический факультет Колумбийского университета — номер пошел по рукам.

Мне поплохело. Я знал, что будет дальше. Как бы я ни сдал устные экзамены, мне откажут на основании личной непригодности. Столько лет, столько лет, и я окажусь не у дел из-за давнего-предавнего преступления — непочтительности к начальству.

Но получилось совсем наоборот. Когда профессора пропустили меня через ад экзаменов, профессор Ральф Хэлфорд задал последний вопрос:

— Мистер Азимов, что вы можете нам рассказать о термодинамических свойствах тиотимолина после повторной возгонки?

Я истерически расхохотался, потому что знал: надо мной бы не подшучивали, если бы хотели завалить, — и оказался прав. Я успешно сдал, и они выходили из кабинета один за другим, пожимая мне руку, и говорили: «Поздравляем, доктор Азимов».

Это было 20 мая 1948 года. Мне исполнилось двадцать восемь лет. К сожалению, четыре года я потерял из-за Второй мировой, а то мог бы получить степень еще в двадцать четыре и сохранить капельку своей исключительности — до смешного глупая мысль с учетом бессчетных миллионов людей, у которых война забрала куда больше,

чем просто четыре года.

Выпускная церемония прошла 2 июня, но я отказался посетить ее формально, потому что не одобрял эту средневековую бутафорию. Впрочем, я все же присутствовал в зале с отцом, который чрезвычайно огорчился, что я не стою на сцене в академической мантии. Но он хотя бы дожил до того момента, когда я стал доктором, пускай и не таким, каким хотелось ему.

45. Постдокторантура

Я начал волноваться из-за работы в 1938-м, на третьем курсе, когда только подал документы в медицинский. С тех пор вся моя жизнь превратилась в одну сплошную отсрочку. Аспирантура, NAES, армия, докторантура. Прошло десять лет, на дворе 1948-й, мне вот-вот должны были присвоить докторскую степень, а проблема оставалась все той же. Чем заняться в жизни?

Должен тут признать, что профессор Доусон, пусть и замечательный научный руководитель, оказался не самым влиятельным членом профессорско-преподавательского состава, когда речь заходила о поиске работы для его студентов. И мои исследования не привлекали особого внимания. В итоге работу я так и не нашел.

Спасло меня предложение годовой постдокторантуры. Это означало, что я мог продолжать исследования и *получать* за это 5 тысяч долларов за год. Мне предстояло работать с антималярийными лекарствами и найти искусственный заменитель хинина, превосходящий уже существующие.

Тема меня не очень привлекала, я уже разочаровался в химии и отлично знал о своих недостатках как исследователя. Более того, сейчас я почти не помню, чем занимался в тот год — явный показатель, какую скуку нагоняла такая деятельность.

Но в течение 1949-го надежда найти настоящую работу стала затухать. Ничего! Ни намека. Я впал в такое отчаяние, что едва не решил полностью отдаться антималярийному проекту в надежде, что контракт со мной будут продлевать год за годом.

Тогда я, пожалуй, достиг дна своей карьеры химика, поскольку всерьез решил обречь себя на нелюбимое дело только ради денег. Мне исполнилось двадцать девять, я считал себя полным и безоговорочным неудачником, несмотря на все бахвальство и уверенность, что мой успех поразит весь мир.

И тут я узнал один неприятный факт послевоенной академической жизни. Исследования все чаще спонсировались правительственными грантами. Обычно их выделяли на год. Ежегодно, если поддержка все еще требовалась, руководитель исследования подавал заявку и ее обоснование.

Мне всегда казалось, что последствия этой системы пагубны. Во-первых, профессор, претендовавший на правительственный грант, должен выбирать тему, на которую правительство захочет потратиться. Поэтому ученые тянулись, так сказать, к денежным областям, а менее прибыльные нивы остались невозделанными. Это значило, что денежные области финансировались избыточно, средства расходовались впустую, а заброшенные направления, которые могли бы привести к важному прорыву, сталкивались с постоянным пренебрежением.

Кроме того, жесткая конкуренция за правительственное финансирование повышала вероятность мошенничества, ведь ученые (тоже люди) приукрашивали или даже выдумывали эксперименты, на которые будет не жалко раскошелиться.

Еще одно последствие системы грантов — вторую половину каждого года ученые в основном тратили на подготовку документов для продления финансирования, а не на сами исследования.

Наконец, низшие ступени исследовательских групп, чью зарплату выплачивали из грантов, а не из университетских фондов, существовали в

вечно подвешенном состоянии. Они никогда не знали, не вылетят ли из-за завершения финансирования. Я с этим столкнулся в конце года, когда не продлили мой грант.

В период постдокторантуры случилась только одна хорошая вещь. Наш сосед спросил из любопытства, чем я занимаюсь. Я ответил, что работаю над антималярийными лекарствами, а он невинно поинтересовался:

— А что это такое?

Я скрупулезно объяснил вплоть до химических формул, а когда договорил, он ответил с очевидной искренностью:

— Вы очень просто и понятно объяснили. Спасибо.

В результате мне впервые пришло в голову написать *нехудожественную* книгу о науке. Тогда из этого ничего не вышло, но идея засела в подкорке и в итоге принесла щедрый урожай.

46. Поиск работы

Настоящего дна в поиске работы я достиг так. Один мой знакомый, устроившийся в Charles Pfizer — фармацевтическую фирму в Бруклине, — сказал, что договорился для меня о собеседовании с большим начальником. Собеседование назначили на 10 утра 4 февраля 1949 года, и можете не сомневаться — я пришел вовремя. А вот начальник — нет. Он пришел только в два часа дня. Глупо было высиживать там четыре часа, включая обеденный перерыв, но здесь тот случай, когда я отдался во власть упрямой злости, а не здравого смысла. Меня бы не выставили так бесцеремонно.

Наконец начальник пришел — наверное, ему сообщили, что я, судя по всему, не сдвинусь с места, пока он не появится. Со мной обошлись с явным равнодушием, не потратив много времени.

Я уже насмотрелся на компанию и понял, что не хочу там работать, даже если мне предложат, хотя это ничего не меняло. Подобное отношение возмутило меня, и это редкий случай, когда

ярость так и не улеглась. Горит во мне так же, как если бы все случилось вчера. Не горжусь своей злопамятностью, и до этого наверняка бы не дошло, если бы все не завершилось следующим образом.

Несмотря ни на что, я дал начальнику напечатанную и аккуратно переплетенную докторскую диссертацию. Я не надеялся его впечатлить, но раз уж спланировал, то так и сделал. Через несколько дней работу вернули по почте с коротким и прохладным отзывом, что мне возвращают мою «брошюру». Меня это глубоко оскорбило. Я поверить не мог, что это жалкое создание не узнало докторскую диссертацию, тем более что на обложке значилось черным по белому: «докторская диссертация». Назвать это брошюрой все равно что назвать писателя «бумагомаракой», и я этого так и не простил.

И в завершение о Charles Pfizer. Много лет спустя меня пригласили выступить для группы их руководителей. Мне предложили 5 тысяч долларов, и обычно я не торгуюсь. Тогда пять тысяч считалось хорошей платой за выступление в Манхэттене. Но для них я сделал исключение. Я потребовал шесть тысяч и ни долларом меньше. Наконец они согласились.

Эта лишняя тысяча сгладила ту многолетнюю обиду, и вдобавок, закончив речь под громкие аплодисменты и забрав чек, я разъяснил, почему конкретно им пришлось доплачивать.

Мне полегчало. Да, мелочно и подло, но я всего лишь человек. Я не искал мести, но мне ее подали на блюдечке — и я не смог удержаться.

Хотя инцидент с Charles Pfizer — худший момент в моих поисках работы, остальное оказалось ненамного лучше. Я просто не мог никуда устроиться.

47. Большая тройка

Но пока в моей профессиональной жизни наступило фиаско, что же было с творческой?

Не провал, а растущий успех. Я продолжил циклы о роботах и «Основание», хотя и замедлился, непосредственно приступив к исследованиям. Под фанфары растущей популярности я продал *ASF* все, что написал.

Нет сомнений, что в 1949 году я считался известным и важным фантастом. Кое-кто говорил, что я присоединился к Роберту Хайнлайну и Э. Э. ван Вогту и вместе мы составляли три ножки табурета, на котором теперь покоилась научная фантастика.

Вышло так, что в 1950 году ван Вогт практически прекратил заниматься фантастикой — возможно, его слишком увлекла дианетика Хаббарда. Но в 1946-м для *ASF* начал писать британский писатель Артур Ч. Кларк, и он, как Хайнлайн и ван Вогт (но не как я), мгновенно прославился.

К 1949 году впервые заговорили о большой тройке, в которую входили Хайнлайн, Кларк и

Азимов. Ситуация не менялась на протяжении еще около сорока лет, потому что все мы были живы и не уходили из фантастики. В конце концов мы втроем получали огромные авансы, а наши книги попадали в списки бестселлеров. (Кто бы такое представил в сороковых?)

Теперь же, когда Хайнлайн умер, а мы с Кларком дряхлеем на глазах[54], невольно возникает вопрос: «Кто станет следующей большой тройкой?» Боюсь, ответ — никто. В те давние времена, когда большую тройку выбирали общим одобрением, фантастов еще было мало, а отыскать выдающиеся примеры не составляло труда.

Но сейчас число фантастов — и даже *хороших* фантастов — так велико, что просто невозможно выбрать тройку, которая устроит всех.

Кто знает, может, это никакая не трагедия. Я всегда считал, что постоянные разглагольствования о большой тройке стали самосбывающимся пророчеством. Мы считались большой тройкой из-за своей популярности, но не зависел ли наш многолетний успех от того, что изо дня в день нас называли большой тройкой? Хоть я от этого и выиграл, но всегда переживал, что мы нечестно себя

---

[54] Примечания: 54
Артур Чарльз Кларк умер 19 марта 2008 года. — Прим. ред.

ведем по отношению к остальным писателям.

Что ж, если с творчеством у меня все шло хорошо, почему я так переживал из-за работы? Проблема, как вы легко можете догадаться, заключалась в деньгах.

К 1949-му я продал шестьдесят рассказов и повсеместно считался мэтром фантастики. И все-таки за одиннадцать лет работы и публикаций я заработал 7700 долларов — за все одиннадцать лет. Для супружеской пары средний годовой доход в 700 долларов, очевидно, маловат, поэтому я нуждался в дополнительных заработках.

48. Артур Чарльз Кларк

Артур Чарльз Кларк родился в Великобритании под конец 1917 года. Он тоже получил хорошее образование в естественных науках, а также отлично разбирался в физике и математике.

Сейчас мы с ним широко известны как «большая двойка научной фантастики». До начала 1988-го, как я сказал выше, люди говорили о большой тройке, но тут Артур сделал из воска фигурку, взял длинную иголку и…

По крайней мере, так он мне сам рассказывал. Может, хотел предостеречь. Впрочем, я ему четко дал понять, что если он станет «большой единицей», то будет страдать от одиночества. Эта мысль довела его до слез, так что, кажется, я в безопасности.

Я очень люблю Артура и любил его все сорок лет. Уже давным-давно мы, сидя в такси, пришли к соглашению, которое (поскольку мы тогда ехали на юг по Парк-авеню) нарекли Мирным договором Парк-авеню. Я согласился всем говорить, что Артур — лучший фантаст в мире, хотя разрешалось — только в ответ на уточняющие

вопросы — прибавлять, что я дышу ему в затылок. Взамен Артур согласился всем говорить, что лучший фантаст в мире — это я. Он *обязан* так говорить, не важно, верит он в это или нет.

Не знаю, принимают ли его книги за мои, но мне точно часто приписывают его произведения. Нас путают, потому что мы оба пишем интеллектуальную фантастику, где научные идеи важнее остросюжетности.

Как часто молодые девушки говорили мне:

— Ах, доктор Азимов, по-моему, «Конец детства»[55] не дотягивает до вашей обычной планки.

— Что ж, поэтому я и написал его под псевдонимом, — всегда отвечаю я.

«Конец детства», кстати говоря, — это первая фантастическая книга, которую прочитала моя дорогая жена Джанет. «Я, робот» от ее будущего мужа — только вторая. Но первую строчку в ее литературном рейтинге не занял ни я, ни Кларк. Ее любимый фантаст — Клифф Саймак, и, по-моему, это признак хорошего вкуса.

---

[55] Примечания: 55

«Конец детства» — научно-фантастический роман Артура Кларка о могущественных космических пришельцах, установивших контроль над развитием земной цивилизации. Впервые опубликован в 1953 году. — Прим. ред.

У нас с Артуром похожие взгляды на научную фантастику, науку, общественные вопросы и политику. Мне ни разу не довелось поспорить с ним ни по одной из этих тем, а это немало говорит о его рассудительности.

Мы, конечно, во многом отличаемся. Он лысый, на два года старше меня и не такой красивый. Но все же для второго места чертовски хорош.

Артура с самого начала интересовала фантастика и более творческие аспекты науки. Он давний любитель ракетной техники и в серьезной научной статье 1944 года первым предсказал появление спутников связи.

Потом он стал писать фантастику, и его первым рассказом в американском журнале стал «Лазейка» («Loophole») в апрельском выпуске *ASF* 1946 года. Это был мгновенный успех.

Артур с удовольствием признается, что друзья в школе звали его Эго. Впрочем, он невероятно умен и с равной легкостью пишет как художественные, так и нехудожественные тексты. Несмотря на свое немалое эго, Артур невероятно приятен в общении, и я не слышал о нем ни единого дурного слова всерьез, хотя сам-то могу наговорить о нем предостаточно дурных слов понарошку, как и он обо мне. У нас с ним в ходу те же шутливые

оскорбления, как у меня с Лестером дель Реем и Харланом Эллисоном. Я замечаю, что женщин наши перебранки часто смущают. Кажется, они не понимают мужской дружбы, в которой фраза «Привет, сварливый старый хрыч» означает «Как поживаешь, мой дорогой и милый друг?»

Ну, у нас с Артуром все именно так, только, конечно, на формальном английском и с щепоткой остроумия. Например, когда однажды разбился самолет и выжила примерно половина пассажиров, оказалось, что один из уцелевших сохранял спокойствие во время опасных попыток приземлиться, читая роман Артура Кларка, и об этом упомянули в газетной статье.

Артур, по своему обыкновению, быстренько распечатал пять миллионов копий статьи и разослал всем, кого знал или о ком хотя бы слышал краем уха. Одну получил и я, и внизу моей копии было приписано его почерком: «Какая жалость, что он читал не твой роман. Тогда бы проспал всю эту передрягу, даже ничего не заметив».

В ту же минуту я черкнул Артуру ответ: «Наоборот, он читал твой роман, чтобы, если самолет разобьется, смерть стала желанным избавлением».

Подозреваю, Артур — один из богатейших

журнальных фантастов, потому что он написал немало бестселлеров и участвовал в производстве нескольких фильмов, в том числе первой крупной фантастической феерии — «2001 год: Космическая одиссея».

Он был недолго женат, после чего предался уютной холостяцкой жизни. Когда-то он страстно увлекался дайвингом и, естественно, однажды чуть не погиб.

49. Снова о семье

Вернемся в послевоенный мир. Когда проблемы с трудоустройством привели меня в ряды безработных, а блестящие литературные успехи радовали, но не приносили денег, у нас с родителями несколько охладились отношения. Какое-то время мы с Гертрудой жили на первом этаже того же двухэтажного дома, что и мои родители. Не самый удобный вариант, и мне не нравилось обитать рядом с кондитерской. Впоследствии, когда в 1948 году нам с Гертрудой сообщили, что для нас доступна квартира в новом современном жилом комплексе Стейвесант-таун, мы переехали в Манхэттен. Но родители переживали это тяжело и сильно на меня обиделись. Разумеется, ненадолго.

Даже если бы отец знал, что я неудачник, и с тяжелым сердцем махнул на меня рукой после всех неоправданных ожиданий, у него оставался второй шанс — мой младший брат Стэнли. (Во взрослой жизни брат решил сократить имя до Стэна, и я уважаю его желание.)

Стэн появился на свет 25 июля 1929 года — пер-

вый член нашей семьи, родившийся в Соединенных Штатах. Из-за беременности матери, а потом из-за того, что она ухаживала за новорожденным, мне пришлось взять на себя работу в кондитерской. Я тоже немало времени заботился о Стэне — кормил его из бутылочки и катал в коляске. В результате теперь кажется, что Стэн скорее *мой* ребенок, чем мамин, и я по сей день путаю его со своим настоящим сыном Дэвидом, называя их именами друг друга.

Стэн рос хорошим мальчиком. Всегда слушался старших и не спорил. Большое облегчение для родителей после меня (с моим острым языком) и Марсии (с ее непокорным характером). Для меня загадка, почему любимцем матери всегда оставался я, доставлявший больше всего неприятностей, хотя Стэн всегда вел себя хорошо.

Понятное дело, женщины, согласно романтической традиции, всегда выбирают очаровательных плутов и не глядят в сторону приличных бедолаг, но сомневаюсь, что это подходит к нашему случаю. Все-таки я старший, первенец, и в два года чуть не умер во время эпидемии пневмонии, выкосившей детей нашей деревни и пощадившей только меня одного, по словам матери. Главное, что выжил я только благодаря ее отчаянному и

усердному уходу, днем и ночью — она не спала и почти не ела, чем (как она верит) меня и спасла. Ничего удивительного, что после такого я стал для нее вдвое и втрое важнее. И все-таки, по справедливости, любимчиком заслужил стать Стэн — как ее, так и всеобщим.

Когда я переехал в Филадельфию, мои обязанности по дому перешли к Стэну. Тогда ему не исполнилось и тринадцати, но я на этот счет не переживал. Мне в его положении было всего девять, а Стэн сильнее (полагаю, его лучше кормили в Штатах, чем меня — в России) и проворнее меня. Например, он научился ездить на велосипеде, как только забрался на седло, а я до сих пор это не освоил.

Стэн хорошо учился. Сперва в Старшей технической школе Бруклина, потом в Нью-Йоркском университете и, наконец, в Колумбийской школе журналистики.

В 1949-м — в мой черный год — Стэн был в колледже. Я заглянул к отцу, и он мне признался, что ему трудно заработать на оплату учебы. Что ж, может, у меня дела шли не лучшим образом, но я все-таки не разорился — и не хотел, чтобы отец наскребал последнее, и уж тем более не хотел, чтобы Стэн бросил колледж. И тогда я сказал:

— Ничего, пап. Я заплачу.

Тут отец помрачнел и ответил:

— Еще не пришел тот день, когда мне придется просить деньги у собственных детей.

Он уперся и заплатил за университет сам.

Пару недель назад, думая над этой главой, я раскопал это воспоминание, пересказал Джанет и возмутился:

— Послушать моего отца, — сказал я, — так можно подумать, будто я плохой сын, который пожалеет для него денег или выставит все, будто он пришел ко мне с протянутой рукой. Напротив. Я бы с радостью заплатил и еще бы считал, что остался должен за все, что он для меня сделал. Как же он этого не понял?

А Джанет ответила:

— Но, Айзек, ты ведь и сам такой же. Вот ты бы взял деньги у своих детей?

— Это *другое* дело. У меня же есть гордость, — нахмурился я. Тут она расхохоталась и велела так все и записать.

— Зачем? — спросил я.

— Твои читатели поймут, зачем, — ответила она.

Когда Стэн еще учился в школе, он участвовал во внеклассных занятиях. (То ли работы

в кондитерской стало меньше, то ли Стэн любил рисковать сильнее меня.) Он занимался школьной газетой, а к окончанию колледжа стал соредактором студенческой газеты. Так он нашел свое призвание и решил стать журналистом. В конце концов он устроился в Newsday — газету Лонг-Айленда — и там благодаря собственному труду поднялся до позиции всеми любимого вице-президента, руководящего редакцией.

Стэн — хороший человек в старомодном смысле этого слова: честный, этичный, добрый, надежный. Однажды он сказал, что я трудолюбив, продуктивен, строг во взглядах и увлечен своей работой, а значит, мне достались все самые непривлекательные добродетели. Что ж, зато у Стэна самые привлекательные — и, собственно, его все любят. Даже его брат (причем взаимно). Раньше я шутил, что я, может, и гениальный брат, зато он — хороший брат, и это не такая уж и шутка.

Могу привести конкретные примеры его доброты. Из-за фамилии он вечно находится в тени. Люди постоянно спрашивают его при знакомстве: «Вы не родственник Айзека Азимова?» Он не теряет самообладания и терпеливо отвечает: «Да, он мой брат». И не дает этому отравить наши

отношения, за что я ему бесконечно благодарен. Я бы на его месте не выдержал, и это бы стало вечным источником раздоров между нами. Но в том-то и дело. *Он* — хороший брат.

В 1950-х он познакомился с Рут, прелестной красавицей в разводе, которой тут же сделал предложение (хотя при знакомстве она первым делом спросила, не родственник ли он мне). Они поженились и с тех пор живут в гармонии.

У них есть сын Эрик и дочь Нанетт — оба, последовав примеру отца, стали журналистами. (Еще у Рут есть сын от предыдущего брака Дэниел, и Стэн его усыновил, так что теперь он Дэниел Азимов. Он математик.)

Возможно, то, что дети пошли по стопам Стэна, свидетельствует о его успешности как отца. Иногда я вздыхаю с сожалением, что мои дети не последовали моему примеру, но это, конечно, глупость. Зачем им это надо?

Моя дочь Робин в двенадцать лет сочинила по своей инициативе рассказ и показала мне. Я изумился. Мне казалось, это лучше, чем в ее возрасте написал бы я.

— Робин, — сказал я, — если тебе хочется, то, пожалуйста, пиши, не бросай. Я помогу, чем смогу, а когда придет время, постараюсь открыть для

тебя все двери.

— О нет, — сказала Робин. — Я не хочу жить как ты.

— В каком смысле?

— Работа. Работа. Работа. Я так не хочу.

— Писатели не обязаны все время работать-работать-работать, — сказал я. — Так делаю только я. А ты можешь писать, только когда захочешь.

— Нет, — сказала она. — Не буду рисковать.

И не стала.

Ну, может, и к лучшему. Много лет спустя, когда ей пришлось написать служебную записку по работе, она все черкала и переделывала, черкала и переделывала, как и все нормальные люди. Наконец бросила ручку и патетически воскликнула:

— Кто бы мог поверить, что я дочь своего отца?

50. Первый роман

Но в год моего полнейшего упадка, 1949-й, настал и переломный момент, хотя это не бросалось в глаза и лично я не увидел, что дело пошло в гору. И речь не о журнальном рассказе, а о *романе*.

Вообще-то фантастика и обрела популярность благодаря романам. На мой взгляд, фантастика в современном понимании началась с французского писателя Жюля Верна. Он работал во второй половине девятнадцатого века и стал первым, кто сосредоточился на фантастике и хорошо на ней заработал. Его книги, особенно «С Земли на Луну» (1865), «Двадцать тысяч лье под водой» (1870) и «Вокруг света за восемьдесят дней» (1873), обошли весь мир. Верн — единственный фантаст, которого читал мой отец (в русском переводе, конечно).

За ним последовали другие фантасты, менее известные, а в 1890х прославился британский писатель Герберт Джордж Уэллс с романами «Машина времени» (1895) и «Война миров» (1898).

Затем появились другие фантастические книги, по большей части от британцев, такие как

«Дивный новый мир» (1932) Олдоса Хаксли, «Странный Джон» (1935) Олафа Стэплдона и «1984» (1948) Джорджа Оруэлла. Уровнем пониже — американец Эдгар Райс Берроуз написал популярный цикл о Марсе, начавшийся с книги «Принцесса Марса» (1917).

Но фантастические журналы, предлагавшие публике фантастику нескрываемо низкого пошиба, не оставили шансов крупной форме. Романов, в конце концов, публиковалось сравнительно немного, а новые номера журналов сходили с печатных станков каждый месяц.

Вообще читатели фантастики 1930-х и 1940-х покупали только журналы и совершенно игнорировали редкие романы. Пожалуй, мог бы подняться ажиотаж, если бы журнальные рассказы появились в книжной форме или если бы вышел роман признанного журнального автора. Впрочем, ничего подобного не произошло. Некоторые совсем маленькие любительские издательства, созданные фанатами, выпускали журнальную фантастику в книжной форме, но качество было низким, тиражи — скромными, а дистрибуции и вовсе практически не существовало.

После Второй мировой все изменилось. Фантастика вдруг стала уважаемой. Сперва — атомная

бомба, потом — немецкие ракеты, возродившие надежду на космический полет, потом — электронный компьютер. Все это — главные темы фантастики, и в послевоенное время они становились реальностью.

Поэтому в 1949 году крупная издательская фирма Doubleday & Company решила выпустить серию романов, а для этого им требовались рукописи.

Я как раз написал в 1947 году новеллу на 40 тысяч слов, которую никуда не мог продать, — на тот момент моя главная литературная неудача. Я сунул ее пылиться в стол и постарался забыть. Конечно, я не знал о планах Doubleday на серию фантастических романов, зато знал Фред Пол, он-то и посоветовал отправить новеллу туда. «Если им понравится, — сказал он, — перепишешь в зависимости от их требований».

Я отдал рукопись ему, тем самым начав трехлетний период, когда он выступал моим агентом.

Уолтер А. Брэдбери, редактор Doubleday, назначенный куратором новой серии, разглядел в сюжете перспективу и попросил дописать до 70 тысяч слов. А позже выдал чек на 750 долларов — первый раз, когда мне заплатили за еще не написанный текст — и пообещал заплатить больше

по завершении.

Я молниеносно приступил к работе, и 29 мая 1949 года Брэдбери позвонил и сказал, что Doubleday приняло и готовится издать мой роман, который я позже назвал «Камешек в небе»[56] («Pebble in the Sky»).

Я продал первый роман, обозначивший огромный шаг вперед в моей литературной карьере (хотя тогда я этого еще не понимал).

Единственная моя беда на тот момент — я внезапно столкнулся с богатством выбора. Я не только совершил прорыв в литературе, но и нашел работу.

Давайте расскажу, как это случилось.

---

[56] Примечания: 56

Роман также издавался на русском языке под названиями «Песчинка в небе», «Галька в небе», «Осколок Вселенной». — Прим. ред.

51. Наконец-то новая работа

Наверное, любой писатель, даже если он сочинил очень мало, время от времени получает письма читателей.

Подозреваю, что фантастов особенно активно заваливают письмами. Во-первых, по-моему, читатели фантастики более красноречивы и самоуверенны, чем другие. Во-вторых, к этому подталкивали рубрики писем в фантастических журналах.

Я обожал письма фанатов и старался отвечать на все, причем на протяжении многих лет. Количество писем росло, как и перечень моих обязанностей, и наконец пришло время, когда мне пришлось стать разборчивее, что меня беспокоит до сих пор. Меня не покидает чувство, что любой, кто потрудился мне написать, заслуживает ответа, но, к сожалению, время и силы ограничены.

И не все письма приходили от восхищенной молодежи. Некоторые — от уважаемых членов общества. Так, в годы докторантуры и постдокторантуры я стал получать письма от Уильяма К.

Бойда, профессора иммунохимии в Школе медицины Бостонского университета (BUSM). На него большое впечатление произвел рассказ «Приход ночи», и с тех пор он стал моим фанатом.

А на меня произвел впечатление он сам. Между нами завязалась переписка, и, время от времени приезжая в Нью-Йорк, он улучал время на встречу со мной.

Естественно, в какой-то момент я поделился с ним своими трудностями с работой, а он мне написал, что в его школе в Бостоне открылась вакансия на кафедре биохимии — и он готов дать мне рекомендацию.

Мне отчаянно не хотелось снова переезжать из Нью-Йорка, но в работе я нуждался еще отчаяннее. Я уже искал варианты вне города, даже ездил с однокурсником в Балтимор, на химический завод. Однокурсника взяли (он разбирался в ботанике), а меня — нет (я не знал о ботанике ровным счетом ничего).

Я понял, что должен рассмотреть новую возможность, и с упавшим сердцем отправился на поезде в Бостон и вошел в кабинет Бернема С. Уокера, заведующего кафедрой биохимии. Школа медицины меня не впечатлила. Она была маленькой и древней. Да и находилась в трущобах.

Впрочем, сам Уокер показался приятным человеком, а предлагал он мне преподавательскую должность, благодаря которой я бы получил академический статус. Оклад — 5500 долларов в год.

Но меня беспокоило, что я бы не работал на школу напрямую. Я бы работал на Генри М. Лемона — человека без всякого чувства юмора, который мне не понравился, как только нас познакомили. Более того, оклад выплачивался из гранта, то есть я бы жил от года к году.

Домой я вернулся с печальной дилеммой и в таком же безрадостном расположении духа, как и во время призыва в армию. Но что толку? Мне нужна была работа, а ничего другого не предлагали. Так я принял предложение BUSM.

А через несколько недель после согласия продал свой первый роман Doubleday. И тут же почувствовал искушение воспользоваться этой возможностью и остаться в Нью-Йорке. С продажей романа я мог рассчитывать на маломальские деньги и потянуть время для поиска работы поблизости. Более того, если бы роман обрел популярность, я бы мог и вовсе обойтись без работы.

Соблазн был велик. Я часто слышал о молодых писателях, которые после продажи первой книги

или даже просто журнального рассказа тут же бросали работу, чтобы посвятить себя литературе. Обычно история кончалась тем, что больше продать уже ничего не получалось и им приходилось возвращаться на прежнюю работу или искать другую.

Я, конечно, не сомневался, что без денег не останусь, но знал, что мне с женой их не хватит. И не мог рассчитывать на успех романа. Пока все, что я за него получил, — это аванс в 750 долларов, а если бы он не продался, я не бы не увидел больше ни пенни. (Продай я его *ASF*, получил бы 1400 долларов.)

Более того, я уже принял бостонское предложение, и если теперь решил бы не ехать, то в каком-то смысле нарушил бы данное слово, а я не хотел так поступать. Так что в конце мая я поневоле отправился в Бостон, повесив нос, и с собой потащил такую же несчастную Гертруду. Мы провели в браке почти семь лет, а бриллиантов, которых я ей обещал, пока не предвиделось.

Здесь можно поиграть в веселую, но бессмысленную игру с сослагательным наклонением.

А что, если бы мне не предложили место в Бостоне? А что, если бы я продал роман на несколько недель *раньше*, чем пообещал переехать в Бо-

стон? Я мог бы остаться в Нью-Йорке, поставив на то, что 750 долларов и престиж книги выиграют мне время для поисков места поближе.

Как знать, что могло бы произойти? Я склонен смотреть на это конструктивно и оптимистично. В итоге я проработал в BUSM девять лет. За эти девять лет я преподавал, читал лекции и развивался в литературе так, как иначе бы не смог. Более того, я получил весомое профессорское звание, укрепившее мой статус фантаста.

Значит, хоть переезд и дался непросто, он расширил мой кругозор и, уверен, сделал меня лучше и успешнее как писателя, так что переехать было нужно.

А кроме того, я сдержал слово.

52. Doubleday

«Камешек в небе» вышел 19 января 1950 года, меньше чем через три недели после моего тридцатилетия. С тех пор я держусь Doubleday и во всем ими доволен. На данный момент они издали 111 моих книг, а 16 января 1990 года, воспользовавшись возможностью, отметили как мое семидесятилетие, так и сорок лет с публикации «Камешка в небе». В ресторане Tavern on the Green устроили большую коктейльную вечеринку с сотнями гостей.

В тот день я лежал в больнице. Но не мог же я всех разочаровать, поэтому под вечер тихонько улизнул. Джанет толкала мое кресло-каталку, а еще к нам присоединился мой преданный терапевт — доктор Пол Р. Эссерман. Прием прошел очень хорошо, хотя встречать гостей и выступать с речью мне пришлось в коляске. Потом я проскочил обратно в больницу, теша себя надеждой, что моего отсутствия не заметят.

Куда там! На следующее утро об этом с юмором написали в *The New York Times*, так что про меня знали *все*. Меня отчитали медсестры. Позвонил

и отчихвостил меня Лестер дель Рей, потому что я якобы рисковал жизнью. Когда я позвонил по делу в Лос-Анджелес, молодая девушка начала беседу словами: «Ах вы негодник…»

Через три дня состоялось шестидесятилетие *ASF*, и я планировал выступить там, но в этот раз сбегать не осмелился, так что пришлось все пропустить. О чем до сих пор очень жалею. Ощущение, будто я предал Джона Кэмпбелла.

Меня часто спрашивают, почему я столько лет оставался в Doubleday. Похоже, считается, что как только писатель становится знаменитым и популярным, он должен привередливо относиться к издателям, устраивать аукционы и идти к тому, кто больше предложит. Таким образом можно становиться все богаче и богаче, но я так не могу. В Doubleday со мной хорошо обходились, а я ни при каких обстоятельствах не отплачу злом за добро. Всю жизнь благодарность и преданность были для меня фетишем, и я ни разу не пожалел, что потерял потенциальные доходы. Лучше упустить выгоду, чем чувствовать себя неблагодарным.

Мне говорят: «Ну конечно, они хорошо с тобой обходились, Айзек. А как иначе, раз ты приносишь им такую прибыль?»

Те, кто так говорит, ничего не понимают. При-

ходится объяснять, что когда я предложил свой первый текст и еще никто в Doubleday не знал, будет ли он успешен и напишу ли я еще, со мной уже обходились хорошо.

Проводником счастья стал мой первый редактор в Doubleday — Уолтер Брэдбери (все зовут его «Брэд»). Он был человеком среднего возраста, чуточку пухлым и (на мой взгляд) весьма напоминал британского актера Лео Генна. Он отличался добротой и мягкостью, излучал отцовскую, но не снисходительную ауру, которая меня успокаивала в самые тревожные мгновения. Он ненавязчиво давал творческие советы, помогал вычитать мои первые гранки, всегда был готов поговорить по телефону — даже когда я однажды позвонил ему домой из-за какого-то треволнения, а у него болел ребенок. Он все равно общался со мной по-доброму и не торопил. Это третий человек после Кэмпбелла и Доусона, который помог мне в карьере — причем, видимо, по одной только доброте душевной.

Но чтобы у вас сложилось о нем самое верное впечатление, придется поведать одну историю. В другом издательстве мне предложили аванс в две тысячи долларов за права на издание в мягкой обложке одного из моих первых рома-

нов — «Космические течения» («The Currents of Space», Doubleday, 1952). Я пришел в восторг, потому что для меня в те времена эта сумма казалась чудовищно огромной. Я сказал, что сейчас права принадлежат Doubleday, но пообещал уладить с ними вопрос.

Затем я позвонил с новостями Брэдбери, и, когда на другом конце провода повисло молчание, у меня замерло сердце.

— Я сделал что-то не так? — спросил я.

— Ну, в Bantam только что предложили три тысячи, — сказал Брэд. Я промолчал, а он мягко спросил — Ты им уже пообещал, Айзек?

— Ну, я сказал, что права принадлежат Doubleday, но да, пообещал.

— В таком случае берем две тысячи.

— Doubleday необязательно терять из-за меня деньги, Брэд, — сказал я. — Ваша половина от трех тысяч — полторы. Вычти полторы из этих двух. Мне хватит и оставшихся пятисот долларов.

— Не говори ерунды, — ответил Брэд. — Поделим пополам.

Другими словами, Брэд (и Doubleday) предпочли остаться без пятисот долларов, лишь бы я не нарушил слово. Может, для них это не такая уж большая сумма, но суть не в том. Для меня

мое слово значит все, и из-за уважения Doubleday к моим принципам меня уже ничто не могло с ними разлучить — и не разлучило. (А еще, естественно, я больше ни разу не пробовал вести переговоры самостоятельно, вместо издателя.)

Деньги уже давно потеряли для меня важность. Мне хватает. Мне нужно что-то другое, и самое главное — роскошь писать все, что хочу, так, как хочу, находясь в комфортной уверенности, что это издадут. Благодаря Doubleday такая возможность появилась у меня с самого начала.

Так, когда я притащил огромную рукопись «Творчество Гилберта и Салливана с аннотациями от Азимова» («Asimov's Annotated Gilbert & Sullivan», Doubleday, 1988), даже не предупредив, что над ней работаю, они ее издали, и слова не сказав. Они не могли ожидать чего-то лучше, чем выйти с книгой в ноль, но все-таки настояли на авансе крупнее, чем, на мой взгляд, заслуживала моя работа. Я так и сказал, но меня не слушали. Мне всегда давали аванс больше положенного, но каким-то образом умудрялись его окупить. (Не хочу быть несправедливым к другим своим издателям. Сейчас уже многие готовы идти мне навстречу, но первыми были Doubleday, причем в крупных масштабах.)

Я человек дружелюбный и дружу со всеми своими редакторами и издателями — просто потому, что иначе не умею. Если только я не болен, не взбешен и не погружен в тревоги (а все это бывает редко), я источаю улыбки, шутки и дружелюбие. И вроде бы поэтому — а еще потому, что я не люблю осложнений и не «бронзовею», — нравлюсь редакторам и издателям, которые относятся ко мне как к другу. Из-за этого тоже трудно покинуть Doubleday — как я потом объясню свой уход друзьям в издательстве?

Честно говоря, мне это нравится. Нравятся дружелюбие и неформальность в деловых отношениях. (Может, так бизнес не ведут, но иначе я не умею.)

Так, однажды я обедал с десятком редакторов из Doubleday, и разговор свернул на произвол писателей. (Соберись за обедом писатели, разговор бы, уверен, свернул на произвол редакторов и издателей, но лично я себе такого враждебного отношения никогда не позволял.) Как бы то ни было, один редактор цинично заявил: «Хороший писатель — это мертвый писатель». Я рассмеялся. Никто за столом как будто и не помнил о моем присутствии. Я так прочно вошел в семью Doubleday, что меня там уже не считали писа-

телем.

Мое отношение к редакторам, конечно, в корне определило то, что моим первым редактором был Джон Кэмпбелл. Он совершенно уникален, но тогда я этого не знал. В первую очередь, он — старожил. Он пробыл редактором *ASF* тридцать три года, и ни разу не вставал вопрос о его замене. Его освободила от занимаемой должности только смерть.

Естественно, я всех редакторов считал богоподобными могучими старожилами, и меня немало потрясло, когда я узнал, что они часто скачут из издательства в издательство.

Так я очень огорчился, когда Брэд ушел в другую компанию. (В итоге он вернулся в Doubleday.) Естественно, меня передали другому редактору, а когда уволился он — новому, и так далее. Всего у меня в Doubleday было девять редакторов, один другого лучше.

После Брэда пришел Тимоти Селдес. Он был высоким и худым человеком с грубым лицом, но при этом довольно привлекательным и с вечной легкой улыбкой. Он постоянно разыгрывал ворчливость и сердито звал меня по фамилии, но я видел его насквозь. На самом деле мы так сдружились, что я его подкалывал. Осторожно

вытянув из него признание, что писатель Гилберт Селдес — его отец, писатель Джордж Селдес — его дядя, а актриса Мэриэн Селдес — его сестра, я спросил с наигранной невинностью: «И каково быть единственной бездарностью в семье, Тим?»

Он со мной поквитался, когда напомнил об одном неприятном факте. Мы с ним шли на обед, и я придержал для него тяжелую дверь ресторана. (Я знаю свое место.) Но Тимоти взял дверь и жестом пригласил меня войти.

— Ты же редактор, Тим. Ты и иди первым, — возразил я.

— Ни за что, — сказал Тим. — Мама меня учила, что старших надо уважать.

И так я осознал, что действительно старше его. Теперь вундеркинд стал старше своего редактора. (А на данный момент — даже старше Папы Римского и президента Соединенных Штатов, а еще мне в два с половиной раза больше лет, чем моему нынешнему редактору в Doubleday.)

Из-за дружбы с редакторами и удовольствия от общения с ними мне было трудно найти агента. Конечно, начиная литературную карьеру, я еще слыхом не слыхивал о них. Я работал с Кэмпбеллом напрямую, потому что не мог и представить себе посредника. Затем, когда я *услышал* об аген-

тах, мне показалось нелогичным отдавать 10 процентов со своего заработка, когда я продаю рассказ, который пишу без сторонней помощи. (Я еще не слышал о торгах за лучшие условия, вторичных авторских правах и других тонкостях, в которых агенты разбираются, а я — нет.)

Конечно, когда Фред Пол помог продать мой первый роман, у меня не осталось выбора, кроме как взять своим агентом его. Он управлял «Литературным агентством Дирка Уайли», — названным в честь еще одного футурианца, который, как и Сирил Корнблат, умер молодым, — и три года занимался моими романами. Фред хорошо справлялся с работой агента, как и с другими делами, за которые брался, но почему-то агентство не приносило прибыль и в 1953 году прекратило работу. Тогда передо мной встала проблема и отношения между нами впервые охладились, но все это прошло — и в конце концов мы стали дружны как никогда.

Во всяком случае, с тех пор у меня нет литературного агента, не считая нескольких личных проектов, где без их помощи не обойтись. И меня это устраивает. Мне нравится продавать лично и предоставлять издателю беспокоиться о вторичных правах. Это избавляет от хлопот.

Более того, у меня нет вообще никаких помощников — ни секретаря, ни машиниста, ни управляющего. Я работаю один, в своем кабинете, сам отвечаю на звонки и почту.

Это тоже многих удивляет, но ничего странного тут на самом деле нет. Моя нагрузка росла так постепенно, что ни разу не было резкого скачка, после которого я сам бы уже не справлялся. Ситуация похожа на древнегреческий миф о Милоне Кротонском, прославленном атлете. Говорят, он поднимал новорожденного теленка каждый день, пока тот рос, и в итоге носил на плечах уже взрослого быка.

Я отыскал в таком положении дел немало преимуществ. Будь у меня работники, пришлось бы арендовать офис и работать не дома. К тому же понадобилось бы раздавать указания, следить, перепроверять их работу, указывать на ошибки, нервничать и так далее. Все это меня бы замедляло и злило.

Меня устраивает моя жизнь.

53. Gnome Press

В те первые годы в Doubleday печатали не *все*, что я писал. Это стало очевидно, когда меня осенило, что совершенно необязательно писать по новому роману в год. Почему бы не воспользоваться тем, что я уже сделал?

Например, в 1950-м я забросил цикл «Основание». Проработав над ним восемь лет и написав восемь произведений объемом в двести тысяч слов, я устал и решил заняться чем-то другим. Но тексты все еще существовали и, на мой взгляд, заслуживали переиздания.

Тогда я взял копии рассказов (они были не в лучшем состоянии — я же и не думал, что они еще пригодятся) и показал Брэду. Он их изучил, но отказал на том основании, что ему нужны новые романы, а не старые. (Большая ошибка со стороны Doubleday, и, хотя в итоге ее исправили, мы с ними потеряли прибыль за одиннадцать лет.)

Переехав в Бостон, я отнес рукопись в местную издательскую фирму Little, Brown — мне отказали и там.

Но в Бостоне выпуском книг занималась еще

одна фирма. Выше я уже говорил, что существовали и полупрофессиональные издательства фанатов. Одно из них — возможно, последнее и лучшее, — называлось Gnome Press, и управлял им молодой человек по имени Мартин Гринберг. (Впоследствии я работал с чудесным человеком по имени Мартин Гарри Гринберг. Важно их не путать.)

Мартин Гринберг из Gnome Press был рубахой-парнем, усатым, довольно обаятельным, что свойственно такому типу, но, как я в итоге узнал, не самым надежным человеком.

Однако он согласился опубликовать сборники моих старых рассказов, а в моих глазах это его весьма красило. Я собрал девять рассказов о роботах — восемь из *ASF* и первый, получивший первоначальное название «Робби». Мартин издал их в конце 1950-го под названием «Я, Робот» («I, Robot»), которое сам же и предложил. Я обратил его внимание, что уже есть известный рассказ Эндо Биндера под таким же названием, но Мартин только отмахнулся.

Затем он опубликовал цикл «Основание» в трех томах, выходивших каждый год: «Основание» («Foundation», 1951), «Основание и Империя» («Foundation and Empire», 1952), «Второе Осно-

вание» («Second Foundation», 1953). Для первой книги я написал предисловие, чтобы правильно представить сагу читателю, так что на самом деле первая часть первой же книги написана последней.

Еще в Gnome Press издавались Роберт Хайнлайн, Хэл Клемент, Клиффорд Саймак, Л. Спрэг де Камп, Роберт Говард и другие. Практически все книги, которые выпустил Мартин, включая мои, с тех пор признаны настоящей классикой фантастики — ум за разум заходит от мысли, что он приложил руку к каждой из них.

Однако правильно распорядиться ими он не сумел. У него не было капитала, рекламы, дистрибуции, контактов с книжными магазинами — и в результате он продавал слишком мало экземпляров.

К тому же была у Мартина одна особенность — неколебимая антипатия к роялти, которые он, собственно говоря, никогда и не выплачивал. По крайней мере, мне. Большими они быть не могли, но он не выплачивал даже маленькие.

У него на все находились оправдания — бесконечные оправдания. Болеет его партнер. Умирает его бухгалтер. Он попал в торнадо. Я сказал, что дождусь денег, но нельзя ли хотя бы получить

отчет о продажах и прибыли, чтобы отслеживать, сколько мне причитается? Но нет, это, видимо, тоже противоречило его убеждениям.

И при этом ему хватало невероятной наглости жаловаться, что я не приношу новые книги. Он получил четыре, которые по глупости отвергли в Doubleday, но я точно не собирался отдавать ему то, от чего там *не отказывались* — а там теперь брали все.

Так что, когда он пожаловался, я просто спросил: «Где мои роялти, Мартин?» Он живо заткнулся.

В 1961 году Тим Селдес вручил мне письмо от португальского издательства, где подумали, будто права на «Основание» принадлежат Doubleday. Они предлагали выпустить книги в Португалии. Я посмотрел на письмо, пожал плечами и сказал:

— Без толку. Gnome Press не платит роялти.

— Что-что? — возмущенно переспросил Тим. — В таком случае отнимем у него книги.

И напустил на Мартина юристов.

Мартину хватило смелости выставить выгодные для себя условия, и Тим собирался их оспорить, но я с тревогой сказал:

— Да нет, Тим, дай ты ему, что он хочет, и потом вычти из моих роялти. Главное — получить книги.

Совет оказался дельным, Тим им воспользовался, но денег из роялти так и не вычел.

Другие авторы тоже вырвали свои вещи из хватки Мартина, и он остался не у дел. Что с ним случилось потом — не знаю.

Если бы Мартин разумнее относился к тем книгам и выплатил грошовые роялти, никто из писателей не стал бы их отнимать. С растущей славой *других* книг каждого автора поднялся бы спрос и на издания Gnome Press, и Гринберг мог бы стричь купоны и сделать из издательства важный центр научной фантастики. Но он выбрал иной путь.

Завладев книгами «Я, Робот» и «Основание», Doubleday стали зарабатывать с поразительной скоростью, а Мартин уже не получил от этого ни пенни.

Хотя тогда я возмутился и затаил на Мартина обиду, время показало, что, как и во многих других случаях, когда человек не желал мне добра, обычно именно его он мне и делал.

В конце концов, неважно, заплатил Мартин или нет: он издал те четыре книги, которые не издали в Doubleday. Они *существовали* и дожили до момента, когда Doubleday взяли гусеницу Gnome Press и превратили ее в бабочку.

54. Школа медицины Бостонского университета

После переезда в Бостон круг друзей и знакомых расширился.

Бернему Уокеру, заведующему кафедрой, на момент моего появления было сорок шесть. Это был тихий и необщительный выходец из Новой Англии, чрезвычайно умный и сносивший с тихим спокойствием мою неугомонность. Мне он нравился, и, признаюсь, это он сделал пребывание в школе терпимым.

Без Уильяма Бойда — сорока семи лет на время моего появления — я бы не получил работу. Он был настоящим медведем-шатуном, а не человеком, но мне показался глубоко разочарованным в жизни. Бойд учился в Гарвардском университете, одним из его одногруппников был Дж. Роберт Оппенгеймер[57]. Билл, конечно, от него отстал (я бы отстал и подавно), и это, видимо, его удручало.

Со мной он был сама доброта, как и его жена

---

[57] Примечания: 57

Джулиус Роберт Оппенгеймер (1904–1967) — американский физик-теоретик, научный руководитель Манхэттенского проекта по разработке первых образцов ядерного оружия. — Прим. ред.

Лайл. Я часто ходил к ним в гости и познакомился с их друзьями. Они как никто другой помогли мне почувствовать себя в новом городе как дома. Бойд, согласившись устроиться на госслужбу в Александрии в Египте, где предложили оклад куда выше, чем в Бостоне, позвал меня с собой. Я содрогнулся и отказался. Я не только ногой бы ни ступил в Африку, но и вдобавок предупредил его о госслужбе и рассказал, что это такое. (Конечно, сыграло роль и то, что мне очень не хотелось его отпускать. В Бостоне его дружба помогала мне больше всего, без него я бы оказался в чужом мире.)

Бойд уехал 1 сентября 1950 года, через три месяца после моего переезда в Бостон, но уже скоро вернулся на старую работу. Он признался: все мои предупреждения о госслужбе попали в точку и он жалеет, что не прислушался.

Генри М. Лемон, на которого я работал, как будто бы сразу меня невзлюбил — и, возможно, по уважительной причине. В нашу первую встречу на верхнем этаже больницы он указал на окно и стал распространяться о красотах «бостонского горизонта», но хвастаться этим перед жителем Манхэттена довольно бессмысленно.

Я и так не был рад Бостону, а взглянув на бес-

конечное море двухэтажных кирпичных домов и затосковав по родным каньонам, проворчал:

— Да кому интересны красоты Бостона?

Глупость, конечно, и после этого наши отношения лучше не стали. Он был предан исследованиям влияния нуклеиновых кислот на рак (вообще-то очень перспективное направление, на достойную разработку которого, к сожалению, ни у него, ни у меня возможностей не было), а я нет. Я все больше уходил в творчество. Он хотел, чтобы я ездил на всякие научные конференции, и на некоторых я выступал, но хотелось-то мне только кататься в Нью-Йорк и встречаться с издателями. Постепенно наши отношения переросли во взаимную ненависть.

Нашелся один добрый друг и вне школы. В доме Билла Бойда я познакомился с Фредом Л. Уипплом, астрономом из Гарвардского университета. На момент нашей встречи ему было сорок три. Этот учтивый добродушный человек покорил меня почти мгновенно. Такая дружба за пределами мира фантастики выдержала проверку временем. Как и Спрэг де Камп, Фред не меняется внешне. Сейчас ему восемьдесят, а он все так же худощав, проворен, энергичен и ездит на работу на велосипеде. Образец вечной молодости. Мы каждый год

созваниваемся на свои дни рождения.

Но, конечно, я пришел в школу медицины не заводить друзей. Я должен был работать. Вдобавок к исследованиям Лемона я читал лекции по биохимии первому курсу. Довольно неблагодарное занятие. Студенты-медики рвались к стетоскопам и пациентам, но им приходилось выслушивать лекции, как будто они все еще учатся в колледже, — это наверняка раздражало.

Я искал любые способы избежать исследований. Кроме меня, там были лаборанты и аспиранты, и по возможности я спихивал работу на них, только проверяя результат. (Все равно они лучше меня обращались с оборудованием.) Но мне хотелось вовсе избавиться от исследований. В глубине души я уже поставил на этом точку; я принял неправильное решение.

Впрочем, работа была не такой уж плохой. Мне нравилось считаться профессором (меня повысили до доцента кафедры биохимии в 1951 году), я был прирожденным лектором. Преподаватели факультета делили лекции между собой — каждый брал те дисциплины, в которых лучше всего разбирался. Я (с намеком на былое самомнение) заявил, что дождусь, когда выберут все остальные, и возьму, что останется. В итоге мне

достались одиннадцать лекций по химии.

Эти лекции весны 1950-го стали моими первыми значительными выступлениями со времен семинара в аспирантуре тремя годами ранее. Как и тогда, слушатели приходили поневоле — студенты обязаны присутствовать на лекциях. Сами понимаете, обязаловка не вызовет восторга у публики.

К тому же к этим лекциям, как и к семинару, приходилось тщательно готовиться. Я их никогда не записывал целиком и тем более не заучивал, но мне все-таки требовалось представлять себе, что я скажу, да и формул на доске, в которых я не имел права путаться, было на порядки больше.

Исследовательская работа сходила на нет, а лекции становились всё лучше. Когда мой период работы в медицинской школе подходил к концу, меня по всеобщему мнению признали лучшим лектором. До меня даже дошли слухи о разговоре двух преподавателей в коридоре. До них издалека донеслись смех и шум аплодисментов, и один спросил:

— Что это?

— Скорее всего, лекция Азимова, — ответил второй.

Полный провал в исследованиях меня ни-

сколько не беспокоил, учитывая, как я блистал на лекциях. Я рассуждал так. Главная функция медицинской школы — учить студентов на врачей, а один из важнейших способов обучения — лекции. Я не просто просвещал аудиторию, но и воодушевлял.

Доказательство — реакция студентов. У нас было заведено аплодировать профессору под завершение последней лекции курса. Аплодисменты, конечно, звучали вяло и дежурно — скорее обычай, чем искреннее желание. Только мне хлопали на лекциях посреди курса, причем от души. И тогда я чувствовал себя неуязвимым.

Как же я заблуждался! Я не учел в своих расчетах один фактор. Лекции шли на пользу только студентам. Зато исследования приносили правительственные гранты, и часть денег под графой «накладные» неизменно шла школе. Приводит это к тому, что администрация всегда предпочитает исследования, а не лекции, — деньги для себя, а не образование для студентов. Значит, я был не таким уж пуленепробиваемым, а после окончания исследований — так и вовсе стал живой мишенью.

Можно сказать, что администрация правильно делала, что ставила свои интересы выше сту-

денческих, ведь если школа будет вынуждена закрыться из-за недостатка финансирования, то пострадают студенты. С другой стороны, должно же быть равновесие. Хорошему учителю нужно прощать недостатки в исследованиях. Но, как я объясню позже, вышло иначе.

55. Научные статьи

Важное, даже *самое* важное дело исследователя — писать статьи о своей работе и публиковать в каком-нибудь уважаемом научном журнале. Каждая статья считалась «публикацией», и престиж ученого и перспективы повышения зависели от качества и количества этих публикаций.

К сожалению, качество публикации измерить сложно, а вот количество — проще простого. Поэтому возникла тенденция судить по одному только показателю, подталкивая ученых строчить материалы, не слишком заботясь о качестве.

Выходили публикации с минимумом новой информации — лишь бы считаться новыми. Некоторые дробились на части, и каждая из них печаталась отдельно. Под некоторыми подписывались все причастные к работе (даже косвенно), потому что тогда публикация засчитывалась каждому упомянутому автору. Кое-кто из старших научных сотрудников требовал указывать себя соавтором каждой статьи, подготовленной своими подчиненными, даже если не имел к их

исследованиям ровным счетом никакого отношения.

Я в такие игры не играл и не планировал. Во-первых, я практически не получал результатов, которые стоило бы публиковать. В-вторых, мне не нравился стиль таких статей и не хотелось под него подстраиваться. А в-третьих, я давно лишился надежды добиться славы в качестве исследователя и не собирался без толку себя мучить.

Совсем без статей я не остался. Одной из них считалась моя докторская, ее конспект издали в *The Journal of the American Chemical Society* («Журнал Американского общества химиков»). Еще я, как старший научный сотрудник, за годы приставил свое имя где-то к полудюжине статей, написанных разными лаборантами и студентами факультета. (Впрочем, я как минимум проверял эксперимент, читал статью и вносил какие-то правки.)

И на этом все; совершенно ничтожно как по количеству, так и по значимости. Насколько я знаю, ни одна статья под моим именем не заслужила ни малейшего внимания, не цитировалась и ни разу никого не привела к научному прорыву.

Впрочем, мне в голову пришла мысль. *The*

Journal of Chemical Education («Журнал химического образования») был хорошим и полезным изданием со статьями, представлявшими интерес для студентов-химиков из колледжей. Мне казалось увлекательным писать и публиковать такие тексты. Такая работа меня привлекала, а вышедшие статьи считались за публикации. В начале 1950-х я написал их полдесятка, все изданы.

Одна из них даже оказалась важной, потому что я указал на опасность изотопа углерода-14 как источника пагубных мутаций в человеческом теле. Важно это потому, что позже Лайнус Полинг писал очень подробно и убедительно о том же (отталкиваясь, как можно вообразить, от моего строго спекулятивного предположения). При испытании ядерных бомб над землей в атмосферу выделялся углерод-14, отсюда непропорциональный рост врожденных пороков развития и заболеваний раком. Это одна из причин запрета на испытания ядерного оружия в атмосфере, и мне приятно думать, что моя статья внесла в этот желанный исход хотя бы микроскопическую лепту.

Впрочем, прибавка этих коротких работ к поему послужному списку ничем не помогла. В

конце концов, исследований они не касались. Зато они, как я объясню в свое время, привели к гораздо более важному результату, чем увеличение списка публикаций.

Но за годы преподавания научные статьи не были моим единственным академическим достижением.

В 1951 году Билл Бойд решил написать учебник по биохимии для студентов-медиков. Затем ему пришло в голову воспользоваться моим творческим опытом, и он предложил работать в соавторстве.

Как обычно, когда предлагают новый проект, в моей голове крутится вихрь «за» и «против». Против выступало ощущение, что для написания учебника я слишком плохо знаю биохимию, как, впрочем, и Билл (тут я могу ошибаться). Но «за» было то, что это испытание. А самое главное — работа над учебником будет поводом бросить исследования под предлогом другой важной научной задачи.

«За» перевесили, и я согласился присоединиться к Бойду при условии, что профессор Уокер, заведующий кафедрой, даст добро и заступится за меня перед вполне обоснованным гневом доктора Лемона.

Мы получили даже больше, чем просили: Уокер сам влился в проект. Это было хорошо по трем причинам. Моя доля работы снижалась с половины до трети; Уокер знал о биохимии то, чего не знали мы с Бойдом; и, наконец, если проектом займется он, ему в любом случае *придется* за меня заступаться.

Вообще-то писать оказалось не так интересно, как я ожидал. Стили трех авторов отличались настолько, что мы вечно препирались из-за написанного. Мне не уступили почти ни разу, поэтому учебник выдержан в обычном, неестественно высокопарном стиле. Он вышел под названием «Биохимия и человеческий метаболизм» («Biochemistry and Human Metabolism», Williams & Wilkins, 1952). Второе (исправленное) издание увидело свет в 1954-м, а третье — в 1957-м. Хотя труд был проделан огромный, финансовая отдача почти не ощущалась. Все три издания с треском провалились — в 1950-х выходили учебники намного лучше. Поэтому после третьего издания я дал книге умереть заслуженной смертью.

Я бы считал ее невероятной тратой времени и сил, но все, что ни делается, к лучшему. У меня получилось вдоволь попрактиковаться в формате нон-фикшен и, что еще важнее, узнать, что

писать нехудожественную литературу (когда под руку не лезут соавторы) проще и в чем-то интереснее, чем художественную. Это сильно повлияло на мою дальнейшую творческую карьеру.

О «Биохимии» нужно сказать еще кое-что. Это была всего лишь моя восьмая книга (и первая научная, а для меня это уже достаточное оправдание ее существования), и мне до сих пор не приходило в голову, что количество моих книг тоже представляет отдельный интерес.

Впоследствии второе и третье издания, хотя они и потребовали больше сил, чем обычные художественные книги, не вошли в мою библиографию как отдельные. Позже я стал считать каждую значительно исправленную книгу новой по причине вложенного труда. Поскольку два новых издания ранее не учли, выходит, если в будущем я больше не смогу работать и пойму, что закончу на 498 книгах, меня будет раздражать, что те два издания в счет не идут и тем самым я лишил себя круглого числа в пятьсот книг.

Впрочем, это слишком незначительная проблема, которая может казаться важной мне, но других, уверен, только насмешит.

56. Романы

Несмотря на возню с исследованиями, научными статьями и учебниками, большая часть моих сил в годы преподавания уходила на фантастику. Еще не успел выйти «Камешек в небе», как Уолтер Брэдбери попросил меня написать новый роман. Я взялся за дело и отправил две главы на пробу. Проблема была в том, что теперь я, будучи публикующимся писателем, пытался работать литературно, как в том незабываемом классе творческого мастерства в старшей школе. Конечно, не так плохо, но все-таки плохо. Брэд вернул те две главы и мягко наставил меня на путь истинный.

— Ты знаешь, как Хемингуэй сказал бы «На следующее утро встало солнце?» — спросил он.

— Нет, — ответил я нервно (я никогда не читал Хемингуэя), — и как же, Брэд?

— Он бы сказал: «На следующее утро встало солнце».

Этого хватило. Так я получил лучший литературный урок в жизни — и занял он всего десять секунд. Второй роман, «Звезды как пыль» («The

Stars, Like Dust»), я написал в простом стиле, и Брэд его принял. Вот список моих романов 1950-х от Doubleday:

«Камешек в небе» *(Pebble in the Sky), 1950;*
«Звезды как пыль» *(The Stars, Like Dust), 1951;*
«Космические течения» *(The Currents of Space), 1952;*
«Стальные пещеры» *(The Caves of Steel), 1954;*
«Конец вечности» *(The End of Eternity), 1955;*
«Обнаженное солнце» *(The Naked Sun), 1957.*

Первые три из этих шести романов в итоге слились в цикл «романы об Империи». «Стальные пещеры» и «Обнаженное солнце» — первые два из моих «романов о роботах» про детективный дуэт Элайджа Бейли и робота Дэниела Оливо. (Дэниел — человекоподобный робот и заодно, возможно, мой самый популярный персонаж.) «Конец вечности» — самостоятельный роман без дополнительных связей.

Вдобавок в 1951-м Брэд попросил меня написать короткий фантастический роман для молодежи, который можно адаптировать для телепостановки. Роман предполагался о Космическом Рейнджере и превратился бы в нечто похожее на

радиосериал «Одинокий Рейнджер»[58]. Новый формат еще никто толком не понимал, и считалось само собой разумеющимся, что сериалы на телевидении будут такими же долгоиграющими, как на радио. Подразумевалось, что если все получится, то Космический Рейнджер станет заделом на много лет вперед и для Doubleday, и для меня. (Конечно, мы не знали, как мало сериалов продержится хотя бы один сезон, не то что двадцать, но не знали мы тогда и про повторные показы.)

Меня это не воодушевило. Я боялся, что на телевидении испортят все мои сюжеты и нанесут урон моей литературной репутации. У Брэда на все был ответ: «Пиши под псевдонимом».

Тогда я был большим фанатом Корнелла Вулрича[59] и знал, что он писал под псевдонимом Уильям Айриш. Я тоже решил взять в качестве псевдонима национальность и выбрал имя Пол

---

[58] Примечания: 58

«Одинокий Рейнджер» — популярный американский радиосериал в жанре вестерна, выходивший с 1933 по 1954 год. Главный герой — техасский рейнджер — вместе со своим помощником-индейцем противостоит разгулу несправедливости на Диком Западе. — Прим. ред.

[59] Примечания: 59

Корнелл Вулрич (1903–1968) — американский писатель, работавший в жанрах триллера и детектива. Для его произведений характерна концентрация на отчаянии, безысходности, злом роке. По его романам снято несколько десятков фильмов в жанре нуар. — Прим. ред.

Френч[60]. Сейчас я считаю все это от начала до конца ужасной ошибкой. Конечно, с телеадаптацией ничего не вышло. Нас опередил другой сериал, «Рокки Джонс, космический рейнджер» («Rocky Jones, Space Ranger»), причем ужасный, чего стоило ожидать от телевидения. Вдобавок люди стали говорить: «Айзек Азимов пишет фантастику под псевдонимом Пол Френч», — как будто я защищал свой респектабельный статус ученого и скрывал то, что заодно пишу дешевые триллеры. Вы и не представляете, как это меня беспокоило.

Так или иначе, когда телевидение оставило нас в покое, я с облегчением выдохнул, но, раз мой первый подростковый роман неплохо показал себя в качестве книги, я написал еще пять. Сперва моего героя звали Дэвид Старр. Напрашивалось что-то погламурнее, поэтому я заменил прозвище на «Лакки Старр». Сперва он был полумистическим Космическим Рейнджером с радиоактивной маской, но я быстро от этого избавился и добавил элементы, которые больше ассоциируются с моим творчеством, — например, постироничных роботов. Я не хотел скрывать своего авторства

[60] Примечания: 60

Irish в переводе с английского означает «ирландец», French переводится с английского как «француз». — Прим. ред.

и в дальнейших изданиях требовал ставить мое имя, чтобы навсегда похоронить ненавистного Пола Френча.

Вот шесть книг о Лакки Старре:

«Дэвид Старр, космический рейнджер»
(«David Starr: Space Ranger», 1952)
«Лакки Старр и пираты астероидов»
(«Lucky Starr and the Pirates of the Asteroids», 1953)
«Лакки Старр и океаны Венеры»
(«Lucky Starr and the Oceans of Venus», 1954)
«Лакки Старр и большое солнце Меркурия»
(«Lucky Starr and the Big Sun of Mercury», 1956)
«Лакки Старр и луны Юпитера»
(«Lucky Starr and the Moons of Jupiter», 1957)
«Лакки Старр и кольца Сатурна»
(«Lucky Starr and the Rings of Saturn», 1958)

Романы, будь то взрослые или подростковые, не мешали мне писать рассказы для журналов. Мой самый любимый — «Последний вопрос» («The Last Question»), вышел в 1956-м, а мой третий фаворит — «Уродливый мальчуган» («The Ugly Little Boy»), вышел (под ужасным названием «Последнерожденный») в 1958-м. (Рассказ, занимающий второе место в моем личном рейтинге, появился только

в 1970-х, так что до него я еще дойду.)

К этому времени в Doubleday перестали возражать против сборников моих рассказов и в 1950-х издали три:

«Путь марсиан» *(«The Martian Way and Other Stories», 1955)*

«На Земле достаточно места» *(«Earth Is Room Enough», 1957)*

«Девять завтра» *(«Nine Tomorrows», 1959)*

Прибавим сюда четыре книги Gnome Press — «Я, робот» и три романа «Основание», которые вскоре перехватили Doubleday, — и выходит, что за 1950-е я написал тридцать две книги, из них девятнадцать — все фантастика — вышли в Doubleday. Остальные — нет.

Больше всего меня почти с начала 1950-х поразило влияние книг на мой доход. За одиннадцать лет, пока я писал только для журналов, я привык к единовременным выплатам, не больше (не считая крохотных сумм за антологии — об этом расскажу позже).

Но книги приносили роялти — и *продолжали* приносить. Книги не только продавались много лет подряд, но и постоянно приносили доходы от вторичных прав — переиздания, перевыпуски в

мягкой обложке, публикации за рубежом. Когда вышли «Звезды как пыль» и стали приносить роялти, я все еще получал деньги за «Камешек в небе». Когда стал приносить роялти мой третий роман, все еще капали деньги за первые два, и так далее. Фактически со времен первой публикации «Камешка в небе» я получил от Doubleday восемьдесят полугодовых отчетов, и каждый раз без исключения роман зарабатывал значительную сумму.

В результате выплаты от Doubleday неуклонно ползли вверх (как и в других издательских домах, но там — не так резко). Я не успел и глазом моргнуть, как уже *мог* зарабатывать на творчестве. Более того, в 1958-м (важный для меня год в медицинской школе) я зарабатывал творчеством в три раза больше, чем на основной работе. Сами можете представить, как это укрепило мое чувство самодостаточности.

А еще появилось изрядно пищи для размышлений. Теперь я понял, что если бы поставил на первую книгу, нарушил слово перед медицинской школой и остался в Нью-Йорке, то действительно сумел бы прожить только на доходы от творчества. Работа бы не потребовалась. (И, собственно, впредь никогда не требовалась).

К середине 1950-х я задумывался, не уволиться ли вовсе и не вернуться ли в Нью-Йорк. И все же победило благоразумие. А если Doubleday по той или иной причине откажется от фантастической серии? А если у меня начнется творческий кризис? Я чувствовал психологическую, если не финансовую, потребность в надежной основе, в зарплате, пусть даже маленькой, но не подверженной непредсказуемым флуктуациям творчества. (А кроме того, мне все еще не хотелось лишаться лекций и профессорского статуса.)

Но мне хватило уверенности пригрозить уходом, если меня не освободят из хватки Лемона и не переведут на оклад школы. Я добился своего и мог напрочь забыть об исследованиях, а моя зарплата перестала зависеть от прихотей грантодателей.

57. Нон-фикшн

Все время в медицинской школе я на выходных и вечерами в будни писал фантастику. Я *никогда* не занимался литературой на работе, как бы ни давили сроки, поскольку это неэтично. В школе мне платили не за фантастику.

Зато платили за научную деятельность, и мне пришло в голову, что помимо преподавания я могу либо вести исследования, либо писать научные работы. И то, и другое идет на пользу школе.

Руководствуясь этими соображениями, я без зазрений совести написал в рабочее время два учебника.

Но что же делать, когда я не преподавал и не писал? Исследованиями заниматься *не хотелось*. *Хотелось* писать, и мне оставался только нон-фикшн. И я был волен это делать, когда спасся от Лемона (который пришел в ярость, и не без повода, из-за моего переключения на работу над учебником).

Оставался вопрос: *что* писать?

Мне пришла мысль сделать статью в духе той, что я отправлял в *The Journal of Chemical Education*,

но длиннее, неформальнее, *жизнерадостнее*, если можно так выразиться, и все же строго научную. Так я написал для *The Journal of Chemical Education* краткий материал о разных способах создания молекулы белка из сотен аминокислот двадцати различных типов (Число способов не то, что астрономическое — оно невообразимое.)

Далее я написал на ту же тему другую статью, еще длиннее и неформальнее, под названием «Гемоглобин и Вселенная» («Hemoglobin and the Universe»). Я собирался продать ее в *ASF*, где печатали научные материалы, если они достаточно спекулятивные, чтобы привлечь читателей фантастики. Кэмпбелл принял мой текст и опубликовал в февральском выпуске 1955 года.

«Гемоглобин и Вселенная» — первое научное эссе, за которое мне заплатили. Я обнаружил, к своему удивлению, что оно писалось быстрее, проще и в придачу веселее, чем фантастический рассказ такой же длины. (И придумывать ничего не надо. Весь материал — из реальной жизни.) Тут как плотину прорвало, и с тех пор я с удовольствием писал статьи на научные, а иногда ненаучные темы, и к настоящему времени опубликовал около тысячи таких текстов.

Вот одно любопытное преимущество нон-

фикшна: работая над художественным текстом, я мог держать в уме только один рассказ или роман. Если писать два одновременно, обязательно перепутаются персонажи и события. С нон-фикшном дело обстоит иначе. Если я писал в одной статье о витаминах, а в другой — об эволюции звезд, перепутать я их никак не мог. Я обнаружил, что могу писать множество текстов одновременно и переключаться по желанию.

К тому же статьи были не единственным доступным для меня форматом.

Бойд, который завлек меня в передрягу с тем учебником, обратился с очередной идеей. Маленькое издательство попросило его написать книгу о биохимии для подростков. Бойда это не привлекало, и он предложил отдать заказ мне. Я с радостью согласился. Мне *хотелось* писать для молодежи. Я уже, собственно говоря, не раз пробовал, но замахнулся слишком высоко и не смог убедить Little, Brown издать такую книгу.

Теперь издатель у меня *появился*, и я понял, что хочу написать для уровня смышленого ученика средней школы. Я подготовил книгу «Химические агенты жизни» («The Chemicals of Life»), которая вышла от Abelard-Schuman в 1954-м.

Это была первая научно-популярная книга для

широкой аудитории, и из-за нее тоже прорвало плотину — впредь я писал много таких вещей. Хотя на романы уходило от семи до девяти месяцев, «Химические агенты жизни» заняли всего шесть недель. Я только и мог спросить себя: «Где же я был раньше?»

За 1950-е я написал для Abelard-Schuman восемь таких книг. Это:

«Химические агенты жизни» *(1954, биохимия)*

«Расы и народы» *(«Races and People», 1955, генетика)*

«Внутри атома» *(«Inside the Atom», 1956, ядерная физика)*

«Кирпичики вселенной» *(«Building Blocks of the Universe», 1957, химия)*

«Всего лишь триллион» *(«Only a Trillion», 1957, сборник научных статей)*

«Мир углерода» *(«The World of Carbon», 1958, органическая химия)*

«Мир водорода» *(«The World of Nitrogen», 1958, органическая химия)*

«Часы, по которым мы живем» *(«The Clock We Live On», 1959, астрономия)*

Как видите, я начинал расправлять крылья.

58. Дети

Несмотря на то, что все 1950-е я как будто разрывался между преподаванием, учебниками, научпопом и огромным объемом фантастики, у меня еще оставалось время на личную жизнь, брак и даже (к моему собственному изумлению) детей.

Скажу откровенно: мне не нравятся дети. Когда я сам был маленьким, мать вбила себе в голову, будто я обожаю малышей и детей. Возможно, так она незаметно готовила меня к тому, чтобы однажды у нее появились внуки. Во всяком случае, как только в кондитерскую приходил клиент с ребенком младше пяти, мать сюсюкала: «О, Айзек обожает детей», — и меня выталкивали вперед, чтобы я изображал радость.

Ужасное испытание. Мне достаточно один раз посмотреть на ребенка, и я узнаю о нем все, что нужно. Дальнейшие взгляды непродуктивны. Если дети уже способны свободно передвигаться, я стараюсь держаться подальше. Они гиперактивны, слишком шумны и, конечно же, неуправляемы. Еще у них, скорее всего, липкие

пальцы и проблемы с желудком. Не хочу иметь с ними никаких дел.

Потому неудивительно, что, женившись, конкретных планов на детей я не строил. Как и Гертруда. Нас бы вполне устроила жизнь без детей, а почему бы и нет? <…> *(«Фрагмент изъят во избежание нарушения закона РФ „О запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения“, вступившего в силу 4 декабря 2024 года»).*

Но не тут-то было. Мир не давал нам жить без детей. Все встречные неизменно спрашивали, есть ли у нас дети, а когда мы отвечали, что нет, смотрели на нас с неодобрением или сожалением. Знакомые пары молодоженов одна за другой обзаводились потомством, а потом только и говорили, что о радостях родительства. (Во время припадков цинизма я спрашивал себя: вдруг их настолько ужасают расходы, труд и ответственность, что <…> *(«Фрагмент изъят во избежание нарушения закона РФ „О запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения“, вступившего в силу 4 декабря 2024 года»).*

Мы тоже люди и тоже подвержены пропаганде и давлению, поэтому решили завести детей. Несколько лет у нас ничего не получалось — и,

оказывается, по уважительной причине. Месячные Гертруды были совершенно непредсказуемы, а когда я сходил к врачу, выяснилось, что у меня низкое количество сперматозоидов. Мы все-таки могли завести детей, но шансы оценивались ниже среднего.

В итоге мы смирились (без особых сложностей) с бездетной жизнью. Я купил примитивный диктофон, чтобы наговаривать рассказы, думая, что Гертруда будет их печатать и так мы заживем общей творческой жизнью.

Я часто задумываюсь, к чему бы это могло привести. Мы бы сблизились? Стал бы наш брак счастливее? Ответить невозможно, потому что нам так и не выпал этот шанс. Я надиктовал три рассказа, которые она напечатала (все проданы, все успешны), и тут, как вы наверняка догадались, она забеременела, и шанс на бездетную творческую жизнь испарился.

Поход к врачу подтвердил, что Гертруда беременна, и все равно мы пребывали в шоке и не верили в случившееся, пока у нее не появились очевидные признаки.

А спустя положенный срок я стал удивленным и не вполне довольным отцом Дэвида.

59. Дэвид

Дэвид появился на свет 20 августа 1951 года. Роды прошли тяжело, и он весил меньше 2,7 килограмма. (По-моему, это установленный факт: дети курящих матерей, — особенно если матери курят во время беременности, а Гертруда дымила, не переставая, — при рождении весят меньше нормы.)

Довольно быстро стало ясно, что Дэвид не может играть с другими детьми на равных и заводить друзей. Когда он подрос, мы узнали, что ему тяжело в школе, потому что над ним издеваются. Еще позже обнаружилось, что он не может надолго задержаться на работе, потому что не ладит с коллегами.

Со всем этим я во многом смирился, ведь сам проходил через нечто подобное. Я точно такой же. Более того, когда Дэвид был маленьким, а я преподавал в медицинской школе, я точно так же не мог выстроить отношения с коллективом и все время находился под угрозой увольнения.

Но Дэвиду недоставало моей сообразительности. Нет, развивался он нормально, отсталым

его назвать нельзя. (Мы не рисковали — провели неврологическое обследование и ходили к психиатрам.) Но, если у человека не ладится с социальными контактами, одной нормальности мало. Лично меня спасала только демонстрация гениальности, и то с трудом.

Не подумайте, он хороший и любящий человек, как правило добрый и понимающий. Есть у него склонность к упрямству (как и у меня), когда что-то идет поперек его воли, и в такие моменты он не смотрит на мир рационально.

Когда он еще был подростком, мне стало очевидно, что во взрослом возрасте он не сможет жить самостоятельно, и я постарался организовать для него траст-фонд, чтобы избавить от денежных забот.

Дэвид обожает записывать любимые телепередачи на кассеты — он уже составил огромную видеотеку. Мне это кажется довольно одиноким образом жизни, но вроде бы он, как и я, любит оставаться наедине с собой и справляться со всем своими силами. Он не курит, не пьет, не употребляет наркотики и не доставляет мне никаких проблем, кроме необходимости поддерживать его деньгами, а это несложно и, делаю я это если не с радостью, то точно с чувством выполненного

долга.

Порой люди думают, что, раз у меня есть сын, а я — такой исключительный человек, то и сын должен быть мне под стать. Меня спрашивают, чем он занимается, и ожидают услышать, что он по меньшей мере ядерный физик. Мой неизменный ответ: «Живет в свое удовольствие». Если расспрашивают далее, я честно говорю, что поддерживаю его, а он ведет тихую невинную жизнь.

Если люди реагируют так, будто я должен быть разочароваться, приходится уточнять (иногда скрывая небольшое раздражение), что у сына своя жизнь и он не обязан преумножать мою славу. Со своей славой я справляюсь и сам. И мечтаю только об одном — чтобы сын был счастлив, — и готов ради этого потрудиться. В разговорах по телефону он всегда кажется довольным, и уж пусть лучше он благополучно живет в свое удовольствие, чем будет, возможно, несчастным ядерным физиком.

60. Робин

Должен признать: хотя я не люблю детей, терпеть присутствие девочек мне проще, чем мальчиков. Когда Гертруда родила Дэвида, я автоматически решил, что он будет моим единственным ребенком. Все-таки мы с таким трудом завели его — казалось маловероятным, что мы найдем силы на второго, особенно учитывая, что на момент рождения Дэвида Гертруде исполнилось тридцать четыре.

Поэтому я искренне надеялся на девочку, но и от Дэвида не отмахнулся (мне бы такое и в голову не пришло). Я даже помню, что мы кормили его из бутылочки, и, поскольку Гертруда спит крепко, а я — нет, мне приходилось вскакивать каждую ночь при малейшем вскрике, привычно греть бутылочку и кормить его в предрассветные часы.

В 1954 году Гертруда, к очередному нашему общему изумлению, снова забеременела. 19 февраля 1955 года у нас родилась девочка, которую мы назвали Робин Джоан. «Robyn» мы по моему настоянию записали через «у», чтобы люди не путали ее с мальчиком, а «Джоан» добавили в ка-

честве простой альтернативы на случай, если она вырастет и решит, что ей не нравится быть Робин. К счастью, она не передумала. Она ухватилась за свое имя так же, как я — за Айзека, и назваться как-то по-другому для нее теперь немыслимо.

Робин мало плакала, прилично себя вела, быстро приучилась к туалету и радовала нас во всем, не считая привычки (время от времени) подкрепиться смесью для детского питания, а потом молча срыгнуть ее прямиком мне на рубашку.

Из нее выросла красивая светловолосая и голубоглазая девочка. В семь лет она была вылитой Алисой с рисунков Джона Тенниела[61] к «Алисе в Стране чудес». Причем это было настолько заметно, что, когда она впервые вошла в школьный класс, учитель, только взглянув на нее, тут же спросил, не хочет ли она сыграть Алису в школьном спектакле.

Я восхищался ею, мне постоянно хотелось ее обнимать, целовать, говорить о ее красоте. Гертруда против этого возражала (возможно, вспоминая собственное детство) и говорила, что я порчу ребенка.

---

[61] Примечания: 61

Джон Тенниел (1820–1914) — английский художник и карикатурист, первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». — Прим. ред.

— А если она вырастет дурнушкой? — спрашивала она.

— Не вырастет, — твердо заявлял я. — А если и вырастет, в моих глазах она прекрасна — и я хочу, чтобы она всегда это помнила.

И вышло так, что она выросла невероятной красавицей, кого ни спроси. Ее рост — 157 сантиметров (как и рост ее матери), и она до сих пор блондинка, хотя глаза уже потемнели. Важнее красоты то, что она милая, отзывчивая и любящая девушка, а еще отвечает на отцовскую любовь полной взаимностью.

Если говорить о недостатках, она остра на язык (никак не пойму, в кого это она такая), и мне приходится соблюдать осторожность, а то она за словом в карман не полезет. Например, в 1960-х я любил галстуки-бабочки кричащих расцветок, а Робин стала очень консервативна в отношении моего стиля (но не своего) и постоянно из-за них возмущалась. Однажды я взбунтовался, надел галстук в ярко-оранжевую полоску и, старательно делая важный вид, вошел на кухню, где она сидела.

Дочь взглянула на меня и сказала:

— Ну очень эффектно, пап. Теперь еще нос в красный покрась…

Она далеко не сразу привыкла к моему чувству юмора. (В итоге привыкла, и мы с ней невероятно рады тому, как хорошо друг друга понимаем. «Я смеюсь всю свою жизнь», — сказала она однажды подруге.)

Робин так отличается внешностью от обоих родителей (хотя в моей семье встречаются блондины), что меня не раз спрашивали, не перепутали ли ее в роддоме. В ответ на что я всегда хватаю Робин в охапку, выжимаю из нее весь дух и говорю:

— Если и перепутали, то уже поздно. Я ее никому не отдам.

Робин рождена для того, чтобы заводить друзей и ладить с людьми.

Я шутил, что если бы она свернулась в шарик и я закатил бы ее в толпу незнакомцев, то с противоположной стороны она бы уже выкатилась с пятью прилипшими к ней друзьями. Благодаря этому социальному инстинкту живется ей довольно легко. У Робин было двое долговременных отношений с молодыми людьми, которых я саркастично звал «ни-дать-ни-взятьями» (sins-in-law), но на момент написания книги она все еще живет одна.

Я ей четко обозначил, что она может завести

детей, если хочет, но пусть не чувствует себя обязанной непременно порадовать меня внуком.

<…> *(«Фрагмент изъят во избежание нарушения закона РФ „О запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения“, вступившего в силу 4 декабря 2024 года»).*

Робин училась в Бостонском колледже по специальности «психология», потом получила магистерскую степень по социальной работе в Бостонском университете.

Ей, кстати, нравится ее фамилия. Ей приятно слышать вопрос, не родственники ли мы, и, оказывается, она с гордостью сообщает, что я ее отец. Меня это радует до глубины души.

Но, когда я сам однажды упомянул о ее теплой привязанности, моя собеседница (пожалуй, чересчур цинично) ответила:

— Слушайте, когда тебя обожает богатенький отец, как же его не любить?

Меня это задело, но у нас с Робин достаточно близкие отношения, чтобы задавать трудные вопросы и рассчитывать на честный ответ. И потому я ее спросил:

— Робин, ты бы любила меня, если бы я был бедным?

Она ответила без раздумий.

— Конечно. Ты же все равно был бы чокнутым, да?

И мне этого хватает. Очевидно, что она ценит смех в жизни и считает его важнее любых моих денег.

61. На лету

К лету 1950-го я уже много раз успешно выступал с речами, но всегда — для профессиональной и хорошо подготовленной аудитории. Но тут меня попросили на фантастической конвенции рассказать о роботах. Я согласился, но не хотел тратить времени на подготовку. Казалось, тема мне настолько знакома, что я обойдусь чистой импровизацией.

Гертруда, зная, что я не готовил речь, села на последнем ряду, опасаясь, что я все испорчу. Хотела иметь возможность тайком улизнуть.

Я начал говорить и обнаружил, что даже без подготовки одно предложение естественным образом перетекает в другое. К моему небольшому удивлению и превеликому удовольствию, я увидел, что публика неизменно смеется над каждой шуткой. Еще больше меня обрадовало, что Гертруда внезапно обрела уверенность и пересела в первый ряд.

Эта речь — еще один важный поворотный момент: я обнаружил, что выступаю легко и, как вскоре выяснилось, на любую тему, причем с ходу

и без подготовки. С тех пор, не считая лекций в школе, я ни разу не готовил речь. Ни разу!

Однажды я записал речь, которую потом собирались опубликовать, но и тогда выступал, не подсматривая в текст. Как правило, если мою речь нужно впоследствии издать, ее приходится записывать на пленку, а потом расшифровывать.

Не заставил себя ждать еще один поворотный момент, когда я по просьбе коллеги-преподавателя выступил с речью перед группой родителей и учителей в южном пригороде Бостона. К моему удивлению, мне заплатили 10 долларов. Я пытался отказаться, решив, что нехорошо брать деньги только за разговоры, но слушатели настаивали.

Со временем я свыкся с гонорарами за речи, и впредь моя ставка неуклонно росла. Однажды я выступил в Массачусетском технологическом институте за сотню, а за ужином узнал, что Вернеру фон Брауну, выступавшему несколькими неделями ранее, заплатили 1400 долларов.

Я нахмурился:

— Он выступил в четырнадцать раз лучше меня?

— О нет, — простодушно заверили они. — Вы гораздо лучше.

Сами понимаете, больше я за сто долларов не выступал. В итоге я получал за часовую речь 20 тысяч долларов. Это может казаться заоблачной суммой (лично мне — кажется), но деньги отдают с улыбками и благодарностями, а это отлично успокаивает мою чуткую совесть.

За что мне столько платят? Одна из причин заключается как раз в том, что я подбираю слова на лету.

Речь, которую аккуратно написали на литературном английском, а потом зачитали, звучит уже не на *разговорном* (хотите — верьте, хотите — нет, но разговорный английский и письменный — это два разных языка), а потому кажется неестественной. Кроме того, зачитывая текст, не обойтись без перелистывания страниц и периодических запинок, что только усиливает искусственность. Если рассказывать наизусть, она немного снизится, но добиться этого тяжело, а в результате все равно звучит неестественный письменный английский.

Если же импровизировать, то в ход идет повседневный язык, а настроение и эмоции легко меняются в зависимости от реакции публики.

Продолжительный успех в чем-либо приводит к высокомерию, если за этим не следить, и время

от времени я задираю нос из-за своих способностей к публичным выступлениям. Например, я часто оказываюсь на сцене с двумя-тремя другими ораторами и всегда предпочитаю выступать последним. Если меня спрашивают, почему, я отвечаю честно (но с оттенком самомнения): «Потому что лучше меня выступить уже будет невозможно».

Обычно я доказываю свою правоту, но порой человек, предваряющий мое выступление, бывает *так хорош*, что приходится напрячь все усилия, а в совсем редких случаях я нервно сомневаюсь, получилось ли у меня его превзойти.

Например, однажды человек, выступавший до меня, рассказывал о Киссинджере и доктрине равновесия сил. Тема была важной, а лектор говорил настолько гладко и невозмутимо, что я пал духом. Такое не переплюнешь. Я, конечно, *попытался*, но понимаю, что не смог.

На приеме ко мне обратился один человек:

— Я получил большое удовольствие от вашей замечательной речи, доктор Азимов.

— Боюсь, речь о Киссинджере была куда лучше, — угрюмо ответил я.

— О нет, — возразил он. — Я уже слышал, как он рассказывал о Киссинджере, и это та же самая

речь, слово в слово. Я слышал и ваши речи, но они каждый раз разные.

Это тоже важный момент. Если уж ты потрудился заучить длинную сложную лекцию, то нельзя же выступить с ней только единожды. Ее приходится повторять раз за разом — и боже упаси кого-нибудь побывать на ней второй раз.

Но спонтанная речь допускает бесконечное число вариаций, и, хотя у меня за всю жизнь выдалась уж точно пара тысяч публичных выступлений, я ни разу не повторялся.

Между прочим, они так прославились (благодаря сарафанному радио восхищенных слушателей), что меня постоянно зовут выступить во всех штатах, не говоря уже о других странах (даже в Иране и Японии). Но моя нелюбовь к путешествиям позволяет принимать только приглашения, не предполагающие далеких поездок. А то бы я мог неплохо зарабатывать на одних только речах и вдобавок поглядеть мир.

Но я не жалею. Мое призвание — писать, а не говорить.

С моими публичными выступлениями связано немало забавных случаев. Не могу удержаться и не рассказать тут парочку. Многие касаются того, как меня представляют на сцене.

Когда выступаешь, кто-нибудь обязательно должен тебя представить. Тут возникает риск, ведь если не объявить оратора коротко и по делу, трудностей не избежать. Долгое скучное представление нагоняет на аудиторию тоску. А слишком остроумное — хоть длинное, хоть короткое — завышает ожидания.

Если честно, я не отказался выходить без представлений. Когда придет время подняться на сцену, я бы просто подошел к кафедре и сказал: «Дамы и господа, я Айзек Азимов...» — и начал. Других представлений я не хочу и не прошу, но так у меня еще ни разу не получалось. Всегда кто-то ждет своего звездного часа.

В 1971 году я выступал в Университете штата Пенсильвания, где преподавал мой приятель по фантастике Фил Класс. Его попросили меня представить — и у меня упало сердце. Я помнил речи Фила на собраниях фантастов. Он славился завидным остроумием, и оставалось только надеяться, что он представит меня коротко и по делу.

Но нет. Фил блестяще проговорил долгих пятнадцать минут, нелепо раздувая мои достоинства и повергая публику в хохот. Я сползал по креслу все ниже и ниже. Он говорил даром, а мне платили тысячу долларов. Он радовал публику, а я стану

горьким разочарованием.

Наконец, когда я уже уверился в неизбежной катастрофе, Фил подошел к завершению:

— Но не подумайте, что Азимов может все. Например, он ни разу не пел «Риголетто» в «Метрополитен-опере».

Раздался оглушительный смех, а я наклонился к Джанет и мрачно пробормотал (как однажды сказал Томас Генри Гексли (сверить по тексту) о Сэмуэле Уилберфорсе на великих дебатах об эволюции[62]):

— Господь сам отдал его в мои руки.

Я вышел к кафедре, оглядел зал, дождался, пока затихнут аплодисменты, затем молча постоял секунд пятнадцать. Я торжественно смотрел на публику и позволил им теряться в догадках, что же происходит.

И точно в момент, когда недоумение достигло пика, я без предупреждения разразился самым зычным тенором, на какой только способен: «Bella figlia dell'amore…» — первые строки знаме-

---

[62] Примечания: 62

Знаменитые дебаты с участием авторитетных британских ученых, философов и теологов состоялись в Музее естественной истории Оксфордского университета в 1860 году, спустя семь месяцев после публикации книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Одним из наиболее ярких эпизодов этого события стал спор между зоологом, популяризатором науки Томасом Генри Гексли и епископом Сэмюэлом Уилберфорсом. — Прим. ред.

нитого квартета из «Риголетто», квинтэссенции всех оперных произведений.

Публика едва не упала от смеха со стульев, зато я всецело завладел их вниманием. (Это спикеру тоже надо уметь.)

Еще раз триумфально ускользнуть от челюстей неминуемого провала мне удалось 21 марта 1958 года, когда выступал в Суортмор-колледже неподалеку от Филадельфии. Я приехал накануне вечером, и ректор предупредил, что мой выход назначен на восемь утра следующего дня. Студентов обязали посетить это мероприятие, поэтому многие из них возмущались.

— Возможно, — сказал ректор, — во время вашей речи некоторые студенты будут делать вид, что читают газеты. Это не знак неуважения к вам лично, а только протест против обязаловки.

— Не извольте волноваться, — отмахнулся я. — Когда выступаю я, газеты не читает никто.

Но в тот вечер в Филадельфии прошла сильнейшая буря за сотню лет. (Из-за той непогоды, кстати говоря, и умер Сирил Корнблат.) Снега навалило в полметра высотой — мокрый, липкий, тяжелый, он погубил множество садов и деревьев.

На следующее утро я наблюдал, как студенты в сапогах пробираются к залу собраний через

сугробы, и с тревогой думал: если они возражали против мероприятия в обычных условиях, как же они возмутятся *теперь*! Передо мной будет сидеть ледяная публика — как фигурально, так и буквально.

Что же делать? Я воспользовался датой и начал речь со слов:

— Господа, я прибыл к вам в день весеннего равноденствия, когда ушли уже бури и потрясения зимы наших тревог, а налитые бутоны весны дрожат на грани появления; когда суровые ветра унимаются до прелестной мягкости…

Я продолжал в том же духе, не сбавляя красноречия в своих восхвалениях и состроив гримасу блаженного упоения на лице, и публика начала сперва посмеиваться, а потом хохотать. Почувствовав, что отогрел их, я перешел к речи — и газеты никто не читал.

Однажды лишь по чистой случайности я предотвратил куда более серьезную катастрофу. Я выступал в 1960-х в Огайо всего за 250 долларов, чтобы одна организация, заинтересованная в коммуникациях, поставила мне мемориальную табличку. Я решил устроить, как я это называл, «разговор о Менделе», с которым в разных вариациях уже не раз успешно выступал. Это лекция

о Грегоре Менделе, который открыл законы наследственности, но из-за проблем в обмене информацией они оставались неизвестны науке целых тридцать три года.

Здесь я вытерпел очередного затянутого и остроумного представления. Дожидаясь с растущим унынием в большом актовом зале, когда же выступающий угомонится, я понимал, как мне придется постараться, чтобы не подвести ожидания. В это время сосед справа прошептал мне:

— Мы с нетерпением ждем вашей речи, доктор Азимов.

Я был так подавлен, что спросил:

— Откуда знаете, что будет интересно?

— Потому что я уже слышал вас на Гордоновской конференции. Вы рассказывали о Менделе.

Тут я резко выпрямился.

— О Менделе? А кто-нибудь еще из присутствующих был на той конференции?

— Почти все.

У меня было пять минут, чтобы подготовить другую речь. Я справился, но как вспомню, насколько оказался близок к тому, чтобы выступить с докладом перед аудиторией, уже его слышавшей, так меня бросает в холодный пот.

В другой раз представлявший меня человек

попросил разрешения прочитать публике отрывок из нашей переписки по поводу условий выступления. Я не помнил, что писал, но знал, что ничего предосудительного там быть не может, и сказал: «Конечно! Давайте!»

И он прочитал письма, и оказалось, в них я непреклонно требовал оплату в три раза больше предложенной, потому что я в три раза лучше кого угодно. А значит, предстояло выходить к публике, явно охладевшей ко мне от новости, что я выжал из их организации кучу денег, и, собственно, доказать, что я на самом деле в три раза лучше кого угодно. Задача непростая, но я справился.

Хуже всего меня представили в Питтсбурге. Это единственный случай, который я вспоминаю с яростью, а не с юмором. Я был на сцене, ждал начала, а организатор стояла за кафедрой и пронзительным монотонным голосом направляла людей на их места.

Наконец пришло мое время, она представила меня. Я вышел к кафедре, раздались аплодисменты — и провалиться мне на этом месте, если она не вышла передо мной и не помахала, чтобы все притихли, а она рассадила опоздавших. Меня так и подмывало спихнуть ее со сцены, но

я сдержался.

Пришлось начинать речь с остывшей публикой, причем гнев мешал вспомнить свои фирменные уловки и разогреть аудиторию. Это был не провал, но и далеко не успех. Что за бестолковая женщина!

Невозможно постоянно выступать, не выработав особые внутренние часы. Читая лекции студентам-медикам, я обычно заканчивал последнее предложение под звонок. Конечно, в кабинете у всех на виду висели часы, так что я мог ориентироваться по ним. И все-таки это была полезная практика, настроившая мое ощущение времени.

Как правило, перед выступлением я спрашиваю организатора: «Сколько мне говорить?» Если мне называют конкретное время, то его и получают, плюс сессию вопросов и ответов. Если отвечают: «Сколько вам будет угодно», то получают сорок пять минут.

18 мая 1977 года (эта дата врезалась мне в память по причине, о которой я скажу позже) я выступал перед выпускниками Ардморского колледжа в пригороде Филадельфии. Перед тем как я поднялся на сцену, ко мне наклонился ректор и прошептал:

— Постарайтесь закончить через пятнадцать минут.

— Конечно, — сказал я, вышел на сцену и радостно объявил, что меня просили выступать всего пятнадцать минут, поэтому надолго я никого не задержу. (Публика сразу повеселела. Они пришли туда не меня слушать, а либо получить дипломы, либо посмотреть, как дипломы вручат их детям.)

После речи ко мне подошел выпускник и сказал, что у него в кармане как раз завалялся секундомер. Он включил его, как только я сказал про пятнадцать минут.

— Вы проговорили четырнадцать минут тридцать шесть секунд, — сказал он, — и ни разу не посмотрели на свои часы. Как у вас получилось?

— Практика, мальчик мой, — ответил я.

Позже мой брат Стэн подкинул мне задачу посложнее, причем оставил в полном неведении. В *Newsday* открывалась новая еженедельная научная рубрика, и я в виде одолжения Стэну пришел 13 сентября 1984 года, чтобы рассказать потенциальным рекламодателям о важности науки.

— Выступи на шестьдесят минут, — сказал Стэн.

И я выступил — *ровно* на шестьдесят минут.

Стэн ликовал.

— Я всем сказал, — объяснил он, — что если попросить тебя проговорить шестьдесят минут, то ты не проговоришь ни пятьдесят девять, ни шестьдесят одну.

Я ужаснулся.

— Почему ты меня не предупредил?

— Я в тебя верил, — ответил Стэн.

Меня это весьма раздосадовало. Я хорош, но не *настолько*.

Кстати сказать, за несколько месяцев до этого, когда я договаривался с *Newsday*, мне предложили 4 тысячи долларов за речь. По какой-то причине — может, потому что согласился ради Стэна, — я это не записал, и ко времени выступления обещанная плата уже вылетела у меня из головы.

Через несколько недель мне позвонили из *Newsday* и спросили номер страхового полиса.

— Зачем? — с подозрением поинтересовался я.

— Чтобы прислать вам чек.

— За что? — спросил я, и им пришлось все объяснять.

— Ох, — сказал я, не удержавшись. — А я-то думал, что выступаю бесплатно.

Тем же вечером я позвонил Стэну.

— Стэн, — сказал я, — твоя газета хочет запла-

тить мне за выступление, а я об этом совсем забыл. Если у тебя уточнят, платить мне или нет, — а то я ляпнул, что решил, будто выступаю бесплатно, — пожалуйста, скажи, чтобы заплатили.

Настала короткая пауза, а потом Стэн раздраженно спросил:

— И почему ты позвонил только в пятницу вечером?

Я удивился.

— А какая разница, когда?

— Потому что мне теперь придется ждать до понедельника, — сказал Стэн, — чтобы рассказать всем новую историю о своем бестолковом брате Айзеке.

Но я отвлекся…

Насколько помню, я только дважды проговорил значительно дольше часа. Один раз по своей вине, второй — по вине публики.

По своей вине — 30 мая 1967 года, когда выступал в центре Бостона. Гертруда лежала дома с ревматоидным артритом, у Робин была в гипсе левая нога из-за микротрещины в щиколотке, Дэвид как раз слег с жаром, а мне пришлось выступать в седьмой раз за месяц. Я пребывал в таких расстроенных чувствах, что поехал в

центр на такси, не доверив себе садиться за руль. А на месте не отказался от выпивки перед началом, как поступаю всегда. Я думал, это успокоит нервы, но нет. С тем же успехом мог бы выпить имбирного эля.

Затем я приступил к речи — и вот *она* стала моим утешением. Все заботы улетучились, но я знал, что они вернутся, как только я закончу. И поэтому заканчивать не спешил. Речь продлилась полтора часа, прежде чем я заставил себя замолчать (и, естественно, нервозность тут же вернулась).

Чтобы объяснить второй случай, мне надо добавить, что я люблю выступать в освещенной аудитории. Я хочу видеть публику. Мне неуютно говорить в темноту. Конечно, видеть публику — не значит на нее смотреть. Это отвлекает, особенно когда в первом ряду садится девушка в мини-юбке и закидывает ногу на ногу. (Это отвлекает настолько, что я не смею на нее смотреть — и гадаю, вдруг некоторые так делают умышленно, чтобы сбить лектора с толку.)

Вместо зрительного контакта я *слушаю* публику. Я слышу покашливание, шорохи, вздохи. Это говорит мне о состоянии слушателей. Сообщает, когда лучше пошутить, когда лучше говорить

серьезно, когда лучше сменить тему и так далее.

Не могу объяснить в точности, какие звуки чего требуют. Сознательно я этого не знаю — знает что-то внутри меня. Я могу только сказать, что мне слушать особенно приятно. Звук *тишины*.

Когда прекращаются шорохи и мой голос становится единственным звуком в помещении, тогда я знаю, что *увлек* их и должен продолжать в том же духе. Но надо сказать, что добиваюсь такого идеального состояния крайне редко.

Однажды я выступал перед работниками IBM в Кинг-оф-Праша, штат Пенсильвания, и слышал в ответ тишину. Я в восторге продолжал, поджидая возобновления шума, который может подсказать, что пора закругляться. (Возможно, то, что я называю «внутренними часами», хотя бы частично является подсознательной реакцией на звуки.) Но тишина все длилась, и тут я уже не выдержал и посмотрел на свои часы — прошло полтора часа. Я резко прервался и весьма беспомощно сказал:

— Я говорю уже полтора часа.

— Продолжайте! — раздался крик из зала, и я продолжал, но только пять минут.

Каждый выступающий мечтает, конечно же, о громких и продолжительных овациях, и я слышу их почти каждый раз. Еще лучше, когда аплоди-

руют стоя. Сами по себе аплодисменты бывают дежурными, но, чтобы встать, уже требуются усилия, и это нечто большее, чем просто рукоплескания. *Обожаю*, когда аплодируют стоя.

Однажды я обнаружил кое-что даже получше этого. Я выступал с речью в Университете Карнеги в Питтсбурге, она прошла замечательно. Судя по реакции публики, я не сомневался, что в финале мне будут аплодировать стоя. Но, закончив, дождался просто продолжительных оваций. Никто не встал.

Я попытался скрыть разочарование, улыбнулся, поклонился, помахал и ушел дуться за кулисы. Вот только аплодисменты не смолкали, и наконец подошел тот, кто меня представлял, и попросил:

— Они не перестают. Выйдите к ним.

Я вышел *на второй поклон* — с улыбкой до ушей. Такое со мной было только раз, но я ценю это воспоминание.

62. Гораций Леонард Голд

В 1940-х практически все мои рассказы печатались в *ASF*. Из-за этого я слегка нервничал. Писателю рискованно сотрудничать с одним журналом и одним редактором. А если Кэмпбелл решит уйти или умрет; а если журнал закроется? Моя писательская карьера может внезапно оборваться. Кто знает, сумею ли я договориться с другим редактором или найти другой журнал?

Во многом эти страхи унялись, когда я продал «Камешек в небе» в Doubleday. Теперь я вышел на другой, очень престижный рынок. Еще более важным событием стало появление двух новых журналов.

Magazine of Fantasy and Science Fiction (*F&SF*) я не воспринимал как настоящий рынок. Там публиковали фэнтези и мейнстрим — направления, в которых я не особо силен. Зато второй журнал *Galaxy* работал строго с научной фантастикой и первым же номером показал, что серьезно претендует на звание лучшего научно-фантастического издания. Абсолютная власть Кэмпбелла дрогнула и утратила былые позиции.

В *Galaxy* у меня попросили рассказ, и я написал «Дарвинистскую бильярдную» («Darwinian Poolroom»). Он вышел в октябре 1950-го, в первом же номере. Очень слабая вещь, но журнал просил еще. Во втором номере появился рассказ посильнее, его я назвал «Зеленые пятна» («Green Patches»), но редактор сменил заглавие на «Обреченный миссионер» («Misbegotten Missionary»), что мне не понравилось.

Затем *Galaxy* опубликовал в виде сериала мой роман «Звезды как пыль», переименованный редактором в «Тиран» («Tyrann»), что мне не понравилось еще больше. Более того, редактор вынудил меня вставить второй сюжет, который я не одобрял. Перед публикацией я собирался вырезать неудачное добавление, но сюжет понравился Брэду, настоявшему оставить все, как есть. Поэтому мне роман никогда по-настоящему не нравился.

Все это случилось как раз вовремя, потому что в 1950-м Кэмпбелл увлекся псевдонаукой «дианетикой». Я настолько резко не одобрял новое поветрие, что хотел отдалиться от Кэмпбелла. Рассказы я ему посылать не перестал, но не упускал возможности отправить их кому-то другому.

Редактором *Galaxy*, который менял названия и

требовал дурацких сюжетных ответвлений, был Гораций Леонард Голд (больше известен как Г. Л. Голд). Почти такой же колоритный персонаж, как Кэмпбелл. Столь же словоохотливый и категоричный, но куда чаще выходивший из себя, чем неизменно лучезарный Кэмпбелл. Голд выглядел вполне симпатично, хотя и сверкал лысиной, как шар для боулинга.

С 1934-го по 1937 год он писал рассказы под псевдонимом Клайд Крейн Кэмпбелл (прятал еврейскую фамилию). Когда Джон Кэмпбелл занял пост редактора *ASF*, псевдоним уже не годился, и Голд начал писать под своим именем.

Гораций служил в годы Второй мировой войны, и, хотя я не знаю подробностей, вернулся он оттуда с тяжелыми агорафобией и ксенофобией (смертельной боязнью открытых пространств и незнакомых людей). Когда я с ним познакомился, он буквально не мог выйти из квартиры.

В нашу первую встречу мы общались в его гостиной. Я не знал о его состоянии и был шокирован, когда он резко встал и вышел из комнаты. Я, впав в полнейшее замешательство, уж подумал, что чем-то его обидел. Его жена Эвелин заверила, что я не обидел Горация, но попросила меня уйти.

Я уже стоял на пороге, когда зазвонил телефон и Эвелин, взяв трубку, сказала:

— Это вас.

— Кто знает, что я здесь? — растерянно спросил я.

Мне звонил Гораций. Он не выдержал общества незнакомца, а потому пошел в спальню и связался со мной по второму телефону. Мы с ним еще долго проговорили: он — в спальне, я — в гостиной.

Поскольку личное общение давалось ему тяжело, он постоянно висел на телефоне. Как я вскоре узнал, стоит взять трубку — и от него уже не отделаешься. Разговор с ним превращался в сплошную тренировку по оправданиям: «Прости, Гораций, мне пора. У меня пожар».

Насколько я понял, его единственным способом расслабиться служил еженедельный покер с приятелями. Я в карты (и любые другие азартные игры) не играю, поэтому ни разу не присоединился.

Гораций был чрезвычайно хорошим редактором, как минимум потенциально, но у него существовал роковой изъян. Он часто выходил из себя и с годами как будто становился только раздражительнее. Он менял названия и вносил

ненужные правки, а когда авторы возражали, язвил. Еще он злился, когда люди пытались закончить разговор по телефону всего-то через час-другой.

Хуже всего была его вредная привычка писать оскорбительные отказы. Для некоторых авторов, таких как я, любой отказ — нервотрепка, даже если редактор (памятуя о хрупком эго писателя) выражается осторожно и вежливо. А когда получаешь разгромный и деструктивный комментарий, оскорбление врезается глубоко.

Так, я однажды предложил Голду рассказ «Профессия» («Profession») — мой первый текст, напечатанный на электрической пишущей машинке. Он отверг его с язвительными словами о моей лени и «заумной воде», а также намекнул, будто я считаю, что могу всучить любой мусор, раз на нем стоит мое имя. (А потом попросил присылать другие рассказы, которые я теперь напишу лучше). Отказ меня поразил. Может, «Профессия» — не лучший рассказ на свете, но явно не настолько ужасная дрянь, как заявлял Гораций.

Я отнес рассказ к Кэмпбеллу и он сразу же принял его. «Профессия» вышла в июльском *ASF* 1957 года и была хорошо принята читателями.

Как-то раз после этого я написал комичный стишок под названием «Отказы» («Rejection Slips»), где отвел по одной строфе на каждого из трех самых важных редакторов в мире фантастики. Вторая предназначалась Горацию. Вот она:

Мой Айк, я был готов
(Без всяких лишних слов)
Всегда принимать все, что ты написал.
Но это, Айк, провал,
Ты скатываться стал:
Вода здесь и заумь – я б это порвал.
Возьми назад свой хлам —
Воняет. Чуешь сам?
Читать это больно – попробуй осиль.
Но это все не в счет,
Давай, пиши еще.
Жду новых рассказов – люблю я твой стиль.

Я не единственный терпел такое унижение. Гораций всех авторов третировал одинаково, и многие, отказываясь выносить оскорбления, прекращали присылать ему рассказы. Я и сам

принадлежал к числу таких «забастовщиков», хотя думал, что только один такой.

В итоге Гораций довел дело до того, что ему пришлось опубликовать письмо в фанатском журнале, который читали многие писатели, и попросить присылать рассказы, пообещав быть максимально вежливым, если придется отказать.

Но надо отдать ему должное. Я написал рассказ о мальчике-неандертальце, попавшем в наше время, и показал Голду. Его критика (облаченная в самый что ни на есть вежливый тон) показалась мне настолько дельной, что я порвал рассказ и написал совершенно другой (так со мной случалось только раз). Итогом стал «Уродливый мальчуган», который, как я уже говорил, занимает третью строчку в моем личном списке моих любимых рассказов.

Через какое-то время Горация уволили и заменили Фредом Полом, который вел журнал в своем обычном мастерском стиле.

63. Жизнь за городом

Я городской житель до мозга костей, но время от времени приходится выбираться за город. В моем детстве мать ездила в Катскилл на две недели и брала меня и Марсию с собой. Если не ошибаюсь, это было в 1927-м, 1928-м и 1931-м. А значит, в кондитерской оставался один отец, и уж не знаю, как он справлялся.

В 1941 году мне почему-то взбрело в голову самому съездить в то местечко в Катскилле, куда меня возила мама. И я провел там неделю — вернее, шесть дней, потому что уехал на день раньше, когда Германия вторглась в Советский Союз и я было решил, что это начало тотальной победы нацистов.

В любом случае мне там совсем не нравилось, меня уже тянуло на городские улицы.

После свадьбы мы с Гертрудой провели неделю за городом и потом ездили куда-нибудь почти каждое лето — на недельку, иногда две. Это мне нравилось больше, чем в детстве, но и восторга не вызывало.

Еще куда ни шло, если там встречались ин-

тересные люди, но такое бывало нечасто. В противном случае мне попросту нечем было заняться, разве что обязательными для отдыхающих благоглупостями. Особенно запомнилось, что от меня требовалось играть в волейбол.

Однажды я пытался написать там рассказ, и у меня получился «Ленни» («Lennie»), который в итоге вышел в январском *Infinity* 1958 года. Но Гертруда ругалась, что я просиживаю взаперти, так что писать приходилось на улице, прижимая страницы камнями.

Естественно, у меня спрашивали, чем это я занят, а когда я говорил, что я писатель и пишу рассказ, они вдруг ощетинивались. Оказывается, в отпуске нельзя с удовольствием работать, можно только страдать за волейболом.

Всего раз за все годы жизни с Гертрудой мы ездили в отпуск, который мне *правда* понравился. Это было в 1950-м, а место называлось Аннисквам.

Сперва мне казалось, что это очередное волейбольное чистилище, но потом я узнал, что местный персонал готовит для гостей комический мюзикл. Для этого они взяли аранжировку Коула Портера из мюзикла «Kiss Me, Kate» и пытались написать на нее что-нибудь смешное.

Впрочем, как я вскоре узнал, ни у кого из них не было понимания ритма, рифмы или того, как подбирать слова на имеющиеся ноты.

И я им сказал:

— Пишите по слогу на каждую ноту. Ритм и рифмы должны совпадать с тем, что написал Коул Портер. Лучше вам не сделать.

На меня только непонимающе уставились, и я продолжил:

— Вот вы пишите слова на мотив песни «Wunderbar», да? Давайте я покажу.

(И снова я без спроса просвещал незнающих, но очень уж тяжело было слушать, как они уродуют песни.)

Я задумался, потом попросил бумагу и написал:

Аннисквам, Аннисквам,
Здесь чудный океан.
Но когда на дворе ураган —
Вам на поезд в Аннисквам.

Они недоуменно уставились на слова, а я нетерпеливо сказал:

— Ну, теперь спойте.

Они спели и удивились. Слова ложились идеально.

— Давайте еще, — попросили они.

— Запросто, — сказал я и потом целыми днями просиживал с ними в зале отдыха и работал над текстами ко все новым и новым песням, показывал, как петь, снова и снова с ними репетировал, а в итоге исполнил главную роль.

Гертруда, вполне предсказуемо, пришла в ярость. Оказывается, мы потратили на пару недель в лагере уйму денег, а я все время просидел в помещении — и *работал* для лагеря.

Я пытался объяснить, что деньги потрачены не зря, если я на седьмом небе от счастья после работы над мюзиклом, ведь альтернатива — волейбольное чистилище. Без толку. Она не понимала.

Перед отъездом директор даже заплатил мне двадцать долларов за помощь, но я это делал не ради денег. Я отдал двадцатку персоналу и попросил разделить между собой.

64. Автомобиль

Пока я жил в Нью-Йорке, потребности в автомобиле не видел. Из-за кондитерской семья редко куда-то выбиралась. Конечно, мне приходилось ездить в школу, но в городе существовал такой широкий выбор общественного транспорта, что можно было добраться куда угодно за пять центов (и еще пять центов — на обратный путь). И, конечно, если до цели всего миля, можно пройтись пешком.

В Филадельфии общественный транспорт тоже работал нормально. А кроме того, шла война, расход бензина строго ограничивался, так что я всегда напрашивался в пассажиры к знакомым.

Но в Бостоне я оказался в городе без прилично работающего транспорта, особенно если хочешь жить в пригороде. В 1950-м я пришел к выводу, что без машины не обойтись. Зная о своей неловкости, я отчаялся, что когда-либо научусь управлять автомобилем. Но планировал научить водить Гертруду, чтобы она меня везде возила.

Впрочем, мне хватило духу пойти в автошколу, а как только я почувствовал, что машина мне

подчиняется, обнаружил, к своему полному изумлению, что просто обожаю водить. Как следует подучившись, я купил себе «Плимут».

Лучший совет по вождению мне дал Спрэг де Камп. Я рассказал ему, как ездил в Нью-Йорк, и похвастался скоростью и полной уверенностью в себе.

— Прощай, Айзек, — сказал он.

— Ты куда-то собираешься, Спрэг? — спросил я удивленно.

— Я-то нет, — ответил он, — но тебе, если будешь гонять на такой скорости, недолго жить осталось, вот я и прощаюсь.

Я быстро улавливаю намеки, поэтому стал ездить медленнее.

65. Уволен!

История моей жизни вплоть до среднего возраста отмечена неумением поладить с коллегами и начальством. Даже будучи профессором в медицинской школе, я продемонстрировал эту неприятную сторону своего характера — в последний раз.

Возможно, виноват не только я. Подозреваю, я не пользовался популярностью среди большинства преподавателей и, наверное, ситуацию не спасла бы никакая вежливость. Звание лучшего лектора радовало меня и студентов, но отнюдь не гарантировало любовь коллег.

К тому же я не мог скрыть вторую карьеру, приносившую деньги. Вот еще причина для небогатых преподавателей меня не любить. Не одобрялись и мои литературные амбиции. Я написал «Тело человека» («The Human Body», Houghton Miflfin, 1963), очень хорошую (как мне кажется) книгу по анатомии. И попросил одну из профессоров анатомии посмотреть ее на предмет вопиющих ошибок. Коллега нашла их немало (самая важная — я поместил селезенку

не с той стороны тела, чем изрядно повеселил профессора).

Уходя, я услышал, как кто-то сказал:

— Как бы ему понравилось, если бы я написал книгу по биохимии?

Наконец, я совершенно перестал притворяться, что занимаюсь исследованиями, и все свободное время в школе посвятил нон-фикшну, а это совсем не радовало администрацию.

Я пытался компенсировать сторонний доход тем, что никогда не просил прибавку. (Было бы глупо клянчить пару долларов от школы, когда неуклонно растут доходы от творчества.) В результате в 1958-м я зарабатывал всего 6500 долларов в год — за девять лет работы мне повысили зарплату на тысячу, хотя я и не просил. Более низкого профессорского оклада в школе — а то и во всем университете — не было. То, что я невинно считал этичным поведением, на самом деле тоже играло против меня. Столь низкую зарплату трактовали так, будто я большего и не заслуживаю.

Но хуже всего, конечно, стала обида, которую я нанес Генри Лемону из-за того, что бросил исследования. Он сосредоточил все усилия, чтобы от меня избавиться. Впрочем, мне ничего не угрожа-

ло, покуда деканом оставался Джеймс Фолкнер, а заведующим кафедрой — Бернем Уокер. Обоим я нравился, несмотря на мою эксцентричность.

Но тут декан Фолкнер объявил о своем уходе в конце 1954–1955 учебного года. Ужасный удар — не только из-за потери высокопоставленного союзника, но и потому, что его, вероятнее всего, заменил бы Честер Кифер, — возможно, самый прославленный профессор медицинской школы. Кифер дружил с Лемоном, и я не сомневался, что он меня уволит.

Должно быть, Уокер тоже так думал, потому что в мае 1955-го, всего за месяц до ухода Фолкнера, договорился о моем повышении до доцента с 1 июля 1955 года. Так я автоматически получил пожизненную должность и не мог быть уволен без причины. Полагаю, он похлопотал об этом заблаговременно потому, что знал: потом уже не получится. И в самом деле деканом школы медицины стал Кифер.

У Кифера был против меня козырь. В 1956 году я получил небольшой правительственный грант на книгу о кровообращении. (Мне ее предложили — я ни в коем случае не напрашивался.) Книгу я написал, ее в итоге издали под названием «Кровь: река жизни» («The Living River», Abelard-Schuman,

1960). Кифер выжидал.

А потом, 1 ноября 1956 года, уволился Уокер (по семейным причинам), заведующим кафедрой стал Билл Бойд. Думаю, Билл надеялся им и остаться, но летом 1957-го Кифер позвал на должность человека со стороны, Ф. Мэрротта Синекса. Синекс был низеньким мужчиной с вечной нервной улыбкой, громким голосом и смехом еще громче, но, как оказалось, никудышным лектором. До меня дошли слухи, что Синекса приняли только после того, как он согласился не защищать меня от увольнения.

Теперь Кифер мог действовать. Пришло время получить деньги с гранта за книгу о крови, но Кифер отказался их отдавать. Он сказал, что деньги предназначены для школы. Я напомнил, что школе причитается только за накладные расходы, а остальная сумма идет непосредственно мне. Он прошипел, что любой профессор школы может написать книгу, если ему за это заплатить. Я огрызнулся, что мне не надо платить за книги, я и так написал целых двадцать, а если он не отдаст деньги, пусть ждет скандала в Вашингтоне. Он уступил и приготовился к более важной задаче — моему увольнению.

18 декабря 1957 года меня вызвали в кабинет

Кифера на последний бой. Там сидел и Синекс, но он помалкивал. Ему была отведена роль только одобрить решение. Кифер, не повышая голоса, просто потребовал, чтобы я прекратил писать книги в рабочее время и занялся исследованиями. Как он и ожидал, я отказался и напомнил, что мое дело — учить студентов-медиков и что я, по общему мнению, лучший лектор в школе. Он настаивал, что моя единственная задача — исследования, и наконец я так разозлился, что заявил:

— Доктор Кифер, я великолепен как автор научно-популярных книг. Я планирую стать лучшим в этой сфере и прославить школу. Как исследователь я посредственность, и если этой школе что-то и нужно, доктор Кифер, то точно не *очередной* посредственный исследователь.

Уверен, Кифер истолковал мои слова как оскорбительную насмешку над школой — и правильно сделал, так оно и было. На этом мы и поставили точку. Он сказал:

— Эта школа не может позволить себе писателя в штате. Вы прекратите работу с 30 июня 1958 года.

Я был готов и к этому.

— Хорошо, доктор Кифер, — сказал я. — Вы можете не платить мне зарплату, — (я героически

удержался и не сказал, куда он может ее себе засунуть). — Тогда я не буду преподавать. Но отнять мое звание вы не можете. У меня пожизненный статус.

Он заявил, что у меня его нет, а я возразил, что есть — так и началась моя беспорядочная двухлетняя борьба за звание. Хотя я действительно прекратил преподавать 30 июня 1958 года и, хотя меня уволили после девяти лет работы, я все равно довольно регулярно заходил забрать почту и по другим мелким делам, но в основном — из принципа: чтобы показать, что я сотрудник факультета и меня нельзя прогнать.

Остальные меня избегали, опасаясь из-за связи с «прокаженным» заразиться неприятностями. Впрочем, как-то раз один из них опасливо подошел ко мне и, убедившись, что нас не видят, сказал, что гордится мной и моей смелостью в борьбе за академическую свободу.

Я пожал плечами.

— Причем тут смелость. У меня и так *есть* академическая свобода — и я могу раскрыть ее секрет всего в двух словах.

— В каких? — спросил он.

— Внешний доход, — ответил я.

И это правда. Средний преподаватель нахо-

дится в крайне невыгодном положении при столкновениях с администрацией. Его даже необязательно увольнять — достаточно постоянно ущемлять, и ему *придется* искать новое место. Найти другую работу непросто, и, как правило, если он с этим затянет, то узнает, что его все-таки *уволили*, и, лишившись зарплаты, нарвется на большие финансовые проблемы.

А мне-то какая разница, что там делала администрация? У меня никаких финансовых проблем не было.

Через два года наконец состоялось голосование сената преподавателей (или как там называется этот орган). Они проголосовали *против* Кифера — и я сохранил статус. Он у меня по сей день. 18 октября 1979 года меня даже сделали полноценным профессором.

Оглядываясь назад, я удивляюсь: и чего я старался?

Причины две. Во-первых, мне было жалко расставаться с профессорским званием. Я слишком долго его добивался, порой назло всему, и не собирался так просто уступать.

Во-вторых, это просто вопрос упрямой гордости. Они решили меня выгнать, а я не хотел поддаваться.

Тогда я злился на Лемона и Кифера, но они, сами того не зная, оказали мне величайшую услугу с тех пор, как двадцать лет назад меня не приняли в разные медицинские институты. Если бы меня не трогали, из-за врожденной осторожности я бы держался школы и тратил уйму времени на бессмысленные занятия. Добившись увольнения они подтолкнули меня стать писателем на полную ставку, что стало поворотным моментом в моей карьере.

Уверен, Лемон и Кифер ничуть не собирались мне помогать, но я сужу по результату, а не намерению. Поэтому давно их простил.

В 1961 году, когда одна моя научная книга получила особенно широкое признание, я пришел на прием в школе. Там присутствовал и Кифер, он протянул руку и поздравил меня. Я решил, что это достойно, так что пожал руку и искренне его поблагодарил. Лемон тоже меня поздравил, я кивнул и улыбнулся, но с тех пор его не видел. В том же году он ушел в школу медицины Университета Небраски.

Один постскриптум: весной 1989 года я ездил в Бостон на празднование стопятидесятилетия Бостонского университета. Я с привычным жаром выступил с речью о будущем перед большой

аудиторией студентов, и во время сессии вопросов меня спросили:

— Вы замечательно выступаете, доктор Азимов, но почему вы не читаете лекции регулярно, если официально являетесь преподавателем Бостонского университета?

А я ответил:

— Сорок лет назад меня приняли в преподавательский состав, и я читал лекции на протяжении девяти лет, около сотни, и это были лучшие лекции на памяти студентов, но… — короткая пауза секунды в две, чтобы они слушали внимательно, — …меня уволили.

Публика разом охнула, а я наслаждался моментом. Во время войны с Кифером я сказал заместителю декана Ламару Соттеру (он был на моей стороне), что если школа меня уволит, то впоследствии людям будет трудно в это поверить. Подозреваю, это смахивало на фанфаронство, но я-то знал, что это правда — и был рад получить тому подтверждение, пусть и так поздно.

66. Плодовитость

Должен признать, 1 июля 1958 года я немного нервничал. Вот он я: тридцать восемь лет (самый что ни на есть средний возраст), несчастная жена, двое детей семи и трех лет, никакой работы.

Хотя дела обстояли не так уж плохо. В 1956-м мы купили дом и почти сразу расплатились с ипотекой, так что он принадлежал нам целиком. В банке скопилась приличная сумма, и теперь, после шестнадцати лет совместной жизни, я смог исполнить свое обещание и купить бриллианты (признаюсь, не такие уж и большие) для своей первой жены Гертруды — вот только она их не хотела. И, конечно, со мной оставалось творчество, которое теперь само по себе приносило больше 15 тысяч долларов в год.

Проблема носила скорее психологический характер. С 1942-го по 1945-й и затем с 1949-го по 1958-й у меня была работа со стабильной зарплатой. Не самой высокой, но все же была опора, существовала иллюзия надежности. Теперь же встал вопрос: могу ли я писать на полную ставку без оклада в качестве запасного варианта? Могу

ли я писать на полную ставку, чтобы разум не утомился и не иссяк? Не одолеет ли меня тут же писательская неуверенность в себе?

Гертруда считала, что ничего не выйдет. Она слегла на три дня, оставив детей на мне. Это меня нисколько не успокоило и не избавило от сомнений.

Вообще-то я настолько нервничал, что даже вяло попытался найти другую академическую должность. Отправился в Университет Брендайса, неподалеку от дома, и разузнал о возможности устроиться на кафедру биологии. Но я не заинтересовал заведующего, так что пришлось ретироваться. И это последний раз в моей жизни, когда я искал работу.

Оставалось только одно: неистово окунуться в писательство, чтобы выжать из воображения как можно больше, пока оно еще мне служит.

Как оказалось, волноваться не стоило. С тех пор как я пишу на полную ставку, я в среднем выдаю тринадцать книг в год (сам себе клуб «книги месяца»). Оказывается, я самый плодовитый американский автор в истории. Более того, тогда как действительно плодовитые писатели работают практически исключительно в одном жанре (детективы, вестерны или любовные романы), я

охватил почти весь спектр десятичной классификации Дьюи (со слов одного восторженного библиотекаря). Никто в истории не писал столько книг по стольким темам, сколько я. Вы меня поймите, я человек скромный, мне даже стыдно говорить о таком, но… я не могу соврать[63].

И теперь вопрос: как стать плодовитым автором?

Я много размышлял на эту тему, и мне кажется, главное требование — страсть к процессу писательства. Я не о том, что человеку должно нравиться представлять себе книгу или придумывать сюжеты. Я не о том, что ему должно нравиться держать готовую книгу в руках и торжественно размахивать ей перед людьми. Я о страсти к тому, что происходит между задумкой книги и ее завершением.

Нужно любить сам процесс, царапанье ручки по пустому листу бумаги, стук клавиш пишущей машинки, появление слов на экране текстового процессора. Неважно, что именно использовать, главное — любить процесс.

И обратите внимание: эта страсть необязательна для того, чтобы стать писателем; и даже для

---

[63] Примечания: 63
Фраза Бенджамина Франклина. — Прим. пер.

того, чтобы стать великим писателем. Хватает великих писателей, презиравших процесс и выпускавших книгу раз в десять лет. Книга может быть чудом техники и обессмертить автора, но он не станет *плодовитым* — а я сейчас говорю только о плодовитых писателях.

У меня эта страсть есть. Больше всего мне нравится писать. Один остряк, зная о моем пристрастии к галантности перед молодыми девушками, даже как-то раз спросил во время сессии вопросов и ответов:

— Если бы вы выбирали между писательством и женщинами, доктор Азимов, что бы вы выбрали?

Я ответил сходу:

— Что ж, я могу печатать двенадцать часов подряд и не уставать.

Иногда мне говорят:

— Какая же у вас дисциплина, если вы каждый день работаете за пишущей машинкой!

— Никакой дисциплины, — отвечаю я. — Иначе я бы время от времени заставлял себя оторваться, но я такой лодырь, что ничего не могу с собой поделать.

И правда. Ведь каким-нибудь Бингу Кросби

или Бобу Хоупу[64] не нужна дисциплина, чтобы целый день играть в гольф. Не нужна дисциплина простому обывателю, чтобы похрапывать в кресле перед телевизором. А мне не нужна дисциплина, чтобы писать.

И я непоколебим. Меня никак не трогает, что за окном прекрасная погода. У меня нет желания греться в целебных солнечных лучах. На самом деле прекрасная погода преисполняет меня безумным ужасом (обычно обоснованным), что сейчас подойдет Робин, хлопая от возбуждения в ладоши, и скажет: «Пошли гулять. Хочу в зоопарк».

Я-то, конечно, пойду, потому что люблю ее, но прямо вам говорю: душой я останусь дома, за печатной машинкой.

Поэтому вы меня поймете, когда я признаюсь, что мой любимый день (при условии, что нет нерушимого обязательства куда-то идти) — холодный, мрачный, ветреный, слякотный, когда можно в тишине и покое сидеть за пишущей

---

[64] Примечания: 64

Бинг Кросби (1903–1977) — американский актер и эстрадно-джазовый исполнитель, один из самых успешных певцов в истории США. Боб Хоуп (1903–2003) — американский комик, актер театра и кино, радио- и телеведущий. Обе знаменитости увлекались игрой в гольф и даже были отмечены Премией Боба Джонса, присуждающейся Ассоциацией гольфа США за выдающееся спортивное мастерство. — Прим. ред.

машинкой или текстовым процессором.

Еще одержимый писатель должен быть всегда готов писать. Однажды Спрэг де Камп заявил, что любой, кто хочет писать, должен выделить себе четыре часа непрерывного одиночества, потому что начинать сложно, а если прерваться, начинать придется заново.

Может, и так, но если человек не может писать, не выделив четыре непрерывных часа, то он, скорее всего, не станет плодовитым. Важно уметь начать в любое время. Если мне нечем заняться пятнадцать минут, этого вполне хватит на страницу. И мне, чтобы писать, не приходится раскачиваться и долго приводить мысли в порядок.

Однажды меня спросили, что я делаю, чтобы начать писать.

— В каком смысле? — растерянно спросил я.

— Ну, вы сперва несколько раз приседаете, или точите карандаши, или разгадываете кроссворд — ну знаете, чтобы войти в настроение.

— А! — просиял я. — Теперь понял. Да! Чтобы начать писать, мне обязательно надо включить электрическую пишущую машинку и сесть поближе, чтобы пальцы доставали до клавиш.

Почему так? В чем секрет мгновенного начала?

Например, я пишу не только тогда, когда пишу. Если я нахожусь вдали от рабочего стола — ем, засыпаю, умываюсь, — мозг продолжает работать. Время от времени я слышу в мыслях отрывки диалогов или фрагменты описаний. Обычно из того, над чем я работаю или готовлюсь работать. Даже когда я не слышу сами слова, знаю, что подсознательно мозг над ними трудится.

Вот почему я всегда готов. В каком-то смысле все уже написано. Нужно просто сесть и печатать под диктовку мозга со скоростью сто слов в минуту. И прерывать меня тоже можно, это нисколько не мешает. После перерыва я просто возвращаюсь к делу и дальше печатаю под свою мысленную диктовку.

Вывод, конечно, простой: все, что попадает в разум, там и должно оставаться. Я всегда принимал это как должное и не делал заметок. Когда мы с Джанет только поженились, я иногда говорил по ночам:

— Я знаю, что надо сделать в романе.

— Вставай и скорее запиши, — переживала она. Но я отвечал:

— Мне не надо, — переворачивался и спокойно засыпал. А на следующее утро, конечно же, все помнил. Джанет говорила, что сперва ее это раз-

дражало, но потом она привыкла.

На обычного писателя в процессе неизбежно давит неуверенность в себе. Внятное ли предложение он написал? Так ли хорошо все выразил? Не лучше ли переформулировать? Поэтому обычный писатель всегда перепроверяет, всегда вычеркивает и меняет, всегда ищет разные способы самовыражения и, насколько я знаю, никогда не бывает доволен собой до конца. Так плодовитым точно не будешь.

Значит, у плодовитого писателя должна быть уверенность в себе. Он не может рассиживаться и сомневаться в качестве. Нет, он должен *обожать* свой текст.

Я вот обожаю. Могу взять любую свою книгу, раскрыть на любом месте и тут же погрузиться с головой, и читать, пока что-нибудь меня не отвлечет. Джанет это смешит, но для меня это совершенно естественно. Если бы мне не нравился мой стиль, как бы я вытерпел столько своих книг?

В результате я редко переживаю — если вообще переживаю — о предложениях, которые извлекаю из мозга. Если уж я их написал, то ставлю двадцать к одному, что с ними все в полном порядке.

То есть, конечно, на все сто я не уверен. Роберт Хайнлайн мне рассказывал, что «пишет как надо с первого раза» и отправляет первый же черновик. Говорят, так же делал автор детективов Рекс Стаут. Я не *настолько* хорош. Я редактирую первый черновик, причем обычно правлю не больше пяти процентов текста, а уже *потом* отправляю.

Возможно, одна из причин этой уверенности в себе состоит в том, что я вижу рассказ, статью или книгу как *закономерность*, а не просто набор слов. Я точно знаю, как вставить нужный элемент в общую конструкцию, поэтому мне не приходится начинать работу с плана. У меня даже самый закрученный сюжет и самая сложная экспозиция получаются как следует, в них все стоит на своем месте.

Полагаю, гроссмейстер видит в шахматах закономерность, а не набор ходов. Хороший бейсбольный тренер, наверное, видит в матче закономерность, а не набор действий. Ну а я вижу закономерности в своей сфере, хотя и сам не знаю, как. Просто есть чуйка, и была с самого детства.

Конечно, не стоит перебарщивать с литературностью. Если хотите написать поэму в прозе, это займет время — даже у таких известных поэтов-прозаиков, как Рэй Брэдбери или Теодор

Старджон.

Поэтому я намеренно выработал очень простой стиль, даже разговорный, в котором можно быстро писать и сложно ошибиться. Конечно, отдельные критики, у кого в головах больше черепа, чем мозгов, трактуют это как «отсутствие стиля». Но, если кто-то думает, что писать абсолютно ясно и без наворотов — легко, я рекомендую попробовать.

Конечно, у плодовитого автора есть свои минусы. Это усложняет социальную и семейную жизнь, потому что писатель должен быть погружен в себя. *Обязан*. Он практически всегда либо пишет, либо думает о писательстве, больше ни на что времени не остается.

Это тяжело для жены писателя. Джанет — воплощение терпимости — очень любит меня со всеми странностями и заскоками, но даже у нее нет-нет да и вырвется, что мы мало друг с другом общаемся.

Моя дочь Робин, как я уже говорил, очень ко мне привязана, и недавно я ее спросил:

— Робин, каким я был отцом?

Я хотел услышать, что запомнился любящим, великодушным, добрым и надежным отцом (мне нравится думать, что так и было, да и есть до сих

пор), но она подумала и наконец ответила:

— Ну, ты был вечно *занят*.

Могу себе представить, как утомляет семью муж и отец, который не хочет путешествовать, не хочет ездить за город, на вечеринки или в театр, — лишь бы сидеть дома и писать. Надо думать, отчасти мой первый брак развалился из-за этого.

Однажды Гертруда в сердцах бросила, когда я подходил к своей сотой по счету книге:

— Да какой от этого толк? Когда будешь умирать, поймешь, сколько всего ты упустил в жизни, сколько всего хорошего мог позволить на свои деньги и на что не обратил внимания, пока безумно строчил все больше и больше книг. Что тебе толку от этой сотни книг?

А я ответил:

— Когда я буду умирать, наклонись поближе, чтобы услышать мои предсмертные слова. Я скажу: «Как жаль! Всего сотня!»

То, что я дошел до 451 книги, мало что меняет. Если бы я умирал прямо сейчас, я бы прошептал: «Как жаль! Всего четыреста пятьдесят одна». (Это будут мои предпоследние слова. А последние: «Я люблю тебя, Джанет») [Так и было. — Джанет.]

Кстати, однажды я был на интервью у Барбары

Уолтерс, и за кадром ее как будто очень интересовала моя плодовитость — она спрашивала, не хочу ли я иногда заняться чем-то другим, кроме писательства.

— Нет, — сказал я.

— А если бы врач сказал, что вам осталось жить полгода? Что бы вы делали? — спросила она.

— Стал бы печатать быстрее, — сказал я.

67. Проблемы писателя

У всех писателей есть проблемы. В моем случае самая забавная — отбиваться от тех, кто не верит или не может поверить в мою плодовитость. В конце концов, я это не афиширую. Никому не говорю: «Какая славная погода, и, кстати, я издал вот столько-то книг».

Но иногда это всплывает. В 1979 году появился первый том моей автобиографии, и так получилось, что он стал моей двухсотой книгой. Я был на какой-то коктейльной вечеринке, и человек, который меня не знал и никогда обо мне не слышал (к сожалению, таких миллиарды) спросил:

— Чем вы занимаетесь?

— Я писатель, — сказал я (это мой стандартный ответ).

Я думал, меня спросят, о чем я пишу, но нет. Он спросил:

— У кого издаетесь?

— У меня много издателей, но главный — Doubleday, — сказал я. — У них вышло три восьмых моих книг.

Он воспринял услышанное как хвастовство.

Брови вскинулись, губы скривились в усмешке, и он сказал:

— Я так понимаю, вы имеете в виду, что написали восемь книг, а в Doubleday вышли три.

— Нет, — тихо ответил я. — Я имею в виду, что написал двести книг и в Doubleday вышли семьдесят пять.

На что люди за нашим столом, которые меня знали, улыбнулись, а мой собеседник сконфузился.

Похожий случай произошел через семь лет, когда я опубликовал триста шестьдесят пятую книгу. Я стоял с экземпляром в Doubleday у лифта, когда оттуда вылетел молодой человек. Он недавно там работал и хотел со мной познакомиться. Мы пожали руки, и он спросил:

— Сколько книг у вас вышло, доктор Азимов? (Это у меня спрашивают часто.)

Я поднял книгу:

— Это моя триста шестьдесят пятая.

Как раз в это время в коридор вошел кто-то незнакомый. Я продолжал:

— Я издал по книге на каждый день в году.

А незнакомец, проходя в это время мимо, снисходительно улыбнулся и бросил:

— Да уж, иногда и правда так кажется.

Но у писателей бывают проблемы и похуже. В конце концов, писательская жизнь основана на неуверенности. Каждый проект — это новое начало, которое может обернуться провалом. Прошлые успехи нисколько не защищают от очередного фиаско.

А главное, как уже здесь часто говорилось, писательство — очень одинокое занятие. Можно рассказывать о том, что пишешь, обсуждать с семьей, друзьями или редакторами, но, когда садишься за пишущую машинку, ты с ней наедине, никто не поможет. Все слова придется извлекать из собственного многострадального разума.

Неудивительно, что писатели часто становятся мизантропами или вынуждены заглушать боль выпивкой. Я слышал, что алкоголизм — профессиональное заболевание писателей.

Так же, видимо, решила одна девушка, собиравшая материал для своей статьи, потому что позвонила мне и бодро спросила:

— Доктор Азимов, какой ваш любимый бар и почему?

— Бар? — переспросил я. — В смысле, где пьют?

— Да, — сказала она.

— Простите, — сказал я. — Иногда я прохожу через бар в ресторан, но никогда там не задержи-

ваюсь. Я не пью.

Короткая пауза, потом она спросила:

— Вы ведь Айзек Азимов?

— Да.

— Писатель?

— Да.

— И вы написали сотни книг?

— Да, — сказал я, — и все написал трезвым как стеклышко.

Она повесила трубку, что-то бормоча под нос. Видимо, я развеял ее иллюзии.

Но вопрос, конечно, остается: почему я не пью?

И ответ (если забыть про строгое воспитание моего отца) прост: я уверен в себе как писатель. За редким исключением я продал все, что написал за пятьдесят лет.

Впрочем, самая серьезная проблема, с которой может столкнуться писатель, — это «писательский блок».

Это серьезная болезнь, когда автор ловит себя на том, что таращится на пустую страницу в пишущей машинке (или на пустой экран текстового процессора) и не может эту пустоту заполнить. Слова не идут. А если идут, то явно не те, их тут же рвут или удаляют. Более того, болезнь прогрессирует, ведь чем больше не пишешь, тем сильнее

уверенность, что уже и не начнешь.

В связи с этим вспоминается одна карикатура. Писатель сидит за пишущей машинкой. Ему бы не помешало побриться. На столе — пустые чашки из-под кофе. В пепельнице — гора окурков. Пол вокруг замусорен рваными и смятыми клочками бумаги, а перед столом стоит маленькая девочка и что-то говорит. Ее слова в подписи под картинкой: «Пап, расскажи сказку». Так сердце кровью и обливается.

В реальной жизни некоторые фантасты, причем очень хорошие, сталкивались с многолетними случаями писательского блока. Есть очень хорошие фантасты, которые долгое время плодовито писали, а потом упирались в стену. Может, просто исписались; может, сказали все, что хотели, и больше ничего не сумели придумать; и, вероятно, в этом-то и кроется причина писательского блока. Автор не способен ничего написать, когда писать нечего (по крайней мере, временно).

А значит, может быть и так, что писательский блок неизбежен и что надо время от времени брать паузу, короткую или длинную, и снова заполнять разум.

Как же в таком случае я избегаю писательского

блока, если никогда не останавливаюсь? Если бы я занимался только одним проектом за раз, то, наверное, и не избежал бы. Часто, работая над фантастическим романом (самое сложное из всего, что я пишу), я ловлю себя на мысли, что меня от него уже тошнит и больше не идет ни строчки. Но я не поддаюсь отчаянию. Не таращусь на пустые страницы. Не колочу себя по опустевшей голове днями и ночами.

Я просто оставляю роман и перехожу к любому другому из десятка имеющихся у меня проектов. Пишу колонку, или эссе, или рассказ, или работаю над нон-фикшном. Когда надоест, разум уже восстанавливает работоспособность и снова наполняется мыслями. Я возвращаюсь к роману и вижу, что он снова идет легко.

Эта периодическая трудность — как заставить разум выдавать идеи, — напоминает об извечном раздражающем вопросе: «Откуда вы берете идеи?»

Наверное, его задают всем писателям, но фантастов обычно спрашивают так: «Откуда вы берете свои безумные идеи?»

Не знаю, что они ожидают услышать, но Хар-

лан Эллисон отвечает: «Из Скенектеди[65]. Там у них фабрика идей, я оформил подписку, и мне каждый месяц шлют новую».

Интересно, сколько людей ему верят.

Меня об этом это спрашивал несколько месяцев назад первоклассный фантаст, чьим творчеством я глубоко восхищаюсь. Я так понял, что у него возник писательский блок и он позвонил тому, кто славится иммунитетом от этой болезни.

— Откуда ты берешь идеи? — спросил он.

— Я думаю, думаю и еще раз думаю, пока уже не хочется покончить с собой.

— И ты тоже? — с большим облегчением сказал он.

— Конечно, — ответил я, — а ты думал, легко сочинить хорошую новую идею?

Большинство, когда я им это говорю, ужасно разочаровываются. Им больше хочется поверить, что я принимаю что-то вроде ЛСД и идеи приходят ко мне в измененном состоянии сознания. Если надо всего-то *думать*, то какой же тут романтический ореол?

Им я говорю:

— А вы сами попробуйте думать. Это куда слож-

---

[65] Примечания: 65

Скенектеди — город на северо-востоке США в штате Нью-Йорк. — Прим. ред.

нее, чем принимать ЛСД.

68. Критики

Когда «Камешек в небе» увидел свет, я наивно ожидал, что в *The New York Times* напечатают хвалебную рецензию прямо в день выхода. Они, естественно, ничего подобного не опубликовали — ни тогда, ни потом, — и я быстро узнал, что для таких писателей, как я, «престижных рецензий» практически не бывает. Например, в *The New Yorker* даже *не упоминали* ни одной моей книги, хотя меня самого — не раз.

Я быстро узнал и еще кое-что. Когда рецензии на меня начали появляться в небольших изданиях (и мне их присылали издатели или служба по подбору газетных вырезок, которой я часто пользовался в стародавние времена), обнаружилось, что они не всегда положительные, и следом тут же выяснилось, что я не люблю — нет, ненавижу негативные рецензии.

Это очередной источник неуверенности в себе, причем особенно удручающий. Потому что возникает уже *после того*, как книгу наконец издали. Что скажут критики? Не прикончит ли книгу после всей проделанной работы отврати-

тельный отзыв?

Писатели верят, что критики обладают ужасной властью, но это только домыслы. Любая рецензия (даже нелестная) полезна, потому что упоминает книгу и доносит ее до читательского сознания. Или, как якобы говаривал Сэм Голдвин[66]: «Реклама — это хорошо. Хорошая реклама — еще лучше».

Но, даже если критик не способен убить, он все же может ранить хрупкое эго писателя. Неудивительно, что писатели повсеместно презирают и проклинают критиков. Можно собрать немаленькую (и для некритика — очень веселую) статью, если просто процитировать все поношения, что писатели обрушивают на их голову.

Один писатель как-то раз сказал: «Критик — как евнух в гареме. Он видит, что происходит, и критикует технику, но сам ничего не может». Еще известна моя цитата: «Критик не считается профессионалом, пока не предоставит убедительные доказательства того, что избивает свою мать».

Но отложим предрассудки и отметим, что хорошие профессиональные критики выполняют

---

[66] Примечания: 66

Сэмюэл Голдвин (1879–1974) — американский писатель и деятель кино, считается одним из самых успешных продюсеров в истории Голливуда. — Прим. ред.

важную функцию. Мысль о том, что они «сами ничего не могут», не всегда верна, да и что с того, в конце-то концов? Необязательно самому откладывать яйца, чтобы распознать тухлое.

Критика и писательство — два разных таланта. Я прекрасный писатель, но критик из меня никудышный. Я не смогу объяснить вам, что конкретно написал хорошо или плохо и почему так. Могу только сказать: «Мне нравится этот рассказ» или «Это легко читается» и прочие банальные, не выносящие вердикта суждения.

Зато критик, пусть и не умеет писать, как я, зато может проанализировать мой текст, обнаружив его изъяны и достоинства. Так он направляет читателя, а то и помогает автору.

При всем при этом напомню, что я говорю о перворазрядных критиках. Большинство, увы, — выскочки-однодневки без всякой компетенции, кроме рудиментарных способностей читать и писать. Они могут ради удовольствия жестоко разгромить книгу или напасть не на нее, а на самого автора. Порой рецензия — лишь повод похвастаться собственной эрудицией или возможность для безнаказанного садизма. (Иногда они выходят даже без подписи.)

Становясь жертвой таких рецензий, я впадаю

в ярость.

Лестер дель Рей решает проблему тем, что вообще их не читает (хотя сам когда-то вел колонку книжных обзоров — причем очень хорошую).

— Если когда-то будешь читать отзыв, Айзек, — говорил он, — бросай на первом же негативном слове.

Я пытался следовать этому мудрому совету, но не всегда получалось.

Мое первое действительно неприятное столкновение с критиком произошло в начале 1950-х, когда на мои книги яростно набросился некий Генри Ботт. В рецензии на «Стальные пещеры» он ни слова не сказал о сюжете, а фантастическое допущение исковеркал так, что становилось очевидно — книгу он прочитать не удосужился. Я разозлился.

Я написал осуждающую этого идиота статью и отправил в маленький фанатский журнал, решив, что так я выплесну желчь, а никто важный ее все равно не прочитает. Но даже это привело к катастрофе. Никогда не отвечайте критику, какими бы некомпетентными и клеветническими ни казались его рецензии. Все, кто прочитал тот журнал, отправили экземпляр редактору издания, где вышла рецензия Ботта, и редактор в

своей колонке обрушился на мои заявления.

Он предложил мне опубликовать ответ, но я отказался, решив отделаться малой кровью, — и тут прочитал следующий номер. Одиозный Ботт положительно отозвался на «Лакки Старр и пираты астероидов», не догадываясь, что Пол Френч — это я. (Единственная польза от того псевдонима.) Я тут же черкнул письмо в журнал, поблагодарил Ботта от имени Френча и не признавался, что я Френч, до самой последней строчки. Так я успешно расправился со злодеем.

Позже редактор того журнала признался, что просто подливал масла в огонь ради продаж. Мой ловкий финт испортил его план, а издание в конце концов закрылось.

Должен признаться, когда я только начинал сотрудничать с издателями, меня попросили отрецензировать несколько фантастических книг, и я согласился. Но быстро бросил по двум причинам. Во-первых, я понял, что не обладаю талантом критика и не отличаю хорошее от плохого. Во-вторых, мне показалось неэтичным рецензировать фантастику. Писатели в основном были мои друзья — а при этом слишком велика опасность сдержаться, чтобы не сказать лишнего. Да и если я не знал писателя, он все-таки

мой конкурент, и как мне понять, честно ли я о нем сужу?

Других моих коллег, похоже, такая этическая дилемма не тяготит. Я читал чрезмерно ядовитые рецензии от фантастов на книги конкурентов. И сам становился их жертвой.

Не могу вычеркнуть из памяти имена тех, кто писал такие рецензии. Не подумайте, я ничего в связи с этим не предпринимал — пальцем не пошевельнул, слова дурного не сказал об этих пакостных злоумышленниках. Но (говорю я себе) однажды кто-нибудь из этих ничтожных червей еще приползет ко мне за помощью — и ничего не дождется.

Причем такое уже случалось. Писателю, который обвинял меня в кумовстве (безосновательно), хватило какой-то чертовской наглости явиться ко мне спустя несколько лет и попросить об одолжении. Он попросил — я отказал. Дальше мое возмездие не зашло.

69. Юмор

Одно из преимуществ плодовитости в том, что важность каждой отдельной книги снижается. Когда выходит книга, у плодовитого писателя нет времени переживать, как ее принимают и как она продается. Он к тому времени опубликует еще несколько и уже возьмется за следующую — вот и все, что его заботит. Это поддерживает мир и покой в жизни.

Опять же, когда издашь достаточно книг, создается что-то вроде «подушки безопасности». Даже если не продается одна, все вместе взятые по-прежнему приносят доход, одна неудача теряется на общем фоне. Такой точки зрения начинают придерживаться даже издательства.

А еще так легче экспериментировать. Если экспериментальный рассказ провалится — ну, что такое один рассказ среди сотен?

Один эксперимент манил меня особенно — написать смешной фантастический рассказ. Сам не знаю, откуда, но у меня есть сильное желание смешить людей. Так уж вышло, что я блестящий рассказчик и даже написал достаточно успеш-

ный юмористический сборник, в который вошли не только шестьсот сорок забавных историй, но и множество советов, как их преподносить публике — что можно делать и что нельзя. Это «Кладовая юмора» («Isaac Asimov's Treasury of Humor», Houghton Miflfin, 1971).

Я ее написал, потому что мы с Гертрудой и вместе с другой парой отправились в «Конкорд-отель» в Катскилле. Я, как обычно, отчаянно не хотел ехать, даже только на выходные, и, чтобы заглушить тоску, рассказывал в дороге бесконечную череду баек. Наша спутница сказала:

— У тебя очень хорошо получается, Айзек. Может, выпустишь книгу шуток?

Я было начал: «Да кто ее опубликует?», но прикусил язык, смекнув, что за книгу возьмется любой мой издатель. Поэтому провел все выходные в «Конкорде» с купленным по дороге блокнотиком, лихорадочно записывая все шутки, какие приходили в голову. Я не прекратил работу даже в местном ночном клубе (вроде бы самом большом в мире), где стоял невероятный шум. Только это и помогло мне выжить.

Так что мое желание написать смешной рассказ вполне логично. В самом начале карьеры я пытался шутить в «Вокруг Солнца» («Ring Around

the Sun», *Future Fiction*, март 1940), «Робот ЭЛ-76 попадает не туда» («Robot AL-76 Goes Astray», *Amazing*, февраль 1942) и «Рождество на Ганимеде» («Christmas on Ganymede», *Startling*, январь 1942). Юмор во всех трех рассказах довольно инфантильный, и по качеству они стоят где-то внизу рейтинга моих рассказов.

Беда в том, что я пытался подражать фарсу, который видел в других фантастических рассказах, а он мне не давался. Только осознав, что мой любимый юморист — Пелам Гренвилл Вудхаус[67], и лучше всего я шучу, подражая ему, то есть пользуясь всем доступным лексиконом и выдавая глупости с каменным лицом, — я достиг успеха в юморе.

Мой первый вудхаусовский рассказ — «Современный волшебник» («The Up-to-Date Sorcerer», *F&SF*, июль 1958). Дальше пошло проще. В 1980-х я начал целый цикл рассказов о крошечном демоне Азазеле, которого просили помочь людям и который делал все, что скажут, но всегда с катастрофическим результатом. Несколько рассказов

---

[67] Примечания: 67

Пелам Гренвилл Вудхаус (1881–1975) — британский писатель, драматург и комедиограф. Наиболее известен по циклу произведений о приключениях молодого аристократа Вустера и его находчивого камердинера Дживса. — Прим. ред.

вышли под одной обложкой в «Азазеле» («Azazel», Doubleday, 1988) — все настолько вудхаусовские, насколько я только умею.

В этом отношении я не стыжусь «вторичности» и никогда ее не скрывал. Сэм Московиц, написавший много исторических статей о научной фантастике, горько сожалеет, что я *единственный* фантаст, признавшийся в подверженности чужому влиянию. Все остальные, говорит он, утверждают, что их творчество — оригинальный продукт их ума, ни у кого не заимствованный.

Прощу здесь Сэму его преувеличение. Уверен, под давлением любой писатель признается, что на него повлиял какой-нибудь любимый автор (обычно Кафка, Джойс или Пруст, хотя у таких скромных людей, как я, это Клифф Саймак, П. Г. Вудхаус и Агата Кристи). А почему бы и нет? Почему не взять за образец достойного человека? И ни одно подражание не бывает слепым. Уверен, как бы по-вудхаусовски я ни писал, в рассказе все равно присутствует хотя бы что-то слегка азимовское. (Например, у меня заметно более жестокий юмор, чем у Вудхауса.)

Конечно, трудно сказать, откуда такая сильная тяга к юмору — не только у меня, но и у любого другого автора. Все-таки юмор — это сложно.

Другим рассказам необязательно бить в яблочко. У остальных колец на мишени тоже есть свои достоинства. Рассказ может быть довольно напряженным, умеренно романтичным, немного страшным и так далее.

С юмором *не так*. Рассказ либо смешной, либо нет. Третьего не дано. На мишени юмора — только яблочко.

К тому же юмор строго субъективен. Если рассказ напряженный, романтичный, детективный или страшный, большинство это увидит. Но из-за юмора обязательно начнутся резкие разногласия. Что одному уморительно смешно, другому — просто глупо, поэтому читатели громят даже мои лучшие юмористические рассказы, считая их глупыми. (Все эти читатели, конечно, лопухи без чувства юмора, но я их и не слушаю.)

Теперь позвольте вернуться к разговорному юмору. Я уже говорил, что мастерски травлю байки, и тут существенно помогает писательство. У меня есть в запасе сложные истории, которые на самом деле совсем короткие шутки, просто рассказывать их надо со знанием дела, чтобы не растерять юмор по ходу дела. Я могу проговорить от пяти до десяти минут, все время удерживая интерес публики, прежде чем ошарашить всех

финальным панчлайном.

Обожаю эти истории, потому что те, кто их слушает, потом не могут их успешно повторить. Если кому-то хочется послушать еще раз, приходится снова обращаться ко мне. И изредка (потому что я не повторяюсь слишком часто) им удается меня уговорить. Они уже знают развязку, но просто хотят послушать саму историю.

И откуда я беру такие байки? У тех, кто рассказал мне их в куцей сокращенной форме, откуда же еще, — я просто развил их в более содержательные истории. Однажды я увидел, как человек с удовольствием меня слушает, а закончив, я сказал:

— Но ты же сам и рассказал мне эту байку.

— Но не так, — ответил он, все еще не отсмеявшись.

Иногда мое умение шутить приводит к неприятностям. Однажды я был на телевидении с великим юмористом Сэмом Левенсоном, и он спросил:

— А вы слышали анекдот про космонавта-еврея?

На это я должен был ответить: «Нет, Сэм, расскажи про космонавта-еврея», — и он бы рассказал. Но я, конечно, забыл, что мы на телевидении,

и ляпнул:

— Да, слышал.

Сэм насупился, откинулся на спинку кресла и ответил:

— Вот вы тогда и рассказывайте.

Меня как молнией ударило. Я был не готов. Я даже не знал, об одном ли анекдоте мы говорим, но все-таки начал:

— Израильтянин говорит американцу: «Думаешь, долететь до Луны так сложно? Вот мы, еврейские космонавты, высадимся на Солнце». Американец возразил: «Это невозможно.

Температура! Радиация!» «Не глупи, — ответил израильтянин. — Мы что, по-твоему, дураки? Мы полетим ночью».

Анекдот был тот самый, и люди смеялись, но я так и обливался потом.

Моя склонность забывать о таких мелочах, как микрофоны и камеры, дала о себе знать полгода назад, на радиоинтервью в отеле «Алгонкин». Со мной участвовал музыкант в сопровождении красавицы-жены. Один из вопросов касался того, не мешает ли секс творческому процессу. Я, конечно, ответил отрицательно и даже довольно высокомерно. Музыкант тоже ответил отрицательно, но признался, что в ночь перед большим

концертом обычно воздерживается.

И тут я театрально прошептал его красавице-жене: «Вы тогда звоните мне», — и только тогда вспомнил, что выдал это прямо в микрофон. Мое лицо перекосилось от ужаса, но, к счастью, интервью не шло в прямом эфире, и эту фразу удалось вырезать.

70. Секс в литературе и цензура

Несмотря на всю плодовитость, если я с чем-то никогда не экспериментировал, так это с вульгарностью и сексом.

Во времена, когда я только начинал, писатели — хоть в печати, хоть в изобразительных искусствах, — не могли употреблять грубых или даже некоторых приличных слов. Потому-то ковбои постоянно и говорили: «Ах ты чертов, вшивый, такой-сякой негодяй», — хотя, очевидно, так не разговаривал ни один ковбой в истории. Мы знаем, как они выражались на самом деле, но это непечатно и вообще недопустимо.

Еще непечатными и неуместными считались слова вроде «девственница», «грудь» и «беременная». Кое-где нельзя было сказать даже «он умер». Приходилось заменять на «он скончался», «он отправился в лучший мир» или «он вознесся к предкам».

Писателей, стремившихся изобразить мир как он есть, такое ханжество очень стесняло, и в 1960-х все выдохнули с облегчением, когда в печати и в какой-то степени на телевидении наконец

допустили вульгаризмы. Ханжи пришли в ужас, но они живут в своем выдуманном мирке, и я не собираюсь за них переживать.

Но, несмотря ни на что, я к этой революции не присоединился. *Не* из-за своего ханжества. Я издал пять книг пошлых лимериков собственного авторства, вполне себе непристойных. И главное — не прятался под псевдонимом. Они вышли под моим именем.

Но то лимерики. В других моих текстах секса и вульгарности нет. На самом деле ранние рассказы обычно вообще обходились без женщин. Еще в 1952 году я написал рассказ «Путь на Марс» (*Galaxy*, ноябрь 1952), где женщин не было. Сюжет их не требовал. Гораций Голд в своем ворчливом репертуаре заявил, что я обязан добавить женщину, иначе он не возьмет рассказ. «Любую», — заявил он.

И я придумал одному персонажу склочную жену. Гораций, конечно, возражал, но я стоял на своем. «Договор есть договор», — напомнил я, и ему пришлось смириться. Зато он напечатал мою фамилию на обложке с ошибкой — Asimov через два «s»[68]. Не удивлюсь, если нарочно.

---

[68] Примечания: 68
Ass (англ.) — задница. — Прим. ред.

Я писал о женщинах в нескольких ранних рассказах, но моим первым *успешным* женским персонажем стала Сьюзан Кельвин из рассказов про роботов. Впервые она появилась в «Лжеце!» (*ASF*, май 1941). Сьюзан Кельвин была незамужней и не самой привлекательной, но очень умной специалисткой по «робопсихологии», бесстрашно сражалась за место в мужском мире, не прося о помощи, и неизменно побеждала. Я опередил «движение за права женщин» на двадцать лет, но благодарности так и не дождался. (Сьюзан Кельвин в чем-то очень похожа на мою дорогую жену Джанет, с которой я познакомился только через девятнадцать лет после создания Сьюзан.)

Несмотря на Сьюзан Кельвин, иногда мои ранние фантастические рассказы считаются сексистскими из-за отсутствия женщин. Несколько лет назад мне написала письмо с разгромной критикой одна феминистка. Я ответил ей мягко, сославшись на полное отсутствие опыта с женщинами ко времени написания.

— Это не оправдание, — рассерженно заявила она, и я замял тему. Без толку спорить с фанатиками.

По мере моего творческого роста женские персонажи стали даваться мне лучше. В «Обнаженном

солнце» в качестве предмета романтического интереса появилась Гладия Дельмарре и, по-моему, получилось неплохо.

Она снова появилась в «Роботах зари» («The Robots of Dawn», Doubleday, 1983), причем, на мой взгляд, тут она вышла еще лучше. В «Роботах зари» я даже намекнул, что герой и героиня занимались сексом (причем это была измена — герой был женат), но не описывал это во всех анатомических подробностях, к тому же эпизод критически важен для сюжета. Я включил его *не* для развлечения.

Вообще-то в последних романах я взял за практику исключать не только вульгаризмы, но и все ругательства. Даже всякие «боже мой» и «елки-палки». Это трудно, потому что люди пользуются этими выражениями (а то и чем похуже) почти постоянно. Отчасти я намеренно бунтую против сегодняшней литературной свободы, отчасти — экспериментирую. Мне было интересно, заметит ли кто-нибудь. Видимо, не заметили. (А вы заметили, что в этой книге нет ни вульгаризмов, ни ругательств?)

И все-таки у меня возникали проблемы с цензурой. Я сейчас говорю не о книгах пошлых лимериков. С ними у меня трудностей не появлялось,

потому что их не рассылали по библиотекам или школам. Они и продавались плохо, потому что мой читатель — не любитель сальных стишков. Я их писал исключительно ради собственного развлечения.

Досталось мне за «Кладовую юмора». Я всю книгу подчеркивал, что желательно *не пользоваться* вульгаризмами без необходимости. Они наверняка смутят кого-нибудь из публики и не усилят юмор. Я даже отметил, что шутка куда эффектнее, если на непристойность присутствуют лишь намеки. Слушатель заполняет лакуны на свой вкус, и затем я привожу примеры баек, где пошлые подробности опущены ради улучшения эффекта.

Но последние две байки в книге — примеры, где вульгаризмы обязательны. Более того, в последней истории показано, как избыточное применение конкретного вульгаризма лишает его всякого смысла.

И где-то в Теннесси «Кладовую юмора» жестоко раскритиковали. Там пытались выставить все так, будто две последние байки типичны для книги, и нигде не упоминали о моих предостережениях против вульгаризмов.

Ничего удивительного. Цензоры-ханжи в попытках вырезать все, что им не нравится, не

постесняются переврать, схитрить и оболгать. Вообще-то, по-моему, им это даже нравится. У них ничего не вышло. «Кладовую юмора» убрали с полок средней школы, но оставили в городской библиотеке. Надеюсь, благодаря шумихе ее прочитало больше школьников, хотя те наверняка и разочаровались, потому что ожидали настоящих непристойностей.

(Что меня в этом деле особенно удивляет, так это что школьники — если они похожи на знакомых мне школьников, — свободно применяют нецензурное слово из двух последних баек. Как и, подозреваю, сами цензоры, потому что уж они-то, несомненно, лицемерны во всех проявлениях.)

Досталось и «Роботам зари». Книга ужаснула родителей в каком-то городке штата Вашингтон, и они потребовали убрать ее из школьной библиотеки. Некоторые из заявителей признались, что книгу не читали, потому что не собираются тратить время на «мусор». Достаточно *назват*ь ее мусором и сжечь.

У одного члена школьного совета кишка оказалась не тонка взять и прочитать. Он сказал, что ему не понравилось (надо же оставаться на стороне света, если не хочешь вылететь с работы), но все же где-то отыскал удивительную смелость

заявить, что в ней нет ничего непристойного. И книга осталась на полках.

Уму непостижимо, что во времена, когда непристойные книги выходят безо всякого шума и их спокойно читают девушки в автобусах, находятся люди, готовые что-то выискивать в моей безобидной писанине. Впрочем, иногда я даже жалею, что такие люди — ничтожные и капризные выскочки, не способные поднять настоящую шумиху из-за какой-нибудь моей книги. Вот тогда бы продажи взлетели!

71. Судный день

Еще в своем многообразном творчестве я избегаю сценария «судного дня» (за одним небольшим исключением, до которого еще дойду).

Люди вредят планете и экологическому равновесию с тех пор, как освоили каменные орудия труда и стали объединяться для охоты на крупных травоядных. Не сомневаюсь, что это человеческая охота повинна в исчезновении великолепных мамонтов и прочих огромных млекопитающих, бродивших по Земле двадцать тысяч лет назад.

Десять тысяч лет назад люди изобрели земледелие и животноводство, постепенно запустив процесс разрушения окружающей среды интенсивным сельским хозяйством.

Но ничего из того, что человечество вытворяло даже в самых диких войнах и злодействах, не могло повредить планете по-настоящему — до 1945 года. Тогда взорвалась первая ядерная бомба, и промышленная революция, подпитанная дешевой нефтью, набрала максимальные обороты. Теперь мы вполне способны в обозримом будущем нанести Земле непоправимый урон — более

того, мы уже в процессе.

Фантасты знают об этом лучше других, и сразу же после Второй мировой стали популярны сюжеты о ядерном апокалипсисе. На самом деле их писали и до того, как пришли новости о бомбардировке Хиросимы 6 августа 1945 года. У агентов американской разведки даже возникли подозрения в отношении *ASF*, потому что в мартовском выпуске 1944 года вышел рассказ «Линия смерти» («Deadline») Клива Картмилла. Там слишком точно описывалась ядерная бомба.

Как почти всегда бывает, сюжеты о ядерном апокалипсисе стали так популярны, что захватили весь жанр и пали жертвой собственного успеха, когда набили читателям оскомину постоянными повторами. Последовали другие концы света — истории об отравленной атмосфере, невероятном перенаселении планеты и так далее, — и фантастика стала окрашиваться в серо-красные оттенки обреченности.

По-своему это полезно. Писатель Бен Бова говорит, что фантасты — разведчики человечества, высланные вперед для изучения будущего. Они возвращаются с советами по улучшению мира и предупреждениями о возможных угрозах. В такие времена, когда человечество самодовольно

занимается саморазрушением, *нет смысла* снова и снова предупреждать об опасности.

Но я никогда не примыкал к пессимистам. Не потому, что не верю в способность человечества себя уничтожить. Верю всей душой и не раз писал статьи о различных аспектах этой проблемы (особенно на тему перенаселения). Просто, по-моему, и без меня достаточно фантастов вопят, что судный день близок. Моего отсутствия среди них никто не заметит.

Конечно, в «Камешке в небе» я описывал Землю, практически выжженную радиацией, но человечество там существует в виде Галактической империи, поэтому судьба одного мирка мало что значит для цивилизации в целом.

Мои книги обычно прославляют триумф технологий, а не пророчат катастрофы. Это относится и к другим фантастам, особенно к Роберту Хайнлайну и Артуру Кларку. Довольно странно, а может, важно, что вся большая тройка — технологические оптимисты.

72. Стиль

Я уже говорил, что намеренно выработал простой и почти разговорный стиль, а сейчас хотел бы более подробно осветить эту тему.

Орсон Скотт Кард, один из лучших современных фантастов, щедр на похвалы моему творчеству. Он считает, что оно уникально в своей ясности, и если у других писателей есть некие особенности, позволяющие им подражать, у меня ничего такого нет, а значит, мне подражать невозможно. (Тут надо подчеркнуть, что это *он* так говорит, а не я. У меня-то нет таланта критика, поэтому и сказать на этот счет нечего.)

Другие не так добры. В частности, мои романы им кажутся слишком диалоговыми, а стиль — слишком плоским.

Опять же, я не критик и не знаю, как защищаться. К счастью, за меня заступился Джей Кей Клейн.

Джей Кей — упитанный малый, практически лысый, очень сообразительный и неизменно улыбающийся; его обожают на фантастических конвенциях. Он лучший фотограф в сфере

фантастики и нигде не появляется без фотооборудования. Он сделал тысячи снимков известных фантастов, в том числе и меня. Однажды он собрал несколько десятков фотографий, на которых я целуюсь с молодыми девушками. Он показывал их на экране под комментарии, заставлявшие публику (а особенно меня) самозабвенно хохотать.

Джей Кей полагал, что существует два писательских стиля, а я развил его тезис и вывел свою теорию «мозаики и стекла».

Бывает стиль, напоминающий мозаику, как в витраже. Сами по себе витражи красивые и окрашивают проходящий сквозь них свет, но через них ничего не видно. Точно так же есть поэтичный стиль, который довольно красив и легко воздействует на чувства, но такие тексты бывают запутанными и трудночитаемыми, когда пытаешься разобраться, что происходит.

А стекло само по себе некрасивое. В идеале оно вообще незаметно, зато через него видно все, что происходит снаружи. Это эквивалент простого и неприукрашенного стиля. Знакомясь с таким текстом, порой даже не осознаешь процесс чтения. Идеи и события как будто перетекают из писательского разума в читательский без помех.

Надеюсь, с этой книгой получилось именно так.

Писать поэтически очень тяжело, но и ясно писать — тоже. Вообще-то, возможно, ясности добиться труднее, чем красоты, если позволите сейчас развить метафору с мозаикой и стеклом.

Цветное стекло для мозаики известно испокон веков. Но вот обесцветить его — настолько сложная задача, что с ней справились только в семнадцатом веке. Прозрачное стекло — сравнительно новое изобретение, великий триумф венецианских стеклодувов, долгое время хранившийся в секрете.

Так же и с писательством. В прошлом практически все тексты тяготели к велеречивости. Почитайте, например, викторианские романы. Почитайте того же Диккенса, лучшего из викторианцев. Только сравнительно недавно некоторые авторы освоили ясный и простой стиль.

Для меня у простого стиля есть свои преимущества. Я не раз узнавал из приходящих ко мне писем, что люди ненавидели читать, но набрели на мою книжку и впервые получили удовольствие от чтения. Я даже получал письма от дислексиков, рискнувших медленно пробраться через мои книги и в результате улучшивших свои навыки чтения. А однажды я получил письмо от

благодарной матери, сына которой я заинтересовал чтением.

Меня такое радует. Я пишу в первую очередь ради удовольствия и заработка, но приятно видеть, что в придачу еще и помогаю людям.

Как добиться ясности? Я не знаю. Видимо, для начала надо привести в порядок ум и выстроить мысли, чтобы точно знать, что хочешь сказать. А вот что делать дальше — тут я беспомощен.

73. Письма

Раз уж я упомянул приходящие ко мне письма, пожалуй, стоит остановиться на этом подробнее.

Большинство, конечно, совершенно замечательные. Они от людей, которые прочитали мои книги (иногда в большом количестве), оценили их и оказались настолько любезны, что написали об этом мне. В прошлом я старался отвечать на все письма хотя бы благодарственной открыткой. Но должен признать, что годы идут, мой запас энергии иссякает, а писательские задачи как будто только множатся, и отвечать становится все трудней и трудней. Боюсь, я стал избирателен и уже не отвечаю на каждое письмо.

Особая разновидность писем — послания подростков карандашом на линованной бумаге о том, что они читали мои рассказы в школе и им понравилось. Обычно последнее предложение: «Пожалуйста, напишите ответ». Отказать почти невозможно, ведь дети не понимают отговорку «слишком занят» и ужасно расстраиваются, если им не ответишь, а я этого не переношу, вот и шлю открытки.

Надо сказать, какое же это великое изобретение — открытка. Она экономит огромное количество времени и снижает расходы на отправку почты. При этом страдает конфиденциальность, но я еще не писал таких открыток, которые хотел бы скрыть от глаз почтальона.

Конечно, был случай с остроумной женщиной-редактором, с которой я понарошку флиртовал. (Во времена молодости я флиртовал почти без разбора со всеми женщинами вокруг, и ни одна не воспринимала меня всерьез — что, конечно, совсем не лестно.) Во всяком случае, я черкнул ей короткую открытку и просто по привычке закончил пошлым каламбуром.

И вот пришел ответ: «Дорогой Айзек. Мне уже делали предложения, но на открытке — впервые».

Но я отвлекся…

Еще одна разновидность писем от детишек, которая возмущает меня все больше и больше, начинается со следующих слов: «Я такой-то из седьмого класса такой-то школы, учитель задал нам написать какому-нибудь автору и спросить о его работе». Затем следуют самые банальные вопросы, какие только можно вообразить, — всегда одни и те же. Когда я начал писать? Как? Почему?

Откуда беру идеи? Планирую ли писать еще?

Когда такие письма только начали приходить, я вкратце отвечал, но их становилось все больше и больше, что меня порядком раздражало.

Такое ощущение, будто по всей стране дураки-педагоги заставляют учеников приставать к занятым писателям и требовать от них, по сути, домашнюю работу. По какому праву? Мой единственный ресурс — это время, и с каждым днем он сокращается ровно на один день. А теперь я должен расходовать иссякающий ресурс, отвечая на дурацкие вопросы от детей, которым бы и в голову не пришло меня дергать, если б их не подзуживали бестолковые учителя, не желающие потратить *свое* время и ограниченные умственные способности на придумывание заданий получше? У других писателей наверняка есть секретари, которые отсылают формальные ответы, но у меня-то их нет.

Иногда я так злюсь, что в самых вопиющих случаях пишу разгневанные письма учителям. Один раз мое письмо напечатали в местной газете (без разрешения!), где меня выставили в качестве примера зазнавшегося автора. Вырезку прислала мне какая-то подруга учительницы, возмутившаяся моему отказу уделить «пять минут», чтобы

порадовать ребенка.

Зря она так. Чаша моего гнева переполнилась. Я написал ей и спросил, правда ли ей хватает тупости думать, будто я получил всего *одно* такое письмо. Мне их приходит множество, и в каждом просят пять минут — вот вам показатель общего низкого уровня сострадания и понимания среди учителей. Боюсь, я не сдержался и обрушил на нее весьма аргументированные и чересчур ехидные выражения. Ответа я так и не получил — видимо, запугал ее до смерти.

Сейчас у меня таких проблем нет. Как только дохожу до волшебных слов «учитель нам задал», моя корзина для мусора пополняется письмом. Очень экономит время и нервы.

Иногда приходят письма с указанием ошибок в моих научно-популярных книгах (или, что бывает, в фантастике). В таких случаях я обычно шлю открытки с благодарностями, а когда промашки серьезные, исправляю их для книжной версии или следующего издания, если книга уже вышла. Ошибка — это стыдно, но время от времени неизбежно, когда пишешь так много и быстро, как я. Удивительно не то, что я ошибаюсь, а то, что делаю это так редко.

Здесь я всегда могу рассчитывать на читателей.

У меня находили ошибки такие великие люди, как Лайнус Полинг[69].

Конечно, изредка приходят письма, где порицают мое творчество, сообщают, какое я самодовольное и самовлюбленное чудовище, расписывают другие недостатки характера. На них я не отвечаю. Если я кому-то не нравлюсь — пускай.

Часто просят поделиться какими-нибудь сведениями, и если вопрос точный и ответить на него можно коротко, то я стараюсь услужить, особенно если тема интересная, а ответ найти непросто. Очень странно, но я почти ни разу не получал за это благодарности. Честно не знаю почему.

Иногда по запросу четко видно, что меня путают с общественной библиотекой. Распространенная просьба: «Прошу выслать последние новости об освоении космоса». Обычно такое пишут подростки, которым задали сочинение о научном прогрессе, а они решили напрячь меня. В корзину.

Иногда (и удивительно часто) меня просят прислать книжку-другую в места лишения свободы,

---

[69] Примечания: 69

Лайнус Карл Полинг (1901–1994) — американский химик, кристаллограф, лауреат Нобелевской премии мира (1962) и в области химии (1954). — Прим. ред.

потому что автор письма перечитал всего Азимова в тюремной библиотеке и хочет еще. Мне всегда жаль заключенных, что бы они ни сделали, особенно если они читают мои книги (мне не надо других доказательств, что их осудили по ошибке). В таких случаях я прошу Doubleday выслать пару книг, а в издательстве неизменно отказываются вычесть их стоимость из моих роялти, из-за чего я, понятное дело, не хочу злоупотреблять такими просьбами.

Иногда у меня просят деньги, но незнакомцы ничего от меня не получают. Может, я и мягкосердечный, но не *настолько*.

Еще больше смущают просьбы прочитать рукопись новичка и деликатно покритиковать. Это невозможно. У меня нет ни времени, ни таланта критика, но сколько бы я это ни объяснял, всегда остается неприятное ощущение, будто автор считает меня толстосумом, отказывающим в помощи юному дарованию из-за эгоизма и черствости. Кое-кто даже недобросовестно пользуется честностью, с которой я рассказываю о своей жизни, и говорит: «Вам вначале помог Джон Кэмпбелл, почему вы не хотите помочь мне?» Отвечаю: потому что это была работа Кэмпбелла и у него имелся соответствующий талант; это

не моя работа и такого таланта у меня нет. Да и Кэмпбелл не помогал всем новичкам подряд. Он их аккуратно отбирал. Он ждал Айзека Азимова и знал, как его разглядеть; я — нет. Но как все это объяснить?

То же относится к новичкам, уверовавшим, будто есть некий секрет, как продавать больше рассказов, — секрет, который я знаю и могу легко раскрыть им. Я стараюсь честно объяснить, что никакого секрета нет, все дело во врожденном таланте и упорном труде, но уверен, они думают, что я его просто скрываю из страха перед конкурентами.

Есть письма от спорщиков, опровергающих мою точку зрения по какому-либо вопросу. Случалось, если аргументы убедительные, я изменял мнение и в таком случае обычно отвечал, а иногда даже находил повод написать статью об этом изменении. Но чаще всего это просто неприятные и вздорные письма, не обращаю на них внимания.

Множество таких писем касаются моей открытой нерелигиозности. Мне пишут люди, которые меня жалеют и молятся за меня, но я и не возражаю. Уверен, им от этого легче.

Немного раздражает, когда присылают бро-

шюрки, расхваливающие какую-нибудь сектантскую веру, в надежде, что я «увижу свет». Не знаю, почему таким людям не приходит в голову, что у меня есть свои твердые убеждения и их не поколебать каким-то там брошюркам.

Иногда меня так раздражают, что я отвечаю. Однажды меня, не стесняясь в выражениях, порицал один фанатик, а я отправил ему открытку: «Я так понял, вы верите, что я, когда умру, попаду в ад и там испытаю все муки и пытки, на которые только способно сатанинское воображение вашего божества, и пытки эти будут продолжаться вовеки веков. Вам что, этого мало? Еще и оскорблять меня надо?» Ответа я, конечно, так и не получил.

Затем есть искатели автографов. (Зачем людям автографы, мне понять не дано.) Такие письма (особенно от подростков, которые выбрасывают автографы, как только получают), как снежинки в неуклонно нарастающем буране. Быть лестным это уже давно перестало, и теперь я могу помочь, только если кто-то пришлет для автографа открытку и конверт с маркой и подписанным обратным адресом. Иначе — больше нет. (Я особенно подозрителен к тем, кто пишет, какой я великий писатель и как им нравится мое творче-

ство, но не приводят ни одного названия книги. Подозреваю, это заготовки.)

В последние годы добавилась новая категория. Автографа им уже мало. Нужна подписанная фотография, иногда уточняется — глянцевая, 20 на 28 сантиметров. Нет у меня фотографий. Я не из шоу-бизнеса. Мое достояние — не лицо. Если *пришлют* открытку и конверт с маркой, я могу помочь. Иначе — нет.

Кое-кто присылает книги с просьбой подписать и отправить обратно. Обычно они прилагают и бандероль с маркой, но даже так это слишком трудоемко. Посылки громоздкие, дневная почта сразу весит целую тонну. Потом приходится идти искать ящик, куда влезет бандероль. Если меня спрашивают заранее, я всегда предлагаю прислать мне вкладку: я ее подпишу и верну, а они — вклеят в книгу. Впрочем, немногим хватает вежливости спросить заранее, а из них немногие соглашаются на вариант с вкладкой.

Еще одно дурацкое открытие последних лет — «аукцион знаменитостей». Кто-то обнаружил, что можно собрать деньги, если написать известным людям и попросить у всех что-нибудь личное — старый носок, список покупок, — а затем продать на аукционе ценителям такого мусора. Обычно

деньги собираются на благородные дела, так что, столкнувшись с этим впервые, я отсылал подписанные книги в мягкой обложке.

Так я угодил в компьютерный список, который ходит по стране, и тут на меня обрушился ливень просьб. Все аукционы Соединенных Штатов прислали умоляющие письма. Иногда я получал по четыре за раз, и редок тот день, когда не приходило ни одного. Что тут остается? Стоит мельком заметить волшебные слова «аукцион знаменитостей» в подозрительном письме, как моя корзина для бумаг тут же пополняется.

Еще приходит небольшое число писем от сумасшедших — от тех, кем управляют странные лучи, кто встречал пришельцев или раскрыл тайный заговор, а то и просто пишет тарабарщину. Я вздыхаю и отправляю их в мусор.

Затем люди, которые пишут «некниги». Некнига — это когда человек рассылает нескольким сотням знаменитостей бестолковые вопросы, собирает ответы в книгу и надеется получить гонорар.

Например, существует много кулинарных книг от знаменитостей. Зачем придумывать и проверять рецепты, когда можно попросить «любимые» у звезд? У меня миллион раз про-

сили любимый рецепт, но такой только один — рецепт кипяченой воды, которой я превращаю сублимированный порошок в кофе. На этом мои кулинарные навыки исчерпываются.

(Конечно, время от времени, когда Джанет занята, она оставляет для меня все приборы, нужные ингредиенты и аккуратно составленный рецепт. Тогда я берусь за дело: мешаю, добавляю, настраиваю температуру — в общем, все как положено. Блюдо неизменно получается отменным, даже самое сложное, потому что я, в отличие от Джанет, тщательно следую рецепту и потому что я все-таки, если вы не забыли, химик. Но в такие моменты я настолько деспотичен в правилах допуска на «мою кухню» и настолько самодоволен и напыщен из-за результата, что Джанет редко готова на это пойти.)

Я редко отвечаю составителям некниг, потому что вопросы очень часто идиотские.

Так, одна женщина просила написать эссе о своем отце и почему я им восхищаюсь и прислала список других знаменитостей, к кому обращалась с той же просьбой. Вообще-то я часто писал об отце (например, в этой книге), и совершенно очевидно, что я им *восхищаюсь*. Но задумка все равно идиотская, ведь в ответ не придет ничего,

кроме приукрашенных версий. Какая знаменитость признается, что ее отец — алкоголик, избивавший мать, даже если так оно и было?

Я по глупости так и сказал, а она в ответ прислала злобное письмо с обвинением, что я ненавижу отца. Жалею, что вообще написал ей, но про такую книгу в итоге не слышал, так что, видимо, ничего не вышло.

Однажды меня попросили описать свое худшее свидание. Я коротко и честно ответил, что у меня плохих свиданий не было. Я редко на них ходил — только с двумя женщинам, на обеих в итоге и женился, — и всегда старался устроить все по высшему разряду. То письмо *напечатали* среди кучи-малы из столь жутких катастроф, что мне стало нехорошо, когда я начал читать. (Мне повезло больше, чем я думал.)

Однажды меня спросили, какой подарок из компьютерной сферы я хочу на Рождество. Меня просили описать все, что только придет в голову, неважно, реалистично это или нет. Я коротко и честно ответил, что у меня есть допотопная электрическая пишущая машинка и средневековый текстовый процессор с принтером, и они работают как положено. Это все, что мне нужно, и не надо ничего сверх необходимого ни на Рож-

дество, ни когда-либо еще.

Моя собеседница ответила, что приятно получить такое письмо среди потока откровенной жадности, но ее редактор это не пропустит, потому что тогда все остальные в некниге предстанут в плохом свете. (А кроме того, подумал я, не быть жадным — это, скорее всего, совсем не по-американски.)

В том же письме она спросила, почему я люблю путешествовать и что мне больше нравится: ехать куда-то по делам или для отдыха. Пришлось объяснить, что я и не путешествую. (И снова не по-американски.)

Я написал и много чего еще слишком неамериканского и непригодного для печати. В чикагской *Tribune* у меня попросили эссе о Рождестве. «На любую тему», — заверили меня. Я с радостью согласился и воспользовался случаем, чтобы осудить отвратительную коммерциализацию праздника. Сами догадаетесь о содержании, если я скажу вам название: «А теперь слово берет Скрудж». Эссе с радостью приняли и оплатили, но, насколько я знаю, так и не напечатали.

74. Плагиат

Еще одна проблема плодовитого писателя — это постоянная озабоченность из-за плагиата, то есть присвоения чужих слов. На мой взгляд, это величайшее преступление, какое только может совершить писатель, и я ни за что на него не пойду. Беда в том, что я хочу избежать даже *видимости* плагиата, а это, когда так много пишешь, порой трудно.

Например, в рассказе Джека Уильямсона 1934 года «Рожденные Солнцем» («Born of the Sun») есть эпизод, где толпа фанатиков нападает на астрономическую обсерваторию, где разработана новая шокирующая теория. Я его читал, эпизод наверняка меня впечатлил и засел в подкорке.

Через семь лет я опубликовал «Приход ночи», где был эпизод, в котором толпа фанатиков нападает на астрономическую обсерваторию, где разработана новая шокирующая теория. Только через тридцать лет после написания «Прихода ночи», перечитывая «Рожденных Солнцем» для своей антологии «До Золотого века», я понял, что случилось, и очень смутился.

Это конечно, не настоящий плагиат, потому что похожие идеи и ситуации повторяются снова и снова в разных сюжетах — но разными словами, в разных контекстах, с разными последствиями. Можно даже сознательно позаимствовать идеи и ситуации — при условии, что используешь их иначе.

Планируя цикл «Основание», я свободно заимствовал из «Истории упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона, и уверен, что фильм «Звездные войны», в свою очередь, не постеснялся что-то позаимствовать из цикла «Основание».

Я приучился не считать пересечение идей преступлением, когда писал «По-своему исследователь» («Each an Explorer»), вышедший в 1956 году в *Future Fiction* № 30. На полпути я понял, что идея до неприличия похожа на великий кэмпбелловский рассказ «Кто идет?». И тут же весь вспотел. Позвонил Кэмпбеллу, объяснил, что происходит, и попросил совета.

Кэмпбелл рассмеялся и сказал, что повтор идей неизбежен, а в руках честных и способных авторов — безобиден. «Я могу дать одну и ту же идею десяти разным писателям, — сказал он, — и на выходе получить десять разных рассказов».

И все равно я постарался как можно дальше отойти от «Кто идет?».

Потом я писал рассказ «Чтобы мы не помнили» («Lest We Remember»), вышедший 15 февраля 1982 года в номере «Научно-фантастического журнала Айзека Азимова» (*Isaac Asimov's Science Fiction Magazine, IASFM*). Во время работы я заметил сходство задумки со ставшим классикой романом «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза (*F&SF*, апрель 1959), и трудился как проклятый, чтобы мой рассказ отличался как можно сильнее.

Ближе всего к грани я подошел в коротком-коротком рассказе — меня попросили изобразить момент, когда компьютер обретает сознание. Я написал про компьютер, который сперва перестал работать, а потом начал задавать вопрос: «Кто я? Кто я?»

Рассказ вышел в любительском бюллетене на тему компьютеров, но позже его перепечатали в детском журнале. Там его увидел другой писатель и прислал мне свой рассказ, который тоже кончался вопросом компьютера «Кто я? Кто я?» (В остальном рассказы совершенно разные.)

Писатель объяснил, где выходил его рассказ, и я с упавшим сердцем понял, что его включали в антологию с одним из моих текстов, а значит,

она есть в моей библиотеке. Я поискал — и вот пожалуйста, второй рассказ, опубликованный за годы до моего.

Что тут оставалось? Я написал ему и признался — текст был мне доступен, концовка могла запомниться. И спросил, устроит ли его, если я запрещу переиздавать этот рассказ. Он ответил, что устроит, и был так добр уточнить, что ни разу не подумал, будто это плагиат.

Но что поделать? Опасность всегда рядом. Разные отрывки сами липнут к моей цепкой памяти, я в любой момент могу принять такой эпизод за собственную идею. Хуже всего, что я прочитал лишь малую часть всех существующих фантастических рассказов и могу повторить то, чего даже не видел, по чистейшему совпадению.

Однажды мы с Теодором Старджоном независимо друг от друга, но почти одновременно написали рассказы, где обыгрывалась *одна и та же* двусмысленность слова «hostess»[70]. Более того, двух его персонажей звали Дерек и Верна, а двух моих — Дрейк и Вера. И оба рассказа пошли в *Galaxy* — чистое совпадение. Рассказ Теда пришел в офис Горация на пару дней раньше,

---

[70] Примечания: 70
Хозяйка, любовница. — Прим. пер.

так что это мне выпало вносить косметические правки. (Например, Вера стала Розой.) Мой рассказ вышел под названием «Хозяйка» в майском *Galaxy* 1951 года.

Как бы я ни старался держаться подальше от малейших подозрений на плагиат, ничего не могу поделать, когда воруют у меня. Школьников по всей стране просят писать сочинения и рассказы, и небольшому проценту хватает слабоумия не тратить силы и копировать существующие.

Я говорю «слабоумие», потому что любой ребенок, неуверенный в своих способностях настолько, что вынужден прибегать к плагиату, — паршивый писатель, даже с учетом возраста. Если он внезапно сдаст профессиональный вычесанный текст, то кого он обманет, кроме как такого же слабоумного учителя?

Однажды профессор из колледжа на Род-Айленде прислала мне экземпляр длинной рукописи. Один студент сдал ее как собственную работу. Но текст был о роботах — и слишком хорош для этого студента. Она знала, что я славлюсь рассказами про роботов, и спросила у меня лично, не плагиат ли это.

Он самый. Тупой оболтус слизал мой рассказ «Раб корректуры» («Galley Slave», *Galaxy*, декабрь

1957), причем слово в слово. Ему не хватило сил перефразировать, чтобы оправдаться совпадением, и даже не хватило ума поменять имена персонажам.

Все это я сообщил профессору, и надеюсь, молодого человека наказали по заслугам.

Несколько лет назад кто-то наткнулся на школьный литературный журнал, где под именем какого-то студента напечатали мой рассказ «Ничто не дается даром» («Nothing for Nothing», *IASFM*, февраль 1979). Как я, так и Doubleday написали в школу возмущенные письма, но ответа не последовало. Либо они постыдились отвечать, либо (и мне это видится маловероятным) рассердились, что я возражаю против столь творческих решений их учеников.

Если сомневаетесь, что последняя точка зрения вообще возможна, то послушайте вот что (хоть это и не о плагиате). Однажды молодой человек попросил у меня по почте рекомендацию. Он хотел куда-то поступить, читал мои рассказы и решил, что мое имя на письме о том, какой он замечательный, придаст ему больший вес. Он признал, что мы незнакомы, но решил, что мне не составит труда притвориться и расхвалить его интеллект и характер, чтобы помочь ему. В

конце концов, (заезженное клише) разве мне не помог Кэмпбелл?

Я вскипел. Я отписал суровое письмо о том, что он просит совершить неэтичный поступок и оскорбил меня самой мыслью, будто я на такое способен. По его письму, сказал я, не чувствуется ни интеллект, ни характер.

Я думал, на этом все и кончится, но, к моему удивлению, пришел ответ — причем не от молодого человека, а от его матери. Она красноречиво меня упрекнула в том, что я пристыдил ее сына, когда он просто хотел пошутить. Что же не так со мной (и, видимо, с моим исполинским эго), раз я не понимаю шуток?

Я снова вскипел. И ответил еще строже: если они с сыном не поработают над своим чувством юмора, то однажды молодой человек окажется в тюрьме. В этот раз ответа я не получил.

Самая смешная история, связанная с плагиатом, случилась со мной 23 мая 1989 года. В Tor Books выходил «дуплет». То есть книга в мягкой обложке с повестью Теда Старджона, а если перевернуть книгу, то видишь другую обложку, с другой историей. Там был мой «Уродливый мальчуган».

Когда издание анонсировали и кратко описа-

ли сюжеты, я получил письмо от разъяренной девушки, обвинявшей меня в плагиате. Оказывается, полтора года назад (в 1987-м или 1988-м) она написала рассказ, послала в журнал, но ей отказали. Она приложила краткое содержание, в котором действительно был маленький мальчик (как и в «Оливере Твисте» Чарльза Диккенса). Она решила, что редакторы не хотели публиковать текст под ее неизвестным именем и передали идею мне, чтобы та вышла под знаменитым именем и лучше продавалась. Так, мол, я и написал «Уродливого мальчугана». «А как это еще объяснить?» — ставила она вопрос ребром.

Пришлось отвечать. Хоть это и нелепо, но обвинения в плагиате нужно пресекать на корню. Мне хватило жестокости начать с обращения «Дорогой Сумасшедшей».

Затем я растолковал, что если бы она *посмотрела* на книгу от Tor, а не просто прочитала анонс о скором выходе, то увидела бы, что «Уродливый мальчуган» — переиздание, на отметке об авторском праве в конце указан год публикации — 1958-й, задолго до ее рассказа и, скорее всего, рождения. Как же это получилось? Возможно, это она сплагиатила у меня.

Она так и не ответила, хотя могла бы из прили-

чия скромно извиниться.

Это мне напоминает о постоянном вопросе новичков: не украдут ли их рассказы, если отправить их редактору. Ответ: «Ни за что». Если рассказ достоин быть украденным, редактору больше нужен автор, чем рассказ, потому что автор напишет *еще много* таких же. Зачем же воровать один, если можно законно получить целую уйму?

75. Научно-фантастические конвенции

Из-за той же тяги, благодаря которой фанаты фантастики собирались в местные клубы и, в частности, появились футурианцы, позже местные клубы объединились в крупные ассоциации.

В 1939 году Сэму Московицу пришла идея организовать Всемирную конвенцию научной фантастики. Ее провели 2 июля 1939 года в зале, расположенном в центре Манхэттена, куда собралось несколько сотен человек. Сэм принадлежал к Научно-фантастическому клубу Квинса, от которого отделились футурианцы, а потому отказался пускать «раскольников». Но я тогда еще не ассоциировался с футурианцами в представлении Сэма, зато уже опубликовал три рассказа, поэтому смог туда попасть.

Впоследствии Всемирную конвенцию проводили ежегодно (кроме 1942-го, 1943-го и 1944-го) в разных городах[71]. На каждой выступают с

[71] Примечания: 71

Она проводится до сих пор и теперь также известна как Worldcon. — Прим. ред.

речами важные гости, проводятся маскарады, банкеты и так далее. Их всегда устраивают в выходной Дня труда, если только они не проводятся за границей, где День труда не отмечают.

В целом посещаемость со временем росла, пока на конвенции не стало собираться по шесть-семь *тысяч* человек. Проводились и другие фестивали, поменьше, и вот пришло время, когда такие большие любители конвенций, как Джей Кей Клейн или Спрэг де Камп, могут по желанию ходить на какую-нибудь почти каждый день в году.

Я путешествовать не люблю и редко бывал на Всемирной конвенции, но в тех случаях, когда приезжал, меня часто просили быть ведущим на банкете. Впрочем, один раз я изрядно оплошал и по ошибке вручил премию писателю, который ее не выиграл. Мне было так стыдно, что впредь я обычно отказывался вести мероприятия.

Было одно исключение. В 1989 году в Бостоне мы отмечали золотой юбилей первой конвенции 1939-го, а я был одним из немногих, кто ее посещал (и точно не самым выдающимся из доживших до наших дней). Поэтому я согласился приехать в Бостон и вести «ностальгический обед». И вел с большим удовольствием.

Почетного гостя на Всемирной конвенции

обычно выбирают из той части страны, что наиболее удалена от места проведения. В конце концов, большинство посетителей — местные, и им не хочется видеть того, кто и так, скорее всего, ходит на местные мероприятия. А далекий гость, незнакомый местным фанатам, привлекает посетителей, чем помогает оплатить расходы на проведение. Я посещаю только конвенции рядом с домом, поэтому обычно не гожусь в почетные гости. Но в 1955 году, когда конвенцию проводили в Кливленде, меня все же пригласили. Я падок на лесть и поехал туда на машине.

Это единственный раз, когда я был почетным гостем на Всемирной конвенции (а кое-кто был и два, а то и три раза), но я и не переживаю. Я посетил в качестве почетного гостя множество мероприятий масштабом поменьше, и у меня уже столько памятных табличек и дипломов, что они занимают все стены и забивают все шкафы.

У моих четырнадцати почетных докторских степеней, плесневеющих в сундуке, есть и минус: я считаюсь выпускником всех этих вузов, а значит — адресатом для писем о благотворительных сборах средств. (Тут вспоминается анекдот о человеке, который жаловался, что жена вечно требует денег, днем и ночью. Друг его спрашивает: «И

что она с ними делает?» А он отвечает: «Ничего. Я их не даю».)

Но я отвлекся…

Кливлендская Всемирная конвенция 1955 года была тринадцатой (это я для суеверных). И почти что самой маленькой. Пришло всего триста человек. У этого были и свои преимущества. Впоследствии я иногда попадал на конвенции с многотысячными толпами, а это значит большие отели, длинные программы, набитые битком коридоры и залы, толпы и толпы неизвестных личностей, где попробуй отыщи своих друзей-приятелей. Слишком много неразберихи, сумятицы и анархии.

Когда на больших конвенциях проходят мои автограф-сессии, очередь вытягивается, как анаконда. Это очень льстит, но через полтора часа устаешь без продыху подписывать книги.

А я писатель плодовитый, поэтому случается такое, что какой-нибудь мой большой поклонник притащит целый чемодан с парой десятков книг для автографов. И даже в свободное от мероприятий время меня ловят в коридорах, чтобы подписать программки и клочки бумаги.

Отчасти я сам виноват. Например, Артур Кларк известен тем, что подписывает только книги в

твердой обложке, но я не могу себя заставить отказать, когда человек стоит и смотрит на меня *вроде бы* с благоговением.

Триста гостей — это в самый раз. Никакой неразберихи. Писатели без проблем находили друг друга. Сессии автографов быстро заканчивались. Многие годы конвенцию 1955-го вспоминали как самую дружелюбную.

В 1953 году выдавали премии за лучшие книги года в разных категориях. Это была просто фишка именно этой конвенции. Например, в 1954 году такого уже не было.

Но уже в 1955-м обычай возродили и перевели на постоянную основу. С тех пор грандиозная кульминация конвенции — это банкет, где вручают награды в духе киношного «Оскара». Награды названы «Хьюго» в честь Хьюго Гернсбека, открывшего первый фантастический журнал за двадцать девять лет до этого.

Будучи ведущим, я обычно раздавал «Хьюго» с приемчиком Боба Хоупа — жаловался, что мне ничего не дали. Так уж вышло, что «Приход ночи», рассказы о роботах и цикл «Основание» написаны еще до того, как придумали «Хьюго».

Конечно, в итоге «Хьюго» получил и я, но эту историю я оставлю на потом.

76. Энтони Бучер

The Magazine of Fantasy and Science Fiction начал издаваться в 1949 году. В последующие десятилетия мне было суждено крепко с ним сродниться, но сперва на это ничто не намекало. Мои первые попытки опубликоваться там ни к чему не привели — я прорвался только с рассказом «Мухи» («Flies»), который появился в июньском *F&SF* 1953 года.

Редактором был Энтони Бучер, сперва — с Дж. Фрэнсисом Маккомасом, позже — один. Его настоящее имя — Уильям Энтони Паркер Уайт. Он родился в 1911 году и вошел в мир фантастики с фэнтези «Клоподав» («Snulbug») в декабрьском *Unknown* 1941-го. Еще он писал детективы. Один из них — это «Ракета в морг» («Rocket to the Morgue», 1942), роман с ключом, где в узнаваемых обличьях появляются разные писатели-фантасты, особенно Хайнлайн. Мелькнул там и я со своими рассказами о роботах.

В 1950-х существовала большая тройка журнальных редакторов: Джон Кэмпбелл, Гораций Голд и Тони Бучер.

Они отличались друг от друга, для начала, стилем отказов известным авторам.

Кэмпбелл был многословен и высылал письма с одинарным пробелом от двух до семи страниц длиной, объясняя, почему конкретный рассказ не подходит. Часто было трудно разобрать, о чем это он вообще. Однажды я получил письмо о научной статье, в котором, как мне показалось, он отказал. Я безуспешно пытался пристроить ее куда-нибудь еще, пока Кэмпбелл вдруг не потребовал немедленно прислать исправленную версию. Я нашел его письмо, расшифровал, о чем именно он просил, внес изменения и продал-таки статью ему.

О Горации Голде и его свирепых отказах я уже писал, но тут могу добавить еще одну небольшую историю. Однажды он мне в лицо заявил, что мой рассказ — «меретрициозный». (Это прилагательное от латинского «meretricius» — «проститутка». Гораций подразумевал, что я проституирую талант и пишу чушь, только чтобы заработать.)

Я взял себя в руки и невинно сказал:

— Что-что ты сказал?

Гораций, гордясь своим словарным запасом и радуясь, что (как он думал) подловил меня, напыщенно повторил:

— Меретрициозный!

— И тебя с Новым годом[72], — ответил я. Дурацкая шутка, зато смягчила обиду, особенно при виде разъяренного Горация.

А вот отказы Тони Бучера были такими мягкими и учтивыми, что почти не отличались от согласий — разве что вместе с ними возвращалась рукопись. В том же доггереле, где я высмеивал отказы Горация, в третьем куплете я высмеял и Тони. Куплет следующий:

Друг мой Айзек, твой рассказ
Увлек меня тотчас.
Так гладко,
И в достатке
В нем славных, чудных фраз.
Я без оглядки
В загадки
И мир был
Погружен.
Вдобавок
И сюжетом,

[72] Примечания: 72

«Meretricious» созвучно поздравлению с Рождеством — «Merry Christmas». — Прим. ред.

И этим
Сильным слогом
Я сражен.
Несладко,
Почти гадко
Здесь сказать,
Что надо кой-какие мелочи убрать.
Так, пустячок,
Всего штришок,
Черкнешь разок —
И хорошо.
Добавлю я,
И не тая:
Ты молодец,
И сей конец
Пронзил меня
От ног до головы.
P. S.
Скажу еще как есть
(И знаю, это стресс),
Рассказ приложен здесь к письму, увы.

Если у Тони и был недостаток, так это, что

иногда он неприлично долго разбирался с рукописями. Это обычная жалоба писателей на редакторов, но вообще-то задержку понять можно. Редакторы даже маленьких фантастических журналов получают рассказы в огромных количествах, в основном от неизвестных и начинающих авторов (так называемый «самотек»). В больших глянцевых журналах есть «ридеры», чья единственная задача — просматривать рукописи и быстро отсеивать бесперспективные варианты, чтобы редактору приходилось читать только те немногие, у которых есть хотя бы отдаленная надежда на публикацию.

Но в фантастических журналах разбирать самотек часто приходится самому редактору. Можете себе представить, как замыливается глаз после сотен непригодных текстов. Настает момент, когда читать уже больно, но надо — на случай, если где-то в самотеке кроется будущий Хайнлайн, — и поэтому читает редактор медленно.

Писатели не всегда осознают физические и психологические трудности работы с самотеком. Иногда не понимают, что не к каждому из великого множества отказов неизвестным писателям можно приложить письмо с подробным разбором недостатков. Иногда в настоящем отказе нужно

сказать: «У вас не видно никакого писательского таланта», — а редакторы ненавидят так говорить. Вот почему прилагается формальный отказ — пустой и неинформативный.

Я в качестве номинального редактора журнала (до этого я еще дойду) получаю письма с жалобами, что, когда я еще сам был новичком, Кэмпбелл писал мне длинные полезные письма. Почему же я не хочу помочь начинающим?

Ну, во-первых, у Кэмпбелла была великая миссия в жизни — посылать длинные письма (и не всегда, кстати, полезные), а у меня — нет. Во-вторых, он писал только многообещающим писателям. А очень, очень значительное большинство получало те же формальные отписки, как и от любого другого редактора.

Иногда начинающие даже не понимают необходимости прикладывать конверт с маркой и обратным адресом на случай отказа.

Однажды я, как редактор, получил письмо от разгневанного новичка, который спрашивал, неужели он не стоит даже грошовой суммы на марку. Я ответил, что, разумеется, стоит, но нам каждую неделю приходится возвращать сотни рукописей, почтовые расходы быстро станут невыносимыми. Куда проще, сказал я, чтобы

каждый писатель сам оплачивал расходы на отказ, а не заставлял тратиться журнал. Ответа я, конечно, не получил.

Я очень уважал Тони Бучера, как и все, но единственный случай, когда мне удалось содержательно с ним пообщаться, — это конвенция 1955 года, где он вел банкет. Он опечалил всех нас смертью в 1968 году, всего в пятьдесят семь лет. На редакторском посту его сменил ответственный редактор Роберт Парк Миллс, о котором я расскажу позже.

77. Рэндалл Гаррет

Я встречался с Рэндаллом Гарретом и раньше, но по-настоящему с ним познакомился на Кливлендской конвенции. За те дни мы стали закадычными друзьями.

Он был на семь лет младше меня, чуть повыше и (как и я в то время) заметно полноват. Но мы с ним были одинаково дружелюбными и шумными экстравертами. С той лишь разницей, что он много пил, а я не пил вообще, но, когда мы куролесили вместе, разницы никто не видел. Мы были так похожи внешностью и поведением, что однажды, когда оба вышли на сцену на фантастической конвенции, убийственно язвительный Харлан Эллисон выкрикнул: «А вот и они: Труляля и Траляля».

А я крикнул в ответ: «Встань между нами, Харлан, будешь дефисом».

Я называл Рэндалла Рэнди, но под конец жизни он настаивал на обращении Рэндалл, и я прислушался к его пожеланию. В 1950-х Рэндалл был невероятно плодовитым автором рассказов, они так и текли рекой под разными псевдонимами,

хотя особого внимания заслуживают немногие.

Он был остер на язык и устрашающе умен. Писал отменные юмористические стихи — бесконечно лучше, чем получалось у меня. Он и песни Гилберта и Салливана пел лучше меня. Еще умел лепить из глины практически вылитые копии персонажей из комикса «Пого».

Он из всех моих знакомых, пожалуй, идеальнейший пример сверходаренного человека, который попросту зарыл таланты в землю. Отчасти, думаю, из-за алкоголизма, а отчасти потому, что таланты были настолько разномастные, что он не мог определиться, какой развивать.

Однажды мне сказала знакомая редактор:

— Не выношу Рэндалла. Он громкий, не затыкается и постоянно флиртует с женщинами.

Я смущенно ответил:

— Но это же в точности я!

— Не совсем! — ответила она. — Ты умеешь выключаться.

Истинному пуританину не приходится выбирать поведение. Он всегда трезв, серьезен и осуждает веселье. Алкоголику тоже выбирать не приходится. Он всегда веселый, разбитной и придурковатый. Но мне выбирать приходится — быть веселым или серьезным, под стать си-

туации.

Неспособность Рэндалла «выключаться» дорого ему обошлась. Его не принимали всерьез, хотя он того заслуживал.

В итоге он переехал в Калифорнию, и я потерял с ним связь. Но еще одна встреча состоялась. В декабре 1978 года я приезжал в Калифорнию. (Да, сложно поверить, но я до этого еще дойду.) 12 декабря я выступал с речью в Сан-Хосе, и на нее пришел Рэндалл.

Я вещал врачам и юристам о будущем медицины и много рассказывал о клонах. (Тут надо понимать, хотя в речи я об этом не упомянул, что клон человека — того же пола, что и сам человек. Но, понятно, у мужчин есть хромосомы X и Y, а у женщин — две хромосомы X. Следовательно, если хромосому Y у клона-мужчины заменить на X, он станет женщиной.)

Во время моей долгой речи о клонах Рэндалл молча подошел к кафедре и положил передо мной бумажку. Я прочитал ее, не отвлекаясь (не так просто, как можно подумать), и сразу понял, что это юмористические стихи о клонах на мелодию «Home on the Range»[73]. И пропел их под

[73] Примечания: 73

Традиционная ковбойская песня, впервые упомянутая в 1871 году. — Прим. ред.

завершение, вызвав бурю аплодисментов.

В итоге я написал еще четыре строфы и исполнял так называемую «Песню о клонах» бессчетное количество раз на многочисленных мероприятиях. Я уже писал юмористические стихи, но ни одни не снискали такой популярности, как «Песня о клонах». И в этом нет ничего удивительного, ведь придумал их Рэндалл, а не я. Вот, если вам интересно, слова песни:

(1) О, мне нужен клон,
Из генов моих рожден,
И сменить бы ему «уай» на «экс»:
Парочка хромосом —
И мой маленький клон
Во мне пробудит рефлекс.

(Припев) Ты она, а не он,
Раз сменили тебе «уай» на «экс».
И когда мы вдвоем,
Я и мой клон,
У нас в мыслях будет лишь секс.

(2) «О, мне нужен клон» —
Мой слышится стон.
Клон из генов моих рожден.

Коль она «экс»-«экс»
И любит секс,
О, мы с ней позабудем про сон.

(3) Как я благословлен,
И навеки смятен
Красой моей маленькой «экс».
Так вопрос сей решен —
Мы вдвоем обретем
Инцест лучше, чем Oedipus Rex[74].

(4) Здесь протест лишь у тех,
Кто не любит утех.
Чем сей секс заслужил резкий тон?
Вы поймите меня:
Раз мы оба есть я,
Я один, коли даже вдвоем.

(5) А коль я выходной —
Ей не скучно одной:
Ведь склонирую трижды себя.
И два клона других
Будут сплошь мужики,

---

[74] Примечания: 74
Царь Эдип (лат.) — Прим. пер.

И залюбят ее за меня.

Через несколько лет после последней встречи Рэндалл заболел менингитом, который выжег его разум. Проведя несколько лет в бессознательном состоянии, он скончался в декабре 1987 года в возрасте шестидесяти лет.

78. Харлан Эллисон

Самый колоритный персонаж, с которым я познакомился на фантастических конвенциях 1950-х, — Харлан Эллисон, на тот момент — вчерашний подросток. Он утверждает, что его рост — метр шестьдесят, но это неважно. Если мерить по таланту, энергии и смелости, он двухметровый.

Он родился в 1934 году, и детство его выдалось несчастливым. Будучи всюду самым маленьким и невероятно умным, он обнаружил, что легко может разнести окружающих его остолопов. Но только словами — а вот остолопы могли разнести его кулаками. Все детство (как однажды сказал о себе Вуди Аллен) его колотили все вокруг вне зависимости от расы, цвета кожи и религии.

Это его ожесточило и вовсе *не приучило* держать рот на замке. Наоборот, когда он вырос, поставил целью научиться разным боевым искусствам, и вот пришло время, когда его стало опасно задирать даже амбалам, потому что Харлан управился бы с ними без проблем. (Меня это глубоко восхищает — когда по похожим причинам издевались

надо мной, я изучал только искусство убегать и прятаться. Но должен признать, что никогда не обладал таким же ядовитым языком, так что надо мной, в сравнении с ним, издевались гораздо мягче.)

Харлан пользуется своим даром к красочным и разнообразным оскорблениям против всех, кто его раздражает, — навязчивых поклонников, косных редакторов, бездушных издателей, агрессивных незнакомцев. Ущерб небольшой, но молодые девушки из редакторов, не привычные к эксцентрике писателей, такое переносят тяжело. Он доводит их до слез за три минуты. Результат — с ним опасаются иметь дело многие редакторы, а заодно и люди из Голливуда (ведь Харлан не просто фантаст — он *писатель* во всех смыслах этого слова). Более того, он столь колоритный и самобытный, что многим даже нравится говорить о нем дурно.

И зря — по двум причинам. Во-первых, он (на мой взгляд) один из лучших писателей в мире, и уж точно куда техничнее меня. Просто безобразие, что его постоянно впутывают и вмешивают в дела, которые не имеют никакого отношения к творчеству, но ужасно его замедляют.

Во-вторых, Харлан — не тот, кем кажется. Он

получает извращенное удовольствие от демонстрации своих худших сторон, но если закрыть на это глаза и пробраться за его дикобразьи иглы (хоть при этом нет-нет да и уколешься), то под ними найдешь теплого, преданного человека, который пожертвует последней каплей крови, чтобы кому-нибудь помочь.

У меня и самого есть какой-никакой талант к оскорблениям, и, насколько знаю, я единственный способен продержаться против него на сцене дольше полминуты и не погибнуть. (Кажется, меня хватает аж на целых пять минут.)

Мне наши с ним публичные стычки нравятся так же, как с Лестером дель Реем и Артуром Кларком. Для нас-то это игра.

Но в разговоре один на один между нами не проскочит и дурного слова, и когда я говорю, что он теплый и преданный, больше никого не слушайте. Я лучше знаю, и я прав.

Последнее. Харлан невероятно обаятелен, и я со счета сбился, со сколькими высокими красивыми барышнями он встречался. Всего он был женат пять раз. Первые четыре брака — короткие и катастрофичные, но пятый — с милой девушкой Сьюзан — выглядит устойчивым, Харлан вроде бы оттаял. Я на это надеюсь. Он заслуживает

больше счастья, чем ему выпадало раньше[75].

[75] Примечания: 75
Харлан Эллисон скончался 28 июня 2018 года. — Прим. ред.

79. Хэл Клемент

Переехав из Нью-Йорка в Бостон, я оставил (думалось мне в печали) мир фантастики позади. Как оказалось, не тут-то было. Бостон — живой центр фандома, и в особенности любители фантастики переполняли Массачусетский технологический институт. К примеру, в этом учебном заведении хранится одна из самых крупных в мире коллекций старых фантастических журналов, а еще там каждый год устраивают пикник на холмах к югу от Бостона. Я всегда приходил и иногда даже, поддавшись уговорам, присоединялся к студентам в их походе на вершину холма. Куда легче было уговорить меня съесть все лакомства, что они брали с собой, — такое сочетание ядовитого фастфуда восхищало меня до глубины души.

Еще в Бостоне находился клуб любителей фантастики, где в итоге начали проводить конвенции под названием Боскон. Это словечко из знаменитого произведения Э. Э. Смита «Галактический патруль» («Galactic Patrol») — сериала из четырех частей, который начался в сентябрьском *ASF* 1937 года и который, когда я его впервые

прочитал, показался мне лучшим романом на свете (хотя он и не выдержал проверку временем, когда я перечитал его во взрослом возрасте). Еще «Боскон» — это сокращение от «Бостонской конвенции». В конце концов Босконы стали уступать размером и разнообразием только Всемирной конвенции.

В Бостонском клубе научной фантастики я и познакомился с Хэлом Клементом, которого на самом деле зовут Гарри Клемент Стаббс. Он родился в 1922 году и взрослую жизнь проводит за преподаванием естественных наук в Милтонской академии, а поскольку он решил развести свои научную и писательскую карьеры, скрыл фамилию и сократил имя. Он не самый плодовитый писатель, но все его рассказы отличаются строгой приверженностью научным фактам и обоснованным научным гипотезам.

У Хэла Клемента грубое лицо, но сам он тихий и вежливый. Это мягкий человек. Время от времени он указывает на ошибки в моих научных статьях, но с такой добротой и даже робостью, что обижаться невозможно — если бы я вообще был из тех, кто обижается на замечания. Каждый раз, когда он меня поправлял, я прислушивался, потому что он всегда прав.

На Всемирной конвенции 1956 года в Нью-Йорке мы с Хэлом сняли один номер на двоих. (Спрэг де Камп сделал из него хранилище для своих алкогольных закромов, чтобы всё не выхлебали алкоголики из числа фантастов. Он, конечно, знал, что в нашей комнате к алкоголю и пальцем не притронутся.)

Хэл был идеальным соседом, потому что не храпел. (Однажды меня выгнал из комнаты могучий храп соседа, и я бы не повторил этот опыт ни за какие деньги. Джанет говорит, что я храплю, но она не против, потому что по звуку понимает, что я живой. Когда я сплю тихо, что бывает часто, она нервничает и проверяет, дышу ли я еще.)

Хэл посещает почти все фантастические конвенции любых размеров, его обожают фанаты. Жаль, после моего переезда из Бостона мы так редко видимся[76].

---

[76] Примечания: 76
Хэл Клемент умер 29 октября 2003 года. — Прим. ред.

80. Бен Бова

Еще один выдающийся фантаст, с которым я познакомился в Бостоне, — Бенджамин Уильям Бова, всем известный как Бен Бова.

Он родился в 1932 году, при нашей первой встрече ходил с ежиком, но сейчас уже отрастил шевелюру. У него отличное чувство юмора, и мы любим обмениваться байками. Он же — источник лучших из них.

Бова начал издаваться только в 1959 году, но с тех пор пишет непрерывно. Он тоже из тех фантастов, что чувствуют себя в научпопе как дома.

Большой прорыв в карьере Бова произошел в 1971 году, когда после смерти Кэмпбелла его взяли редактором *ASF*. Заменить Кэмпбелла — задачка не из легких, но Бен достойно выполнял ее в течение семи лет. Затем он стал редактором *Omni*, нового глянцевого журнала. Еще позже начал общаться с сообществами, заинтересованными в исследованиях космоса, и в итоге писал на эту тему блестящие книги.

Когда распался первый брак, Бен (человек итальянского происхождения) признался мне, что,

кажется, влюблен в «хорошую еврейскую девушку». Я в шуточной тревоге предложил одолжить ему денег, чтобы он скорее сбежал из города, но он влюбился всерьез. И в итоге женился на Барбаре — энергичной и привлекательной брюнетке, для которой это тоже был второй брак, — и с тех пор они живут счастливо.

Бен всегда был мне замечательным другом. Временно выйдя из строя в 1977-м, я попросил его подменить меня на некоторых мероприятиях, куда никак не мог приехать. Я нисколько не переживал, потому что слышал его выступления и знал, что он очень хорош. Он мне услужил и при этом везде просил, чтобы оплату за речи пересылали мне. Я ужаснулся и, можете не сомневаться, прямо его предупредил, что если мне придут чеки, то я их тут же порву. Но вот такой уж он человек[77].

У меня много близких друзей, и мне никогда не надоест удивляться, как же мне повезло встретить столько чудесных людей.

---

[77] Примечания: 77
Бен Бова умер 29 ноября 2020 года. — Прим. ред.

81. Выше головы

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто все мои тексты — одного качества. У каждого из нас бывают удачные и неудачные деньки. Я писал, да и до сих пор пишу рассказы, которые пристыженно зову «вторичным Азимовым». Но мне нравится думать, что (не считая пары самых ранних текстов) и вторичный Азимов не так уж плох.

С другой стороны, иногда я пишу лучше обычного. Это я называю «писать выше головы», и, перечитывая такие рассказы или отрывки, сам поверить не могу, что это мое, и страстно мечтаю писать так все время.

Это можно назвать «войти в раж». Все идет как по маслу, словно у бейсболиста, который за один матч проделывает четыре хоумрана, а потом, может, никогда не сделает и двух.

Когда я вручал «Хьюго» в Питтсбурге в 1960-м, одним из победителей стал роман «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, который я просто обожаю. Это явно одно из лучших фантастических произведений в истории, и, объявляя победителя,

я долго расписывал его великолепие.

— Как Дэн это сделал? — требовал я ответа у мира. — Как Дэн это сделал?

И тут почувствовал, как меня тянут за рукав, — это оказался Дэниел Киз, дожидавшийся «Хьюго».

— Слушай, Айзек, — сказал он, — если узнаешь, как я это сделал, мне тоже скажи. Я не прочь повторить.

Пожалуй, я писал выше головы, и когда работал над «Приходом ночи». Не могут же его так расхваливать, если он не лучше моего обычного уровня, хотя, если честно, сам я этого не замечаю. Как-то раз я его перечитывал, уже много лет назад, просто чтобы проверить, пойму ли, из-за чего весь сыр-бор. Возможно, конструкция необычная. Каждая сцена (если я правильно помню, потому что больше перечитывать не собираюсь) обрывалась. Не доводя ее до логичного завершения, я уже уносился в другом направлении, а потом снова прерывал ход действия. Это создавало безудержный и стремительный темп. В начале я заявляю, что через четыре часа произойдет катастрофа. Четыре часа пролетают в дикой спешке — и потом действительно настает катастрофа.

Может быть, история написана так, что на-

пряжение растет все сильнее и сильнее, пока не взрывается. Если дело в этом, то я вам клянусь — сознательно я ничего такого не планировал. Это не намеренный прием. В 1940-м я еще такого не умел. Я просто писал выше головы.

В моем любимом рассказе, «Последний вопрос», выше головы получился не стиль, а идея и то, как я построил кульминацию. Мне много лет звонили и спрашивали о рассказе, который когда-то читали, но забыли название и сомневались в авторстве, — хотя, *возможно*, автор я. Зато они могли опознать рассказ по последнему предложению и спрашивали, где его можно перечитать. И это всегда был «Последний вопрос».

Мой второй любимчик — «Двухсотлетний человек» («The Bicentennial Man»), который вышел в антологии оригинальных рассказов в 1976 году. Вот это наконец-то литература. Недавно я его перечитывал и поражался, насколько же он лучше моего обычного уровня.

Третий любимчик, «Уродливый мальчуган», необычен по той же причине. Как правило, мои рассказы интеллектуальные, а не эмоциональные. Тогда как же вышло, что в этом рассказе эмоции нарастают вплоть до того, что в конце читатель просто не может не расплакаться? Я и

сам плачу каждый раз, когда его перечитываю, но я-то плачу по поводу и без. Впрочем, однажды я *рассказал* сюжет публике, после чего в зале воцарилась тишина, потому что сбегающие по щекам слезы бесшумны.

Когда Робин исполнилось двенадцать-тринадцать, я дал ей почитать этот рассказ, и она периодически выходила из своей комнаты, чтобы заверить, что ей очень нравится. Потом я ее долгое время не видел. Наконец она вышла с красным опухшим лицом и предосудительно уставилась на меня заплаканными глазками: «Ты *не сказал*, что будет грустно», — заявил она.

Вот *это* я писал выше головы.

Не хочу сказать, что все мои рассказы великолепны. Сам с трудом найду что-то подобное «Двухсотлетнему человеку» и «Уродливому мальчугану». Но мой самый главный и эффектный текст, написанный выше головы, — не рассказ, а отрывок романа.

Этот роман — «Сами боги» («The Gods Themselves», Doubleday, 1972). В нем три части, и во второй рассказывается об инопланетянах в другой вселенной. Рискну снова нарваться на обвинения в «исполинском эго» и заявить, что это лучшие инопланетяне в истории фантастики

и лучший текст, что я писал или, скорее всего, напишу. О чем получал немало подтверждений от читателей.

Скажу еще несколько слов на эту тему…

В нон-фикшне писать выше головы гораздо труднее. На мой взгляд, ближе всего я к этому подошел в статье «Священный поэт» («A Sacred Poet») в сентябрьском *F&SF* 1987 года. Обычно я в таких статьях рассуждаю на научную тему, но в тот раз двинулся в ином направлении. Тогда я как раз поспорил с ученым, которого считал узколобым, и в результате решил написать статью о поэзии.

Я не такой дурак, чтобы мнить, будто в состоянии что-то сказать о литературном качестве поэзии. Мне просто хотелось написать о стихах, которые *трогали* людей и влияли на их действия. Например, начал я с Оливера Уэнделла Холмса и его стихотворения «Старый броненосец» («Old Ironsides») вызвавшего бурю общественных протестов против отправки корабля на слом, — стихотворения, благодаря которому этот корабль существует и поныне.

Я боялся, что получу прохладные письма в духе: «Пиши-ка лучше про науку, Азимов. Гуманитарий из тебя никакой». Но нет! На меня обрушился

поток писем больше, чем из-за любой другой статьи, и все до единого — одобрительные. Даже ни одного критика.

82. Прощай, фантастика

Я уже много рассказывал о 1950-х, десятилетии моих главных фантастических побед. Потому странно, что с концом 1950-х я перестал и работать в жанре.

После «Уродливого мальчугана» я просто как будто иссяк — по крайней мере, частично. Я уже говорил, что иногда фантасты исписываются. Обычно, на мой взгляд, на это уходит десять лет. В моем случае — двадцать. Но почему? Я и сам об этом часто задумывался.

Во-первых, я отдалился от Кэмпбелла и его странных идей. Еще я отстранился от Горация Голда и не считал надежным рынком *F&SF*. Я устал писать даже романы. В 1958-м начал третий роман о роботах, довольно быстро увяз и не мог заставить себя продолжать. Потом еще много лет я убеждал Doubleday забрать аванс в 2000 долларов, выданный за него.

Во-вторых, еще когда я писал «Уродливого мальчугана», Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли и вогнал Соединенные Штаты в панику — они боялись отстать в

гонке технологий. Мне казалось, что необходимо писать научные книги для общественности и просвещать американцев.

Поэтому не подумайте, я не страдал от писательского блока. Я просто сменил основное направление. Работал я не меньше прежнего, все те же долгие часы, что и всегда, но около двадцати лет писал не художественную, а научно-популярную литературу.

И не без переживаний. Зная, что мой главный источник денег — художественная литература, я ожидал резкого снижения ежегодного дохода — как раз когда не мог рассчитывать на постоянную зарплату от школы. Я пытался себе втолковать, что научпоп — это патриотично, а ради патриотизма надо быть готовым и пострадать, но, если честно, это не очень успокаивало.

Впрочем, все вышло не так, как я ожидал. Во-первых, писать научпоп куда проще и интереснее, чем фантастику, а значит, как раз этим мне и стоило заняться, став писателем на полную ставку. Если бы я писал *фантастику* на полную ставку, тогда бы наверняка надорвался.

А кроме того, стоило мне подумать, что надо бы писать о науке для общественности, как издатели решили, что надо бы выпускать такие книги. В

результате они сметали все, что я писал, при том что я писал на полной скорости. Доход не упал, а резко возрос.

Поразился ли я? Не то слово.

Но не все было столь радужно. После моего ухода с фантастикой случилось то же, что и с химией, пока я тратил время на работу в NAES и службу в армии. Произошла революция.

В конце концов, в фантастике, как и в любой другой сфере, есть мода. В первые лет десять журнальная фантастика ориентировалась на действие. Многие рассказы были, по сути, вестернами на Марсе, так сказать, и писали их авторы, ничего не смыслившие в науке.

С 1938 года все перевернул Кэмпбелл. Он настаивал, чтобы героями стали настоящие ученые и инженеры, которые говорят как живые люди. Сюжеты основывались на идеях и загадках, и мне это давалось особенно хорошо.

Думаю, я даже лучше Хайнлайна (ему никто не указ) воплотил все, о чем мечтал Кэмпбелл. Рассказы о роботах и еще в более значительной степени цикл «Основание» были его детищами, и фантасты в 1940-е и 1950-е, сознательно или подсознательно, пытались следовать моему примеру.

Но потом пришли 1960-е — и снова настали радикальные перемены. Выросло новое поколение фантастов. Телевидение прикончило обычные литературные журналы. Новые писатели лишились своего естественного рынка и переключились на научную фантастику, потому что она пережила напор телевидения. Они принесли то, что потом назвали «Новой волной». Стали появляться истории, насыщенные эмоциями и стилистическими экспериментами, а также откровенно сюрреалистические и непонятные вещи.

Словом, фантастика стала совершено «неазимовской», и я радовался, что чутье подсказало мне оставить жанр. Куда лучше уйти добровольно, чем когда тебя изгоняют как устаревшего.

Еще я горько думал, что не смог бы вернуться, даже если бы захотел. Жанр оставил меня позади, как оставила позади химия с приходом магнитного резонанса и квантовой механики.

83. The Magazine of Fantasy and Science Fiction

Но тут случилось странное. Хоть я и не писал фантастику в 1960-х, я все же остался в большой тройке — отчасти потому, что продолжали продаваться мои романы, отчасти благодаря публикациям в антологиях. Но самая важная причина связана с решением, принятым с конкретной целью — и она, о чудо, оказалась достигнута. (Обычно у меня не настолько точный прицел.)

Все произошло при помощи Роберта Парка Миллса, сперва ответственного редактора *F&SF*, потом, начиная с сентября 1968-го, — главного редактора, заменившего Тони Бучера. Бобби Миллс был высоким и нескладным, с угловатой челюстью, выпиравшей с обеих сторон прямо под ушами. Он тоже из тех, кто говорил медленно и тихо. Миллс родился в 1920-м, и у нас с ним, как и с Фредом Полом, разница в возрасте всего в пару недель.

В 1957-м у *F&SF* появился сестринский журнал. Он назывался *Venture Science Fiction* («Приключенческая научная фантастика»), а Боба Миллса

назначили редактором. В стремлении внедрить что-нибудь новенькое он попросил меня вести регулярную колонку о науке.

Я и так время от времени писал нон-фикшн для *ASF*, но меня это не удовлетворяло. Кэмпбелл не давал полную свободу действий — он четко представлял себе, какие статьи хочет, и порой отвергал мои варианты.

В *Venture* предлагалась не просто регулярная колонка, но и полная свобода. Я мог писать о чем хочу и как хочу — главное, укладываться в сроки. Именно этого я и искал, а поскольку я не боялся сорвать дедлайн, я сразу ухватился за такую возможность.

Я тут же написал эссе для седьмого, январского *Venture* 1958 года. Еще три вышли в восьмом, девятом и десятом номерах, но на десятом журнал прекратил существование. Мои дни колумниста закончились так быстро (а ведь я только вошел во вкус), что я даже разозлился.

Как бы там ни было, 12 августа 1958 года я обедал с Бобом Миллсом. Он только что стал новым редактором *F&SF* и предложил перенести мою колонку туда — в издание, очевидно, куда более стабильное, чем *Venture*.

Я был на седьмом небе от счастья. Я уже окон-

чательно решил, что больше не буду писать фантастику, но совсем уходить из жанра не хотелось. С колонкой в *F&SF* я бы появлялся каждый месяц в одном из главных научно-фантастических журналов и оставался бы на виду у публики.

Я, конечно, согласился, потому что все условия оставались прежними. Полная свобода, главное — укладываться в сроки.

И я, и журнал сдержали свое слово. Первая колонка появилась в ноябрьском *F&SF* 1958 года и с тех пор вплоть до сегодняшнего дня, почти тридцать два года спустя, я ни разу не опоздал к сроку и не пропустил ни одного номера, несмотря на все превратности судьбы. Сдержали слово и Боб Миллс и все последующие редакторы. Они ни разу не предлагали тему, ни разу не отклоняли статью и каждый раз прилежно присылали мне финальную верстку, чтобы все вышло так, как я хочу.

Я так и не потерял вкус к статьям в *F&SF* — они остаются моей самой любимой работой (несмотря на то что и платят за них меньше всего). Хотя я уже написал 375 статей, около 4 тысяч слов в каждой (всего 1,5 миллиона слов), у меня не иссякают ни идеи, ни желание.

Более того, статьи сослужили для меня добрую

службу, как я и рассчитывал. Сохранили мое имя на глазах у любителей фантастики и сильнее всего прочего гарантировали, что я не вылечу из большой тройки. (Правда, даже этот двадцатилетний пробел не остался *совсем* без фантастики, что я объясню в свое время.)

Мы с Бобом Миллсом всегда поддерживали теплые отношения. В статьях я часто называл его «Любезным Редактором». Вообще-то он и фанатам запомнился именно под этим прозвищем. Когда в 1962 году он ушел, уступив место Аврааму Дэвидсону, тот чуть ли не первым же делом сообщил мне, что не хочет, чтобы его называли «Любезным Редактором».

Мог бы и не переживать. Аврам — перворазрядный писатель, но как человек ужасно вздорный, я бы в жизни не назвал его «любезным».

Боб около двадцати лет проработал литературным агентом, а в середине 1980-х ушел на пенсию и переехал в Калифорнию. Там он довольно неожиданно скончался в 1986-м в возрасте шестидесяти шести лет.

84. Джанет

На протяжении всех 1950-х, полных побед в фантастике и провалов в медицинской школе, я еще вел и личную жизнь. Дети росли, а мы с Гертрудой старели — и всё больше не выносили друг друга.

Вряд ли браки портятся в одночасье. Это не как упасть с обрыва. Просто раздражение множится, противоречия становятся неразрешимыми, прощение дается все с большим трудом и меньшей искренностью. И вот приходит день, когда ты уже качаешь головой, понимая, что брак зашел в тупик.

Не знаю, когда это случилось со мной — наверное, около 1956-го, после четырнадцати лет совместной жизни. Гертруда уже заговаривала о разводе, но тут о нем всерьез задумался я. Это казалось невозможным — в моей семье не было разводов. Мать и отец прожили вместе пятьдесят лет. Временами им было тяжело, но никто и слова не говорил о разводе. Это казалось чем-то невероятным и немыслимым.

Меня бы мысль о разводе привела в ужас, даже

если бы речь шла только об одной Гертруде, но ведь у нас еще были Дэвид и Робин. Даже если бы я заставил себя развестись с Гертрудой, не мог же я бросить двух маленьких детей из-за личного несчастья. Поэтому я вздохнул и твердо решил держаться, пока не вырастут дети — а там, кто знает, и дела могли пойти на поправку.

Несчастье оставило меня в уязвимом эмоциональном состоянии и заложило основу для удачной встречи с Джанет Опал Джеппсон.

Наше знакомство произошло в 1956-м, а я об этом даже не знал. У Джанет есть младший брат Джон, учившийся в школе медицины Бостонского университета — он числился на последнем курсе биохимии, где я преподавал. Он был фанатом фантастики и обратил в истинную веру и свою сестру. Он же рассказал ей обо мне и о том, какой я замечательный лектор и эксцентричный малый. Это пробудило ее любопытство.

В 1956 году Всемирную конвенцию проводили в Нью-Йорке, и Джанет (она родилась 6 августа 1926 года и ей как раз исполнилось тридцать) приходила на некоторые встречи, среди прочего планируя найти меня и получить автограф на книгу. К сожалению, я тогда страдал от почечных колик.

Начались они в 1948 году. Долго не продлились, я все списал на внезапное несварение и думать о них забыл. В 1950-м боль вернулась с новой силой — меня даже госпитализировали и держали на морфине (единственный раз в моей жизни). С 1950-го по 1969-й я пережил как минимум пару десятков приступов, и даже самый слабый был крайне мучительным. Потом они закончились по причинам, до которых я дойду позже.

Но в 1956-м приступ был ужасный. Я изо всех сил старался выполнять свой долг и подписывал книги для очереди, но сидел с устрашающе хмурой миной (вообще-то выражением умеренной боли), поэтому не был, как обычно, бодр и обаятелен.

Подошла Джанет со «Вторым основанием», я спросил ее имя.

— Джанет Джеппсон, — сказала она.

— И чем вы занимаетесь? — спросил я, подписывая книгу, просто чтобы поддержать разговор.

— Я психиатр, — сказала она.

— Хорошо, — ответил я машинально, закончив. — Нам надо вместе поработать на кушетке.

Я на нее даже не взглянул, и не сомневайтесь — в тот момент, с моими камнями в почках, я и не мечтал о супружеской измене.

Много лет спустя Джанет мне сказала, что ушла с мыслью: «Что ж, может, писатель он и хороший, но тот еще *тип*».

«Типами» Джанет всегда называла неисправимо тяжелых людей.

В тот момент я не имел ни малейшего понятия, что натворил — что практически выкинул будущее счастье и чуть не испортил все самое лучшее в своей жизни.

Но оказалось, промашку еще можно было исправить, и пришло время, когда я узнал о Джанет все.

Она страдала от низкой самооценки. Это началось не сразу — в детстве она была красива, как куколка, с волосами как лен и голубыми глазками, родители носили ее на руках. Когда ей было девять лет, родился ее брат Джон. Ей пришлось много за ним ухаживать, так что ее отношение к нему так и осталось капельку материнским.

Проблема в том, что, пока ее ровесницы росли все выше и выше, Джанет оставалась крошкой. В итоге она вымахала до метра семидесяти, но, как и многие дети скандинавского происхождения, медленно развивалась физически. (Но не умственно. Она значительно умнее своих фигуристых подруг, хотя и это не упрощало ей жизнь.)

Во взрослом возрасте Джанет не отличалась классической красотой. У нее маленький подбородок, который, как она думает, ей не к лицу. Она не считала себя красавицей и усердно училась, поэтому не вела активную социальную жизнь. В тридцать лет у нее уже была степень бакалавра в Стэнфордском университете, магистра — в школе медицины Нью-Йоркского университета, она прошла интернатуру по психиатрии в больнице Бельвью и училась в Институте психоанализа Уильяма Алансона Уайта. Так что у нее сложилась карьера, которая дала ей достойное дело и обеспечила созидательную жизнь вне зависимости от замужества.

Наша встреча мельком в 1956 году не отвратила ее от моего творчества, и она подумала — судя по тому, что увидела во мне по книгам, — что я не такой уж «тип», каким себя показал. Она решила дать мне второй шанс.

В 1959 году Ассоциация писателей детективов Америки устраивала в Нью-Йорке ежегодный банкет, и я — человек, написавший детектив, не снискавший никакого успеха, — решил сходить. На это меня подбил бостонский друг Бен Бенсон, автор серии популярных детективов о полиции штата Массачуссетс. Мне нравились его книги

и сам Бен, который прошел Вторую мировую войну, но теперь страдал от больного сердца. Я не думал, что встречу на конвенции детективщиков знакомые лица, зато Бен мог меня с кем-нибудь познакомить.

Банкет назначили на 1 мая, а в предыдущий вечер, ужиная в гостях у редактора, я узнал, что у Бена Бенсона случился сердечный приступ и он скончался на нью-йоркской улице. Я ужасно расстроился и весь вечер сомневался, не стоит ли уехать обратно в Бостон. Без Бена не хотелось идти ни на какой на банкет.

На следующий день я зашел к Бобу Миллсу, который тоже планировал пойти, и надеялся, что он меня подбодрит, но не тут-то было. Боб тоже хандрил из-за каких-то трудностей по работе. Я еще сильнее захотел вернуться в Бостон, не подозревая, что в таком случае неприятность 1956 года повторится, а моя жизнь будет сломана.

К счастью, как раз перед моим уходом в кабинет Боба заглянула Джудит Меррил. Джуди — одна из редких важных писательниц фантастики того времени, ее самый известный рассказ — «Только мать…» («That Only a Mother») вышел в июньском *ASF* 1948 года. Она была третьей женой Фреда Пола.

Джуди меня растормошила и уговорила пойти на банкет, где, заверяла она, меня наверняка ждут, причем с нетерпением. Я поддался уговорам и за это буду вечно благодарен Джуди.

А рассадкой на банкете занималась подруга Джанет, писательница детективов Вероника Паркер Джонс. Вероника уговорила ее сходить, потому что там выступала Элеонора Рузвельт, а Джанет можно было посадить рядом с Айзеком Азимовым и Хансом Сантессоном.

Приехав, я обнаружил, что Джуди права. Там многие знали меня, многих знал я, и вскоре я уже чувствовал себя как на фантастической конвенции и наслаждался.

Наконец пришло время рассаживаться, за мной пришел Ханс Стефан Сантессон. Это был пухлый малый с брюшком и гладким овальным лицом, говоривший со слабым шведским акцентом. Он работал редактором *Fantastic Universe Science Fiction* («Фантастическая вселенная»), куда я время от времени продавал рассказы. (Он умер в 1975 году, в шестьдесят один год.)

— Идем, Айзек, с тобой хотят познакомиться, — сказал он. Посмотрев в указанном направлении, я увидел за столом Джанет Джеппсон, которая мне широко улыбалась.

Тогда мое одинокое сердце чего-то искало, но не красоты. Красоты у меня было в достатке, и счастья она не приносила. Я искал чего-то еще — и сам не знал, чего, и, пожалуй, даже не осознавал, что вообще *ищу*.

Томился я, наверное, по теплу, приятной нетребовательной привязанности, а красота в этом отношении — дело десятое. В общем, чего бы я не искал, за тем ужином я это нашел. Джанет была душевной, непосредственной, веселой и непритворно радовалась общению со мной. К концу ужина она в моих глазах уже была красавицей, и мое мнение с тех пор ни разу не поколебалось. Когда она входит в комнату, и я внезапно вижу ее лицо, мое сердце и сейчас замирает от восторга.

Конечно, и из-за камней в почках я в тот день не мучился, поэтому, как обычно, был полон радости и света. Джанет это понравилось — она решила, что я все-таки не «тот еще тип».

Когда получать премию вышла какая-то энергичная девушка — настолько искусственная, что я подозревал, тронь ее пальцем — и она распадется, Джанет произнесла: «Жаль, я не такая же красивая», — а я от всей души ответил, что она куда лучше.

А когда я признался, что мой детектив, навер-

ное, худший в истории, она решила, что я не такое уж самовлюбленное чудовище, как обо мне говорят.

Впоследствии мы не теряли связь, переписывались. Эта переписка поддержала меня в мрачное время. Периодически я ей звонил. Изредка виделся с ней во время приездов в Нью-Йорк, и все эти контакты укрепили уверенность, что она подходит мне идеально.

Позже я расскажу о ней больше.

85. Детективы

Как я уже рассказывал, в детстве я вместе с фантастикой читал и детективы. С годами я их не бросил, и, более того, когда угас мой интерес к фантастике, интерес к детективам никуда не делся. По сей день детективы — практически единственное легкое чтение, которым я себя балую.

Однако я не люблю современные романы о суровых мужиках, слишком жестокие триллеры или исследования криминальной психопатологии. Я всегда любил, что называется, «уютные детективы» — с ограниченным числом подозреваемых, где тайну раскрывают логикой, а не стрельбой.

Конечно, мой идеал детектива — книги Агаты Кристи, а мой идеал сыщика — Эркюль Пуаро. Еще мне нравились романы Дороти Сэйерс, Найо Марш, Майкла Иннеса и всех, кто пишет литературно, не скатываясь без нужды в секс или насилие. В молодости мне особенно нравился Джон Диксон Карр / Картер Диксон, но, перечитывая во взрослом возрасте, решил, что его

книги слишком эмоциональные и даже неестественные.

Как я хотел писать фантастику, так хотел писать и детективы, и более того — писал. Однажды Джон Кэмпбелл неосторожно заявил, что в жанре фантастики невозможно сделать хороший детектив, потому что следователь всегда может вдруг достать какое-нибудь передовое технологическое устройство, которое раскроет тайну за него.

Про себя я считал это глупостью, потому что надо всего-то с самого начала прописать мир и после уже не вводить ничего нового. Тогда получится правильный фантастический детектив.

В 1952 году Гораций Голд предложил написать роман о роботах. Я отказался, сказав, что справляюсь с роботами только в рассказах.

— Вздор, — ответил он. — Напиши роман о перенаселенном мире, где роботы занимают рабочие места людей.

— Нет, — сказал я. — Слишком грустно.

— А ты напиши детектив, — сказал он, — со следователем и его роботом-помощником, который подхватывает дело там, где оплошает человек.

Так и зародились «Стальные пещеры» — очень хороший фантастический роман и в то же время честный детектив. Впервые (на мой взгляд) эти

два жанра идеально слились вместе.

Потом, чтобы показать, что это не случайность, я написал еще один фантастический детектив — «Обнаженное солнце», продолжение «Стальных пещер». Ко времени выхода второй книги в 1957 году я уже мечтал написать «неразбавленный» детектив, без фантастических декораций.

Так получилось, что редактор детективного направления Doubleday попросил меня написать такой детектив, и я не упустил шанс. Я ничего не знал о полицейских процедурах и предпочитал избегать насилия (если в моих детективах бывает убийство, то только одно и за кадром, обычно до начала), поэтому выбрал местом действия химическую лабораторию в университете. Так у сюжета не было научно-фантастического задника, но был научный.

Я обратился к воспоминаниям о Колумбийском университете, в том числе представлял персонажей, основываясь на знакомых профессорах и аспирантах. Но события, естественно, целиком вымышленные (и слава богу, речь же шла об убийстве). Я показал Doubleday две первые главы, их одобрили, но, когда я прислал весь роман и через некоторое время позвонил о нем справиться, услышал, что мне *отказали*. Не просили что-то

исправить — просто *отказали*. Это мой единственный роман, получивший отказ в Doubleday.

Отказ (вот же я без конца повторяю это слово) случился совершенно не вовремя. Распри с Кифером в медицинской школе близились к развязке, и в Doubleday я позвонил, только чтобы услышать, что роман приняли, и порадоваться хоть чему-то. И тут мне говорят… ладно, не буду повторяться, просто роман не взяли.

Я пал духом. Заперся в лаборатории, долго сидел там и страдал. Потом решил не поддаваться жалости к себе и отвлекся сочинением самого смешного юмористического стихотворения из всех когда-либо мной написанных. Нет, здесь я его приводить не буду — слишком длинное. После мне полегчало, но все равно я еще не достиг обычного лучезарного состояния. Думаю, шок из-за (не буду это повторять) их решения и поспособствовал тому, что в скором времени я переключился на научпоп.

Я пытался продать детектив кому-нибудь еще, некоторое время, но безуспешно. Наконец его взяли в Avon, но без особого интереса. Подозреваю, они надеялись, что в благодарность я напишу для них фантастический роман. (Увы, не написал.) Они выпустили книгу в 1958 году под названием

— не моим — «Дельцы смерти»[78] («The Death Dealers») и с совершенно неудачной обложкой.

Хуже то, что книга провалилась с треском. В Avon даже не старались ее продать, так что отбили лишь долю аванса. Невероятный позор — неудивительно, что вскоре при встрече с Джанет на банкете детективщиков я горько признался, что написал худший детектив на свете. Кстати, это моя единственная книга 1950-х, которая не была ни научной, ни научно-фантастической, хотя в ней, повторюсь, и имелся научный антураж.

И все же «Дельцы смерти» воскресли. В 1967 году один мой издатель, Walker & Company, наткнулся на них на книжной выставке, которую Бостонский университет подготовил в честь выхода моей восьмидесятой книги. Узнав, что детектив уже не продается, Уокер попросил меня забрать книгу у Avon. Я так и сделал, а Уокер выпустил ее в 1968 году в твердой обложке, спустя десять лет после выхода, причем под *моим* названием — «Дуновение смерти» («A Whiff of Death»). Она пережила еще два переиздания в твердой обложке и несколько — в мягкой, не говоря уже о переводах на другие языки, так что

---

[78] Примечания: 78

На русском языке издавался под названиями «Дуновение смерти» и «Постоянная должность». — Прим. пер.

какого-то успеха все-таки добилась. Это придало мне смелости ее перечитать, и я изменил свое первоначальное мнение. Может, это не лучший детектив в истории, но и далеко не худший.

Тем более что в «Дуновении смерти» есть один любопытный момент. Там детектив ирландского происхождения из рабочего класса разгадывает тайну с участием множества интеллектуалов, которые смотрят на него свысока. Детектив Доуни очень скромен, очень уважителен, вопросы задает почти нерешительно, но в итоге оказывается, что он переиграл всех и отлично знал, что делает.

Еще придет время (и уже не уйдет), когда моим любимым телесериалом станет «Коломбо» с Питером Фальком, и я всегда отмечал сходство Коломбо с Доуни. Ни разу не думал, что Коломбо взяли из «Дуновения смерти», а если бы и взяли, то не возражал бы, потому что задумку многократно улучшили. На самом деле из-за сходства мне только интереснее смотреть.

Воскрешение и успех «Дуновения смерти» успокоили меня мыслью, что Doubleday в 1958 году ошиблись, и придали смелости попробовать еще разок, когда в 1975 году Ларри Эшмид (мой редактор в Doubleday на тот момент) попросил

меня посетить съезд Ассоциации американских книготорговцев (American Booksellers Association, ABA). Они редко проводили съезды в Нью-Йорке, и тогда я *мог* прийти, к тому же они праздновали свое семидесяти-пятилетие.

Ларри посылал меня туда не просто для приятного времяпрепровождения. Он хотел, чтобы я познакомился с местным колоритом и написал книгу под названием «Убийство в Эй-Би-Эй» («Murder at the ABA»). И добавил, что ждет книгу к следующему съезду Ассоциации, через год.

— Ты получишь рукопись еще раньше, Ларри, — пообещал я.

— Не рукопись, — ответил он. — А законченную книгу.

Я запаниковал. На написание книги оставалось всего два месяца, я заспорил. Ларри же просто повторил то, что я уже слышал от редакторов миллион раз: «Ты справишься, Айзек».

Я побывал на съезде ABA и написал книгу за семь недель — для сравнения, на фантастический роман у меня уходит от семи до девяти месяцев. Откуда такая разница?

Мне ответ кажется простым. Когда пишешь фантастический роман, нужно придумать футуристическую социальную структуру, самодоста-

точную и интересную вне истории. Еще нужно придумать сюжет, который работает только в этой социальной структуре. Сюжет должен развиваться, не затмевая без надобности описание социальной структуры, и социальную структуру нужно описывать так, чтобы не замедлять без надобности сюжет.

Сделать так, чтобы фантастический роман соответствовал этим двум критериям, трудно даже такому опытному и талантливому мастеру, как я. Любой жанр *проще* фантастики.

Для истории вроде «Убийства в Эй-Би-Эй» не нужно изобретать социальную структуру. Она уже есть — та, что здесь и сейчас. Более того, структура в точности списана со съезда АВА, куда я ходил. Мне оставалось только придумать сюжет. Неудивительно, что на детектив ушло семь недель вместо семи месяцев.

Книга вышла в Doubleday в 1976 году, и я остался ею очень доволен. Мне кажется, она динамично читается — очень приятное достижение. Повествование ведет от первого лица персонаж в духе Харлана Эллисона, Дариус Джаст. (Я, конечно, позаботился о письменном разрешении Харлана и посвятил книгу ему.) Появляюсь и я сам под собственным именем ради комедийной отду-

шины. Шутки ради, мы с Дариусом кое о чем спорим в сносках. Некоторым критикам это не понравилось, но каких только дураков не бывает на свете.

Естественно, я тут же задумался о серии детективов про Дариуса Джаста. Один роман в семь недель — было бы здорово. Увы, ничего из этого не вышло, издательству идея не понравилась. Раз уж я собрался писать, то лучше фантастику, просили они. «Убийство в Эй-Би-Эй» они разрешили только как разовое отклонение.

Ну и ладно, я все равно писал детективы — правда, увы, не романы. В свое время я все объясню.

86. Лоуренс П. Эшмид

За жизнь я встречал множество редакторов, но некоторые, конечно, выступают из общего ряда. Среди них — Джон Кэмпбелл и Уолтер Брэдбери, о которых я уже рассказал. Еще один пример — Лоуренс П. Эшмид.

В 1960-м он работал помощником Ричарда К. Уинслоу, заменившего Тимоти Селдеса на должности моего редактора в Doubleday. Я как раз писал книгу «Энергия жизни. От искры до фотосинтеза» («Life and Energy»), выпущенную Doubleday в 1962 году. Раз я так и не уговорил их забрать две тысячи долларов аванса за третий роман о роботах, который не написал в 1958 году, я уговорил их считать это авансом за «Энергию жизни», чтобы закрыть свой долг.

Ларри Эшмид, сам ученый (его степень — по геологии), прочитал рукопись «Энергии жизни» и предложил ряд правок. Когда он послал мне откорректированную рукопись, Дик Уинслоу узнал об этом и занервничал, зная об эксцентричности некоторых писателей.

Но, хотя у меня эксцентричности хватает, она

не обычная для писательской братии. В свой следующий раз посетив Doubleday, я сдал исправленную рукопись и спросил, кто ею занимался. Ларри признался, что он (наверняка готовясь выдержать истерику писателя).

— Спасибо, мистер Эшмид, — сказал я. — Это очень хорошие правки, и я рад, что вы их сделали.

Я никак не мог знать, что, когда Дик уйдет из Doubleday, его заменит Ларри и что с того момента, как я его поблагодарил, он станет моим ярым сторонником. Я просто исхожу из принципа, что самая главная из всех добродетелей — благодарность (наравне с честностью), и это не раз помогало мне в жизни.

Когда меня выставили из медицинской школы, и я смог полностью распоряжаться своим временем, я взял за правило регулярно, раз в месяц, приезжать в Нью-Йорк. Я всегда придерживался одного графика. Приезжал в четверг, остаток дня и всю пятницу проводил в общении с редакторами, в субботу отдыхал и возвращался к полудню воскресенья. И, приехав в четверг, первым делом я забрасывал багаж в номер, умывался и мчал в Doubleday на обед с Ларри в Peacock Alley. (Это всегда был мой любимый ресторан.)

Вернувшись в Нью-Йорк в 1970 году, я слегка переживал из-за отношений с Doubleday. Живя в Бостоне, я беспокоил издательство только раз в месяц, это еще куда ни шло. А что, если в Нью-Йорке я поддамся соблазну дергать их каждый день, пока меня не выгонят из здания?

Я ошибся. Ежемесячный ужин с Ларри продолжался как прежде, и мне дали понять, что я могу заходить когда угодно — хотя, уверяю, я не злоупотреблял гостеприимством. В последние годы я остановился на где-то получасовых регулярных визитах в Doubleday каждый вторник, хотя с новыми редакторами мы ужинаем редко. В издательстве привыкли к моим еженедельным посещениям, и в редких случаях, когда я не прихожу, неизменно слышатся жалобы в духе «какой же это вторник».

Вот моя любимая обеденная история с Ларри:

Когда мы доели основное блюдо, метрдотель Peacock Alley (который, конечно, хорошо нас знал) принес на десерт сложный дегустационный сет. Я уже угостился превосходным печеньем, которое обычно подают с кофе, поэтому, беспокоясь о проблемах с весом, выбрал совсем маленький и сравнительно безобидный десерт.

А Ларри заявил:

— Брось, Айзек, этого мало. Попробуй что-нибудь еще. За счет Doubleday. (Ларри — низкорослый, симпатичный и, по крайней мере, в то время, достаточно стройный, хотя худым его не назовешь.)

— Действительно, доктор Азимов, — поддакнул метрдотель. — Возьмите что-нибудь еще.

— Джанет не понравится, если я съем два десерта, — робко возразил я.

— Она никогда не узнает, — сказал Ларри.

Я был слабоволен и взял второй десерт.

Когда я вернулся домой, в дверях меня уже ждала Джанет с не на шутку суровым лицом.

— Это еще что за история с двумя десертами? — заявила она.

Стоило мне расстаться со старым добрым Ларри, как он тут же позвонил ей с новостями. Я его простил, поскольку что любил его, а потому расценил это черное дело как розыгрыш.

Ларри, кстати, всякий раз, когда ему надо было порекомендовать писателя для какого-нибудь сложного задания, неизменно предлагал меня. А раз я из принципа никогда ему не отказывал, порой попадал в очень непростые ситуации. Например, пришлось писать статью о сексе в космосе для журнала *Sexology*.

Из-за этой статьи я попал на интервью с доктором Рут на ее популярном шоу с вопросами и ответами о сексе. И мне пришлось обсуждать секс в космосе с ней. Я не возражал, все-таки она умная и милая женщина. Потом я посмотрел запись, и ее последней репликой было: «Надеюсь, вы еще ко мне придете, доктор Азимов». На это я тихо ответил: «Что это вы задумали, доктор Рут?»

Но все редакторы по-редакторски смертны, и 24 октября 1975 года Ларри позвонил с новостью, что уходит в Simon & Schuster — видимо, на зарплату повыше. Мне он сказал первому, потому что не хотел, чтобы до меня новость дошла из вторых рук. Ужасный момент. Я тогда сел на стул и целый час таращился в пустоту.

Но все было не так плохо, как я думал. В Doubleday мне нашли другого, весьма удовлетворительного редактора Кэтлин Джордан, а с Ларри я время от времени виделся, потому что нет издательств, с которыми я не работаю. Сейчас он в Harper's, а я как раз написал для Harper's книгу.

87. Лишний вес

Раз уж в прошлой главе я упомянул «проблемы с весом», лучше рассказать об этом постыдном, но важном моменте.

Азимовы склонны к полноте. Отец, худой в юности, к сорока годам весил сто килограммов и стал настоящим толстяком. (Мать с возрастом тоже набрала вес, но меньше.)

Но есть у Азимовых и другая особенность. Если уж они худеют, так худеют. Я знаю много толстяков, которые благодаря строгой диете сбрасывали килограммов двадцать или больше и становились стройными, а потом набирали вес заново. Для меня это трагедия. Так упорно стараешься, отказываешься от удовольствий вкусной еды, чтобы стать сравнительно стройным и миловидным, а потом — все сначала? Даже подумать страшно.

Когда в 1938 году, в сорок два года, у отца появилась стенокардия и врачи велели ему худеть, он подчинился. Довольно быстро сбросил вес до семидесяти и так прожил оставшиеся тридцать лет жизни. Иначе бы этих тридцати лет у него

и не было.

Я в детстве был тощим. В колледже весил шестьдесят девять килограммов и не толстел хотя ел все подряд. Дело в том, что ел я не так уж много (например, почти никогда не завтракал), но тогда об этом не задумывался.

Женившись на Гертруде и получив возможность питаться лучше, чем у матери, я ел обильно и всегда верил, что не потолстею, а сам всего за несколько месяцев набрал тринадцать килограммов. К 1964-му, в сорок четыре, я весил девяносто пять килограммов. Я был ростом с отца и всего на пять килограммов легче его максимального веса.

Тут я испугался. Я был уже на два года старше момента, когда у отца обнаружилась стенокардия. Да, пока я избежал опасности и не жаловался на здоровье, но как долго мне это еще будет сходить с рук? Страхи усилились, когда везде стали писать об инфаркте актера Питера Селлерса, *не такого уж* толстого.

Я начал худеть, сократив питание, и мало-помалу опустился сперва до восьмидесяти, а через несколько лет — до семидесяти двух. Сейчас я всегда вешу семьдесят килограммов, как когда женился на Гертруде, но ущерб уже нанесен.

88. Еще о конвенциях

После знакомства с Джанет конвенции приобрели для меня особый смысл. В 1959 году я ездил на поезде на Всемирную конвенцию в Детройте. После банкета детективщиков прошло всего несколько месяцев, но помню, что был очень недоволен тем, что я там один. В конце концов, Джанет — любительница фантастики. Если бы она тоже приехала, мы бы вместе обедали, вместе ходили на лекции. Она бы послушала, как я выступаю, и убедилась бы в истинности слов брата, что я прекрасный лектор.

Но ее там не было.

Из конвенции в Детройте я лучше всего помню то, как практически всю ночь не спал, болтая и хохоча с другими писателями. (У меня так было только раз.) Когда я наконец добрался до номера, уже встало солнце, и я решил, что ложиться без толку — просто умылся и спустился на завтрак.

Ранний завтрак на конвенциях — дело почти неслыханное, потому что из-за ночного кутежа немногие способны продрать глаза раньше 10 утра, а большинство и вовсе дрыхнет до полудня.

И я вошел в пустую столовую — вернее, почти пустую, потому что на завтрак спустились Джон Кэмпбелл и его (вторая) жена Пег. Они жили прилично, как (почти всегда) я.

— Что ж, — с одобрением сказала Пег, — я рада, что хоть *кто-то* ложится в нормальное время и может рано позавтракать с нами.

А я ответил — с каменным лицом и бесстыдным лицемерием:

— Я стараюсь жить правильно, Пег.

В следующем году, 1960-м, конвенция прошла в Питтсбурге, и снова мне казалось, что стоит съездить. Главное, в этот раз я уговорил съездить и Джанет — и она согласилась. Ее решение сделало Питтсбург особенно удачным. Что мне особенно запомнилось на той конвенции:

Теодор Когсуэлл, фантаст с даром очаровывать девушек, сразу же взял Джанет под локоток и увел. Он имел полное право. Джанет не моя собственность, и я все равно был женатым человеком. Странно то, что я почувствовал укол ревности — чувства, которого, как я считал, у меня не бывает. К счастью, уже через пару минут Джанет вернулась.

Я представил Джанет Джону Кэмпбеллу, а он, узнав, что она — психиатр, по своей привычке

зачитал ей лекцию на тему психиатрии и (тоже по своей привычке) все перепутал.

(К слову об этом: однажды я обедал с Джорджем Гейлордом Симпсоном из Гарвардского университета, великим палеонтологом и специалистом по позвоночным. Он был поклонником фантастики и хотел послушать о Джоне Кэмпбелле. «Джордж, — сказал я, — если когда-нибудь доведется встретить человека, который, узнав, что ты палеонтолог, прочтет тебе лекцию по палеонтологии, все перепутает и не даст вставить ни слова, то знай, что ты встретил Джона Кэмпбелла».)

Я пригласил Джанет на ужин, и Джудит Меррил (уже в те дни прогрессивная защитница прав женщин) спросила, оплатил ли я ее заказ. (Я, конечно, оплатил, но, раз уж Джудит — истинная феминистка, ей бы должно было понравиться, если бы Джанет заплатила за себя сама, разве нет?)

Так или иначе, я разыграл невинность и сказал:

— Нет, Джуди, я за нее не платил. А надо было?

— Я так и знала, — сказала она. — Балда, ты же ее пригласил, правильно?

— Ох, — сказал я, достал из кошелька, сколько нужно, и подошел к Джанет, словно собирался расплатиться с ней.

Джуди возмущенно опередила меня и влепила такую *пощечину*, что в ушах зазвенело. Это единственный раз, когда женщина дала мне пощечину, а я всего-то пошутил.

89. «Путеводитель по науке»

В первые два года работы писателем я продолжал ориентироваться в первую очередь на подростков. На это было несколько причин.

Честно говоря, я думал, что подростков важно знакомить с естественными науками (и, если на то пошло, с гуманитарными тоже). Когда они повзрослеют, уже может быть слишком поздно.

Если писать для молодежи, можно чаще прибегать к столь любимому мной разговорному стилю, который я считал своей сильной стороной.

Книги, написанные для взрослых, — те проклятые учебники — нанесли мне настоящую травму.

Но тут 13 мая 1959 года (через две недели после встречи с Джанет) со мной связался Леон Свирски, редактор Basic Books. Это был коротышка с торчащим носом, и он просил меня вкратце описать достижения науки двадцатого века для взрослой аудитории. Мне польстило такое предложение,

поскольку я уже верил (и правильно делал), что моя репутация как автора научпопа начинает обгонять мои фантастические достижения.

Здесь я должен признаться в лишнем снобизме. Я действительно опасался, что моей карьере автора научпопа быстренько положат конец издатели, приняв меня за «какого-то фантаста». Не стоило беспокоиться — такой проблемы не возникло. *Обе* репутации только улучшались, и одна не мешала другой. Возможно, тут сыграли роль докторская степень и профессорское звание, и я до сих пор рад, что сохранил приставку «доктор».

В результате мне никогда не приходилось скрывать, что я работаю с фантастикой. Когда незнакомцы спрашивают, что конкретно я пишу, я отвечаю: «Чего только не пишу, но лучше всего известен по фантастике».

Но, хоть мне и польстило предложение Свирски, я слегка испугался. Тогда он специально приехал в Бостон и привез контракт на подпись, если меня все устроит.

Несколько дней я страдал от неопределенности. Подписать хотелось, но в то же время я боялся и испытывал мучительные колебания. Это было уже слишком для меня, но тут я вспомнил свою новую подругу Джанет Джеппсон, с которой уже

обменивался приятными письмами. И написал ей, излив душу и поделившись своими желаниями, сомнениями и страхами.

Я не просил совета, потому что всегда опасаюсь переваливать на других ответственность за свои решения, но мне и не пришлось просить. Она ответила, что я, *конечно же*, могу и *должен* это написать. Нельзя отказаться от такого испытания и потом ждать роста в своей профессии.

Она была совершенно права, и я подписал контракт. Этот совет — первый из бесчисленных примеров доброты и рассудительности, свойственных Джанет.

Я взялся за книгу с усердием и уже за восемь месяцев написал финальный вариант в полмиллиона слов — удивительно даже для меня. Книга вышла в Basic Books в 1960-м под названием «Путеводитель разумного человека по науке» («The Intelligent Man's Guide to Science»)[79].

Я возражал против такого названия, полагая, что «man»[80] в нем понапрасну ограничивает аудиторию. Я хотел, чтобы книгу читали и жен-

---

[79] Примечания: 79

На русском языке книга издавалась под названием «Путеводитель по науке». — Прим. ред.

[80] Примечания: 80

Man — и «мужчина», и «человек». — Прим. пер.

щины, и предпочел бы неопределенный вариант «The Intelligent Person's Guide to Science». Но Свирски и слышать ничего не хотел. Он твердо решил подражать названию книги Джорджа Бернарда Шоу «Путеводитель разумной женщины по социализму и капитализму» («The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism»). Естественно, последовали жалобы от женщин, и мне оставалось только сухо улыбаться и говорить: «Под „разумным человеком“ я имел в виду автора, а не читателя».

Книга заработала больше, чем я ожидал — или чем ожидали в Basic Books. Она вышла двухтомником в упаковке, и ее расхватали с полок. Джордж Гейлорд Симпсон написал на нее лучшую рецензию в моей жизни. Он назвал меня «чудом природы и национальным достоянием» — думаю, вы и сами понимаете, почему я запомнил эту фразу наизусть.

Мои первые роялти за книгу составили 23 тысячи долларов — самый большой чек до того момента, и мой доход внезапно удвоился. (В каком-то смысле меня это огорчило — я решил, что это случайность и она уже не повторится, что доход за 1962 год достиг потолка, о котором я могу больше не мечтать. Но оказалось, я ошибался.

На самом деле впредь мой доход не падал *ниже* 1962 года.)

Если честно, мне в это не верилось. Через четыре года после увольнения из медицинской школы мой доход вырос в сравнении с былым окладом на порядок. Примерно тогда один мой приятель и бывший коллега, желая помочь, сказал: есть основания верить, что если правильно разыграть карты, то я смогу вернуться на преподавательскую должность, причем с зарплатой. Я тогда улыбнулся и сказал: «Боюсь, уже поздно. Я не могу себе этого позволить».

Впрочем, связи со школой я не разорвал. Я же все еще оставался доцентом. Время от времени я читал лекции — обычно первую в семестре. Биохимия была предметом первого семестра и шла по утрам, поэтому студенты-медики начинали учебу с меня. Они слышали профессиональную лекцию — причем последний раз за все годы учебы. Однажды я неосмотрительно сказал это вслух, и один студент, к моему бесконечному стыду, тут же передал это новому декану, оказавшемуся поблизости. Декан вздохнул и сказал: «Скорее всего, он прав».

Следует сказать и о побочных проблемах, связанных с «Путеводителем по науке». Свир-

ски в самом начале попросил меня прочитать контракт, но это оказалось выше моих сил. Я подписывал много сотен контрактов и толком не прочитал ни одного. Только пробегаю их глазами, чтобы проверить аванс, но на большее обычно не способен. Все остальное слишком скучно, и я не собирался читать все сотни контрактов.

Такой подход считается большой эксцентричностью.

Однажды президент Doubleday обсуждал со мной один мой спор с киношниками. Он спросил, что по этому вопросу говорится в контракте. Я ответил:

— Генри, я не знаю. Я его просто подписал. Я же его не читал.

Он, посмотрев на меня с усмешкой и недоверием, сказал:

— Айзек, за тобой нужно присматривать.

И добавил:

— Но не переживай, мы в Doubleday готовы это делать.

Вообще-то это не так уж странно, как можно подумать.

В конце концов, большинство контрактов — стандартные, и если у издателя хорошая репутация, а писателю не интересны особые пункты

(мне никогда не интересны — я только прошу, чтобы мне дали писать спокойно и не отказывали в печати), то нет ничего страшного в подписи без прочтения. Я твердо верю, что редакторы собираются не обманывать меня, а зарабатывать со мной.

И потом я сужу по результатам. Если роялти адекватны, а издатель идет мне навстречу, я всем доволен. А если мне кажется, что издатель со мной хитрит, реакция проста. Я не буду проводить аудит. Не буду судиться. Просто больше не стану для него писать. Очень редко, но такое случалось.

Еще один момент: хоть «Путеводитель по науке» добился больших успехов в продажах и у критиков, я остался книгой недоволен. Нет, слабо сказано. Я *ужасно* недоволен книгой.

Проблема в самом Леоне Свирски. Он производил впечатление доброго малого, но как редактор оказался мясником — одним из немногих, что мне попадались. Он много лет проработал редактором в журнале *Scientific American* и привык получать серьезные научные статьи от исследователей. К сожалению, ученые, присылающие статьи, не самые великие литературные таланты, поэтому Свирски приходилось много урезать и

подравнивать, приводя их тексты в удобоваримое состояние.

Оказывается, он так и не избавился от этой привычки, потому что я, получив верстку, обнаружил, что он урезал, подровнял и довел *мой* текст до состояния, которое считал «удобоваримым». Я резко возражал. Поскольку я все еще работал над последней частью, когда получил гранки по первой (это одна из причин, почему книга вышла так быстро), я пригрозил бросить писать, если он не прекратит свои проделки.

Он в какой-то степени перестал, но все равно опубликованная книга настолько отличалась от написанного мной, что я не мог взглянуть на нее без слез. Несмотря на огромный финансовый успех, я ее возненавидел — меня до сих пор мутит от ее вида на моей полке.

Второе злодейство Свирски — пригласить написать предисловие Джорджа Бидла. Бидл был великим генетиком и нобелевским лауреатом, но я не хотел, чтобы в мои книги ставили предисловия *от кого угодно*. В будущем я сам их напишу по меньшей мере для сотни чужих книг, но для своих такой необходимости не вижу.

Свирски начал второй том с заявления, будто научный прогресс стер всякую разницу между

живым и неживым. Это *его* слова, не мои, и, конечно, эта позиция уязвима для критики.

Например, раскритиковал ее Барри Коммонер. В большой статье в *Science* он явно перегнул палку и разгромил книгу. Я зацепился взглядом за заголовок, пробежал пару первых абзацев и чуть со стула не упал, когда понял, что он осуждает *мою* книгу. Его самое дурацкое замечание — вопрос, что случится с биологией как наукой, если стерто различие между живым и неживым.

Я написал краткий и взвешенный ответ (который исправно опубликовали в *Science*), где отметил: Коперник больше четырех веков назад стер всякую разницу между Землей и другими планетами — и что в итоге случилось с геологией? Да ничего.

Через много лет я встретился с Коммонером — или, по крайней мере, сидел напротив него за очень длинным столом. Шла дискуссия о загрязнении атмосферы (Коммонер — известный эколог), и я, насколько мог, терпел в помещении курящих людей. Но когда Коммонер достал и закурил большую сигару, я там надолго не задержался.

И еще написал письмо организаторам и выразил презрение к экологам, которые высокопарно

рассуждают о чистой атмосфере, а сами загрязняют ее табачным дымом. Ответа я не получил.

Но я отвлекся. Мы говорили о Свирски. Я согласился написать для него кое-что еще, пока работал над «Путеводителем по науке». Задумывалась короткая книга об открытии химических элементов. Она называлась «Исследование элементов» («The Search for the Elements») и вышла в Basic Books в 1962 году. Я ее написал еще до того, как осознал неутолимую страсть Свирски к переписыванию. В результате он испортил и вторую книгу, и на этом я поставил точку. Непреклонно отказывался писать для него еще. Он наорал на меня по телефону, но меня это не тронуло.

90. Алфавитные указатели

«Путеводитель разумного человека по науке» напомнил мне о трудности подготовки алфавитных указателей.

Научная книга с систематическим исследованием конкретной темы бесполезна без указателя, и впервые я делал указатель для «Биохимии и человеческого метаболизма», нашего многострадального учебника. Меня никто не учил делать указатели, а я сам не спрашивал советов. Сделал все по собственной системе — наверняка довольно похожей на то, как и положено делать.

Я беру невероятно большую стопку пустых карточек 7 на 12 сантиметров и прохожусь по финальной верстке, выписывая каждую тему в том виде, в котором ее может прийти в голову искать, ограничиваясь всего одним подзаголовком и помечая номер страницы. Потом расставляю карточки по алфавиту, все упоминания одной темы выношу на общую карточку с номерами всех страниц. И печатаю.

В последние годы меня подмывает воспользоваться для этого компьютером, но я борюсь с

соблазном. Мне *нравится* возиться с карточками, расставлять их по алфавиту и составлять списки. Меня радует кропотливая работа. А кроме того, я иногда говорю: «Счастье — это все портить по-своему».

В случае с «Путеводителем по науке» сразу стало ясно, что на указатель уйдет много дней. Все было не так плохо, как в переизданиях учебника, но существовала одна значительная разница. Учебник я делал в школе, и семья не знала об этой работе. Во время «Путеводителя» школы у меня уже не было, я работал дома. Самый простой метод — раскладывать страницы верстки и карточки в гостиной по вечерам, пока мы смотрим телевизор (чтобы не тратить на это рабочее время). Для телевизора хватает и полмозга, как и для указателя, поэтому я спокойно успевал следить и за тем, и за другим. Но проблема в том, что я тратил время отдыха на работу, и, подозреваю, семье это очень не нравилось.

Еще одна трудность с книгой о современной науке — она поразительно устаревает всего за несколько лет, и возникает потребность в новом издании. Его подготовка — не такое уж тяжелое дело, потому что не застигло меня врасплох, тем более в случае «Путеводителя» я следил за науч-

ными новостями, о которых могло потребоваться сказать в новом издании.

Когда стало ясно, что тянуть с новым изданием уже нельзя, я обнаружил, что Свирски уехал на пенсию во Флориду.

Я согласился сделать второе издание — добавил новые данные, вернул все то хорошее, что убрал Свирски, и вырезал все то замечательное, что он добавил. А главное, сумел намекнуть новому редактору, что не рад видеть никаких правок, кроме косметических. Второе издание вышло в Basic Books в 1965 году под названием «Новый путеводитель разумного человека по науке».

Хэппи-энд? Да не совсем. Хоть основа второго издания более-менее идентична первому, новый материал надо было добавить в указатель, а номера страниц старого — обновить. Короче говоря, работа над указателем предстояла более сложная, чем в прошлый раз. Редактор уговорил меня передать это дело специалисту. Мне это обошлось в пятьсот долларов, потому что Basic Books не заплатили за его услуги сами, а вычли деньги из моих роялти, причем указатель получился *паршивый*. Даже расставить по алфавиту толком не смогли. В результате второе издание меня раздражает еще пуще первого. Только в

третьем, вышедшем в Basic Books в 1972 году, я наконец по-своему и написал текст, и составил указатель, после чего смог пользоваться книгой с удовольствием.

В 1984 году я подготовил для четвертого издания еще один указатель. Уже не знаю, будет ли пятое. Кажется, я для этого староват. Конечно, не хочется, чтобы книга заглохла. Я бы хотел и пятое издание, и шестое, и так до бесконечности, но делать их придется уже другим, и (простите за нескромность) сомневаюсь, что для этого хватит одного человека. Тут нужен целый консорциум.

91. Названия

Я очень осторожен с названиями. Всегда считал, что короткое название лучше длинного, и люблю (по возможности) названия из одного слова — например, «Nightfall» («Приход ночи») или «Основание». А еще люблю названия, которые говорят о содержании, ничего не раскрывая, но после прочтения словно бы добавляют новый смысл.

Поэтому я не одобряю то, как иногда редакторы меняют название на *свой* вкус. Например, мой первый рассказ о роботах «Робби»: так назвала робота-няньку девочка, о которой он заботился. Это подчеркивает эмоциональное содержание. Фред Пол сменил название на «Странная нянька», которое не говорит ничего. С тех пор рассказ выходил десятки раз в десятках мест — и *всегда* под моим названием «Робби».

Более вопиющий пример — «Уродливый мальчуган». Гораций Голд счел, что «уродливый» отпугнет читателя, и заменил название на «Lastborn» («Последнерожденный»), совершенно нелепое. Слово «Уродливый» критически важно.

Маленький герой рассказа и *есть* уродливый мальчуган, потому что он неандерталец, и все же в конце он находит любовь, которая значит больше жизни, и читатель ему сопереживает. У рассказа и не было бы смысла, будь мальчик красивым. Но попробуйте объяснить такие тонкости Горацию!

Я смиряюсь с изменениями названий, потому что почти всегда могу вернуть прежние в каком-нибудь своем сборнике. Впрочем, иногда я соглашаюсь с выбором редактора, если он мне кажется лучше. Однажды я написал для Фреда Пола рассказ «Последнее орудие» («Last Tool»). Название было осмысленным, но Фред поменял его на «Отцы-основатели» («Founding Father»), которое настолько точнее, что я раздосадовался, как же не придумал его сам. Рассказ вышел в октябрьском *Galaxy* 1965 года, и название с тех пор я не менял.

Названия книг важнее, потому что, как правило, остаются навсегда. Но и то я умудрился сменить «Дельцов смерти» на «Дуновение смерти». Впрочем, это неудобно. Иногда приходится разъяснять ситуацию читателям, которые думают, что это две разные книги, и ищут по экземпляру каждой.

Тема названий книг всплыла, когда Т. О'Коннор Слоун из Doubleday (внук редактора *Amazing*, сменившего Хьюго Гернсбека) предложил мне подготовить книгу кратких биографий наиболее значительных ученых для книжной серии о музыкантах, художниках, философах и прочих интеллектуалах.

Я согласился, но в моих руках книга (как это часто бывает) разрослась. Биографии я написал, но не двухсот пятидесяти, а тысячи ученых, первооткрывателей и изобретателей, причем длиннее требуемого. Более того, я разместил их не в алфавитном, а хронологическом порядке, по году рождения. В конце концов, наука — тема кумулятивная, в отличие от музыки, искусства и философии.

Книга оказалась куда объемнее, чем рассчитывали в Doubleday, но они приняли ее, не пикнув, и сделали все по-моему.

Понадобилось сразу два огромных указателя (для имен и для тем), но я пронумеровал биографии и привязал указатели к этим номерам, а не к номерам страниц. Так я смог подготовить указатель по рукописи, еще не потеряв энтузиазма, и сдать их вместе. Не пришлось ждать верстку месяцами.

Мне хотелось назвать книгу «Биографической историей науки» — это самое короткое и точное описание. Но Слоун уговорил добавить «и технологии», хоть мне это казалось излишним. К тому же он утверждал, что слово «история» плохо влияет на продажи. Уговорил заменить его на «энциклопедия», хоть я и возражал, что это не соответствует содержанию. Наконец он добавил к названию «Азимова».

Так появилось название «Биографическая энциклопедия науки и техники Азимова» («Asimov's Biographical Encyclopedia of Science and Technology», Doubleday, 1964). С тех пор вышло еще два издания, каждое — с полностью обновленным указателем.

Должен признать, я стерпел это нагромождение только из-за последнего слова. Слоун сказал, что это менеджеры по продажам настаивали, будто с моим именем в названии книга будет продаваться лучше, чем польстил мне без меры. Оказалось, мысль о том, что в моем имени есть что-то волшебное, стала правдой. Уже вышло около шестидесяти книг с моим именем в названии.

Ну серьезно, как же тут не радоваться? Сразу понятно, что, по мнению издателей, читатели считают мое имя на любой книге — фантасти-

ческом романе, детективе, антологии, книгах о естественных или гуманитарных науках — знаком качества.

92. Сборники статей

Я продолжал выпускать рассказы в сборниках. За 1960е в Doubleday вышли три: «Остальные роботы» («The Rest of the Robots», 1964), «Детективы Азимова» («Asimov's Mysteries», 1968) и «„Приход ночи“ и другие рассказы» («Nightfall and Other Stories», 1969).

Еще сборник из четырех моих рассказов вышел в New English Library, но не для продажи в Штатах. Это был «Сквозь ясное стекло» («Through a Glass, Clearly») в 1967 году.

С тех пор я и дальше выпускаю сборники в довольно больших количествах, и им свойственно пересекаться. У меня есть отдельные рассказы, которые — на данный момент — встречаются в пяти разных изданиях. Вообще это даже нечестно. Легко представить, как читатели покупают сборник и обнаруживают, что уже читали в нем все или почти все рассказы. Меня немало мучила совесть, особенно когда один влиятельный фантаст (хоть он и не славится добрым характером) более-менее саркастично отметил, что я мастер повторного использования своего продукта.

Но у этого есть основания.

Книги смертны. Издания в твердой обложке расходятся, как правило, за пару лет. Издания в мягкой тонут среди множества других, нескончаемо наводняющих полки книжных магазинов. Поэтому получается так, что, когда читатель пишет мне и спрашивает, где найти конкретный рассказ, чтобы прочитать (или перечитать), я в тупике. Не могу же я посоветовать выпуск журнала, где рассказ впервые опубликован. Не считая нескольких частных коллекций и специальных магазинов подшивок, эти номера просто нигде не найти.

Сборник, в котором выходил рассказ, уже может быть недоступен. Да, есть букинистические магазины, но — надеюсь, меня после этих слов не распнут на месте за чудовищное самомнение, — туда мои книги попадают редко. Те, кто читает мои книги, потом обычно от них не избавляются. Значит, нужен новый сборник с недавними рассказами плюс со старыми и проверенными для тех, кто больше нигде не может их найти.

Еще говорят, у поклонников фантастики поколения сменяются каждые три года. Другими словами, через три года нахлынет большое число новых читателей, никогда не видевших мои

старые рассказы, а то и не слышавших о них. В их глазах сборник будет новым, даже если ветеранам какие-то вещи кажутся уже бородатыми.

Но самая важная причина бесконечных пересекающихся сборников — они продаются. Вот почему издатели готовы ими заниматься, а я и не против.

Но если можно снова и снова собирать мои рассказы к выгоде для читателей, издателей и меня самого, то что насчет статей, которые я выдаю в количествах еще больших, чем художественную литературу?

Вообще-то первый сборник статей я выпустил довольно рано. Он назывался «Всего лишь триллион» (Abelard-Schuman, 1957). В него вошел ряд научных текстов из *ASF*, но меня они не устраивали полностью. Они подгонялись под вкусы Джона Кэмпбелла, из-за чего, как мне казалось, получились слишком чопорными и формальными.

А вот статьи для *F&SF* я писал без всякого редакторского участия, только для своего удовольствия. Они читаются непринужденно и по большей части легко. Мне казалось, это куда лучший образец того, на что я способен, чем статьи из *ASF*. А главное, я хотел, чтобы ими занялся крупный издатель.

В 1957 году я познакомился с Остином Олни, редактором детского отдела Houghton Miflfin, самого важного издательского дома Бостона. Остин был моим сверстником, стройным, симпатичным, с глубоко посаженными глазами. Хотя он и принадлежал к числу истинных бостонских браминов[81], я не замечал в нем ни единой капли надменности и самодовольства, что с ними обычно ассоциируются. Невероятно приятный и благожелательный человек, с которым мы с тех пор поддерживали дружбу.

Я не раз обедал с ним в легендарном ресторане Locke-Ober в Бостоне. Обожаю требуху — видимо, в отличие от большинства, — и всегда брал там требуху с горчичным соусом. Но вот пришло время покинуть Бостон, и только через девятнадцать лет я вернулся туда с Джанет — и нас заселили в отель рядом с Locke-Ober. Я с ликованием повел ее туда и заказал требуху с горчичным соусом, но, хотя блюдо и осталось в меню, его уже не готовили.

Я чуть не разрыдался. Видимо, без меня требуху там больше никто не заказывал.

---

[81] Примечания: 81

Бостонские брамины — социальная прослойка жителей Бостона, восходящая к первым колонистам и ведущая аристократический образ жизни. — Прим. пер.

Так или иначе, скоро в Houghton Mifilf n вышли несколько моих научных книг, первая — «Числа: от арифметики до высшей математики» («Realm of Numbers») 1959-го для средней школы, на тему арифметики — от сложения до трансфинитных чисел. Остин любезно прислал мне макет обложки на одобрение. Я ему позвонил и сказал, что одобряю все, за исключением одного нюанса.

Остин еще плохо меня знал и решил, что я из тех авторов (таких редакторы боятся как огня), которые мнят себя арт-критиками и диктуют, как делать обложку. Мне-то до этого дела нет. Меня интересует только то, что внутри.

Как только Остин услышал о разногласиях, температура разговора тут же упала градусов на пятьдесят. Он холодно спросил:

— И что вам не нравится?

— Ну, не хотелось и говорить, это, понятное дело, мелочь, ей и голову забивать не стоит, но вы написали мое имя с ошибкой, — сказал я.

Конечно, обложку пришлось переделывать. Остин рассыпался в извинениях.

Так или иначе, в 1961 году я пришел к нему со стопкой статей из *F&SF*. Поскольку они предназначались для взрослых, Остин передал их в соответствующий отдел, но там их не приняли.

Остин сконфуженно предложил издать их для детей, если я соглашусь упростить тексты. Ни за что, ответил я, хоть и не обиделся, и отнес их в Doubleday.

Тим Селдес не пришел в восторг, но и не дал от ворот поворот, так что в 1962 году в Doubleday вышел мой первый сборник статей из *F&SF* «Факт и фантазия» («Fact and Fancy»).

К этому времени Тим уже хорошо меня знал и предупредил, чтобы я не готовил новый сборник, пока он не увидит, как продается «Факт и фантазия». Я понял его логику и, хотя рвался в бой, все же сдержался.

Но «Факт и фантазия» отбил аванс с пугающей быстротой, и довольно ошарашенный Тим сказал: «Ладно, Азимов, давай еще». Вот так, не успели кончиться 1960-е, а в Doubleday вышли семь моих сборников — и выходят до сих пор. В конце концов *все* статьи из *F&SF*, кроме семи очень ранних, пробрались в тот или иной сборник, а то и не в один. (Да, я и статьи использую повторно.) Выходили и многие статьи из других изданий. Всего у меня почти сорок сборников.

Вряд ли мне нужно оправдываться. Книги продаются и, если судить по письмам, нравятся читателям, и если нужны еще какие-то обоснова-

ния, то какие?

На самом деле эти сборники приносят мне огромное удовлетворение. Для начала, по-моему, я побил мировой рекорд, издав больше всех в истории сборников статей. (Прошу, заметьте: я не говорю, что пишу *лучше* — только больше всех.)

Более того, я постоянно слышу, что сборники статей — «как яд в кассе», издатели публикуют их чрезвычайно неохотно, не считая беспроигрышных случаев вроде Стивена Джея Гулда, Мартина Гарднера или Льюиса Томаса. Простите, если покажусь самодовольным, но мне *нравится* быть беспроигрышным случаем.

Конечно, не всем по душе мои статьи. Недавно Артур Кларк, пока предавался праздному безделью у себя дома на Шри-Ланке, нашел гадкую рецензию на мой сборник и, распереживавшись, что я ее еще не видел, аккуратно вырезал и выслал для моего наслаждения. Рецензия начиналась со слов: «Эту книгу нельзя было писать».

По системе Лестера дель Рея такую рецензию следовало мгновенно выкинуть, но я хотел просмотреть, чтобы разобраться, пусть и не особо вчитываясь, *почему* книгу нельзя было писать. Оказывается, рецензента ужаснул тематический разброс и то, как я перескакивал от идеи к идее.

Могу только предположить, что он слыхом не слыхивал о таком звере, как сборник статей. Видимо, главное требование для его должности — безграмотность.

Вообще-то ценность такого сборника, на мой взгляд, именно в разнообразии. Вас не просят тратить время на целый трактат. Вы читаете короткие тексты, и, если вас разочарует или покажется скучным один из них, книга не потеряет ценности в целом — только ее фрагмент. Можно перейти к следующему, и тот, глядишь, уже доставит удовольствие. Более того, короткие тексты — идеальное чтение перед сном или в другие обрывки досуга.

К тому же читатели могут сыграть (и *играют*) в прелестную игру «Найдем у Айзека ляп». Причем так часто, что она стоит свеч. Меня всегда радует и даже трогает почти неизменная мягкость их правок и то, что ошибку стараются объяснить моей спешкой и небрежностью, а не глупостью.

Если я еще не похвалил своих читателей раньше, то давайте похвалю сейчас. Возможно, их не так много, как фанатов у рок-звезд или спортсменов, но по *качеству* мои читатели — лучшие, сливки, элита, и я люблю их всех.

93. Книги по истории

Houghton Miflfin выпускал серию книг по американской истории для подростков, и Остин Олни спросил, могу ли я взять какую-нибудь тему.

Подумав, я ответил, что могу написать об исследовании электричества Франклином и влиянии его работы на ход Американской революции. Остин согласился, и я написал книгу «Воздушный змей, что принес победу революции» («The Kite That Won the Revolution»).

Главным редактором серии был писатель Стерлинг Норт, и, увидев мою рукопись, он явно захотел переписать ее на свой вкус. По крайней мере, когда вернули искромсанный текст, у меня волосы встали дыбом. Только-только я сбежал из хватки Свирски, как едва не угодил в тиски Норта.

Я сказал Остину, что заберу рукопись, и объяснил, почему. Остин предложил опубликовать ее как есть, но объяснил, что ее нельзя будет включить в серию, а это скажется на продажах, поскольку серия давно известна и в ней большие продажи практически гарантированы. Я ска-

зал, что меня продажи совершенно не волнуют — главное, опубликовать книгу так, как ее написал я, а не кто-то другой. Она вышла в 1963 году и продавалась довольно средне, зато я остался доволен.

Согласившись на «Числа», которые предложил Остин, я, в свою очередь, уговорил его на «Язык науки» («Words of Science») — сборник 250 одностраничных статей в алфавитном порядке о научных терминах, их толковании и происхождении.

Помню, как работал над ними еще в медицинской школе, с полным изданием словаря Уэбстера под рукой. (Я же все-таки не мог выдумать этимологию. Мне нужно было точно знать, от каких слов на латыни и греческом произошли термины.) Зашел Мэттью Дероу, заглянул через плечо, уставился на уэбстеровский томик и сказал:

— Ты же просто переписываешь словарь.

— Точно, — сказал я. Закрыл словарь, с трудом поднял и вручил ему. — Вот словарь, Мэттью. А теперь напиши книгу.

Он не рискнул.

Книга неплохо продавалась, но важнее то, что мне невероятно понравилось ее писать, поэтому я сделал еще «Слова и мифы» («Words from the

Myths», 1961), «Слова на карте. Географические названия и их смысл» («Words on the Map», 1962), «Слова из Книги Бытия» («Words in Genesis», 1962) и «Слова из книги Исхода» («Words from the Exodus», 1963) — все с Houghton Miflfin.

И мне все было мало — тогда я стал искать другие источники слов, кроме мифологии, географии и Библии. Вспомнилась моя давняя страсть — история, и я подготовил книгу «Слова из истории Древней Греции» («Words from Greek History»), где рассказывал об истории Греции, но время от времени задерживал внимание на старинных словах, которые вошли в наш обиход.

Остин просмотрел рукопись и сказал, что история ему понравилась даже больше, чем этимология, и я сходу понял намек. Выкинул рукопись и засел за обычную историю Греции для подростков. Я назвал ее «Греция. От Античности до современности» («The Greeks»), и она вышла в Houghton Miflfin в 1965 году.

Как Тим Селдес просил меня не готовить новый сборник статей, пока мы не увидим результаты продаж первого, так и Остин теперь просил не писать новые книги по истории, пока мы не увидим результатов «Греции».

После публикации я немного выждал, потом

пришел в кабинет Остина и спросил:

— С «Грецией» все хорошо?

— Отлично, — сказал Остин. — Пиши дальше.

— Уже, — и отдал ему рукопись «Римская республика. От семи царей до республиканского правления» («The Roman Republic»).

В конечном счете я написал для Houghton Miflfin четырнадцать книг — об истории не только Греции и Рима, но и Египта, Ближнего Востока, Израиля, Средневековья, о ранней истории Англии и Франции, не говоря уже о четырех томах истории Америки от индейских племен до 1918 года.

Это было сплошное удовольствие, а поскольку я начинял их датами, названиями и разнообразными фактами, потом они стали для меня самого полезными справочниками при дальнейшей работе.

Я не мог не заметить, что мои книги в Houghton Miflfin зарабатывали куда меньше, чем в Doubleday, даже если сравнивать художественную литературу с нехудожественной. Например, книги по истории никогда не выходили в мягких обложках, а буквально все мои книги, любого жанра, от Doubleday — выходили. И вот после того, как в 1977 году вышел мой четвертый том по

истории Америки — «Золотая дверь» («The Golden Door»), Houghton Miflfin дали мне понять (мягко, конечно же), что больше им ничего не нужно. Это сильно меня задело, потому что я не люблю, когда мне не дают писать то, что я хочу. В результате с 1977 года я пишу для них очень редко.

94. Библиотека справочной литературы

В прошлой главе я уже сказал, что опираюсь при работе над новыми произведениями на собственные книги по истории, и это напоминает о вопросе, который мне часто задают: есть ли у меня библиотека справочной литературы?

Конечно есть. Как только я дошел до того уровня достатка, когда смог скупать книги, я начал собирать библиотеку. Теперь у меня дома около двух тысяч книг, разбитых на отделы: математика, история науки, химия, физика, астрономия, геология, биология, литература и история. У меня есть «Британская энциклопедия», «Американская энциклопедия», «Энциклопедия науки и технологии Макгроу-Хилла», полный Оксфордский словарь английского языка, сборники цитат и так далее.

Журналист, видевший мою библиотеку 21 июня 1978 года, позже презрительно писал, что она совсем небольшая, но он просто не знал, о чем говорил. Я *специально* не даю ей разрастаться, избавляясь от старых книг, как только нахожу

новые. Без толку хранить устаревшие или те, которыми я по той или иной причине не пользуюсь. Моя библиотека — *рабочая*, а не для виду.

Конечно, самый важный источник данных — разум и память. У меня превосходная и очень полезная память, но некоторые друзья относятся к ней с преувеличенным и чуть ли не суеверным почтением. Время от времени мне кто-нибудь звонит, когда не может найти какой-то факт и в отчаянии говорит себе: «Позвоню Айзеку. Уж *он-то* знает».

Иногда я знаю. Однажды позвонил Лин Картер, мой товарищ по клубу «Пауки-затворники»[82] (Trap Door Spiders), и сказал:

— Айзек, мне надо узнать, кто сказал: «О Свобода, сколько преступлений творится во имя твое!»

Я тут же ответил:

— Мадам Ролан в 1794 году, проезжая мимо Статуи Свободы по дороге к гильотине.

Картер, по-моему, рассказывал об этом случае еще несколько месяцев, только подталкивая других пользоваться мной как ходячей энцикло-

---

[82] Примечания: 82

«Пауки-затворники» — литературное общество, возникшее в Нью-Йорке в 1944 году и объединившее выдающихся деятелей научной фантастики. Члены общества периодически проводили закрытые собрания, где ели, выпивали, вели дискуссии и устраивали «прожарку» специально приглашенным гостям. — Прим. ред.

педией, которая всегда под рукой.

Иногда я не могу помочь. Несколько месяцев назад позвонил Спрэг де Камп из своего нового дома в Техасе и спросил о длине волн издаваемого летучими мышами ультразвука. Я не смог раскопать это в памяти и с досадой (потому что *люблю* отвечать на экзотические вопросы, не сходя с места) сказал, что перезвоню.

Потом перерыл всю библиотеку и наконец нашел в «Американской энциклопедии» превосходную статью о звуке, как раз с теми данными, которые просил Спрэг. Я позвонил, зачитал статью, выслушал благодарности, а потом, уже повесив трубку, обнаружил, что эту статью в энциклопедии написал я сам!

Как я уже сказал, мои книги для меня чрезвычайно удобный источник информации. Но, чтобы ими пользоваться, нужно помнить, куда именно я включил конкретный факт и где его найти. У плодовитости тоже есть свои недостатки.

Только начав заниматься творчеством, я, естественно, сохранял все выпуски журналов, в которых печатался, но я же не представлял то количество текстов, что мне суждено опубликовать. Уже скоро я понял, что в моей квартирке не хватит места на все журналы, и поступил по

примеру Спрэга. Извлек из журналов свои тексты вместе со страницей содержания (и обложкой, если на ней было мое имя) и переплел в один том с твердой обложкой. Со временем я собирал новые тома вырезок. Так же я переплетал свои книги, вышедшие в мягкой обложке.

Теперь у меня почти 350 таких томов, и, хотя я живу в квартире гораздо более просторной, место кончается. Я вынужден высылать не самые важные публикации в Бостонский университет, где хранится мой архив.

Изначально я оставлял себе по одному экземпляру каждой своей книги, каждого издания как на английском, так и на других языках, но скоро они стали выживать меня из квартиры, и я отправил все иностранные издания в Бостонский университет. Теперь я собираю *только* англоязычные, но и это проблематично.

Я храню книги в хронологическом порядке, но даже это не помогает с легкостью разыскать конкретную книгу из 451 англоязычного издания и переиздания. Тогда я стал приклеивать скотчем номер на каждое издание (в хронологическом порядке). Отто Пензлер, книготорговец и библиофил, предупредил, что я уроню денежную стоимость коллекции, но я ответил, что для меня

это не финансовый актив, а источник информации.

Конечно, номера ничего не дают, если не каталогизировать по ним книги. Я веду каталог всех своих произведений с указанием номера книги и всех изданий (даже тех, которых у меня не осталось). На другие карточки я заношу рабочую и издательскую историю каждой книги, есть отдельные карточки для рассказов и статей.

Мой каталог совершенно примитивен, и я в нем разбираюсь только потому, что хорошо его знаю, но вначале я рассчитывал, что мне не придется работать больше, чем с парой сотен карточек для всего своего творчества. Кто же мог вообразить, что число приблизится к пяти тысячам? Проблема накапливалась так медленно, что мне ни разу не пришло в голову попросить профессионала организовать каталог, а еще лучше — занести все в компьютер.

Впрочем, хотя я фантаст и должен быть профессиональным ценителем перемен, на самом деле я лентяй. Мне все нравится так, как было всегда. В конце концов созданная мной система работает, хоть и кривовато, а моя профессиональная карьера, очевидно, подходит к концу, так пускай все остается, как есть.

Мой очень хороший друг Мартин Гарри Гринберг (*не путать* с Мартином Гринбергом из Gnome Press) горит желанием составить мою полную библиографию. Не люблю ни в чем отказывать Марти, такая уж у него невероятно добрая душа, но мне этого не надо. Тут не обойтись без меня, а я не представляю, зачем уходить с головой в проект, неизбежно означающий книгу в тысячу страниц мелким шрифтом, которую никто не захочет приобрести, а если и захочет, то не сможет себе позволить.

И я сказал:

— Ох, Марти, ты уж дождись, когда я умру, и тогда будешь знать, что у тебя на руках законченный корпус текстов, — не придется смотреть, как библиография мигом устареет.

— Когда ты умрешь, ничего не прекратится, — ответил Мартин. — Еще выйдут новые издания великого множества твоих книг, и будут выходить долгие годы.

— Правда? — изумленно спросил я, но, на миг задумавшись, понял, что он прав, и тут же увидел плюс в своей смерти. Не придется со всем этим возиться.

95. Коллекция Бостонского университета

В прошлой главе я упомянул, что Бостонский университет собирает мои документы. Это началось следующим образом.

В 1964 году Говард Готлиб, куратор Специальной коллекции Бостонского университета, попросил меня сохранять свои документы. Университет специализируется на писателях двадцатого века и не хотел пропускать плодовитого автора да еще и своего бывшего сотрудника.

Меня далеко не сразу убедили, что это не шутка. Я-то считал свои «документы» (старые рукописи, копии, гранки и так далее) макулатурой, чем они, собственно, и являются, что бы там ни рассказывал Готлиб. Время от времени я собирал целую пачку бумажек, забивавших до отказа кабинет, и сжигал в яме для барбекю на заднем дворе нашего дома в Уэст-Ньютоне. Все равно мы ею больше ни для чего не пользовались (уж точно не для барбекю), но мне всегда казалось, что это очень важное удобство — просто потому, что помогало избавляться от ненужных вещей.

Готлиб ужасно расстроился, когда узнал, что я сжигаю свои бумаги, но я отдал ему, что осталось, и с тех пор передаю экземпляр каждого издания на английском и иностранных языках, каждого журнала с моим рассказом или статьей, всю свою переписку, рукописи и так далее. Пока я жил в Бостоне, периодически заносил все лично и заодно обедал с ним. Переехав в Нью-Йорк, я приносил документы в Doubleday, а там по доброте душевной пересылали материалы Готлибу. Я периодически просил их вычесть почтовые расходы из моих роялти и неизменно слышал в ответ уничижительные замечания о своем уровне интеллекта и непреклонные отказы.

Но мне *все равно* кажется, что большая часть моих документов — макулатура, и уже начинаю бунтовать. Готлиб уверен, что исследователи литературы двадцатого века будут копаться в моих бумажках и напишут неисчислимые докторские диссертации. По-моему, он сумасшедший — невинный и обаятельный, люблю его всей душой, но он — точно сумасшедший.

Хранилище, где лежит моя макулатура, уже пригодилось не раз и ни два. Заинтересованным лицам разрешается изучать его содержание сколько душе угодно, и один страстный юный

поклонник разыскал рукопись рассказа, который я считал потерянным». Когда-то я опубликовал этот текст под псевдонимом, о чем я почему-то не сделал пометки в дневнике, и напрочь забыл про него. Я проследил, чтобы рассказ вышел в следующей подходящей книге.

Затем Чарльз Во из Мэна (вместе с которым мы работали над несколькими антологиями) отыскал в хранилище старые версии двух моих романов и одной повести. Одна находка — первоначальная версия «Камешка в небе». В 1986 году я опубликовал ее в книге «Альтернативный Азимов» («The Alternate Asimovs») чисто ради исторического интереса (и чтобы компенсировать свое потрясение 1947 года, когда отвергли прото-«Камешек»). Даже получилось продать несколько экземпляров.

Но, если говорить начистоту, собрание моих бумаг в Бостонском университете — наверняка самая большая и разнообразная коллекция макулатуры в мире. У меня есть такое кошмарное ощущение, что однажды его набьют до отказа и оно лопнет по швам. Так и вижу перед глазами заголовки в *The Boston Globe*: «Взорвалось хранилище Азимова. Разрушено Коммонвелф-авеню. Девятнадцать погибших».

96. Антологии

Когда в начале 1940-х я работал на NAES, начали выходить первые антологии фантастики.

Антология — это сборник рассказов не одного автора, а разных. Функция та же, что и у сборника: доносить до читателя тексты, которые он был бы рад перечитать или вовсе пропустил. Новые читатели могут ознакомиться с самыми известными работами прошлого.

Издатели платят за привилегию брать рассказы в антологии. Одна ранняя антология от Crown — «Лучшая научная фантастика» («The Best of Science Fiction») 1946 года, редактор Грофф Конклин (в итоге мы станем с ним хорошими друзьями). Туда попал далеко не лучший мой рассказ «Тупик» («Blind Alley», ASF, март 1945). Все права выкупили Street & Smith Publications, поэтому деньги должны были пойти им, но Кэмпбелл потребовал, чтобы в таких случаях деньги шли авторам. (Добрый поступок в духе Кэмпбелла.)

Я получил за «Тупик» сорок два доллара и пятьдесят центов. Мелочь, но мне впервые дополнительно заплатили за то, что уже написал

и продал ранее. Меньше чем через год в другую антологию, «Приключения во времени и пространстве» («Adventures in Time and Space», редакторы — Рэймонд Дж. Хили и Дж. Фрэнсис Маккомас), взяли «Приход ночи», и я получил шестьдесят шесть долларов пятьдесят центов. В будущем мне будут еще платить за антологии, но в 1940-х я и не подозревал, что такое вообще возможно.

Со временем антологии фантастики стали выходить сотнями, и во многие брали мои рассказы. Некоторые мои произведения публиковались больше сорока раз, но, надо думать, у Артура Кларка и Харлана Эллисона результаты еще более впечатляющие.

Подозреваю, многие составители, особенно те, кто готовит хрестоматии для школ, ищут материал, конечно, не в первоисточниках, а в других антологиях. Значит, если рассказ уже несколько раз публиковали, он будет выходить и дальше по чистой инерции.

Еще, как правило, чем известнее автор и чем востребованнее его тексты, тем более высокий гонорар он требует за их публикацию. Я придерживаюсь прямо противоположного принципа. Я никогда не прошу много, рассчитывая, что так ме-

ня будут чаще публиковать в антологиях. Я хочу, чтобы мои тексты и мое имя распространялись повсеместно, и считаю, что так я извлеку больше прибыли, чем если начну набивать себе цену.

Вышло множество антологий — причем некоторые подготовлены моими друзьями-фантастами, — и я знал, что редактор обычно получает половину роялти (вторую половину делят между собой авторы), но меня к работе составителя не тянуло. Для этого надо читать подшивки журналов, выбирать тексты, просить у разных авторов разрешения и так далее. Слишком много усилий. Я бы лучше посвятил время писательству, чем возне с антологиями.

Но в 1961 году Аврама Дэвидсона посетила мысль. Когда-то у него выходил рассказ «Моря, полные устриц» («Or All the Seas with Oysters», Galaxy, май 1958), выигравший премию «Хьюго». Аврам вечно нуждался в деньгах и знал, что подзаработает, если рассказ включат в антологию. И его бы обязательно взяли, если бы кто-нибудь поддался уговорам выпустить сборник лауреатов «Хьюго».

Агент Аврама Боб Миллс задумал позвать в редакторы того, кто 1) сам известный фантаст и 2) ни разу не получал «Хьюго».

И тут же вспомнил обо мне. Я посопротивлялся, но, так как мне не приходилось отбирать рассказы, а разрешениями занялся бы Боб Миллс, дело казалось простым, и я согласился.

«Лауреаты премии „Хьюго“» («The Hugo Winners») — моя первая антология. Вышла она в Doubleday в 1962 году и очень хорошо продавалась. Но я обнаружил, что в одном отношении все-таки просчитался. Каждые полгода приходили роялти за книгу. От меня требовалось отсылать десять процентов Бобу Миллсу, оставшееся делить пополам, одну часть оставляяя себе, а вторую — распределяя между девятью авторами согласно объему рассказов, после чего отправлть по почте чеки их агентам.

Я бы выдержал такое один-два раза, но антология продавалась в том или ином виде двадцать лет. Я смертельно устал от этого дела и твердо решил никогда в жизни не браться за антологии, если не уговорю кого-нибудь взять всю бумажную работу на себя.

И стоял на своем. К 1977 году я был редактором в восьми антологиях — и в каждом случае бумажные дела улаживал кто-то другой. Среди этих антологий — еще два тома лауреатов «Хьюго», том лауреатов «Небьюлы», антология фанта-

стических рассказов, составленная совместно с Гроффом Конклином, книга фантастических рассказов, отобранных Doubleday, и книга «До Золотого века» — уже целиком моя затея.

3 апреля 1973 года мне приснилось, что я подготовил сборник великих рассказов, которыми наслаждался в 1930-х (в том числе «Мир красного солнца» Клиффа Саймака, «Рожденные Солнцем» Джека Уильямсона, «Тумитак из подземных коридоров» («Tumithak of the Corridors») Чарльза Таннера и так далее). Я рассказал свой сон Джанет, а она спросила: «А почему бы ее не выпустить?»

Почему нет? Я позвонил Ларри Эшмиду, подчеркнул историческую значимость антологии — и он дал добро. Я позвонил Сэму Московицу, неофициальному историку фантастики. Он сказал, что всегда надеялся сам собрать такую книгу, но с ним не будут иметь дела издатели, тогда как меня они выслушают. Затем он в рекордные сроки исправно раздобыл вырезки со всеми нужными рассказами — и я ему, конечно, все оплатил.

Книга вышла в Doubleday 3 апреля 1974 года, в годовщину моего сна. Продавалась она средне, зато лично мне принесла огромное удовлетворение. Я всей душой мечтал вернуться в прошлое

к тому школьнику, которым когда-то был, и сказать, что сохранил все его любимые рассказы.

Тут моя тяга к составлению антологий оказалась полностью удовлетворена. Я не ожидал, что займусь ими снова, не считая, пожалуй, новых томов с лауреатами «Хьюго», хотя даже ими заниматься не хотелось.

Но в 1977-м я познакомился с Мартином Гарри Гринбергом, и тогда изменилось все — об этом я расскажу в свое время.

97. Введения

Антология «Лауреаты премии „Хьюго“» поставила передо мной проблему. Считать ее своей книгой или не считать?

К выходу антологии мне исполнилось сорок два, я опубликовал сорок шесть книг. И уже начал понимать, что с литературной точки зрения самое важное во мне — количество книг. Меня не торопились нарекать великим светочем литературы. Я не угрожал трону всяких апдайков и беллоу и никогда не смогу. Но все мы хотим признания, все хотим чем-нибудь прославиться, и я начинал осознавать, что в крайнем случае прославлюсь количеством книг и разнообразием тем. Неплохо, если оценят и их хорошее качество, но мне что-то подсказывало, что этого никто не заметит — заметят только количество.

Поэтому мне хотелось посчитать и «Лауреатов» и назвать их книгой № 47, подкрепляя свои шансы на славу. В конце концов, мое имя стоит на обложке. Вот, пожалуйста: «Редактор Айзек Азимов».

К сожалению, мне мешали этика и наполняв-

шие детство отцовские наставления о честности. Фактически я не работал над книгой. На самом деле эти девять рассказов отобрали читатели. Порядок текстов — строго хронологический. Я не потратил много времени, любой бы управился с книгой так же легко.

Тут мне пришла блестящая идея. А почему бы не внести свою лепту? Я мог написать длинное и очень личное предисловие и вдобавок длинные и очень личные вступления к каждому рассказу. Так книга точно станет моей, и я смогу на вполне законных основаниях добавить ее в свой список.

Так я и сделал. Написал юмористическое предисловие, где чрезмерно расхваливал себя и порицал несправедливость, из-за которой лишен «Хьюго» (снова старые шутки Боба Хоупа об «Оскарах»). Я начал читать предисловие Тиму Селдесу, и уже первый абзац поверг присутствующих в шок. Красавица секретарша Тима, Венди Вайль, заглянула мне через плечо и сказала:

— Он и правда так написал, Тим.

Тим выхватил у меня предисловие и прочитал сам.

— Ну, наверное, любители фантастики это оценят, — сказал он, — но как быть с жителями какого-нибудь Дабека?

— А жители какого-нибудь Дабека, — ответил я с уверенностью, которой на самом деле не чувствовал, — будут в восторге. Они почувствуют себя в мире фантастики.

Тим сомневался, но решился рискнуть. Книгу выпустили с моим предисловием и вступлениями без изменений, и я включил ее в свой список под номером 47.

И быстро стало ясно, что я правильно сделал. «Лауреаты премии „Хьюго“» разошлись удивительно хорошо для антологии, рекой потекли письма о том, что лучшее в ней — предисловие и вступления.

Тут меня словно током ударило и я сделал простой вывод. Всем моим сборникам рассказов и статей чего-то не хватало. Я их просто собирал и выпускал без единого слова от себя.

Хватит! Со времен «Лауреатов» не один мой сборник не обходится без пространного словоблудия в виде предисловий и послесловий (иногда и того и другого) к каждому рассказу. Они очень личные и обычно сообщают, как написан рассказ. Что важнее, они веселые и объективные. Если мне рассказ нравится, я так и говорю; если он получил некую известность, я так и говорю; если мне кажется, что его недооценили, я так и говорю

— и вдобавок ворчу.

В целом результат замечательный. Читатели почувствовали, что я обращаюсь к ним свободно и открыто, возникло общее ощущение тепла и дружбы. Я стал для них не просто странным именем с обложки, а живым человеком. Начал получать письма с таким началом: «Дорогой Айзек, прости, что обращаюсь к тебе просто по имени, но я прочитал у тебя столько всего, что мы уже как будто давние друзья».

Я даже получил письмо от девушки из Британской Колумбии, которое начиналось такими словами: «Сегодня мне исполнилось восемнадцать. Я сижу у окна, смотрю на дождь и думаю о том, как сильно тебя люблю».

Она, конечно же имела в виду рассказы, но благодаря вступлениям я стал от них неотделим.

Я ответил ей благодарным письмом, но не удержался и добавил: «Впрочем, не могу не задать вот такой вопрос. Где ж вы все были, влюбленные восемнадцатилетние девушки, когда я был одиноким двадцатиоднолетним парнем?»

Меня бесконечно радовали, что я вызываю в людях сердечность и одобрение. В конце концов, кому не нравится, когда его любят? И мне хватило практичности заметить, как это помогает

продажам.

Такое редакторское вмешательство коснулось даже сборников статей. Я взял за привычку предварять каждую статью в F&SF обычно смешным случаем из жизни, который, во-первых, правдив, а во-вторых, подходит (или хотя бы притянут к теме. Он исполнял роль вступления, и капля юмора в начале помогала читателю погрузиться в порой сложную тему, а то и пробраться через статью целым и невредимым.

Конечно, не всем нравятся мои вступительные замечания. Их толкуют как признак нездорового и гипертрофированного эго. Это, конечно, неправда. Я просто себе нравлюсь, вот и все, и не вижу в этом ничего плохого. Мне хочется согласиться с одним критиком. Он сказал: «Это очень нескромный человек, но у него много поводов быть нескромным».

98. Мои «Хьюго»

Какое-то время я преувеличивал свои обиды из-за «Хьюго», начиная с антологии лауреатов. На самом деле меня не волновало, что я не получал премию, ведь большинство моих лучших рассказов вышло еще до ее появления (хотя мне казалось, что «Уродливый мальчуган» точно ее заслужил). Но это был хороший повод для юмора, и я использовал его по максимуму.

В 1963-м Всемирную конвенцию проводили в Вашингтоне, а организовывал ее Джордж Сайзерс — любитель фантастики, с которым мы подружились, когда вместе ехали на поезде из Детройта со Всемирной конвенции 1959-го. Джордж позвонил и спросил, не приеду ли я в Вашингтон, добавив, что ведущим церемонии станет Теодор Старджон.

Зашевелилась отдаленная надежда. Зачем уточнять, приеду я или нет, если «Хьюго» будет раздавать кто-то другой? Возможно, награду получу я? Я пообещал приехать и постарался скрыть свое придвкушение.

Но через некоторое время мне опять позвонили.

У Теда возникли серьезные семейные обстоятельства, он не сможет приехать в Вашингтон. Не заменю ли я его в роли ведущего? Что ж, это очевидно значило, что мне награды не достанется, но я уже обещался приехать и не мог пойти на попятную. Поэтому я сделал хорошую мину при плохой игре и согласился.

Я вручал «Хьюго», особенно налегая на шутку Боба Хоупа, из-за разочарования мои остроты стали еще более колкими. Когда пришла пора открывать последний конверт, меня насторожило, что на нем не указана категория. Немало времени я им размахивал и критиковал комитет. Выдвигал еще более безумные обвинения, чтобы выжать побольше юмора, и теперь уличал организаторов, что меня обходят из чистейшего злостного антисемитизма.

Затем открыл конверт и там, конечно же, была особая премия за мои научные статьи в F&SF. Я беспомощно уставился на публику и не мог дочитать собственное имя, пока все вокруг истерически покатывались со смеху. (Такое ощущение, будто об этом знали все, кроме меня.)

Потом я спросил Джорджа Сайзерса:

— Как же ты попросил меня вручать «Хьюго», если я сам — лауреат?

— Мы и не собирались просить, но Тед Старджон не смог приехать, и тогда решили, что ты — единственный фантаст, который сможет вручить премию самому себе и не опростоволоситься, — ответил он.

В 1966-м Всемирную конвенцию проводили в Кливленде — одиннадцать лет назад я был там почетным гостем. Я решил съездить, потому что комитет вручал «Хьюго» за лучший цикл, состоящий из трех и более романов. В качестве примера приводился «Властелин колец» Толкина из трех томов (четырех, если считать «Хоббита»). Это недвусмысленно намекало, что победу прочили Толкину, а из-за популярности его книг (я и сам перечитывал их пять раз) я сам не сомневался в его победе вопреки любой конкуренции.

Но для приличия номинировали и другие циклы: цикл Хайнлайна «История будущего» («Future History»), цикл о Марсе Эдгара Райса Берроуза, цикл о Ленсменах Э. Э. Смита и мой цикл «Основание». Очевидно, надо было ехать в Кливленд. Обычно чем длиннее текст, тем более значима награда за него, и самые ценные «Хьюго» — за лучший роман года. Но тогда в первый раз (и в последний) выдавалась премия за цикл романов, к тому же с уточнением «всех времен», а это уже не

просто лучший в году. Следовательно, это самый ценный «Хьюго» из всех, что вручали прежде (или будут вручать впредь). Я не сомневался, что «Основание» займет последнеее место, но и сама номинация в такой категории — большая честь, поэтому я поехал.

В этот раз я взял с собой Гертруду и детей, что поначалу казалось роковой ошибкой. Поездка на автомобиле была утомительной, отель в Кливленде — ветхим, а номер — паршивым, в нем почти некуда было положить вещи. Гертруда все это переносила тяжело, так что я предчувствовал окончательно испорченные выходные.

К счастью — и к немалой удаче, — пока мы, повесив нос, шли к стойке регистрации, к нам подошел Харлан Эллисон, и мне выпала возможность понаблюдать вблизи, какой эффект он производит на женщин. Я глазом не успел моргнуть, как Гертруда и Робин уже ловили каждое его слово. Я и Гертруда просидели с ним почти до рассвета, и ей все-таки понравилось на конвенции. А раз понравилось ей, то, конечно, понравилось и мне.

На самом банкете награды вручали по степени возрастания значимости, поэтому категория циклов шла последней. Объявлять результаты

вышел Харлан (оказывается, он вызвался сам, а никто не любит спорить с Харланом). Он зачитал список номинантов, пропустив «Основание». Я раздраженно его окрикнул, но он даже бровью не повел и назвал победителя. Я переиграл Толкина, Хайнлайна, Смита и Берроуза. Вот почему вызвался выйти он — чтобы посмотреть на мое лицо.

Я сперва подумал, что это у него такие шуточки, и просто сидел, насупленный и раздраженный, пока до меня не дошло, что я действительно победил — и тогда-то я изобразил то лицо, которого ждал Харлан. Так я получил свой второй «Хьюго» — и самый ценный в истории. Я получу еще три, но обо всем по порядку.

Между прочим, получив «Хьюго» в первый раз я обратил внимание Doubleday, что уже не гожусь в составители антологий с лауреатами. (Надеялся, это бремя снимут с моих плеч.) Но мне такое никогда не удается провернуть. В ответ я, как обычно, услышал: «Не говори глупостей, Айзек».

99. Walker & Company

Редакторы переходят из одного издательства в другое. Иногда они переносят с собой меня, как вирус.

Так, в начале 1960-х Эдвард Берлингейм работал под руководством Трумэна Талли в издательстве New American Library (NAL), которое специализировалось на книгах в мягких обложках. Я писал для них научные книги. Одна — «Источники жизни» («The Wellsprings of Life»), вышедшая в 1960-м в твердой обложке от Abelard-Schuman. Две других — «Тело человека. Строение и функции» («The Human Body») и «Мозг человека. Строение и функции» («The Human Brain»); отличные книги, если вам важно мое мнение. Они вышли в твердой обложке от Houghton Miflfin в 1963-м и 1964-м соответственно.

Но потом в NAL произошли перестановки, и Эд ушел в маленькую фирму Walker & Company. Я тогда как раз написал трехтомник по физике для взрослой аудитории «Популярная физика. От архимедова рычага до квантовой теории» («Understanding Physics»), который вышел от

NAL в мягкой обложке. Как только Эд устроился в Walker & Company, он предложил сделать переиздание в твердой — оно вышло в 1966-м. Так Walker & Company стали моим постоянным издательством.

Walker & Company — маленькое семейное издательство, таких нынче практически не существует. Глава семьи в данном случае — Сэмюэл Уокер, высокий, улыбчивый господин со светскими манерами. Его жена Бет Уокер, высокая и очень привлекательная женщина с отточенным чувством юмора. Общаться и перешучиваться с ней — сплошное удовольствие.

Например, пару лет назад, когда я сбросил несколько килограммов, Бет одобрительно похлопала меня по животу и сказала:

— Правильно, Айзек, пусть сдувается.

На что я ответил:

— Если бы ты так сделала, когда я был помоложе, ничего бы у меня не сдулось.

Отсмеявшись (а смеется она заразительно и от души), она сказала то же, что я уже не раз слышал от женщин:

— И как ты все время меня подлавливаешь?

(Ответ прост. Я не смогу подловить, только если сидеть со мной молча.)

Walker & Company подтолкнули меня выпустить несколько фривольных книг. Например, было время, когда с полок магазинов моментально разбирали томики «Чувственная женщина» от Дж («The Sensuous Woman») и «Чувственный мужчина» от М («The Sensuous Man»), хотя, на мой взгляд, это дрянь, даже если делать скидку на жанр (судя по тому, что я смог прочесть, пока меня не стошнило).

Тогда Бет мне предложила:

— А может, ты сам напишешь непристойную книжку, Айзек?

— О чем? О том, как быть похотливым старикашкой? — спросил я.

— Отлично, — ответила Бет, и я написал «Чувственного похотливого старикашку» («The Sensuous Dirty Old Man»), который вышел в Walker & Company в 1971 году. Я закончил книгу за выходные, начинив текст каламбурами и ложными цитатами, чтобы он производил впечатление «пошлого», но при этом ни разу не скатывался в непристойность. Я работал над книгой в кабинете Джанет — по выходным он не использовался (мы еще не поженились). Когда она заходила, я нервно прятал рукопись. Я думал, Джанет такое не одобрит, но как же плохо я ее знал. Ей нравятся

непристойности так же, как и мне.

Книга провалилась. Слишком фривольная для моих обычных читателей, недостаточно (или вообще не) порнографическая — для любителей всякого мусора. С этой книгой связан один из редких поступков, которых я действительно стыжусь. На обложке изображался я с глазами, накрытыми лифчиком. Автором указали «Доктора А» — в стиле инициалов, заменяющих имя автора, на других книгах из «чувственной» серии. Но мою истинную личность раскрыли, как только книжка вышла.

И все-таки Уокер договорился, чтобы я пришел на шоу Дика Каветта, сохраняя бутафорскую анонимность, с лифчиком на глазах. Сам не пойму, зачем согласился. Конечно, я снял его уже в начале интервью, но успел-таки выставить себя круглым дураком перед огромной аудиторией.

Затем в начале 1975-го я стал в зашкаливающем количестве строчить лимерики. Я и раньше время от времени сочинял лимерик-другой, но теперь подсел на них всерьез. Не знаю почему.

Возможно, потому, что у стихотворной формы есть жесткие требования к размеру и ритму. Я на дух не переносил большую часть современной поэзии, потому что ничего в ней не понимал (а

главное, в ней не было ничего, чтобы мне захотелось ее понимать) и презирал ее безалаберное отношение к стихосложению. (Роберт Фрост[83] говорил, что сочинять верлибр — это как играть в теннис без сетки, и я с ним согласен.) Поэтому мне хотелось, чтобы меня ограничили правила, и тогда написание успешного лимерика больше похоже на испытание и достижение.

Еще одно ограничение я установил для себя сам. Лимерики должны быть непристойными, и ради хорошего лимерика я переступал через принцип не использовать вульгаризмы. Однако я твердо решил, что ни один лимерик не будет просто «грязным». Они должны быть остроумными, а главное — больше остроумными, чем грязными. Так их стало еще сложнее писать.

Долгое время лимерики заполняли мои часы ночного бодрствования. Когда не спалось, я сочинял лимерики. Если получалось, я смеялся вслух (даже при попытках сдержаться я весь трясся и раскачивал кровать). Джанет просыпалась, а я объяснял, что только что придумал лимерик.

— Запиши, — советовала она.

Но я только фыркал. «Вспомню», — уверял я ее

---

[83] Примечания: 83

Роберт Фрост (1874–1963) — американский поэт и педагог, четырёхкратный лауреат Пулитцеровской премии. — Прим. ред.

и засыпал. А наутро, конечно же, вспоминал.

Набрав сотню, я их передал (с примечаниями, конечно) в Walker & Company — так в 1975 году вышли «Распутные лимерики» («Lecherous Limericks»). К концу семидесятых я написал еще четыре книги распутных лимериков (две — с поэтом Джоном Чиарди). А еще две книги — приличных.

Всего я издал почти семьсот сочиненных мной лимериков, а потом мания сошла на нет, и я не писал уже ни строчки — разве что изредка или по чьей-нибудь просьбе, обычно — женщин.

Книжки почти не продавались. Обычно на лимерики спрос небольшой, но в моем случае снова не получилось усидеть на двух стульях. Мои читатели — не большие поклонники похабных лимериков, а истинные ценители сочли их не такими уж и непристойными. Ну и ладно. Зато было весело.

Удержусь от соблазна привести здесь десятки любимых, но один приведу — о Джоне Чиарди и себе самом (с комичным преувеличением, конечно же.)

Есть что-то такое в сатириазе,
Что кажется психиатрам проказой.

Но хоть я и болен,
Вполне этим доволен,
Как и дама, с кем сольюсь я в экстазе.

Тем временем новый редактор Walker & Company Миллисент Селсам (сама известный автор книг по биологии для подростков) предложила написать книгу «Как мы узнали, что Земля круглая?» («How Did We Find Out the Earth Is Round?») на семь с половиной тысяч слов слов с расчетом на аудиторию смышленых детей от десяти до двенадцати лет.

Мне это показалось прекрасной идеей. Я тут же засел за книгу, ее издали в 1973-м. Она хорошо продавалась, и Миллисент предложила мне продолжать без ограничений. Так и появилась моя серия об истории науки с небольшими книжками на темы от вулканов до черных дыр, от атомов до сверхпроводимости. Я написал уже тридцать пять штук, и серия в целом пользуется успехом.

На данный момент в Walker & Company вышли шестьдесят шесть моих книг. Это издательство стоит на втором месте после Doubleday и по их количеству, и по сумме роялти.

Люблю запоминать комплименты издателей. Однажды, когда я ждал роялти в феврале 1978-

го, во время сильной метели, я позвонил Сэму Уокеру и сказал: «Заберу деньги, когда погода прояснится. Это несрочно».

Но Сэм и слышать это не хотел. Он доставил мне отчет и чек на лыжах.

А Бет мне однажды сказала: «Странно, но ты у нас и самый лучший автор, и самый милый».

Знаю, почему ей это странно. Любой творческий человек, достигнув «звездного» статуса, склонен становиться капризным, требовательным и в целом несговорчивым. Я еще в начале карьеры дал себе слово, что если когда-нибудь достигну известности, то не стану жертвой этой болезни. Не считая очень редких оплошностей в припадке гнева, я держался этого принципа.

Однажды Патриция ван Дорен из Basic Books позвала меня на обед, а в ресторане мы повстречали Роберта Бэнкера из Doubleday. Он сказал:

— Присматривайте за ним, миссис ван Дорен. Он любимый автор Doubleday.

А Пэт заносчиво ответила:

— Не переживайте, мистер Бэнкер, он любимый автор и у Basic Books.

Ничего не могу с собой поделать, обожаю такие теплые комментарии и постоянно их прокручиваю в памяти.

И последнее. Walker & Company услужили мне еще кое в чем, и совершенно необычным образом, но я дойду до этого немного позже.

100. Неудачи

Не все мои проекты 1960-х добились успеха.

В 1961-м «Всемирная книжная энциклопедия» пригласила меня в команду авторов их «Ежегодной книги». Нас было семеро, и каждый брал на себя тот или иной аспект достижений прошедшего года. Так, Джеймс («Скотти») Рестон занимался национальными новостями, Лестер Пирсон из Канады — международными, Ред Смит — спортом, Сильвия Портер — экономикой, Алистер Кук — культурой, и Лоуренс Кремин — образованием.

Мне досталась наука. Работа была не бей лежачего, по статье в две тысячи слов каждый год. Платили хорошо, две тысячи долларов. Я еще не дошел до стадии, когда мог на постоянной основе просить доллар за слово, поэтому две тысячи выглядели необычайно щедрой оплатой.

Я поставил только одно условие. Путешествовать я не буду.

Они пошли на мои требования, но согласие оказалось липовым. Сперва меня уговорили поехать в Чикаго, потом — в Западную Вирджинию. Наконец в 1964 году пытались подбить к поездке

на Бермуды, но я наотрез отказался.

Меня спросили, нужно ли мне больше денег. Я ответил: «Нет, вы платите достаточно. Я просто отказываюсь путешествовать».

И меня уволили.

Еще хуже ситуация сложилась в 1966-м, когда в издательстве Ginn and Company хотели выпустить научную серию книг для начальной школы. Они собирали авторов и пригласили меня написать кое-что для четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого классов.

Я колебался, потому что так и не забыл опыт работы над учебниками десятилетней давности, особенно в компании соавторов. Но меня все же соблазнили.

Понимаете ли, в 1966-м я уже не сомневался, что мой брак с Гертрудой не продержится много лет и глубоко из-за этого переживал. Вдобавок меня мучила еврейская совесть. Когда Ginn and Company убедили меня, что серию учебников ждет многомиллионная прибыль, меня посетила светлая мысль перечислить половину роялти Гертруде. Так я о ней позабочусь, думал я.

Так что я сделал глубокий вдох и приступил. Время от времени авторы встречались большой группой для обсуждения книги, и я на протя-

жении всех встреч пересказывал последние анекдоты — примерно в том же духе, как через несколько лет буду травить байки по дороге к «Конкорду». Надо же было хоть как-то сделать полезное приятным.

Я ненавидел эту работу — меня удерживала только мысль о миллионах долларов. К сожалению, книги провалились в продаже и заработали не миллионы, а тысячи. Гертруда все-таки получила свою половину роялти, но такую маленькую, что я ее скорее разозлил, чем задобрил.

Я же не виноват. Ну, отчасти, если задуматься, виноват. Одна из причин провала — в книгах говорилось об эволюции, поэтому троглодиты из Техаса и других штатов ее не брали. Они хотели преподавать науку в духе Библии.

Все издатели с присущей им храбростью принялись отуплять книги, стремясь заработать на том, чтобы оставить американских детей необразованными или, что еще хуже, неправильно образованными. Ginn and Company приготовились подхватить это разрушение впечатлительных умов, убирая главы об эволюции и заменяя их на что-то расплывчатое о «развитии». Но главы об эволюции писал как раз я (и вот поэтому отдаленно причастен к плохим продажам), и я отказался

вносить изменения.

Я надменно заявил: «Неизвестно, заработаю ли я миллион, но точно известно, что я останусь верным своим принципам».

И меня уволили. Нашли для внесения изменений кого-то другого, и 26 июня 1978 года я потребовал убрать свое имя из книг. Этот проект был провальным от начала до конца.

Как поступать в таких случаях? Автор бессилен перед трусливыми издателями, безвольными школьными советами и фанатичными неучами. Остается только писать статьи с осуждением креационизма и веры в Адама, Еву, говорящих змей, Всемирный потоп во вселенной, которой от шести до десяти тысяч лет, и в сверхъестественное творение всех видов жизни разом.

Некоторые мои статьи появлялись в таких авторитетных органах, как The New Tork Times Magazine, и возмущали многих фундаменталистов — чем я весьма горжусь и наслаждаюсь.

101. Подростки

Ранее в книге я упоминал, что не питаю теплых чувств к малышам и детям. Я не в большом восторге и от подростков. Очень подозрительно отношусь к любому парню младше двадцати одного и любой девушке младше восемнадцати. Эта мысль вернулась с новой силой, когда в 1956 году мы купили дом в Уэст-Ньютоне.

Он находился всего в полутора кварталах от средней школы, и я, такой наивный, думал, что тем будет проще для моих детей, когда они подрастут. О других детях я не подумал.

Каждое утро по улице к школе валила толпа подростков от двенадцати до пятнадцати лет. Спустя несколько часов поток устремлялся в противоположном направлении. Утром это было почти выносимо, потому что их ждали в школе в конкретное время, а они редко просыпались достаточно рано для неторопливых прогулок. Но вот днем, по дороге домой, многие уже не торопились воссоединиться с любящей семьей в конкретное время. Поэтому поток приобретал блуждающий характер, задерживался и застаи-

вался, часто — прямо перед нашим домом.

Они вели себя шумно, буйно, грубо и вообще неприлично. Явно казались себе очень взрослыми и модными, вовсю разбрасываясь грязными выражениями.

Как-то раз я писал для прискорбной серии Ginn and Company текст о выделительной системе организма и постоянно использовал (по очевидной причине) слово «урина».

На одном из наших частых сборов ответственный редактор серии возразил. Я ничего не мог понять.

— А что мне писать? — спросил я.

— Пиши «жидкие выделения».

Я все еще ничего не понимал.

— Почему? — потребовал я ответа.

— Потому что школьники будут смеяться, если увидят слово «урина».

Тогда я пришел в ярость и заявил:

— Послушайте, я живу в квартале, в котором кишмя кишат ученики средней школы, и если они бы и смеялись из-за слова «урина», то только потому, что оно для них слишком умное. Сами они говорят «моча». Могу сменить «урину» на «мочу», если пожелаете, но никаких «жидких выделений».

Мы оставили «урину».

Если честно, подростки нас пугали. Казались нам с Гертрудой подлинным стихийным бедствием. Мы не могли их прогнать, а если пытались, то все как об стенку горох. Они всегда возвращались, а вся наша ругань лишь пробуждала в них мятежный дух, отчего толпа перед домом становилась больше и громче.

Да, это были приличные дети из среднего класса, никаких случаев насилия или вандализма, но меня беспокоил шум. Мы научились узнавать первый отдаленный шепоток, предвещавший грядущий потоп, и заранее начинали дрожать. Это, правда, немало попортило нам кровь. Мелочь, но из мелочей как раз и получается самый действенный яд. Вспомните, как жужжание всего одного комара портит спокойный сон.

Наконец я решил проблему, хотя не без вмешательства случая, о чем сейчас и расскажу.

102. Эл Кэпп

Эл Кэпп — это, разумеется, знаменитый художник газетных комиксов, придумавший мир «Малыша Эбнера» («Li'l Abner»), который я обожал. Мы с ним познакомились в 1954 году благодаря профессору из Бостонского университета, нашему общему другу. Эл был человеком среднего роста, с деревянной ногой и с выразительным лицом, любил посмеяться и легко становился душой компании. Мне нравилось с ним общаться.

Дружба у нас была крепкой, но не близкой. Иногда мы беседовали по телефону, однажды я побывал у него в гостях, мы вместе ходили на «Суровое испытание» Артура Миллера[84] и так далее. Сильнее всего мы сблизились на Всемирной конвенции 1956 года в Нью-Йорке, где он выступал и откуда подвез меня с Хэлом Клементом.

Дружба пришла к ужасному завершению в 1968-м, но, чтобы все объяснить, придется сделать

---

[84] Примечания: 84

«Суровое испытание» — пьеса американского драматурга Артура Миллера (1915–2005), частично основанная на событиях охоты на ведьм в XVII веке и написанная как аллегория на политику маккартизма в США. Первая постановка состоялась в 1953 году в бродвейском театре Мартина Бека. — Прим. ред.

отступление. Прошу меня простить.

Я всю жизнь был либералом. Мне пришлось. Я рано заметил, что консерваторы, более-менее довольные нынешним положением вещей и еще более довольные положением вещей пятидесятилетней давности, «себялюбивы».

То есть консерваторы склонны уважать только тех, кто похож на них, и не доверять всем остальным. В моей молодости социальная, экономическая и политическая власть в Соединенных Штатах принадлежала элите, почти целиком состоящей из людей северо-западноевропейского происхождения, и составляющие эту элиту консерваторы презирали других. Среди прочего они презирали евреев, а во времена Гитлера не особенно переживали из-за нацистов, которых считали преградой против коммунизма.

Мне, еврею, пришлось стать либералом, во-первых, из самозащиты и, во-вторых, потому что с возрастом я сознательно перешел на эту сторону. Мне хотелось, чтобы Штаты изменились и стали цивилизованнее, гуманнее, преданнее собственным провозглашенным традициям. Мне хотелось, чтобы о каждом американце судили по его личности, а не по стереотипам. Мне хотелось, чтобы у всех имелись разумные возможности.

Мне хотелось, чтобы общество не забывало о благополучии нищих, безработных, немощных, пожилых, безнадежных.

Мне было всего тринадцать, когда президентом стал Франклин Делано Рузвельт и ввел «Новый курс», но уже тогда мне хватило ума понять, что он задумал. Чем старше я становился, тем прочнее занимал сторону либералов. И не одобрял Рузвельта, только когда ему не хватало либеральности — например, когда он по политическим причинам игнорировал бедственное положение афроамериканцев на юге США или лоялистов в Испании.

После Второй мировой войны волна либерализма схлынула. Страна процветала, многие синие воротнички, получив работу и, видимо, почувствовав себя в безопасности, стали консерваторами. Они добились своего и не желали ущемлять себя ради тех, кто остался на дне. А многие из тех, кому пришлось хуже всего и кто мог бы побороться за лучшую долю, с годами впадали в апатию и наркозависимость.

И вот мы вошли в эпоху Рейгана, когда стало в порядке вещей не облагать налогом, а брать взаймы; тратиться не на социальную сферу, а на вооружение. За восемь лет государственный

долг вырос больше чем вдвое, а выплаты по процентам взлетели до 150 миллиардов в год. Это не сразу сказалось на народе. Богатые американцы становились богаче в атмосфере беззаконности и жадности, а бедные американцы… Но кого волнуют бедные американцы? Разве что клейменных словом на «Л», о котором больше никто не смел заикнуться.

Вспоминаются слова Оливера Голдсмита:

Беда идет и убыстряет бег:
В почете злато, гибнет человек[85].

Меня, американского патриота, это очень удручает.

Я видел, как люди, становясь старше, толще и «респектабельнее», делаются из либералов консерваторами. Консерваторы с детства, такие как Джон Кэмпбелл, меня особенно не волновали. Я много десятков лет спорил с ним из-за политики и социологии, так и не сумев переубедить, хотя и он не смог переубедить меня.

А вот Роберт Хайнлайн, пламенный либерал в годы войны, стал пламенным консерватором после ее окончания — как раз когда сменил жену

---

[85] Примечания: 85

Оливер Голдсмит, «Покинутая деревня» («The Deserted Village»), пер. А Парин. — Прим. пер.

с либералки Леслин на консерваторшу Вирджинию. Сомневаюсь, конечно, что сам Хайнлайн назвался бы консерватором. Он-то мнил себя либертарианцем, что, по моему мнению, значит: «Я хочу свободу богатеть, а ты получай свободу голодать». Легко верить, что никто не должен просить поддержки у общества, когда тебе самому помощь не требуется.

Но с самого ближнего расстояния я наблюдал случай Эла Кэппа (вот я к нему и вернулся). Даже не знаю, что с ним случилось. До середины 1960-х он был либералом, как скажет любой читавший его комикс «Малыш Эбнер». Помню, что даже в 1964-м мы при встрече оба осуждали попытку Барри Голдуотера баллотироваться в президенты. (Впрочем, с высоты прожитых лет я осознаю, что Голдуотер был честным человеком и куда благороднее Линдона Джонсона, за которого я голосовал, а также Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, за которого я уже не голосовал.)

И вдруг в одночасье Эл стал консерватором. Не знаю, что его к этому побудило. Признаю, к «новым либералам» 1960-х было трудновато привыкнуть — они сами подставились под насмешки, став длинноволосыми неухоженными чудилами; и, видимо, они безмерно не нравились

Элу, поэтому он резко переметнулся к правым.

Помню встречу после 1964-го, когда Эл Кэпп чуть ли не плевался ядом в разговоре об афроамериканском писателе Джеймсе Болдуине и других выдающихся афроамериканцах в отдельности, а также движениях за гражданские права и прекращение войны во Вьетнаме в целом.

Я слушал в ужасе и пытался возражать, но Эл только отмахивался.

На этом наша с ним дружба закончилась. Во время редких встреч я проявлял вежливость и даже дружелюбие (мне никогда не хватало грубости разрывать отношения или пренебрежительно относиться, каким бы ни было мое мнение), но связь с ним я уже не поддерживал.

Больше всего меня беспокоило, что его новые воззрения заметно проступили в «Малыше Эбнере». Он жестоко издевался над персонажем «Пустышкой Джоани», собирательным образом либеральных фолк-исполнителей. Хуже того, он начал длинную комикс-серию, содержащую, как мне казалось, плохо завуалированные нападки на афроамериканцев.

Меня это надругательство над любимым комиксом (по крайней мере, таковым оно мне казалось) злило все больше и больше. Наконец дошло до

того, что я послал однострочную жалобу в The Boston Globe, где публиковали комикс. Я написал: «Только мне надоела античерная пропаганда Эла Кэппа в комиксе „Малыш Эбнер“?»

9 сентября 1968 года мое письмо пустили в «Глоуб» в жирной рамочке, сделав его ну очень заметным. Я был по-идиотски доволен собой, не задумавшись о последствиях.

На следующий день в три часа позвонил Эл Кэпп. Он уже видел газету и спросил:

— Привет, Айзек, с чего ты взял, что я против черных?

Я удивленно ответил:

— Ты что, Эл, я же тебя слышал. Я знаю, что ты против черных.

— А в суде докажешь? — спросил он.

— Ты хочешь подать на меня в суд? — у меня задрожал голос.

— Еще как! За клевету. Если только не отзовешь «Черных пантер».

— Я же не имею ничего общего с «Черными пантерами», Эл.

— Тогда пошли в Globe извинения и опровержение слов, что я против черных.

Редко меня повергали в такое малодушие. Мне нравится верить, что я тверд в своих принципах,

но я никогда не был в суде, не сталкивался с такой подлостью и попросту струсил.

Я пошел в кабинет печатать извинения и пресмыкаться, но удивительное дело: я обнаружил, что, может, сам я и трус, зато мои пальцы смелее львов. Они ни в какую не хотели печатать письмо. Как бы я им ни приказывал, они не слушались. Я таращился на чистый лист бумаги, пока не сдался. Никаких извинений. Пусть Эл Кэпп делает, что хочет. Я позвонил своему адвокату.

Тот рассмеялся и сказал, что Эл может подать в суд за публикацию письма только вместе на меня и на газету. Я сказал:

— Но я же послал письмо специально, чтобы его опубликовали.

— Но их-то публиковать никто не заставлял, — сказал адвокат. — Позвони им.

Я позвонил в газету, а там лишь рассмеялись. Мне сказали, что Эл Кэпп — публичная личность, его деятельность открыта для критики. Он не может подать в суд. И то же, сказали они, касается меня. (Я вспомнил о поклепах, что разные критики возвели на мое творчество, и расслабился.) А кроме того, сказали мне, Элу еще растолкуют, что судебный процесс будет только афишировать его античерные взгляды, а ему это самому не нужно.

И в самом деле, на следующий же день мне позвонили из газеты. Всего сутки спустя после своей угрозы Эл пошел на попятную, и я так и не извинился.

После я встретил его на каком-то крупном мероприятии. Мы дружелюбно поздоровались, никто и не вспомнил о прошлом инциденте.

Бедняга Эл! Конец его был несчастливым. Популярность «Малыша Эбнера» резко падала — возможно, из-за ошибочных творческих решений. Он лишился своих читателей-либералов, а консерваторы читают только биржевые сводки.

К тому же его затмил молодой Чарльз Шульц со своей «Мелочью пузатой» («Peanuts»), привнесшим в жанр газетного комикса утонченность, в сравнении с которой фарс Эла устарел (и Эл не скрывал своей обиды). Наконец университетский скандал из-за студентки положил конец и его карьере лектора. После его смерти в 1970-м никто не стал продолжать комикс.

Как я жалею, что в середине 1960-х взгляды и характер Эла столь резко изменились.

Но у стычки с ним были необычные последствия. Как я уже сказал, он позвонил мне с угрозой в три часа дня, как раз когда из школы высыпали ученики. Я слишком погрузился в свои мысли,

чтобы слышать их гвалт. Из газеты на следующий день тоже позвонили в три часа. Я пошел искать Гертруду, чтобы поделиться хорошими новостями, и обнаружил, что она на улице отчитывает школьников.

Я выскочил, преисполненный жизнерадостности и доброты душевной, послал Гертруду в дом, собрал детей вокруг, приобнял двух первых попавшихся и спросил, читал ли кто-нибудь мои рассказы. Кое-кто читал и признался, что им понравилось. Тогда я спросил, кто здесь пробовал сам написать рассказ. Поднялась одинокая рука — и паренек признался, что это трудно.

— Так вот, я пытаюсь писать, — сказал я, — и если вы будете проходить мимо моего дома молча, то упростите мне жизнь. Договорились?

— На нас кричит ваша жена, — сказал один.

Я оглянулся на дом и убедился, что Гертруда не слышит, иначе она явно не оценила мою следующую уловку. Я произнес театральным шепотом:

— А мне с ней жить. Представьте, каково мне?

Тут же раздался громкий смех, а затем мгновенно сработала мужская солидарность. После этого проблем не возникало. Я взял за привычку изредка выходить в час окончания уроков. Махал школьникам с широкой улыбкой, а они кричали

в ответ: «Как там пишутся рассказы?» Все решилось полюбовно.

Когда я вспоминаю все это, меня переполняет стыд. Как же я позволил своей иррациональной неприязни к молодежи перерасти в мысль, будто криками можно добиться больше, чем разговором по душам? Почему пришлось дожидаться стечения обстоятельств, чтобы научиться тому, что я и так знал в глубине души?

С тех пор я стараюсь избегать этой ошибки, что не всегда это. Однажды вечером в темноте я шел на встречу с друзьями в огромный многоквартирный дом. Чтобы попасть в подъезд, надо было подняться по лестнице, но на ступеньках стояла компания молодых людей, окинувших меня недружелюбными взглядами.

Трус во мне испуганно закричал: «Это грабители!» (Меня еще никогда не грабили.) Первой мыслью было развернуться и уйти, но я не поддался иррациональному страху и решительно пошел вперед. Поднял руку, приветствуя всю компанию, пока они наверху лестницы буравили меня глазами в тусклом свете лампочки.

— Привет, парни, — сказал я.

Один, будто только и дожидавшийся звука моего голоса, спросил:

— Эй, а вы, случаем, не Айзек Азимов?

От удивления я застыл как вкопанный.

— Да, это я.

— Мне понравились книжки про «Основание», — сказал славный молодой человек, а остальные дружелюбно улыбнулись.

Я их поблагодарил, пожал всем руки и радостно пошел своей дорогой.

103. Оазисы

Вполне реально написать книгу, которая будет успешно продаваться и заслужит одобрение критиков, но при этом ее ненавидеть. Как я уже объяснил, это относится к двум первым изданиям «Путеводителя разумного человека по науке».

Похожая ситуация, хотя и в меньшем масштабе, сложилась с «Приходом ночи». До его публикации Кэмпбелл добавил в самый конец один абзац. Очень поэтичный, но, на мой взгляд, совсем не в моем стиле — откровенный кусок «неазимовщины». Более того, в том абзаце Кэмпбелл упомянул Землю, а я старался замолчать ее в рассказе, чтобы читатель не думал о Лагаше как о чужой планете. Кэмпбелл одним абзацем испортил для меня рассказ и помог зародить мою привычку твердо возражать, когда его называют моим «лучшим» произведением.

Мне об этом неприятно напомнили несколько лет назад, когда фантаст Гарри Гаррисон защищал меня как писателя, который может писать поэтически, если захочет. В качестве доказательства он процитировал кэмпбелловский абзац из

«Прихода ночи». Это чуть ли не повергло меня в уныние.

И это подводит нас к тому факту, что переключившись в 1960-х и 1970-х на нон-фикшн, я не забросил писать фантастику. В пустыне научпопа встречались оазисы. За тот период я написал несколько рассказов. В том числе и довольно хороших. Например, «Женская интуиция» («Feminine Intuition»), вышедшая в октябрьском F&SF 1969 года. Затем «Световирши» («Light Verse») — рассказ написанный по просьбе The Saturday Evening Post. Он появился в сентябрьско-октябрьском выпуске 1983 года и очень мне нравится.

Я и ранее печатался в The Saturday Evening Post (после возрождения газеты в виде блеклой тени ее былого величия), но только с уже прежде опубликованными текстами. В The Saturday Evening Post попросили оригинальный рассказ, и, чтобы подчеркнуть, что «Световирши» как раз такой, я приложил письмо о том, что он написан в этот же день, с пылу с жару из печатной машинки.

Они удивились, что я могу написать рассказ за один день. Я промолчал. Решил, не стоит хвастаться, что писал рассказы и за один час. Люди не понимают, что значит «плодовитость».

Я писал даже романы за рекордное время, и

первый из них — «Фантастическое путешествие» («Fantastic Voyage»), о котором стоит рассказать подробнее, ведь на самом деле это не мой роман. По крайней мере, для меня.

Готовился фильм под названием «Фантастическое путешествие», где уменьшенная подлодка с уменьшенным экипажем отправляется в плавание по кровеносным сосудам умирающего, чтобы излечить его изнутри. На основе киносценария планировалось сделать новеллизацию. Права принадлежали Bantam Books, тогда под управлением Марка Яффе, и они попросили меня написать книгу.

Я колебался. Я никогда не делал ничего подобного и не думал, что мне понравиться писать, по сути, уже написанный роман. Но меня убедили прочитать сценарий, и я заинтриговался. Сюжет был интересный, а Марк все умасливал меня, утверждая, будто я единственный автор, кому они могут доверять, и все прочее. Как обычно, лесть сделала свое дело — я согласился.

Работа не заняла много времени, хотя и пришлось повозиться с исправлением изрядного количества элементарных ошибок в сценарии. (Авторы предполагали, будто материя непрерывна, и не понимали, что если уменьшить людей до

размера бактерий, то они уже не смогут вдыхать молекулы воздуха нормального размера. А еще подлодку в конце оставили в теле, потому что, по их словам, ее съела белая клетка. Мне пришлось подчеркнуть, что неважно, съели ее или нет, раз она состоит из уменьшенных атомов, которые расширятся и буквально распылят человека.)

Даже потратив время на исправление ошибок, я уложился с новеллизацией всего в шесть недель.

Это оказалось самое простое. Куда труднее стало воплотить свои планы на книгу. Новеллизации в мягких обложках задумываются как единоразовая реклама картины на время проката. И больше о них не слышат. Я твердо решил, что с моей книгой так не поступят. Моя книга может провалиться и исчезнуть, как «Дилеры смертью», но только по воле случая. И я поставил условие, что будет издание в твердой обложке.

В Bantam согласились, но им принадлежали права только на издание в мягкой. Искать другого издателя мне пришлось самому. В Doubleday не собирались выпускать книгу без прав на мягкую обложку. (Очередная их ошибка, особенно если учесть, что двадцать лет спустя Doubleday и Bantam станут частью одной и той же корпорации.)

Тогда я уговорил Houghton Miflfin. Остин сомневался, что книга в твердой обложке вообще продастся, если выйдет практически одновременно с книгой в мягкой. Я его успокоил, что в моем случае мягкая обложка не влияет на продажи твердой. На самом деле я этого не знал, но рискнул и оказался прав. Издание в твердой обложке продается по сей день, спустя четверть века, — признаю, не самыми большими тиражами, но продается.

Я работал так быстро, а киноиндустрия — так медленно, что «Фантастическое путешествие» вышло в твердой обложке уже в начале 1966-го — за полгода до фильма. В результате все решили, будто это фильм снят по книге. Что ужасно раздражало, поскольку мне пришлось следовать сценарию, а я без сомнения сам бы написал куда лучше. Поэтому пришлось объявить в печати и на словах, что это книга сделана по фильму, а не наоборот. Вряд ли что-то изменилось.

Фильм, кстати, неплохой. В нем, для начала, свою первую главную роль Ракель Уэлч, а она успешно отвлекает внимание от любых мелких недочетов.

Издание в мягкой обложке вышло вместе с фильмом и, к удивлению Bantam (и моему), ока-

залось не одноразовым. Книга продавалась еще много лет спустя после того, как фильм пропал из виду, и, более того, после десятков и десятков переизданий продается до сих пор. Уже выпущено несколько миллионов экземпляров. На данный момент она продается лучше любой моей книги, не считая цикла «Основание».

Это, конечно, меня не озолотило. Так как речь шла не об оригинальной работе, а о точном следовании сценарию, я получил ровно пять тысяч долларов. В итоге, когда Марк Яффе признал, что книга продается куда лучше, чем он ожидал, я получил еще две с половиной тысячи.

Я настаивал, чтобы разделить роялти за издание в твердой обложке так: четверть отходит мне, три четверти — Голливуду. Более того, я настоял на получении своей доли напрямую, а не через Голливуд. И поступил мудро, потому что у меня есть все основания верить: если бы все роялти получал Голливуд, мне бы не досталось ни пенни.

Мне не нравится «Фантастическое путешествие» — это одна из тех книг под моим именем, которую мне самому в голову не придет перечитывать. Дело не в том, что я слишком мало заработал на успешном долгоиграющем бестселлере. Все-таки книга не оригинальная, я не

думаю, будто заслуживаю больше полученного. Просто она не моя.

Через шесть лет вышли «Сами боги». Это главный оазис в пустыне 1960-х и 1970-х, потому что это мой единственный фантастический роман за те двадцать лет. Он вышел в Doubleday в 1972-м, и, как я уже объяснял, его вторая часть — лучший образец моего творчества: там я превзошел себя.

Его номинировали на «Хьюго», и в 1973-м я отправился на Всемирную конвенцию в Торонто — на всякий случай. И поездка стоила того — потому что я получил награду за лучший роман 1972-го! Это был мой третий «Хьюго» и первый — за новое произведение. Чудесный момент.

К тому времени Американская ассоциация писателей-фантастов (SFWA) начала ежегодно вручать премию «Небьюла» — и «Сами боги» получили и ее.

Затем в 1975-м одна барышня уговорила меня написать фантастический рассказ. Приближалось двухсотлетие американской независимости, и она предлагала выпустить антологию оригинальных рассказов под названием «Двухсотлетний человек». Я спросил, что означает такое заглавие, а она ответила: «Ничего. Понимайте как хотите».

Заинтригованный такой идеей, я написал рассказ о роботе, который хотел стать человеком и трудился над этим двести лет. Причем идея заинтриговала меня настолько, что я написал вдвое больше, чем планировал.

И снова я превзошел себя. С той антологией так ничего и не получилось. У девушки начались финансовые и личные проблемы, и я единственный прислал готовый рассказ для публикации.

Я попросил текст обратно и вернул аванс, потому что А) она нуждалась в деньгах, и Б) я нашел для него другое место, о чем скоро поведаю. Он вышел в 1976 году в «Звездный-2» («Stellar 2») — другой антологии оригинальных рассказов, и в итоге получил «Хьюго» и «Небьюлу» в категории «лучшая повесть года». Это был мой четвертый «Хьюго» и вторая «Небьюла».

На этой «Небьюле», кстати, умудрились написать с ошибками и мое имя, и мою фамилию. Получилось «Issac Asmimov». Я не жду от незнакомого гравера, чтобы он знал, как пишется мое имя, или вообще обо мне слышал, но, думаю, Ассоциация обязана проверять дизайн и исправлять ошибки. В SFWA сильно смутились и предложили переделать «Небьюлу», но я не собирался ждать еще пять лет, пока эти оболтусы соберутся.

Просто высокомерно заявил, что сохраню награду в доказательство интеллектуальности этой организации.

И, конечно, тогда же я написал свой успешный детектив «Убийство в Эй-Би-Эй».

Можно подумать, после стольких успехов я прозрею и вернусь к массовому производству фантастики. Но нет. Мною все еще владели радости от написания нон-фикшна.

104. Джуди-Линн дель Рей

Джуди-Линн Бенджамин (ее девичья фамилия) родилась 26 января 1943 года в семье врача. Во многом ее жизнь предопределилась в момент зачатия, потому что она родилась с генетическим заболеванием — ахондроплазией, что привело к карликовости. При таком недуге хрящи с рождения формируются неправильно, поэтому у нее всегда были короткие руки и ноги и даже во взрослом возрасте она не выросла выше метра двадцати.

Впервые я с ней встретился на фантастической конвенции в Нью-Йорке 20 апреля 1968 года. Только заметив ее, я поморщился и отвернулся. (И мне жаль, но я привык отворачиваться от неприятных видов, зажимать уши, когда разговор сворачивает на неприятную тему, и выходить из комнаты, когда мне там не нравится. Я бы мог оправдаться своей чувствительной натурой, но, подозреваю, мне просто хочется, чтобы все было «хорошо» и чтобы не пришлось чувствовать себя плохо. И это не самая моя привлекательная черта.)

Но Джуди-Линн тогда трудилась младшим редактором в Galaxy и знакомилась с фантастами по работе, поэтому завела со мной разговор, который мне пришлось поддержать вне зависимости от моего желания.

Но вот удивительное дело. Уже скоро я забыл, что она карлица. Ее лучезарный интеллект (не могу тут подобрать более подходящего определения) совершенно затмил ее внешность. В считаные минуты я начал получать огромное удовольствие от общения.

Как бы на ее внешность ни реагировали, Джуди-Линн никогда не вела себя как инвалид. (Однажды Лестер дель Рей мне сказал: «По-моему, она не знает, что она карлица».) У нее было хорошее чувство юмора, она держалась непринужденно, считала жизнь источником веселья и, короче говоря, стала моим драгоценным другом и самым излюбленным собеседником на конвенциях.

Однажды я зашел с ней в лифт, а за нами вошла женщина с пятилетним ребенком. Невинное дитя уставилось на невиданное зрелище и сказало: «Мам, смотри, маленькая тетя!»

Джуди-Линн, естественно, и бровью не повела, но меня поразило (потом, когда об этом задумался), как я сам настолько забыл о ее внешнем виде,

что стал озираться в поисках «маленькой тети», о которой говорит маленький мальчик.

Она прожила успешную интеллектуальную жизнь. Окончила Хантер-колледж, где специализировалась на исследованиях Джеймса Джойса и получила различные поощрения. Устроилась в Galaxy в 1965 году, стала младшим редактором в 1966-м, старшим — в 1969-м.

Конечно, ее чувство юмора не всегда можно было назвать добрым. Ей хватило ума, чтобы распознать во мне некое простодушие, готовность верить людям и отходчивость в случае, если я стану жертвой розыгрыша, не причиняющего физического вреда. Поэтому она два года, если не больше, делала целую карьеру в организации сложных шуток надо мной. Помогал ей Лестер дель Рей, тоже в то время работавший в Galaxy.

Так, однажды Джуди-Линн отправила мне макет обложки для номера с моим рассказом, и в моем имени была ошибка. Я, конечно же, в припадке озабоченности тут же схватился за трубку, но она заявила, что никакой ошибки нет.

Однажды я писал сценарий для телефильма, и Джуди-Линн воспользовалась своим положением, чтобы подготовить на него рецензию — в таком виде, будто ее напечатали в газете.

Рецензию написал Лестер, старательно пройдясь по всем моим мозолям, чтобы наверняка меня разозлить. И снова я в ярости позвонил, требуя сообщить название газеты, чтобы послать туда суровую отповедь.

Но хуже этих мелких розыгрышей был день, когда мне пришло письмо об увольнении Джуди-Линн. Письмо написала ее замена — некая Фритци Фогельгезанг.

Я возмутился и требовал объяснить, как это руководству журнала могло прийти в голову уволить такую женщину. Но мисс Фогельгезанг так мягко ответила мне в письме и так невинно со мной заигрывала, что весь гнев тут же улетучился без следа, и вот я уже сам писал ей милые письма. Только я решил, что эта Фритци ничуть не хуже Джуди-Линн, как вдруг она исчезла навсегда. А мне пришло колкое письмо от Джуди-Линн:

«Ах так, Азимов! Быстро же ты обо мне забыл и увлекся моей заменой!»

Ее никто не увольнял — она и была Фритци Фогельгезанг.

Самый сложный ее розыгрыш — однажды утром довести до меня слухи, будто Джуди-Линн и Ларри Эшмид сбежали и поженились. Меня как молнией ударило. Новость преподнесли так

серьезно, что мне оставалось только поверить. Но зная, о ком речь, я считал их брак совершенно невероятным.

Я часами обзванивал всех, кто может об этом что-то знать, но ответы приносили сплошное разочарование. Либо трубку не брали, либо говорили, что свадьба состоится, а подробностей они, мол, не знают.

Мне и в голову не пришло, что Джуди-Линн уломала подыграть ей весь Doubleday (а то и всю книгоиздательскую индустрию Нью-Йорка). И я ни разу не задумался, что тогда было 1 апреля 1970 года, День дурака.

Другими словами, это первоапрельский розыгрыш, а дураком стал я. Все невероятно наслаждались нарастающей паникой в моих звонках.

Через пятнадцать лет, 15 апреля 1985 года, мы с Джанет, а также Джуди-Линн, Лестером дель Реем и Ларри Эшмидом пошли в очень дорогой ресторан на ужин и отметили «годовщину» этой несвадьбы.

Но она меня не только подкалывала. Это Джуди-Линн договорилась с Остином Олни, чтобы 2 января 1970 года пригласить меня с семьей на тихий ужин в честь моего пятидесятилетия, а потом под сложным предлогом увести меня на

огромную вечеринку-сюрприз, куда со всех краев съехалось поразительное число моих друзей.

Но в том же месяце в автокатастрофе погибла жена Лестера, Эвелин. Ей было всего сорок четыре, и авария повергла меня в ступор — Эвелин была одним из моих любимейших друзей. Сам Лестер держался, но, мне, честно говоря, кажется, обязательно бы расклеился, если бы на выручку не поспешила Джуди-Линн, наша дорогая подруга, и не окружила его теплом и поддержкой. Лестер оценил жест, а уже вскоре решил, что не хочет без этого жить. В марте 1971 года Джуди-Линн Бенджамин стала Джуди-Линн дель Рей. Я стоял на их свадьбе с улыбкой до ушей.

(Потом Джуди-Линн говорила мне, что ее так и подмывало прервать церемонию и заявить: «Это очередной розыгрыш, Азимов», — потому что ей хотелось посмотреть, как я грохнусь на пол замертво, я ведь всеми силами поддерживал их брак. По ее словам, она взяла себя в руки только чтобы не расстраивать свою маму.)

Я немного опасался, что она не выдержит жизни с Лестером, но не стоило. Не прошло и года, как она его приручила и он стал самым верным супругом, что я только видел. Следующие пятнадцать лет жизни Джуди-Линн — да и Лестера

— были самыми счастливыми и успешными. Он всегда с радостью признавал, что Джуди-Линн изменила его жизнь во всем, в большом и малом.

В 1973 году она ушла из Galaxy в издательство Ballantine Books, влившееся в конгломерат Random House. И тут же проявила новую грань своих талантов — она обладала даром распознавать успешные книги и заманивать перспективных писателей.

В 1975-м Лестер присоединился к ней и стал редактором отдела фэнтези, тогда как она работала с научной фантастикой. Вместе они стали выдающимся дуэтом, и в 1977 году в Random House отметили их заслуги учреждением нового импринта Del Ray Books. Так дель Реи покорили новые высоты, потому что их книги, что в твердой, что в мягкой обложке, почти не покидали списки бестселлеров.

Джуди-Линн, вне всяких сомнений, самая успешная и мощная личность в фантастике со времен Джона Кэмпбелла, когда он тридцать пять лет назад находился в расцвете сил. И правила она железной рукой. Однажды я принес корректуру книги, которую как раз вычитал и хотел передать ей. Ее не оказалось на месте, и тогда я оставил книгу секретарше.

— И не потеряйте, — предупредил я. — А то сами знаете Джуди-Линн.

— Не волнуйтесь, — ответила секретарша. — Я знаю Джуди-Линн.

И тут, не сойти мне с этого места, задрожала.

Джуди-Линн оказала непосредственное влияние на некоторые мои произведения. Однажды она спросила, почему я не писал о женщинах-роботах. Мне это показалось интересной задумкой, и, когда Эд Ферман (сменивший Аврама Дэвидсона на посту редактора F&SF) попросил рассказ для юбилейного выпуска, я написал ему «Женскую интуицию». Пока журнал еще готовился к печати, Джуди-Линн спросила:

— Так ты написал рассказ о женщине-роботе?

— Да, Джуди-Линн, — ответила я. — Он выйдет в F&SF.

— В F&SF! — вскричала она. — Я-то хотела его для Galaxy!

Я побледнел.

— Правда? — перепросил я, застигнутый врасплох.

Она устроила мне разнос. Конечно, в плане оскорблений ей далеко до Харлана, но у нее больше способов обозвать меня идиотом, чем можно вообразить.

В другой раз она сказала:

— Может, напишешь о роботе, который трудится, чтобы скопить денег и купить свою свободу?

Я посмеялся, сказал: «Может быть», — и забыл об этом.

Потом пришло время «Двухсотлетнего человека», а немного погодя, пока он еще находился в обреченной антологии, Джуди-Линн спросила, не подумал ли я насчет робота, покупающего свою свободу.

И тут я застыл в ужасе. Из этого семени и пророс «Двухсотлетний человек», а я совсем забыл, кто подкинул мне идею. Я запинался в оправданиях столько раз, что и представить трудно, а она налетела на меня (я был уверен, чтобы убить) с криком «Опять ты отдал мою идею кому-то другому!» Я спрятался за мебелью.

Она с большим трудом взяла себя в руки.

— Дай почитать копию, Азимов, и как хочешь, но верни рассказ.

— Как я его тебе верну, Джуди-Линн? Приди в себя. Я его уже продал.

— Эта антология никогда не выйдет, — ответила она. — Так что вернешь.

Я дал ей копию, она перезвонила на следующее утро.

— Азимов, я, конечно, очень сопротивлялась, но все равно влюбилась в этот текст. Смотри, чтоб ты его мне вернул.

И я его вернул, и это Джуди-Линн опубликовала его в своей антологии, и он заслужил «Хьюго» и «Небьюлу».

Один критик написал следующее: «Я прочитал „Двухсотлетнего человека“ — и на час вернулся в Золотой век». И почему все критики не могут раскрыть глаза так же, как этот?

У нас с Джанет вошло в традицию отмечать наши дни рождения на ужине с Лестером и Джуди-Линн. И мы ни разу не пропускали, даже в 1984-м, когда я только три дня как выписался из больницы.

Она с Лестером приходила на большой праздник 2 января 1985-го, который я устроил в честь своего «невыхода на пенсию» в шестьдесят пять лет. 18 сентября 1985-го она пришла на вечеринку в честь выхода моего романа «Роботы и Империя» («Robots and Empire»), а 4 октября Джуди-Линн, Лестер и мы с Джанет поужинали в последний раз, не подозревая, что к нам уже «мчится крылатая мгновений колесница»[86].

---

[86] Примечания: 86

«К стыдливой возлюбленной» («To His Coy Mistress»), Эндрю Марвелл, пер. Г. Кружков. — Прим. пер.

Здоровье наконец подвело Джуди-Линн. 16 октября 1985-го, прямо на работе, у нее произошло обширное кровоизлияние в мозг. Несмотря на оперативную помощь в больнице, она так и не вышла из комы и скончалась 20 февраля в сорок три года. Это была невероятно выдающаяся женщина, правда. И Джанет до сих пор нередко нет-нет, да и замолчит, а потом внезапно скажет: «Я скучаю по Джуди-Линн». Я тоже.

105. Библия

Меня всегда интересовала Библия, хотя не припомню, чтобы даже в детстве она вызывала какие-то религиозные чувства. В самом библейском языке есть что-то, впечатляющее ухо и разум. Могу только предполагать, что Библия — прекрасная книга на языке оригинала, то есть на иврите или, в случае Нового Завета, на древнегреческом, зато нисколько не сомневаюсь, что авторизованная версия (то есть Библия короля Якова)[87], как и пьесы Уильяма Шекспира, — наивысшее достижение английской литературы.

Еще мне доставляет некое извращенное удовольствие, что самая важная и влиятельная книга в истории — это продукт еврейской мысли. (И нет, по-моему, она написана под диктовку Бога не больше, чем «Илиада».) Я говорю «извращенное», потому что это пример национальной гордости, а мне это чувство не интересно, и я с

---

[87] Примечания: 87

Библия короля Якова — перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I (1566–1625) и выпущенный в 1611 году. Поскольку окончательный вариант был утверждён самим королём, этот перевод также называется авторизированной или королевской версией. — Прим. ред.

ним постоянно борюсь. Я отказываюсь от более узких классификаций, чем просто «человек», и уверен, что, не считая перенаселения, наша самая необратимая беда, несущая гибель цивилизации и человечеству, — это дьявольская привычка делиться на мелкие группки, после чего каждая группка превозносит себя и поносит соседей.

Помню, однажды знакомый еврей с удовлетворением отметил высокий процент евреев среди лауреатов Нобелевской премии.

— А ты чувствуешь себя из-за этого лучше других? — спросил я.

— Конечно, — сказал он.

— А если бы я тебе сказал, что шестьдесят процентов порнорежиссеров и восемьдесят процентов мошенников на Уолл-стрит — евреи?

Он был шокирован.

— Это правда?

— Не знаю. Только что придумал. А если бы было правдой? Ты бы чувствовал себя хуже других?

Ему пришлось задуматься. Гораздо легче искать поводы почувствовать себя лучше других, чем хуже. Но это две стороны одной медали. Тем же аргументом, которым можно оправдать реальное или воображаемое достижение искусственно очерченной группы, можно оправдать подчине-

ние или унижение этой группы за ее реальные или воображаемые проступки.

Но вернемся к моему интересу к Библии. Из-за него я уже писал для Houghton Miflfin две книги. Это «Слова из Книги Бытия» (1962) и «Слова из Книги Исхода» (1963). В этих книгах я приводил фрагменты из Библии (в первой — из Книги Бытия, во второй — из книг от Исхода до Второзакония) и показывал, как библейские отсылки вошли в английский язык. Я планировал пройтись так по всей Библии, но книги плохо продавались — и я переключился на другие задумки.

Но тяга к Библии осталась, и в Doubleday мне еще подвернулся случай ее реализовать. Т. О'Коннор Слоун, редактор «Биографической энциклопедии науки и техники Азимова», поразился отличным продажам этой книги (как и я). В 1965-м он спросил:

— Айзек, а ты можешь написать какие-нибудь другие большие книги?

— Как насчет книги о Библии? — спросил я. Слоун, богобоязненный католик, не доверял моим религиозным взглядам — или их отсутствию, — и с подозрением поинтересовался:

— Что еще за книга?

— Не о религии или теологии, — сказал я. — Что я в них понимаю? Я задумывался о книге, в которой объясню современной аудитории слова и аллюзии в Библии.

Он не проявил интереса, но я вернулся домой и тут же взялся за работу. Написав сколько-то страниц, я передал их Слоуну. Через несколько дней я обедал с ним и Ларри Эшмидом. Слоун все еще не проявлял интереса. Я упал духом, но после обеда старый добрый Ларри обещал, что если от книги откажется Слоун, то он (Ларри) займется ей с удовольствием. Я возрадовался и вернулся к работе.

В конце концов Слоун отказался и ей действительно занялся Ларри.

С книгой возникли проблемы из-за названия. Я планировал озаглавить ее «Так сказано в Библии» («It's Mentioned in the Bible»). В Doubleday его сочли слишком простым, и тогда я предложил «Путеводитель разумного человека по Библии» в духе моего «Путеводителя по науке». Но это могло запутать, поскольку книги вышли в разных издательствах. Тогда я предложил «Путеводитель обывателя по Библии», но и его тоже не приняли. Отдел продаж, зная об успехе «Биографической энциклопедии», объяснял его

моим именем и требовал, чтобы книгу назвали «Путеводитель Азимова по Библии» («Asimov's Guide to the Bible») — на этом варианте в итоге и остановились.

Книжка получилась такой длинной, что в Doubleday ее решили выпустить в двух томах, раз уж она сама по себе делилась. Первый том о Ветхом Завете вышел в 1968-м, второй о Новом Завете и апокрифах — в 1969-м.

Первый том я послал отцу во Флориду. (Всегда присылал ему по экземпляру каждой книги, и он показывал их всем знакомым, но трогать никому не разрешал. Им приходилось смотреть, пока он держал их в руках, что, наверняка, не способствовало ни его ни моей популярности.)

Он мне позвонил и сказал, что прочитал всего семь страниц и тут же закрыл книгу, потому что она не отражает ортодоксальных воззрений. Если помните, в тот период отец от нечего делать вернулся к ортодоксии. Мне это не нравилось, потому что я усматривал тут явное заблуждение и очень не одобрял такого.

106. Сотая книга

Под конец 1960-х стало ясно, что я подхожу к своей сотой книге. 26 сентября 1968-го я встретился на обеде с Остином, и он спросил, нет ли у меня особых планов на сотую. У меня их не было, и он попросил подумать на этот счет и выпустить ее в Houghton Miflfin.

Мне подумалось, что лучше всего отметить круглую дату сборником с отрывками из первой сотни книг. Я бы разделил их по главам, чтобы охватить весь свой диапазон (фантастика, детективы, научные тексты в разных сферах, Библия и так далее), и назвал бы «Опус 100» («Opus 100»).

В Houghton Miflfin заинтересовались, и я подготовил книгу, которая вышла в 1969-м. На обложку поставили мое улыбающееся лицо, а по бокам от него — нарочито беспорядочные стопки моих книг.

16 октября 1969-го Houghton Miflfin устроили в честь выхода книги коктейльную вечеринку. В книгах и фильмах то и дело закатывают коктейльные вечеринки, чтобы отпраздновать публикацию, и в молодости я предполагал, что

нечто подобное обязательно происходит после каждой. Но на самом деле это была первая коктейльная вечеринка в честь моей книги, причем мне для этого пришлось написать целую сотню. Не знаю, что это может значить.

107. Смерть

а) Генри Блюгерман. До 1968-го я не сталкивался со смертью близкого родственника. Смерть наносила удары где-то в стороне. У меня умерли дядя, тетя и кузен, мой ровесник, но мы никогда не были близки — я даже не знал дат и обстоятельств их смерти. Случались потери и в мире фантастики — например, скончались Сирил Корнблат и Генри Каттнер.

Но в 1968-м стал быстро сдавать Генри, отец Гертруды. У него обнаружился рак легких. Он никогда не курил, но тут могла сыграть роковую роль пыль на фабрике спичечных коробков, где он проработал много лет. Во всяком случае, его госпитализировали. Будучи в Нью-Йорке, я навестил Генри в больнице 17 февраля, и тогда уже было ясно, что он утрачивает ясность мысли.

Когда я вернулся домой, в Нью-Йорк к отцу засобиралась Гертруда, но вечером восемнадцатого пришли новости, что он скончался. Ему было семьдесят три.

Гертруда, конечно, была безутешна — отчасти из-за смерти любимого отца, а отчасти потому,

что не успела с ним увидеться.

Естественно, она собралась в Нью-Йорк на похороны. И, конечно же, надо было ехать и мне с детьми.

Тут передо мной встала дилемма. Я боюсь похорон — не столько из-за моей нелюбви ко всему неприятному, сколько из-за стойкого привкуса лицемерия. Стоит кому-то умереть, как он или она становятся воплощением ангельского поведения и характера, чего при жизни никто не замечал, и все тут же разыгрывают глубокую скорбь, которой на самом деле могут и не испытывать.

Я приходил на церковную службу после смерти одного дальнего знакомого, потому что почувствовал себя обязанным, и видел, как вдова, вся в черном, плетется по проходу, захлебываясь слезами, пока ее по бокам поддерживают два крепких сына. Увиденное меня порядком озадачило: я знал (как могли знать и большинство собравшихся), что смерти мужа предшествовал незаконченный бракоразводный процесс, очень некрасивый и скандальный.

Впрочем, видимо, это не так уж важно. Во многих культурах крики и плач на похоронах обязательны, и, чтобы усилить шум, даже приня-

то нанимать профессиональных кричальщиков и плакальщиков.

Но для меня смерть — это просто смерть, когда сперва человек был, а потом его нет, и, хотя в результате действительно могут поглотить печаль и одиночество, не следует выставлять это напоказ сверх необходимого. Я понимаю, что это мнение непопулярно и никогда таковым не будет.

Так или иначе, у меня имелись не только философские причины для нежелания ехать на похороны Генри. Я только что вернулся из Нью-Йорка, и меня не тянуло собираться туда снова. А главное, 19 февраля исполнялось тринадцать лет Робин, и мне казалось, что похороны — не самое удачное место для празднования. Но важность ритуала перевесить не получилось.

Впрочем, ради Робин я оттянул поездку на день. Утром девятнадцатого я отвез Гертруду и Дэвида в аэропорт, и они вылетели в Нью-Йорк. А мы с Робин поужинали в дорогом ресторане, и я расстарался, чтобы ее порадовать. (Жизнь — для живых.) Двадцатого мы с ней поехали в Нью-Йорк на машине, а на следующий день, после похорон, на машине же все вместе вернулись домой.

Для меня это было печальное время — не в последнюю очередь из-за Мэри Блюгерман, вдовы

усопшего, преисполнившейся жалости к себе. Она жалела себя всю жизнь и бедняжку Гертруду приучила к тому же, но такого хорошего повода ей еще не выпадало.

Присутствовали, конечно, и другие родственники. (Даже мои отец с матерью.) И Мэри прицепилась к Софи, младшей сестре Генри, с длинной-предлинной речью о несчастьях вдовства и грядущих горестях.

Я отвел Гертруду в сторонку и тихо сказал:

— Можешь попросить мать прекратить? Софи уже двадцать лет вдова, ей наверняка тяжело выслушивать причитания твоей матери о горестях и несчастьях.

— Это что еще значит? — негодующе спросила Гертруда, никогда не допускавшая критику матери. — Муж Софи умер, когда она еще была молодой и могла о себе позаботиться.

Я с недоверием уставился на Гертруду.

— Ты что, хочешь сказать, твоей матери было бы лучше, если бы Генри умер двадцать лет назад, а не цеплялся из-за эгоизма за жизнь, покуда она не постареет?

Гертруда ничего не ответила, просто ушла. Сомневаюсь, что она меня поняла. Когда истинный мастер жалости к себе предается своему делу, для

логики места не остается. Тогда я вспомнил, что мы с Гертрудой это уже как-то раз проходили.

Двадцать лет назад, когда Генри открыл после Второй мировой свое обреченное предприятие, настоящей катастрофой обернулся уход его продавца Джека.

Я спросил Гертруду, почему Джек уволился, и она ответила:

— Потому что умер его тесть и оставил в наследство кучу денег. Вот же ему повезло.

— Ты хочешь сказать, Джеку повезло, что у него умер тесть? — спросил я.

— Конечно, — сказала она. — Это нечестно. И почему все досталось ему?

— А ты бы хотела, чтобы умер мой отец и оставил кучу денег мне?

В тот раз она тоже не ответила. Наверное, самым тяжелым в отношениях с Гертрудой была ее жалость к себе, которую она ставила превыше всего.

Полагаю, у всех бывают периоды жалости к себе. Я не исключение и уже об этом рассказывал. Но это неприятное и недостойное чувство, и я изо всех сил стараюсь с ним бороться. Никогда не забуду, как библиотекарша сказала мне перед отправкой на атолл Бикини: «С чего ты взял, что

у тебя какие-то особенные проблемы?»

Я редко поучал Робин или пытался привить ей свое мировоззрение, но в этом случае все-таки постарался, всерьез опасаясь, что она переймет эту плохую привычку от матери.

Я ей сказал: «Робин, на мой взгляд, каждому выделяется конкретное количество жалости и не каплей больше. Если сам жалеешь себя, то другие будут жалеть тебя меньше. А если слишком жалеешь себя, никто другой о тебе и не задумается. Но если смело взглянуть в лицо своим бедам, тогда ты обретешь у других и сочувствие, и помощь».

Очень рад, что она ко мне прислушалась, потому что Робин выросла счастливым человеком. На своем веку ей пришлось хлебнуть несчастий и разочарований, но она всегда отважно их переносила.

б) Юда Азимов. Отец, как я уже говорил выше, тридцать лет прожил на таблетках нитроглицерина от стенокардии.

В 1968 году мы всей семьей устроили в честь золотой свадьбы моих родителей большой ужин, и вскоре после этого они переехали во Флориду. Расставаясь, я с печалью и смирением задумался, увижусь ли с ними снова. В конце концов, я не собирался во Флориду и сомневался, что они

захотят вернуться в Нью-Йорк. И отца я действительно больше не увидел.

3 августа 1969 года в воскресном выпуске New York Times Book Review вышла статья обо мне — прекрасная, с правильными цитатами, без ошибок и глупостей. В ней я отзывался об отце с любовью. Я позвонил ему и спросил, видел ли он статью, и он ее видел.

Отец редко выставлял чувства напоказ, но в тот раз явно был растроган и доволен. Между делом он пожаловался на боли в груди, как делал часто, и я ответил, что переживаю, и попросил его сходить к врачу.

Он нетерпеливо ответил:

— Зачем ты переживаешь? Умру так умру.

На следующий день, 4 августа 1969-го, боли усилились. Мать отвезла его в больницу, где он тихо скончался в возрасте семидесяти двух лет.

Жизнь отца была тяжелой, но полной достижений. В Штаты он приехал в двадцать шесть нищим иммигрантом и все же сумел выучить трех детей, увидеть, как дочь вышла замуж по любви, как младший сын занял высокую должность в крупной газете, а старший стал профессором и плодовитым писателем.

Мой брат Стэн ездил во Флориду, забрал мать

и тело отца и перевез на Лонг-Айленд. Формальную церемонию для отца не проводили (Стэн их не одобряет точно так же, как и я). Мы только пришли на участок на кладбище Лонг-Айленда с раввином и наблюдали за похоронами. Перед тем как гроб закрыли, я посмотрел в последний раз на лицо отца, но Стэн не смог.

в) Анна Азимова. Брат поместил мать в дорогой дом престарелых в нескольких милях от своего места жительства, чтобы навещать ее часто и регулярно. Я навещал ее реже, но обязательно звонил в оговоренные дни. Отец оставил достаточно денег, чтобы ей хватило до конца жизни, но, конечно, если бы их не хватило, мы бы с братом помогли.

Время от времени я позволял ей погреться в лучах моей славы. Я выступал на «обеде с автором» на Лонг-Айленде, который спонсировала Newsday, газета моего брата. Стэн привез мать на лимузине, во время мероприятия она сидела за главным столом. Боюсь, в своем выступлении я подшутил над Стэном, и тогда моя мать встала и погрозила мне кулаком. (Помню времена, когда ее кулак казался мне настоящей угрозой.) Когда отзвучали речи, все стали подходить к нам, чтобы купить книги — как мою, так и других присут-

ствующих писателей, — и просили подписать их, один человек захотел взять автограф у моей матери, и она расписалась с гордым видом.

Позже я выступал в библиотеке Лонг-Бич, совсем недалеко от ее дома престарелых, только чтобы она могла присутствовать и исполнить роль «матери спикера».

Но все же она быстро угасала. Я звонил ей 5 августа 1973 года, в наше обычное время. Она ответила вся заплаканная и говорила о моем отце, по которому очень тосковала. В ту же ночь она скончалась, ее обнаружили в постели утром 6 августа. Она пробыла вдовой ровно четыре года и два дня, не дожив всего месяца до семидесяти восьми.

Ее должен был официально опознать родственник. В доме престарелых не смогли связаться с моим братом, а у сестры не было машины, поэтому дозвонились до меня, и я поехал с Джанет на Лонг-Айленд. Время оказалось неудачным — это был день рождения Джанет, а поскольку прошлый свой день рождения она провела в больнице, этот я хотел сделать особенным, но особенным он получился совсем по другой причине.

Я приехал в дом престарелых и опознал мать,

ее накрыли и увезли, а позже похоронили на подготовленном участке рядом с отцом. Мне сказали, что уже едут мои брат и сестра, мы остались их ждать, и скоро к нам присоединись Стэн с Рут и Марша с Ником.

Мы просмотрели небогатые пожитки матери, решая, что отдать Армии Спасения, а что оставить себе для использования или на память. Я взял себе шариковую ручку и больше ничего, предоставив Стэну с Маршей делить остальное.

Но зато мне сошел с рук мой кладбищенский юмор. Оглядев семью, я сказал: «Если бы мама знала, что сегодня приедем мы все, она бы дождалась». Странно, но все рассмеялись, обстановка разрядилась. Все пошли на ужин.

Тогда меня немного беспокоило, что я не испытываю особенных скорби и печали из-за смерти родителей. Я казался сам себе черствым и бесчувственным. Но на то имелись причины.

Во-первых, как я уже говорил, я не люблю чрезмерную демонстрацию печали и не склонен надрывно причитать. Во-вторых, у обоих родителей в последние годы обнаружились проблемы с сердцем, очень глупо было бы не ждать их смерти со дня на день. Ее даже можно считать милосердным освобождением. В конце концов, они оба до

самого последнего дня сохраняли ясность ума, а это замечательно. Мне бы не хотелось, чтобы они дожили до старческой деменции.

Но, по-моему, главная причина, почему я не рвал на себе волосы, — я знал, что при жизни отблагодарил их как только мог, и, когда они ушли, не чувствовал ни капли той вины, как если бы знал, что подвел их. А я подозреваю, что в самом сердце громкой и показной скорби кроется то самое чувство вины.

К моему удивлению, мать оставила значительную сумму и в завещании велела поделить ее между нами поровну. Я, естественно, не взял бы ни гроша, потому что считал, что Стэну и Марше (особенно Марше) деньги куда нужнее, поэтому настоял на том, чтобы разделить наследство только на две части.

Стэн нанял адвоката, чтобы тот проследил за законностью этого изменения, и адвокат мне сказал:

— Вам тоже лучше нанять адвоката.

— Зачем? — спросил я.

— Для защиты своих интересов.

Я рассмеялся и сказал:

— Даже представить невозможно, чтобы мы с братом стали препираться из-за таких пустяков,

как деньги. Мне адвокат не нужен.

И обошелся без него.

Здоровье Мэри оставляло желать лучшего, уже когда я с ней впервые встретился, и с тех пор стремительно ухудшалось. По крайней мере, это если послушать ее, а она жаловалась всем, кто подворачивался под руку.

Но Генри завещал ей достаточно денег на старость, и она еще увидела целое новое поколение. Пережила мужа на девятнадцать лет и почти до самой смерти обитала в той же старой квартире, где много лет тому назад я добивался расположения Гертруды. Лишь под конец из-за прогрессирующей слепоты и астении ей пришлось переехать в дом престарелых в Бруклине.

Там она и скончалась 12 февраля 1987 года в возрасте девяноста двух лет. Тогда самой Гертруде уже шел седьмой десяток, и она не смогла приехать в Нью-Йорк по состоянию здоровья. Не смог и Джон, ее брат, проживавший в Калифорнии. Но Робин позаботилась обо всем и сама присутствовала на похоронах.

Я воспользовался случаем, чтобы позвонить Гертруде, с которой уже давно развелся, и заверил, что она может не беспокоиться об оплате ритуальных услуг. Если не хватит денег самой

Мэри, я доплачу нужную сумму. (В конце концов, она бабушка Робин, не мог же я ее бросить, несмотря на наш разрыв.) Это один из редких случаев, когда Гертруда сказала мне «спасибо».

108. Жизнь после смерти

Когда родители скончались, меня могли бы посетить новые мысли о возможности жизни после смерти. Как здорово считать свою смерть вовсе не смертью, а началом (возможно) более прекрасной жизни и заодно верить, что снова увидишься с родителями и другими близкими людьми — причем в расцвете их молодости.

Вот из-за того-то, как эти мысли утешают и радуют, как отдаляют ужасающую мысль о смерти, подавляющее большинство и верит в загробную жизнь — даже при полнейшем отсутствии доказательств ее существования.

«С чего же это началось?» — можем задаться вопросом мы. Мне кажется — и просто мое предположение спекуляция, — все началось так:

Насколько нам известно, только человечество из всех форм жизни на земле осознает, что смерть неизбежна, — не только в целом, но и в каждом отдельном случае. Как ни остерегайся нападений, несчастных случаев или болезней, в конце концов каждый умрет из-за полного разрушения тела — и мы это знаем.

Должно быть, когда-то это понимание впервые пришло к человеческому сообществу, и, должно быть, это понимание стало страшным шоком. Это можно назвать «открытием смерти». Вынести мысль о смерти можно было, только поверив, что на самом деле ее нет; что это иллюзия. С виду умирая, на самом деле человек продолжает жить каким-то другим образом в каком-то другом месте. Несомненно, этому верованию способствовало и то, что усопшие часто являлись друзьям и родным во снах — и эти явления толковали как приход тени или призрака все еще живого «покойника».

Так представления о загробном мире становились все сложнее и разветвленнее. Греки и евреи считали, что загробный мир (Аид или Шеол) — это просто край мрака и небытия. Впрочем, там отводились особые места для пыток злодеев (Тартар) и для наслаждения тех, кого одобрили боги (Елисейские поля или рай). За эти крайности ухватились те, кто себя желал видеть благословленным, а врагов — наказанными: не на этом свете, так хотя бы на том.

Воображение не унималось, и тогда появилось место последнего упокоения для злодеев или всех людей, даже добродетельных, кто не верит

в то же самое мумбо-юмбо, в которое верит воображающий. Так у нас появилось современное понятие ада как места вечного наказания для самых страшных грешников. Это розовая мечта садиста, приписанная Богу, который при этом провозглашается милосердным и добрым.

Впрочем, на приличный рай воображения так и не хватило. В исламском раю есть гурии, всегда доступные и всегда девственные, так что получается вечный бордель. В скандинавском раю герои пируют в Вальгалле, а в перерывах сражаются друг с другом, так что получается вечный ресторан и поле боя. А наш рай обычно изображается местом, где все порхают на крылышках и бренчат на арфах, бесконечно воспевая Бога.

Что за человек хотя бы с каплей здравого смысла выдержит такой или любой другой изобретенный людьми рай? Где же рай с возможностями для чтения, писательства, исследований, интересных бесед, научных открытий? Я о таком что-то не слышал.

Если почитаете «Потерянный рай» Джона Мильтона, узнаете, что, по его версии, это вечный хвалебный хор в честь бога. Так ничего удивительного, что треть ангелов взбунтовалась. Только когда их низвергли в ад, они перешли к

интеллектуальным занятиям (сами почитайте, если не верите), и я считаю, что им же лучше, хоть адом это назови, хоть как. Читая, я всей душой сочувствовал мильтоновскому Сатане и считал его героем эпоса, задумывал его таковым автор или нет.

Но во что верю я? Я атеист и не верю в Бога и Сатану, в ад и рай, а потому остается предположить, что после моей смерти будет только вечная пустота. В конце концов, Вселенная существовала в пустоте 15 миллиардов до того, как родился я (чем бы ни было это самое «я»).

Можно спросить, не слишком ли это мрачная и безнадежная мысль. Как же я живу, зная, что надо мной нависает призрак пустоты?

Я не считаю это призраком. В вечном сне без снов нет ничего страшного. Это всяко лучше вечных пыток в аду или вечной скуки в раю.

А если я ошибаюсь? Об этом спросили Бертрана Рассела, знаменитого математика, философа и убежденного атеиста.

— А если вы умрете и встретитесь лицом к лицу с Богом? Что тогда? — спросили его. И славный старый мэтр ответил:

— Я бы сказал: «Господь, ты должен был дать нам больше доказательств».

Пару месяцев назад я видел сон, который до сих пор помню во всех подробностях. (Обычно я сны не запоминаю.)

Мне приснилось, что я умер и попал в рай. Огляделся и сразу узнал, где я — зеленые поля, пушистые облака, благоухающий воздух, далекое упоительное пение хора небесного. И мне приветственно улыбался ангел-хранитель.

Я удивленно спросил:

— Это рай?

— Да, — ответил он.

А я сказал (и, проснувшись и вспомнив об этом, гордился своей принципиальностью):

— Но это какая-то ошибка. Мне здесь не место. Я атеист.

— Никаких ошибок, — ответил ангел-хранитель.

— Но если я атеист, как меня могут впустить?

— Это мы решаем, кого впускать, — строго ответил ангел. — А не вы.

— Ясно, — сказал я. Огляделся, задумался, потом обернулся к ангелу и спросил: — А пишущей машинки у вас не найдется?

Мне очевиден смысл этого сна. Для меня рай — это писательство, и я провел в раю больше половины века и всегда знал об этом.

Второй смысл — во фразе ангела-хранителя, что это в раю, а не на Земле решают, кого впускать. Я понимаю это так: если бы я не был атеистом, то верил бы в Бога, который спасает людей, взвешивая их дела, а не слова. По-моему, он предпочтет честного и праведного атеиста телепроповеднику, у кого каждое второе слово «Бог, Бог, Бог», а каждое второе дело — грех, грех, грех.

Еще мне бы хотелось верить в Бога, который не допустит ад. Бесконечные пытки могут быть наказанием за бесконечное зло, а я не верю, что бесконечное зло существует, даже в случае Гитлера. Кроме того, если большинству человеческих правительств хватило цивилизованности, чтобы отказаться от пыток и запретить жестокие и необычные наказания, можно ли ожидать меньшего от милосердного Бога?

Я думаю, что если бы и существовала загробная жизнь, то наказание за содеянное зло длилось бы разумный определенный срок. И думаю, что самое длинное и страшное наказание нужно приберечь для тех, кто оклеветал Бога, выдумав от его имени ад.

Но это все просто размышления. Я тверд в своих убеждениях. Я атеист, и, на мой взгляд, после смерти наступает вечный сон без сновидений.

109. Развод

Под занавес 1960-х наш брак казался нам с Гертрудой все более невыносимым. Все стало только хуже, когда в 1967 году у нее начался ревматоидный артрит — он накатывал приступами, но очень часто оставлял сильную боль. Невозможно почти все время жить в мучениях и рассуждать разумно.

Да и я все больше погружался в работу, а Гертруда осталась предоставлена самой себе. Могу понять, почему ей это не нравилось. Кроме того, хотя наш банковский счет без конца пополнялся, я видел, что, на ее взгляд, толку от этого мало. Мне нравилась аскетичная жизнь домоседа. Мне подавай чистый лист бумаги да рабочую пишущую машинку, а деньги могут и дальше лежать в банке.

К 1970-му я убедился, что наша жизнь приводит Гертруду в отчаяние, и, зная, что я измениться не смогу, счел развод единственной альтернативой. Я был вполне готов отдать ей половину денег в банке плюс дом (полностью оплаченный) и все внутри него, кроме содержимого моего кабинета.

Еще я был готов выплачивать, как мне казалось, очень щедрые алименты.

На тот момент Дэвиду исполнилось восемнадцать, а Робин — пятнадцать, она только-только поступила в старшую школу. Хотелось бы подождать до восемнадцати и колледжа, но ни я, ни Гертруда не дотерпели бы.

Когда мы договорились, что я съеду, я снял квартиру неподалеку и приступил к процедуре развода. К моему немалому изумлению, Гертруда соглашалась только на юридический процесс. Оказывается, чтобы развестись, мне пришлось бы пойти в суд, где она постаралась бы обобрать меня до нитки, чего нисколько не скрывала.

Это был просто кошмар. В Массачусетсе основанием для развода считались такие вещи, как душевное расстройство, супружеская неверность, жестокое и необычное обращение и так далее. Душевное расстройство и супружеская неверность даже не обсуждались, но мой адвокат сказал, что, если я расскажу ему о нашем браке, он сочинит что-нибудь достаточно жестокое и необычное, что устроит суд. Я гневно отказался. Я не хотел ни в чем обвинять Гертруду.

В таком случае, сказал адвокат, придется переехать в штат, где допустимы разводы по вза-

имному согласию сторон и где я смогу поселиться не только ради одного развода. Очевидным выбором стал Нью-Йорк, где, в конце концов, вырос я и где находились большинство моих редакторов (в частности, из Doubleday).

Я занялся всеми необходимыми приготовлениями и 3 июля 1970 года вызвал машину, погрузил печатную машинку, библиотеку, шкафы и все, что мне нужно для жизни, — и отправился в Манхэттен.

На этом, конечно, ничего не закончилось. Дальше пришлось тяжко, потому что Гертруда наняла адвоката, который изводил меня всеми силами. Например, целых два раза назначал слушания, а когда я мчался в Бостон, чтобы успеть, он откладывал их, и по приезде мне приходилось просто разворачиваться и возвращаться в Нью-Йорк.

Но я выдержал и через три с третью года добился развода. Более того, судья назначил Гертруде меньше, что я предлагал изначально. Мой адвокат ликовал, но я — нет. Я сказал, что не хочу ее обманывать, и добровольно повысил сумму.

Так я освободился.

Хочу добавить только один постскриптум. В те последние убийственные и несчастные месяцы перед отъездом я вовсю писал «Кладовую юмо-

ра». Попробуйте найти в ней хоть каплю моего отчаяния. А ответ прост. Когда я писал, я не был в отчаянии. Писательство для меня, как я уже вроде бы говорил выше, идеальное утешение.

110. Второй брак

Я приехал в Нью-Йорк не без подготовки. Я заручился поддержкой Джанет Джеппсон, с которой переписывался вот уже одиннадцать лет. Она нашла мне маленькую квартиру на Семьдесят Второй улице, всего в четырех кварталах от нее. Переехав, я почувствовал себя в точности как в свою первую ночь в армии, в 1945-м. Нет, даже хуже. В армии мне было двадцать пять лет, и я знал, что самое большее через два года снова стану гражданским и продолжу былую жизнь. Теперь мне уже исполнилось пятьдесят, передо мной не осталось ничего. Возврата к прошлому больше не предвидится.

Я горестно оглядел две съемных комнатки. Библиотека еще не прибыла, так что заняться мне нечем. На календаре — День независимости, а значит, нельзя навестить издательство.

Джанет привезла мне кухонные приборы и что-то необходимое для начала жизни и находилась со мной, когда я окинул взглядом обстановку. Это удивительно чуткая женщина и, нисколько не сомневаюсь, она почувствовала мое одиночество

и мое бремя вины из-за оставленной семьи. Она деликатно сказала, что на праздниках не принимает пациентов и в течение дня я могу остаться у нее. Так будет веселее.

Я был этому только рад. Доброта Джанет сильно сгладила переезд. Помните: когда я приехал в Нью-Йорк, мы уже были не просто друзьями. Та одиннадцатилетняя переписка — сама по себе целый роман. Джанет писала длинные и интереснейшие письма, я без промедления на них отвечал. Чтобы у меня дома не возникало неудобных вопросов, она писала на адрес школы медицины, и я ходил туда как минимум раз в неделю — скорее из-за писем, чем ради чего-то еще. Еще мы часто созванивались.

Я понял, что Джанет так же умна и интеллигентна, как и я, и что ее взгляды и философия очень близки к моим. Письма были просто чудесны. (Джанет до сих пор их где-то хранит и время от времени перечитывает.)

По-моему, Джанет любила меня с самого начала. Ее не сковывали ни муж, ни семья. Вдобавок к письмам она читала все мои работы и наслаждалась ими еще до нашей встречи. Подозреваю, что и я ее любил, но, конечно, меня слишком отягощала мысль, что женатому человеку это

непозволительно.

Позвольте тут подчеркнуть, что я не образец преданности. (А вот Гертруда — да, я в этом уверен. Мне бы и в голову не пришло спрашивать ее или пытаться разузнать самому, но все равно в этом уверен.)

На момент брака я не имел сексуального опыта, а затем в течение одиннадцати лет избегал внебрачных связей, несмотря на разные возможности в армии и на конвенциях. И все же я не защищен от соблазна, и в конце концов появлялись случаи, когда женщина ясно давала понять о своих намерениях, и у нас появлялась возможность, и… я поддавался.

Тут есть свой важный момент. С Гертрудой я никогда не чувствовал себя хорошим партнером в постели, но других девушек, к своему удивлению, впечатлил. Я понимаю, что сексуальные способности — не то, что стоит ценить такому «интеллектуалу», как я, но трудно побороть биологическую гордость. Если честно, у меня поднялась самооценка, и я стал счастливее.

Я мог бы легко превратиться в донжуана. Желание было, но не хватало времени. Творчество все равно оставалось для меня превыше всего, причем писал я в больших объемах, поэтому

возможности для интрижки возникали редко. Я об этом не жалею, поскольку для меня даже секс стоит на втором месте после писательства.

А главное, речь никогда не шла о «любви». Каждое приключение в течение 1950-х осталось не более чем приключением как для женщины, так и для меня. Все-таки у нас не возникало ничего общего, кроме мимолетного увлечения.

С Джанет все иначе. Я нашел ее компанию интересной и приятной, когда мы вместе посетили Всемирную конвенцию в Питтсбурге в 1960-м и потом в Вашингтоне в 1963-м. (Помню, в Вашингтоне мы ненадолго сбежали с конвенции на экскурсию по Белому дому и музеям.) Затем в 1969-м, когда Гертруда и Робин отправились с друзьями в Великобританию, Дэвид находился в специальной высшей школе в Коннектикуте, а я остался дома один, Джанет приехала в Бостон.

Она остановилась в отеле неподалеку, и мы пару дней колесили по северо-востоку Массачусетса, побывали в таких местах, как Салем и Марблхед. С ней я, правда, забывал о писательстве — и это единственный такой случай, который могу вспомнить навскидку. На самом деле та пара дней — самая беззаботная пора в моей жизни, потому что меня ничего не обременяло: ни

кондитерская, ни школа, ни работа, ни семья, ни даже творчество. Весь мир ненадолго свелся к одной только Джанет.

Но важнее всего была не радость от ее физического присутствия, а само совпадение наших характеров и мышления — по сути, из-за этого-то сходства для нас имело такое значение физическое присутствие. Мне хватило бы одних писем, чтобы всегда мечтать о Джанет, даже в жизни ее не видев, и я знаю, что это чувство было бы взаимным.

Но стоило переехать в Нью-Йорк и провести с ней День независимости, как все сомнения улетучились. Я любил Джанет, она любила меня, и мы оба знали это без всяких сомнений. Мне стало ясно, что я женюсь на ней, как только это станет юридически возможно.

Более того, пока бесконечно тянулась процедура развода, у нас не было причин жить раздельно. Я переехал к ней в квартиру, а своей пользовался только для дневной работы.

Джанет стала для меня опорой в то мрачное время неопределенности перед разводом. Никогда меня не торопила; никогда не толкала на глупости, чтобы ускорить развод; казалось даже не возражала против того, чтобы жить, не всту-

пая в брак, до конца наших дней. Если Гертруда усложняла мне жизнь, то Джанет делала ее значительно проще.

Когда развод наконец состоялся, это я (а не Джанет) настоял на том, чтобы сдать анализ крови[88] и оплатить лицензию на заключение брака. Затем мы поженились 30 ноября 1973 года. Гражданская церемония показалась слишком пресной, а традиционных религиозных обрядов никто из нас не хотел, так что нас обвенчал прямо у нее в гостиной Эдвард Эриксон — президент Общества этической культуры[89], расположенного в четырех кварталах от нас.

На данный момент мы женаты уже семнадцать лет, а с моего переезда в Нью-Йорк прошло двадцать. Могу уверенно заявить, что все это время мы были удивительно счастливы и не стали любить друг друга меньше. Я по-прежнему погружен в свою работу, но и Джанет — состоявшийся профессионал с собственной карьерой. Она опыт-

---

[88] Примечания: 88

В некоторых штатах действуют законы, обязывающий перед заключением брака сдать кровь на анализ, чтобы убедиться в отсутствии венерических заболеваний и кровного родства между женихом и невестой. — Прим. ред.

[89] Примечания: 89

Общество этической культуры — нетеистическая религиозная организация, основанная в США в 1876 году, и провозглашающая независимость моральных норм от религиозных догм. — Прим. ред.

ный психиатр и психоаналитик, а после выхода на пенсию продолжила занятия писательством независимо от меня, причем довольно успешно, так что тоже погружена в свою работу.

Мы оба работаем в квартире — эта уже побольше, сюда мы переехали в 1975-м, когда я отказался от отдельного кабинета, который снимал на протяжении пяти лет. Мы все время вместе, даже когда работаем каждый в своем углу. К тому же терпение и чуткость Джанет не знают равных, и она выдерживает все мои недостатки с неколебимой любовью. Уверен, и я бы переносил все ее недостатки, если бы они были.

Но сперва замужество далось ей непросто. На момент брака ей исполнилось сорок семь, всю сознательную жизнь она сама себя обеспечивала и добилась успехов в своей профессии. Она не знала, сможет ли адаптироваться к замужней жизни, и в день перед свадьбой расплакалась. Я с тревогой спросил, что случилось.

— Ничего не могу с собой поделать, Айзек, — сказала Джанет. — Такое ощущение, что я потеряю себя.

— Чушь, — ответил я твердо. — Ты не потеряешь себя; ты обретешь поддержку.

Джанет весело рассмеялась, и все было хоро-

шо.

А вот еще кое-что о нашей любовной истории в духе Дарби и Джоан[90].

В 1986 году консьерж нашего многоквартирного дома дал мне New York Post и сказал: «Вы на шестой странице».

Я поднялся в квартиру и сказал, размахивая газетой:

— Джанет, Джанет, я попал в «Пост»!

— Почему? — спросила она удивленно. (Мы не читаем «Пост».)

— Меня подловили, когда я целовался с женщиной.

Джанет покачала головой (она отлично знает мою бесшабашную галантность) и сказала:

— Я же просила тебя быть поосторожней.

Я дал ей газету. Мы с ней вместе присутствовали на мероприятии в честь выхода книги одного фантаста и в какой-то момент поцеловались (а целуемся мы часто, как на публике, так и нет). Это увидел репортер New York Post и в статье ехидничал над утехами «шестидесятилетних»,

---

[90] Примечания: 90

Дарби и Джоан — влюбленная пара из стихотворения 1735 года английского поэта Генри Сэмпсона Вудфолла (ок. 1696–1747). Их имена в английском языке стали устойчивым выражением, обозначающим супружескую пару, спокойно живущую в атмосфере взаимных любви и доверия. — Прим. ред.

хотя Джанет на тот момент исполнилось только пятьдесят девять.

— Видишь, — сказал я. — Вот в каком обществе мы живем. Если мужчина целует на публике жену, это попадает в газеты.

111. «Путеводитель по Шекспиру»

Переезд в Нью-Йорк не помешал моему творчеству. Признаюсь: всякий раз, когда радикально меняются условия моей жизни, я волнуюсь, смогу ли писать как раньше, и всякий раз эти тревоги оказываются безосновательными. Я пишу всегда.

Сдав «Путеводитель Азимова по Библии», я словно чего-то лишился. Я работал над ним так долго и получил такое удовольствие, что не хотелось прекращать. И гадал, найду ли еще что-нибудь близкое по удовольствию — а что во всей английской литературе может сравниться с Библией? Конечно же, пьесы Шекспира.

Поэтому в 1968-м я начал «Путеводитель Азимова по Шекспиру» («Asimov's Guide to Shakespeare»), задумав внимательно пройтись по всем его пьесам, объяснить все аллюзии и архаизмы, разобрать все отсылки к истории, географии, мифологии и вообще ко всему, что только стоит разбора.

Начал я даже раньше, чем сообщил о своей задумке в Doubleday, не говоря уже о подписании контракта. Но закончив анализ пьесы «Ричард

II», я показал его Ларри Эшмиду и попросил контракт. Ларри согласился, а я продолжил неистово трудиться над книгой.

Из всего написанного мной приятнее всего оказалось работать над автобиографиями. В конце концов, разве может быть тема интереснее меня самого? Но если не считать их, то приятнее всего писался «Путеводитель Азимова по Шекспиру». Я обожаю Шекспира с самого детства, и с каким же удовольствием я сперва скрупулезно его перечитывал, строчка за строчкой, а потом пространно писал обо всем, что вычитал.

И меня за это вознаградили: вскоре после переезда в Нью-Йорк и сразу после окончания Дня независимости, когда Джанет уже вернулась к своим пациентам, я получил гранки — много гранок, потому что книга получилась на полмиллиона слов. Так у меня появилось занятие, как раз когда срочно требовалось чем-то отвлечься от чувств вины и неуверенности в себе.

Гранки — для тех, кто не знает, — это длинные листы, на которых напечатана книга, обычно по две с половиной страницы на каждом. Автор должен их внимательно перечитать, вылавливая все опечатки типографа и собственные погрешности. Этот этап вычитки и корректуры существует,

чтобы итоговая книга вышла без ошибок.

Подозреваю, для большинства писателей финальная верстка — мучение, но мне это нравится. Это возможность перечитать себя. Вот только вычитываю я плохо, потому что слишком несусь по тексту. Я читаю «гештальтами» — по фразе за раз. Если где-то с буквой ошиблись, перепутали местами, пропустили, добавили лишнюю — я не замечаю. Мелкая ошибка теряется в общей правильности фразы. Приходится заставлять себя приглядываться к каждому слову, к каждой букве по отдельности, но стоит расслабиться хотя бы на секунду — и я снова уношусь вперед.

Идеальный корректор, на мой взгляд, должен знать все аспекты произношения, пунктуации и грамматики, но при этом оставаться слегка дислексиком.

«Путеводитель Азимова по Шекспиру» вышел в двух томах в 1970-м, и всякий раз, когда я им пользуюсь или даже его вижу, я мысленно возвращаюсь в те самые первые дни в Нью-Йорке, когда сомневался в себе и слегка боялся будущего.

112. Примечания

16 июля 1965-го я обедал с Артуром Розенталем, главой Basic Books, где вышел «Путеводитель разумного человека по науке». Также на обеде присутствовал Мартин Гарднер, кем я чрезвычайно восхищаюсь. Я прочитал (и купил) все его книги, какие только видел. С жадностью следил за его колонкой «Математический досуг» в Scientific American.

Самая успешная книга Гарднера — «Комментированная „Алиса“». В нее входят целиком «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» вместе с иллюстрациями Тенниела. А на полях Гарднер рассказывает о каждом аспекте, который счел нужным прокомментировать. Удивительная книга, я ее перечитывал не раз.

Я упомянул об этом на обеде, и Гарднер (он любезно сообщил, что тоже восхищается моими книгами, — и действительно с тех пор мы хорошие друзья) ответил, что если я действительно хочу получить удовольствие, то мне надо найти любимую книгу и снабдить ее примечаниями.

В каком-то смысле «Путеводитель Азимова по

Библии» и «Путеводитель Азимова по Шекспиру» и были такими комментариями, но, конечно, я не включал в них тексты Библии или пьес Шекспира целиком. Я мог только избирательно цитировать. И все же мысль о полноценных примечаниях не шла из головы.

Почему бы и нет? Книги о Библии и о Шекспире придали мне смелости. До тех пор я в нон-фикшне не выходил за рамки естественных наук, а если и выходил, например в книгах по истории, то писал для молодой аудитории, без особой глубины.

Но книги о Библии и Шекспире находились очень далеко от области моей компетенции и адресовались взрослым. Я уже приготовился к враждебной реакции в духе: «А давайте Азимов будет дальше кропать свою дурацкую фантастику и не станет соваться туда, где ничего не понимает?»

Отчасти я не обманулся. Помню презрительный короткий отзыв профессора литературы из одного колледжа, который четко дал понять, что мои книги о Шекспире не заслуживают обсуждения. Отзыв вышел в The Sunday Times, и даже спустя двадцать лет мой гнев так и не утих.

Позже я встретил студента из того колледжа и спросил, не знает ли он рецензента (чье имя я

запомнил идеально, но здесь приводить не буду). Да, он знал.

— Как бы вы его описали? — спросил я.

— Низенький, — ответил студент, — и очень заносчивый.

— Хорошо, — сказал я, — так я его себе и представлял.

Но книги всё пережили, и в целом их приняли хорошо, хоть они и не того жанра, что разлетаются пачками. К возвращению в Нью-Йорк я уже набрался уверенности, что могу писать на любую тему, какая в голову взбредет, и не нарваться на ненависть критиков.

К слову об этом: в первую неделю в Нью-Йорке до меня дошло, что я могу делать вообще все что захочу, без спросу и помех. У меня не было семьи, Джанет занималась пациентами. Поэтому я пошел в нижнюю часть Четвертой авеню, где в 1970-х все еще обитали букинистические магазины. И делал там то, о чем мечтал всегда. Бродил вдоль пыльных полок и разглядывал старые книги.

Я наткнулся на экземпляр «Дона Жуана» лорда Байрона. «Дон Жуан» был и дома у Блюгерманов, и я пытался читать его по утрам, когда просыпался раньше всех, но мне это запретили, чтобы

я не разбудил ненароком брата Гертруды Джона — ему, по словам его матери, «нужно спать двенадцать часов». Насколько я понял, она не шутила. Но издание с полки Блюгерманов напечатано микроскопическим шрифтом, а обстановка слишком удручала, поэтому я так и не смог увлечься.

А теперь вроде бы представился шанс получше. Я всегда спал плохо. Больше пяти часов за ночь не получалось, а в новой квартире мне вообще не спалось. Ну, если не спится, зачем себя заставлять? Я один в квартире. Можно включить свет и читать хоть всю ночь напролет. Кто мне запретит?

В ту ночь я улегся в очень неудобную кровать (она прилагалась к квартире), открыл «Дона Жуана» и приступил. Не успел я закончить и пролог, где Байрон костерит Роберта Саути, Уильяма Вордсворта и Сэмюэла Тейлора Кольриджа, как уже не мог остановиться. Тут вспомнились слова Мартина Гарднера, и мне захотелось написать примечания — настоящие примечания. Захотелось, чтобы в Doubleday выпустили «Дона Жуана» с моими комментариями, где я объясню современному американцу все отсылки к классике и событиям тех времен.

На следующее утро я отправился в Doubleday,

подкупил этой задумкой Ларри Эшмида и тут же взялся за дело. Гарднер не слукавил. Это огромное удовольствие. Пока я погрузился в творчество Байрона, ко мне приезжал Дэвид, и я с огромным трудом заставил себя оторваться. Хотелось только писать. Вот почему я плохой отец — или, как аккуратно выразилась Робин, занятой.

Я знал, что книга в принципе не может окупиться, и в Doubleday это знали. В конце концов, публику уже не интересует романтическая поэзия посленаполеоновского периода. К тому же издание получилось бы дорогим — слишком дорогим для всех, кроме избранных. Но я хотел это сделать, а в Doubleday хотели мне угодить.

Книга вышла в 1972-м. Мы не могли назвать ее «Комментированным „Доном Жуаном“», потому что права на этот формат названия принадлежали Clarkson Potter (из издательской группы Crown Publishers), выпускавшим «Комментированную „Алису“» Гарднера. Поэтому книгу назвали «Комментированным „Доном Жуаном“ от Азимова» («Asimov's Annotated Don Juan»). В Doubleday подготовили великолепное издание, заслужившее премию (поспешу уточнить — за дизайн, а не за содержание) и даже отбившее аванс. (Конечно, я попросил небольшой аванс, чтобы его проще

было отбить.)

Закончив с «Доном Жуаном», я тут же принялся за «Комментированный „Потерянный рай“ от Азимова» («Asimov’s Annotated Paradise Lost»), потому что хотел сдать его в издательство раньше, чем выйдет и, скорее всего, провалится в продажах первая книга. Новые примечания писались так же замечательно и вышли в 1974-м. Еще я подготовил книгу поменьше о ряде известных стихотворений с историческим значением — она вышла под названием «Примечания к известным стихотворениям» («Familiar Poems, Annotated») в 1977-м.

Все эти книги не заработали особых денег, но и не принесли убытков, а удовольствие от их написания значило для меня гораздо больше денег.

Более того, я бы писал и дальше, но все же почувствовал, что в общении с Doubleday стоит знать меру. Впрочем, в 1979-м Джейн Уэст из Clarkson Potter попросила сделать примечания для них и оставила выбор книги на мое усмотрение. Гарднер на том нашем обеде много лет назад приводил в качестве примера идеальной книги, которую я мог бы прокомментировать, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, и теперь я предложил ее. Джейн заинтересовалась,

и я снова засел за работу.

В этот раз книга получила-таки название «Комментированные „Путешествия Гулливера“», потому что принадлежала Clarkson Potter, и вышла в 1980-м году. Заработала она побольше, чем книги от Doubleday, но ненамного.

Я умирал от желания сделать примечания еще к одному тексту, и такая возможность появилась в конце 1980-го, когда я стал всеобщим любимчиком в Doubleday по причинам, которые еще приведу ниже. Я выделил себе два месяца, которые, как мне казалось, мог себе позволить, и работал не покладая рук, пока не закончил «Примечания Азимова к Гилберт и Салливан». Я предложил их Doubleday без аванса — так хотелось, чтобы эту книгу выпустили. Но в ответ, как всегда, услышал только знаменитое «Не говори глупостей, Айзек!», и мне выдали аванс в пять раз выше, чем за «Дона Жуана». Книга вышла в 1988-м. Хотя том получился таким огромным, что не поднимешь, и стоил пятьдесят долларов, он все-таки отбил аванс.

Но это все. Больше не приходит в голову, к чему бы еще хотелось написать примечания. Всегда есть, конечно, Гомер, но он на древнегреческом, не стоит полагаться на его многочисленные пе-

реводы.

113. Новые родственники

Я понял, что, раз я планирую при ближайшей возможности жениться на Джанет, у меня появятся новые родственники.

Сознаюсь, я немного нервничал. Гертруда и ее семья были евреями, но Джанет — нет. Насколько я знал, лично для нее не имеет ни малейшего значения, что я еврей (как и для меня, что она — нееврейка), но что насчет ее семьи?

Родители Джанет были мормонами, хотя, как я понял, активного участия в жизни церкви не принимали. Ее не крестили, она не считала себя мормонкой. По сути, она совершенно нерелигиозна, как и я.

Ближе к свадьбе Джанет, желая угодить мне во всем, спросила, не надо ли ей принять иудаизм.

— Конечно, — сказал я, — при условии, что разрешишь мне стать мормоном.

На этом мы и закончили с религиозной чушью. (Она сейчас член Общества этической культуры, но для меня даже это — слишком.)

Для мормонов важна высокая рождаемость, поэтому у отца и матери Джанет много братьев и

сестер. В результате у нее десятки кузенов, дядь, теть и прочих разномастных родственников. К счастью, большинство проживали в Юте и мне не пришлось встречаться со всеми. (Джанет радовалась этому еще больше меня.)

Отец Джанет, Джон Руфус Джеппсон, умер в 1958-м, за год до нашей с ней встречи на банкете авторов детективов. Умер он неожиданно, потому что ему исполнилось всего шестьдесят два, и обожавшая его Джанет была совершенно раздавлена.

Ее отец прожил тяжелую жизнь — поднялся из нищеты, учился в медицинской школе, стал офтальмологом и уважаемым гражданином города Нью-Рошель. С ним рядом всегда была его супруга — мать Джанет, Рэй Эвелин Джеппсон (в девичестве Кнудсон). Джон и Рэй любили друг друга с детства и пронесли свои чувства через всю жизнь до самого конца. (Как и мои родители.)

С Рэй я познакомился довольно рано, когда мы с Джанет съехались. Я нервничал не столько из-за своей национальности, сколько из-за наших официально не оформленных отношений. Я боялся не родительского неодобрения как такового, а того, что усложню Джанет жизнь и стану причиной раздора между матерью и дочерью.

Джанет меня заверила, что волноваться не о чем, но я оставался настороже.

Ее мать Рэй, была ниже дочери, со все еще светло-каштановыми волосами, хотя ей уже шел восьмой десяток. Она сильно напоминала Джанет внешне, и одного этого хватило, чтобы я проникся к ней симпатией с первой же секунды. Это была леди в старомодном смысле этого слова: аристократичная, учтивая, тактичная. (Джанет часто говорит, что Рэй пыталась вырастить леди и из нее, но ничего не получилось.)

Она считала нужным говорить правду в глаза. Не боясь смутить дочь, она посмотрела мне в глаза и твердо заявила:

— Доктор Азимов, я сочувствую вашей жене.

Но я не отвел взгляд и ответил так же твердо:

— Миссис Джеппсон. Прошу мне поверить. Я тоже.

И все. Больше эта тема не всплывала. Рэй осталась довольна. Думаю, я заработал в ее глазах немало очков, что не поддался желанию начать оправдываться. Иначе бы повел себя, как мелочный нытик, и не угодил бы Рэй.

Я отлично поладил с будущей тещей. Когда мы приехали к ней домой, стало ясно, что она хочет поселить нас в разных комнатах. Я думал,

это не так уж страшно, и сказал Джанет, что это невинный способ порадовать ее мать. Но она не стала это терпеть. Она не собиралась в среднем возрасте подчиняться, по ее словам, безосновательным прихотям матери — и Рэй уступила. Я чувствовал себя виноватым и до сих пор думаю, что ничего страшного бы не случилось, если бы мы ей подыграли.

Переломный момент в наших с Рэй отношениях наступил, когда в 1973-м Джанет попала в больницу со внезапным субарахноидальным кровоизлиянием. Мне пришлось позвонить Рэй, расскать о случившемся, и добавить, что это вопрос жизни и смерти. Осложнялась ситуация тем, что младшая сестра Рэй, Опал (в честь нее Джанет дали второе имя), умерла от субарахноидального кровоизлияния в сорок семь лет, а Джанет по совпадению как раз исполнилось сорок семь.

Я боялся звонить Рэй. Мало того, что я пребывал в отчаянии из-за состояния Джанет и не доверял себе уладить ситуацию с нужными мягкостью и тактом, так еще, возможно, не менее отчаянная мать могла от горя начать искать козла отпущения и обвинить во всем меня. Рэй выросла в строгой религиозной атмосфере — я мог себе представить, что она назовет болезнь Джанет

божьей карой за «жизнь во грехе» со мной.

Естественно, я бы не потерпел таких трактовок, но не смог бы и спорить с раздавленной горем матерью. Я собрался с силами, чтобы выдержать натиск, против которого, повторюсь, не сумел бы защищаться. Позвонил Рэй и передал новости. Боюсь, при этом я заплакал (нет, я этого не стыжусь), и она не могла усомниться в искренности моих переживаний.

Какое-то время она молчала, а потом самым что ни на есть мягким и теплым тоном произнесла:

— Что бы ни случилось, Айзек, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал Джанет в эти последние годы счастливой.

К счастью, Джанет поправилась. Позже я рассказал ей о словах матери — и заверяю, в моих глазах Рэй Джеппсон с тех пор стала непогрешимой. Я полюбил ее как собственную мать, и, хоть Джанет иногда на нее жалуется — по-своему, по-дочернему, — я не жаловался никогда.

После года борьбы с раком Рэй Джеппсон скончалась 10 июня 1976 года, незадолго до своего восьмидесятилетия. Она почти до конца оставалась физически активной, до самого конца сохранила ясный ум. Смерть наступила тихо, и, в отличие от моих родителей или родителей

Гертруды, она ушла не в одиночестве и не в окружении незнакомцев. Она умерла в собственном доме, в собственной постели, пока ее за руку держала дочь.

Последнее, что сказала ей Джанет: «Я люблю тебя, мама».

Рэй прошептала: «Я тоже тебя люблю, Джанет» — и погрузилась в вечный сон.

Разве можно умереть лучше, чем вот так тихо, услышав и сказав в ответ важные слова о любви?

Отец Джанет первым из их огромного семейства стал врачом, но тем самым заложил традицию. В медицину пошла не только Джанет, но и ее младший брат Джон Рэй Джеппсон.

Выпустившись из Гарварда, Джон поступил в Школу медицины Бостонского университета и числился в последнем потоке, где преподавал я. Это он рассказал обо мне сестре и познакомил ее с фантастикой. С этого все и началось, за что я ему невыразимо благодарен.

Еще в школе медицины он женился на юной красавице Морин, а после выпуска стал анестезиологом. Сейчас Джон проживает в Калифорнии, у него двое детей — Патти и третий Джон.

Мы с Джанет очень любим Патти, которая заня-

лась археологией. Младший Джон — стоматолог, женат, у него есть дочь Сара. Так что младший брат Джанет уже дедушка, а она — двоюродная бабушка. (А я, понятное дело, двоюродный дедушка.)

У Джанет есть двоюродная сестра Чоси Беннеттс (в девичестве Хорсли), на два года старше ее. Они росли почти как родные сестры и до сих пор сохраняют сестринские чувства.

Чоси — не первое ее имя. Ее окрестили Ширли, но ее отца тоже звали Ширли. Возможно, из-за неизбежной путаницы — как семейной, так и гендерной, — она и сменила имя. Но потом Чоси вышла за совершенно замечательного господина по имени Лесли Беннеттс — и как же они назвали свою дочь? Лесли, конечно же. Никогда этого не понимал.

Чоси — очень умная и поразительно красивая девушка; она попробовала себя на театральных подмостках, но затем много лет проработала редактором детских книг. Сейчас она трудится в отделе технического редактирования Doubleday, и я часто к ней заглядываю во время визитов в издательство. Муж был намного старше ее. Этот очень приятный, тихий и вдумчивый человек скончался в 1985-м в возрасте восьмидесяти лет.

Дочь Чоси, младшая Лесли, унаследовала девичью красоту своей матери. Я видел ее фотографии с первой свадьбы, и на одной, где она стояла с матерью, Лесли выглядела красивее многих кинозвезд. Я ошеломленно посмотрел и сказал:

— Потрясающе красива. Просто потрясающе.

Чоси просияла из-за похвалы дочери и сказала:

— Она и правда красавица, да?

— Она? — переспросил я. Снова взглянул на фотографию и добавил: — Ах да. Лесли тоже ничего.

К сожалению, она неудачно вышла замуж. Брак продлился всего год, зато потом Лесли сделала успешную карьеру в журналистике. Она писала для The Philadelphia Bulletin, потом — для The New York, а теперь — для Vanity Fair. Она великолепно берет интервью. (Впрочем, однажды, описывая в интервью меня, она сказала, будто я на пять сантиметров ниже, чем есть на самом деле. Я всего лишь среднего роста и не могу позволить себе таких округлений, поэтому обиделся. Она-то, конечно, выше меня, как и ее мать, поэтому, наверное, и ошиблась.) Недавно она вышла замуж во второй раз. Ее муж — писатель Джереми Джерард, у них есть дочь по имени Эмили.

Младший брат Лесли, Брюс, — актер и фотограф.

Он тоже высокий, очаровательный и умный, а еще превосходно поет.

Я чудесно влился в семью Джанет и познакомился с незнакомым мне обычаем — семейным праздником. Моя семья почти ничего не отмечала, потому что на нас лежала тяжким бременем кондитерская. В доме Блюгерманов время от времени праздники случались, но там я всегда чувствовал себя посторонним.

Зато теперь Джеппсоны и Беннеттсы приняли меня в семью с распростертыми объятьями и звали на все праздники — Пасху, День благодарения и Рождество. Чоси готовила главное блюдо, причем нисколько не хуже Мэри Блюгерман. Рэй готовила особое угощение из батата и маршмеллоу. Лес Беннеттс делал паштет из печени. Стол ломился от орехов и конфет, фруктов и пирогов — и я просто обожал все это действо.

Самый памятный праздник — Рождество 1971-го. Я как раз получил гранки третьего издания «Путеводителя по науке», и, когда пришло время выезжать к Рэй, горестно смотрел на них, раздумывая, как бы улучить время на указатель.

— Бери с собой. Поработаешь там, — сказала Джанет.

Так я и сделал. Взял гранки и несколько тысяч

пустых белых карточек 7 на 12 сантиметров, не забыв прихватить парочку хороших ручек, — и мы выехали. Там мне выделили бывший кабинет отца Джанет, с большим удобным креслом и идеальным рабочим столом. И заверили, что меня никто не побеспокоит.

Я уже хотел было ответить, что меня можно беспокоить, но тут они испарились и весь день готовились к пиршеству — все, кроме меня. Я трудился над карточками в одиночестве, и никто не смел тревожить титана за работой. Ни шага, ни шепотка. Раньше со мной ничего подобного не случалось, и я понимал: уже скоро они узнают, что уединение мне необязательно и больше это не повториться. Но тем временем я часами сидел наедине с собой, пока меня не позвали ужинать и открывать подарки. Какое же приятное воспоминание.

(Просто к слову: у третьего издания «Путеводителя по науке», над которым я работал в то славное Рождество, возникли затруднения с названием. Не назовешь ведь его «Новый новый путеводитель разумного человека по науке». Но за прошедшие десять лет мое имя настолько прославилось, что книгу решили назвать «Путеводителем Азимова по науке». Четвертое издание

назвали уже «Новым путеводителем Азимова по науке». Не знаю, что они выдумают с пятым изданием, если оно вообще будет.)

Но вернемся к Джанет: я и ее познакомил со своей семьей. С моим отцом она встретиться не успела, как я не успел встретиться с ее, зато она виделась с моей матерью в Лонг-Бич. И со Стэном и Рут. И, естественно, всем она понравилась. (Ни разу не встречал человека, которому она бы не понравилась.) Стэн после беседы с Джанет оттянул меня в сторонку и прошептал:

— Она же просто сокровище, Айзек. Как ты ее нашел?

— Я талантливый, — ответил я.

114. Больницы

В Нью-Йорк я вернулся как раз после пятидесятилетия и все еще оставался сравнительно невредимым. Мне не удаляли гланды, аденоиды или аппендикс. Я сохранил тридцать один зуб — и тот единственный мог бы уцелеть, если бы в начале 1940-х я старательнее ухаживал за зубами. Я прожил всю жизнь без переломов.

Для меня это было поводом для гордости и самодовольства, и я уже рассчитывал дотянуть невредимым до самой могилы. Однако человек предполагает, а возраст располагает…

Меня переполняла уверенность в своем здоровье, поэтому я редко ходил по врачам без явной необходимости. Отчасти это и результат воспитания. Родители жили в бедности, а услуги врачей стоят денег. (Небольших, конечно. В дни моего детства врачи ходили на домашние вызовы за три доллара, но для бедняков и три доллара — немалые деньги, поэтому врачей вызывали, только когда дома лежал по меньшей мере на четверть мертвый ребенок или наполовину мертвый взрослый.)

Но, когда я съехался с Джанет, все изменилось. Она была врачом и дочерью врача, считала нужным устраивать бесконечные медицинские консилиумы из-за любой царапины. Я пришел в ужас, когда она стала уговаривать меня пройти профилактический медицинский осмотр.

— Я совершенно здоров, — возразил я.

— Откуда ты знаешь? — спросила она со стальными нотками в голосе.

(Я уже понял, что, когда слышишь такую интонацию, безопаснее всего благородно сдаться. Джанет говорит, что, может, я это и уяснил, но еще так ни разу и не сделал.)

Так или иначе, у коллеги она узнала о некоем Поле Р. Эссермане. Оказывается, он имел репутацию терапевта (раньше мы их называли «врачами общей практики») с необычайным умом и глубокими медицинскими познаниями. Джанет потребовала, чтобы я сходил к нему, и 16 декабря 1971 года я сидел у него в кабинете.

Пол оказался двухметровым и чуточку пухлым человеком с мягким успокаивающим голосом, а также (как я узнал позже) несравненным врачебным тактом. Я, как обычно, не смог сохранить чисто деловые отношения. Мы стали друзьями, и я до сих пор лечусь у него. Было бы хорошо, если

бы мне больше не понадобились его медицинские услуги, но, увы, понадобились.

Он провел первый осмотр, и я поинтересовался, как дела.

— Замечательно, — ответил он.

— Так и знал, — сказал я.

— Не считая узла на щитовидной железе.

— Какого еще узла?

Он попросил поднять голову — и действительно, справа на шее проступал заметный бугорок.

— Не замечали его, когда брились? — спросил он.

— Нет, — капризно ответил я. — Его там никогда не было. Это вы его прицепили.

— Ну конечно, — не стал спорить он, — и теперь нам нужен хороший эндокринолог, который скажет, что это такое и как нам лучше поступить.

Эндокринологом стал доктор Манфред Блам, который провел анализ с радиоактивным йодом. Узел щитовидной железы остался безучастным — он не усвоил йод, а значит, плохо исполнял свою функцию.

— И что это значит, док? — спросил я.

Блам замялся. И тогда я довольно холодно добавил:

— Вам можно говорить «рак», доктор.

Именно так он и сказал, но отметил, что щитовидная железа — особенная ткань, и рак почти не может распространяться за ее пределы, поэтому его несложно вырезать.

И я отправился к хирургу Карлу Смиту, который бодро согласился вырезать поврежденную часть щитовидной железы, и операцию назначили на 15 февраля 1972-го.

Я впервые ложился на операцию с общей анестезией и совсем этому не радовался. Я слышал о редких случаях, когда человек умирал на столе из-за чувствительности к какому-нибудь анестетику. Еще я знал, что мне пятьдесят два и что мой коллега Уильям Шекспир умер в пятьдесят два, и опасался, Мойры легко могут нас спутать. Короче говоря, я изрядно перепугался.

И позвонил Стэну, голосу разума в нашей семье. Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на позвоночнике и благополучно выжил. Я спросил, как он заставил себя пройти это жуткое испытание.

— Я жил в ужасной боли, — ответил Стэн. — Шагу ступить не мог. Я бы на все пошел, лишь бы избавиться от боли, и поэтому не боялся операции. Я ее ждал. Твоя беда с щитовидкой, Айзек, в том, что тебе не больно, вот ты и не видишь

необходимости в операции.

Он оказался абсолютно прав, и я сумел подавить страхи. А перед операцией меня так накачали успокаивающими (несмотря на возражения, что я совершенно спокоен и мне ничего не нужно), что какое там нервничать — я шутил.

Когда вошел Карл Смит в зеленом халате и зеленой маске, я радостно его поприветствовал и пропел:

Доктор-доктор, скальпель – вжик,
Резать глотку ты привык.
А разрежешь, буду рад,
Коль зашьешь ее назад.

Не помню, чтобы кто-нибудь засмеялся. Зато слышал, как кто-то сказал: «Дайте ему уже наркоз, чтоб он заткнулся», — или что-то в этом роде. И я потерял сознание.

Позже Карл Смит объяснил, как глупо я себя вел. Резать надо было очень аккуратно, чтобы не задеть нерв, из-за которого я мог бы охрипнуть до конца жизни. «А если бы я вспомнил твой стишок, — строго сказал он, — и захихикал так, что у меня бы дрогнула рука?»

Уверен, тут я весь позеленел — до сих пор каждый раз, как об этом вспомню, приходится

сдерживать дрожь.

Зато операция доказала, как хорошо быть писателем. Карл взял за нее полторы тысячи долларов (и это того стоило), а потом я написал об этом смешную статью (вставив в нее свой стишок) и получил две тысячи. Ха-ха, как тебе такое, медицинская профессия? (Я был рад как никогда, что меня не приняли в медицинский.)

Операция имела важный побочный эффект.

Моим последним серьезным замечанием перед операцией было: «Только не трогайте мои околощитовидные железы». Но, скорее всего, это было невозможно. Карл вырезал правую половину щитовидки и в процессе явно прихватил две из примыкающих к ней четырех маленьких околощитовидных желез.

Околощитовидная железа управляет метаболизмом кальция, а мои камни в почках состоят из дигидрата оксалата кальция. Без зараженной половины щитовидки и тех двух желез у меня прекратили появляться причиняющие боль камни в почках. Одно это окупило всю операцию.

И все равно это раздражало. Я перестал быть — достаточно взглянуть на шрам поперек горла.

Через три месяца после операции на моей щитовидке гинеколог обнаружил на левой груди

Джанет опухоль. Естественно, последовал период мучительной неуверенности, и наконец нам сказали, что необходима диагностическая операция.

Ее провели 25 июля 1972-го, и занимался ею снова Карл Смит. Я остался ждать в больничной палате Джанет, и с каждым часом все сильнее падал духом. Результаты показали необходимость мастэктомии, и Смит провел радикальную операцию, заодно удалив фасцию грудной мышцы. (Больше радикальная мастэктомия не популярна. Возможно, на Джанет провели одну из последних.)

Только через два-три дня Джанет осознала до конца, что произошло. Она лишилась одной своей маленькой груди и горько разрыдалась. Я сумел вытянуть из нее истинную причину слез. Она чувствовала себя «изувеченной». Мы еще не поженились, и она вбила в голову, будто без юридических обязательств я просто скроюсь и найду себе кого-нибудь помоложе, покрасивее и с двумя большими грудями.

Я уперся в тупик. Как тут убедить человека, что я люблю в ней то, что нельзя увидеть и до чего не доберется ни один скальпель? Наконец я в отчаянии сказал:

— Слушай, ты же не звезда шоу-бизнеса. Иначе без левой груди ты бы заваливалась направо. А с такой маленькой грудью — кому какая разница? Через год я уже буду щуриться и спрашивать: «Какую-какую грудь удалили?»

Ужасно жестоко, но это сработало. Джанет рассмеялась и почувствовала себя лучше.

Мы с ней оба знаем, какой я щепетильный, и она боялась, что я, впервые увидев шрам на груди, начну задыхаться, уйду и никогда не вернусь. А я боялся, что, хотя уходить я никуда не собирался, действительно начну задыхаться и сделаю Джанет несчастной до конца жизни.

Поэтому я попросил Карла Смита в подробностях описать, как будет выглядеть ее грудь, и постоянно представлял ее себе для подготовки. Через несколько недель после операции, решив, что Джанет уже достаточно долго скрывает проблему, я дождался, когда она выйдет из душа, и мягко убрал ее полотенце с груди. Я не начал задыхаться. Я сохранил полное безразличие, а она испытала бесконечное облегчение.

Ее по сей день изредка охватывают смущение и сожаление из-за отрезанной груди, и она спрашивает, правда ли меня это не беспокоит. А я совершенно честно отвечаю: «Джанет, ты же

знаешь, я не самый наблюдательный человек. Я даже не замечаю».

И это правда.

Я даже научился шутить об этом. В период выздоровления приходили Джуди-Линн и Лестер дель Рей и аккуратно говорили обо всем на свете, кроме удаленных грудей. И тут Джуди-Линн почему-то перешла на тему баров для «свингующих одиночек» и спросила Джанет:

— Ты когда-нибудь была в баре для свингующих одиночек?

А я перебил:

— Была? Да у нее и есть свингующая[91] одиночка.

Джуди-Линн рассердилась и уже собиралась поучить меня уму-разуму в своей красноречивой манере, но вмешалась Джанет.

— Не слушай его, — сказала она. — Он просто хвастается. У меня не такая большая, чтобы раскачиваться.

В журнале о популярной медицине меня попросили написать о какой-нибудь медицинской проблеме, которую отважно преодолел я или мой близкий родственник, а я ответил, что Джанет

---

[91] Примечания: 91

Swinging — букв. «раскачивающийся». — Прим пер.

перенесла мастэктомию, но я не хочу об этом писать, пока мы не поженимся, чтобы читатели знали о «хэппи-энде».

После свадьбы я написал статью. Естественно, спросив разрешения у Джанет, и сперва она не хотела выставлять свое злоключение напоказ всему миру. Но я сказал: «Знаешь, Джанет, возможно, это будет единственная в истории статья по такой теме, где автор не восхваляет Бога за то, что тот придал веры и сил, чтобы пережить беду».

Тогда Джанет тут же согласилась, и статью опубликовали.

115. Круизы

Моя антипатия к самолетам не распространяется на океанские лайнеры. Я даже обожаю лайнеры и предполагаю, что все дело в размере. На борту даже не чувствуешь, что ты находишься на движущемся механизме. Чувствуешь, словно ты в отеле, построенном горизонтально, а не вертикально.

Мое первое знакомство с кораблями прошло не по доброй воле. В 1923-м я приплыл из Риги в Нью-Йорк, но об этом у меня сохранялись только самые смутные и ненадежные воспоминания. Еще я плыл из Сан-Франциско на Гавайи в 1946-м, но тогда я служил в армии, так что путь выдался невеселым. Впрочем, поездка на Гавайи принесла кое-какую пользу. Меня не коснулась морская болезнь, хотя корабль мотало на волнах, а в общей каюте разило рвотой, потому что не все отличались моей стойкостью. Это помогло убедиться, что я неплохо переношу плавание. Конечно, хоть я не имею ничего против кораблей, все равно ни за что бы не отправился в круиз добровольно, потому что круиз обязательно занимает время, а

я ненавижу проводить время вдали от дома.

Но, когда я съехался с Джанет, море стало звать громче, потому что она его обожала. В свое время она путешествовала гораздо больше меня, в том числе в 1960-е — морем в Скандинавию, а ранее — в Европу на трамповом пароходе. Она объясняет свою любовь «наследием викингов», которым очень гордится. (Еще она считает, что сохранила неандертальские гены, потому что у нее, видите ли, неандертальский нос, но лично я больше предпочитаю теорию, что она таинственным образом произошла от ангелов.)

Из-за пристрастий Джанет я был готов выслушать тараторящего молодого человека по имени Ричард Хоугленд, когда он рассказал мне о планах организовать круиз не иначе как на «Королеве Елизавете II». Планировалось, что в декабре 1972-го корабль пройдет на юг вдоль побережья Флориды, чтобы в конце пути пассажиры увидели взлет «Аполлона-17» — последней запланированной экспедиции на Луну и единственной, которая стартует ночью. Я никогда не видел запуск и знал, что Джанет будет вне себя от счастья, когда услышит о возможности сплавать на «Королеве», поэтому согласился. (Джанет и в самом деле была счастлива.)

Как, пожалуй, обычно и бывает с планами молодых людей, чье воображение не знает пределов, реальность отличалась от фантазий. Мы отправились не на «Королеве Елизавете II», а на очень маленьком (но вполне удобном) «Стейтендаме». Энергичные пассажиры не переполняли корабль, он шел практически пустым (а значит, нас хорошо обслуживали).

С нами путешествовали немало знаменитостей. Из фантастов (не считая меня) — Роберт и Вирджиния Хайнлайны, Тед Старджон со своей нынешней женой, Фред и Кэрол Полы, Бен и Барбара Бова. Также присутствовали Норман Мейлер, Хью Даунс (он вел для нас мероприятия) и Кен Франклин (астроном из планетария Хейдена, открывший радиоизлучение Юпитера).

Ни в коем случае не стоило звать Кэтрин Энн Портер. Она не сделала ничего предосудительного во время путешествия, но ее главный хит — книга 1962 года «Корабль дураков», и сами понимаете, как нас тут же прозвали репортеры.

Позже к нам присоединились астроном Карл Саган со своей второй женой Линдой. Впервые я познакомился с Карлом в 1963-м, когда ему исполнилось только двадцать восемь. Он обожал фантастику, и у нас началась хорошая и крепкая

дружба — я даже подписал его свадебный сертификат, когда он женился на Линде. Ни к чему рассказывать о его внешности — все и так знают, как он выглядит. Он и Фред Пол устроили лучшие выступления за все путешествие.

Мы действительно увидели запуск в ночь с 6 на 7 декабря 1972 года. Это было красиво и невероятно впечатляло даже на расстоянии десяти километров в море. Мы смотрели, как «Аполлон-17» взмывает в небо, озаряя ночь медным полусветом, а через целую минуту нас настигли звуковые волны — и мир содрогнулся.

Одно это уже стоило поездки, даже если бы мы не наслаждались в течение всего пути, а мы наслаждались.

В следующем году представилась возможность для еще более любопытного круиза. Его организовали Фил и Марси Сиглеры; Фил был невероятно замкнут и обычно говорил, вперив взгляд в пол, а Марси — невероятно динамичной и не сводила своих больших и красивых темных глаза с собеседника. Они планировали круиз на австралийском лайнере «Канберра» до берегов Западной Африки, чтобы 30 июня 1973 года наблюдать полное солнечное затмение. Вспомнив, как нам с Джанет понравилось на «Стейтендаме»,

я согласился на месте, хоть и обязался при этом провести четыре лекции по астрономии, причем каждую пришлось бы провести дважды, если бы корабль заполнили целиком.

Отбытие назначили на 22 июня, но за пять дней до этого у Джанет и случилось субарахноидальное кровоизлияние. Что мне оставалось? Я отлично знал, что из-за предстоящих выступлений считался звездой круиза, и все же мне пришлось отказаться. Это был ужасный удар для Сиглеров, и они умоляли меня передумать, но в тех обстоятельствах я не мог поступить иначе.

Однако их изменила сама Джанет. Кровоизлияние временно стерло практически весь ее разум, но осталось достаточно, чтобы она снова и снова стонала: «Я все испортила, я испортила круиз».

— Тебе придется поехать, Айзек, — сказал Пол Эссерман.

— Я не могу оставить ее в больнице, — ответил я.

— Почему нет? Операции не будет. Надо просто ждать, когда она восстановится, но я не даю на это никаких гарантий, если она все время будет страдать из-за круиза. Ты обязан поехать, а я обязан ей втолковать, что ты поехал.

И вот, погрузившись в такие пучины несчастья

и чувства еврейской вины, что затопили бы все войско фараона, я позвонил Сиглерам и, к их безграничной радости, сообщил о готовности поехать. Но я попросил дать гарантии, что каждый день смогу звонить в больницу с борта.

Так я и делал — каждый день поднимался в маленькую рубку и ждал своей очереди. Потом подсчитал, что за шестнадцать дней круиза провел в той каморке двенадцать часов. Я разговаривал с Джанет каждый день, кроме одного, и она меня убеждала, что ей все лучше и что она рада моему участию в круизе. В единственный день, когда я не звонил ей, я связался с Полом Эссерманом, чтобы убедиться, что она меня не обманывает. В конце концов я увидел затмение и очень этому рад, потому что больше никогда в жизни не видел полное солнечное затмение, но хотелось мне только одного — вернуться к Джанет (которая, кстати, пропустив круиз, не видела затмение до сих пор.)

Чтобы убить время на борту и заглушить уныние, я стал «таммлером». Это слово на идише означает «тот, кто шумит». Таммлеры работают на еврейских летних курортах, их работа — травить анекдоты, устраивать развлечения и игры, флиртовать с пожилыми и не самыми красивы-

ми дамами и в целом создавать иллюзию, что «в старом городе сегодня жарко»[92].

Я стал таммлером для двух тысяч человек на борту и вдобавок к своим восьми лекциями травил байки, распевал песни, целовал женщин, участвовал в представлении от экипажа и вообще шумел за пятидесятерых. Это был полный успех. Еще многие годы знакомые с «Канберры» рассказывали, как чудесно провели там время.

Тут вспоминается одна моя любимая история, которую я почему-то не включил в «Кладовую юмора». Анекдот следующий:

В начале двадцатого века один господин, проезжая через Вену, страдал от ужасной депрессии и даже подумывал о самоубийстве, а потому решил отправиться к Зигмунду Фрейду.

Фрейд слушал его целый час, потом сказал:

— Расстройство слишком серьезное и укоренившееся, чтобы справиться с ним за один день. Вам нужна профессиональная помощь и долгие годы лечения. Но между тем вы можете найти облегчение на вечер. К нам приехал на гастроли клоун Гримальди, его публика катается по полу от смеха. Сходите на представление.

---

[92] Примечания: 92

«A Hot Time in the Old Town» — популярная американская песня 1896 года. — Прим. пер.

Вы будете целых два часа гарантированно наслаждаться жизнью, а благоприятный эффект может держаться еще много дней.

— Простите, — сказал господин, — я не могу.

— Но почему? — спросил Фрейд.

— Потому что я и есть клоун Гримальди.

Может показаться, будто на круизе я предавался жалости к себе (а я, как вы знаете, это чувство презираю), но нет. Я себя обхитрил: делал вид, что наслаждаюсь, пока на самом деле не начал наслаждаться. И только потом, снова встретившись с Джанет, оглянулся на поездку и узнал в себе клоуна Гримальди.

Впоследствии — в том же году, вскоре после свадьбы, — выпал еще один случай отправиться в круиз, на сей раз в медовый месяц, и теперь уже действительно на «Королеве Елизавете II». Это был «круиз в никуда». Мы просто вышли из Нью-Йорка, несколько дней плавали в океане без высадки, а потом вернулись в Нью-Йорк — идеально для человека моих вкусов.

Мы поднялись на корабль 9 декабря 1973 года, и как же я радовался, что на сей раз Джанет со мной. В каком-то смысле круиз не удался, потому что мы плыли, чтобы наблюдать за пролетом кометы Когоутека, а его расхваливали как вели-

колепное шоу. К сожалению, все вечера выдались облачными и дождливыми, да и сама комета Когоутека оказалась громадным разочарованием. Невооруженным глазом ее было почти не разглядеть. Но нам-то с Джанет что? Мы были сами себе кометами Когоутека.

На борту находился Лубош Когоутек, открывший комету, и планировалось его выступление. Когда мы с Джанет удобно устроились на своих местах, она сказала:

— Приятно иногда куда-то с тобой выбраться, Айзек, когда ты не выступаешь.

И тут ведущий заявил, что Когоутек, к сожалению, плохо себя чувствует и не выходит из каюты, поэтому выступление придется отменить. Публика ответила таким болезненно-разочарованным вздохом, что Джанет (вот добрая душа) вскочила и сказала:

— Выступит мой муж, Айзек Азимов.

Теперь она заявляет, что ничего подобного не было — мол, она всего-то подтолкнула меня локтем (а это на языке всех жен означает «Без возражений») и прошептала, что я сам должен вызваться добровольцем. Не вижу разницы. Мне так и так пришлось лезть на сцену и читать импровизированную лекцию для публики, ожи-

давшей совсем другого человека.

Я справился. Более того, я справился так хорошо, что потом директор круиза приглашал меня выступать на другие круизы, и мы с Джанет совершили еще несколько поездок на «Королеве Елизавете II» за счет компании.

116. Книги Джанет

У субарахноидального кровоизлияния Джанет был еще один любопытный побочный эффект, но, чтобы о нем рассказать, придется немного вернуться в прошлое.

В чем-то ее молодость до странного напоминает мою. Как и я, в детстве она хотела писать фантастику, но, как и я, поняла, что не может рассчитывать на постоянный заработок писательством. Она выбрала научную карьеру. Разумеется, у нее была возможность поступить в колледж — культурные традиции ее семьи не запрещали высшее образование для женщин, и потому ей не пришлось прерывать обучение, в отличие от Гертруды и Марши.

Джанет хотелось в Стэнфорд, но тогда бушевала Вторая мировая, попасть в Калифорнию не вышло. Поэтому она два года отучилась в Уэллсли в Массачусетсе. После окончания войны она перевелась на два последних года учебы в Стэнфорд, и это, по ее словам, самое счастливое время в жизни до встречи со мной.

Она готовилась к поступлению в школу ме-

дицины, но оказалось было непросто. В первую очередь набирали ветеранов войны, и в большинстве школ существовала очень маленькая квота для женщин. (В 1948 году сексизм еще процветал.) Она попала-таки в Школу медицины Нью-Йоркского университета и получила диплом в 1952-м. После интернатуры в Филадельфийской больнице прошла резидентуру[93] по психиатрии в больнице Беллвью. Еще она окончила Институт психоанализа Уильяма Алансона Уайта и с тех пор поддерживала с ним связь, даже восемь лет проработала в нем директором по учебной работе. Она прекратила частную психиатрическую практику в 1986 году, отдав своей профессии тридцать лет и сделав себе заметное имя.

За все это время она не лишилась желания писать. Чего она только не писала — даже несколько детективов, которые не сумела продать, хотя они и помогли набить руку. (Единственный хороший способ научиться писать — это писать.) Она продала детективный рассказ, причем очень остроумный, Хансу Стефану Сантессону, редактору The Saint Mystery Magazine («Детективный журнал

[93] Примечания: 93

Резидентура — обязательный компонент медицинского образования в США (идентичный российской ординатуре), последипломная подготовка врачей на базе больницы. — Прим. ред.

Святого»). Он вышел в майском выпуске 1966-го.

После мастэктомии Джанет, испугавшись скорой смерти, начала писать роман. Потом, когда в следующем году лежала в больнице из-за кровоизлияния (а я отплыл смотреть затмение), ее пришел навестить наш добрый друг Остин Олни из Houghton Miflfin. Джанет начала с энтузиазмом расписывать ему сюжет романа. (Она говорит, что в здравом уме и слова бы об этом не сказала.)

Остин выразил интерес. Когда Джанет наконец поправилась, это дуновение смерти (напомнившее о бренности) подтолкнуло ее завершить роман и отправить в Houghton Miflfin. Ее попросили о серьезных правках, и она их внесла.

Затем пришло 30 ноября 1973 года, день нашей свадьбы. Чтобы никто не мешал, пока нас венчает Эд Эриксон, Джанет сняла трубку с аппарата. После короткой церемонии (в качестве свидетелей присутствовали наши друзья Эл и Филлис Балк, так что нас было всего пятеро — юридически разрешенный минимум) она вернула трубку. Телефон тут же зазвонил — это Остин Олни хотел ей сказать, что Houghton Miflfin выпустит роман. День двойного счастья.

Я всегда всем говорю, что Джанет, закончив разговор с Остином, воскликнула: «Так-то! Я же

знала, что сегодня случится хоть что-нибудь хорошее». На самом деле не воскликнула — я это выдумал; но люди всегда смеются.

Первый роман Джанет «Второй эксперимент» («The Second Experiment») вышел в Houghton Miflfin в 1974 году под ее девичьей фамилией — Джанет О. Джеппсон.

Затем она писала другие книги. «Последний бессмертный» («The Last Immortal»), продолжение первой книги, вышло в Houghton Miflfin в 1980-м. Еще она писала рассказы для фантастических журналов, в том числе серию, которая мне кажется любопытной, — это добрая сатира на психиатрию, где рассказывается о застольных беседах группы психиатров, придерживающихся разных убеждений, но объединенных в мифический клуб «Анонимные мозгоправы». Эти рассказы вышли в 1984-м в сборнике «„Таинственное лекарство“ и другие рассказы» («The Mysterious Cure and Other Stories») от Doubleday. Между делом она работала над чудесной антологией юмористической фантастики «Смеющийся космос» («Laughing Space,»), включающей стихи и карикатуры. Эта книга вышла в Houghton Miflfin в 1982 году. На обложке стоит и мое имя, потому что я написал предисловие и вступления, но

девяносто процентов работы проделала Джанет.

Ни одна книга не продавалась хорошо, зато все доставили нам с Джанет бесконечное удовольствие.

Потом в Walker & Company ее попросили написать детскую фантастику. Она много лет вертела в голове сюжет о самовлюбленном, но очаровательном роботе. Теперь ей выпал шанс написать «Норби — необыкновенный робот» («Norby, the Mixed-up Robot»). На обложку просили и мое имя (видимо, для хороших продаж), и я перечитал рукопись, слегка ее подправив. Но, опять же, девяносто процентов работы проделала Джанет.

Книга Уокерам очень понравилась, и они просили еще. Джанет согласилась и на данный момент выпустила целых девять книг о Норби, все — в издательстве Уокеров.

Сейчас в работе уже десятая[94]. Книги о Норби хорошо продаются. Все они издавались в мягкой обложке от Berkley, нам приходят письма от юных поклонников.

Но ее любимая книга — не одна из перечис-

---

[94] Примечания: 94

Десятая книга «Норби и придворный шут» («Norby and the Court Jester») вышла в 1991 году. Последняя одиннадцатая книга цикла «Норби и перепуганное такси» («Norby and the Terrified Taxi») написана и опубликована Джанет Азимов в 1997 году уже после смерти мужа. — Прим. ред.

ленных, а сборник под названием «Как писать с удовольствием» («How to Enjoy Writing»), изданная Walker в 1987-м. Это тексты о писательстве (многие — от меня) с комментариями Джанет. И это действительно одна из самых очаровательных книг, что я читал.

Всего у Джанет вышло шестнадцать книг, включая два недавно вышедших в Walker фантастических романа, на обложках которых уже не стоит мое имя. Это «Перенос разума» («Mind Transfer») и «Посылка в гиперпространстве» («A Package in Hyperspace»), оба выпущены в 1988 году.

Как я сказал, Джанет выпустила первые романы под девичьей фамилией, и в них нигде — ни на обложке, ни в самой книге, — не сказано, что это моя жена. Ей очень не хотелось пользоваться моей славой.

Это не помогло. Люди из фантастического сообщества то ли знали, то ли выведали о наших отношениях, и кое-кто упивался этим всласть. Как я уже упоминал выше, один писатель обвинил Джанет, что она выпустила «Второй эксперимент» благодаря кумовству — мол, великий Айзек Азимов воспользовался положением и заставил Houghton Miflfin издать книгу.

Незачем говорить, что это неправда. Я и пальцем не пошевелил, чтобы помочь ее издать. Во-первых, я считаю, это неэтично, и того же мнения придерживается Джанет. Во-вторых, ничего бы не получилось, потому что никакое мое так называемое влияние не сподвигнет издательский дом выпустить книгу, если ее считают плохой. В конце концов, я иногда с трудом продавал даже написанною мною лично. Куда же тогда девалось мое влияние?

Но это преподнесло Джанет ценный урок: быть чересчур этичной в таких вопросах — пустая трата времени. По этой причине в последних книгах, к которым я не имел ни малейшего отношения, она указана как «Джанет Азимов».

117. Голливуд

Меня часто спрашивают, снимают ли по моим книгам фильмы. Долгое время я отвечал: «Нет», и это значило, что я счастлив.

Это вроде бы странно. Для большинства от слова «Голливуд» веет романтикой и, что важнее, деньгами.

Но обычно, чтобы работать с Голливудом, нужно переехать в Калифорнию (как в последние десять-двадцать лет поступает все больше и больше фантастов), а я этого делать не собираюсь. Я не объехал весь мир, но верю, что нет места прекраснее Новой Англии и Среднеатлантических штатов, особенно осенью. Равнины для меня скучны, а горы (настоящие горы) — слишком заметны. Мне бы холмы, да деревья, да зеленые пейзажи, и посреди всего — великолепные манхэттенские небоскребы.

И потом чем больше я слышал историй о Голливуде, тем меньше он мне нравился. Уолтер Брэдбери из Doubleday бывал там раз в год по делам. Когда я с ним обедал после этих поездок, он выглядел истощенным и замученным. Он

ненавидел тех, с кем ему приходилось иметь дело, — жулики все до одного, говорил он, никому верить нельзя.

Наслушавшись Брэдбери, я пришел к собственной теории. Я читал книгу о книгоиздании в Америке девятнадцатого века и поразился, что все издатели в то время были как на подбор злодеями, хищниками и мошенниками. Так уже точно не скажешь о моих издателях из второй половины двадцатого века.

Я решил, что просто появился Голливуд и привлек всех злодеев, хищников и мошенников, учуявших деньги, деньги и деньги. Поэтому в издательствах остались добрые души, непригодные для крысиных бегов и гонки за большими деньгами.

Так вот я тоже непригоден для крысиных бегов. Я в этом еще больше убедился, наслушавшись о Голливуде от таких писателей, как Харлан Эллисон (который любит Калифорнию и калифорнийцев в целом). Тогда я понял, что Голливуд хуже крысиных бегов: это крысиная западня. Он заманивает вести образ жизни с солнцем и загаром, с барбекю и бассейнами — жизнь, которую ты не можешь себе позволить, если только не продолжишь работать в Голливуде. И ты продол-

жаешь. Это договор с Мефистофелем, который уже нельзя разорвать.

Примите в расчет и тот факт, что в печатных книгах я, писатель, главенствую. Может, мои книги и редактируют, но слегка, и последнее слово при одобрении каждой измененной запятой остается за мной. Когда ты сценарист кино или телевидения, продюсер и режиссер держат кнут, а картинка господствует над словом. В Голливуде сценарист находится внизу пищевой цепочки, в его труд может вмешаться каждый.

Нет уж, спасибо, я глух ко всем обещаниям денег и роскошного образа жизни. И намерен во что бы то ни стало жить в Нью-Йорке.

Все это не значит, что время от времени Голливуд сам не приходит ко мне. В 1947-м Орсон Уэллс купил за 250 долларов права на киноэкранизацию моего рассказа «Улика». Я наивно думал, будто в итоге из рассказа получится великий фильм. Незачем говорить, что ничего так и не сняли.

Потом уже в Doubleday занялись продажей моих экранизаций — или, вернее, прав на киноэкранизации. То есть человек покупает за определенную сумму права на эксклюзивное использование произведения или нескольких

произведений в течение ограниченного периода времени. Если в конце этого периода покупатель соберет необходимые средства на съемку — отлично! Я получу еще больше денег. Если же нет, он может продлить права за дополнительную плату или вернуть их, а мне, конечно, остаются деньги, уплаченные ранее.

Так в конце 1960-х Голливуд приобрел права на «Я, робот» и около пятнадцати лет их продлевал. Но в итоге ничего не случилось, хоть Харлан Эллисон и написал на основе книг прекрасный сценарий. Я продавал и другие права, но впустую, после чего вывел, как я его называю, Первый закон Азимова о Голливуде, который звучит так:

«Что бы ни случилось, ничего не случится!»

И все-таки пару лет назад в Doubleday продали права на мой рассказ «Приход ночи». И кто-то даже умудрился снять фильм. Я об этом не знал, пока друзья не сказали, что видели его анонс в Variety. Со мной ни разу не советовались, я ни разу не видел сценарий. Мне позвонили и сказали, что премьера состоится в Таксоне, штат Аризона.

В Таксон я точно не собирался.

— А когда фильм покажут в Нью-Йорке? — спросил я.

— В Нью-Йорке слишком дорого, — ответили

мне.

Тут я и понял, что фильм снят за гроши, и гадал, насколько же он плох. Там, где показывали фильм, его рекламировали с акцентом на моем имени, и люди шли именно по этой причине. Потом посыпались письма — и я уже знал самое худшее. Общее мнение — это худший фильм в истории и он не имеет ни малейшего сходства с рассказом.

Кто-то обвинял меня, что я сам его снял, а как минимум один человек потребовал вернуть деньги за билет. Мне пришлось отвечать всем и снимать с себя всю ответственность. К счастью, картина почти сразу же умерла заслуженной смертью, и остается только надеяться, что ее не помнит никто из тех, кто ее смотрел или хотя бы о ней слышал.

И при всем при этом вы еще думаете, будто мне надо, чтобы по моим книгам снимали фильмы?

Несколько раз я выступал «консультантом». Джин Родденберри, создатель «Стар Трека», обратился ко мне за советом для первого фильма по «Стар Треку», и я с радостью помог, потому что он мой друг. Я не просил денег, но он все равно их прислал и обещал указать меня в титрах. Ну, я еще ни разу не видел себя в титрах, так что пошел

на фильм. В самом конце, когда все двинулись на выход, по экрану пошла бесконечная череда имен. Пока зал пустел, мы с Джанет угрюмо ждали, и наконец-то последней строчкой — самой последней строчкой — значилось: «Научный консультант — Айзек Азимов». Я, естественно, громко зааплодировал и отчетливо услышал, как кто-то в проходе сказал: «Вон сидит Азимов и хлопает сам себе», — так родилась очередная легенда о моем тщеславии.

Также в 1979-м я был консультантом нескольких серий приятного фантастического сериала «Мусорщик-1» («Salvage 1») с Энди Гриффитом — актером, которым я всячески восхищаюсь. А самое главное, меня привлекли к созданию и консультированию сериала «Расследование» («Probe») — юмористической, обаятельной и довольно взрослой фантастики. Сезон состоял из двухчасового пилота и шести серий, которые мне очень понравились. Но потом началась затяжная забастовка сценаристов, в ходе чего «Расследование» и скончалось. А жаль!

В связи с «Расследованием» стоит упомянуть одну странную историю. Мое участие в создании было не таким уж значительным, и старший сценарист, много сделавший для сериала, хотел

числиться соавтором. Я для себя разницы не видел. Я не стремился к голливудским влиянию, статусу или престижу и сказал: «Пожалуйста!»

Но перед этим я подписал контракт, где был указан единственным автором сериала, поэтому мне позвонили из Equity[95] (или как они там называются) и предложили выступить от моего имени в суде.

Я ответил:

— Я не хочу идти в суд. Пусть он будет соавтором. Мне все равно.

Далеко не сразу получилось их убедить, что я говорю серьезно и не собираюсь драться за любой голливудский приработок. Это мне снова показало, что такое Голливуд и как же мне повезло, что я держусь от него подальше.

---

[95] Примечания: 95
Британский профсоюз актеров. — Прим. пер.

118. Конвенции по «Стар Треку»

Раз уж в прошлой главе я упомянул о «Стар Треке», позвольте сказать и о нем пару слов. Премьера сериала, задуманного и спродюсированного Джином Родденберри, состоялась в 1966-м, и он тут же стал хитом у любителей фантастики. Это первая взрослая фантастика на телевидении.

В конце первого года те, кто принимает такие решения, постановили закрыть сериал. На такое фанаты мгновенно ответили массовым протестом, заставшим руководство врасплох. Бедные недоумки и не знали, какими умными и страстными бывают любители фантастики. Решение отозвали, и «Стар Трек» продолжался еще два года, прежде чем его наконец сняли с эфира.

Но он так и не умер. Повторы шли бесконечно — и идут до сих пор. В конце 1980-х сняли целых пять фильмов с оригинальным актерским составом (к тому времени довольно подряхлевшим), а в 1988-м начался сериал «Стар Трек: Новое поколение» с новым составом.

Джанет — заядлая фанатка «Стар Трека». Я из-

редка пишу для TV Guide статьи о том о сем, и в 1966-м меня попросили написать что-нибудь о «Стар Треке» и некоторых других фантастических сериалах того времени (куда хуже качеством). Я решил подшутить и указать на научные ошибки, не пожалев «Стар Трек». Мне тут же пришло свирепое письмо от Джанет, и ничто не могло ее умилостивить, кроме отдельной статьи, восхваляющей достоинства сериала. С этого-то, кстати говоря, и началась моя дружба с Джином Родденберри.

Джанет всей душой поддержала протест против завершения сериала после первого года. С тех пор она исправно снова и снова пересматривала повторы, пока — как я в шутку говорю — не начала уже шевелить губами, повторяя реплики актеров. Она перестала смотреть повторы, лишь когда скупила все кассеты, чтобы смотреть без рекламы. И, конечно, уже видела все фильмы и страстно следит за новым сериалом. Когда она садится смотреть «Стар Трек» — неважно, новый или старый, — мне запрещено ее отвлекать. При этом мне еще не разрешается звать ее «трек-

ки»[96]. Не пойму, почему это она не считает себя таковой.

Множество, великое множество людей полюбило сериал так же, как Джанет, и среди них — девушка по имени Элиза Пайнс, задумавшая конвенцию в честь «Стар Трека», где могут собраться и пообщаться фанаты сериала, где можно продавать сувениры и куда, пожалуй, получится зазвать кого-нибудь из актеров. И она просила меня пообещать, что я тоже приду. Так как местом проведения выбрали Манхэттен, я согласился.

Когда Элиза только придумала конвенцию по «Стар Треку» в 1972-м, еще не было известно о долговечной популярности сериала и она ожидала не больше четырехсот гостей. Пришли две с половиной тысячи. Конечно, благодаря такому успеху, Элиза (и другие) проводили конвенции в течение всех 1970-х. Я побывал практически на каждой, проводившейся в Манхэттене, и всегда на них выступал.

Даже присутствовал на одной слишком успешной. В отель плотно набилось столько людей, что

---

[96] Примечания: 96

Трекки (также треккеры) — поклонники научно-фантастической вселенной «Звёздного пути». Название trekkie образовано от слов trek (путь) и groupie (рьяный поклонник какого-либо музыкального исполнителя). Слово вошло в обиход в 1980-е и даже включено в Оксфордский словарь английского языка. — Прим. ред.

они «кристаллизовались». Коридоры и лестницы так переполнились, что никто (буквально) не мог сдвинуться с места. К счастью, я это понял еще до начала стадии кристаллизации и каким-то чудом сумел пробиться на улицу.

Я всегда рад выступить, а автограф-сессии (в рамках разумного) льстят самолюбию и помогают моей рекламе. Но я понимаю, что целью таких собраний являются любители «Стар Трека», а я, очевидно, посторонний. Подавляющее большинство гостей может даже меня не знать. Иллюзии развеялись окончательно, когда сам Уильям Шетнер (капитан Кирк со славного корабля «Энтерпрайз») заворожил огромную аудиторию выступлением, в основном состоявшим из вопросов и ответов, но в конце концов, конечно же, закончил и собрался на выход.

Тут возникла проблема. Как ему покинуть отель, чтобы его не зажали и ненароком не раздавили восхищенные поклонники? Его защищал летучий клин охранников, но возбужденная толпа — стихия неуправляемая.

И организатор встречи (не Элиза, она уже уступила этот пост другим) умолял меня задержать толпу, пока спасается Шетнер. Меня не предупреждали, что такое может случиться, но я вышел

и начал выступать. И только хорошенько разогрелся, как тут сообщили, что Шетнер добрался до лимузина и уезжает. Меня сразу же прогнали со сцены на полуслове.

Я ценю, когда люди верят, что только я могу удержать публику на местах, но не оценил, что меня так откровенно использовали. Могли бы уж дать договорить. После этого я последовал примеру Шетнера. Если хотел посетить местную конвенцию, то прибывал сразу перед своим выступлением и исчезал сразу после.

Конечно, мне-то никогда не угрожала опасность быть раздавленным толпой фанатов.

119. Детективные рассказы

Но вернемся к моей писательской карьере и ее новому ответвлению в 1970-х.

Мне всегда хотелось писать детективные рассказы. Сперва я, конечно, был предан фантастике, и некоторые мои фантастические рассказы сами по себе детективы. Например, так можно сказать о нескольких рассказах про роботов.

Еще я написал цикл из пяти фантастических рассказов об Уэнделле Эрте, который разгадывал тайны, не выходя из дома. Первый, «Поющий колокольчик» («The Singing Bell»), опубликован в январском F&SF 1955 года.

Рассказы об Уэнделле Эрте мне нравились, но не удовлетворяли аппетит. Мне хотелось написать «честный» детектив без примеси фантастики. Один я написал в 1955-м, но его не приняли в Ellery Queen's Mystery Magazine («Детективный журнал Эллери Куина», EQMM). Наконец я пристроил его в The Saint Mystery Magazine, где он и вышел в январском выпуске 1956 года под названием «Смерть милашки» («Death of a Honey-Blonde»). Впрочем, там действие разворачивалось

на химическом факультете, поэтому, хоть это и не научная фантастика, от науки я так и не освободился.

Рассказ получился так себе, я в нем разочаровался. И все-таки желание писать детективные рассказы сохранилось. В EQMM регулярно публикуют короткие «первые рассказы» — от авторов, которые никогда не публиковались. Наконец досада взяла надо мной верх и я подумал: «Если справляются любители, чем я хуже?»

И 12 ноября 1969 года я написал короткий рассказ и отправил по почте через два часа после того, как его закончил. Его приняли и опубликовали в майском EQMM 1970 года под названием «Задача с числами» («A Problem in Numbers»).

Но и в нем речь шла о химическом факультете, как и в «Торговцах смертью», если на то пошло, — на тот момент моем единственном честном детективном романе. Меня это раздражало. Мне хотелось писать ненаучные детективы. Почему? Мне же так хорошо даются наука и научная фантастика. Зачем бросать верную супругу (так сказать) ради интрижки с какой-то игривой незнакомкой?

Ну, в фантастике я уже добился успеха. А хотелось покорять новые миры. Я с детства любил

детективные рассказы и тоже хотел их писать. А кроме того, если нужна не такая идеалистическая причина, с детективами мне проще, чем с фантастикой.

Возможно, больше всего меня будоражит тяга к подражанию. Я не раз замечал, что при просмотре хорошего сериала о юристах, или музыкантах, или сыщиках, или ком угодно, меня тут же тянет стать юристом, или музыкантом, или сыщиком, или кем угодно. Я дошел до абсурда, когда смотрел хороший сериал о писателях. Обернулся к Джанет и сказал: «Вот бы стать писателем!» (Есть исключение. Ни разу не видел сериала о врачах, после которого хотя бы чуточку захотелось самому стать врачом. Скорее наоборот.)

Откуда эта тяга к подражанию? Наверное, от желания перепробовать все, просиять во всех сферах. Даже ограничившись одной литературой, я иногда в припадках мании величия заявляю: «Если бы решал я, я бы написал все книги в мире».

Это не более чем похвальные амбиции? Или же та мания величия, из-за которой Александр Македонский возрыдал, что может покорить лишь один мир? Я думаю, первое. В конце концов, несмотря на все свои желания, свои дела я держу под строгим контролем и не принимаюсь за про-

екты, если сильно подозреваю, что не справлюсь. Я же не пытаюсь взаправду стать юристом, или музыкантом, или детективом, или кем угодно. Я понимаю, что вся моя жизнь — это писательство и, чтобы стать кем-то хотя бы ненадолго, придется его урезать, а это невозможно.

И все-таки у меня есть два горьких сожаления из-за упущенных возможностей, не связанных с писательством. Во-первых, я так и не выучил русский язык, а ведь мог бы, и без больших затруднений, если бы в детстве родители говорили со мной только по-русски. Во-вторых, у меня в детстве не хватало денег на уроки пианино или вокала. (Я неплохо попадаю в ноты и от природы обладаю сносным голосом, но совсем неразработанным.)

Эх, что ж, с другой стороны, пришлось бы часто пользоваться русским, чтобы его не забыть, и регулярно играть, если бы я занимался музыкой. А писательские навыки не забываются. По крайней мере, у меня. Я обнаружил, что, если обстоятельства длительное время удерживают меня вдали от пишущей машинки, по возвращении мое мастерство не притупляется.

Но вернемся к детективным рассказам.

После первой небольшой сделки с EQMM детек-

тивные произведения не потекли рекой. В конце концов, у меня всегда хватало других дел.

Но в начале 1971-го Элеонора Салливан, красавица-блондинка и ответственный редактор EQMM, написала мне письмо и попросила прислать рассказ. Я с радостью согласился, но теперь предстояло придумать сюжет.

Придумался он быстро, поскольку в двух этажах над нашей квартирой жил Дэвид Форд, тучный актер с зычным баритоном. (На мой взгляд, голос для актера куда важнее лица, если только этот актер — не безвкусный секс-символ.) Он как-то раз приглашал нас к себе, и мы обнаружили, что его квартира до потолка забита тем, что на идише называется «чочкес» — то есть разнообразными безделушками, привлекающими внимание всеядного коллекционера. Форд рассказал, что однажды к нему пришел мастер по ремонту, и тут понадобилось выгулять собаку. Форд подозревал мастера в краже парочки чочкес, но сам так и не понял, что пропало и пропало ли вообще.

Этого мне хватило. Я быстро написал рассказ, он вышел в январском EQMM 1972 года под названием «Корыстный смешок» («The Acquisitive Chuckle»).

Я-то думал, это просто рассказ, но, когда он

вышел, аннотация Фреда Даннея провозглашала: «Первый рассказ из НОВОЙ СЕРИИ Айзека Азимова». (Большие буквы — Фреда Даннея.) Об этом я услышал впервые, но мысль мне понравилась.

Я писал все больше и больше рассказов о тех же персонажах. Когда написал двенадцать и захотел издать сборник, Данней решил, будто цикл завершился, и объявил об этом в печати. Плохо же он меня знал. Я упрямо продолжал и написал уже целых шестьдесят пять рассказов. (Что хорошего в плодовитом писателе, если он не плодит тексты?)

Я называю этот цикл рассказами «черных вдовцов», потому что действие каждый раз разворачивается на ежемесячном банкете клуба с таким названием. Клуб я бесстыдно списал с настоящего, в котором состою сам, — «Пауки-затворники», — и о нем еще расскажу позже.

Рассказы состоят преимущественно из диалогов. Шестеро членов клуба, каждый — со своим уникальным голосом, что-то обсуждают. Есть гость, которому после ужина задают вопросы и который рассказывает о какой-нибудь тайне, и «черные вдовцы» не могут ее разгадать, зато в конце концов разгадывает официант Генри.

Впоследствии рассказы по дюжине в одном

томе выходили в Doubleday. На данный момент появились следующие книги:

«Рассказы „черных вдовцов“»
(*Tales of the Black Widowers,* 1974)
«Новые рассказы „черных вдовцов“»
(*More Tales of the Black Widowers,* 1976)
«Справочник „черных вдовцов“»
(*Casebook of the Black Widowers,* 1980)
«Банкеты „черных вдовцов“»
(*Banquets of the Black Widowers,* 1984)
«Головоломки „черных вдовцов“»
(*Puzzles of the Black Widowers,* 1990)

Я написал еще пять рассказов — когда-нибудь всего их станет двенадцать, и они выйдут в шестом сборнике.

Мой второй цикл рассказов начался, когда Эрик Проттер, редактор Gallery, попросил писать для его журнала по детективу на 2200 слов каждый месяц. (В рассказах «черных вдовцов» в среднем 5500 слов.) Gallery — так называемый «девчачий журнал», и, пусть он не такой анатомический, как некоторые другие, все-таки достаточно «девчачий», чтобы я обеспокоился.

— Я не пишу эротику, Эрик, — сказал я.

Он заверил, что мне и не придется. И я придумал

другую подоплеку. Периодически в библиотеке клуба «Юнион» встречаются четверо. Трое заводят короткий разговор, это напоминает четвертому, Грисвольду какую-нибудь историю. Грисвольд ее рассказывает — и в ней каждый раз фигурирует тайна, которую он распутывает. Причем разгадку он не сообщает, пока остальные трое не начинают негодовать, заявляя, что решения вообще быть не может. И тогда он его раскрывает. Я называю их «рассказами Грисвольда».

Первый «рассказ Грисвольда» я написал 9 марта 1980-го, и всего их в Gallery опубликовали тридцать три, после чего в августе 1983-го сменился издатель и от моих услуг отказались. Впрочем, писать я не бросил, но отправлял рассказы уже в EQMM.

Еще я писал короткие детективные рассказы для молодежи, из них многие вышли в Boys» Life. Впрочем, лучший, на мой взгляд, там как раз не приняли (возможно, потому, что речь шла о терроризме), зато его подхватили в EQMM, и он вышел в июле 1977-го под названием «Тринадцатый день Рождества» («The Thirteenth Day of Christmas»).

В 1970-х и 1980-х я написал где-то сто двадцать детективных рассказов — куда больше, чем

фантастических за тот же период. Это вряд ли изменится. Детективы мне нравятся больше.

Позвольте объяснить. Эти сто двадцать детективов — «старомодные». Современные детективы все чаще и чаще представляют собой упражнения в полицейских процедурах, драматизме частных сыщиков или психопатологии, и во всех, как правило, наваливают с горкой секс и насилие.

Старомодные детективы, где есть ограниченный круг подозреваемых и гениальный сыщик (часто — любитель), ведущий остроумную цепочку догадок и дедукции, по большей части как будто вымерли. Ныне их с легким презрительным оттенком зовут «уютными детективами», а время их расцвета приходится на 1930-е и 1940-е в Великобритании. Великие авторы «уютных детективов» — это Агата Кристи, Дороти Сэйерс, Нгайо Марш, Марджери Аллингем, Николас Блейк и Майкл Иннес.

Ну, вот как раз их я и пишу. Я и не скрываю, что ориентируюсь на Агату Кристи. На мой взгляд, ее детективы — лучшие из когда-либо написанных, куда лучше рассказов о Шерлоке Холмсе, а Эркюль Пуаро — лучший сыщик за всю историю жанра. Почему бы не взять за образец то, что я считаю лучшим?

А главное, все мои детективы до последнего — «диванные». История разворачивается в диалоге, все улики предъявляются честно, у читателей есть неплохой шанс обогнать литературного сыщика в разгадке. Иногда они так и делают, и тогда мне приходят торжествующие письма. В редких случаях я даже получаю советы с разгадками получше.

Старомодно? Еще как! Ну и что? У других авторов детективов — свои цели, например создать атмосферу приключений или вселить ужас, что угодно. Моя цель в детективах (и на самом деле во всем, что я пишу, как в художественной, так и в нехудожественной литературе) — заставить людей думать. Мои рассказы — головоломки, и не вижу в этом ничего дурного. Более того, для меня это такое же испытание, как лимерики, потому что правила честной головоломки не менее строги.

Это, кстати говоря, значит, что в сюжете необязательны психопатологии или жестокие преступления — и преступления вообще. В последнее время мне больше всего понравилось писать детектив «Затерянный в искривлении космоса» («Lost in a Space Warp»), вышедший в мартовском EQMM 1990 года. Это рассказ о человеке, который

потерял зонтик в маленькой квартире своей девушки и никак не мог его найти. Исходя из вводных, Генри вычислил, где находится зонтик, не сходя со своего места у серванта.

Более того, я и не собираюсь менять формат. Он всегда остается тем же. Гостю «черных вдовцов» всегда будет о чем рассказать, «черные вдовцы» всегда упрутся в тупик, а Генри всегда найдет разгадку. Точно так же Грисвольд всегда будет рассказывать свои загадки, а остальная троица в упор не увидит решения, пока его не объяснят.

Почему бы и нет? Искусственный фон задуман только для обрамления головоломки. Я хочу, чтобы читатель каждый новый рассказ встречал с уютным ощущением, как старого друга, чтобы он видел тех же персонажей в тех же обстоятельствах, чтобы ему всегда было над чем пошевелить извилинами, стараясь опередить с разгадкой меня.

120. «Пауки-затворники»

В 1970-х я вступил в ряд организаций — скорее в силу обстоятельств, чем по собственному желанию. Раз уж я упомянул в прошлой главе «Пауков-затворников», можно начать и с них.

Впервые приехав в Филадельфию в 1942-м, я познакомился через Спрэга де Кампа с Джоном Д. Кларком. В молодости они учились в одном колледже. У Кларка (его все звали «Док» из-за его степени доктора философии) было худое лицо, очень тонкие усики, умение остроумно шутить с каменным лицом и (к сожалению) привычка смолить сигарету за сигаретой, из-за чего я держался подальше.

Он был специалистом по неорганической химии и в годы войны разрабатывал ракетные боеголовки. В конце 1930-х он написал два превосходных фантастических рассказа и больше никогда не писал. Один из них, «Минус-планета» («Minus Planet», ASF, апрель 1937) — по-моему, первый рассказ об антиматерии.

Во время нашей первой встречи он собирался жениться на пышной и весьма эпатажной

будущей оперной певице. Мне она совсем не нравилась, но то был выбор Дока, не мой. Впрочем, оказалось, что она не нравится всем его друзьям, и уже скоро в присутствии жены он не мог ни с кем поговорить.

Одним из друзей Дока был Флетчер Пратт — он же соавтор Спрэга в ряде превосходных фэнтези-рассказов для Unknown. Это был коротышка с тонкой бородкой, залысинами и внушительным интеллектом. Он отлично разбирался в военной истории и написал «Испытание огнем» («Ordeal by Fire») — я считаю эту книгу лучшей однотомной историей американской Гражданской войны. Он придумал военную игру, где модельки настоящих судов участвуют в морских битвах по сложным правилам, разработанным в как можно более близком подражании реальности. Еще он держал у себя в квартире мартышек, поэтому там всегда воняло как в зверинце. Скончался он в 1956-м в возрасте пятидесяти девяти лет, и из-за причуды памяти я отчетливо помню, как видел его в последний раз: мы расставались на улицах Нью-Йорка и махали друг другу на прощание.

В 1944-м Флетчеру пришло в голову создать строго мужской клуб, чтобы собираться каждый месяц за ужином. Тогда Дока Кларка можно было

бы сделать членом, и раз в месяц он бы встречался с друзьями без жены над душой. Каждую встречу проводили (оплачивая ужин) разные участники или сразу двое, и еще вошло в традицию, чтобы каждый ведущий приглашал своего гостя, которого после ужина в подробностях расспрашивали о его жизни и работе. Клуб назвался «Пауки-затворники», подразумевая, что участники так же зарывались в норку, как пауки, чтобы спрятаться от врагов, то есть от жены Дока.

Док и сам, судя по всему, скоро перестал выносить жену, потому что спустя семь лет развелся, но «Пауки-затворники» никуда не делись, а он остался в их рядах. Еще в клуб входили мои старые друзья Л. Спрэг де Камп и Лестер дель Рей.

Если мой приезд в Нью-Йорк совпадал с днем сбора (всегда — в пятницу вечером), меня приглашали гостем, но собственно вступать в клуб я отказался, зная, что редко буду находиться в Нью-Йорке в нужные дни. Впрочем, как только я переехал в город в 1970-м, меня приняли в члены клуба.

Быть «пауком-затворником» замечательно. Беседы у нас приятные, каждый член клуба — настоящий профессионал в какой-либо сфере. В среднем собирается двенадцать человек. Чтобы

вы представляли наш разброс: Роупер Шамхарт — епископальный священник и эксперт по теологии и литургической музыке; Ричард Гаррисон — профессиональный картограф; Жан ле Корбе-лье — учитель математики; Лайонел Кэссон — археолог, специализирующийся на Древнем Риме; и так далее.

(Однажды, дожидаясь Робин со свидания — когда она приехала в Нью-Йорк, — я читал одну книгу Кэссона о Риме. Робин запаздывала, из-за чего я обычно лихорадочно переживаю, но в тот раз я с головой ушел в книгу и ничего не заметил. На самом деле, когда она вернулась очень поздно, я больше рассердился, что меня прервали, не дав дочитать книгу. Я рассказал об этом Кэссону, и он остался очень доволен.)

Я ввел в клуб двух новых членов, оба стали очень успешными «пауками». Один — Мартин Гарднер, второй — Кен Франклин. Беда в том, что оба ушли из клуба (еще не преступление) и переехали из Нью-Йорка (преступление ужасное).

Как я сказал в предыдущей главе, мои литературные «черные вдовцы» основаны на «пауках-затворниках», только число участников урезано вдвое, чтобы проще было писать. Даже отдельные «черные вдовцы» основаны на кон-

кретных «пауках».

Так, Джоффри Авалон основан на Л. Спрэге де Кампе, а Эммануэль Рубин — на Лестере дель Рее. Джеймс Дрейк — копия Дока Кларка; Томас Трамбулл — Гилберта Кэнта; Марио Гонзало — Лина Картера; а Роджер Хэлстед — Дона Бенсена. Это не секрет; я получал у них разрешение.

Однажды жена Кена Франклина, Шарлотта, спросила у него, что происходит на ужинах «Пауков». (Видимо, жен волнует происходящее на мужских сборищах — с расплывчатыми подозрениями насчет голых женщин и законспирированных оргий.) Кен вручил ей мою книгу о «черных вдовцах» и сказал: «Все как в книге, только не так интересно».

В книгах ничего не меняется, но в реальной жизни все иначе. Умерли уже три прототипа «черных вдовцов»: Гилберт Кэнт, Лин Картер и сам Док Кларк. Из оставшихся троих Спрэг переехал в Техас, Лестер сейчас не может приходить на встречи по состоянию здоровья.

А Генри, самый важный персонаж, который до самого конца держится на заднем фоне, не имеет прототипа. Он — целиком моя выдумка, хотя, должен признать, вижу сходство между ним и бессмертным Дживсом П. Г. Вудхауса.

Иногда меня спрашивают, появляюсь ли я сам в рассказах «черных вдовцов». Я появлялся всего раз в обличье гостя Мортимера Стеллера в рассказе «Когда никто не гонится» («When No Man Pursueth», EQMM, март 1974). Я с немалой гордостью рассказал Джанет, что описал себя очень точно.

— Но это неправда, — сказала она. — Гость — тщеславный, самовлюбленный, неприятный и зацикленный на себе.

— Вот видишь! — возликовал я. (Она рассердилась. Боюсь, ей свойственно смотреть на меня через розовые очки.)

А еще я рассказчик — персонаж «я» — в рассказах Грисвольда.

121. «Менса»

В 1961-м я познакомился с молодой девушкой по имени Глория Зальцберг. Она была жертвой эпидемии полиомиелита 1955-го — последней, омрачившей мир, до появления вакцины Солка. Как следствие, Глория не поднималась с инвалидного кресла, но и не проклинала свою участь. Она была энергичной женщиной, полной любви к жизни, и я восхищался в ней этими качествами. Еще она обладала завидным умом и состояла в «Менсе».

«Менса» — основанная в Великобритании организация, куда принимают людей с высокими показателями тестов по определению «коэффициента интеллекта» (IQ), которых (предположительно) достигают два процента человечества.

Глория пригласила и меня, но я отказался. Во-первых, хоть я и пожизненный победитель тестов на уровень интеллекта, сам я невысокого о них мнения. Я верю, что они измеряют только один аспект интеллекта — способность отвечать на вопросы, которые задают люди с таким же аспектом. Мой IQ всегда зашкаливал, но я пре-

красно понимал, какой я дурак во многом другом. Во-вторых, мне казалось ниже моего достоинства проходить тест. Уверен, мой уровень (какой бы он ни был) наглядно демонстрируют моя жизнь и творчество.

Глория спросила: «А может быть, ты нервничаешь из-за результата?»

Я задумался и понял, что это правда. Я ничего не выигрывал, но проиграть мог все. Если бы я получил высокий результат, этого бы просто и следовало ожидать; зато если бы получил низкий, не перенес бы позора. Но, разобравшись, я устыдился сомнений в себе. После чего прошел тест, получил высокий результат и вступил в «Менсу».

В целом это не самый приятный опыт. Я встречал немало чудесных членов этого сообщества, но были и другие, агрессивные и гордившиеся своим мозгом, которым, может показаться, при встрече только и хотелось бы говорить: «Я Джо Доукс, и мой IQ — 172», — а то и выбить результат себе на лбу. Они, как когда-то и я в молодости, навязывали свой интеллект невинным жертвам. В целом они так же чувствовали недостаток признания или успеха. В итоге обижались на весь мир и становились вздорными.

Более того, они постоянно соперничали, испытывали свой интеллект, а это через какое-то время начинает утомлять.

Далее я узнал неприятную истину: члены «Менсы», имея высокий IQ на бумаге, в жизни так же иррациональны, как и все остальные люди. Многие считали себя «высшей» группой, которая должна править миром, и презирали других. Естественно, они, как правило, поддерживали правых консерваторов, а я обычно не склонен разделять такие взгляды.

Хуже того, среди них, как я скоро узнал, существует немало людей, верящих в астрологию и прочую псевдонауку, и они собирались в «группы особых интересов», посвященные разнообразному интеллектуальному мусору. В чем польза от связи с такими людьми, даже косвенной?

А самое ужасное, я естественным образом стал мишенью. Как будто все юные выскочки «Менсы» вдруг решили, что заслужат славу, если сразятся со мной в битве умов и победят. Я оказался в положении старого стрелка, который не может отложить оружие, потому что ему на его территории то и дело бросает вызов очередной шустрый молокосос.

Я в такие игры играть не хотел. Я не против про-

играть в битве умов; за свою жизнь я проигрывал часто. Но предпочитаю, чтобы это происходило само по себе. Не хочу вечно ходить настороже. Короче говоря, если развивать метафору, я могу выстрелить, если придется, но не хочу всю жизнь провести держа руку на кобуре.

Поэтому я перестал посещать встречи и платить взносы. Формально я не ушел, но по сути сделал именно это.

Впрочем, на этом история не заканчивается. Приехав в Нью-Йорк, я встретил участников «Менсы», которые считали меня своим. Однажды я, не подумав, из природного интереса согласился прийти на собрание в честь приезда Виктора Серебрякова. Он прибыл из Великобритании и занимал пост международного президента, а также считался духовным лидером этой организации.

Серебряков оказался невысоким человеком с овальным багровым лицом и седой бородкой. Он умел отлично шутить, изображая разные акценты, в том числе кокни, чем тут же меня покорил. Серебряков пообещал сам заплатить за меня взносы, чтобы я остался членом организации, хочу я того или нет.

Ну, вот этого я уже допустить не мог, пришлось самому снова стать активным членом «Менсы».

Справедливости ради, польза от этой организации была.

Когда «Менса» проводила национальную конвенцию в Нью-Йорке, мне обычно предлагали выступить на банкете или еще каком мероприятии, и там я мог говорить на заумные темы, не подходящие для широкой общественности. Я даже посвятил «Менсе» сборник научных статей «Путь в бесконечность» («The Road to Infinity», Doubleday, 1979).

Впрочем, вернулись и прежние трудности, и, если я не выступал перед большой аудиторией, я избегал «Менсы». Покинуть ее оказалось трудно, потому что, по словам Виктора, меня назначили одним из двух международных вице-президентов «Менсы», а этот пост давался на пятнадцать лет. Я не напрашивался, я этого не хотел, но числился в сводках «Менсы» вице-президентом. Высокий пост не давал ничего, кроме почета, но из клуба теперь было не уйти.

Встречались там, конечно, замечательные и интеллигентные люди, например Марго Зейтельман, буквально руководившая нью-йоркским отделением «Менсы», неутомимая хозяйка и превосходный кулинар. Когда приезжал Виктор, мы с Марго ужинали с ним — обычно в компании

Марвина Гроссвирта, самого дружелюбного человека во всей «Менсе». Он травил байки лучше меня и умел изобразить еще более аутентичный еврейский акцент.

Я провел в «Менсе» много лет, все больше и больше от них уставая. Не получалось даже игнорировать свое членство. Кроме необходимости каждый год уплачивать взносы меня раздражали бесконечные письма от тех, кто влился в ряды организации, а значит, можно подумать, теперь считали себя моими кровными братьями и сестрами.

Все почти без исключения просили от меня то, чего я делать не хотел: написать статью, стать соавтором книги, прочесть рукопись, разыскать какие-то сведения и так далее. Я чувствовал себя постоянно на виду.

В конце концов, когда Марвин и Марго умерли, я ушел.

122. Клуб «Угощение по-голландски»

Главным редактором Fawcett Publications, важного издательского дома со специализацией на книгах в мягких обложках, работал Ральф Дэй, слегка смахивавший на Алана Хейла — Малыша Джона из «Робина Гуда» с Эрролом Флинном. В апреле 1971-го он пригласил меня на обед и сказал:

— Будет «Угощение по-голландски».

В следующий вторник я встретился с Ральфом в отеле Regency Hotel. Когда я достал кошелек, Ральф сказал:

— Я угощаю.

— Но ты же сказал — «угощение по-голландски, — ответил я.

Он был в ужасе.

— Ты думал, я приглашу тебя на обед и заставлю платить? Это клуб «Угощение по-голландски»», и я тебя угощаю.

Уже через несколько недель меня пригласили вступить.

Клуб основали в 1905 году газетчики, которые каждый вторник собирались на обед и платили

каждый за себя (отсюда название «Угощение по-голландски» — Dutch Treat Club, то есть каждый платит за себя). Со временем клуб расширился и стал включать различных представителей мира искусства. Мы встречаемся в полдень для бесед за коктейлем, сидим до обеда в 12:30, а в 13:10 выходит ведущий. Он делает объявления, представляет гостей и открывает развлекательную часть — обычно сперва выступает певец, а потом — спикер с лекцией на какую-либо неспециальную тему. В 14:00 собрание заканчивается.

Это совершенно замечательное мероприятие. Сперва я ходил туда время от времени, но мне там так понравилось, что я сделался одним из завсегдатаев. Больше того, распевая в утреннем душе «Give My Regards to Broadway» (я тот еще певец, когда по утрам моюсь в душе) и доходя до строчек «Скажите, что мое сердце тоскует / По старой знакомой компании», под «компанией» я себе представляю «датч-тритеров».

Когда я вступил в клуб, его президентом был Уильям Моррис — известный лексикограф, дружелюбный, пухлый и веселый человек с белым клочком бороды, благодаря которому выглядел невероятно важным. Ему пришлось уйти из-за болезни жены, когда он уже не мог гарантиро-

вать свое регулярное посещение. (Он живет в Коннектикуте.) После смерти жены он снова стал постоянно появляться в клубе, но не вернулся на прежнюю должность. Он почетный президент.

На смену Биллу Моррису пришел знаменитый Лоуэлл Томас, самый выдающийся «датч-тритер» 1970-х. Ему было восемьдесят (хотя так и не скажешь по его осанке, активной жизни и острому уму, не говоря уже о молодой и привлекательной жене). Он настаивал, что будет президентом только временно, пока не подыщут кого-нибудь другого, но клуб и не собирался подыскивать кого-то другого. Он оставался на посту до самой смерти в восемьдесят девять лет.

3 мая 1981 года мы с Джанет приходили на мероприятие в честь его восьмидесятидевятилетия. Он мне сказал, что уже устал от этой шумихи и боится, как бы на девяностолетний юбилей не стало еще хуже. Сказал, что специально куда-нибудь уедет, чтобы его никуда не приглашали. Так и получилось, хотя и не в том смысле, в каком он ожидал: он мирно скончался во сне 29 августа 1981 года, после такого же насыщенного дня, как и все другие его дни, — и это хороший конец.

Лоуэлла сменил Эрик Слоун, великий художник американских реалий. По его безмятежной

внешности не подумаешь, но он был женат семь раз. Это был чудесный малый, иногда поивший весь клуб «Угощение по-голландски» вином за свой счет. Единственная закавыка — большую часть времени он проводил на Юго-Западе и редко мог исполнять обязанности президента.

Он понимал эту трудность и в свое отсутствие предлагал в качестве исполняющего обязанности президента меня, но я всегда думал, что он шутит. Время от времени я вел встречу, но обычно Эрика подменял Уолтер Фриз, секретарь клуба.

Эрик тоже был преклонного возраста и жил с кардиостимулятором. 6 марта 1985 года, вскоре после своего восьмидесятилетия, он пришел в художественную галерею на Пятьдесят Седьмой улице, где выставлялись его картины на продажу. Затем пошел по Пятой авеню и, видимо, тут его сердце отказало — он упал и умер прямо на тротуаре. Трудно поверить, но при нем не оказалось никаких документов, только визитная карточка галереи. Полиция обратилась туда, кто-то из галереи ходил на опознание.

Мы с Джанет тут же решили купить себе картину Эрика Слоуна. Отправились в галерею, и она отобрала три картины, оставив финальное решение за мной. Я выбрал ту, что понравилась

мне больше всего, и теперь она висит в нашей гостиной.

На похоронах Эрика мы с Джанет тихо и грустно сидели на скамье, когда ко мне наклонился Эмери Дэвис — «датч-тритер» и известный руководитель джазового оркестра, очень лысый и очень веселый человек, — и сказал: «Надгробную речь произнесешь ты».

Это стало для меня полной неожиданностью, но я встал и сымпровизировал. Речь вышла удачной, но я не предвидел ее последствий. Я уже состоял с 12 января 1982 года в совете управляющих клуба, и в результате той речи все остальные члены совета единодушно согласились, что следующим президентом стану я. После немалых колебаний я поддался и 16 апреля 1985 года вступил в должность.

В каком-то смысле клуб «Угощение по-голландски» изменил мой распорядок жизни. По вторникам я всегда обедал с ними, так что назначил на этот день и визиты к издателям. В частности, я заходил в Doubleday, и там все к этому так привыкли, что мне говорили, будто в мое отсутствие вторник уже не похож на вторник.

Многие в клубе стали моими любимыми друзьями (а некоторые из них уже скончались со

времен моего вступления). Боюсь их перечислять, потому что наверняка кого-то ненамеренно обойду вниманием. Позвольте только сказать, что наиболее колоритный член клуба — Херб Графф. На его фоне блекну даже я.

Херб Графф — низенький лысеющий человек, который при нашей первой встрече носил парик, но потом перестал и взамен отрастил клочковатую бородку, из-за чего теперь смахивает на раввина самого чудаковатого вида. Его специализация — кино тридцатых.

Мы с Хербом прекрасно поладили. Десять лет мы сидели рядом, собирая вокруг себя родственные души, за нашим самым шумным столиком. Эрик Слоун прозвал его «еврейским», хотя титул «старшего еврея» от Эрика все-таки заслуживает Херб, а не я. (Во время круиза на «Канберре», когда мы плыли смотреть затмение, я однажды в шутку пожаловался, что всегда сижу за самым шумным столиком. Сидевший за тем же столиком Уолтер Салливан, добрейшей души человек, окинул меня серьезным взглядом и удивленно воскликнул: «Но, Айзек, он самый шумный из-за тебя».)

Ну, бывает и такое, но не всегда. Когда за столом Херб, весь шум — от него. Не подумайте, я люблю поболтать. Как раз недавно Робин ненароком

сказала другу: «Говорить с моим отцом значит слушать его монолог». Но обычно, когда неподалеку Херб, я умолкаю, и разговор превращается в его монолог. Он знает бесчисленное количество анекдотов и забавных историй и без умолку мастерски их рассказывает.

Из всего огромного числа историй об «Угощении по-голландски» расскажу о случае, когда один завсегдатай пропустил пару обедов по неуважительной причине — его жена-де лежит в больнице. Я заявил, надменно и с типично мужским (наигранным) размахом:

— Единственная причина, почему я пропустил бы обед, — меня не отпустит шикарная красотка в постели.

На что Джо Коггинс сумрачно ответил:

— И это объясняет безупречную посещаемость Айзека.

Я понял, на что напрашиваюсь, как только отпустил шутку, но сказанного не воротишь. Не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться к общему смеху.

123. «Добровольцы Бейкер-стрит»

Добровольцы Бейкер-стрит (Baker Street Irregulars, BSI) — помощники Шерлока Холмса. Название происходит от одного из первых рассказов, где Холмс назвал так работавших на него беспризорных мальчишек.

Эта организация каждый год проводит банкет в первую пятницу января — около шестого числа, которое считается днем рождения Холмса. Там мы после разговоров и коктейлей устраиваем пир. А после него — различные традиционные ритуалы и «доклады».

Суть нашей игры — притвориться, что рассказы о Шерлоке Холмсе — правда, их действительно написал доктор Джон Ватсон, а Артур Конан Дойл — литературный агент.

На самом деле Конан Дойл был небрежным писателем-халтурщиком, который возненавидел Шерлока Холмса за то, что великий сыщик затмил другие его произведения и даже самого автора. Наверное, Конан Дойл писал как можно быстрее, чтобы избавиться от него. В конце концов он попытался даже прикончить Шерлока,

но читатели вынудили его возродить полюбившегося персонажа. Дальше Конан Дойл писал рассказы с еще большим негодованием.

В результате они напичканы противоречиями, что Конан Дойла совершенно не волновало. Но в «Добровольцах Бейкер-Стрит» считают, что рассказы непогрешимы, а цель «докладов» — объяснять эти противоречия, предлагая глубокие и маловероятные теории для каких-либо ляпов в рассказах.

В 1973-м мне предложил присоединиться к «Добровольцам Бейкер-Стрит» Эдгар Лоуренс, пожилой участник «Пауков-затворников» (ныне покойный). Согласно одному из требований для вступления кандидат должен подготовить и прочитать доклад о рассказах. Я этого не сделал. Да и не мог, потому что плохо знал рассказы о Холмсе и не собирался их изучать. В моем случае требованием, очевидно, пренебрегли.

К счастью, через несколько лет меня попросили поучаствовать в книге статей о Холмсе. Когда я сказал, что мало о нем знаю, Бенеш Гоффман (физик, коллега Эйнштейна с очаровательно жутким лицом и не менее очаровательно светлой душой, ныне покойный) предложил проанализировать книгу «Динамика астероида».

Книга упоминается в одном рассказе — ее якобы написал великий математик и криминальный гений Джеймс Мориарти. О содержании книги ничего не сказано по той уважительной причине, что Конан Дойл не разбирался в астрономии. Я придумал красиво аргументированную теорию насчет ее содержания — то, что укладывается в бесконечно злодейский характер Мориарти, — и написал статью в сборник. Позже я ее расширил и превратил в рассказ «черных вдовцов» под названием «Абсолютное преступление» («The Ultimate Crime»). Он не публиковался в журналах, но вышел как оригинальный в сборнике «Новые рассказы „черных вдовцов“».

Вот после этого я наконец-таки почувствовал себя настоящим «добровольцем».

И все же должен признаться (в этой автобиографии я говорю только правду и ничего кроме правды), что я не большой любитель Холмса. Пару лет назад я писал (по просьбе) критику рассказа «Пять зернышек апельсина» и отметил зияющие дыры в логике, наводящие на мысль, что Конан Дойл писал его не приходя в сознание.

Один из ритуалов банкета — поднимать шесть «каноничных тостов» в честь персонажей. Однажды меня попросили поднять тост в честь самого

Холмса, и я сделал это так красиво, что потом меня каждый год звали произнести финальную речь. Еще я начал писать сентиментальные стихи о Холмсе и исполнять на известные мелодии. Впервые я пел на мелодию «Believe Me, If All Those Endearing Young Charms» 8 января 1982 года.

Но не все так радужно у «Добровольцев Бейкер-Стрит». Для начала, поскольку Шерлок — курильщик, «добровольцы» чувствуют себя обязанными курить. После банкета всегда нечем дышать, что меня ужасно раздражает. Много курили и у «Пауков-затворников», и в «Угощении по-голландски», но это сошло на нет — отчасти из-за моих нескончаемых жалоб, — но вот с «добровольцами» я так ничего и не добился.

Я саркастично заметил, что Холмс вдобавок еще и кокаинист. Нам, выходит, полагается приобщиться и к культуре наркоманов? Без толку. Тогда я потребовал — и получил — столик для некурящих, но что от него за польза, когда воздух наполнен дымом с остальных столов, стоящих в метре от меня? И я злился, но держался.

Одной из причин держаться был организатор мероприятий Джулиан Вульф, врач и «датч-тритер». Он рано ушел из медицины, чтобы целиком посвятить себя деятельности «добровольцев».

Это был низкий человек с детским личиком, лучащийся любовью и невинностью. Мы все его боготворили. Это он пригласил меня выступить на банкете и это он просил меня писать новые сентиментальные стишки, и я не мог заставить себя уйти из «Добровольцев Бейкер-Стрит», чтобы не обидеть его.

Но время не стоит на месте. В 1986-м Джулиан ушел со своего поста и в 1990-м умер в возрасте восьмидесяти четырех лет.

Новый глава клуба не звал меня выступать, и я перестал ходить на банкеты.

124. Общество Гилберта и Салливана

Я поклонник Гилберта и Салливана с четвертого класса, когда научился исполнять «When the Foeman Bares His Steel» из «Пиратов Пензанса». Я, конечно, не знал, что авторы — Гилберт и Салливан, но песню обожал. Тогда у меня было сопрано (и мне кажется, очень нежный голос), и я обожал визжать в партии сопрано: «Вперед, герои, к славе!»

Меня, кстати, до сих пор привлекают песни для сопрано, хотя мои дни сопрано прошли почти шестьдесят лет назад и теперь у меня баритон (хотя, если надо, могу спеть и тенором). Несколько лет назад я исполнял «Боже, храни королеву» с группой певцов и не мог не заметить, что остальные баритоны не берут те ноты, которые брал я. По завершении я обернулся к своей доброй подруге Джоселин Уилкс, обладательнице чудесного контральто и лучшей исполнительнице партии Катиши (из «Микадо») в истории, и сказал:

— По-моему, я пел за тенора.

— Вовсе нет, — ответила она величественно. —

Ты пел за сопрано.

Ну, других нот для этой песни я не знал.

В подростковом возрасте я услышал Гилберта и Салливана на радиостанции WNYC и еще до того, как впервые увидел постановки на сцене, выучил большую часть песен и без конца пел для собственного удовольствия. Еще я снова и снова перечитывал пьесы и обожал их всей душой.

На фантастических конвенциях я пел Гилберта и Салливана, а иногда и другие песни, на пару с Энн Маккефри — беловолосой фантасткой, внешностью подобной Юноне и писавшей фэнтези-бестселлеры. Она обладала великолепным голосом, и она всегда затыкала меня за пояс, особенно когда надо было держать ноту. Конечно, она не удосужилась мне признаться, что раньше ходила на уроки оперного пения.

Вскоре после возвращения в Нью-Йорк я исполнял на конвенции песни Гилберта и Салливана, и меня спросили, не состою ли я, часом, в обществе любителей их творчества. Я сказал, что впервые о нем слышу. Тогда мне объяснили, куда и когда идти, и я тут же в него вступил.

Общество Гилберта и Салливана всегда неимоверно меня радовало. Сперва мы хором поем какие-либо партии из постановок, а потом какая-

нибудь любительская труппа играет спектакль, причем бесплатно — в качестве репетиции перед публикой единомышленников, которая присоединяется в припевах.

В редких случаях я сам исполнял Гилберта и Салливана перед обществом (а раз-другой — перед большой аудиторией) и заметил странную вещь. Я могу выйти перед тысячами незнакомцев без единой записки в руках и сымпровизировать часовую речь, за которую запрошу тысячи долларов, и делаю так без труда — без намека хоть на одну бабочку в животе. Но вытащите меня перед полусотней друзей, которые ничего мне не платят (а значит, не рискуют своими деньгами) и готовы благосклонно улыбаться любой ошибке, и попросите просто исполнить песню, которую я знаю наизусть, — и я чуть не умру от стресса.

Почему? Предполагаю, песня должна быть идеальна до буковки и до нотки, а импровизированная речь может зайти куда угодно. Даже если я во время выступления оплошаю, есть сотни способов это скрыть так, что никто и не заметит, а с песней Гилберта и Салливана провернуть что-то подобное не получится.

Короче говоря, песня не моя, а речь — моя, и в этом вся разница. Поэтому логично, что с юмо-

ристической песней собственного сочинения я не нервничаю.

Еще я не нервничаю, когда читаю «Баллады Бэба» Гилберта. Их я, конечно, не заучиваю — читаю по книге. Секрет в том, чтобы переигрывать. Это, на мой взгляд, лучшее в пьесах. В прозаических прослойках между песнями надо обязательно переигрывать — по крайней мере на мой взгляд.

Джанет заразилась от меня любовью к Гилберту и Салливану. Вместе мы видели все их пьесы до единой, даже «Великого герцога» — последнюю и худшую. Партитура первой, «Фесписа», утеряна, но мы насладились даже ей 10 июля 1987 года — труппа позаимствовала музыку из других пьес и переложила на нее песни из «Фесписа».

19 ноября 1989 года мы ходили на американизированную версию «Корабля Ее Величества „Пинафор“» (переименованную по этому случаю в «Корабль флота США „Пинафор“»). Все песни исполнялись с минимальной правкой, кроме песни сэра Джозефа Портера *When I was a lad I served a term*. Труппа обратилась ко мне, чтобы написать совершенно новые слова, и я согласился.

Мне казалось, переработанная версия получилась очень смешной, и, судя по реакции публики, люди со мной согласны. В конце представления

на мое кресло упал луч прожектора, я встал и поклонился. Отрадный момент.

А потом, конечно, я имел удовольствие написать книгу «Примечания Азимова к Гилберту и Салливану», о чем рассказывал ранее.

125. Другие клубы

«Пауки-каменщики», «Угощение по-голландски», Общество Гилберта и Салливана и даже «Добровольцы Бейкер-стрит» — везде мне нравилось и везде было приятно состоять, но я хорошо понимал, что членство требует посещать множество обедов и ужинов и удерживает от пишущей машинки. Следовательно, я бы вряд ли превратился в коллекционера и стал искать другие организации. К сожалению, одно из наказаний за славу — организации сами ищут тебя.

Я это обнаружил, когда получил приглашение вступить в Клуб Первооткрывателей. Я улыбнулся этой мысли и тут же черкнул отписку о том, что они ошиблись адресом. Мало того, что я ни разу не исследовал Гималаи, — меня еще попробуй уговори доехать хотя бы до Хобокена, писал им я.

Это их нисколько не смутило. Они ответили, что я прославленный первооткрыватель галактики и мест за ее пределами, а значит, подхожу по всем параметрам.

Я падок на лесть, поэтому вступил. Но, скорее, номинально. В роскошном доме Клуба перво-

открывателей проходит множество лекций об открытиях, но ходил я совсем редко. Просто не мог выделить время.

Я, конечно, пришел на особое собрание для новичков 4 июня 1978 года и познакомился с Чарльзом Брашем, страстным скалолазом, как раз вступившим в должность президента клуба. Он отвел меня в сторонку и спросил, не стану ли я ведущим следующего ежегодного банкета клуба. Я согласился и два года пробыл там ведущим.

На банкете обычно подаются необычные закуски (вроде гремучих змей), но я любитель экзотических угощений (как и обычных). Впрочем, когда «горные устрицы» оказались бычьими яйцами или чем-то в этом роде, я решил, что даже у меня есть пределы.

Есть и другие организации, так или иначе расставившие на меня капканы. Многие участники «Угощения по-голландски» также состоят в Клубе Игроков, и некоторые приглашали меня туда вступить. Я не горел желанием. Он находится слишком далеко на юге города, и я не думал, что буду часто посещать мероприятия, а взносы были очень дорогие. И все же мне не хватило духу обидеть друзей и отказаться от вступления в клуб.

Можете представить мое облегчение, когда

меня не приняли в Клуб Игроков. Оказывается, один голос принадлежал курильщику, который знал о моем радикальном настрое против табака, и он меня не допустил.

А еще один друг решил завлечь меня в очень престижный Клуб Века. Я туда не стремился, потому что, если честно, не подхожу по типу. (Я простой парнишка из трущоб, к богатству и славе отношусь с глубочайшим подозрением.) Но он настаивал, и тогда я сделал ставку на отказ. И просчитался. Теперь я член этого клуба, хотя почти ни разу не пользовался своими клубными привилегиями.

126. American Way

А теперь — снова к моему творчеству.

Мне нравится писать статьи и особенно нравятся колонки, потому что тогда я знаю, что могу писать регулярно. Моя самая успешная колонка, разумеется, — в F&SF, она существует вот уже тридцать два года.

И она не единственная. Я вел колонку в Science Digest до смены редакторов. Вел художественную колонку в Gallery до смены издателей. Вел короткую научную колонку в Sciquest, маленьком журнале о химии для учеников старшей школы, пока тот не прекратил существование в 1982-м, и так далее.

Одна колонка, которая мне очень нравилась и была довольно успешна, выпускалась, представьте себе, для авиакомпаний.

У большинства авиакомпаний есть свои журналы, которые бесплатно раздаются пассажирам — видимо, чтобы было чем заняться в полете. У American Airlines есть особенно глянцевый журнал под названием American Way. В 1974-м его редактор Джон Минахан решил начать научную

колонку и попросил Ларри Эшмида порекомендовать автора. Попросите Ларри порекомендовать человека для чего угодно — и услышите только один ответ: «Вам нужен Айзек Азимов».

Вообще-то у меня в этом журнале уже выходила пара статей, так что редактор меня знал и тут же ко мне обратился. Речь шла всего о 750 словах каждый месяц, и я ухватился за возможность писать о науке для самой широкой аудитории. Конечно, из-за своего этического принципа я предупредил, что сам никогда не летаю, но Джон сказал, что это нестрашно при условии, если я не упомяну об этом в колонке. Еще он добавил, что нельзя писать на две темы — политика и смерть.

Статьи для American Way писались легко и очень приятно, а когда журнал начал выходить два раза в месяц, я присылал статью в каждый номер — причем одну из них попросили делать подлиннее. Мне сказали, что статьи очень популярны, а реклама на странице напротив неизменно идет по премиальной цене (так уж мне говорили). По полученным письмам могу точно сказать, что колонку читали многие из тех, кто обычно меня не читает.

За почти четырнадцать лет я написал для American Way чуть больше двухсот статей, пере-

жив множество смен редакторов, но вот в октябре 1987-го случилась решающая. Новый редактор решил переосмыслить весь журнал, и меня из него турнули.

Это было бы ужасно, но по удачнейшему совпадению 21 мая 1986 года обо мне прознали люди из Los Angeles Times Syndicate и, чувствуя потребность в научной колонке, пригласили меня к сотрудничеству. Я начал писать для Syndicate в духе статей American Way, но каждую неделю, что сделало меня безмерно счастливым.

В одном отношении статьи для Syndicate отличаются. Поскольку я пишу для газеты, то стараюсь выбирать актуальные темы. А еще я сохраняю вырезки из газет и журналов о тех недавних научных открытиях, которые считаю яркими и интересными. Сперва я нервничал, что не смогу найти подходящую тему на каждую неделю, но оказалось ровно наоборот. Мне приходится выбирать.

Впрочем, от медицинской сферы я держусь подальше. Об этой ветви науки в газетах и так пишут достаточно, ни к чему вливаться в какофонический хор. Мне интереснее писать о сверхновых, электронах, сахарозаменителях и вымирающих видах.

Я не допускаю, чтобы все эти статьи умирали после мимолетной публикации в журнале или газете. Мои статьи из American Way выходили в двух сборниках от Houghton Miflfin: «Перемена» («Change», 1981) и «Опасности разума» («The Dangers of Intelligence», 1986). Колонка для «Синдиката» выходила в «Границах» («Frontiers») от Dutton в 1990-м, а в 1993-м издадут «Границы 2».

127. Институт Ренсселера

Если бы выбор был за мной, я бы никогда не уходил в отпуск, но выбора у меня нет. Есть жены, и им отпуск нужен. Когда я был женат на Гертруде, мы на неделю, иногда на две ездили на какой-нибудь летний курорт. Обычно для меня удовольствие от таких вещей не гарантировано. Если там попадались один или несколько человек с таким же неистовым характером, как бывает у меня, и при этом нравились Гертруде, то все шло хорошо, даже уморительно. В остальном — довольно уныло.

С Джанет почему-то всё иначе. Я обнаружил (сперва — к своему изумлению), что, когда она со мной, неважно, есть ли с нами кто-то еще. Можно совсем ни с кем не общаться и просто гулять только вдвоем — и нам уже хорошо.

Джанет легко угодить: ее радуют такие мелочи, ей так нравится просто быть со мной, даже когда все идет наперекосяк, что я совершенно избавился от былой нервозности, выработанной после жизни с человеком, который всегда готов обидеться и все испортить. Теперь отпуска стали

доставлять удовольствие, хоть я все еще сокращал их количество и продолжительность, ведь даже в наилучших обстоятельствах зов моей пишущей машинки превыше всего.

Удовольствие от отпусков я открыл в начале лета 1972-го — тревожное время, когда мы ждали результатов биопсии Джанет, чтобы понять, придется удалять грудь или нет. Меня пригласили на конференцию о будущем средств связи в Институт человека и науки. (С тех пор институт, кстати говоря, переименован в институт Ренсселера, и теперь я его называю только так.)

Денег не предлагали, и в обычном порядке я бы отказался без задней мысли. Но тут задумался. Институт находится в Ренсселервилле, деревушке на севере штата Нью-Йорк неподалеку от Скенектеди. Мне говорили, что там очень сельские места, и, хотя сам я — обитатель городских каньонов, Джанет любила выбираться за город. Ее ожидало испытание — а то и, возможно, потеря груди, — и мне отчаянно хотелось устроить для нее приятные деньки на случай худшего. Поэтому я согласился поехать.

Мы провели там уикенд Дня независимости — и я правильно сделал, что согласился, потому что через три недели у Джанет все-таки удалили

грудь, и я бы ни за что себе не простил, если бы лишил ее этих выходных.

Места там действительно сельские и красивые, Джанет осталась довольна. Деревушка расположена на волнистых зеленых холмах среди лесов, рядом с озером, ручей из которого ведет к живописным водопадам.

Но здания, где проходила конференция, были современными и оборудованными всяческими приятными удобствами, включая даже кондиционер. В округе находился хороший ресторан, а еще там можно было посмотреть на бурундуков, кроликов и других зверюшек, и это тоже очаровало Джанет. Я тысячу раз похвалил себя за то, что решил приехать.

Приличий ради мы с Джанет попросили раздельные (но соседние) номера, поскольку еще не были женаты. Однако это оказалось очень неудобным. Расставание по ночам причиняло боль, и больше мы так не делали. После того случая послали все приличия к черту. Какая разница? Через полтора года мы все равно женились.

Конечно, надо было посещать и деловую часть конференции, и одна речь нам особенно понравилась — демонстрация телевизионной кассеты, для чего понадобились два громоздких аппарата.

(Это все в 1972-м, не забывайте.) Такие кассеты, сказал спикер, — веяние будущего, они заменят книги, и люди вроде Айзека Азимова (и он улыбнулся мне в первом ряду) умрут от голода. Публика, услышав о моей потенциальной погибели, покатывалась со смеху.

Получилось так, что на следующий вечер планировалось большое выступление, но спикер задержался в Великобритании и не успевал к сроку. Меня попросили закрыть амбразуру. Я возражал и говорил, что ничего не подготовил, но мне сказали: «Брось, Айзек, все знают, что тебе подготовка не нужна».

Я так падок на лесть, что согласился.

В своем выступлении я подхватил тему кассет и отметил, насколько оборудование громоздкое и неудобное, но уточнил (и был прав), что его быстро упростят. Затем размышлял вслух, как его можно упростить: сделать маленьким и портативным, самодостаточным, без источника энергии, с системой управления, чтобы можно было включать, останавливать, перематывать назад и вперед только силой мысли, и так далее. И, сказал я, задумайтесь сами: это же и есть книга.

Еще я отметил: телевидение дает так много

информации, что зритель становится пассивным приемником, а книга дает так мало, что читателю приходится стать активным участником — это его воображение обеспечивает картинку, звук и спецэффекты. И это участие, сказал я, приносит столько удовольствия, что телевидению никогда не стать достойной заменой.

Выступление имело такой большой успех, что меня попросили вернуться в 1973-м и провести собственный семинар. Мне хотелось, чтобы Джанет еще раз насладилась красотами, поэтому согласился. Все прошло так же хорошо. 19 августа 1973-го мы снова приехали в институт Ренсселера. У нее появилась возможность восстановиться после мастэктомии и субарахноидального кровоизлияния, а у меня — после смерти матери.

На самом деле с тех пор мы приезжали каждый год. Возвращается и костяк «завсегдатаев», но бывают каждый год и новички, хотя Институт не может принять больше шестидесяти человек.

Собравшиеся всегда обсуждают какую-либо научно-фантастическую проблему — грядущую катастрофу, создание колоний в космосе и так далее. Участники разбиваются на несколько групп, каждой дается свое задание, которое они выполняют с полной серьезностью, обсуждая

процедуры, решения, выводы в яростных дебатах — и все это с полным безразличием к прекрасной летней погоде за окном.

Однажды я произнес небольшую речь, что мы могли бы загорать на улице, играть в теннис или плавать в озере. А мы вместо этого, сказал я, сидим взаперти, спорим и размышляем. Потом выждал пару минут и добавил: «Как же нам повезло!» — и раздались аплодисменты.

Мы, конечно же, завели в Ренсселервилле хороших друзей. И первые из них — Исидор Адлер, химик из университета Мэриленда, и его жена Энни. Иззи тоже из того типа людей, у кого лицо не самое красивое, но почему-то настолько привлекательное, что девушки вокруг него так и вьются. Мы с ним вечно перебрасывались шутками. Он был спортсменом и мог превзойти в теннисе и гандболе парней, годившихся ему во внуки. Еще он вставал на заре и пробегал несколько миль по дороге и через городок. Одна чрезвычайно красивая девушка, Винни, хотела сбросить вес и иногда бегала с ним. А он, конечно, ее обгонял, поэтому горожане, если бы выглянули из окон, могли наблюдать необычайное зрелище: роскошная девица сломя голову гонится за старичком простой внешности, который всеми

силами старается от нее сбежать.

Винни, кстати говоря, исполняла танец живота, да так, что глаз не оторвать. Когда приезжала она, мы всегда отводили один вечер на танец живота. И, разумеется, каждый вечер блистал я, рассказывая самые замысловатые анекдоты. Некоторые я (по просьбам общественности) повторяю каждый год, потому что никто не умеет рассказать их, как я.

Затем Мэри Сэйер с ее бесконечно притягательным простодушием (не говоря уже о фигуре). Флиртовать с ней было отдельным удовольствием, потому что она всегда очаровательно смущалась. Она тоже любила фантастику, и в 1983-м я встретился с ней на Всемирной конвенции в Балтиморе. Джанет отправилась по делам, но все никак не возвращалась, и я не мог найти себе места. Мэри мягко сказала, что без толку бродить по округе и разыскивать ее в огромной толпе. Она посоветовала вернуться в номер и дождаться там, потому что Джанет обязательно вернется. И проводила меня в номер, где я сидел поникший, не обращая на Мэри ни малейшего внимания, пока не услышал шорох ключа в замке. Тут я немедленно приступил к действию.

— Быстрей, Мэри, — сказал я и сволок ее на пол,

обнял и поцеловал в губы, как раз когда вошла Джанет.

— Привет, Мэри, — сказала Джанет. Она даже бровью не повела при виде поцелуя, так как догадалась, что это просто представление для нее. К тому же из-за кристальной добродетели Мэри иначе было и невозможно.

В последние годы институт и игру регулярно посещают Марк Шартран (астроном) и Митчелл Уолдроп (фантаст).

В первый вечер я всегда читал часовую вступительную лекцию, открытую и для посещения местных жителей. В Ренсселервилле мне повезло познакомиться с неподражаемым ведущим Энди Руни — он приезжал туда в свой летний домик.

В институте я почти всегда успевал написать от руки рассказ, обычно — детектив из серии «черных вдовцов». Писал я и на круизах. На одном круизе написал три рассказа, а потом продал их все.

Если люди видят, как я пишу от руки, вечно рассказывают мне о портативных компьютерах, но я никого не слушаю. Мне нравится время от времени писать от руки. И почему это так трудно понять? Вообще-то большая часть книги, которую вы сейчас читаете, тоже сперва написана от

руки — причины я поясню ниже.

Но время не стоит на месте. В 1987-м у Иззи Адлера обнаружили рак простаты. Он продолжал приезжать, хотя и мучился от более или менее постоянной боли, и в 1989-м присутствовал уже на инвалидной коляске. 26 марта 1990-го он скончался в семьдесят три года.

Новости о его смерти всех нас очень опечалили, хотя и не стали неожиданностью. Из-за этого вкупе с собственными накопившимися медицинскими проблемами, о которых я еще поведаю позже, в 1990-м я решил приехать в последний раз. Группа может так же хорошо проводить заседания без меня, а то и лучше.

128. Mohonk Mountain House

Родители Джанет часто отдыхали в Mohonk Mountain House — огромном курорте, раскинувшемся на множестве акров. Самым старым частям курорта больше века, от него так и веет викторианской атмосферой. Он находится в городе Нью-Пальц, штат Нью-Йорк, на другой стороне реки Гудзон от Покипси.

Родители Джанет ездили туда в основном из-за пристрастия ее отца к гольфу, в Mohonk для этого есть все удобства. Джанет с ними никогда не ездила (слишком много дел в колледже, к тому же, как и большинство молодых людей, она была невысокого мнения о совместном отпуске с родителями). Но они расхвалили ей красоты и приятную атмосферу Mohonk.

В 1975-м, когда мы мчали по автостраде штата Нью-Йорк с выступления на севере, Джанет сказала при виде таблички, обозначающей поворот на Нью-Пальц:

— В Нью-Пальце есть местечко под названием Mohonk Mountain House. Здорово было бы его посмотреть.

Обычно для меня поездка — когда без нее не обойтись — это просто способ как можно быстрее добраться из пункта А в пункт Б. Я против того, чтобы останавливаться или сворачивать ради видов, если только меня не уговорит Джанет. В этот раз она не уговаривала, но, видимо, я пребывал в особенно благодушном настроении, потому что ответил:

— Что ж, свернем и посмотрим.

Мы проехали пятнадцать километров по петляющей горной дороге и наконец добрались до громадного здания, где вместе безумно слепились самые разные архитектурные стили, — живописней не придумаешь. Его окружали сады, холмы, леса и небольшое озерцо. Там мы замечательно пообедали, после чего прогулялись по величественным садам. Джанет пришла в восторг, а я готов полюбить все, что приводит Джанет в восторг, — да и, сказать по правде, сам был немало впечатлен, — и вот так это место стало нашим любимым курортом.

Два-три раза в год мы отдыхаем там от одного до четырех дней. Гуляем, взявшись за руки, по коридорам, вокруг озера и по садам. Посещали пять ежегодных «детективных уикендов» зимой, а потом я сам провел два «уикенда фантастики».

Иногда мы приезжали туда на музыкальную неделю, а однажды наблюдали метеоритный дождь. Иногда мы едем без всякого повода, просто чтобы там пожить. Время от времени я выступаю по просьбе администрации, но, конечно, денег за это не беру — нам только оплачивают проживание.

Животные в Mohomk, особенно олени, не боятся людей, ведь к ним никогда не проявляли агрессии. Однажды вечером, во время рекомендованной мне неторопливой прогулки, мы увидели, как в сумерках не больше чем в пятидесяти метрах от нас пасутся полдесятка белохвостых оленей. Мы наблюдали, как завороженные, а они не обращали на нас никакого внимания. Наконец Джанет произнесла:

— Ну разве не красавцы?

— Да, выглядят аппетитно, — ответил я. Она фыркнула, но я-то вижу, что она с удовольствием ест оленину, если видит ее в меню.

Однажды нам повезло набрести на особенно тихий и как будто бы нетронутый уголок, где мы в полном умиротворении простояли полчаса. Вернувшись домой, я написал рассказ из серии «черных вдовцов» «Тихое место» («The Quiet Place»), вышедший в мартовском EQMM

1987 года.

В 1987 году меня попросили в The Washington Post написать о каком-нибудь месте, где мне очень понравилось в путешествиях. Я ответил, что не путешествую, если не считать Mohonk Mountain House в ста пятидесяти километрах от Нью-Йорка. Мне ответили, что это подойдет, и тут я уперся в тупик — надо было описать это место, а я не самый наблюдательный человек.

Тогда я предложил написать Джанет, и она после долгих колебаний согласилась. Я прошелся по ее статье, внес пару правок и отправил. (Как и во всех наших соавторских проектах, Джанет проделывает девяносто процентов работы.) Статья понравилась редакции, и я попросил, чтобы авторами указали «Джанет и Айзека Азимов». Они согласились, статья вышла в рождественском номере под названием «Наше Шангри-Ла» («Our Shangri-La»).

Видимо, она была достаточно удачна, чтобы затем меня попросили написать о Американском музее естественной истории. Джанет его обожает, так что я передал ей и этот заказ. Статья вышла в Post в 1988-м — «Рецепт на тираннозавра» («The Tyrannosaurus Prescription») от Джанет и Айзека Азимов.

Обе статьи включены в сборник от Prometheus Press 1989 года, и текст Джанет так впечатлил издателей, что они всю книгу назвали «Рецепт на тираннозавра».

Джанет — автор совершенно очаровательных нехудожественных текстов. Из небольшого числа своих статей она продала все до единой (одну — дважды, когда первый журнал закрылся до публикации и пришлось искать другой), и я всегда прошу ее писать еще.

129. Путешествия

Несмотря на все мои слова о нелюбви к путешествиям, я побывал и в Эвансвилле, штат Индиана, и в Роли, штат Северная Каролина, потому что иногда приходится посещать мероприятия и выступать в далеких и экзотических краях. Я посетил Мамонтовую пещеру в Кентукки и видел индейские курганы в Огайо.

Чтобы преодолеть такие необычные (для меня) расстояния, нужны необычные поводы. В Индиану я ездил, потому что Лоуэлл Томас попросил сделать одолжение. В Северной Каролине побывал по приглашению губернатора штата. Со временем даже такие поводы больше не сдвинут меня с места, но в пятьдесят лет я все еще путешествовал.

Величайшим поводом было пожелание Джанет. Она никогда не давила и не выдвигала требования, но я, например, знал, что ей всегда хотелось посмотреть Эверглейдс во Флориде. Кто-то, могу себе представить, мечтает прошвырнуться по магазинам в Париже или сыграть в казино Лас-Вегаса, но вот Джанет мечтала увидеть флору и

фауну Эверглейдс, а я отчаянно хотел ей угодить.

Возможность появилась в 1977-м, когда меня пригласили прочитать лекцию большой группе работников IBM в Майами. Плату предложили выше, чем я в то время получал, но одно это на меня бы не повлияло. Однако я попросил вдобавок организовать тур по Эверглейдс, и они согласились.

Вот так 26 марта 1977 года я очень нервно отправился в самую долгую — на тот момент — поездку в своей жизни. Мы сели на поезд в Майами.

Я не против поездов, хотя и нервничаю, когда они мчатся в ночи. Хоть убей, не получается себя убедить, что машинист видит, куда едет, — ведь когда в окно выглядываю я, там сплошь темень. (Да знаю я! У него есть фары, вдоль путей стоят семафоры, но знаю я это разумом, а не сердцем.) Особенно пугают ухабистые пути, когда поезд трясется и лязгает. Так и жду аварии с бог знает какими страшными последствиями.

Это не совсем трусость, хоть я вроде бы и подчеркивал, что далеко не смельчак. Но мои страхи отражают и необузданное воображение. Я много лет тренировал воображение для творчества, так что не могу отключать его по желанию. Страшные последствия вечно лезут мне в глаза

в осязаемом и трехмерном обличье — и тут я ничего не могу поделать.

Мы постарались устроиться поудобнее. Взяли не одно купе, а два смежных и попросили открыть дверь между ними. Так у нас было два туалета — и эту роскошь мы оценили по достоинству, потому что, когда туалет только один, без конфликтов не обойтись. Я всегда встаю рано и уже привык удаляться в туалет с книгой или газетой, не торопясь оттуда выходить. В нашей квартире раздельные санузлы, и я вдоволь наслаждаюсь своим ничем не ограниченным временем.

Спальный вагон шел последним в поезде, а вагон-ресторан — одним из первых, поэтому нам приходилось пройти несколько вагонов, что пробудило мою либеральность. Там на скамьях кое-как ютился пролетариат, стараясь выспаться (особенно рано утром, когда мы шли на завтрак), а мы поселились в двойном купе с отдельными кроватями и туалетами, жили в роскоши. Я не только терзался совестью из-за того, что разбогател и предал свой класс, но и слегка переживал, что с минуты на минуту попранные пассажиры восстанут с кличем «Les aristocrates à

la lanterne»[97] и повесят нас — несмотря на то что в глубине души я один из них.

Но прибыли мы невредимыми — без аварий и повешений, — и я успешно выступил. Меня немало позабавила дисциплина IBM. Мероприятие проходило очень рано утром, но опоздавших не было. (Уверен, если бы кто-то опоздал, его бы расстреляли на месте.) Все чинно сидели на своих местах, все мужчины — в униформе: темные костюмы, застегнутые белые рубашки, узкие галстуки, общая аура выбритого благонравия.

Я же пришел в красном пиджаке и, кажется, всех ослепил, но они это стерпели. (А вот моего коллегу-спикера без галстука послали за ним обратно в номер.)

Впрочем, мой костюм произвел впечатление. Вернувшись в Нью-Йорк, я отчитался перед Гарри Уокером, моим агентом по выступлениям, который организовал поездку. Пока я разговаривал с ним, ему позвонили из IBM с благодарностью за мою лекцию.

Гарри Уокер обрадовался, услышав это, и добавил: «Вообще-то он сейчас рядом со мной». Тут

---

[97] Примечания: 97

«Les aristocrates à la lantern» — «Аристократов на фонарь» (фр.), строчка из песни «Ah! ça ira» времен Великой французской революции. — Прим. пер.

на его лице воцарилось удивление, и он сказал: «Нет, не в красном пиджаке».

Мы все-таки съездили в экспедицию по Эверглейдс — и это был полный успех, хоть прошлая зима и выдалась суровой, с рекордно низкой (для Эверглейдс) температурой — 7 градусов. Погибло немало растительности, непривычной к морозу. Всюду попадались печальные бурые полянки вымерших трав, и Джанет над ними очень горевала.

Но все равно там было на что посмотреть — особенно на аллигаторов, вовсе не таких уж жутких. Нам сказали, что кормить их запрещено, но у одного не было лапы (видимо, отгрызли во время схватки), и Джанет уговорила экскурсовода покормить хотя бы его. Мы и сами чудно пообедали — погода стояла идеальная, — и я любовался водами, как я понимаю, Мексиканского залива, которые даже и не мечтал увидеть.

Но содрогаюсь от мысли поселиться во Флориде, в краях, где 15 сантиметров — уже возвышенность. Я уже говорил, что мне нравятся зеленые холмы. К тому же во Флориде не бывает настоящей зимы, а зима, хоть у нее есть и свои недостатки, обладает особой удивительной красотой. По-моему, в климате вечного лета — как во

Флориде, Южной Калифорнии и на Гавайях, — я бы сошел бы с ума от ностальгии по снегу.

Мой добрый друг Мартин Г. Гринберг, подробнее о котором я поведаю далее, родился и вырос во Флориде, но учился в Коннектикуте и там впервые в своей жизни увидел снегопад. Он рассказывал, какая это невообразимая радость — видеть, как с неба падает замерзшая вода, и лепить снежки. Впрочем, он уже много лет живет в Грин-Бэй, штат Висконсин, и, подозреваю, нынче смотрит на снегопады уже без прежнего восторга.

В следующем году, 1978-м, меня ожидало еще более серьезное испытание. Меня попросили приехать в Пеббл-Бич и в Сан-Хосе в Калифорнии, чтобы выступить за сумму, которая по тем временам казалась мне баснословной.

Никогда! Никогда! Никогда!.. Но еще я знал, что Джанет давно мечтает о зоопарке в Сан-Диего, и понимал, что его никак нельзя увидеть, не поехав в Калифорнию. Поездка во Флориду придала мне сил — и в декабре 1978-го мы отправились в путь.

Джанет требовала выехать на день раньше, против чего я категорически возражал, но она-таки настояла на своем, как оказалось, к лучшему.

Путь поездом до Калифорнии занял четыре дня и четыре ночи, а потом четыре дня и четыре ночи — обратно, причем оба раза казалось, что мы едем намного дольше. Во время остановки в Чикаго мы воспользовались случаем и поднялись на Сирс-тауэр[98] — самый высокий офисный небоскреб в мире.

Мне он понравился меньше, чем мог бы, даже если не считать акрофобию. Когда глядишь на плоские виды Среднего Запада, глазу не за что зацепиться. Холмы мне нужны, холмы.

Но что хуже, меня оскорбил сам факт существования этого здания. Из-за своего нью-йоркского патриотизма я резко осуждаю любой город, что смеет строить здания выше любых небоскребов Манхэттена.

Западнее Чикаго к поезду прицепили вагон со стеклянным куполом, чтобы было удобнее наблюдать за пейзажами. До Вайоминга все шло хорошо, но там уже безжалостно вступила в свои права зима. Мы ехали по одноколейке за товарняком, который неторопливо себе пыхтел,

---

[98] Примечания: 98

В 2009 году Сирс-тауэр переименован в Уиллис-тауэр в связи со сменой арендатора. Этот небоскреб удерживал звание самого высокого в мире на протяжении 25 лет, но в настоящее время занимает второе место в США и двадцать пятое в мире. — Прим. ред.

и, видимо, этого неповоротливого монстра невозможно было перевести на другие пути, потому что в наше время груз считается важнее людей.

Глухой ночью с локомотивом товарняка что-то произошло. Он встал. Встали и мы, ожидая новый локомотив, чтобы товарняк — и мы — поехали дальше. Джанет из-за нервов всю ночь глаз не сомкнула, зато я безмятежно спал. Проснувшись, я громко возмущался из-за товарняка, железной дороги и всей философии путешествий. Мои слова только подчеркивались тем, что запасы топлива подходили к концу, из-за чего поезд терял мощность, а в вагонах становилось по-зимнему холодно. Наконец, на последнем издыхании нашего поезда товарняк прицепили к новому локомотиву, и мы продолжили путь. Добравшись до Окленда, мы сели на автобус до Сан-Франциско и опоздали всего на двенадцать часов, поэтому хорошо, что Джанет настояла на своем и мы выехали на день раньше.

Один из результатов опоздания — мы проезжали через Юту днем, а не ночью, как планировалось. Джанет не интересуется своим мормонским наследием, но ее родители родились в Юте и прожили там до двадцати лет; там у нее много родственников; там ее семейная ферма; раньше

она навещала там родных. Поэтому была очень рада увидеть штат при свете дня, и тогда я решил, что задержка того стоила.

Поездка в Калифорнию удалась. Оба выступления прошли хорошо, хотя мои взгляды, похоже, не совпадали с теми, что господствуют среди жителей Пеббл-Бич. (Помню, как яростно защищал Нью-Йорк под напором не-нью-йоркцев, считавших мой город подвалом Аида.) На выступлении в Сан-Хосе я в последний раз встретился с Рэндалом Гарреттом и получил от него «Песню о клоне».

Джанет встретилась на достаточное время с братом и невесткой, а потом я взял напрокат машину (в первый и пока что последний раз в жизни), чтобы отправиться в леса красных сосен и посмотреть на большие деревья. Я любовался этими великанами и кипел от гнева, вспоминая одну из великого множества бестолковых фразочек Рональда Рейгана — о том, что если ты видел одну красную сосну, то видел все, а значит, нет ничего страшного в том, чтобы начать вырубку этого величайшего гражданина царства растений. (Впрочем, скорее всего, Рейган только повторял то, что ему написали на карточках.)

Когда я закончил с выступлениями, мы с Джанет поехали на взятой на прокат машине вдоль

побережья — и я любовался Тихим океаном, тянущимся на многие мили. Хотя не могу сказать, что мне понравилась бурая природа. Джанет пояснила, что весной бывает период, когда округа становится ярко-зеленой, но мне подавай природу либо зеленой, либо заснеженной — только не бурой.

Наконец мы добрались до Сан-Диего, где договорились с администрацией зоопарка об экскурсии с гидом на следующий день, 17 декабря 1978-го. Глядя на небо, я спросил швейцара в отеле, не пойдет ли дождь. Он рассмеялся от всей души. «Дождь в Сан-Диего? Что ты удумал, чертов выходец с востока?» — так и слышал я его слова. Какой, мол, еще дождь.

Весь следующий день хлестал ливень.

Мы не могли пропустить зоопарк Сан-Диего из-за какого-то там дождя, поэтому все равно туда отправились, и все прошло очень хорошо. Явился один из администраторов в штормовке, словно капитан китобойного суда, и мы получили свою экскурсию. (Мы тоже оделись по погоде.)

Обычно зоопарк наводнен людьми, и нам было бы трудно передвигаться и как следует посмотреть на животных, но тут мы оказались в сравнительном уединении, и, раз дождь нас не

пугал, условия выдались идеальные.

На следующий день мы поехали в Лос-Анджелес, и Джанет попросила свернуть в «Диснейленд». Я согласился с большой неохотой, но, к собственному стыду и ужасу, получил огромное удовольствие.

У них был аттракцион «Это маленький мир», которым я наслаждался еще на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1965 году. А я этого не знал и, войдя в «Диснейленд», спросил у Джанет: «Ну и где тут "Это маленький мир"?» Я думал просто повредничать, чтобы, когда она скажет, что его уже не существует, язвительно раскритиковать «Диснейленд», Калифорнию и Вселенную.

Но она спокойно ответила: «Да вот же, в этом здании». Я, естественно, потребовал на него сходить. Все места занимали дети возрастом от семи до десяти лет, погруженные в гробовое молчание, плюс один ребенок пятидесяти восьми, который не мог сдержать радости и без конца тыкал пальцем в разные куклы по пути.

Дождь временно очистил воздух в Лос-Анжелесе, поэтому местным представился единственный шанс в году увидеть синие небеса и кучевые облака. Синоптик по телевизору возбужденно тыкал в облака пальцем и объяснял, что это такое, а люди

на улицах в изумлении таращились на далекие горы, вдруг возникшие в прояснившемся воздухе. (И они еще что-то говорят о Нью-Йорке!)

Ну а потом мы сдали назад машину, сели на поезд и вернулись домой 22 декабря. Всего мы уехали на три недели, а это обещало скопившуюся за три недели почту, телефонные звонки и приблизившиеся на три недели сроки. Когда в отпуск едут обычные люди, их работу подхватывает армия ассистентов, секретарей, помощников, родных и так далее. Когда в отпуск еду я, за меня работать некому. Без меня все простаивает, и работать приходится вдвое быстрее. Так что же хорошего в отпуске, позвольте спросить? (Между прочим, я исполнил не все мечты Джанет. Она мечтает о Ванкувере в Канаде и о Киото в Японии, и я ее туда не возил — да уже, видимо, и не свожу.)

По возвращении Джанет написала статью о трудностях поездки через весь континент вместе с человеком, который ненавидит путешествовать и отказывается летать. И умудрилась ее продать, к моему удивлению, в рубрику о путешествиях The New York Times. Статья вышла 25 февраля 1979 года в воскресном выпуске и вызвала множество сочувственных комментариев от читателей.

Меня как-то раз остановили на улице и спросили, не я ли Айзек Азимов, а когда я в этом признался, мне сказали: «Можете передать вашей жене, что мне понравилась ее статья?» Я позвонил ей с первого же попавшегося таксофона.

— Джанет, — сказал я. — С этой ерундой пора кончать.

130. Путешествия за границу

Никогда не думал, что покину пределы Соединенных Штатов после того, как оказался здесь в 1923-м. Даже на Гавайях я их не покидал, потому что Гавайи (хоть еще и не стали штатом) тогда считались американской территорией. Впервые же я выехал из Штатов, потому что Гертруда родилась в Торонто и время от времени мне приходилось исполнять ее желание снова увидеть город. Мы ездили два раза в Торонто и один раз — в Квебек.

Нам посоветовали прихватить документы о натурализации — и действительно, пришлось их показывать. Меня это коробит из принципа. Американцы по рождению, возвращаясь из Канады, просто говорили, что родились в США. Никто не просил показывать свидетельство о рождении, достаточно было их слова. Но, раз я натурализованный гражданин, моего уже слова недостаточно и пришлось предъявлять документы. Словно меня, американца не хуже других, считали гражданином второго сорта — и меня это уязвило.

Мы ездили на Ниагарский водопад, и, подъезжая к городу, я вслух беспокоился, что мы заблудимся и пропустим его. Но только я это сказал, как свернул за угол — и вдруг вот он. Эта первая и совершенно неожиданная встреча была великолепна. Мы жили на канадской стороне и с немым благоговением любовались водопадом Хорсшу, пока за его край соскальзывал последний лед зимы. На следующий день льда уже не осталось — лишь синий каскад воды, падающий навстречу грому.

Но отчетливее всего помню, как готовился ко сну в мотеле недалеко от водопада, где отлично слышался его шум, и как я внезапно осознал, что его не выключают на ночь. Рев не смолкал всю ночь, но стал «белым шумом» — через некоторое время я уже привык и спал как младенец.

Естественно, мы взяли с собой детей, и по дороге в Квебек Дэвид был особенно возбужден, потому что я рассказал, что жители Квебека говорят по-французски. Дэвид ни разу не слышал иностранного языка и не мог дождаться приезда. Только и говорил о том, что хочет послушать иностранный язык.

В номере отеля в Квебеке он, конечно же, первым делом включил телевизор и прислушался

к потоку французского. Это его как будто совершенно ошарашило.

— Это и есть французский, — объяснил я. — Его ты и хотел услышать, Дэвид.

— Но я ничего не понимаю, — ответил он.

Я забыл ему сказать, что иностранный язык понимают только те, кто его знает. Боюсь, испортил ему всю поездку.

В 1973-м Всемирная конвенция научной фантастики проводилась в Торонто и мою книгу «Сами боги» номинировали на «Хьюго», поэтому я поехал в Торонто вместе с Джанет, хотя нам оставалось еще три месяца до свадьбы. С тех пор мы с ней побывали в Канаде еще три раза. Посещали Квебек во время круиза на «Королеве Елизавете II», по суше ездили в Монреаль и Оттаву. Во всех трех случаях я выступал.

В целом я хорошо отношусь к Канаде. Города мне кажутся чистыми, а их жители — дружелюбными. В Монреале был очень хороший русский ресторан, и меня печалит, что я уже не угощусь там второй раз, поскольку уверен, чтобы больше не вернусь в Монреаль (есть минусы и у нелюбви к путешествиям).

Во время наших круизов у меня была возможность ступить на сушу вне Североамериканского

континента. В поездках на Карибы мы с Джанет посещали на несколько часов разные острова, в том числе Мартинику (где стоит памятник императрице Жозефине, местной уроженке), Тобаго, один из Виргинских островов и так далее. Там в основном жарко и влажно, не считая Барбадоса, где, оказывается, нет центрального горного пика, задерживающего дождь, и где мы действительно погуляли с удовольствием.

В одном круизе мы пришвартовались в венесуэльском порту, все сошли поглядеть чудеса природы, но мы с Джанет довольствовались тем, что какое-то время постояли на пирсе, чтобы я потом мог с полным правом сказать: я действительно ступал ногой на Южноамериканский континент.

Я обнаружил, что на круизах мне больше нравится в море. Иностранные порты меня всегда беспокоят. Прибытие в них означает, что придется сойти с корабля. Я обнаружил, что сойти с корабля на берег — уже «путешествие», и мне это не нравится. Стоит мне провести на корабле несколько часов, как он становится «домом» и его не хочется покидать. А если приходится, я всегда возвращаюсь на борт с тем же облегчением, с каким возвращаюсь в свою квартиру.

Могу только предположить, что у меня с понятием «дом» ассоциируется сильное чувство безопасности. Возможно, оно укрепилось в мои первые двадцать два года, когда я действительно практически никуда не выходил (разве что в школу) и когда родители тоже всегда были дома. Любое другое место казалось чужой территорией — и это может объяснять мою нелюбовь к путешествиям.

Были случаи, когда я вовсе отказывался сходить с корабля. На «Канберре» я все-таки побывал на самом большом из Канарских островов. Но перед этим предусмотрительно напросился сопровождать двух молодых девушек. Я верил, что, когда подойдет время, они найдут дорогу обратно, и если не выпускать их из виду, то я точно не потеряюсь и меня не бросят на острове. Я забрел с ними в какой-то магазин, где они попытались что-то купить, но зашли в тупик, потому что сами не понимали испанский, а продавец не знал английский. Я тоже не знал испанский, но сумел наладить диалог на языке жестов и в результате заслужил репутацию великого лингвиста.

Но я наотрез отказался посещать Лагос в Нигерии, когда там пристала «Канберра», и теперь не могу сказать, что когда-то стоял на африканской

земле.

Нежелание покидать борт достигло своего апогея, когда мы подошли к Доминиканской республике, тем более что «Королева Елизавета II» была слишком крупной для захода в местный порт и встала в море, а пассажиров доставил на сушу катер. Я даже согласился отпустить Джанет одну. И зря. Может, я и остался в безопасности на корабле, но лишился безопасности от компании с Джанет. Все время без нее я не находил себе места и уже за час до возвращения катера нервно дожидался ее на трапе.

На «астрономических» круизах мы тоже десяток раз бывали на Бермудах, где я читал лекцию по астрономии пассажирам и группе местных астрономов. Скоро прекрасные Бермуды стали мне до того знакомы, что я чувствовал себя там почти как дома и обнаружил, что могу без затруднений сходить с корабля.

Когда Виктор Серебряков уговорил меня вернуться в «Менсу», на уме у него было кое-что еще. Он приступил к продуманной кампании, чтобы завлечь меня в Великобританию для выступления перед членами «Менсы». Я, естественно, отказался, но он не сбавлял напор, и со временем я начал задумываться.

Мы с Джанет оба англофилы, оба в молодости зачитывались богатой британской литературой. Британские история и география нам едва ли не ближе американских. И я согласился поехать, если кто-нибудь из британской «Менсы» сможет возить нас по стране, показывать достопримечательности и договариваться о проживании и питании.

Они пошли мне навстречу, но добывать билеты на корабль и паспорта (мой первый в жизни паспорт) все равно предстояло нам, и в целом эта перспектива пугала меня все больше и больше. Джанет выслушала мои сетования и наконец заявила: «Слушай, Айзек, ты мне вечно говоришь, что если я очень не хочу чего-то делать, но уже согласилась, то обязана делать это без жалоб и с улыбкой. Что ж, раз ты сам так не можешь, отменим поездку».

Тут она ударила в самое сердце, потому что оказалась чертовски права. Я и в самом деле поучаю всех родных и близких, что если ты согласился что-то делать, то, уж будь добр, делай без жалоб и с улыбкой. Беда в том, что я из распространенной породы людей, кому очень легко разбрасываться премудрыми банальностями, но значительно сложнее следовать им самому. Выслушав это от

Джанет, признаюсь, меньше бояться я не стал, но уже старался этого не показывать.

30 мая 1974 года мы отбыли на «Франции». Это был последний рейс «Франции» — перед самой высадкой мы услышали объявление, что французскому правительству надоело терпеть убытки и оно продает корабль.

В Великобритании мы провели полторы недели, затем отправились обратно на «Королеве Елизавете II». Вся поездка заняла три недели, и, если не считать службу в армии, это мое самое длительное время вдали от дома, хотя четыре года спустя с ним могла потягаться поездка в Калифорнию, о которой я уже рассказывал.

Должен признаться, мы высоко оценили роскошь гигантских океанских лайнеров и, в частности, питание на борту. На «Королеве Елизаветы II» я при любой возможности лопал икру, а Джанет пристрастилась к шоколадному суфле. Мы оба не отказывали себе в говядине Веллингтон, и правильно делали — позже мы на своем опыте узнали, что с возрастом врачи запрещают любую вкусную пищу, и хорошо, что мы ею насладились, пока могли.

В Англии мы видели колокольчики в Нью-Форесте и величественную двойную радугу в

Форест-оф-Дине. Посещали Стоунхендж, Стратфорд-апон-Эйвон и все соборы по пути. Я ел любые традиционные английские блюда, какие только мог найти, от пастушьего пирога до сосисочных рулетов, от стейка до пирогов с почками или с патокой.

В Лондоне я побывал в лаборатории и лекционном зале Фарадея (в двух шагах от «Браунс Отеля», где мы остановились). Во время посещения Вестминстерского аббатства я расплакался на могиле Ньютона и видел рядом с ней могилы четырех других величайших ученых мира.

Совершенно случайно повезло увидеть королеву Елизавету в экипаже, со всадниками в красной форме впереди и позади, и я узнал о конной процессии такое, о чем я раньше и не подозревал. Вся улица за ними осталась покрыта свежим конским навозом.

В Лондоне и Бирмингеме я раздавал автографы и, конечно, выступал для «Менсы» — Артур Кларк представил меня публике с дружественными оскорблениями (на них, можете не сомневаться, я сполна ответил в своей речи.)

Когда я начал читать лекции на «Королеве Елизавете II», мы с Джанет пересекли Атлантический океан еще два раза. Европа меня не интересовала,

поэтому мы планировали оставаться на корабле, но оказалось, что так не делается. В Саутгемптоне сходили все пассажиры, хотя бы для того, чтобы провести ночь на берегу и вернуться наутро. Корабль официально считался «мертвым», вся энергия на нем отключалась.

Поэтому, хотя вторая моя поездка через Атлантику проходила чудесно, я жил с мрачным предчувствием, что нас ждет в Саутгемптоне. А если на следующее утро мы не успеем вернуться на корабль и он отчалит без нас? Как обычно, мои дурацкие страхи оказались еще более дурацкими, чем можно было подумать. На борт мы вернулись вовремя.

Кстати, не могу даже объяснить, откуда у меня этот постоянный страх опоздать, заблудиться или все сразу. Я почти никогда в жизни не опаздывал и ни разу не заблудился всерьез. Почему же я так отношусь к трудностям, с которыми и не сталкивался?

Возможно, оттого, что мать всегда тряслась надо мной, я вбил себе в голову, что не должен задерживаться ни на минуту дольше отведенного времени, иначе она умрет тысячей смертей? Очень даже возможно! Мои страхи из-за опозданий Робин или Джанет передались им, поэтому

они теперь тоже никогда не опаздывают — по крайней мере, когда их ожидаю я. Глупо и даже нехорошо отягощать своих любимых таким образом, и, поскольку я помню, как на меня давили страхи матери, мне самому удивительно, что и я, в свою очередь, поступаю так же с женой и дочерью. Но меня уже без толку переучивать — я ничего не могу с собой поделать.

Я даже Гертруду приучил к великой доктрине «Никогда не опаздывай». Сперва она противилась, говорила, что торопиться глупо, но я напомнил, что в последний раз, когда мы садились на поезд, у нас осталась всего одна минута до отправки и пришлось бежать по перрону, волоча за собой багаж. «Мы приезжаем пораньше, — сказал я, — чтобы не торопиться», — и она меня поняла.

Но вернемся к нашей поездке. Мы отлично провели время в Саутгемптоне, который нью-йоркцу кажется невероятно чистым. Даже успели поездить по округе, посмотреть Винчестерский собор и посетить флагман Нельсона «Виктори» в Портсмуте. Одна наша таксистка, молодая девушка, сказала:

— Не стоит брать для этого такси. Вам это обойдется в пять фунтов.

— Ничего, — ответил я. — Я богатый американец.

И она отвезла нас, куда мы просили, а я оставил щедрые чаевые за ее беспокойство о моем кошельке вопреки собственным интересам.

Когда мы в третий раз пересекали Атлантический океан на «Королеве Елизавете II», Джанет ошеломила меня предложением сойти во французском Шербуре, где корабль причаливал перед тем, как перейти через Ла-Манш к Саутгемптону. Тогда бы мы смогли провести во Франции полтора дня перед тем, как опять вернуться на борт. Более того, Джанет предложила в вечер нашей высадки, 18 сентября 1979-го, отправиться в Париж и провести там ночь, день и следующую ночь, а уже потом вернуться в Шербур к обратному рейсу.

Я не думал, что мне понравится в Париже, потому что наслушался, как французы презирают всех, кто не говорит по-французски, а в особенности — американцев. Поэтому пребывал в полной готовности взбеситься из-за парижан, но в действительности влюбился в Париж. Друг достал мне два билета в «Фоли-Бержер», но я не видел смысла туда ходить. Раздетые француженки ничем не отличаются от раздетых американок.

Взамен мы неторопливо прогулялись славным вечерком по Елисейским полям и смотрели там парад. Видели Триумфальную арку и Эйфелеву башню. Подниматься я не стал, потому что выглядела она слишком шаткой и открытой всем ветрам.

Видели мы Нотр-Дам-де-Пари, музеи, ели в превосходных ресторанах и, словом, выжали из тридцати шести часов все, что могли, но я не видел стриптиз, а Джанет не ходила по магазинам. И, как я уже сказал, мы успели на корабль.

Прежде чем закрыть тему путешествий, хотелось бы добавить несколько примечаний.

Я убедился в правильности своей любви к странам с четырьмя временами года во время февральской поездки на Карибы. Жара в то время, когда я ожидал холод, ужасно нервировала. Чем севернее мы удалялись в океан, тем больше я радовался падению температуры, пусть все остальные и жаловались. И с нетерпением ждал высадки в нью-йоркском порту, где температура уже ниже нуля. Куда там! Мы вернулись в тот февральский день, когда температура достигла 15 градусов по Цельсию. Словами не передать мое негодование.

В нашу последнюю поездку на «Королеве Ели-

завете II» в июле 1981-го корабль впервые дошел до Квебека, поэтому там вдоль берегов реки на многие мили вытянулись тысячи людей, чтобы посмотреть, как нас затягивает буксир, а затем — как вытягивает. Во втором случае за нами долго следовал по реке Святого Лаврентия целый флот из суденышек, словно мелкая рыбешка за китом, — весьма необычное зрелище.

Одна из хлопот океанского круиза — это, разумеется, необходимость по возвращении сдавать багаж на полный таможенный досмотр. Мы с Джанет не любители заграничных покупок. Мы, конечно же, не покупаем алкоголь, поэтому низкие цены нас не завлекают и поэтому мы избавлены от главной причины проверки. Точно так же мы не видим необходимости приобретать тюки одежды и всякие безделушки, которые нам не нужны или которые можно раздобыть и дома. Обычно мы возвращаемся с парой книжек в мягкой обложке и изредка — со свитером либо шарфом. И неизменно укладываемся в квоту. Один инспектор, просматривая нашу декларацию, сказал: «А, смотрю, гуляли на широкую ногу».

И последнее…

Когда речь заходит о путешествиях, меня часто

спрашивают, посещал ли я Израиль.

Нет, не посещал. Попасть в Израиль без перелета слишком хлопотно. Пришлось бы добираться кораблем и поездом, а я уверен, это займет куда больше времени, чем я могу себе позволить, и будет куда сложнее, чем я могу выдержать.

Однако предполагается, что раз я не еду или не могу поехать, то должен быть убит горем, поскольку я еврей, а как же еврею не хотеть поехать в Израиль. Но я не хочу.

Все просто: я не сионист. Я не считаю, что у евреев есть древнее право владеть землей только потому, что 1900 лет назад там жили их предки. (По этой логике нам придется вернуть Северную и Южную Америки коренным американцам, а Австралию с Новой Зеландией — аборигенам и маори.) И я не считаю, что библейские обещания Бога отдать потомкам Авраама всю землю Ханаанскую во владение вечное, имеют юридическую силу. (Особенно если учесть, что Библию писали потомки Авраама.)

Когда в 1948-м создали Израиль и возликовали все мои друзья-евреи, я только портил веселье. Я сказал: «Мы сами строим себе гетто. Нас будут окружать десятки миллионов мусульман, которые никогда не простят, никогда не забудут и

никогда не уйдут».

И оказался прав — особенно когда вскоре выяснилось, что арабы живут на самом большом запасе нефти в мире, так что государства, нуждающиеся в нефти, пришли к политическому решению поддержать арабов. (Уверен, знали бы люди об этих запасах нефти заранее — и никакого Израиля вовсе бы не возникло.)

Но разве евреи не заслуживают родину? Вообще-то я не считаю, что любая группа заслуживает «родину» в обычном смысле этого слова.

Планету не следует нарезать на сотни лоскутков, населенных самоопределившимися группками людей, которые считают первейшей из задач собственное благополучие и «национальную безопасность».

Я обеими руками за культурное разнообразие и хотел бы видеть, чтобы каждая группа ценила свое наследие. Например, я патриот Нью-Йорка и, если бы жил в Лос-Анджелесе, с удовольствием бы встречался с другими нью-йоркцами и пел хором «Give My Regards to Broadway».

Однако это не должно выходить за рамки культуры и благожелательности. Я против этого, если в результате каждая группа презирает остальных и мечтает их истребить. Я против вооружения

каждой самоопределившейся группки тем, что укрепит их личные гордость и предубеждение.

Прямо сейчас Земля столкнулась с экологическими проблемами, грозящими неизбежной гибелью цивилизации и прекращением жизни на планете. Человечество не может разбрасываться финансовыми и эмоциональными ресурсами на бесконечные и бессмысленные распри между группами. Должно быть чувство глобализма, чтобы весь мир сплотился и решил настоящие проблемы, одинаково угрожающие всем группам.

Возможно ли это? Вопрос можно сформулировать иначе: «Может ли человечество выжить?»

Поэтому я не сионист — я не верю в страны, а сионизм лишь отягощает мир еще одной. Еще одним государством с «правами», «требованиями» и «национальной безопасностью», которое считает, что должно защищаться от соседей.

Стран нет! Есть только человечество. И если мы этого не поймем в ближайшее время, то стран не будет, потому что не будет и человечества.

131. Мартин Гарри Гринберг

Где-то в 1972 году я получил письмо из Флориды от Мартина Гринберга. Он собирал антологию и просил у меня два рассказа. Тогда этот вопрос казался мне таким повседневным и неважным, что я даже не записал это в дневник, а потому не знаю, когда именно пришло письмо. А жаль, ведь оно стало началом чрезвычайно близкой дружбы.

Тогда я этого, конечно, не предвидел не только из-за неумения предсказывать будущее, но и потому, что мне сразу же пришла в голову тревожная возможность. Это же Мартин Гринберг владел Gnome Press и четверть века назад первым опубликовал «Я, робот» и три книги «Основания». Он же выпустил несколько антологий, и в двух из них переиздавались мои рассказы. Мои отношения с Мартином Гринбергом не назовешь удачными, и восстанавливать их я не горел желанием.

И все же прошла четверть века, а и «Мартин», и «Гринберг» — имена распространенные. К тому же письмо начиналось с «Дорогой доктор Ази-

мов», а тот Мартин Гринберг наверняка бы начал с «Дорогой Айзек».

И в ответном письме я спросил: «А вы не тот ли Мартин Гринберг, который?..»

Нет. Господина из Флориды звали Мартин Гарри Гринберг, и родился он в 1941-м — то есть, когда вышел «Я, робот», ему исполнилось только девять лет. Я тут же дал разрешение издать рассказы в антологии, а затем в переписке закрепились наши приятельские отношения. Ничего удивительного, ведь, как я уже вскоре узнал, Марти (теперь я зову его только так) так же дружелюбен от природы, как и я.

Не я единственный среагировал на имя Марти. Это стало его камнем преткновения при входе в мир фантастики, хотя сам он сперва этого не понимал. В конце концов, осталось много людей, чьи отношения с первым Мартином Гринбергом закончились не лучшим образом.

Например, партнером первого Мартина Гринберга по управлению Gnome Press был Дэвид Кайл, и он чувствовал себя обманутым. Причем настолько, что, когда ему впервые представилась возможность встретиться с Марти, он, считая его (как и я) первым Гринбергом, приехал с намерением дать ему в глаз. А чтобы удар был во всех

отношениях весомее, он вложил в кулак столбик четвертаков.

Лестер дель Рей, как я понимаю, посоветовал Марти и вовсе сменить имя, но мне это казалось уже необязательной перестраховкой. Я дал совет просто пользоваться при работе с фантастикой вторым именем, Гарри, как он и поступил.

Но со временем эта необходимость отпала, поскольку он так прославился в фантастических кругах, что теперь Мартином Гринбергом называют только его. Первый человек с этим именем остался в прошлом, и сомневаюсь, что его помнит кто-то, не достигший моего возраста патриарха и не обладающий моей цепкой памятью.

Даже я, несколько лет обращавшийся в письмах к «Дорогому Второму Марти», в конце концов бросил эту привычку — теперь достаточно и «Дорогого Марти».

Вскоре после эпистолярного знакомства Марти переехал в Грин-Бэй, штат Висконсин, — на родину его жены Салли. Там он устроился в университет Висконсина, где теперь работает профессором политологии и вдобавок преподает научную фантастику.

Его очень ценят в администрации, он популярен у студентов и достиг академических успехов

во всех отношениях, но все же (как и в моем случае) истинную славу обрел в своем призвании. С годами его детская любовь к фантастике росла, и сейчас очень немногие способны потягаться с ним в знании жанра. (Признаюсь, он знает гораздо больше меня.)

Марти — высокий и крупный мужчина. В 1989 году (отчасти из-за мягкого, но непреклонного нашего с Джанет ворчания) он прошел программу похудения, сбросив тридцать килограммов, но даже сейчас никто не назовет его стройным.

Он добродушен, дружелюбен, трудолюбив, целиком и полностью надежен. Я хорошо его знаю и абсолютно убежден, что невозможно быть честнее и порядочнее. Как я сейчас объясню, бывают случаи, когда он распоряжается крупными суммами денег, часть которых принадлежит мне, и эта часть выплачивается исправно и без проволочек. Какое-то время Марти сопровождал каждый чек детальным отчетом, но мне было тяжело видеть, как он тратит время на такую чушь, и наконец я его убедил (с немалым трудом) присылать чеки, так сказать, голыми. Мне бухгалтерская отчетность ни к чему — по крайней мере, от него.

И наоборот. В редких случаях деньги ему

высылаю я. И сперва Марти отправлял мне скрупулезный отчет, как он их распределит и кому, но я сумел втолковать, что мне достаточно объяснить, на какую сумму нужен чек, а в остальном я верю на слово. И нет, за все время нашей дружбы я ни секунды не волновался, что меня обманут. С тем же успехом можно волноваться, что завтра не будет рассвета.

У жены Марти, — Салли, которая работала учительницей, — две дочери от предыдущего брака. Марти их обожает и растит как своих. Салли была тихой самодостаточной личностью и, как и я, ненавидела покидать дом. Ради нее Марти и перебрался в Грин-Бэй.

Обычно он с ее согласия ездил по стране один, поэтому у меня, тоже домоседа, выдался только один случай с ней познакомиться. Это произошло в июле 1982-го, когда Марти и Салли присоединились к нам на бермудском круизе. Они были чудесной компанией.

Но 10 июня 1984-го Салли умерла от рака почек в сорок семь лет, и некоторое время Марти оставался безутешен. Тогда у меня вошло в привычку часто ему звонить и проверять, что он справляется, и отвлекать минут на пятнадцать-тридцать праздной болтовней, чтобы хотя бы временно

вытянуть из уныния. Привычка закреплялась, и в конце концов мы стали созваниваться каждый вечер — и созваниваемся до сих пор, если только не мешают обстоятельства (а это случается редко).

Марти путешествует свободно и поэтому довольно часто наведывается в Нью-Йорк, и тогда мы почти всегда встречаемся и вместе обедаем.

2 января 1985 года мне исполнилось шестьдесят пять, и я праздновал «день невыхода на пенсию», когда попросил всех не приносить подарки, но порадовать меня отказом от курения. Всего мы пригласили больше сотни человек на изысканный китайский ужин (в хороший ресторан, потому что я никогда не принимаю гостей дома). И специально в основном приглашали людей из окрестностей, но Марти приехал ради этого из Грин-Бэй.

И правильно сделал, потому что до этого он был очень отдаленно знаком с молодой девушкой Розалиндой, и тем пребыванием в Нью-Йорке воспользовался, чтобы пойти с ней на свидание. Все сразу же завертелось. Я познакомился с Розалиндой 24 мая 1985-го на ужине вчетвером. Я одобрил ее от всей души, и уже 28 августа они поженились. Мне кажется, это второй счастливый

брак Марти, и мне греет душу знание, что я этому поспособствовал, пусть и косвенно.

Розалинда Гринберг очень красива и столь же добродушна и дружелюбна, сколь и Марти. Это тоже высокая и крупная женщина со склонностью к полноте. Еще она страстная любительница лошадей и недавно купила лошадь в складчину с несколькими людьми. Меня это чрезвычайно беспокоит, потому что сам я из животных одобряю исключительно кошек, но Марти гораздо великодушнее меня. Возможно, ему нравится, так сказать, соседствовать с лошадью.

В июле 1986-го Марти с Розалиндой приехали в институт Ренсселера и так хорошо провели время сами и угодили остальным, что, я уж не сомневался, они станут завсегдатаями, но этому помешала весьма приятная причина. 1 июля 1987-го, сразу перед следующей сессией в институте, Розалинда родила девочку, которую они назвали Мадлен, и поэтому с тех пор не могли к нам присоединиться.

Сейчас Марти сорок шесть, и это его первый родной ребенок. Нетрудно заметить, даже по телефону, как трепетно он относится к дочери. Судя по фотографиям, которым у него нет числа, и не говоря уже о том, что я слышу о Мадлен по

телефону, она явно из тех девочек, что умеют вскружить голову отца. (Я очень хорошо знаю девочек с таким умением.)

Но пора перейти к нашим профессиональным отношениям. Марти — составитель антологий. Его энциклопедические знания фантастики и другой жанровой литературы помогают выпускать множество антологий фантастики, фэнтези, хоррора, детективов, вестернов и других жанров. Со времен того первого письма он издал почти четыреста антологий, поэтому нет никаких сомнений, что он самый плодовитый и вдобавок лучший составитель, какого только видел мир.

У него есть дар придумывать полезные «тематические» антологии — то есть собирать рассказы на определенную тему. Что еще важнее, он умеет убеждать в необходимости этих антологий редакторов и издателей. И гораздо важнее — ему хватает трудолюбия добывать разрешения, обговаривать контракты, заниматься всеми выплатами и пересылать их соредакторам и авторам.

Обычно Марти работает вместе с соредакторами, которые сами пишут в заданном жанре и чьи имена полезны для обложек, но у кого нет времени, энергии, желания или всего сразу для

черной работы.

Я рожден для этой роли, и мы с Марти выпустили больше сотни антологий.

Марти с какой-то стати взял, будто это мое имя открыло ему двери издательств и что это мне он обязан неуклонным ростом своего дохода из года в год, но чего он только ни наговорит. Марти, на минуточку, работал над антологиями с Робертом Силвербергом, Фредериком Полом и Биллом Пронзини — и любой из них мог придать нужный разгон.

В любом случае помощь именитого соавтора требовалась ему только в самом начале. В кратчайшие сроки он сам стал человеком с именем. Он побывал почетным гостем на множестве конвенций, получил множество наград и его встречают с распростертыми объятиями в кабинетах все издатели страны.

Я ему твердо заявил, что если я оставлю работу с антологиями, то он без проблем сможет продолжить. А вот если уйдет он, я вовсе брошу это дело. Без него я потяну не больше одной антологии за очень длительный срок. И вряд ли смогу работать с кем-то еще, поскольку не верю, что кто-то еще обладает трудолюбием, компетенцией и абсолютной надежностью Марти.

(Марти не раз говорил, что считает меня за суррогатного отца, особенно после того, как несколько лет назад умер в возрасте восьмидесяти шести лет его родной отец. Это не такая уж странная мысль. Марти на двадцать один год моложе меня, и, должен признать, иногда и у меня самого такое ощущение, будто он мой сын.)

Иногда мы с Марти работаем вдвоем, но обычно зовем третьего. Чаще всего это Чарльз И. Во — профессор психологии в университете Мэна. (Странно, что все трое соредакторов десятков фантастический антологий — профессора.) Чарльз — высокий и скромный мужчина, с ним я виделся очень редко. Он болезненно вежлив — никак не могу уговорить его звать меня Айзеком. У него есть очаровательная жена, которая обожает плюшевых мишек, и дочь такой красоты, что хоть сейчас отправляй на конкурс, хотя мне не дают с ней встретиться лично.

Вот как мы работаем. Познания Чарльза в фантастике практически такие же энциклопедические, как у Марти. Они вдвоем отбирают рассказы для конкретной антологии и делают копии. Все рассказы пересылаются мне, и я их очень внимательно читаю, потому что у меня есть право вето, и все, что мне не нравится, мгновенно

вычеркивается. Впрочем, должен признаться, что не злоупотребляю этой возможностью. Рассказ может мне не нравиться, но в то же время быть мастерски написанным, и тогда я обязан ставить качество выше своих вкусов.

Затем я пишу более-менее детальное предисловие к антологии и очень часто — вступление к каждому рассказу. Марти, как я уже сказал, берет на себя финансовую и юридическую стороны.

Редакторскую долю мы делим пополам, если работаем вдвоем с Марти, и на три равные части, если привлекаем Чарльза. Я это считаю восхитительным разделением труда.

Хотя антологии занимают не так много времени, как моя среднестатистическая книга, они все же занимают время. Даже больше, чем многие мои маленькие книги для детей. Так что я добавляю их в список своих книг, но по-честному. Если есть возможность, я уточняю: «Я издал 451 книгу, из которых 116 — антологии с чужими рассказами».

Впрочем, должен здесь подчеркнуть один нюанс. Есть люди, которые верят, будто моя единственная роль в этих антологиях — дарить свое имя и потом отдыхать. Это не так. Над каждой антологией из моего списка я проделал значи-

тельную работу.

Конечно, существуют книги с моим именем в названии, над которыми я не работал, не отбирал рассказы и не редактировал. Их я не учитываю. Если я написал предисловие, но не редактировал, — не усчитываю. Все книги в моем списке — те, над которыми я работал либо как автор, либо как редактор, либо и то и другое.

Но почему я вообще занимаюсь антологиями? Что такого ценного в бесконечных сборниках старых рассказов?

Не забывайте, многие фантастические рассказы (даже самые хорошие) могут забываться. Номера журналов, в которых они опубликованы, — где-то на свалках. Сборники часто выходят из печати и не продаются. Антологии возвращают старые рассказы аудитории, которая никогда их не читала или же читала, но много лет, а то и десятилетий назад и была бы рада новой встрече. К тому же, писатели, оставившие позади свои лучшие годы и сейчас работающие не очень активно, получают возможность представить публике свои ранние работы — то, что напомнит о былой славе и принесет в придачу дополнительные деньги.

Ради всего этого я готов поделиться своим именем и потрудиться. Мне очень повезло войти в

горстку авторов, чьи книги продолжают продаваться и чьи рассказы, даже самые старые, продолжают переиздаваться. Для меня удовольствие — и даже долг — помогать, чем могу, писателям, оказавшимся в не столь удобном положении.

И все это возможно благодаря Марти, причем он работает еще над сотнями антологий, к которым я отношения не имею. Как бы сейчас Марти ни ценили редакторы, писатели и читатели, не могу не думать, что он все равно заслуживает большего.

132. Isaac Asimov's Science Fiction Magazine

К началу 1976-го я писал рассказы «черных вдовцов» для EQMM уже четыре года.

Издатель журнала — Джоэл Дэвис, не очень высокий, но стройный и красивый человек, причем его красота нисколько не убавилась из-за наконец-то появившейся седины. Мне он всегда казался очень правильным, и мои скабрезности его слегка смущали, пока он к ним не привык.

Один из руководителей Davis Publications, побывав из-за своих детей на конвенции по «Стар Треку», поразился количеству и безграничному энтузиазму гостей. Все это, по его мнению, указывало, что фантастический журнал принесет Davis Publications кучу денег.

Тут он был не совсем прав. Он не уловил, что подавляющее большинство трекки интересуются только визуальной фантастикой, а не печатной. Впрочем, дело не кончилось катастрофой, поэтому не будем забивать этим голову.

Тот руководитель заразил своей идеей Джоэла, и тот призадумался. У него уже было два лите-

ратурных журнала, оба — детективные: Ellery Queen's Mystery Magazine и Alfred Hitchcock's Mystery Magazine («Детективный журнал Альфреда Хичкока»). Если он собирался открыть еще и фантастический журнал, для симметрии в названии тоже требовалось имя, причем весомое.

Ему сразу же вспомнился я. Я подставился сам, потому что каждый раз, приходя в редакцию, на весь офис неприлично флиртовал с Элеонорой Салливан, очень привлекательной ответственным редактором EQMM.

И 26 февраля 1976 года Джоэл позвал меня к себе в кабинет и сказал, что подумывает открыть журнал под названием «Журнал научной фантастики Айзека Азимова» (IASFM).

Я возражал по ряду причин, которые приведу здесь:

У меня нет ни умения, ни времени, ни желания редактировать журнал, и я просто не возьму его на себя.

Редакторы других журналов были моими друзьями, особенно Бен Бова из Analog и Эдвард Ферман из F&SF. Как можно конкурировать с друзьями?

Я вел в F&SF ежемесячную научную колонку, которую не бросил бы ни при каких условиях,

даже ради шанса вести точно такую же колонку в IASFM. Тут я не стал вдаваться в подробности, поскольку уже заметил, что каждый, с кем я говорю о важности постоянства, реагирует с какой-то недоверчивостью или насмешкой.

Авторы откажутся писать в журнал с именем их коллеги. Они скажут, это ниже их достоинства.

Джоэл терпеливо выслушал каждый пункт. Редактировать мне не придется, сказал он. Мы выберем человека, который возьмет реальную работу на себя, а я ограничусь редакционной колонкой в каждом номере и ответами на письма читателей. Так я придам журналу азимовский антураж, а большего и не требуется.

Он согласился, чтобы я продолжал колонку в F&SF, раз она нехудожественная, но при условии, что предоставлю IASFM право первым получать мою фантастику.

И он заметил, что раз уж авторы детективов вполне готовы писать для Эллери Куина или Альфреда Хичкока, то и фантасты не откажутся писать для Айзека Азимова.

Оставались только чувства Бена Бовы и Эда Фермана, и я переговорил с каждым лично. Оба ответили одно и то же. Новый журнал только укрепит жанр, создав для писателей новый

важный рынок. Это поощрит авторов, поэтому количество качественных текстов возрастет во всех трех журналах.

И все равно я колебался, и Джоэлу понадобилось немало сил, чтобы уломать меня подписать нужный контракт. Первый номер от весны 1977 года появился на полках магазинов в середине декабря 1976-го.

Все это я уточняю по той причине, что в 1986-м британский фантаст Брайан Олдисс написал историю фантастики, где резко прошелся по моему творчеству. Это еще ладно. Он волен писать что хочет, если ему от этого легче.

Однако он сделал оскорбительное утверждение, будто бы я выклянчил журнал с моим именем в названии. Не могу процитировать точно, потому что, прочитав эти слова, избавился от книги. Но я в полнейшем негодовании написал и ему, и его издателю, что «клянчил» вовсе не я, а Джоэл. 5 января 1987-го я получил от Олдисса смиренное извинение. Я в большем не нуждался и позабыл об этом деле.

Журнал вышел в период, когда уже долгое время не появлялось по-настоящему успешных новых изданий. Последний раз такое происходило с Galaxy в 1950-м и в 1952-м с If («Если»),

который в итоге стал сестринским журналом Galaxy. Впрочем, If прекратил существование на несколько лет раньше Galaxy, да и тот клонился к закату. Amazing уже стал бледной тенью прежнего себя и тоже стоял одной ногой в могиле. Появлялось много других журналов, все они недолго выходили, а потом исчезали. В 1976-м в жанре остались всего два сильных журнала — с их редакторами я и говорил перед тем, как начать свой: Analog и F&SF.

Более того, сдавал позиции сам журнальный формат — отчасти оттого, что не самую заинтересованную аудиторию оттянуло телевидение, а отчасти из-за выхода сотен романов, сборников и антологий в мягких обложках, конкурировавших за деньги читателей.

Поэтому не было оснований полагать, что IASFM добьется успеха, о чем я, человек честный, прямо и сказал в первой же редакционной колонке. (Конечно, мне-то так говорить было можно, но не другим. Редактор одного фанатского журнала предрек, что наше начинание продержится не дольше шести номеров, после чего я тут же потребовал у Джоэла, чтобы он любой ценой, даже не взирая на убытки, выпустил минимум семь.)

Но никаких проблем не возникло. Журналу

уже идет пятнадцатый год, последний на данный момент номер — 158-й. В первый год он выходил раз в три месяца, во второй — раз в два месяца, в третий — раз в месяц. Сейчас он выходит раз в четыре недели, то есть тринадцать выпусков в год.

Я делаю свою часть работы. В каждом номере есть моя редакционная колонка на 1500 слов; я читаю все письма редактору, отбираю те, которые предложу для публикации, и пишу на каждое ответ. Я по вторникам каждое утро прихожу в офис, забираю письма, приношу колонку (вместе с рассказами, которые пишу для журнала как можно чаще) и обсуждаю проблемы, если таковые есть.

Джоэл посчитал сферу фантастики достаточно перспективной, чтобы 20 февраля 1980 года купить Analog, и оказался достаточно разумен, чтобы оставить на посту его превосходного редактора Стэнли Шмидта. По-моему, он бы и F&SF купил, если б тот продавался. Кстати, Джоэл сдержал слово. Все тринадцать с чем-то лет существования журнала я пишу статьи для F&SF. Я твердо верю, что этот расклад помогал F&SF и не вредил IASFM.

В отношении редакторской колонки я не пропустил ни номера и не боюсь, что мне будет нечего

сказать. Читатели спрашивают, не хотят ли писать в колонку настоящие редакторы, но они не хотят. За такую работу они не возьмутся, и это к лучшему, потому что (сказать по правде) я бы и не разрешил. Никому не отдам редакционные колонки, я обожаю их писать.

В колонке я иногда я обсуждаю этапы творчества, иногда рассуждаю о фантастике. Часто статьи откровенно личные — вплоть до того, что некоторые читатели начали роптать из-за моего эго.

Время от времени я высказываюсь по скандальным вопросам. Джон Кэмпбелл делал это постоянно — к моему отчаянию, потому что он непримиримый консерватор и мне не нравился его предвзятый подход. Я же, с другой стороны, ярый либерал, и моя-то предвзятость меня нисколько не беспокоит. Беспокоит, правда, некоторых читателей, но разногласия, по-моему, только на пользу и даже нужны в нашем открытом обществе, и я без колебаний публикую письма, авторы которых со мной категорически не согласны или даже нелестно обо мне высказываются.

Самая бурная реакция началась, когда я признался в ненависти к рок-н-роллу. На меня так

и набросились любители этого мерзкого шума. Впрочем, однажды я сделал невинное замечание, что от лошадей воняет (правда же, воняет), и тогда посыпались письма от негодующих любителей лошадей.

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто это я отвечаю за успех журнала, хотя и надеюсь, что внес свою лепту. Но истинная слава принадлежит редакторам.

Первым был Джордж Сайзерс, влиятельный поклонник фантастики и издатель-любитель, организовавший в 1963-м вашингтонскую конвенцию, где я получил свой первый «Хьюго». Это он с самого начала вдохнул в журнал жизнь и привел к славе таких замечательных авторов, как Джон Варли, Барри Лонгиер и Сомтоу Сучариткул. Еще он отдавал явное предпочтение коротким юморескам и часто отказывал чему-то непонятному или эпатажному. 4 сентября 1978-го, когда успели выйти только четыре номера, Джордж получил «Хьюго» как лучший редактор года.

К сожалению, Джордж почему-то так и не сработался с Джоэлом. Химия была не та. Через четыре года Джордж решил, что журнал справляется и без него. Ему на смену пришла Кэтлин Молоуни, сравнительно неизвестная в жанре личность,

и продержалась всего год, прежде чем нашла место получше. Ее заменила Шона Маккарти, работавшая ответственным редактором у первых двух. Шона, когда я уже облизывался от мысли о флирте с ирландской девицей, убила меня наповал заявлением, что она, несмотря на свои имя и внешность, еврейка. Шона повела журнал в новом направлении, с упором на эксперименты и модернизм.

Тут журнал обрел успех у знатоков жанра, раньше критиковавших его за легковесность.

Когда Шона ушла работать книжным редактором, 17 мая 1985-го ее заменил фантаст Гарднер Дозуа — он до сих пор работает редактором и продолжает разрабатывать заданное Шоной направление. IASFM стал считаться передовым фантастическим изданием. И Шона, и Гарднер получили «Хьюго», а рассказы в журнале собирают больше номинаций на «Хьюго» и «Небьюлу», чем в любом другом.

Можно еще добавить, что около семи лет постоянное управление журналом лежало на плечах ответственного редактора Шейлы Уильямс, прелестной девушки, чьи взгляды на издание во всем совпадают с моими.

Не скажу, что журнал отражает конкретно мой

литературный вкус, но оно и к лучшему. Мой вкус навсегда остался в 1950-х, и я это сам отлично понимаю. Поэтому никогда не вмешивался в редакторские решения и не выражал мнение, если меня не просили.

Например, однажды, осенью 1988-го, в IASFM без задней мысли поставили на обложку иллюстрацию, чересчур напоминавшую обложку F&SF от другого художника.

Эд Ферман потребовал для первого художника разумную сумму, но в Davis Publications не хотели признавать ошибку. И тогда меня спросили: «Что делать?»

— Все просто, — ответил я и послал чек первому художнику от себя, и ситуация для всех разрешилась благополучно.

Сам я для журнала пишу, понятно, в своем стиле 1950-х, но мои рассказы нравятся многим читателям, и это оправдывает их публикацию. А кроме того, они нравятся мне, а для меня это самое главное[99].

---

[99] Примечания: 99

В предпоследней редакторской колонке в Isaac Asimov's Science Fiction Magazine Айзек с удовольствием объявил читателям, что журнал приобрела издательская группа Bantam Doubleday Dell. — Прим. ред.

133. Автобиография

В течение 1970-х меня все больше и больше ругали в Doubleday. Они хотели, чтобы я снова писал фантастические романы, и с каждым годом давили все сильнее. Проблема в том, что я боялся писать романы, и на меня точно так же с каждым годом все сильнее давили страхи.

Я видел, как меняется жанр, как литературно пишут новые авторы, и, несмотря на заверение Эвелин дель Рей, что я и есть фантастика, не смел с ними конкурировать. Успех романа «Сами боги» почему-то не помог.

Поэтому я выдумывал все новые способы отвлечь внимание Doubleday. 3 февраля 1977-го, когда мой редактор, на тот момент Кэтлин Джордан, прижала меня к стенке, я поморщился, быстро пораскинул мозгами и предложил написать автобиографию. Стоило мне проронить это слово, как я и сам загорелся идеей. Мой внезапный энтузиазм так удивил Кэтлин, что она, не увидев возможности меня переубедить, дала добро.

(Кэтлин, замечательная женщина, работала с

Ларри Эшмидом и после его ухода стала моим редактором. В итоге и она ушла из Doubleday и стала искать другую работу. А я как раз знал, что в Davis Publications ищут нового редактора для Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, и посоветовал ее. Она вступила в должность 1 августа 1981 года и с тех пор счастливо там работает. Я даже продал ей пару рассказов — редакторам от меня так просто не сбежать.)

Автобиография не стала для меня новой идеей. Помню, как в двадцать девять я решил, что молодость уже кончается и теперь я на законных правах могу приступать к автобиографии. Впрочем, трезвые размышления напомнили: со мной не происходило ничего особенного и мне нечего рассказать о жизни, а кроме того, книгу не опубликует ни один издатель.

Жизнь шла, я старел и в итоге дошел до момента, когда знал, что автобиографию, если я ее напишу, издадут, но по-прежнему думал, что со мной не происходило ничего особенного. У меня тихая жизнь (и я не жалуюсь), я не занимался ничем, кроме писательства, и рассказывать все еще было не о чем.

Но время от времени об этом заговаривали редакторы.

К примеру, однажды Ларри Эшмид спросил, не задумывался ли я об автобиографии, но я только рассмеялся и сказал, что со мной не происходило ничего интересного людям.

Ларри так в меня верил, что я не мог принимать его мнение всерьез и сомневался, что это начинание поддержит его начальство в Doubleday.

Через некоторое время Пол Надан из Crown Publishers уговаривал написать для них книгу, и мы собрались обсудить этот вопрос за обедом. Я очень хотел поработать с Crown и в особенности с Полом, очень приятным и симпатичным человеком, но мой график был забит, а я ненавижу браться за работу, которую потом не доведу до конца. Поэтому пытался отвлечь его забавными историями из своей жизни.

И вдруг он спросил:

— А почему ты не пишешь автобиографию, Айзек?

— Потому что со мной не происходило ничего интересного, — сказал я.

— Но ты мне сейчас рассказываешь интересные вещи, в самый раз для автобиографии. Брось, я предложу на нее контракт.

Это было соблазнительно, но я удержался. Я ужасно боялся, что и себя выставлю дураком, и

Crown принесу книгу, на которую они посмотрят и откажутся издавать, а если и издадут, то люди откажутся читать, а если и прочитают, то громогласно осудят.

Но когда Кэтлин надавила по поводу нового фантастического романа, я вспомнил слова Надана и предложил ей автобиографию. Я все еще не сомневался, что ничего не получится, но энтузиазм рос — не потому, что мне хотелось ее написать, а потому, что тогда вопрос о романе не поднимался бы еще минимум год, а то и два. Что угодно, лишь бы не роман.

Но мне пришлось приступить к работе. И мне помогали две вещи. У меня поразительно долговременная память, и я, как правило, запоминаю события во всех подробностях.

Это, конечно, не всегда на пользу. Сэмюэл Вон, занимавший тогда высокое положение в Doubleday, сказал мне, что искусство автобиографии — знать, о чем умолчать, но его слова влетели в глухие уши, и, скорее всего, он это и сам понимал. Я не собирался умалчивать ни о чем, кроме того, что может понапрасну кого-то задеть.

А если бы подвела память, у меня оставалась вторая вещь. Я начал вести дневник 1 января 1938

года, за день до восемнадцатилетия, и с тех пор так и не бросил. (Многие молодые люди начинают дневники, но, уверен, мало кто продержится дольше пары недель.) Понятное дело, и мой дневник после первого года поредел и свелся к сухому перечислению того, над чем я работаю.

Кто-то заносит в дневник свои мысли и чувства, но не я. Для меня это исключительно справочник, причем такой скучный, что даже я не в силах читать его с интересом. Заглядываю только за датами и событиями. Зато его необязательно прятать от других. Мой дневник может прочитать любой — и сами попробуйте зайти дальше пяти страниц, не тронувшись умом.

Автобиография все росла и росла, и, должен признаться, даже у меня возникли нехорошие предчувствия, когда я написал пятьдесят тысяч слов и при этом только-только дошел до начала дневника. Что же я напишу с его помощью, если могу написать столько лишь по памяти?

Еще работа над автобиографией доказала, что я был прав: в моей жизни не хватает элементов возвышенной драмы. Как сами видите по этому ретроспективному обзору моего бытия, вся остросюжетность сводится к отказам медицинских школ или ссорам с начальством в Бостонском

университете. Не лучший материал для леденящего кровь саспенса.

Но стоило это понять, как я сосредоточился на другом. Я попытался следовать совету Пола Надана и писать о повседневном весело. Своим писательским талантом я рассчитывал замаскировать непрезентабельность событий.

Один мой поклонник после выхода автобиографии воодушевленно заявил, что читал с большим интересом и не мог оторваться — все читал, читал и читал, хохоча на каждой странице.

Я с любопытством поинтересовался:

— А вы заметили, что там ничего не происходит?

— Заметил, — ответил он, — но мне было все равно.

(Тот же ответ я слышу, когда спрашиваю читателей насчет того, что в моих романах нет захватывающего дух действия. Ну, если уж им все равно, то мне и подавно.)

И еще в попытке сделать автобиографию необычной я старался писать в чисто хронологическом порядке. В этом мне помог дневник.

Другими словами, я пытался описать свою жизнь ровно так, как ее жил: все нити повествования перепутаны, никаких намеков на то, что

произойдет в будущем. Это, как я думал, придаст реализма — и еще этого (насколько мне известно) не делал ни один другой человек, работающий над автобиографией, по крайней мере, не с такой интенсивностью.

Более того, при хронологическом подходе я старался подавать события как можно достовернее (и смешнее), избегая чрезмерной субъективности. Я рассказывал, что влияло на меня внешне, но сравнительно мало внимания обращал на мысли и ощущения, кипевшие внутри.

Доведя историю своей жизни до конца 1977-го (когда я завершил автобиографию), я написал 640 тысяч слов — в книгу уместилось бы девять «Стальных пещер».

Я переживал о том, что скажет Кэтлин, когда я принесу рукопись. Трясся от страха перед мыслью о вердикте: «Придется урезать вдвое, Айзек» и готовился ответить: «Не допущу».

Я был практически уверен, что придется забрать рукопись и пытаться всучить ее Crown или Houghton Miflfin. Окидывая горестным взглядом коробки со страницами, я чувствовал, что никому-то они не нужны.

И все-таки я принес автобиографию в Doubleday, вложив максимальную уверенность в осанку и

выражение лица, и сказал:

— Вот, Кэтлин. Это — все.

(Я не предупреждал об объеме, а поскольку управился всего за девять месяцев, вряд ли она ожидала чего-то длиннее, чем обычный роман.)

Она бросила настороженный взгляд на коробки и посовещалась с Сэмом Воном, заслужившим мою вечную благодарность за следующие слова:

— Ну, тогда выпустим в двух томах.

Так и случилось. Первый том вышел в 1979-м, второй — в 1980-м.

Долго обсуждалось название. Я хотел назвать книгу «Как я помню» («As I Remember»), что фактически очень точно, но в Doubleday просили чего-то подраматичнее, чего-то в духе названия романа. Я растерялся и спросил:

— Например?

Кто-то (возможно, Сэм) ответил:

— Найди какое-нибудь малоизвестное стихотворение и возьми из него цитату.

И я тогда подобрал такой малоизвестный отрывок:

Коль память зелена, коль жив восторг,
Картины жизни четко видим мы.
Ликуем, позабыв про быта сор.

Пусть все старо, но чувства вновь свежи.

Я слабо представлял, что все это значит, и меня это устраивало. Вот я и назвал первый том автобиографии «Коль память зелена», а второй — «Коль жив восторг».

Я бы хотел продолжить это издевательство и наречь ретроспективную книгу, которую вы сейчас читаете и которую могут принять за третий том автобиографии, «Картинами жизни», но, переживет ли название вмешательство редактора — не знаю.

Когда вышел первый том, я получил из Doubleday жалобный звонок. Они не смогли найти источник цитат и просили имя автора стихотворения. Я по своему обыкновению ответил правду: «Я сочинил его сам». В результате стихотворение в обоих томах приписали поразительно плодовитому поэту — Анониму.

После выхода первого тома я получил достаточное количество писем с вопросом, когда ожидать второй. Как только появился второй, стали поступать вопросы о третьем. Я неизменно отвечал: «Третий том сперва еще надо прожить».

Я собирался написать его в 2000 году (хорошее круглое число), чтобы отметить свое восьмиде-

сятилетие. Однако обстоятельства, о которых я еще расскажу позже, вынудили отпраздновать им семидесятилетие.

«Коль память зелена», кстати говоря, — моя 200-я книга. Однако еще я написал для Houghton Miflfin «Опус 200» («Opus 200») — и номинально он считался моей 200-й книгой. В Doubleday не желали уступать Houghton Miflif n честь пересечь черту в 200 книг, и тогда я сказал (я всегда ищу простое решение): мне ничего не мешает считать обе книги двухсотыми, а следующая будет 202-й.

На это оба издателя согласились и даже выпустили в The New Tork Times Book Review совместный анонс обеих книг. Возможно, это единственный случай в истории, когда два издателя сплотились в одной рекламе.

134. Сердечный приступ

У отца, как я писал выше, в сорок два развилась стенокардия. Сложно не впасть в суеверия и не верить, что повторишь судьбу отца — по крайней мере в отношении физических заболеваний. Потому я слегка переживал перед наступлением сорок второго дня рождения.

Впрочем, тревожная дата пришла и ушла, и я отметил сорок третий и сорок четвертый дни рождения без всяких признаков боли в груди. И все же так нервничал, что еще в 1944-м начал заниматься снижением веса, благодаря чему по прошествии десятилетий на момент написания этой книги вешу на тридцать килограммов меньше своего максимума.

Я даже пятьдесят седьмой день рождения встретил без каких-либо признаков надвигающейся беды, но 9 мая 1977-го, пока ходил по делам, почувствовал отчетливый дискомфорт в грудной клетке и начал задыхаться. Я остановился — симптомы прекратились. Я двинулся с места — и они вернулись.

По спине пробежал холодок: я знал, что это та-

кое. Пятнадцать лет я избегал отцовской болезни, но теперь, в пятьдесят семь, она меня наконец настигла. Это была стенокардия. Привычка есть слишком много и слишком неразборчиво привела меня к закупориванию коронарных артерий и переходу мышц сердца на сокращенный рацион кислорода.

Я не знал, как быть. Следовало сразу посоветоваться с Полом Эссерманом, но меня ждал напряженный график выступлений, и его не хотелось прерывать. В конце концов, отец прожил со стенокардией тридцать лет, а значит, и я смогу. Пятьдесят семь плюс тридцать — это восемьдесят семь, хороший срок. И я решил выкинуть это из головы, пока не пройдет период выступлений, а между тем следить за скоростью передвижения, чтобы Джанет ничего не заподозрила.

Так я продолжал следовать графику, и 16 мая мы поехали в Колледж Хаверфорд рядом с Филадельфией, где на следующий день от меня ждали речь для выпускников. (Это тот самый случай, когда меня и попросили выступить на пятнадцать минут, а засекший время студент увидел, что я, ни разу не взглянув на часы, проговорил четырнадцать минут тридцать две секунды.)

После речи мы поехали в Филадельфию, где

планировалось еще два выступления, и в 1:30 18 мая 1977 года я внезапно вскочил в постели — меня разбудила резкая боль от, как мне казалось, супернесварения желудка. Боль была резкая, словно от камня в почках, вот только в другом месте — в верхней части живота.

Не в силах лечь, сесть или встать (как и при тяжелом приступе камней в почках), я, задыхаясь, сказал Джанет, что, если умру, то не хочу стенаний и слез, пусть она живет счастливо, а благодаря моему завещанию ни ей, ни детям никогда не придется переживать о деньгах.

Она дала мне спазмолитик, и в 3 часа ночи боль пошла на убыль, как и после приступа камней в почках. Когда она пропала, я лег с чувством невероятного облегчения и освобождения.

— Как ты себя чувствуешь, Айзек? — робко спросила Джанет.

— Прямо сейчас? Словно я умер и попал в рай, — прошептал я и провалился в сон.

На следующий день я все еще чувствовал слабость, но не послушал требований Джанет сходить к врачу. Шоу должно продолжаться, и я провел оба выступления. (Причем так получилось, что одно — перед полным залом кардиологов, и никто не определил по моему

выражению и осанке, что произошло со мной две ночи назад.)

Вечером восемнадцатого числа, пока мы еще не уехали из Филадельфии, Джанет позвонила Полу Эссерману и описала мое состояние. На Пола повлияли мои слова, что боль в животе очень напоминала боль от камней в почках, и он предположил, что проблема может заключаться в желчном камне, раз все прошло после приема спазмолитика. (Ни ему, ни Джанет я не рассказал о приступах стенокардии.) Пол советовал после возвращения не тянуть с визитом к нему.

Когда мы двадцатого числа приехали в Нью-Йорк, Джанет посылала меня к Полу, но я уже заподозрил нехорошие новости и отказался идти. 25 мая у меня был назначен обед с Сэмом Воном и Кеном Маккормиком из Doubleday, и я не хотел его пропускать, поскольку собирался там намекнуть на увесистость автобиографии, чтобы они успели свыкнуться с этой мыслью.

После обеда я дошел до кабинета Пола, находившегося в полумиле оттуда, и взбежал по лестнице — просто чтобы проверить, смогу ли. Пол сделал мне ЭКГ, и, как только игла сдвинулась с места, по выражению его лица я узнал все, что хотел знать (или, вернее, не хотел). Это не желчный камень;

это сердечный приступ.

— Все плохо? — спросил я.

— Не так уж плохо, раз ты еще жив после пробежки по лестнице, — сказал Пол. — Зачем ты это сделал? Как бы я себя почувствовал, если бы у тебя остановилось сердце прямо на моем пороге?

— Явно лучше меня, — сказал я. — Но раз уж все не так плохо, я просто вернусь к своим делам.

— Нет, Айзек. Ты немедленно ляжешь в больницу.

— Не могу, — сказал я. — Послезавтра я выступаю с речью для выпускников университета Джонса Хопкинса.

— Не выступаешь.

— Почему? Неделю я прожил. Проживу и еще два дня.

— А если во время речи ты умрешь прямо на трибуне?

— Это будет смерть на работе, — твердо заявил я.

Вот это, похоже, ужасно рассердило Пола. Врачи как будто мнят, что только у них есть профессиональные обязательства. Он выбежал на улицу, поймал такси и (с помощью моей жены-предательницы) затолкал меня в него. Уже через полчаса я лежал в палате интенсивной терапии.

Сразу перед этим я позвонил с новостями Кэтлин Джордан и заверил, что выживу, несмотря на все старания врачей. Затем поручил Джанет позвонить в университет Джонса Хопкинса и объяснять, почему я их подвел, а заодно отменить и другие мои договоренности.

Я впервые отменял выступление, поэтому из-за случая с Джонсом Хопкинсом испытывал сильную неловкость. Позже я написал им письмо с извинениями и обещал одно выступление бесплатно. В 1989 году университет напомнил о долге, и, хоть прошло двенадцать лет, я сдержал слово. Поехал в Балтимор и выступил бесплатно.

В 1977-м мои речи подхватил Бен Бова, причем справился отлично. Но потом этому злодею хватило наглости попросить организаторов выступлений, чтобы чеки направляли мне. К счастью, они догадались позвонить в больницу и спросить, правда ли это, и я пришел в ярость. Все чеки остались у Бена — и поделом ему.

Надолго я в больнице не задержался — уже скоро стало ясно, что интенсивная терапия мне не нужна. Я нуждался в отдыхе и восстановлении, и Пол Эссерман потребовал выделить на это минимум шестнадцать дней. Мне стало ужасно скучно уже через три часа, о чем я и сообщил. Не

жалея слов.

Пол посоветовался с Джанет, и она сказала, что я работаю над черновиком автобиографии и без возражений останусь в больнице, если она его мне принесет. Одна проблема — я не делал копий, и Джанет боялась, что по дороге в больницу потеряет рукопись или с ней что-нибудь случится.

Поэтому она отнесла рукопись в Doubleday, где ее фотокопировали, чтобы при необходимости восстановить, а затем принесла в больницу. Я работал над текстом день за днем и очень радовался, что не теряю время даром.

Меня навещал Бен Бова и, увидев разложенные по койке страницы, спросил, чем это я занимаюсь. Я объяснил:

— Я включу в эту автобиографию все глупости, что говорил или делал в жизни.

— Да? — спросил он, глядя на страницы. — То-то она такая длинная.

Благодаря работе над автобиографией я пребывал в таком хорошем расположении духа, что приходившие каждое утро врачи-резиденты отмечали это с удивлением. Обычно в отделении кардиологии — только подавленные пациенты (сердечный приступ — сомнительный повод для веселья), поэтому мои шутки и смех стали темой

для настороженных разговоров за завтраком.

Сломался я только на один день — в первое воскресенье в больнице. Я остался наедине с Джанет, и тут меня захлестнула волна депрессии. До меня дошло, что Пол может велеть мне сократить деятельность вдвое, что до конца жизни придется работать «на полставки». А значит, скорбно предсказывал я, доход за 1977 года достигнет пика и впредь будет неуклонно падать. Так окажутся под угрозой все мои планы обеспечить после смерти жену и детей.

Одно это уже плохо, но меня беспокоило и еще кое-что. Когда меня только привезли в больницу, Пол спросил, не хочу ли я сохранить это в тайне.

— В тайне? — переспросил я. — Зачем?

— Некоторые считают, что если весь мир узнает об их сердечном приступе, то против них начнется дискриминация — их не возьмут на работу или не поручат какие-нибудь задания.

Я рассмеялся:

— Вздор. Рассказывай кому хочешь. Я и сам обязательно напишу об этом статью.

(И написал.)

Но в то воскресенье вдруг показалось, что Пол прав и теперь редакторы начнут меня избегать, подумав, что мне бесполезно поручать задания,

если я могу скончаться в любой момент.

Джанет утешала меня как могла, да и сами страхи оказались временными. И дня не прошло, как они испарились и больше не возвращались. И повода для них не возникало.

После того сердечного приступа я работал на всех парах без перерыва. Что касается дохода за 1977-й — с тех пор ни один год не показал результатов хуже.

И перестали ли редакторы просить у меня материалы?

Пока я еще лежал на койке, мне позвонил Мерилл Пэнитт, главный редактор TV Guide, куда я писал много статей. Он спросил, как я себя чувствую, и я ответил, что выздоравливаю.

— Хорошо, — сказал он. — И слушай, раз уж ты на больничной койке и тебе нечем заняться, не хочешь посмотреть телевизор и написать статью о дневных передачах?

Так я и сделал, и он ее принял. Я понял, что раз уж мне звонят даже в больницу, за ее стенами я без заданий точно не останусь.

Конечно, кое от чего Пол все-таки потребовал отказаться.

— Айзек, — сказал он, — два пункта. Первый — сократи выступления. Они плохо на тебе ска-

зываются. Просто выступай пореже, подними расценки, чтобы не терять доход, и не поддавайся на уговоры друзей выступать даром. Ты все понял?

— Да, — сказал я. — И второй пункт?

— Моя Ассоциация выпускников Школы медицины Нью-Йоркского университета просит тебя выступить с лекцией. Ты сможешь?

Я расхохотался. Он, конечно же, просил выступить даром, но я тут же согласился по двум причинам. Во-первых, Джанет тоже выпускница этой школы, а во-вторых — Пол, похоже, даже не заметил, что два его пункта взаимоисключают друг друга.

В конце концов я выступил 12 мая 1979-го и рассказал историю о двух пунктах, изобразив характерный голос Пола под громкий смех аудитории. А еще все выпускники носят значки с месяцем и годом окончания учебы. Пол получил диплом во время Второй мировой войны в ускоренном порядке, в марте, и это довольно необычно. Я его спрашивал, почему как будто только у него на значке стоит буква «М», и он мне это объяснил.

Но пересказал я все не так. На выступлении я заявил:

— Я спросил у Пола: «Пол, почему у тебя на значке стоит буква «М»?» А он ответил: «Это значит «малограмотный»».

Снова громкий смех (особенно если учесть, что вообще-то он окончил школу с отличием), и тогда я решил, что достаточно наказал его за то, как он потащил меня в больницу и вынудил пропустить речь в университете Джонса Хопкинса.

(Пол вечно грозится засудить меня за, как он выражается, «преступную халатность пациента».)

Выписавшись, я жил как обычно, только следил за собой получше. И все равно время от времени ощущал симптомы стенокардии, если шагал слишком быстро, и тогда останавливался, чтобы они исчезли.

Когда я написал о сердечном приступе во втором томе автобиографии, один рецензент отметил, что я о болезни я говорю «с характерным отсутствием жалости к себе».

И я рад, что он это заметил. Как я дал понять в этой книге, я презираю жалость к себе и, замечая, что начинаю в нее впадать, всеми силами стараюсь выкарабкаться.

И, в конце концов, с какой стати мне жалеть себя? Ну и что, если бы я не выжил? У меня были хорошая жизнь, счастливое детство, любящие ро-

дители, превосходное образование, счастливый брак, замечательная дочь и успешная карьера. Случались в жизни разочарования и печали, но я, честно говоря, думаю, что их было гораздо меньше, чем у среднего человека, а успеха и радости мне досталось куда больше.

Даже если бы я умер в пятьдесят семь, моя жизнь все равно была бы насыщенной, особенно благодаря Джанет и писательству, и с моей стороны просто гадко о чем-то сокрушаться. К тому же я выжил и у меня остались Джанет и писательский успех, и все хорошее настолько весомее всего плохого, что у меня еще меньше причин сокрушаться или жалеть себя.

Мне кажется, все, кто верит в бессмертие через переселение душ, склонны полагать, будто в прошлом они были Юлием Цезарем или Клеопатрой и в будущем станут такими же выдающимися людьми. Это, естественно, невозможно. Больше девяноста процентов человеческого рода в разной степени существует (и существовало в прошлом) в нищете и горе, так что маловероятно, будто переселение душ приведет к счастью. Если моя личность после смерти переселится в тело случайно выбранного новорожденного, слишком велики шансы, что новая жизнь будет куда

несчастнее той, что я покинул. В такую рулетку меня играть не тянет.

Многие верят, что хорошим людям после смерти уготована лучшая жизнь, а плохим — худшая. Будь это правдой, подозреваю, что в прошлом я был ну очень хорошим человеком, раз теперь заслужил такую счастливую жизнь, и если продолжу вести себя благородно и добродетельно, то дальше меня ждет еще больше счастья. И чем все закончится? Разумеется, самым счастливым состоянием — нирваной, то есть пустотой.

Но, по моему мнению, мы достигаем нирваны сразу, в момент смерти, обрывающей одну-единственную жизнь. Моя была хорошей, и я постараюсь принять смерть как можно бодрее, хотя был бы рад, если она наступит безболезненно. Еще я был бы рад, если бы все остальные — родственники, друзья и читатели — не тратили время и не отравляли свою жизнь бесполезными скорбью и печалью. Пусть лучше порадуются, что я так хорошо пожил.

135. Crown Publishers

Мне было совестно писать автобиографию для Doubleday, хотя первым контракт на нее предложил Пол Надан из Crown, поэтому я решил поддаться на его уговоры и согласился написать книгу о возможности разумной жизни в других местах Вселенной. Она должна была называться «Внеземные цивилизации» («Extraterrestrial Civilizations»). Я пообещал, что обязательно ей займусь, но сейчас у меня плотный график и я не знаю, когда смогу приступить. Поэтому он оказался так любезен, что не указал в договоре дату.

Хотя Пол был на десять лет младше меня и выглядел стройным, он жаловался на сердце. Пока книга, так сказать, только созревала, он попал в больницу с сердечным приступом.

Я его там навещал, что для меня довольно удивительно. Обычно я не люблю посещать друзей в больнице. Мешают присущие мне брезгливость и стремление избегать всего неприятного. Но иногда я себя заставляю.

Если брать недавние примеры: когда Херб Графф лежал в больнице в Бруклине после трой-

ного шунтирования, к нему собрался Рэй Фокс (тоже участник клуба «Угощение по-голландски») и позвал меня с собой. Я пошел и, не узнав лысого человека, решил, что мы ошиблись палатой. Из-за моего очевидного шока при виде лысины Херб, возможно, и отказался от парика. (Без парика ему, по-моему, даже лучше.)

Другой раз — когда моему брату Стэну делали простатэктомию, я навещал его в больнице на Лонг-Айленде.

Это исключение, и меня самого изумляет, что я навестил Пола Надана. Одна причина, конечно, в том, что он был славным человеком и мы очень хорошо общались за обедом. Другая — довольно острое чувство вины. Тогда я пообещал ему поскорее взяться за «Внеземные цивилизации».

В марте 1978 года Пол написал мне и попросил одобрительную цитату для книги о рекомбинантной ДНК от писателя и ученого Джона Лира. Но еще в 1954-м Джон Лир сослался на мою книгу «Стальные пещеры» в самой что ни на есть оскорбительной манере, при этом процитировав только один абзац из рецензии и не подавая признаков, что сам читал книгу. «Что этот автор понимает в науке?» — вопрошал он.

Я тогда отписал Лиру письмо и прямо заявил,

что понимаю в науке побольше его и, главное, пишу о науке лучше него, но он так и не ответил. Если бы ответил и раскаялся, я бы все простил. А так я занес его в список негодяев. Конечно, я с этим списком ничего не делаю, но и одолжения таким людям делать не собираюсь. Поэтому когда Пол Надан попросил позитивный отзыв о книге Лира, я наотрез отказался и объяснил почему.

Он все равно прислал 21 марта 1978-го гранки с письмом, в котором просто сказал: «Надо как Бог прощать»[100].

Этим он застиг меня врасплох. Я не хотел прощать, но после его слов мне стало стыдно из-за своей бессердечности. И пока я мучился из-за неспособности простить Лира, пришли новости, что 22 марта — на следующий день после письма, — у Пола случился еще один сердечный приступ и он умер.

Раньше я прислушивался к черствому и непрощающему сердцу, а теперь уже было поздно. Оставалось только немедленно приступить к «Внеземным цивилизациям». Жаль, что я столько тянул и не начал при жизни Пола. Но откуда мне

---

[100] Примечания: 100

Ставшая устойчивым выражением строчка из стихотворения Александра Поупа «Опыт о критике» («An Essay on Criticism»), 1711, пер. А. Субботин. — Прим. пер.

было знать, что так получится? Ему исполнилось всего сорок восемь.

Я посвятил книгу его памяти.

В Crown мне назначили другого редактора Герберта Мишельмена, и впервые я с ним встретился 2 ноября 1978 года. И мне снова повезло: Герберт оказался очередным редактором, что как будто специально встречаются мне на пути: мягкий, обходительный и приятный. На обедах мы с ним обменивались шутками и постоянно смеялись.

Закончив «Внеземные цивилизации» (они вышли в 1979-м), я без промедления начал для него новую книгу под названием «Исследуя Землю и Космос» («Exploring the Earth and the Cosmos») о неуклонном расширении ареала человечества.

Я пригласил его на обед в «Угощение по-голландски», и он получил огромное удовольствие. Оказалось, Эрнест Хейн, один из давних членов, хорошо знал Герберта Мишельмена. Он предложил принять Герберта в клуб, и я воодушевленно согласился. Как и Херб. Его приняли единогласно.

11 ноября 1980 года он пришел на свой первый обед в качестве члена клуба и спросил меня в своем обходительном стиле:

— Можно ли сесть с тобой, Айзек?

— Конечно, — ответил я. — Я бы и сам тебя больше никуда не пустил.

И он сел за «еврейский стол» и присоединился к веселью, но весь обед состоял из не самой щедрой дольки киша. Роберт Фридман (это у него я взял свое мнение о критиках, которого с тех пор придерживаюсь, а позже он со скандалом ушел из клуба из-за того, что в туда не принимали женщин) взял свой обеденный ваучер и разорвал напополам.

— Вот, — протянул он половинку официанту. — Больше вы не заслуживаете.

Мне было стыдно, и я вопреки всему надеялся, что на следующей неделе меню окажется шире и взносы Герберта окупятся, но увы. Герберт тоже страдал от проблем с сердцем, и в тот же самый вечер он скончался на станции метро. Ему исполнилось шестьдесят семь, я знал его всего два года.

На следующей неделе я пришел в мрачном настроении, и меня спросили, где мой друг. Я ответил:

— Боюсь, он умер вечером прошлого четверга, через три часа после того, как ушел от нас.

Боб Фридман не удержался и сказал:

— Это все тот обед. Это был киш смерти.

Такова уж натура человека — все за столом рассмеялись. Даже я.

Книга «Исследуя Землю и Космос» вышла в 1982-м, я посвятил ее памяти Герберта Мишельмена.

Джейн Уэст, работавшая в Clarkson Potter, дочерней компании Crown, — именно та редактор, что в 1979-м попросила написать «Комментированные "Путешествиям Гулливера" от Азимова», — умерла 11 сентября 1981 года. Причиной ее смерти стал рак. Выходит, меньше чем за три года я потерял трех хороших и полных сил редакторов из одного издательского дома. Чрезвычайно печальное совпадение.

136. Simon & Schuster

До конца 1970-х я ни разу не писал для Simon & Schuster. У меня почему-то сложилось смутное впечатление, что Simon & Schuster — главный конкурент Doubleday и работать с ними будет предательством.

И меня даже потрясло, когда Тимоти Селдес в своем кабинете представил меня гостю — редактору из Simon & Schuster. Я-то думал, работникам двух разных фирм приличествует не общаться, а стрелять на поражение, только завидев друг друга.

Но я взял себя в руки и сказал гостю:

— Как я понимаю, в Simon & Schuster очень сговорчивые женщины.

— Что? — озадаченно воскликнул он, и даже Тим воздал мне должное, открыв рот от т удивления.

— Я так говорю, — продолжил я с самым наивным выражением на лице, какое только мог изобразить, — потому что недавно пытался заигрывать с девушкой здесь, в Doubleday, а Тим Селдес мне сказал: «Ты куда, по-твоему, пришел,

Азимов? В Simon & Schuster?»

Тим и в самом деле так говорил и помнил это, и я позволил ему самому выкручиваться.

Вышло так, что Ларри Эшмид ушел из Doubleday в Simon & Schuster, и мы, конечно, остались на связи. Я не отказываюсь от дружбы с редактором только из-за смены издательств. Ларри, конечно же, попросил написать для него книгу, предложив порассуждать на тему разных причин конца света.

И лучше времени он найти не мог, потому что я как раз написал сравнительно короткую статью на эту тему для Popular Mechanics («Популярной механики»), вышедшую в мартовском номере 1977-го под названием «Двадцать возможных причин конца света» («Twenty Ways the World Could End»). Ее сильно сократили, и я остался недоволен результатом, поэтому обрадовался возможности написать на ту же тему целую книгу. А еще мне хотелось дать ей свое название — «Выбор катастроф» («A Choice of Catastrophes»). Я с радостью подписал контракт и приступил к работе при первой же возможности.

Пока я ее писал, Ларри снова сменил место работы и перебрался в Harper & Row. Меня это не озаботило — я-то думал, он просто заберет книгу

с собой. Так у меня уже случалось. Когда я писал «Нейтрино» («The Neutrino»), издание в твердой обложке предназначалось для моего давнего редактора Уолтера Брэдбери, тогда работавшего в Henry Holt. Пока книга только готовилась, Брэд вернулся в Doubleday и прихватил ее с собой. Она вышла в Doubleday в 1966 году. Я решил, так же будет и с «Выбором катастроф».

Но нет. Simon & Schuster не позволили Ларри забрать книгу. Он мне об этом рассказал, я возмутился. Пошел на встречу со своим новым редактором в Simon & Schuster и объяснил, что это задумка Ларри и что писать я начал только из-за нашей с ним близкой дружбы.

Новый редактор покачал головой. Контракт заключен с Simon & Schuster, руководство намерено оставить книгу себе. Я отчитался об этом перед Ларри и предложил бросить книгу. Он ответил: «Нет. Не надо бросать. Просто напиши для меня другую».

Я закончил «Выбор катастроф», он вышел в Simon & Schuster в 1979-м. И неплохо продавался, но я остался недоволен, потому что редактор вырезал главу о городском терроризме. Причем так и не объяснил почему, и у меня осталось неприятное впечатление, будто издатели ожидали из-за

моих слов каких-то негативных последствий. Мне это показалось цензурой и испортило настроение.

Я не затаил обиду на Simon & Schuster, но они сами больше ко мне не обращались, поэтому «Выбор катастроф» — моя единственная книга у них.

Я сдержал слово и перед Ларри. Предложил написать книгу, где расскажу о самых длинных и самых коротких расстояниях, самых длинных и самых коротких периодах времени, самых больших и самых маленьких массах. В каждом случае я буду идти в сторону увеличения или уменьшения поэтапно и приводить примеры из реальной жизни, чтобы люди лучше представляли себе масштабы окружающего мира.

Такую книгу я бы сделал с удовольствием — обожаю возиться с мелкими расчетами, — а Ларри, конечно, всегда разрешал мне все, что я захочу. Я написал книгу, назвал ее «Размеры вселенной» («The Measure of the Universe») и она вышла в Harper & Row в 1983-м. Тоже продавалась довольно неплохо.

Между прочим, раз за разом повторяя, что та или иная книга хорошо продавалась, я не имею в виду, будто меня обошли стороной полные провалы. Может, нечасто, но бывало и такое.

Например, «Наш мир в космосе» («Our World in Space») 1974 года от New York Graphic. Я написал статьи о разных планетах Солнечной системы, основываясь на последних открытиях, сделанных благодаря ракетам и зондам, а Роберт Макколл, изумительный иллюстратор космических сцен, предоставил рисунки.

Макколл по праву считался главным автором и получил 60 процентов роялти.

Статьи у меня вышли неплохими, а уж рисунки Маккола — лучше не бывает. Получился большой и красивый альбом подарочного формата, и я возлагал на него большие надежды, но лежал мертвым грузом, так и не отбив аванс. А через несколько лет и вовсе устарел.

Потом тот случай, когда Карл Саган попробовал себя в книгоиздании. Книги самого Карла продавались все лучше и лучше, и наконец он получил Пулитцеровскую премию за «Драконов Эдема». (Читая гранки, я так и предсказал Джанет, что это готовый кандидат на премию, и обрадовался, что меня не подвело мое критическое чутье, а то обычно кажется, что у меня его вовсе нет.)

Затем стала хитом телепередача Карла «Космос», а написанная по ее мотивам книга не выходила из списков бестселлеров чуть ли не

целую вечность.

Ему (да и мне) казалось, что теперь его имя достаточно прогремело для открытия собственного издательства книг об астрономии и космосе. Например, он нашел альбом с красивыми иллюстрациями японского художника Казуаки Ивасаки. Но подписи Карлу не пришлись по душе. Он попросил меня написать более подходящие, что я с радостью и сделал, а сам он написал предисловие.

И снова главным автором стал художник, а называлась книга «Виды Вселенной» («Visions of the Universe»). Она вышла в Cosmos Store (компании Сагана) в 1981-м, и я ждал огромных продаж, статуса бестселлера и так далее. Ничего подобного. Книга вообще не раскупалась, а Cosmos Store и вовсе разорилась.

Приведу и третий пример. 4 мая 1983 года в Harmony Books, дочерней фирме Crown Publishers, меня попросили написать книгу о роботах — об их истории, развитии, применении в промышленности, в науке и так далее. Я отказался и пояснил, что хоть и пишу о роботах в фантастике, но в настоящих ничего не понимаю.

Они сказали, что хотят поместить на обложку мое имя и что найдут мне соавтора, который

разбирается в роботах. И нашли Карен Френкель — привлекательную, умную и трудолюбивую девушку. Она изучила матчасть и написала значительную часть текста. Я прошелся по нему и кое-что исправил. Поскольку она проделала куда больше половины работы, я договорился, чтобы основная часть аванса ушла ей. Но об именах на обложке договориться так и не смог. Я хотел, чтобы она значилась главным автором, но на книге, названной просто «Роботы» («Robots») и выпущенной в 1985-м, мое имя стоит первым и набрано более крупным шрифтом. Я возражал, но без толку. Для хороших продаж должно быть так, сказали они.

Поэтому можно назвать роковым возмездием, что книга практически не продавалась и даже не окупила сравнительно небольшую сумму аванса (который, к счастью, в основном отошел Карен).

Некоторые читатели могут сделать вывод, что все три эти провала — соавторские работы, но у меня есть немало успешных проектов, созданных в соавторстве, — книги о Норби, написанные с Джанет, например, и разные антологии, составленные с Марти.

А несколько книг с моим именем, может, не провалились, но и не заработали кучу денег.

Например, такие эксперименты, как «Комментированный "Потерянный рай" от Азимова», доставили мне огромное удовольствие, но с трудом окупили скромный аванс.

Мораль, на мой взгляд, такова: мое имя — не магический амулет, гарантирующий успех. (Да так и не должно быть. Книге положено добиваться успеха самой по себе, а не из-за имени автора.)

137. Косвенное участие

Я уже говорил о своих сложностях со 116 антологиями и двояком отношении к тому, добавлять ли их в список своих книг или нет. Такое же отношение у меня и к ряду других работ, где я поучаствовал косвенно (к счастью, их не так много).

Некоторые у меня ассоциируется с издателем С. Артуром («Редом») Дембнером — высоким и худым человеком с грубым лицом и седыми волосами, где еще остался намек на рыжий («red») цвет, за который он получил свое прозвище.

Он руководил небольшим издательством и вместе с Джеромом Эйджелом из агентства по рекламе книг и предложил мне написать «книгу фактов», где будет великое множество разносортных малоизвестных сведений, распределенных по разным рубрикам. Причем значительную часть информации, заметили они, можно легко почерпнуть из моих же книг.

Я отклонил предложение. У меня, правда, не хватало времени на подготовку.

Это неважно, заверили меня. Они наймут ко-

манду, которая соберет все факты. Мне нужно только добавить что-то от себя и перечитать весь текст, чтобы вычеркнуть ошибочные или просто сомнительные сведения.

Я задумался. Это была бы первая книга, где почти всю работу возьмет на себя команда авторов. Обычно я делал все вне зависимости от длины и сложности книги и гордился этим. Я нехотя согласился при условии, что меня не назовут единственным автором и что на обложке приведут имена всех участников команды. На этом мы и сошлись.

И я поработал над книгой, предоставил где-то двадцать процентов фактов и проверил чужие, вычеркнув некоторые из них.

Книгу в 1979 году выпустил импринт издательства Grosset & Dunlap, и, как мы договаривались, меня не указали автором. Но саму книгу назвали «Книга фактов Айзека Азимова» («Isaac Asimov's Book of Facts»), хотя я этой славы не заслуживал. На обороте титульной страницы перечислялись все участвовавшие авторы — семнадцать человек. Я шел первым как «редактор», но мое имя не напечатали крупнее других.

Это меня устроило, и я достаточно поработал, чтобы спокойно включить книгу в свой список.

Беспокоился я лишь из-за того, что среди нескольких тысяч фактов обязательно найдется немного сомнительных или даже ошибочных, несмотря на все мои старания. И когда читатели их находили, претензии присылали мне. Почти неизменно жалобы касались тех фактов, которые нашел не я, их источников я не знал. Приходилось просто пересылать письма Реду.

Затем 11 июня 1981 года Ред предложил другой проект. Канадец Кен Фишер написал книгу-викторину, и Ред попросил с ней ознакомиться. Я прочитал и высказался, что викторины интересные и грамотные, поэтому книгу стоит издать. Тогда Ред попросил отобрать примерно половину викторин, исправить в них ошибки, написать предисловие и разрешить книге выйти под названием «Айзек Азимов представляет супервикторину» («Isaac Asimov Presents Superquiz»). Взамен мне предложили небольшую долю роялти.

Я сразу же сказал, что это несправедливо по отношению к Кену Фишеру. Ред пояснил, что Фишера укажут автором и что он только рад этому предложению, потому что с моим именем книга будет продаваться лучше. (И снова суеверия о волшебной силе моего имени.)

Мне трудно отказывать хорошим людям, а Ред явно относился к категории таковых. Книга вышла в Dembner Books в 1982-м с именем Фишера большими буквами на обложке.

Но в следующие семь лет за первым томом последовали второй, третий и четвертый. И каждый раз я работал над викторинами и писал предисловие. Приходилось терпеть, когда читатели находили ошибки, что я проглядел. Самый показательный случай — с вопросом, у какой единственной страны в названии есть сочетание букв «ate». Предлагался ответ «Гватемала» (Guatemala), который трудно вспомнить, поскольку в нем это сочетание букв произносится не «эйт», а «ате». Однако этим отличилась еще одна страна. Читатель спросил в письме, почему же это не подходит ответ «United States» (Соединенные Штаты), и я не нашелся, что ответить.

Из книг «Супервикторины» сделали настольную игру на волне невероятного, хотя и предсказуемо недолговечного успеха игры Trivial Pursuit. «Супервикторина» неплохо заработала, хотя это, конечно, далеко не Trivial Pursuit. Еще на основе книги сделали разошедшуюся по разным

периодическим изданиям[101] колонку вопросов и ответов, где указывалось только мое имя, а не Фишера. Я пожаловался, но, как в таких случаях обычно и бывает, меня проигнорировали.

В связи с «Супервикториной» у меня произошел довольно неприятный случай, но для рассказа о нем нужно сделать отступление.

Я не против подписывать книги в книжных магазинах, если публику извещают о моем визите. С правильной рекламой я обычно могу подписать больше сотни книг за раз. Однажды подписывал полтора часа без перерыва, хотя договаривался только на час. (Трудно взглянуть на длинную очередь преисполненных надежды читателей и сказать: «Ну все, час закончился. Остальным не повезло», — поэтому я не останавливался.)

Когда никакой рекламы не делается, результат бывает плачевным, но это вынужденный риск для писателя. Кроме того, многие авторы готовы для рекламы своих книг путешествовать по стране с невероятным количеством однодневных остановок. Я абсолютно отказываюсь ездить, не считая очень редких вылазок в пригороды, а однажды добрался аж до самой Филадельфии. По-

[101] Примечания: 101

Синдицированный продукт — продающийся в разные издания, каналы и т. д. — Прим. пер.

этому стараюсь возмещать отсутствие туров тем, что никогда не отказываюсь от автограф-сессий в Манхэттене и всегда соглашаюсь на телефонные интервью, смиряясь с неизбежными провалами.

Однако некоторые пережить трудно. К примеру, 16 декабря 1979 года я прибыл со стопкой своих книг в «Блуминдейл» — и администрация посадила меня, представьте себе, в отделе женской одежды. Я просидел там целый час, стараясь не замечать возмущенных покупательниц, очевидно принявших меня за какого-то извращенца.

Но книг я подписал немало, причем одна женщина радостно подбежала, поздравила меня с постановкой на Бродвее и пожелала заработать на этом миллион долларов. Я вежливо ответил, что тоже на это надеюсь, но решил не смущать ее признанием, что я не Исаак Башевис-Зингер.

Но худший случай произошел 15 июня 1984 года, когда я согласился просидеть три часа в «Мейсис» со стопкой коробок «Супер-викторин», которые я подписывал. В эти бесконечные три часа получилось продать ровно восемь коробок. А хуже всего, что один покупатель попросту отказался от моего автографа.

В связи с этой игрой вышел еще один конфуз, даже страшнее. Издатели рвались привлечь

внимание СМИ и фотографов, в связи с чем попросили меня прийти на демонстрацию игры. От меня требовалась соответствующая харизма (они-то думали, что она у меня есть).

Один пожилой господин вытолкнул вперед своего внука, назвал его невероятным гением и потребовал задать ему любой вопрос из «Супервикторины». Ребенок явно смущался, поэтому я отнекивался, но дедуля настаивал.

Я достал парочку вопросов, выбрал самый простой и задал. Ребенок, как и ожидалось, промолчал. Я отшутился, как мог, и нашел вопрос еще проще. Снова молчание. Тогда я достал карточку, но не прочитал написанное на ней, а взамен выдумал вопрос, на который невозможно не ответить. Ребенок дал правильный ответ, я расхвалил его на все лады и отправил восвояси.

Если эту книгу читают дедушки с гениальными внуками, пожалуйста, отстаньте от них и не позорьте на публике. По моему опыту, действительно умные дети умеют громко заявить о себе, им помощь родственников не требуется.

Похожий случай с переоценкой интеллекта произошел, когда в 1979 году меня пригласили на бар-мицву. Ее проводят на тринадцатилетие мальчика-еврея, чтобы показать, что он уже

взрослый, должен подчиняться всем иудейским правилам и нести за это ответственность. (Ни для меня, ни для Стэна бар-мицву не проводили — для нас это победа над лицемерием, потому что мы бы не подчинялись правилам, даже если бы прошли обряд.)

На парочке бар-мицв, куда я ходил (когда не смог придумать хорошей отговорки), я невообразимо скучал. Зато на них обязательно столы ломятся от блюд, насыщенных солью, холестерином, жиром и прочими смертоносными компонентами, а значит, приносящих райское наслаждение. Поесть я никогда не отказывался.

Но в том случае гордый отец был моим другом, и он сказал, что его сына очень интересует Шекспир, поэтому не мог бы я принести в подарок свой «Путеводитель по Шекспиру»? Ну, я не горел желанием, потому что у меня осталась всего пара экземпляров, уже незаменимых, поскольку книга больше не издавалась, но подарок на бар-мицву обязателен, а друг есть друг.

Поэтому я принес «Путеводитель» и с широкой улыбкой вручил мальчику. Он принял его с узнаваемой смесью удивления и разочарования, а по унылому виду, с которым он робко листал страницы, у меня сложилось отчетливое впечат-

ление, что он не только не поклонник Шекспира, но и ни разу не слышал о барде с берегов Эйвона. Книгу пришлось просто пожертвовать беспочвенному тщеславию Гордого Папаши.

Но вернемся к проектам с моим косвенным участием. Для Carolina Biological Supplies я подготовил «Историю биологии» («The History of Biology») в 1988-м и «Историю математики» («The History of Mathematics») в 1989-м. Это длинные таблицы для вывешивания в школах и библиотеках, с большим числом фактов из истории этих дисциплин, оживленных остроумными карикатурами.

Еще я редактировал для Dembner книгу Баррингтона Бордмана «От "Хардинга" до "Хиросимы"» («From Harding to Hiroshima») с подзаголовком «История Соединенных Штатов 1923–1945 в анекдотах». Я ее обожаю. Я внимательно ее прочитал, корректируя гранки, и она вышла под названием «Айзек Азимов представляет: от "Хардинга" до "Хиросимы"». Бордмана указали на обложке как автора и даже поместили его имя на видное место.

Затем мне прислали огромное количество цитат ученых и других выдающихся личностей на научные темы. Их требовалось подправить

или вычеркнуть лишние по своему усмотрению, а также подготовить небольшие эпиграммы для восьмидесяти шести рубрик, на которые делились цитаты, и написать предисловие. Я попросил, чтобы редактора, с которым я вел переписку, указали как соредактора, и в 1988-м книга вышла от импринта Weidenfeld & Nicholson под названием «Книга цитат о науке и природе от Айзека Азимова» («Isaac Asimov's Book of Science and Nature Quotations»), редакторы — Айзек Азимов и Джейсон Шульман.

Среди сотен моих книг разбросаны и другие подобные проекты. Зачем я ими занимаюсь? Для начала я нахожу их интересными, даже увлекательными. Еще мне всегда трудно отказаться от любого писательского проекта, особенно если он сильно отличается от моей обычной работы.

Пожалуй, стоит сильнее бороться с привычкой называть их «Айзек Азимов представляет», но на этом обычно настаивают издатели, да и, по правде сказать, мне это все-таки приносит удовлетворение. В конце концов, мое имя, возможно, хоть чем-то помогает продажам. Еще это помогает привлечь внимание аудитории и кто-то может пойти и купить те книги с моим именем, которые я написал полностью. Сплошная польза для всех.

138. Nightfall, Inc

В течение 1970-х мой доход карабкался вверх, а деловые проекты становились все сложнее. Время от времени мой бухгалтер бормотал, что мне было бы проще зарегистрировать корпорацию, и каждый раз я отшатывался с гримасой ужаса на лице.

Корпорация — еще один шаг вверх, еще один способ сдаться богатству.

Конечно, отдельные последствия относительного богатства мне нравились. После того как всю первую половину жизни я тщательно пересчитывал деньги в кармане и задумывался над каждой покупкой, невероятно приятно войти в любой ресторан и заказать любое блюдо, не глядя на цены. Восхитительно поехать на такси куда угодно; выписывать чеки для оплаты счетов, не тревожась о состоянии банковского счета.

Я все это ценил, но не желал побочных эффектов богатства. Страшился мысли, что от меня будут ожидать проведения светских раутов, что мне придется в обязательном порядке ходить на мероприятия в шикарном наряде, что моя

квартира, само собой разумеется, должна быть обставлена по последнему слову техники, что мне будет положено завести экономку, дорогой офис, шикарный автомобиль, яхту, дачу и все, что только в голову взбредет.

Мне всего этого не надо. Мне хочется жить тихо и просто, и всякий раз, позволяя себе какие-то внешние проявления достатка, я боялся, что мир вокруг не даст мне реализовать склонность к простоте.

Но бухгалтер стоял на своем, его поддержала Джанет, и 22 октября 1979 года я сказал: «Ладно. Вперед, организовывай». И вот с 3 декабря 1979 года я стал президентом и казначеем корпорации, а Джанет — вице-президентом и секретарем.

Возник вопрос, какое название выбрать. Бухгалтер категорически отринул простой вариант «Isaak Asimov, Inc.». Он не хотел, чтобы фигурировало мое имя. Хотел что-то в духе обычной деловой фирмы. «Может, назовешь в честь чего-нибудь из того, что ты писал?» — предложил он.

Для меня выбор сразу свелся к двум вариантам: «Основание» и «Приход ночи». Бухгалтер выбрал второе — может, потому, что это романтичнее звучит, — и вот так я стал «Nightfall, Inc.».

Могу заявить, что ни одно правительственное

агентство не выявило ничего необычного в моей налоговой отчетности, и это не удивительно — я веду ее честно. Но, если они все-таки проведут расследование и ничего не найдут, это все равно отнимет время у моего бухгалтера, а плачу ему я, так что искренне хотелось бы, чтобы мне поверили на слово и оставили в покое.

Однажды во время интервью на телевидении много лет назад меня спросили:

— Допустим, вы заработаете миллиард долларов. На что вы его потратите?

Я знаю, каких ответов они ожидают. Эгоисты купили бы огромные дворцы и зажили бы как короли. Идеалисты бы поддержали университеты и экологические инициативы. Но у меня нашелся свой вариант.

— Я бы пришел в налоговую, — ответил я, — и сказал: «Я только что заработал миллиард. Вот он, все до пенни. Это для Дяди Сэма. Теперь, пожалуйста, не трогайте меня до конца жизни».

Правительство явно бы на этом подзаработало, ведь за всю жизнь я заплатил в виде налогов гораздо меньше миллиарда; гораздо-гораздо меньше. Но мечта о том, чтобы не приходилось вести отчетность, производить подсчеты, общаться с бухгалтерами и адвокатами, стоит

гораздо-гораздо дороже денег.

139. Хью Даунс

Меня всегда удивляет, когда тот, кого я считаю знаменитостью, знает о моем существовании. Ни к чему описывать Хью Даунса — его знают все. Он появлялся на телевидении в прайм-тайм чаще кого угодно в Соединенных Штатах.

Он присутствовал на круизе из Флориды к запуску «Аполлона-17» в 1972-м, хотя в том случае нам не удалось тесно пообщаться.

Но 9 июня 1978 года я позавтракал с ним по его приглашению, и мы обсуждали астрономию и космологию.

Хью увлекался наукой и, несмотря на работу на телевидении, которая наверняка занимала почти все время, умудрялся следить за ее последними новостями (особенно в космологии), потому в беседе не уступал даже профессионалам.

Видимо, я прошел его проверку на качество. Он задумал организовать ежегодный ужин, куда для хорошего угощения и беседы будут приглашать десяток человек, интересующихся наукой. Первый ужин провели 6 мая 1980 года в «Метрополитен Клубе», и он был просто роскошным.

С тех пор меня приглашали всегда, и пропустил я только раз. Должно быть, стоил ужин немало, и каждый год я предлагал взять половину счета на себя. Каждый год Хью улыбался и отвечал, что это доставляет ему удовольствие и стоит своих денег.

Об удовольствии не поспоришь, поскольку беседы впечатляют, и я в них часто играю роль комедийной отдушины. Я в состоянии поддержать дискуссию о передовых рубежах науки, но слишком легко скатываюсь в шутки, потому что буквально все напоминает мне о каких-либо забавных историях.

Об этих ежегодных собраниях прослышали люди — мне звонила одна журналистка, и по характеру ее вопросов я понял, что она считает Хью «интеллектуальным альпинистом», который тратится на банкеты, чтобы его приняли в свой круг именитые умники, а они, мол, только едят за его счет и посмеиваются над его амбициями.

Я резко оборвал разговор. Сказал журналистке, что Хью, хотя и просто любитель, все же обладает острым умом, отлично подкован в науке, всеми любим и уважаем. Наверняка своей отповедью я прикончил ее статью, чему только рад.

На ужинах есть и другие завсегдатаи кроме ме-

ня. Не пропустил ни одного собрания Ллойд Моц, астроном из Колумбийского университета. Иногда появляются Уолтер Салливан, Роберт Ястров, Джереми Бернштейн, Марвин Минский, Бен Бова, Марк Шартран, Джерард О'Нил, Джеральд Фейнберг, Роберт Шапиро и другие. Не раз приходил Хайнц Пагельс, но о нем я еще расскажу ниже.

Обычно, вернувшись домой, я вкратце пересказываю Джанет суть дискуссии и остроумные замечания участников (не забывая и о себе, конечно). Так же я поступаю после собраний «Угощения по-голландски» и «Пауков-затворников». Ей это нравится, но иногда она обижается из-за строго мужского состава этих организаций.

Однажды вышло совсем неудобно. В апреле 1980-го я получил приглашение на встречу врачей-исследователей. Выступить туда пригласили Льюиса Томаса, прекрасного автора книг о биологии. Я мигом согласился и сказал Джанет, что, конечно же, возьму ее с собой, потому что она очень любит статьи Томаса.

Джанет взглянула на приглашение и пронзила меня ледяным взглядом. Она сказала: «Айзек, если бы ты прочитал все, а не каждое пятое слово, ты бы заметил, что тебя приглашает мужская организация. Ты можешь пойти, а я — нет, хотя я

и врач, а ты — нет».

Я ускользнул от нее и быстренько черкнул второе письмо, объяснив, что по неосторожности пригласил с собой жену и теперь, боюсь, в интересах сохранения гармонии в браке прийти не смогу.

В ответ пришло письмо от руки. Мою жену тоже пригласили. И 7 апреля 1980 года мы присутствовали на ужине — шестьдесят мужчин и Джанет. И не сказать, что ей не понравилось. Кое-кого она знала и завела оживленные беседы. Это я, неврач, оказался посторонним.

Джанет, конечно, как и любая женщина, может приходить на ежегодный банкет «Угощения по-голландски» и, собственно, всегда ходит со мной, хотя бы ради того, чтобы я, недовольный необходимостью надевать смокинг, не угодил в неприятности. Однажды она пришла и на обычное собрание, но при необычных обстоятельствах, о которых я расскажу далее.

Конечно же, иногда она сопровождает меня по подходящим поводам и на совершенно законных основаниях. Например, 24 апреля 1990 года пришла на мое выступление о пятистопном ямбе и лимериках.

140. Бестселлер

Два тома автобиографии вышли и хорошо разошлись, затем их выпустили в мягкой обложке от Avon, но в Doubleday все не унимались. Там по-прежнему требовали романов.

Не подумайте, я не обходил Doubleday вниманием — у них вышли «Путь в бесконечность» (мой новый сборник научных статей) и «Справочник "черных вдовцов"» (третий сборник рассказов в цикле). К печати готовились еще один сборник научных статей «Яркий свет солнца» («The Sun Shines Bright»), сборник статей «Азимов о научной фантастике» («Asimov on Science Fiction») и антология «Тринадцать преступлений научной фантастики» («The Thirteen Crimes of Science Fiction»). Еще я увлеченно работал над новым изданием «Биографической энциклопедии науки и технологии Азимова», поэтому в Doubleday не могли бы сказать, будто я о них забыл.

Но, кстати, не забывал я и другие издательства и в 1980-м и 1981-м опубликовал двадцать четыре книги. Среди них: «Внеземные цивилизации» для Crown; «Выбор катастроф» для Simon & Schuster;

«Книга фактов от Айзека Азимова» для Grosset & Dunlap; «Комментированные "Путешествия Гулливера" от Азимова» для Clarkson Potter; и серия «Как мы узнали?..» для Walker & Company.

Так что работал я с полной загрузкой, как всегда.

В Doubleday это ни во что не ставили. Мелочовка. С их точки зрения, лучше бы я написал роман вместо половины того, что делал. Более того, меня уже не просили; от меня уже требовали напрямую.

Когда из Doubleday ушла Кэтлин, ее на должности моего редактора сменил Хью О'Нил. 15 января 1981 года Хью вызвал меня в свой кабинет. Он был молодым, новеньким и теперь общался с пожилым выдающимся писателем. Кто знает, не отреагирует ли пожилой вспыльчивый писатель темпераментно или даже агрессивно, если ему внезапно поставить ультиматум?

И он мне только сказал, что меня хочет видеть Бетти Прашкер. Бетти стояла выше в иерархии и была очень уважаемым редактором. Меня отвели в ее кабинет. Эта женщина средних лет улыбнулась и сказала:

— Айзек, мы хотим, чтобы ты написал для нас новый роман.

— Но, Бетти… — начал я.

Она явно не собиралась меня выслушивать, потому что пропустила все мимо ушей и продолжила:

— Мы пришлем тебе контракт и предложим большой аванс.

— Но, Бетти, я не знаю, могу ли еще писать романы, — сказал я.

Бетти, как обычно, оборвала мои увиливания:

— Не говори глупостей, Айзек. Просто иди домой и сочиняй.

Меня выставили из кабинета. Тем вечером мне позвонил Пэт Лобрутто, глава отдела фантастики в Doubleday.

— Слушай, Айзек, — сказал он, — давай начистоту. Когда Бетти сказала «роман», она имела в виду «фантастический роман»; а когда мы говорим «фантастический роман», мы имеем в виду «Основание». Вот что нам нужно.

Я его понял, но не мог отнестись к этому всерьез. За двадцать два года я написал всего один роман, а об «Основании» — ни слова за тридцать два года. Я даже не помнил содержания предыдущих книг.

Более того, «Основание» написано от начала до конца в дерзком возрасте с двадцати одного

до тридцати лет из-под палки Джона Кэмпбелла. Теперь мне шестьдесят один, а Джона Кэмпбелла нет, как нет и его современного эквивалента.

Я ужасно боялся, что если меня заставят написать роман из цикла, то я напишу, но совершенно никчемный. В Doubleday мне постесняются отказать и издадут, но его разругают критики и читатели; и я войду в историю фантастики как писатель, который добился успеха в молодости, а в старости и немощи попытался выехать на былой славе и в результате выставил себя круглым дураком.

Более того, благодаря огромному числу нехудожественных книг мой доход стал в двадцать раз выше, чем во времена, когда я писал романы. Мне казалось, возвращение к романам повредит моим финансам.

Оставалось только притихнуть и надеяться, что в Doubleday про меня забудут.

Но они не забыли. 19 января Хью заявил мне с нескрываемым удовлетворением, что мне дадут аванс в пятьдесят тысяч долларов — ровно в десять раз больше моего обычного аванса за книгу в Doubleday. Я был ошеломлен. Я боюсь больших авансов. А если не получится оправдать ожидания? Знаю, что писателю полагается по-

жать плечами и взять деньги, позволив издателю разбираться с убытками, но я так не могу. Я бы вернул незаслуженную часть аванса (как уже неоднократно поступал в прошлом). Это не принесет мне удовольствия и вдобавок выльется в ссору с Doubleday, где наверняка откажутся брать деньги со своей обычной затертой фразочкой «не говори глупостей, Айзек».

И я ответил Хью:

— Ох, Хью, с таким авансом Doubleday останется без штанов.

Но он уже выучил слова. И сказал:

— Не говори глупостей, Айзек. Ты уже придумал сюжет?

Было ясно, что в Doubleday настроены убийственно серьезно, и, должен признать, трудно устоять перед авансом в пятьдесят тысяч. Даже если бы я написал плохую книгу и не разрешил ее публиковать или даже если бы не смог ее закончить и тогда пришлось бы уламывать их забрать деньги, в будущем я бы все же имел право сказать: «Однажды мне пообещали 50 тысяч за книгу, хотя я не написал ни слова и не придумал ни одной идеи».

Через неделю мне дали чек на половину аванса (вторая половина полагалась после сдачи руко-

писи), и тут уже валять дурака стало невозможно. Как только я расправился бы с текущими проектами, пришлось бы начинать.

А перед началом предстояло перечитать трилогию «Основание». Это меня пугало. Все-таки я верил, что после стольких лет она покажется мне грубоватой и шероховатой. Наверняка будет стыдно читать чушь, которую я насочинял в двадцать лет.

И вот 1 июня 1981 года я открыл книгу скрепя сердце и уже через пару страниц понял, как ошибался. Конечно, я узнавал в ранних рассказах бульварщину и знал, что после нескольких лет оттачивания мастерства написал бы лучше, но книга захватывала. Оторваться было невозможно.

Я ее забыл как раз в достаточной степени, чтобы не знать, как персонажи решат свои затруднения, и читал с неугасающим интересом.

Конечно, я не мог не заметить, что действия практически не было. Проблемы и их решения выражались в первую очередь в диалогах, в конкурирующих рациональных доводах с разных сторон без четкого обозначения для читателя, кто прав, а кто — нет. В самом начале еще присутствовали злодеи, но чем дальше, тем больше

герои и антагонисты окрашивались оттенками серого, а настоящая проблема всегда сводилась к одному: что лучше для человечества?

Ответ оставался неизвестен. Я его давал, но общий тон серии скорее говорил, что, как и в истории человечества, ни один ответ не может быть окончательным.

Дочитав 9 июня всю трилогию, я ощутил именно то, о чем мне твердили все эти десятилетия, — ярость, что продолжения нет.

Теперь мне хотелось написать четвертый роман цикла, но это вовсе не значило, что у меня появился сюжет. Тогда я раскопал начало четвертого романа, которое набросал несколько лет назад. Я написал четырнадцать страниц и отложил из-за загруженности другими делами.

Теперь я вернулся к тем четырнадцати страницам — читались они хорошо. У меня появилось начало романа, но не конец. (Обычно бывает наоборот.) И я сел его придумывать и на следующий день заставил дрожащие пальцы перепечатать те четырнадцать страниц и продолжать.

Работа продвигалась тяжело. Я пытался придерживаться стиля и атмосферы первых историй. Пришлось воскресить все атрибуты психоистории, ссылаться на события пятисотлетней

давности. Пришлось делать меньше действия и больше диалогов (критики часто жалуются на это в моих романах, ну да и черт с ними), представлять рациональные точки зрения и описывать разные миры и общества.

А главное, я с тревогой осознал, что первые романы писал человек, знакомый только с технологиями 1940-х. Например, в тексте не было компьютеров, хотя я и предположил существование очень развитой математики. Теперь я не пытался это объяснить.

Просто вставил в следующий роман продвинутые компьютеры и понадеялся, что никто не заметит непоследовательности. Как ни странно, никто и не заметил.

Еще в первых романах «Основания» не было «Роботов» — и я не стал их вводить.

Понимаете ли, в 1940-х я писал две отдельных серии: «Основание» и роботы. Я намеренно их развел: действие первой происходит в далеком будущем без роботов, а второй — в ближайшем будущем с роботами. Мне хотелось, чтобы серии оставались как можно дальше друг от друга, чтобы, если мне (или читателю) надоест одна, я мог бы продолжить вторую без особых пересечений. И мне действительно надоело «Основание», и

после 1950-го я его не писал, но продолжил писать рассказы о роботах (и даже два романа).

При работе над новым романом в 1981 году чувствовалось, что отсутствие роботов — аномалия, но уже не получилось бы ввести их внезапно и без предупреждения. Компьютеры — можно; это мелочь, мелькающая на заднем плане. Но роботы обязаны стать важными персонажами, поэтому мне пришлось оставить их за бортом. И все-таки для меня проблема оставалась, и я знал, что рано или поздно решать ее придется.

Новый роман я назвал «Громоотвод» («Lightning Rod»), как мне казалось, по уважительным причинам, но в Doubleday мгновенно наложили вето. У романа из цикла «Основание» в названии должно быть слово «Основание», чтобы читатели сразу поняли, чего им ждать. В этом случае издатели оказались правы, и я наконец остановился на варианте «Край Основания» («Foundation's Edge»).

На роман ушло девять месяцев, и это время было трудным не только для меня, но и для Джанет, потому что мои переживания по поводу качества романа отражались и на моем настроении. Когда мне казалось, что роман не удается, я хранил мрачное молчание, и Джанет призналась, что

тоскует по временам, когда я писал только нон-фикшн, не жаловался на литературные проблемы и мое настроение оставалось солнечным.

Еще одна причина моей мрачности, что во время работы над романом не получалось браться за большие проекты в сфере нон-фикшна, разве что обновлять «Биографическую энциклопедию». Да, за эти девять месяцев я выступил соредактором почти двух десятков антологий, писал небольшие статьи об истории науки для Walker и не сбавлял поток коротких текстов, но я скучал по большим проектам.

Наконец я закончил роман 25 марта 1982 года, тут же его сдал, получил вторую половину аванса на месте, а первый экземпляр «Края Основания» — в сентябре.

В Doubleday сообщали о множестве предварительных заказов, но я это слушал спокойно и без эмоций. За большими предзаказами вполне еще могли последовать большие возвраты, из-за чего реальные продажи окажутся маленькими.

Я ошибся.

Больше тридцати лет поколение за поколением любителей фантастики читали романы «Основания» и требовали добавки. Теперь все читатели, накопившиеся за тридцать лет, набросились

на книгу сразу же, как только она появилась на свет.

В результате уже через неделю после публикации «Край Основания» попал на двенадцатую строчку списка бестселлеров The New York Times, и, честно признаться, я не верил своим глазам. Я публиковался вот уже сорок три года, «Край Основания» стал моей 262-й книгой. Все это время я избегал даже намека на статус бестселлера и теперь не знал, что с ним делать.

В первое воскресенье декабря книга взобралась на третью строчку, а всего продержалась в списке двадцать пять недель. Я надеялся на большее, чтобы говорить просто «полгода», но и двадцать пять недель — это ровно на двадцать пять недель больше, чем я мечтал даже в самых диких припадках мании величия, поэтому с моей стороны глупо жаловаться. (И добавлю, что доход, за который я опасался из-за возвращения к фантастике, быстро удвоился.)

Кстати говоря, когда Хью показал мне макет обложки, я расхохотался, потому что на ней «Край Основания» провозглашался четвертой книгой трилогии. Когда Хью спросил, почему я смеюсь, я напомнил, что «трилогия» — это «три книги», а значит, четвертая — это противоречие.

Хью сконфузился и пообещал все исправить.

— Нет-нет, Хью, — сказал я. — Оставь. Пойдут разговоры, а это хорошо для рекламы.

Но такая реклама в Doubleday была не нужна. Книга стала четвертой в «саге «Основание»». Но оригинал с ошибкой остался висеть у меня в гостиной на всеобщее обозрение.

Конечно, к радости из-за бестселлера примешивалась и ложка дегтя. Мое имя в списке бестселлеров по версии Times отравило мой мозг токсином тревожности — я понял, что обречен. Теперь в Doubleday мне больше не дадут забросить романы, и они не дали.

141. Из прошлого

С началом 1980-х и моего шестого десятка я столкнулся с тем, что знакомо любому перед концом среднестатистического срока жизни. Начинают умирать старшие современники, а порой и младшие.

Бернард Зитин, который был моим непосредственным начальником на NAES и с кем я, разумеется, не ладил, умер в 1979 году в шестьдесят лет.

Глория Зальцберц, приятная женщина на инвалидной коляске, которая уговорила меня пройти тест и втянула в «Менсу», умерла 25 января 1978 года в пятьдесят лет. Ее жизнь явно сократили осложнения из-за детского паралича.

Вдова Джона Кэмпбелла, Пег Кэмпбелл, приятная пышная женщина с выдающейся способностью терпеть его эксцентрику (прямо как Джанет терпит мою), умерла 16 августа 1979 года.

Эл Кэпп, едва не потащивший меня в суд из-за письма в The Boston Globe, умер 5 ноября 1979 года в семьдесят лет.

Чуть позже в 1979-м умер в возрасте семидесяти

пяти лет Роберт Элдерфилд, который усложнял мне жизнь в аспирантуре, а потом взял на год работы по гранту.

Бернем Уокер, глава факультета биохимии в то время, когда я устроился в Школу медицины Бостонского университета, и мой хороший начальник (из редкой породы, с кем я всегда мог ужиться, потому что он никогда меня не трогал), умер 3 апреля 1980 года в семьдесят восемь лет. В последний раз я видел его годом ранее, 15 мая 1979-го, когда приходил в школу выступить с речью и ради меня собрались профессора, когда-то работавшие со мной. Уокеру передвигался с трудом и опирался на алюминиевую трость. Он так изменился, что сперва я его не узнал.

Гарольд Ури, почти не допустивший меня в аспирантуру, умер 6 января 1981 года в восемьдесят семь лет. Примерно в это же время умер в шестьдесят четыре и Ральф Хэлфорд, спросивший меня на докторских экзаменах о тиотимолине.

Были и другие приметы уходящего времени. Чарльз Доусон, мой любимый научный руководитель, на момент написания этой книги все еще жив, ему семьдесят девять. Но 27 февраля он ушел на пенсию, я приезжал в Колумбийский университет проводить его.

Тут уж невозможно не заметить, что время действительно не стоит на месте. Осознание собственной смертности становится все сильнее и в моем случае заметно обострилось после сердечного приступа в 1977-м и появления не таких серьезных, но заметных признаков, как поседевшие волосы, побелевшие бакенбарды или то, что 29 марта 1978 года я уступил старости и купил свои первые очки с бифокальными линзами.

Примерно в то же время напомнил о себе еще один эпизод из прошлого, не имевший отношения к смерти.

В восемь лет я недолго дружил с мальчиком моего возраста Соломоном Фришем. Он сочинял истории и рассказывал их мне, а я всегда слушал как завороженный. Его семья переехала из нашего района, и я потерял с ним связь, но так и не забыл. Вполне вероятно, тогда я впервые слушал истории, а знание, что он их выдумал, могло впервые зародить во мне тягу к творчеству.

Я упомянул о Фрише в первом томе автобиографии, и я настолько люблю писательство, что не сомневался: Солли, так легко сочинявший истории в детстве, наверняка стал писателем, и обязательно успешным. Это казалось неизбежным. А раз я не знал писателей по имени Соломон

Фриш, то предположил, что либо он пишет под псевдонимом, либо скончался.

На самом деле Фриш был жив, и его сын, увидев его имя в автобиографии, сообщил отцу об этом. Он тут же написал мне, и 7 февраля 1981 года мы с Джанет обедали с Солли и его женой Чикки, воссоединившись спустя пятьдесят три года.

Солли очевидно любил свою семью и наслаждался жизнью, но, к моему изумлению и разочарованию, так и не стал писателем. Он работал на почте и сказал мне весело: «Видать, творчески я выгорел еще в восемь лет».

142. Текстовый процессор

Я очень консервативен в привычках. Склонен вставать в колею и не выходить из нее уже никогда, потому что мне удобно делать все так, как я делал всегда. Мир технологий движется вперед семимильными шагами, а я его игнорирую, пока он сам за меня не возьмется.

Я все еще пользуюсь старой пишущей машинкой Selectric III IBM и страшусь того дня, когда она окончательно сломается и придется покупать новую. Особенно мне не хочется брать новые электронные пишущие машинки. Слишком уж они навороченные. Я даже пользуюсь тканой красящей лентой (и достать ее все труднее и труднее), потому что одноразовая пленочная лента при моих темпах и непрерывности работы расходуется слишком быстро.

И, конечно, мне даже в голову не приходило приобрести текстовый процессор.

Что? Бросить верную пишущую машинку? Видите ли, моя странная одержимость преданностью касается даже неодушевленных предметов. Я не мог заставить себя купить маленький

калькулятор, потому что тем самым предал бы свою логарифмическую линейку. Потом, когда калькуляторы мне стали присылать по почте люди, решившие мне их подарить по каким-то непостижимым причинам, я старался ими не пользоваться. А когда даже при всем своем упрямстве оценил их удобство (особенно для сложения и вычитания, с которым логарифмические линейки не помогут), я все-таки сохранил обе линейки, и при их виде меня до сих пор мучает совесть.

Я слышал множество историй о том, как люди пересаживались за текстовый процессор и больше не возвращались к пишущим машинкам. Я просто не хотел так поступать со своей, поэтому пропускал мимо ушей бесконечные уговоры обязательно обзавестись текстовым процессором. Мой брат Стэн говорил об этом не умолкая и наверняка использовал мое сопротивление для шуток о «бестолковом брате Айзеке» на работе.

Наконец весной 1981 года один компьютерный журнал (которых тогда расплодилось неимоверное количество) попросил написать статью о моем отношении к текстовому процессору. Они не сомневались, что он у меня, конечно же, есть — точно так же, как не сомневались, что я дышу.

Я сказал, что у меня его нет, я не могу написать статью. Думаете, я спасся? Куда там. Изумленные и даже негодующие редакторы оперативно заказали мне процессор. Он прибыл 6 мая 1981 года.

Я ужаснулся и изо всех сил старался его не замечать, хотя он и лежал посреди библиотеки в нескольких коробках. Но 12 мая 1981-го приехали два молодых человека из Radio Shack и установили его, пока я в отчаянии заламывал руки. Это был микрокомпьютер TRS-80 Model II от Radio Shack с лепестковым печатающим устройством[102] и программой Scripsit.

Некоторое время спустя меня начали спрашивать, по каким критериям я его выбрал, думая, что человек моего великого ума несколько месяцев взвешивал все «за» и «против», изучал существующие модели и скрупулезно выбирал лучшую.

Я же всегда отвечал: «Ну, мне его подарили. А бывают какие-то другие?»

И все тут же торопились растрезвонить очередную историю «о бестолковом друге Айзеке».

---

[102] Примечания: 102

Лепестковое печатающее устройство — печатающее устройство, использующее принцип ударной печати и представляющее собой гибрид барабанного принтера и пишущей машинки. Название получило из-за расположения набора букв на гибких лепестках вращающегося диска. — Прим. ред.

Мастера, установившие процессор, показали, как на нем работать, и вручили два томика инструкций — большие, тяжелые и написанные настолько непонятно, насколько только возможно. (Складывается ощущение, что авторы руководств всегда предполагают, будто ты и так уже знаешь все, что они пытаются объяснить.)

Советы не запомнились, инструкции не помогли. Я безнадежен в обращении с техникой и никакими стараниями не сумел заставить процессор работать. 4 июня молодые люди вернулись, снова все объяснили, но не помогло и это. К 12 июня процессор провел у меня уже целый месяц, а я так и не мог добиться от него нормальной работы. 14 июня я уже решил просить Radio Shack забрать устройство, но дал ему последний шанс.

И о чудо, все заработало. Видимо, он почувствовал мое решение и испугался, не желая возвращаться. С тех пор я пользуюсь процессором, причем постоянно.

Но только для одного-единственного дела — подготовки рукописей. Мастера Radio Shack настроили мне поля, как я хотел, двойной межстрочный интервал, как я хотел, и все прочее, как я хотел. Не имею ни малейшего представления, как это поменять. Я бы, например, не смог вы-

брать одинарный интервал или расширить поля, поэтому и пользуюсь им только для рукописей.

Еще не знаю, как возвращаться на предыдущую страницу. То есть, когда я что-то пишу на процессоре, я вношу минимальные правки на каждую страницу (орфографию, пунктуацию, иногда добавляю, убираю или перемещаю слово) и перехожу на следующую. И, как только я это делаю, предыдущая страница уже остается практически неизменяемой. К счастью, я не большой любитель правок, и меня это не беспокоит.

Но, главное, я так и не бросил старую добрую пишущую машинку. Пользуюсь ею для переписки, для карточек из каталога — для всего, кроме рукописей. И даже при работе с ними без машинки не обойтись. Признаюсь, что короткие тексты до двух тысяч слов я пишу на процессоре. Но для чего-то подлиннее первый черновик пишу на машинке, а уже потом переношу в процессор, внося минимальные правки страница за страницей.

Старого доброго Стэна это выводит из себя.

— Зачем? — негодует он. — Тебе же все приходится печатать дважды.

Я пытаюсь объяснить, что при работе с длинными текстами мне нужен комфорт от стопки желтых страниц — той стопки с первым чернови-

ком, к которой я привык за многие десятилетия. К примеру, если хочется проверить, что я писал ранее в романе (какого цвета волосы у моего героя?), я лучше пролистаю желтые страницы, чем начну безумный поиск, перебирая дискеты.

Но если первый черновик я пишу на машинке, какой смысл в процессоре?

В былые времена, когда закончишь финальный вариант, все еще оставалась необходимость в последних правках. Приходилось добавлять или убирать слова шариковой ручкой. К тому же надо исправить опечатки. С процессором можно обойтись без ручки. Все изменения электростатично появляются на экране. А значит, я сдаю чистый текст.

Важно ли это? По-моему, да. Из-за правок, сделанных вручную, рукопись выглядит неопрятно. Это несмертельно. Мои редакторы стерпят такую небрежность, но, когда все остальные писатели сдают чистую копию, незаметно исправленную на экране, боюсь, мои помарки плохо смотрятся и создают подсознательное впечатление, будто я пишу плохо — просто потому, что пишу неопрятно. Здесь-то и выручает текстовый процессор. Я сдаю чистую копию, как и все.

В Radio Shack разрешили оставить процессор

на испытательный срок до конца 1981 года с последующей оплатой в рассрочку. Но, сумев запустить устройство, я захотел его оставить, позвонил в «Радио Шэк» и уточнил цену, чтобы выписать чек и разом с этим покончить.

Мне ответили: «Погодите. Не надо выписывать чек. Не хотите ли стать нашим представителем? Если согласитесь, можете оставить его себе — и мы еще будем ежемесячно доплачивать».

Меня это устроило, и я несколько лет был их представителем. То есть время от времени терпел день фотосессии, чтобы сделать снимки для рекламы продуктов Radio Shack. Я испытывал легкий дискомфорт, но процессор работал на славу, поэтому я знал, что нечто достойное.

Но в конце концов в Radio Shack решили перенести все рекламные съемки в Техас, где они базировались, и, конечно, поняли, что я туда не поеду, поэтому больше ни о чем меня не просили, просто ежемесячно платили. Но через некоторое время я не выдержал получать деньги просто так и попросил либо что-нибудь для меня придумать, либо прекратить. Они перестали платить после ноября 1987 года.

Кстати говоря, первая книга, прошедшая через текстовый процессор, — «Исследуя Землю и

космос». Это моя 252-я книга, а теперь их у меня 451. Если считать с теми, что готовятся к печати, получается, за девять лет работы на текстовом процессоре я пропустил через его начинку больше двухсот книг и вдобавок написал на нем около двухсот коротких текстов, еще не попавших в книги. Грубо говоря, всего я ввел в это устройство десять-одиннадцать миллионов слов.

И за все это время — ни одного нарекания. Да, два раза пришлось чинить или смазывать клавиатуру, но я позаботился о запасной, поэтому, пока ремонтируют одну, всегда могу работать на другой и не сбавлять темп. 13 января 1988-го увлеченный мастер заодно заменил и трубку в экране, но сомневаюсь, что в этом действительно была необходимость.

29 марта 1982 года процессор не включился. Я позвонил в Radio Shack, и прибывший на следующий день мастер оценил ситуацию, а потом щелкнул тумблер на стене, который я случайно выключил и думать о нем забыл. Сомневаюсь, что это можно считать за проблему с машиной.

Можно подумать, теперь-то, когда у меня есть процессор и я догнал современность, люди от меня отвяжутся, но не тут-то было. По меркам новых компьютеров мой процессор девятилетней

давности уже считается средневековым. Такие и в Radio Shack уже не производят.

Оказывается, надо идти в ногу со временем и приобретать новую машину по мере их улучшения. Но я не поддаюсь. Не собираюсь менять процессоры, только чтобы не отставать. Я предан своему. Он делает все, что я хочу, а с новым опять придется проходить через чистилище, овладевая новым рефлексом.

Поэтому я всем отвечаю: «Когда сломается мой нынешний процессор, тогда и куплю новую модель».

К счастью, он не ломается.

143. Полиция

У меня никогда не возникало серьезных проблем с законом.

Конечно, за сорок лет вождения я получил-таки пару талонов за парковку в неположенном месте и два-три — за превышение скорости, но, думаю, это не так уж страшно.

Мое худшее нарушение правил дорожного движения случилось на Массачусетской магистрали, где меня остановили за превышение скорости, и тут, к моему ужасу, выяснилось, что у меня водительские права просрочены. Остановивший меня патрульный сделал мне строгий выговор, но не потащил в тюрьму (чего я уже отчасти ожидал). Просто велел сесть за руль Джанет, а мне — не притрагиваться к баранке, пока не продлю права.

Так получилось, что в 1975-м я переехал из отеля, где остановился после возвращения в Нью-Йорк, в большую квартиру, где мы с Джанет с тех пор и живем. Переезд был всего на шесть кварталов, и почта приходила в то же отделение.

И все-таки, когда на старый адрес пришли но-

вые водительские права, в отделении, откуда мне в среднем приносили на новую квартиру пятьдесят писем в день, их почему-то вернули с надписью «адрес неизвестен». Прибыв домой после неудачной поездки, я отправился в центр города за новыми правами, а позже выяснил отношения с почтой.

В 1982 году я вернулся из поездки нездоровым. Вошел в лифт нашего дома, а там попыхивала сигаретой женщина, хотя у нее прямо перед глазами висела табличка «Не курить». Я показал на надпись и попросил прекратить, а женщина выпустила дым мне в лицо.

Тут я попытался выдернуть сигарету у нее из рук, а она сразу завизжала и набросилась на меня. Джанет, зная, что я болен, выскочила передо мной и прогнала ее. Через полчаса у меня на пороге стояли трое полицейских (из них одна женщина), потому что курильщица заявила о нападении. Я разъяснил ситуацию, и они ушли.

В феврале 1983-го я получил повестку в суд и обнаружил, что с меня требуют полмиллиона долларов. Это единственный раз, когда на меня подавали в суд. Скорее развеселившись, чем испугавшись, я позвонил своим адвокатам Дональду Левенталю и Роберту Циклину и с их помощью

вышел сухим из воды.

Дон и Боб — мои адвокаты, но заниматься им особо нечем, а поскольку я не умею ни с кем поддерживать чисто рабочие отношения, мы подружились. Я дважды приводил Боба Циклина, который живет всего в нескольких кварталах от меня, к «Паукам-затворникам», и он так всем понравился, что 21 ноября 1986 года его приняли в клуб единодушным голосованием. Он к тому же стал одним из самых активных участников.

После того иска Боб объяснил мне, как устроена жизнь. Он сказал: «Ее дело было шито белыми нитками, о чем знали и она, и ее адвокат, но они решили, что смогут вытянуть из тебя деньги, если ты захочешь откупиться от лишних хлопот. Так с тобой может поступить любой, будь осторожен. Избегай ссор, если ты теперь знаменитость».

Трудно об этом помнить, но, видимо, в нашем конфликтном обществе иного выбора нет.

Однако мой самый странный контакт с полицией произошел 7 октября 1989 года. Шел тихий вечер воскресенья, мы оба смотрели телевизор. Джанет в своем кабинете смотрела «Стар Трек», а я — повтор «Кейт и Элли» в гостиной, как вдруг в дверь позвонили.

К нам невозможно без предупреждения под-

няться с улицы, поэтому я решил, что это либо работник здания, либо сосед. Я подошел к двери (Джанет отказывается двигаться с места, если смотрит «Стар Трек») и спросил:

— Кто там?

Ответа не последовало, тогда я посмотрел в глазок и, вот те на, увидел полицейскую форму. Я торопливо открыл дверь и встретил пятерых полицейских (из них одна женщина).

— Что случилось, офицер? — растерянно спросил я.

— Нам сообщили о бытовой ссоре, — заявил старший.

— Здесь? — спросил я. — Должно быть, вы ошиблись дверью.

— Нет, — сказал он. — Нам сообщили номер квартиры и фамилию, — он показал на наши имена на двери. — По нашим данным, вы держите нож у горла жены.

Даже Лоуренс Оливье не смог бы сыграть то искренее удивление, что возникло у меня на лице.

— Я? У ее горла? — переспросил я.

И тут понял, что Джанет все еще сидит, закрывшись в кабинете, и решил предъявить целую и здоровую жену, чтобы они не решили, будто за закрытой дверью лежит ее избитый труп.

— Джанет! Иди сюда! — крикнул я.

Пришлось крикнуть еще три раза (пока у полиции усиливались подозрения), прежде чем строптивую Джанет удалось оторвать от сериала. Она увидела полицию и тут же заволновалась.

Я пересказал ей слова полиции, и если кто-то мог изобразить изумление еще более искреннее, чем у меня, то только Джанет.

Когда полицейские поняли, что тревога ложная, и ушли, мы с Джанет обсудили происшествие. Кто мог заявить об этакой нелепости? Очевидный ответ — какой-нибудь мой фанат, возможно, слегка перебрав, посчитал это забавным розыгрышем, но все же очень редкие фанаты так хорошо знают мой адрес и номер квартиры.

Тут я вспомнил, что Джанет кто-то донимал телефонными звонками. (Ее девичья фамилия, под которой издавались ее книги, указана в телефонном справочнике.)

Мы позвонили в полицию. Какое имя им сообщили?

И в самом деле — имя Джанет.

В ту же неделю я написал об этом происшествии рассказ «черных вдовцов». Он назывался «Полиция у дверей» («Police at the Door») и вышел в июньском EQMM 1990 года.

144. Хайнц Пагельс

Я познакомился с Хайнцем Пагельсом за обедом 12 апреля 1982 года. Это был рослый мужчина с высоким лбом и рано поседевшей шевелюрой, странно контрастирующей с его молодым лицом. Я бы не дал ему даже его сорока двух лет. Этот будущий глава Нью-Йоркской академии наук был блестящим физиком. Он написал несколько книг о квантовой механике, в том числе «Космический код» («The Cosmic Code»), который я читал с огромным удовольствием.

Хайнц Пагельс, на мой взгляд, — одно из ярчайших светил науки, посещавших ужины Хью Даунса. Еще он возглавлял клуб «Реальность» — это группа блестящих умов, собиравшихся приблизительно раз в месяц в разных местах Манхэттена, чтобы послушать лекции о передовых рубежах науки и обсудить услышанное. Меня пригласили присоединиться, но я нечасто там бывал. Однако в тех редких случаях, когда я все же приходил, хватало интересных моментов. Например, 7 мая 1987 года я и сам выступил с речью для «Реальности». Я, конечно, рассказывал

о фантастике.

Затем 5 ноября 1987 года Алан Гат затронул интереснейшую тему «инфляционной Вселенной» — эту теорию именно он выдвинул первым.

Некоторое время назад я впервые услышал об этой теории из уст Хайнца: он объяснил, что Вселенная могла начаться с субатомной частицы, представлявшей собой лишь квантовую флуктуацию в бесконечном море «ложного вакуума».

Меня это поразило, потому что за многие годы до первых подобных предположений я написал статью «Космический четырехлистник» («I'm Looking Over a Four-Leaf Clover», F&SF, сентябрь 1966) с собственными размышлениями о начале всего и в ней выдвинул версию «В начале было Ничто», назвав это Первым законом космологии Азимова.

Всего лишь догадка, но я горжусь своей научной интуицией, и мне было отрадно слышать о таком совпадении.

Помню я и споры. 5 февраля 1987 года один спикер рассказывал о ранней христианской церкви, исходя из своих узких взглядов, согласно которым Иисус был фокусником. Я отметил касательно какого-то его тезиса, что истинным основате-

лем христианства является святой Павел и что без него христианство, скорее всего, недолго бы просуществовало и исчезло, как малоизвестная еврейская секта.

Он меня не понял и рассказал о процветающих христианских сообществах, где святой Павел никогда не бывал. Я попытался объяснить, что все эти сообщества были поглощены течениями, в дальнейшем признанными церковью еретическими, а впоследствии растворились в исламе и что христианство выжило и процветало именно в тех регионах, где проповедовал святой Павел.

Я пытался цитировать Горация, который сказал: «Многие храбрецы жили до Агамемнона, но все они неоплаканными и безвестными поглощены долгой смертью, потому что у них не было священного поэта»[103]. Пытался втолковать, что святой Павел для Иисуса — как Гомер для Агамемнона, но так и не смог достучаться, а спикер перебил меня и просто повторил уже сказанное. Я бы не возражал, если бы он выслушал, а потом опроверг, но он даже не слушал, и Хайнцу пришлось меня прервать, потому что он заметил, как я злюсь, и побоялся, что вспышка моей ярости

[103] Примечания: 103
Цит. по Г. Чистякову, «О философских взглядах Горация». — Прим. пер.

заденет чувства приглашенного гостя.

В другой раз я пытался объяснить, что углерод-14 опаснее для человеческого организма, чем калий-40, потому что углерод-14 можно найти даже в генах, где каждый его распад без исключений приводит к мутациям, а калий-40 не присутствует в генах и, следовательно, не гарантирует мутаций.

Нобелевский лауреат Розалин Ялоу возражала, что калий-40 при распаде выделяет больше энергии и поэтому опаснее. Я несколько раз подчеркнул, что опасность представляет не энергия, а местонахождение, но она отказывалась меня понимать.

Конечно, читатель может заявить, что я так же упрям в своих убеждениях, как они в своих. Да, действительно, но я прав, а они — нет, и в этом вся разница.

Помню, в другом случае я задумался о фракталах. Это кривые с интереснейшими свойствами. У них фрактальная размерность, то есть фрактальная кривая не может быть ни одномерной, ни двумерной, а только полуторамерной, потому и называется фракталом. Эти кривые бесконечно сложны, поэтому каждая часть — какой бы малой она ни была — так же сложна, как и все целое.

Первым теорию фракталов подробно разработал франко-американский математик Бенуа Мандельброт, с которым я познакомился 16 апреля 1986 года, когда его награждал почетной степенью Институт Франклина в Филадельфии. Я тогда выступал с главной речью вечера, но мне никто не сказал, что форма одежды — официальная. В результате я оказался единственным мужчиной не в смокинге, что меня ничуть не беспокоило.

Так или иначе, однажды на встрече клуба «Реальность» Хайнц задал такой вопрос:

— Может ли наука когда-либо объяснить все? И можем ли мы определить, может она или не может?

Я тут же подал голос:

— Я уверен, что наука никогда не сможет объяснить всего, и могу привести свои доводы.

— Давай, Айзек, — сказал Хайнц.

— Я уверен, что у научного знания фрактальные свойства: неважно, сколько мы узнаем, — то, что останется непознанным, даже если кажется малым, так же бесконечно сложно, как и первоначальное целое. В этом, по-моему, и заключается тайна Вселенной.

Хайнц задумался и ответил: «Любопытно», но

больше никто из присутствующих ничего не сказал.

25 июля 1988 года во время ежегодного съезда в институте Ренсселера Марк Шартран включил кассету с получасовой записью фрактала. Все начинается с темной фигуры в форме сердца с фигурами помельче рядом, затем она понемногу увеличивается. Постепенно в центр перемещается одна из фигур помельче и растет, пока не занимает весь экран, и тогда видно, что и ее окружают фигуры помельче, а при их увеличении оказывается, что они тоже состоят из более маленьких фигур.

В результате мы медленно погружались в сложность, которая никогда не перестает быть сложной. Абсолютно гипнотическое зрелище — наблюдать, как разворачивается бесконечность. Вот на что похоже научное открытие, подумал я: на бесконечное разворачивание все новых и новых слоев сложности, и так вечно.

И я вспомнил о Хайнце и решил рассказать ему о записи, если он сам о ней еще не знает.

Но в Ренсселервилле я не читал газет, не слушал радио и не смотрел телевизор. Поэтому и не знал, что ровно за двадцать четыре часа до того, как я просмотрел ту кассету, Хайнц Пагельс,

приехав на конференцию в Колорадо, готовился к спуску с горы, на которую поднялся. (Он страстно увлекался альпинизмом.) Он наступил на шаткий камень, потерял равновесие, скатился по склону и погиб.

Я узнал об этом, только когда вернулся домой и просмотрел пропущенные выпуски The New York Times. Я вскрикнул от шока, и Джанет испуганно примчалась узнать, что случилось. На момент смерти Хайнцу было всего сорок девять лет.

145. Новые романы о роботах

Еще до выхода «Края Основания» в Doubleday, опираясь на результаты предварительных заказов и продаж прав на издание за рубежом решили, что роман принесет большую прибыль. Я так не думал, потому что не верил, что моя книга способна стать бестселлером. 261 не-бестселлер подряд — это, на мой взгляд, уже закономерность.

Но в Doubleday настолько преисполнились уверенности, что 18 мая 1982 года Хью О'Нил предложил мне контракт на новый роман — с авансом значительно больше, чем за «Край Основания». Более того, стоило мне поставить, как он протянул чек на половину аванса.

Я сохранял спокойствие. И даже не думал начинать новый роман, пока не выйдет «Край Основания» и я не узнаю, действительно ли он продается.

Узнал. Когда он попал в список бестселлеров, я понял, что выбора у меня нет. И начал новый роман 22 сентября 1982 года.

Но нигде в контракте или беседах с сотрудниками Doubleday не оговаривалось, что это

обязательно должен быть новый роман из цикла «Основание» — его я писать не хотел. Взамен я вспомнил другую незаконченную серию.

Книжная версия «Стальных пещер» вышла в 1954-м, продолжение «Обнаженное солнце» — в 1957-м. В 1958-м я подписал контракт на третий роман об Элайдже Бейли и Р. Дэниеле Оливо (детективе и его роботе-помощнике), потому что намеревался сделать трилогию. Я начал третью книгу в 1958-м и завяз после восьми глав. Больше не получалось выдавить из себя ни слова, а уже написанное меня не устраивало. За ту книгу я и пытался вернуть Doubleday аванс в две тысячи. В конце концов этот аванс засчитали за мою первую нехудожественную книгу — «Жизнь и энергия».

Теперь же, в 1982-м, спустя двадцать четыре года после того, как я не смог написать третью книгу из трилогии о роботах, я снова мыслями вернулся к ней. Если мне удалось успешно добавить четвертую книгу к саге «Основание», неужели я не смогу успешно добавить третью книгу к саге о роботах?

В 1958-м мне помешало желание написать, как в робота-гуманоида, такого как Р. Дэниел Оливо, влюбляется женщина. Тогда я не знал, как с этим

справиться, и с каждой главой все больше и больше боялся описывать эту ситуацию.

Но в 1982-м климат изменился. Писатели свободнее описывали сексуальные сцены, а я стал лучше владеть словом. Я не вернулся к тем потерянным восьми главам (как вернулся к четырнадцати страницам «Основания»). Даже видеть их не хотел. Я решил начать заново.

Меня просили сделать «Край Основания» длиннее моих предыдущих романов, где было по семьдесят тысяч слов — за исключением «Сами боги», где насчитывалось девяносто тысяч слов. Поэтому в «Крае» получилось сто сорок тысяч слов. Я предположил, что просьба относится ко всем новым романам, и очередную книгу тоже решил сделать объемом в сто сорок тысяч слов — то есть размером с два первых романа о роботах, вместе взятых. Так у меня появилось больше пространства, чтобы описать хитросплетения сюжета и мелкие детали новых обществ.

Я назвал новый роман «Мир зари» («The World of the Dawn»), потому что основное действие разворачивается на планете Аврора — так зовут римскую богиню зари. Но последнее слово опять осталось за Doubleday. В названии романа о роботах должно присутствовать слово «робот»,

сказали мне. Поэтому книгу назвали «Роботы зари», но это подходило даже лучше.

Новый роман мне понравилось писать намного больше, чем «Край Основания». Отчасти, наличие за плечами настоящего бестселлера придало мне уверенности. К тому же «Роботы зари», как и первые два романа о роботах, — по сути, детектив, а в детективах я чувствую себя как рыба в воде.

Дописал я 28 марта 1983-го, и к этому времени «Край Основания» так хорошо продавался, а «Роботы зари» так понравились редакторам Doubleday, что мне пришлось полностью сосредоточиться на романах.

На самом деле «Роботы зари» тоже попали в списки бестселлеров, но продержались меньше, чем «Край Основания», хотя, на мой взгляд, получились лучше. На это есть две возможные причины, и обе не имеют никакого отношения к достоинствам книг. Во-первых, «Край Основания» выиграл от длинного ожидания новой книги из цикла. Ожидание третьей книги о роботах не было ни таким же долгим, ни таким же напряженным. Во-вторых, многое зависит от других книг, выходящих в это же время. «Край Основания» попал на время сравнительного неурожая популярных книг, а «Роботов зари»

ожидала сильнейшая конкуренция.

Мне пришлось писать дальше, и из-за удовольствия от «Роботов зари» я написал четвертый роман о роботах. В четвертой части Элайдж Бейли мертв, но я уже решил для себя, что истинный герой цикла — робот Дэниел Оливо и что он продолжит функционировать.

Однако при том, что в каждой книге роботы становились все продвинутыми, откровенно странным казалось, что в «Основании» ни одного робота нет.

Я тщательно продумал причину и понял, что придется связать оба цикла в один. Я решил начать процесс объединения с четвертой книги о роботах, а чтобы на это намекнуть, хотел назвать ее «Роботы и Империя».

Я обсудил это с Лестером и Джуди-Линн дель Реями, потому что Random House купил Fawcett и вместе с тем получил права на мои художественные книги в мягкой обложке. В частности, они выпускали в мягкой обложке мои новые романы 1980-х, и я решил, что они должны знать о моих планах. К моему удивлению и немалой досаде, дель Реи категорически возразили против решения сплавить серии, в одну. Они сказали, что читатели предпочитают отдельные серии и, как

мне показалось, решили не публиковать книги в мягкой обложке, если я исполню свой план.

Я ушел от них, повесив нос, и рассказал о ситуации Кейт Медине. (Хью О'Нил уже ушел в Times Books и моим редактором стала Кейт, которую я знал много лет.)

— А чего хочешь ты, Айзек? — спросила она.

— Я хочу связать циклы, — грустно ответил я.

— Ты автор. Давай.

— Ты не понимаешь, Кейт. Если я так и сделаю, дель Реи, скорее всего, не купят права на мягкую обложку.

— Это не твоя забота, — ответила Кейт. — Пиши что хочешь, а продавать права — работа Doubleday; не дель Реям, так кому-нибудь еще.

(Теперь вы видите, как просто сохранять преданность Doubleday. Они же мне преданны!)

И я написал «Роботов и Империю», приступив к явному объединению циклов. И в итоге добро победило, потому что дель Реи, несмотря ни на что, купили права на издание в мягкой обложке. 18 сентября 1985 года состоялась вечеринка в честь выхода книги, Джуди-Линн дель Рей пришла в приподнятом настроении и не сказала ни слова неодобрения. (Как выяснилось, тогда я видел ее живой в последний раз — как же хорошо, что мы

не предвидим будущего.)

Кстати говоря, хотя «Край Основания» вышел в 1982-м, а «Роботы зари» — в 1983-м, «Роботы и Империя» опубликованы уже только в 1985-м. Причину этой задержки на год я объясню позже.

«Роботы и Империя» очень хорошо продавались и попали в список бестселлеров The Publishers Weekly, как и предыдущие романы, но не в список The New York Times. Это важно потому, что от продаж книги в мягкой обложке шли дополнительные денежные бонусы, если она определенное время держалась в списке бестселлеров, причем учитывался только список The New York Times.

В итоге я пал духом; не из-за потери бонусов, а из-за, как мне казалось, потери статуса в глазах Doubleday. Я пришел к Кейт и сказал, что, пожалуй, мне лучше завязать с романами, раз я не попал в список «Таймс».

А Кейт ответила:

— Не волнуйся. Если книга не попала в список, это виноваты мы, а не ты. Просто пиши свои романы — об остальном мы позаботимся.

И я вернулся к «Основанию» и написал «Основание и Земля» («Foundation and Earth») — продолжение «Края Основания», пятую книгу в

цикле. Она вышла в 1986-м и все-таки попала в список бестселлеров — не только по версии The Publishers Weekly, но и по версии The New York Times.

146. Снова о Робин

Как я уже говорил, разрыв первого брака не испортил и никак не ослабил нашу с Робин тесную связь.

22 мая 1978 года Робин окончила Бостонский колледж по специальности «психология». Затем поступила в Бостонский университет и 17 мая 1981 года получила магистерскую степень по социальной работе.

Я присутствовал на обеих выпускных церемониях. На вручении диплома бакалавра я умудрился не столкнуться с Гертрудой. Это мы осуществили просто: я пришел на торжественную часть, а Гертруда — на последующий прием.

Но вручение диплома магистра не хотели пропускать ни Гертруда, ни я, и Робин, скрепя сердце, пригласила нас обоих, попросив потерпеть друг друга. Должен признать, я опасался, но, видимо, мы оба не хотели расстраивать Робин в такой важный день, и все получилось. Я даже пригласил Гертруду пообедать вдвоем, и все прошло весьма приятно. Она похудела и даже, кажется, бросила курить. Днем ранее ей исполнилось шестьдесят

четыре, но она все еще была привлекательной и выглядела намного моложе своего возраста. Тогда я увидел ее впервые после развода.

В конце концов Робин поняла, что не хочет заниматься социальной работой. Она насмотрелась на горе и страдания тех, за кем ухаживала, и ее доброе сердце так отчаянно им сопереживало, что она впадала в депрессию. А пока администрация Рейгана продолжала перераспределять бюджет больниц и прочих необходимых социальных учреждений в карманы производителей оружия и политиков, условия труда постоянно ухудшались.

Робин решила переехать в Манхэттен и найти работу здесь — в суете самого необычного мегаполиса мира. Я был против. Я люблю Манхэттен и не стану жить где-то в другом месте, если только меня не заставят под дулом пистолета. И я не боюсь за себя, несмотря на общее мнение, что в Нью-Йорке зашкаливает уровень уличной преступности. Ни Джанет, ни я до сих пор не сталкивались с насилием. И все же признаюсь: от мысли, что в Манхэттене поселится Робин, мне стало нехорошо. Но последнее слово оставалось за ней.

Я продолжаю следовать своему принципу

невмешательства в ее жизнь, хоть она и живет в одном городе со мной. Даже не требую слишком часто видеться. Нередко я ей звоню, но (специально) нерегулярно. Не хочу, чтобы она чувствовала себя обремененной, и, более того, меня очень беспокоит, что, когда я умру, ей будет трудно примириться с этим великим неизбежным фактом, несмотря на все мои попытки не вторгаться в ее жизнь.

Я бы предпочел, хоть меня бы это очень опечалило, чтобы она вовсе ко мне не привязывалась, если в результате будет меньше страдать, когда я — вопреки своему желанию — ее покину.

Незачем говорить, что точно так же я переживаю из-за Джанет. Мы с ней неразлучны с тех пор, как я переехал в Нью-Йорк в 1970-м. Глядя, как она надо мной хлопочет, как пугается из-за каждого моего кашля и чиха, могу себе представить ее реакцию, когда я — вопреки своему желанию — ее покину.

Но что тут поделать? (Так и слышу, как Джанет и Робин говорят хором: «Живи вечно! Вот что!»)

Что ж, постараюсь, но, должен признать, чем старше и немощнее я становлюсь, тем сильнее сомневаюсь, что смогу это сделать.

147. Тройное шунтирование

После сердечного приступа прошло шесть лет — и я жил нормальной жизнью, как и прежде. Мое расписание заполняли лекции за пределами города, деловые обеды и ужины, интервью и мероприятия. За эти шесть лет я опубликовал около девяноста книг, включая два романа, попавших в списки бестселлеров.

Почему я не расслабился? Ведь сердечный приступ — уважительная причина.

Во-первых, не хотел. Мне страшно расслабляться.

Во-вторых, отрицатель. Я знавал ипохондриков, которые наслаждаются слабым здоровьем, выпячивают его, уходят от любого врача, который скажет, что с ними все в порядке, пользуются болезнями, чтобы выжимать из окружающих жалость и превращать их в слуг. Я твердо решил не становиться таким. Любую болезнь я считаю оскорблением моей мужественности и поэтому отрицаю — отрицаю, что это вообще со мной случилось. Утверждаю, что я здоров, хотя очевидно нездоров, и если вопреки всем своим словам и

делам слягу, то впадаю в угрюмое молчание до самого выздоровления, а после тут же начинаю отрицать, что вообще болел. Поэтому, как видите, сердечный приступ стал для меня настоящим позором, и я притворялся, как мог, будто его и вовсе не было, чтобы вести нормальную беззаботную жизнь.

В-третьих, я спешил, ведь, несмотря ни на что, меня не покидало понимание, что я смертен; даже более смертен, чем раньше. В молодости я думал, что доживу до главного года фантастики, 2000-го, — другими словами, до восьмидесяти лет. Для меня это само собой разумелось.

Но когда отец и мать умерли в семьдесят, а мне провели первую операцию из-за рака щитовидной железы, пришлось признать, что восемьдесят, пожалуй, — нереалистичный возраст и, пожалуй, лучше надеяться на семьдесят. Затем после сердечного приступа в пятьдесят семь я всерьез задумался: не придется ли мне довольствоваться лишь шестьюдесятью? Отсюда желание не расслабиться, а ускориться, чтобы успеть как можно больше перед тем, как придется — вопреки своему желанию — оставить печатную машинку.

Сложите все это вместе, и поймете, почему в

годы после сердечного приступа я работал настолько плотно, насколько мог выдержать.

Но отрицай — не отрицай, а одно последствие приступа я игнорировать не мог. Стенокардию. Она не очень беспокоила, но если идти слишком далеко, или слишком быстро, или в горку, то в груди чувствовалась боль, и мне приходилось пережидать, пока она не уймется. Я злился из-за этого свидетельства старости и смертности, но ничего не мог поделать.

Впрочем, долгие годы это оставалось мелким раздражителем, ведь достаточно было просто ходить в умеренном темпе и рассчитывать на естественную передышку на светофорах (чтобы притворяться перед самим собой, будто я вынужден останавливаться не по внутренним причинам).

Беда в том, что ситуация постепенно ухудшалась, и наконец в 1983 году дошло до того, что ее уже нельзя было игнорировать. Я больше не мог ее убедительно отрицать. Коронарные артерии сужались из-за накопления бляшек, сердце все сильнее и сильнее задыхалось без кислорода. И все же я не мог заставить себя сказать об этом даже в дневнике; не мог заставить себя написать правду.

В уикенд Дня труда я отправился на Всемирную конвенцию научной фантастики в Балтиморе. 4 сентября 1983 года «Край Основания» с небольшим отрывом выиграл «Хьюго», несмотря на конкуренцию со стороны Хайнлайна и Кларка. Это был мой пятый «Хьюго».

Впрочем, больше конвенция запомнилась тем, что проводилась в двух соседних отелях, поэтому приходилось постоянно перемещаться из одного в другой по надземным переходам, а мне это давалось с трудом.

12 сентября я общался с астрономом Джорджем Эйбеллом, с которым познакомился благодаря Карлу Сагану. Это был очень умный и дружелюбный человек. Причем моложе меня и с виду совершенно здоровый, потому что регулярно делал физические упражнения и даже не отрастил брюшко.

Я задумался о своей сидячей малоподвижной жизни, о нарастающих мучениях стенокардии и, пожалуй, позавидовал бы ему, если бы отлично не понимал, что сам виноват в своем состоянии — оно стало результатом злоупотребления вредной едой и сидячего образа жизни. Я не имел права завидовать. Да и не нужно было этого делать, поскольку 7 октября бедняга Джордж скончался от

сердечного приступа, а я жил дальше. Ему было всего пятьдесят семь — возраст моего сердечного приступа.

18 сентября я посетил «Нью-Йорк — книжная страна» — ежегодную книжную ярмарку на временно перекрытой Пятой авеню. Пришла Робин с двумя друзьями, и мы вместе пошли поужинать. Но мне пришлось, умолять их не спешить, плестись рядом, потому что я не мог идти быстрее. Боюсь, для меня это был очередной позор, не говоря уже о волнении из-за того, что явно встревожил Робин.

24 сентября я уже написал о стенокардии в дневнике.

Но жизнь продолжалась, и я даже умудрялся притворяться, что здоров. Бесперебойно вел лекции, ездил в Коннектикут и в Бостон (чтобы 3 октября 1983 года в последний раз выступить в школе медицины), и даже в такую даль, как Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.

23 сентября я познакомился с Индирой Ганди, когда она попросила о встрече с рядом авторов, и все мы подарили ей книги. Это была приятная интеллигентная женщина.

28 сентября я присутствовал на сборе средств для библиотек, и Ричард Кили зачитывал на

сцене «Моржа и Плотника» Льюиса Кэрролла. Ближе к концу он забыл строчку, и я — после нескольких секунд мучительных раздумий, как поступить, — выкрикнул ее. (Я выучил все восемнадцать строф еще в колледже, а я ничего не забываю.) Он продолжил, а я попытался сползти на кресле пониже, чтобы меня не заметили, но было поздно. Ведущий меня узнал и быстро объявил, кем был «суфлер».

Но 17 октября 1983 года на ежемесячном приеме у Пола Эссермана я наконец сдался и признался врачу, что у меня проблемы из-за стенокардии. Я пытался обратить все в шутку, но Пол не стал меня слушать. Нахмурившись, он позвонил кардиологу Питеру Пастернаку и записал меня на прием.

Так я 21 октября познакомился с Питером Пастернаком, и он тоже отказался обращать стенокардию в шутку. Он назначил день для нагрузочного теста. Я стал пользоваться для облегчения нитроглицериновыми пластырями, но они почти не помогали. 22 октября мы с Марти Гринбергом шли от моей квартиры к отелю, где проводился Бучеркон (детективная конвенция). Идти было всего полмили, но мне пришлось три раза остановиться с нескрываемой мукой. Снова

я опозорился и переволновался из-за того, что встревожил Марти.

25 октября Джанет принесла на собрание «Угощения по-голландски» женскую ножку из полусладкого шоколада (почти человеческого размера, но полую внутри). Мне ее подарили в Doubleday в день выхода книги, но Джанет не разрешала съесть все в одиночку. Клуб с радостью принял угощение и поделил так, чтобы всем (включая меня) достался на десерт кусочек-другой. Я думал, что Джанет после доставки более-менее вежливо выставят на улицу, ведь это мужская организация, но нет. В благодарность за подарок ее усадили за главный стол (пока я, как обычно, сидел за еврейским) и всячески превозносили.

26 октября состоялся мой нагрузочный тест, и я провалил его с треском. На изотопном снимке сердца было отчетливо видно, что артерии закупорены. В тот день я записал в дневнике, что 1983 год станет с большим отрывом моим лучшим годом в отношении доходов, но, увы, «я не жду, что проживу еще долго».

Но жизнь продолжается, и даже в это черное время я ездил на выступление в Филадельфию. С другой стороны, мне хватило предусмотритель-

ности подготовить 4 ноября новое завещание.

14 ноября я ездил в Университетскую больницу на ангиограмму. Закупорка сосудов была выраженной, но не такой серьезной, чтобы я остался вовсе без, как сказал Питер Пастернак, «вариантов». Я мог выбрать тройное шунтирование или без операции вести обычный образ жизни на таблетках нитроглицерина, но превратиться в «сердечного калеку».

— Каковы шансы умереть на операционном столе, Питер? — спросил я.

— Где-то один к ста, — ответил он. — Но при этом считают всех людей — очень старых, тяжело больных, с пороками сердца. В твоем случае шансы гораздо выше.

— А каковы мои шансы умереть в течение года, если я не лягу на операцию?

— Я бы сказал, — ответил Питер, — один к шести.

— Ладно, — сказал я. — Значит, операция.

И Питер записал меня на прием к хирургу.

(Тогда я уже должен был начать новый роман, но отказывался это делать, пока не узнал бы наверняка, что успею его закончить. Я не собирался оставлять незаконченный роман, как Чарльз Диккенс. Вот откуда взялся тот годовой промежу-

ток перед выходом «Роботов и Империи». Но я не ленился. В те месяцы я в бешеном темпе обновлял «Путеводитель по науке», надеясь закончить четвертое издание раньше, чем умру.)

29 ноября я пришел к Стивену Колвину — молодому, худому и гиперактивному мужчине, целиком преданному своей работе и, возможно, лучшему специалисту по операциям на открытом сердце.

Так мне сказал Питер, и, чтобы подтвердить заслуги Колвина, добавил, что годом ранее тот оперировал мать Питера. Я задумался, а потом спросил, чтобы устранить очевидный пробел в логике:

— А ты любишь свою мать, Питер?

И Питер ответил: «Очень!» — да с такой искренностью, что я вверился в руки Колвина со спокойной душой.

Колвин спросил после осмотра, не хочу ли я подождать с операцией до окончания рождественских и новогодних праздников.

Вообще-то у меня имелся повод подождать — 6 января я собирался прийти на ежегодный банкет «Добровольцев Бейкер-стрит». Я готовил песню на мелодию «Danny Boy» и отчаянно хотел ее исполнить.

Но не осмелился рисковать. И сказал:

— Нет, доктор Колвин, я хочу провести операцию как можно раньше.

И ее назначили на 14 декабря 1983 года.

Я досочинял песню, записал на кассету и велел Джанет отнести ее в «Добровольцам Бейкер-Стрит», если сам не смогу. Перспектива операции не улучшила настроение на нашей десятой годовщине свадьбы, наступившей на следующий день после моего разговора с Колвином.

И беда не приходит одна — в больницу попала Салли Гринберг, дорогая жена Марти. У нее был рак почек, и ее состояние оказалось гораздо хуже моего.

За несколько дней до операции я забыл о своем состоянии и, когда не мог поймать такси, побежал к тому, которое наконец остановилось на светофоре. Я хотел заскочить в него раньше других, пока оно не уехало.

Мне придал сил всплеск адреналина, но, когда я сел в такси, назвал пункт назначения и откинулся на спинку, приток адреналина прекратился и сердце, не в силах надышаться, заорало во весь голос. Я пережил самый сильный приступ стенокардии и, схватившись за грудь, задыхаясь, уже было решил, что пришел конец. Сейчас

случится второй приступ, и на этот раз он меня прикончит.

Мне казалось, что водитель доедет до Doubleday, куда я собирался, и обнаружит на заднем сиденье покойника. Не желая связываться с бюрократией (мое воображение не унималось), он поедет дальше до Ист-Ривер, выбросит меня в речку и уедет, а Джанет сойдет с ума от беспокойства, когда я не вернусь домой.

Я полез за блокнотом, чтобы написать большими буквами имя, адрес и просьбу позвонить Джанет, но тут почувствовал, как боль отступает, а по приезде в Doubleday уже пришел в норму. Хотя, конечно, остался сильно потрясен.

Все, что одиннадцать лет назад сказал мне Стэн перед моей операцией на щитовидной железе, — правда. Когда тебя изводит боль, операции не страшны. После таких переживаний я уже не мог дождаться шунтирования.

В понедельник 12 декабря 1983 года я приехал в больницу. Анестезиолог рассказал о сути операции. Я спросил, как проведут шунтирование, если, очевидно, для него придется проделать отверстие в аорте, и я немедленно истеку кровью.

— А, мы остановим сердце, — сказал он..

Я позеленел.

— Значит, у меня останется всего пять минут.

— Нет-нет. Вас положат в аппарат искуственного кровообращения, который поддерживает циркуляцию крови и дыхание.

— А если отключится электричество?

— У нас есть запасной генератор.

— А если сердце не забьется снова?

— Еще как забьется. Самое трудное — не дать ему забиться до завершения операции.

Я поразмыслил и попросил позвать Пола Эссермана.

— Пол, — начал я, — мне стыдно просить анестезиолога, потому что он решит, что я ненормальный, но ты-то меня поймешь. Слушай, моему мозгу нужно много кислорода. Я не могу себе позволить, чтобы он ослаб даже чуточку. Мне все равно, что случится с телом — в рамках разумного, конечно, — но мозг ни в коем случае нельзя лишать кислорода. Объясни всем, кто будет на операции, что у меня необычный мозг и его обязательно нужно защищать.

Пол кивнул.

— Понимаю, Айзек, и обещаю — они тоже поймут. А потом я сам тебя осмотрю.

(Много лет спустя в The New York Times вышла статья об исследовании, которое выявило, что у

одного из пяти человек в аппарате искусственного кровообращения происходит повреждение мозга, необязательно серьезное. Пол и Питер помнили о моем требовании насчет кислорода и оба признали, что я был всецело прав. Мой мозг не поврежден — я в этом уверен, потому что и дальше писал без затруднений.)

Четырнадцатого числа, во второй половине дня, меня вкатили на коляске в лифт, и напоследок я сказал Джанет: «Помни, я получил от Doubleday аванс за новый роман в 75 тысяч долларов, и, если со мной что-нибудь случится, тебе придется его вернуть».

(Когда все закончилось, я рассказал об этом в Doubleday, чтобы впечатлить своим нежеланием брать деньги за книгу, которую я не смогу закончить. И, как сам мог бы догадаться, ответили они старой присказкой: «Не говори глупостей, Айзек. Мы бы не взяли деньги».)

Меня накачали успокоительными, и после того как я оказался в лифте, не помню ничего. Но мне потом рассказывали, что я не давал начать операцию, пока не спою песню.

— Песню? — удивленно переспросил я. — Какую песню?

— Не знаю, — сказал мой информатор. — Что-то

там про Шерлока Холмса.

Очевидно, моя пародия для «Добровольцев Бейкер-Стрит» крепко засела в подкорке. На самом деле в вечер перед операцией я невольно предался одной фантазии. Вот умер я на операционном столе, и Джанет, вся в черном, пришла к «Добровольцам Бейкер-Стрит» с кассетой.

— Мой покойный супруг, — скажет она в слезах, — вспоминая перед смертью о «Добровольцах Бейкер-Стрит», просил передать вот это.

И они включат мою пародию на мелодию «Danny Boy». Первые строки такие:

О, Шерлок Холмс, Добровольцы Бейкер-стрит

Здесь собрались, чтобы тебя почтить.

Яркой звездой образ твой горит,

В наших сердцах, тебя не затмить.

Песню прослушают, и я знал, что все прослезятся, а потом встанут и будут аплодировать, аплодировать и аплодировать двадцать минут подряд. А я в воображении слушал овации все двадцать минут, и в глазах у меня стояли слезы счастья.

Потом мне сделали операцию, и следующее, что я помню, — я открываю глаза и понимаю, что

нахожусь в послеоперационном покое. Я выжил. И первой мыслью стало, что теперь я не дождусь тех оваций, которые сорвал бы будучи мертвым.

— Вот же [ругательство удалено], — сказал я разочарованно.

Всегда считал этот момент главнейшим доказательством моего честолюбия — я расстроился, что выжил, потому что из-за этого лишился аплодисментов.

Потом Пол мне рассказывал, что ждал после операции, когда я открою глаза и узнаю его. Я этого не помню, потому что какое-то время еще пребывал в полудреме — мои воспоминания начинаются только с момента, когда я полностью пришел в сознание.

Я произнес в полузабытье:

— Привет, Пол.

Пол наклонился, торопясь проверить состояние моего мозга.

— Сочини лимерик, Айзек, — сказал он.

Я моргнул, потом медленно проговорил:

– Жил был врач по имени Пол,

Очень маленьким был его болт…

— Достаточно, Айзек, — резко ответил Пол. — С тобой все хорошо.

Когда наступил следующий день, добрая медсестра принесла The New York Times, и я лежал в палате и читал. Мне никто не гарантировал, что я доживу до 15 декабря 1983 года, и тот факт, что я читал газету за этот день, преисполнял меня восторгом. Я жив!

Мимо проходил врач, уставился на меня и спросил:

— Что вы делаете?

Я удивленно поднял глаза.

— Читаю Times.

— В послелоперационном покое?

— А что? Чтение не мешает мне восстанавливаться после операции.

Он ушел, качая головой. Оказывается, пациенты в послеоперационной палате не читают, а только сохраняют покой и лежат полукоматозном оцепенении.

Ко мне приходил Колвин. Я сказал:

— Доктор Колвин, Пол Эссерман говорит, что операция прошла успешно.

— Успешно? — презрительно фыркнул он. — Она прошла идеально.

Оказалось, моя маммарная артерия была в идеальном состоянии, и для шунтирования самой крупной коронарной артерии воспользовались

ею. Для двух других — венами из левой ноги. Артерия выдерживает гораздо больше, чем вена, поэтому артериальное шунтирование главной артерии — это замечательно и гарантирует хорошую форму.

Конечно, в каком-то смысле это было только начало. Для восстановления мне пришлось пролежать в больнице еще около двух недель. Я вам так скажу: хорошо иметь деньги. Замученный больничный персонал не мог позаботиться обо мне как следует, поэтому Джанет просто договорилась, чтобы со мной круглосуточно находились на восьмичасовых сменах частные сиделки.

И все, добавлю, замечательные.

Я много дней не мог принимать твердую пищу, потому что врачи ждали, когда из моей мочи уйдет избыток альбумина. (Аппарат искусственного кровообращения не жалеет почки, и с тех пор мои не работали со стопроцентной эффективностью, хотя это я понял только много времени спустя. Никто не потрудился мне объяснить. Впрочем, не могу жаловаться. Состояние почек не угрожает жизни, в отличие от состояния артерий, которое исправляли на операции.)

Поэтому я много дней жил на супе и желе и возненавидел этот рацион. Когда уровень аль-

бумина наконец снизился до приемлемого, медсестра (красавица, которая работала в больнице, дожидаясь своего прорыва в шоу-бизнесе) принесла мне сэндвич с курицей на магазинном белом хлебе. В былые времена я бы на такой даже не взглянул, но теперь набросился на него, как волк на ягненка, с жадностью прожевал, а потом откинулся на спинку кровати со вздохом удовольствия и сказал медсестре: «Передайте мои комплименты шеф-повару».

Наконец я выписался из больницы 31 декабря 1983 года и смог посмотреть новогодний салют в парке из окна квартиры. А уже 2 января я дополз до «Шан-Ли» (нашего местного и превосходного китайского ресторана), чтобы отметить шестьдесят четвертый день рождения по традиции с дель Реями, а в качестве дополнительного подарка — и с Робин.

Но близилось 6 января, и я донимал Питера Пастернака просьбами разрешить мне сходить на банкет «Добровольцев Бейкер-стрит». Наконец он сдался и сказал: «Если температура будет выше нуля и если не будет осадков».

Это казалось маловероятным, потому что, пока я лежал в больнице, декабрь выдался рекордно холодным. Однако Фортуна улыбнулась мне.

Вечером 6 января 1984-го было 4 градуса по Цельсию, и, несмотря на облачность, обошлось без осадков. Мы сели в такси, сказали водителю, что удвоим чаевые, если он поедет медленно (я бы не выдержал и малейшего столкновения), и прибыли на банкет во время антракта.

Все сгрудились вокруг меня, чтобы сказать, как я замечательно выгляжу (верный признак того, что выглядел я ужасно), а я довольно хрипло исполнил песню, ведь у меня в горле все шесть часов операции торчала трубка. Я дождался-таки своих аплодисментов, но всего на две минуты, а не двадцать. Есть и минусы в том, чтобы быть живым.

Мне рекомендовали оставаться дома и отдыхать, хотя, к моему облегчению, оказалось, что разбор завалов почты и работа над книгами не считаются тяжелым трудом. (По крайней мере, физическим.)

И это большое облегчение, потому что в больницу я попал, так и не отредактировав последнюю главу «Путеводителя по науке». Я смог ее закончить и 17 января 1984-го лично принести в Basic Books (тогда уже вошедшее в конгломерат Harper & Row) и выслушать ото всех, как я замечательно выгляжу. Четвертое издание «Нового путеводи-

теля Азимова по науке» издали в том же году.

У меня остались два повода для беспокойства. Голос так и остался хриплым, и через некоторое время я заподозрил рак горла. Я сказал Джанет: «Если я пережил тройное шунтирование только для того, чтобы нарваться на рак горла, я не на шутку рассержусь».

25 января мы пошли к моему оториноларингологу Ноэлю Коэну, он осмотрел мои голосовые связки и сказал:

— Все еще осталось легкое воспаление от трубки в горле. Вы пели? Кричали? Разговаривали?

— Да, да и да, — ответил я.

— Тогда две недели шепчите, — сказал он.

Это были тяжелые недели, но охриплость прошла.

Вдобавок ослаб и перестал меня слушаться мизинец левой руки. Пол Эссерман предположил, что во время копания в моих внутренностях задели какой-то нерв, и теперь остается только ждать, когда это пройдет.

— Сколько? — негодующе спросил я.

— Трудно сказать, — ответил он, — но нужно запастись терпением.

(Врачи очень терпеливы, когда речь идет о проблемах их пациентов.)

Так продолжалось еще два месяца с половиной. Может показаться мелочью — подумаешь, мизинец, — но это мешало печатать как на пишущей машинке, так и на процессоре, и временами я страстно взывал ко Вселенной: «Забери свое шунтирование и верни мне мизинец!»

Но он восстановился, и к середине марта руки пришли в норму, а я мог печатать, как и всегда, и у меня больше не было стенокардии. (Бедный отец! В его время еще не существовало шунтирования.)

148. Азазел

В 1980-х я начал новый цикл рассказов, непохожий на все, что я делал раньше. Вышло это так…

В начале 1980-го я начал писать детективные рассказы для Gallery, и первый из них не касался убийства (как у меня обычно и бывает). Это, скорее, история фантастического возмездия.

Мой герой отомстил богачу, прибегнув к помощи демона всего двух сантиметров ростом, который умел творить небольшие чудеса. Демон убрал несколько пятен краски с чрезвычайно ценных картин богача. Пятна представляли собой подписи Пикассо и других мастеров, из-за чего картины больше ничего не стоили.

Рассказ, который я назвал «Квиты» («Getting Even»), опубликовали в августовском номере Gallery 1980-го. Он мне до того понравился, что я написал о маленьком демоне еще один рассказ. Но редактор Эрик Проттер запротестовал. Один рассказ о демоне — еще ладно, но не больше. И я с сожалением отложил его в сторону, потому что он мне тоже нравился.

Затем, когда он больше года пролежал в ящике

столе, покрываясь пылью, мне внезапно пришло в голову продать его куда-нибудь еще. Я спросил Проттера, и тот согласился при условии небольших правок, чтобы текст не казался частью серии из Gallery.

Я тут же выдумал нову ситуацию. Только два персонажа — безымянный рассказчик (это, очевидно, я) и бездельник по имени Джордж, который вечно клянчит у меня еду, а потом излагает фантастическую историю о маленьком демоне, которого он умеет призывать. Демона зовут Азазел (имя из Библии).

Я предложил рассказ F&SF, и он вышел в апрельском номере 1982-го под названием «Всего один концерт» («One Night of Song»).

Затем я стал писать другие рассказы серии, выдержанные в едином стиле. В каждом из них Джордж пытается помочь другу с помощью Азазела, и всякий раз эта помощь только мешает. Читатель, конечно, должен угадать, что пошло не так, раньше, чем я это раскрою, поэтому в каком-то смысле и здесь есть детективный аспект.

К тому же рассказы специально написаны слишком вычурно, с атмосферой фарса. С невозмутимым лицом произносятся глупейшие нелепицы, и мне заодно выпал случай написать

сатиру на многие черты общества, которые, на мой взгляд, заслуживают осмеяния. А еще рассказы смешные — по крайней мере, на мой вкус.

После публикации двух историй об Азазеле в F&SF Шона Маккарти, к тому моменту уже ставшая редактором IASFM, возмутилась. Она сказала, что рассказы должны выходить в моем собственном журнале. Я ответил:

— Но, Шона, это же фэнтези. Там речь о демоне. В F&SF публикуют фэнтези, а в IASFM — нет.

— Тогда сделай демона внеземным созданием и дай ему силы, основанные на науке, а не волшебстве, — сказала Шона.

Так я и сделал. Мой рассказ «Кому достаются трофеи» («To the Victor») вышел в июльском IASFM 1982-го — и с тех пор они выходят только там.

Иногда рассказы подвергаются критике в письмах от читателей за легкомысленность, или фривольность, или поверхностность, но я не обращаю на это никакого внимания, хотя и стараюсь даже такие мнения публиковать на страницах журнала. На мой взгляд, IASFM при Шоне Маккарти и затем Гарднере Дозуа стал очень серьезным журналом с рассказами высокого литературного качества, на которых часто нужно сконцентрироваться, чтобы оценить по

заслугам. Иногда появляющиеся истории об Азазеле не требуют никакой концентрации, а сами по себе читаются легко и весело, давая возможность немного развеяться.

Конечно, некоторые утверждают, будто я пишу их только потому, что это легко, а я просто ленивый. Остается лишь отмахнуться, если они думают, будто то, что легко читается, так же легко пишется. Незамысловато писать — это настоящее искусство, и если бы успешные смешные рассказы создавались без труда, то их бы и писали намного чаще.

Когда я опубликовал семнадцать рассказов об Азазеле, мне показалось, что пора бы издать их в виде книги, и я принес сборник в Doubleday, где вместо Кейт Медины моим редактором уже стала Дженнифер Брель. Дженнифер не понравилось, что Азазел — инопланетянин. Она хотела, чтобы он стал демоном. Я сказал, что им он изначально и был, но в моем журнале это заставили изменить.

— Меняй обратно, — ответила Дженнифер. — Мы хотим заявить, что это твоя первая книга в жанре фэнтези.

Я увидел в этом логику и сделал, как она просила. А заодно написал вступительную историю, как рассказчик познакомился с Джорджем. Кни-

га под названием «Азазел» и с подзаголовком «Фэнтези-рассказы» вышла в 1988-м. С тех пор я написал об Азазеле еще восемь историй и, если доживу, рано или поздно, видимо, появится и второй сборник.

149. «Фантастическое путешествие II»

Оказывается, долгоиграющий успех фильма «Фантастическое путешествие» (который время от времени повторяли по телевизору) и моей новеллизации вдохновил кого-то на идею сиквела. Они купили название фильма (но не персонажей) и планировали уговорить меня написать «Фантастическое путешествие II», чтобы снять по нему фильм.

В «Литературном агентстве Уильяма Морриса», занимавшимся этим вопросом, не утихали разговоры, что у нас в руках бестселлер-блокбастер. Я падок на фантазии о бестселлерах, поэтому поддался искушению. Еще меня это заинтересовало, потому что я никогда не был полностью доволен самим «Фантастическим путешествием», ведь книга написана на основе сценария, а значит, это не настоящий продукт моего воображения. Мне казалось, я мог бы куда лучше раскрыть тему миниатюрных подводных лодок в человеческих кровеносных сосудах, если бы мне дали полную свободу.

Мне прислали синопсис, показавшийся мне совершенно непригодным. В нем рассказывалось о двух подводных лодках — американской и советской — в кровеносных сосудах и о субмикроскопической версии Третьей мировой войны. Я бы не стал писать такое ни при каких обстоятельствах и знал, что заставить меня не могут. Если бы дело действительно дошло до книги, я бы оставил за собой полный контроль над содержанием, а если бы на мое условие не согласились, я бы и писать не стал.

Затем, поразмыслив трезво, я задумался, правда ли по книге снимут фильм, а если снимут, получу ли я из его прибыли хотя бы пенни. (Голливуд славится своей «творческой бухгалтерией». Там могут заработать на фильме много-много миллионов, но все уйдет на гонорары актерам и режиссеру, а остатки, «чистая прибыль», из которой и выплачивают процент сценаристу, обычно оказываются «чистыми убытками».)

И я просто отверг их синопсис, сказал, что напишу собственную книгу без всякой опоры на их вариант, и далее добавил, что выпустить ее должны в Doubleday. Если устроят аукцион (на чем настаивали они, заявляя, что так получат миллион долларов, если не больше), тогда на него

должны допустить Doubleday. В конце концов, я не сомневался, что в Doubleday не упустят такой шанс и предложат больше.

Но вышло иначе. Агент позвонил мне и сказал, что больше предложили в New American Library. Я удивился и ответил:

— Ну, тогда я должен попросить разрешения у Doubleday опубликовать роман в другом издательстве.

— Вы обязаны писать по договору только для них? — уточнил агент.

— Вовсе нет, — сказал я. — Спросить их разрешения — просто вопрос чести и этики.

(Я не ждал, что агент поймет суть моего заявления, но и спорить не собирался.)

На тот момент я не до конца понимал, что в Doubleday из-за убытков переживало не лучший период. Параллельно с этим (а уже сама эта ситуация отвлекала издательство от деловых вопросов) у моего редактора Кейт Медины тяжело протекала первая беременность в сравнительно позднем возрасте, и она лежала дома в постели. Ее помощник тоже заболел. Мне не с кем было поговорить о проблеме «Фантастического путешествия II». Наконец, 11 сентября я вышел на надежного редактора — Лизу Дрю. В то время

она взвалила себе на плечи дела вышедших из строя коллег, и я спросил, могу ли я, по ее мнению, написать книгу для New American Library. Застигнутая врасплох, она ответила, что сперва переговорит с руководством.

На следующий день она перезвонила и сказала, что руководство против. (Но уже 18 сентября сама ушла из Doubleday, после чего, к моему великому смятению, сотрудники издательства стали увольняться один за другим.)

Так или иначе, меня пригласили к Сэму Вону и Генри Риту — людям из редакционной верхушки.

Они сказали, что не хотят, чтобы я писал фантастические романы для других издательств. Я растерянно ответил, что, по словам агента, у Doubleday был шанс сделать ставку на аукционе, но они предложили слишком мало. Мне ответили, что вообще не слышали ни о каких торгах.

Тут я уже совсем запутался и перезвонил агенту, и тот ответил, что обращался по поводу ставки к Dell Books, а Dell — это импринт Doubleday, специализирующийся на изданиях в мягкой обложке.

Я возразил. Сказал, что, оговаривая участие Doubleday, имел в виду именно Doubleday, а никак не Dell. Агент ответил, что с корпоративной

точки зрения это одно и то же, но Сэм Вон и Генри Рит утверждали, что ничего не знали о действиях Dell.

Из-за бесконечных телефонных переговоров я только еще сильнее запутался, пока наконец не решил: меня не волнует, кто тут прав, а кто виноват; не буду выяснять, что сказано и сделано; буду придерживаться основ.

Doubleday — мое издательство фантастики. Оно проработало со мной тридцать четыре года и выпустило девяносто книг, включая два бестселлера, и я не собираюсь его подставлять. Так, 27 сентября 1984-го я заявил агенту, что не стану писать «Фантастическое путешествие II».

К 1 октября агент и студия, интересы которой он представлял, уже грозились засудить меня за нарушение контракта. Я ответил, что в письменном виде четко дал понять: аукцион состоится, только если Doubleday получит возможность принять в нем участие. Мое условие не было выполнено.

И все же я предчувствовал, что на меня подадут в суд, и даже если я выиграю дело, то не избежать огромных судебных издержек, потраченного впустую времени и выматывающей нервотрепки. Поэтому 5 октября снова отправился в Doubleday (именно тогда Генри Рит и покачал

головой, сказав: «Айзек, за тобой нужно присматривать», — после того, как услышал, что я даже не прочитал контракт со студией). Я спросил, как мне поступить, и Генри ответил, что в Doubleday за мной присмотрят, их юристы обо всем позаботятся и возьмут расходы на себя. (На мой взгляд, преданность порождает преданность.)

Не знаю, что там провернули в Doubleday, но все разговоры о суде прекратились, а «Фантастическое путешествие II», к моему безмерному облегчению, исчезло в мраке неизвестности.

Я закончил «Роботов и Империю», над которыми работал во время разбирательств, и книгу выпустили в 1985-м. Затем я приступил к роману «Основание и Земля». И тут, к моему полному удивлению, «Фантастическое путешествие II» переродилось. Это случилось так…

Когда писать отказался я, потенциальные создатели фильма обратились к Филипу Фармеру, превосходному фантасту — на самом деле, если спросите меня, куда более умелому, чем я.

Фармер написал роман и прислал им рукопись, но она не устроила ни заказчиков, ни New American Library. Тогда киношники обратились к Скотту Мередиту — возможно, самому выдающемуся литературному агенту в мире, с которым

я тесно познакомился, еще когда мне было двадцать, а ему — семнадцать. Они хотели, чтобы Скотт уговорил меня передумать насчет романа. Попроси кто-нибудь другой, я бы наотрез отказался, но старый друг есть старый друг, поэтому я стал тянуть время и попросил рукопись Фила, чтобы узнать, чего мне делать нельзя.

Скотт прислал рукопись, я ее прочитал. Это был не тот фантастический роман, который хотел бы — или смог бы — написать я, но все же, по моему мнению, превосходный. Более того, он строго придерживался присланного мне синопсиса. Роман рассказывал о Третьей мировой войне в кровеносных сосудах, а количество действия и сюжетных поворотов в нем зашкаливало.

Я позвонил представителям Скотта Мередита и сказал, что все сошли с ума. Они просили конкретный роман — и Фармер его написал. В книге нет ничего плохого. Почему они не приняли рукопись, не нашли издателя и не сняли фильм?

Нет-нет-нет-нет. Меня и слушать не хотели. Они хотели, чтобы роман писал я. И тогда я аккуратно составил ряд условий, которые, как я догадывался, их не устроят.

Им придется заплатить Филу Фармеру, сколько они заплатили бы за принятый роман, потому

что я ни при каких обстоятельствах не стану портить жизнь коллеге-писателю.

Они должны понимать, что мой роман будет значительно отличаться по сюжету от романа Фила (чтобы он при желании мог продать рукопись кому-то еще) и ничем не будет напоминать присланный синопсис.

Издание в твердой обложке выпустят в Doubleday.

К этому времени Doubleday изменилось до неузнаваемости. Ушли Бетти Прашкер, Кейт Медина, Сэм Вон и Генри Рит, Генри Рита заменил Дик Малина, с которым я ни разу не виделся. 27 января 1986 года Скотт Мередит и Дик Малина обговорили все условия и убедили New American Library уступить книгу.

После этого мне пришлось взяться за работу, и я приступил 1 февраля 1986-го. Книга напоминала «Фантастическое путешествие», но получилась длиннее, подробнее, научнее, с лучшей проработкой персонажей — на мой взгляд, лучше во всем. Я остался очень доволен, и Doubleday издало ее в 1987-м. (К тому времени уже ушел и Дик Малина, его сменила Нэнси Эванс, но ни одна из постоянных перестановок не повлияла на мое творчество или отношения с Doubleday как корпорацией.)

Мне кажется, «Фантастическое путешествие II» заработало не так много, как могло бы, потому что я изобразил будущее, в котором Советский Союз и Соединенные Штаты поддерживали настороженную дружбу. Речь шла не о битве подводных лодок в кровотоке, а об одной субмарине, где мой американский герой (не совсем добровольно) сотрудничал с четырьмя советскими членами экипажа.

Пожалуй, историю приняли бы лучше, если бы в ней попросту нанесли сокрушительный удар по Советскому Союзу, а проклятых коммунистов победили и изничтожили, но военные истории — это не мое.

Конечно, через три года после завершения работы над книгой я лукаво ухмыльнулся, когда холодная война закончилась, а Соединенные Штаты и Советский Союз, судя по всему, пошли на сближение. В Штатах твердили на все лады: «Кто бы мог подумать?»

Ну, я мог, и в этом отношении «Фантастическое путешествие II» заглянуло в будущее. Но фильм все равно так и не сняли. Надо было продюсерам сразу сделать так, как я сказал, и работать по роману Фила Фармера.

150. Лимузины

В пору моей бедной юности в Нью-Йорке я обычно ездил на метро или трамвае. Проезд стоил всего пять центов. Такси, хотя и было более удобнеым, оставалось финансово недосягаемыми.

Вернувшись в Нью-Йорк состоятельным зрелым человеком, я предпочитал пользоваться такси. Не только из-за удобства. Метро и автобусы не только подняли плату за проезд с пяти центов до (в итоге) одного доллара пятнадцати центов, но и в той же пропорции стали грязнее и опаснее.

Следующий шаг наверх — это лимузин, но я не торопился на них пересаживаться. Дело в том, что я не любитель лимузинов. Чувствую себя в них не в своей тарелке. Это транспортный аналог смокинга, в котором я тоже чувствую себя не в своей тарелке.

Но сложилось так, что я стал любителем лимузинов, хотя бы отчасти. Чем старше и известнее я становился и чем отчетливее проявлялась моя нелюбовь к путешествиям, тем чаще мне предлагали в качестве дополнительного бонуса лимузин. От такого поди откажись, поэтому мы с

Джанет привыкли ездить на лимузинах, иногда на много миль, а однажды — от Нью-Йорка до Ниагарского водопада. (Мы, естественно, всегда предусмотрительно просим осторожного и некурящего водителя.)

Лишь однажды у меня случилась неприятность из-за лимузина, и произошло это 4 ноября 1984-го. Меня увезли на восемьдесят километров на север штата, где я очень удачно выступил. Затем прошел прием, а потом я собрался домой, но лимузина не было. Организатору выступления пришлось звонить в прокатную компанию. Он резко высказался по поводу того, что меня не ждала машина.

Когда лимузин приехал, я сел внутрь, а водитель зашел в здание и (как я узнал позже) выслушал еще один суровый нагоняй. Я терпеливо прождал в машине около десяти минут, наконец он вернулся и по дороге домой явно пребывал в дурном настроении, потому что (как я узнал позже) организатор выступления отказался заплатить заранее.

Похоже, это не шло у водителя из головы, и, проехав полпути, он остановился у придорожного телефона, извинился и пошел звонить своему начальнику. Затем вернулся и поехал в

направлении, которое сразу же вызвало у меня подозрения.

— Что вы делаете? — спросил я.

— Везу вас обратно, потому что мне не заплатили.

— Не надо этого делать. Мне нужно домой.

— Извините. Начальник сказал, сперва мне должны заплатить.

— Сколько?

— Сто пятьдесят долларов.

— Я сам заплачу. Везите меня домой.

— А если я вас отвезу и вы не заплатите?

— Я заплачу сейчас, — раздраженно ответил я и достал деньги. Тогда он отвез меня домой.

В конце концов деньги мне компенсировал организатор выступления, но я получил довольно неприятный опыт. Справедливости ради, это единственный раз на моей памяти, когда водитель лимузина не исполнил профессиональный долг и не поставил интересы пассажира превыше всего.

151. Гуманисты

Никогда не задумывался над тем, как назвать свои убеждения. Я верю в научный метод и главенство разума как способы познания естественной Вселенной. Я не верю в так называемые «сверхъестественные» сущности, которых нельзя осмыслить с помощью таких методов и подходов. Уж точно не верю в мифологию нашего общества — в рай и ад, в Бога и ангелов, в Сатану и демонов. Я считал себя «атеистом», но это понятие объясняет только во что я не верю, а не во что верю.

Позже я узнал о движении под названием «гуманизм», взявшем такое наименование потому, что его сторонники, проще говоря, верят, что это люди отвечают как за прогресс общества, так и за его невзгоды. Они верят, что если проблемы и можно преодолеть, то сделает это само человечество. Они не верят в хорошее или плохое влияние сверхъестественного на общество, на человеческие беды и избавление от этих бед.

Много лет назад, еще в молодости, я получил «Гуманистический манифест». Прочитал в нем принципы гуманизма, согласился с ними и

подписался. Когда в 1970-х мне прислали обновленный «Второй гуманистический манифест», я согласился и с ним и тоже подписался. Так я стал сторонником гуманизма, и Джанет по собственному почину (и в силу своих принципов, сформировавшихся еще до нашей встречи) присоединилась ко мне.

Более того, когда мы хотели пожениться и выбирали, кто проведет для нас церемонию, мы остановились на Эдварде Эриксоне из Общества этической культуры, потому что он тоже подписывал манифест оба раза. А поскольку его подписывал и я, Эриксон нашел время в своем занятом графике, чтобы поженить нас.

Мой гуманизм, конечно, одними подписями не ограничивается. Я написал десятки статей в поддержку научного подхода, где осуждаю любой псевдонаучный мусор. В частности, я горячо выступал против религиозных фундаменталистов, придерживающихся вавилонского мировоззрения первых глав Книги Бытия. Эти статьи выходили во множестве изданий, а 14 июня 1981-го — даже в The New York Times Magazine.

Еще я писал авторскую колонку в The Times, где сурово (и, по-моему, заслуженно) опровергал взгляды известного астронома, заявившего в сво-

ей книге, будто бы авторы Библии предугадали теорию Большого взрыва и будто бы ученые сначала не признавали эту теорию из-за нежелания поддерживать религиозную точку зрения.

Ту колонку я расширил до книги «В начале» («In the Beginning»), где как можно беспристрастнее рассмотрел каждую строчку первых одиннадцати глав Книги Бытия и сравнил их буквальное толкование с современными научными взглядами. Книга вышла в Crown в 1981 году.

Еще, конечно, ранее выходил двухтомный «Путеводитель по Библии», написанный строго с гуманистической точки зрения.

Все это привело к тому, что в 1984-м Американская гуманистическая ассоциация (American Humanist Association, AHA) выбрала меня «гуманистом года», и 20 апреля я приехал в Вашингтон на церемонию, чтобы получить награду и произнести речь. Посещаемость, конечно, была невысокой, ведь нас, гуманистов, немного. По крайней мере тех, кто готов назвать себя гуманистом.

Подозреваю, если судить по тому, как огромное число людей западной культуры выстраивают свою жизнь, гуманистов гораздо больше, но воспитание и социальное давление вынуждают их

на словах восхвалять религию и не позволяют даже мечтать признаться, что это только на словах.

До меня звание «гуманист года» получали Маргарет Сэнгер, Лео Силард, Лайнус Полинг, Джулиан Хаксли, Герман Дж. Мёллер, Хадсон Хогленд, Эрих Фромм, Бенджамин Спок, Р. Бакминстер Фуллер, Б. Ф. Скиннер, Джонас Э. Солк, Андрей Сахаров, Карл Саган и множество других замечательных людей, так что я нахожусь в компании избранных.

Я выступил с юмористической речью о письмах, которые мне присылают впадающие в крайности религиозные люди: то они, с одной стороны, молятся за мою душу, то, с другой, сулят мне адские мучения. Речь имела большой успех; даже слишком большой, потому что в конце концов меня попросили стать президентом АНА.

Я колебался, объяснив, что не путешествую и не смогу посещать конвенции за пределами Нью-Йорка, и к тому же из-за моего плотного графика, у меня не получится вести активную переписку или участвовать в политических дискуссиях, неизбежных в любой организации.

Меня заверили, что никто не будет заставлять меня путешествовать или делать то, что мне не

нравится. Им требовались мое имя, мои статьи (которые я и так писал) и моя подпись на письмах по сбору средств.

Даже на таких условиях я все еще задумывался, что случится, если я займу настолько высокий пост в гуманистическом движении. Мой журнал IASFM все еще был довольно молод, а один или два читателя уже отменили подписку, «потому что Айзек Азимов — гуманист». Не прикончу ли я журнал напрочь, если стану президентом АНА?

Потом я вспомнил, что весьма откровенно выступаю в своей редакторской колонке — чем же пост президента хуже? Кроме того, я не хотел принимать решения под влиянием трусости. Поэтому согласился и с тех пор занимаю пост президента Американской гуманистической ассоциации.

Ассоциация сдержала слово. Меня не просят путешествовать или решать организационные вопросы. Но я подписываю много писем по сбору средств и продолжаю публиковать гуманистические статьи. Ассоциация довольна, потому что с тех пор, как я стал президентом, ее численность многократно увеличилась, за что они благодарят меня.

152. Пенсионер

Я благополучно пережил шестидесятилетие — рубеж, которого боялся не достичь после сердечного приступа в 1977-м. Затем приблизилось шестидесятипятилетие — очередная веха, до которой боялся не дотянуть в тревожный месяц перед тройным шунтированием.

И вот 2 января 1985 года мне исполнилось шестьдесят пять — этот возраст часто считается границей, преодолев которую становишься «пенсионером», — и это слово я презираю всей душой.

В шестьдесят пять я стал просто стариком.

Шестьдесят пять — это, конечно, традиционный возраст выхода на пенсию, но только в том случае, если тебя кто-то может уволить и назвать это выходом на пенсию. Я писатель-фрилансер, и меня могут отвергнуть, но не уволить. Издатели могут отказаться публиковать мои книги, но они не помешают мне их писать.

И я закатил вечеринку «в честь невыхода на пенсию», пригласив больше сотни человек. Мы с Джанет поставили условия: без подарков и

без курения. Вечеринка без курения — лучший подарок, который только можно придумать для меня. Все прошло великолепно: мне улыбались издатели и друзья, мой брат Стэн выступил со смешной речью и так далее.

А писательская карьера продолжалась как ни в чем не бывало.

Однако 7 февраля 1985 года власти очнулись, и меня вызвали, чтобы взглянуть на мое свидетельство о рождении и налоговую отчетность. (Я бы мог прислать их и письмом, но не стал бы доверять свидетельство о рождении — ветхий клочок бумаги из России — почте, да и чиновникам, если на то пошло.)

Мне сказали, что я имею право участвовать в программе Medicare, и я согласился — с некоторыми угрызениями совести, поскольку оплачиваю дорогую медицинскую страховку, да и без нее могу позволить себе любые медицинские расходы. Но я только что перенес неприятную и дорогостоящую операцию, а в будущем меня могли ждать новые. Я не желал лишаться большей части состояния только ради своего выживания, так как планировал после смерти обеспечить жену и детей. И когда мне сообщили, что я должен согласиться на Medicare, я уступил.

Пенсия — дело другое. От нее я отказался наотрез. Я сказал:

— Я не вышел на пенсию. Я хорошо зарабатываю и буду зарабатывать дальше. Мне не нужны социальные выплаты, зато они нужны другим, так что не тратьте на меня пенсионные фонды, лучше платите другим.

Чиновник за столом ответил:

— Если вы так хотите, ваше право, но только до семидесяти лет. После семидесяти вам придется согласиться на пенсию.

Я пожал плечами и забыл об этом до января 1990-го, когда получил правительственный чек, который я никак не мог объяснить, пока не вспомнил о пенсии. Я посоветовался с бухгалтером, и он ответил: «Ты ее оплачивал, Айзек. Это твои деньги».

И в самом деле. Тут я задумался о сотнях тысяч долларов, которые каждый год уплачиваю в налоговую службу, и сколько из них попадает в карманы жадных политиканов и бизнесменов, и тогда скрепя сердце согласился на пенсию — поверьте, не самую высокую.

153. Снова о Doubleday

После неразберихи с «Фантастическим путешествием II» ситуация в Doubleday по-прежнему оставалась неопределенной (и это слабо сказано). Стало ясно, что Нельсон Даблдэй, владелец компании, а также бейсбольной команды New York Mets, заинтересован только в последней. Раз издательство приносило убытки, он приступил к поискам покупателя.

Как я уже говорил, мои редакторы уходили в поисках лучшей доли один за другим. Но я не собирался прекращать сотрудничество с компанией. Я не из тех, кто бежит с тонущего корабля, особенно если не готов поверить, что корабль тонет. Я предполагал, что Нельсон продаст издательство какой-нибудь другой фирме и все продолжится как раньше.

Он, между прочим, каждый год присылал мне приглашение на стартовый матч Mets на стадионе Shea Stadium, и 14 апреля 1986-го я действительно пошел. Я впервые увидел вживую бейсбольный матч с тех пор, как четверть века назад водил Дэвида на игру Red Sox.

И я обнаружил, что магия ушла. Мне уже не доставляли удовольствие окружение, повсеместное распитие пива, горлопанство болельщиков и понимание: хотя приехал я к стадиону на такси, обратно поеду на метро. (Сейчас, если бы мне пришлось повторить этот опыт, я бы, конечно, вызвал лимузин, но в целом бейсбол того не стоит.)

Не помогло и то, что Mets в том матче проиграли, и Дуайта Гудена, их звездного питчера, ради которого я и пришел, выбили из игры. Потом следующие одиннадцать матчей, куда я, как вы понимаете, уже не ходил, Mets выиграли. По совпадению, после одиннадцатой победы я встретился в лифте офиса с Нельсоном Даблдэем.

— Мистер Даблдэй, — сказал я, — я видел, как Mets проиграли стартовый матч в Shea Stadium, но с тех пор, когда меня не было на трибунах, у них одиннадцать побед подряд.

— Вот и хорошо, — сказал Даблдэй. — В таком случае больше не ходи на матчи, Айзек.

— И не собирался, — ответил я, — но, может, вам стоит приплачивать мне за то, чтобы я не ходил?

В каком-то смысле он мне заплатил, потому что, когда в том году Mets попали в Мировую

серию, он предложил мне четыре билета по номинальной цене (перекупщики задирали цены до небес). Я, конечно, не пошел, но уступил их за те же деньги своему адвокату Бобу Циклину.

Как бы то ни было, после перестановок в Doubleday я попал к редактору Дженнифер Брель. Тогда ей было всего двадцать четыре. Она проработала в Doubleday только два года на посту помощницы Кейт Медины и теперь унаследовала меня.

Как я уже объяснял, я отнюдь не против молодых редакторов и уж точно не против Дженнифер, потому что сразу понял: она усердна, трудолюбива, абсолютно надежна и очень интеллигентна. Мы быстро наладили очень близкие рабочие отношения, полностью устроившие нас обоих. Я был для нее очень важен — так сказать, заявка на редакторскую славу, поэтому она работала очень старательно, а мне только это и нужно.

Я не капризен и с радостью соглашаюсь на любые разумные предложения, поэтому Дженнифер прониклась ко мне дочерними чувствами и, похоже, заботится о моем здоровье и благополучии почти так же сильно, как Робин. Более того, в октябре 1987-го, когда фондовый рынок рухнула на пятьсот пунктов, мне позвонили всего два

человека, чтобы справиться, не разорился ли я. (Вообще-то нет. Я еще помнил рыночный крах 1929-го, и мой брокер Роберт Уорник — славный малый — отлично уяснил, что я имею дело только с облигациями — никаких акций. Я не хотел сорвать большой куш, рискуя многое потерять. В результате обвал рынка не стоил мне ни пенни.)

Первой позвонила Робин, и я ее успокоил, но потом понял, что, хотя куда больше ее заботит мое благополучие, не может ее не беспокоить и вопрос наследства. Второй позвонила Дженнифер, и ей-то о наследстве волноваться не приходилось. Она беспокоилась только обо мне, и меня это очень тронуло. Я, конечно, успокоил и ее.

5 марта 1989-го Дженнифер сказала, что уходит из Doubleday, чтобы помогать в семейном бизнесе своего отца. Далее мной занималась еще более молодая девушка по имени Джилл Робертс — как и Дженнифер, усердная, трудолюбивая, абсолютно надежная и очень интеллигентная.

К примеру…

В конце 1989-го подготовили специальное ограниченное издание моего нового романа «Немезида» («Nemesis»). Я должен был подписать все 500 выпущенных экземпляров. Они индивидуально упаковывались, а затем складывались в

большие коробки по десять штук. Каждую книгу нумеровали и убирали в соответствующие упаковки, и только когда все это проделали, кто-то заметил, что я их так и не подписал.

Мне позвонили рано утром, и каждую большую коробку, каждую маленькую упаковку вскрыли, я подписал каждую книгу, затем их убрали обратно в маленькие упаковки и затем в большие коробки. Я просидел там все утро, ставя подписи. Но это было не в тягость, потому что Джилл построила процесс так эффективно, что книги поступали мне одна за другой. Я только расписывался, пока она открывала коробки, закрывала упаковки и делала все остальное столь оперативно, что мы не пропустили ни одной книги. Замечательный пример эффективности.

Между тем я и сам подавал прекрасный пример, даже не подозревая об этом. Обычно автор, которого по вине издательства заставляют заниматься чем-то неприятным, дает волю эмоциям и портит настроение всем вокруг, особенно если это престарелый почтенный автор, знающий, что ему все сойдет с рук.

Но ко мне это не относится. Во-первых, я не капризен (по крайней мере, в рамках разумного). А во-вторых, я только ставил подписи, а все самое

сложное досталось Джилл, поэтому мне ничто не мешало проводить время с удовольствием, отпуская шутки и распевая песни. К комнате, где сидел я, стекались со всего Doubleday (так мне потом рассказывали), чтобы глянуть одним глазком на эдакую аномалию — довольного писателя.

Закончив, Джилл и еще пара сотрудников настояли на том, чтобы угостить меня обедом, хотя я их и заверил, что это ни к чему. Удивительно, как теперь, когда я старый и безобидный, надо мной хлопочут молодые девушки. Где же все они были, когда я мог коварно воспользоваться их симпатией?

154. Интервью

Ни одному писателю не избежать интервью. Газеты и журналы ненасытны, и чем известнее я становился, тем чаще у меня брали интервью. Даже когда я еще преподавал в школе медицины в самом начале своей необычной писательской карьеры, в Boston Herald вышло интервью со мной на восемь полос, где меня назвали «профессором Бостонского университета».

Я тогда усердно боролся за сохранение своего академического звания, и мои враги в администрации тут же ухватились за заголовок, доказывая, будто я пользуюсь положением с целью раскрутки.

Отбиться не составило труда. Заголовок придумал не я, а в самом интервью не содержится даже намеков на самовосхваление. Кроме того, я согласился на него по просьбе президента Американского химического общества, хотевшего немного прорекламировать предстоящий съезд. В качестве доказательства я привел переписку, а также слегка прикинулся святошей, напомнив о необходимости помогать профессиональному

сообществу. Администрация в замешательстве отступила.

Лучшее интервью со мной в печати вышло на страницах The New Tork Times Book Review 3 августа 1969-го, за день до смерти моего отца.

Еще у меня часто брали интервью на телевидении. Два самых удачных (в том смысле, что больше всего понравились мне) — с Эдвином Ньюманом в 1987-м и с Биллом Мойерсом в 1988-м.

В обоих случаях интервью продлилось час, и ведущий ограничивался только вопросами, позволяя больше говорить мне. Может показаться, что именно в этом и заключается задача интервьюера, но, к сожалению, немногие из них это понимают. Обычно ведущий отчаянно состязается с гостем, отчаянно стремясь доказать свою эрудицию. Мне мериться интеллектом не интересно, поэтому я бы в таких случаях предпочел остаться дома и послушать монолог ведущего.

Однажды интервьюер поддакивал каждому моему слову, хотя, возможно, так он просто показывал, что слышит меня. На съемках я этого почти не замечал, но, когда позже посмотрел интервью по телевизору, пришел в ярость. Его постоянные «м-м» и «угу» заглушали меня и пре-

вращали мою речь в кашу.

Кстати, и с Эдом Ньюманом, и с Биллом Мойерсом я не знал заранее, о чем меня спросят. Не было ни репетиций, ни подготовки. Я просто сидел, слушал вопросы и отвечал. Я давно занимаюсь публичными выступлениями и доходчиво высказываю свое мнение (отточенное в бесчисленных статьях), подготовка мне не требуется, поэтому я говорю легче и красноречивей, когда не разжевываю вопрос про себя вплоть до того, пока не потеряется весь вкус.

Еще бывают телефонные интервью. Когда появилось телевидение, радио потеряло былые позиции и лишилось многих звезд.

Зато возник новый формат радио-ток-шоу. Их ведущие постоянно брали интервью по телефону, а поскольку я не путешествую, то соглашаюсь на них без возражений. Иначе меня не услышат в Детройте, Тампе или Сан-Антонио.

Естественно, просьбы об интервью приходят пачками. Стоит выйти моему роману или важной нехудожественной книге, как на меня обрушивается множество звонков с просьбой об интервью.

Иногда об интервью просят, потому что происходит что-то важное в науке или научной фантастике. Когда на поверхности Марса высади-

лись зонды «Викинг», меня засыпали вопросами, суть которых сводилась к тому, что, раз на Марсе не нашли жизнь, все это ерунда и только перевод денег, правда же, доктор Азимов? И каждый раз я терпеливо объяснял огромную ценность научных знаний о Марсе, даже если на нем нет жизни.

Это достигло пика после 28 января 1986-го, когда вскоре после запуска взорвался шаттл «Челленджер» и погибли семь астронавтов. До меня новости дошли, когда я вошел в клуб «Юнион», чтобы провести обед «Угощения по-голландски». Кто-то принес радио, чтобы слушать последние сводки, и, прямо вам скажу, эта встреча выдалась печальной.

Но я уже знал, что начнется дальше. Мой телефон не умолкал несколько дней — каждое ток-шоу на радио в Штатах желало знать мое мнение. А какое тут может быть мнение, кроме того, что это ужасная трагедия. И что еще я мог сказать, кроме того, что при каждом грандиозном рискованном начинании трагедии неизбежны — и все же работа должна продолжаться.

155. Почести

Если добиться в жизни чего-нибудь повыше уровня бездомного пьянчуги, то невозможно не получить какую-нибудь награду. В ходе своих ораторских приключений я побывал на множестве конвенций, и практически везде людям вручают награды — некоторым (как мне кажется) просто в благодарность за согласие уйти в отставку.

Даже в фантастике награды неуклонно множатся. Есть «Хьюго» (и число категорий все возрастает) и «Небьюла». К тому же появились награды в честь покойных суперзвезд фантастики — в честь Джона Кэмпбелла, Филипа Дика, Теда Старджона и так далее. Возможно, когда-нибудь будет и премия Айзека Азимова[104].

Естественно, я получил множество наград (и

---

[104] Примечания: 104

Такая премия действительно появилась и даже не одна. Например, Комитет скептических расследований (Committee for Skeptical Inquiry) в 1994 году учредил Премию Айзека Азимова, которая присуждается лучшим популяризаторам науки. Американская гуманистическая ассоциация с 1998 года вручает Научную премию Айзека Азимова. С 2016 года в Италии существует Premio ASIMOV за лучшую научно-популярную книгу. Также в 1993 году появилась Премия Айзека Азимова за выдающиеся достижения студентов в написании научно-фантастических и фэнтезийных рассказов, но впоследствии была переименована в Премию Dell Magazine. — Прим. ред.

получил бы еще больше, если бы согласился путешествовать). Некоторые из них незначительные, и самая незначительная, но тем не менее замечательная, — красивая табличка с надписью: «Айзеку Азимову, любимому развратнику». За такое стоит получить награду, правда?

Еще я коллекционирую дипломы; у меня есть не только заслуженная докторская степень, висящая в рамочке на стене, но и четырнадцать почетных докторских степеней, хранящихся в сундуке.

У меня никогда не было своей академической мантии (я отказывался приходить на выпускные церемонии), поэтому в каждом учебном заведении, где я выступал перед выпускниками, мне ее предоставляли на время вместе с академической шапочкой с кисточкой. Но когда я получал почетную степень в Колумбийском, мне разрешили оставить мантию. Какая радость! Теперь у меня есть своя.

Но стоило надеть ее в первый же раз для другого выступления, как во время церемонии пошел дождь — впервые при таких обстоятельствах на моей памяти. Пришлось выступать под зонтиком, чтобы спасти драгоценную мантию.

И больше я ее ни разу не надевал, потому что

уже стараваt для того, чтобы два часа сидеть на солнцепеке и смотреть, как сотням выпускников выдают дипломы, только чтобы затем произнести двадцатиминутную речь.

Есть почести, которые не имеют никакого отношения к моим достижениям — я их получил просто из-за того, где родился, или из-за обстоятельств моего детства.

Так, когда поступили предложения превратить остров Эллис в музей, чтобы воздать должное иммигрантам тех времен, когда остров еще служил Золотой дверью в Землю Обетованную, журнал Life решил найти тех, кто действительно на нем побывал. То есть стариков, потому что Эллис закрыли десятки лет назад.

И одним из этих стариков оказался я. 28 июля 1982 года меня отвезли в нижнюю часть Манхэттена (причем под проливным ливнем) и переправили на пароме на Эллис. Я ступил туда впервые с 1923 года, когда прибыл в Штаты и на радостях заболел корью. Здания пребывали в полнейшем аварийном состоянии, и меня сфотографировали, пока я угрюмо сидел в одном из них.

Фотографию напечатали в Life, и все, кто ее видел, спрашивали:

— Почему ты в резиновых сапогах?

А я отвечал:

— Потому что шел дождь. Почему еще-то?

Через пару лет мне вручили какую-то медаль за то, что А) я был иммигрантом и Б) достиг чего-то, благодаря чему Штаты не слишком пожалели о решении меня впустить. В великолепный солнечный день я прибыл в Бэттери-парке с десятками других знаменитых иммигрантов. Выступал мэр Эд Кох (я и сам трижды объявлял его в качестве докладчика в «Угощении по-голландски»), кто-то спел «Знамя, усыпанное звездами», и в свое время вызвали меня, чтобы вручить награду.

Пожалуй, моя самая удивительная награда — когда мое имя выбили на каменной плите, лежащей на тропинке в Бруклинском ботаническом саду. Я, конечно, такой не один. Всю тропинку вымостили плитами с именами знаменитостей бруклинского происхождения. (Например, там есть имя Мэй Уэст[105].)

Когда мне сказали, что добавят и мое имя, я ответил, что родился не в Бруклине. Мне сказали, достаточно того, что я рос в Бруклине с трех

---

[105] Примечания: 105

Мэй Уэст (1893–1980) — американская актриса, певица, сценаристка, секс-символ 30-х. Помимо откровенных ролей в кино прославилась скандальным поведением и колкими афоризмами. — Прим. ред.

лет и учился в местных общественных школах. И 8 июня 1986-го мы с Джанет отправились в Ботанический сад. Когда такси высадило нас у Гранд-Арми-плаза, мы обнаружили, что все перекрыто для мероприятия (оно было куда масштабнее, чем я ожидал), и такси бы не пропустили, если бы меня не узнал один полицейский.

Мы с Джанет прошли по тропинке, прочитали все имена и встретили разных знаменитостей. Меня попросили сказать пару слов, но истинной звездой был актер Дэнни Кэй, которым я всегда восхищался и с которым тогда встретился в первый и последний раз. Он прозвал меня «пейсами» (это «бакенбарды» на идише) и произнес очаровательную речь.

Но выглядел он нездоровым и действительно скончался 3 марта 1987 года, всего спустя девять месяцев, в семьдесят четыре года.

156. Русские родственники

Я, конечно, знал, что у меня есть русские родственники. У отца было три брата и несколько сестер, кто-то был и у матери. Предположительно, у них родились дети и так далее. Но никакой связи лично я с ними не поддерживал.

В первые годы в Штатах родители время от времени получали письма из России, но мне не читали и ничего о них не рассказывали. (А мне, если честно, было неинтересно.) В результате я вырос, зная только ближайших родственников — отца, мать, сестру и брата, что меня вполне устраивало. Еще были сводный брат матери с женой и сыном, но мы о них почти не слышали.

После войны я почему-то считал самим собой разумеющимся, что, скорее всего, ни один мой родственник не выжил. Те, что вступили в армию, наверняка среди миллионов павших в боях. Те, что оказались на оккупированной территории, наверняка среди миллионов, погубленных жестокостью нацистов.

Только когда мои первые автобиографические книги попали в Советский Союз, я узнал, что

родственники еще живы, — вернее, они узнали обо мне.

Конечно, я много лет был популярным фантастом в Советском Союзе (наверное, не помешало иметь «ов» в фамилии), и наверняка люди с такой же фамилией или их супруги подозревали, что я могу быть их родственником.

Но «Asimov» — не такая уж редкая фамилия в Узбекистане в Центральной Азии, где пишется (на кириллице) через «с». В Белоруссии, где я родился, она пишется через «з», но отец, когда прибыл в Штаты, ошибся в написании. Судя по одной только фамилии, белорусы не могли бы понять, родственник я им или нет. Однажды я даже услышал, что на родство со мной претендуют узбеки.

Однако когда вышла автобиография, стало известно место моего рождения, Петровичи, и имя деда, Аарон. Этого хватило. Я начал получать письма, особенно от своей двоюродной сестры Серафины — дочери Самуила, младшего брата моего отца, который служил в советской армии и пережил войну, но уже скончался. (Другой младший брат Ефрем погиб в боях на Кавказе в 1942 году.)

Самый младший брат отца Борис пережил

войну и переехал в Ленинград, но в 1970-х как-то выбрался из Советского Союза и мигрировал в Израиль. У моего брата Стэна чувство семьи сильнее, чем у меня, и он разыскал его. Затем мы стали решать, как поступить (как-то поступить было надо, ведь Борис наверняка жил в бедности, но он все же был братом нашего отца.)

Я предложил Марше написать Борису, чтобы позже посылать ему чеки. Деньги бы предоставил я, а Стэн принимал бы решения. Если бы у Марши возникли вопросы о нашем дяде Борисе, она бы обратилась к Стэну — в нашей семье у него практически монополия на здравый смысл.

Все обернулось довольно неудачно, потому что Марша наделала в переписке глупостей, но в итоге мы справились. Стэн даже попросил коллегу из Newsday, которая планировала съездить в Израиль, найти Бориса и узнать, как он поживает. Она его нашла. Борис был очень стар, немощен и, оказывается, не совсем в своем уме. Он скончался 30 августа 1986 года.

Но на этом вопрос с русскими родственниками не закрылся. У меня хватало двоюродных и троюродных братьев и сестер, тех, кто на них женился, их детей — и все они писали знаменитому американскому родственнику. Когда Михаил

Горбачев смягчил условия в Советском Союзе, кое-кто переехал в Штаты — и тогда письма стали приходить из Америки.

В одном письме сердились, что я не поспешил во Флориду, чтобы встретить давно потерянных родственников-незнакомцев. Пришлось вежливо ответить, что я никогда не путешествую.

Другие без предупреждения нагрянули ко мне домой. Когда что-то заподозривший консьерж позвонил мне и сказал, что какие-то незнакомцы называются моими родственниками, я спустился к ним. И тогда на меня с объятьями набросилась женщина средних лет и разрыдалась на груди от радости встречи с любимым кем-то там. Я так и не понял, кем они мне приходятся, но на самом деле они только хотели, чтобы я нашел для них жилье. Я сказал, что большая диаспора русских евреев обосновалась на Брайтон-Бич, а они ответили, что уже это знают и ищут район получше.

Они что, думали, я достану квартиру из кармана? В итоге они ушли.

Но письма так и шли со всего Советского Союза. Поразительно, как разветвилась семья.

Это один из вопросов, из-за которых я очень мучаюсь. Не могу не думать, что у многих людей большие семьи и сильные родственные связи и

живут они по кодексу, когда любой родственник может попросить у другого помощь и рассчитывать ее получить. Как я понял, у Джанет все обстоит именно так.

Но у меня большой семьи никогда не было, я не чувствую родство ни с кем, кроме Джанет, Робин и Стэна. Не хочу показаться жестоким и бессердечным, я готов помочь любому родственнику в беде деньгами, но не более того. Я просто не способен встречать их со слезами радости, пускать к себе и обхаживать только потому, что они дальние родственники или ими представляются.

157. Грандмастер

В шестьдесят семь мне казалось, я добился в мире фантастики все, чего только мог пожелать. «Хьюго», «Небьюлы» и бестселлеры. Я состоял в большой тройке. На фантастических конвенциях ко мне относились с почтением, новички в жанре взирали на меня с благоговением. Благодаря заметным белым бакенбардам меня то и дело узнавали на улице, и я не сомневался, что меня бы узнавали по всему миру, если бы я только путешествовал. В таких странах, как Япония, Испания и Советский Союз, я был не менее популярен, чем в Штатах, мои книги перевели больше чем на сорок языков.

Что еще оставалось?

Только одно! В 1975-м Американская ассоциация писателей-фантастов учредила особую «Небьюлу» под названием «премия грандмастера» (Grand Master Awarr). Ее вручали на банкете «Небьюлы» суперзвездам фантастики за все жизненные заслуги, а не за одно произведение.

Первую неизбежно получил Роберт Хайнлайн. Тут и говорить не о чем. Он был главным любим-

чиком читателей, он первый привел научную фантастику в глянцевые журналы и в кино. Его уважали как в фантастических кругах, так и за их пределами. На мероприятие 23 октября 1984-го пришел и Спрэг де Камп, и тогда мы воспользовались возможностью и сфотографировались втроем в тех же позах, что и ровно тридцать лет назад на NAES.

Впоследствии вручались другие премии гранд-мастеров. Вторая досталась Джеку Уильямсону, третья — Клиффорду Саймаку. Другие получили Л. Спрэг де Камп, Фриц Лейбер, Артур К. Кларк и Андре Нортон. Все — заслуженно. Все, кроме Нортон, тесно связаны с Джоном В. Кэмпбеллом и золотым веком научной фантастики.

А главное, все уже постарели, но, к счастью, дожили до почестей. Вообще-то из журнальной фантастики на ум приходят только двое тех, кто обязательно получил бы премию, но не дожил до 1975-го. Это Э. Э. Смит и сам Джон В. Кэмпбелл.

Естественно, мне казалось, что и я верный претендент на премию грандмастера, но когда до этого дойдет?

Премии вручались не каждый год. За одиннадцать лет с 1975-го по 1986-й включительно выдали только семь. Все семь гранд-мастеров

старше меня и все начали издаваться в 1930-х и 1940-х, поэтому у меня не было претензий. Из оставшихся писателей я мог назвать только двух достойных, которые были старше меня, — Лестер дель Рей и Фредерик Пол, — и они могли отсрочить мою очередь еще на срок от двух до четырех лет.

Я переживал. Одна за другой наваливались проблемы со здоровьем, не придававшие особой уверенности в моих шансах прожить еще три-четыре года, и я точно не хотел, чтобы потом люди говорили: «Надо было вручить ему премию, пока он еще был жив». Мне-то что будет с того.

Может, мечты о награде покажутся жадностью, но ведь я тоже человек. Я ее хотел. А кроме того, я считал, что честно ее заслужил. И все же держал свое желание при себе. Не вел кампаний, никак открыто не показывал, что заинтересован в ней.

Но наконец час пробил — и я еще был жив. 2 мая 1987-го на банкете «Небьюлы» мне вручили премию грандмастера. Я стал восьмым обладателем этой награды — и все мы были еще живы, о чем я с радостью упомянул в благодарственной речи.

(Увы, это оказалось последней возможностью так сказать — уже в следующем году скончались два грандмастера, Роберт Хайнлайн и Клиф-

форд Саймак. Более того, в 1988-м году девятым гроссмейстером должен был стать Альфред Бестер, находившийся при смерти, и премию пришлось вручить, когда его уже не было в живых. К счастью, ему успели сообщить новость о присуждении до его смерти 20 сентября 1987-го, в семьдесят четыре года. Десятая награда, последняя на момент написания, досталась Рэю Брэдбери в 1989-м. Надеюсь, скоро и Лестер дель Рей с Фредериком Полом получат свое. Лестеру сейчас семьдесят пять, а Фреду — семьдесят, и они оба заслужили ее сполна[106].)

Кстати говоря, в благодарственной речи я сказал, что у каждого из награжденных есть какое-либо особое отличие. Так, Боб Хайнлайн — первый грандмастер, зато Артур Кларк — первый британский грандмастер, а Андре Нортон — первая женщина-грандмастер. Я же, пусть и восьмой по счету, но все-таки первый грандмастер-еврей.

После банкета Роберт Силверберг (самый выдающийся фантаст-еврей наравне со мной) спросил:

— Раз ты теперь первый грандмастер-еврей, то что же остается мне?

---

[106] Примечания: 106

Лестер дель Рей получил премию грандмастера в 1990 году, а Фредерик Пол — в 1992-м — Прим. ред.

Если Боб не умрет раньше срока, однажды он обязательно станет гроссмейстером, и поэтому я ответил:

— Боб, ты будешь первым красивым гранд-мастером-евреем. — Он улыбнулся и остался доволен[107].

[107] Примечания: 107

Роберт Силверберг получил премию грандмастера в 2003 году. — Прим. ред.

158. Детские книги

Я написал довольно много книг для подростковой аудитории. В художественной литературе у меня, например, есть серия «Лакки Старр» под псевдонимом Пол Френч и серия Норби, которую мы пишем с Джанет (хотя в основном пишет она). В случае нон-фикшна я писал для подростков серию научных книг в Abelard-Schuman.

Для подростков писать нетрудно, если не считать их детьми. Я не упрощаю язык, хотя часто ставлю ударение в технических терминах — просто чтобы те внушали меньше ужаса одним своим видом. Я избегаю слишком длинных и сложных предложений, не использую запутанных отсылок. У подростка есть и интеллект, и логика, не хватает только опыта.

(Вообще-то — и это мое больное место, — моя художественная литература, предназначенная для взрослых, самым высокомерным критикам иногда кажется «подростковым чтивом». Полагаю, по той причине, что в этих романах нет ни намека на насилие или секс, а еще они — вот страшное преступление — понятно написаны.

Это, конечно, значит, что и умные подростки могут с легкостью читать и понимать мои взрослые романы, но это еще не делает их «подростковым чтением».)

Время от времени я писал для уровня начальной школы. Это уже сложнее. Надо следить за языком. Художественная литература должна быть короткой, а нехудожественные книги о науке — особенно понятными.

Моя первая проба для детской аудитории — «Лучшая новинка» («The Best New Thing»), написанная в начале 1962-го. Я нацеливался на совсем маленьких детей и, поскольку Робин тогда исполнилось семь, читал ей вслух — вроде бы ей нравилось. Впрочем, издательство, с которым я работал, захлестнуло цунами преобразований, и книга вышла только в 1971-м от импринта World Publishing.

Я написал несколько рассказов в Boys' Life для более старшего возраста. Самый удачный рассказ в этом журнале — «Сара Топс» («Sarah Tops»), где впервые появляется Ларри, мой сыщик из средней школы. Рассказ потом перепечатали в десятке антологий.

Что касается нон-фикшна, то была та обреченная научная программа от Ginn, где я писал

тексты учебников для классов с четвертого по восьмой. Не хочу о них вспоминать.

Гораздо больше моих личных заслуг в серии четырех книг для Walker & Company: «Азбука космоса» («ABC's of Space», 1969), «Азбука океана» («ABC's of the Ocean, 1970), «Азбука Земли» («ABC's of the Earth», 1971) и «Азбука экологии» («ABC's of Ecology»,1972).

Когда их впервые предложила Бет Уокер, я посчитал задумку хорошей. Еще мне казалось, это будет легко. Но вышло не хорошо и не легко.

Идея заключалась в том, чтобы взять из заданной сферы по два слова на каждую букву алфавита и дать их определения. Но у некоторых букв слишком много вариантов. Так, в книге о космосе «s» подходило для «sun» («солнце»), «star» («звезда»), «Saturn» («Сатурн»), «satellite» («спутник»), «space» («космос») и так далее. Зато у других букв вроде «Y» вариантов практически не существовало. В результате некоторые очень важные слова пришлось отбросить, а некоторые подходящие только частично — включить. Да и дать четкое и точное определение всего в три-четыре строчки тоже оказалось непросто.

Закончив четвертую азбуку, я взбунтовался и бросил это дело. Уокеры не стали спорить, потому

что и продавались книги еле-еле. Наша с ними серия «Как мы узнали?..» для более взрослой аудитории получилась более удовлетворительной и принесла достойную финансовую отдачу.

Затем в 1987 году господин по имени Гарет Стивенс основал издательство в Милуоки, и Марти Гринберг, не упускающий перспективных возможностей, каким-то образом с ним познакомился. Результатом стала моя серия детских книг по астрономии. Марти выступил моим агентом, а потом отказался от комиссии. В этом плане с ним очень трудно работать.

Гарет попросил серию из тридцати двух книг. Каждая книга состояла бы из двенадцати статей на конкретную тему плюс еще трех с «удивительными фактами» и еще трех с «загадочными тайнами». Каждый раз я получал список тем, подготовленный специалистом по школьному образованию.

Первая книга в серии, «Динозавры вымерли из-за комет?» («Did Comets Kill the Dinosaurs?»), закончена 19 июня 1987-го и вышла в конце того же конца. Уверен, с нее решили стартовать потому, что в ней рассказывалось о динозаврах и катаклизмах — и то и другое у подростков очень популярно. И расчет явно оправдался — исходя из

того, как книгу приняли, Гарет в бешеном темпе продолжил работу над остальными.

На данный момент вышли двадцать девять книг из серии, еще две готовятся к печати. Тридцать вторая и последняя потребовалась, когда я не мог писать по состоянию здоровья. Поэтому ее написали в издательстве, но меня могут назвать автором ради единообразия серии. (Если так и случится, в свой список я ее не включу.)

Книги, похоже, успешны. В них множество чудесных и красивых иллюстраций, они популярны в школах и библиотеках. Гарет благодаря поездкам за границу и агрессивной рекламе продал права для множества зарубежных изданий, и во всех (которые я видел) сохранены формат, иллюстрации и стиль, перевели только мой текст.

В этой серии мне не угодила лишь одна тема. Книга посвящалась НЛО, и я возразил на том основании, что НЛО — это уже не астрономия, а мифология. Но Гарет сказал, что выпускает серию по готовому списку тем, а НЛО вызывает особый интерес.

— Ну ладно, — сказал я, — но если я ее напишу, то четко укажу, что нет никаких доказательств существования НЛО и инопланетных кораблей, и подчеркну, что с этой темой связано много

мистификаций и иллюзий.

— Вперед, — сказал Гарет, и я так и сделал.

159. Недавние романы

После «Основания и Земли» я встал в тупик. По своему обыкновению я оставляю в конце один неразрешенный вопрос — на крайне вероятный случай, если захочу продолжить историю. В конце предыдущего романа, «Край Основания», я даже написал: «Конец (пока что)». Джанет это категорически не одобрила — мол, я вынуждаю читателей ждать, хотя сам могу добираться до продолжения много лет.

Продолжение-то я написал быстро, но последний абзац в «Основании и Земле» явно намекает, что существующие осложнения можно разрешить только в другой книге, а я не знал как. Не знаю до сих пор, хоть с завершения работы и прошло пять лет.

Возможно, это одна из причин, почему я написал «Фантастическое путешествие II» — чтобы отложить дальнейшие исследование вселенной «Основания». Но что мне было делать после «Путешествия»?

Так вышло, что однажды я поднимался на лифте в своем доме, и там молодой человек мне

сказал, что прочитал цикл «Основание», и всегда хотел знать, что случилось с Гэри Селдоном в молодости и как он изобрел психоисторию (это вымышленная наука, лежащая в основе цикла).

Я ухватился за это и, когда пришла пора подписывать контракты на новые романы, предложил отправиться назад во времени и написать «Прелюдию к Основанию», чтобы рассказать о происходившем за пятьдесят лет до событий первой книги цикла — о Гэри Селдоне и о создании психоистории.

Дженнифер Брель тут же согласилась и, почувствовав мою усталость от «Основания», предложила не включать роман ни в этот цикл, ни в цикл о роботах, а сделать независимым продуктом с новым оформлением.

Я согласился и начал писать «Прелюдию к Основанию» 12 февраля 1987 года. Книга была закончена спустя девять месяцев и вышла в 1988-м. В мягкой обложке она появилась в 1989-м — как первый том новой линейки в мягкой обложке от Doubleday/Bantam, названной «Основание» в мою честь.

Затем 3 февраля 1988-го я приступил к «Немезиде». В ней действие происходит ближе к нашему времени, чем в романах о роботах

или в «Основании». В книге рассказывается о колонизации спутника у планеты типа Юпитера, которая, в свою очередь, вращается вокруг красного карлика. Моим протагонистом стала девочка-подросток, также я добавил еще двух сильных женщин. В этом романе куда больше эмоциональности, чем я обычно себе позволяю.

Мне понравилось писать этот роман, но на него ушло тринадцать месяцев вместо обычных девяти — по причинам, которые я скоро объясню. Книгу выпустили осенью 1989 года, и она довольно успешно разошлась.

160. Обратно к нехудожественной литературе

Работая над романами 1980-х, я не забросил нон-фикшн. Я писал большое количество статей и публиковал их в сборниках. Это «Так далеко, как может видеть глаз человека» («Far as the Human Eye Could See», Doubleday, 1987) и «Относительность неправильного» («The Relativity of Wrong», Doubleday, 1988), два сборника статей из F&SF. А также несколько книг из серии «Как мы узнали?..» для Walker и, конечно же, книги по астрономии для Гарета Стивенса.

Однако я не писал нон-фикшн для взрослых, не считая «В начале» («Beginnings», Walker, 1987) — моего рассказа об эволюции Вселенной, Земли и человека в обратном порядке, — и примечания к Гилберту и Салливану.

Меня так и подмывало что-нибудь написать, и больше всего я скучал по своим историческим книгам для Houghton Miflfin. Шестнадцатой и последней (после чего издательство закрыло серию) стала «Золотая дверь», четвертый том по истории Соединенных Штатов, вышедший в 1977-м.

С тех пор я не опубликовал ни единой книги по истории и целых десять лет страдал от исторического голода.

Вы можете спросить, почему я не продолжил серию в другом издательстве. Такая мысль меня, конечно, посещала, но проблема почему-то вдруг разрослась. Я вбил себе в голову, что должен написать историю мира с самого начала, охватив все возможные народы. Я рассказал бы ее по-своему, со старомодным акцентом на войне и политике.

Я знал, что куда важнее говорить о социологии, экономике и культурных событиях, и собирался вставлять подобный материал как можно чаще. И все же то, что ныне считается сутью истории, — скучно, а мне хотелось, чтобы книга читалась интересно. Меня не волновало, что скажут критики; я собирался писать себе в удовольствие и вставлять всяческие волнительные события и драму. А значит, войну и политику. В конце концов, раз уж я пишу старомодную фантастику и еще более старомодные детективы, почему бы не написать и старомодную книгу по истории?

Я уговорил Уокера ее опубликовать, он предложил контракт с авансом в тысячу долларов. (Аванс меня ничуть не волновал — главное,

выпустить книгу.) Я начал в январе 1979-го и работал урывками больше года, написав почти полмиллиона слов и дойдя до 1850 года. Но тут снова переключился на романы, и к тому же стало ясно, что последние век с четвертью потребуют еще как минимум полмиллиона слов, поэтому я забросил проект.

Мысли о проделанной впустую работе раздражали, поскольку я люблю хвастаться, что никогда не писал зря и так или иначе опубликовал все, над чем трудился, но эта книга меня одолела. Я, конечно, не считал поражение бесповоротным, так как на протяжении многих лет чувствовал, что когда-нибудь непременно вернусь и закончу ее, но все не заканчивал и не заканчивал.

(И это даже не первый случай провала моих грандиозных задумок. Во время Второй мировой я записывал все происходящее, причем в невероятных количествах, поскольку намеревался написать историю войны, когда та закончится. Так и не написал. Даже не начинал.)

Пока я работал над романами, самые разные издательства подкидывали мне непростые идеи. Даже в Doubleday просили рассказать о достижениях науки в форме вопросов и ответов, и я даже начал и немного сделал, но и эта книга сконча-

лась под давлением романов. Я вернул Doubleday довольно значительный аванс.

Затем в Harper & Row попросили написать историю науки по годам. Я согласился без особого энтузиазма, предчувствуя, что романы все равно подкосят любое серьезное нехудожественное начинание. Но тут мне сделали новое предложение: включить в каждый год и события вне науки. И вот тогда я заинтересовался. Получилось бы что-то вроде книги по истории — обо всем сразу, не только о науке.

Пока я в стремительном темпе писал романы, начать не получалось, но я не переставал об этом думать и мечтать. Затем 8 ноября 1987 года, практически закончив «Прелюдию к Основанию», я отбросил все предосторожности и взялся за книгу, назвав ее «Хронология науки» («Science Timeline»). В конце концов Harper & Row дали ей нескладное, но понятное название «Хронология науки и открытий от Азимова» («Asimov's Chronology of Science and Discovery»).

Как же редко я получал от работы столько удовольствия. Кладезем имен и дат стала моя же «Биографическая энциклопедия науки и технологии». Я достал все книги по истории науки в своей библиотеке. Я прошерстил самые разные энцик-

лопедии. Собрал материал отовсюду и начал рассказывать о науке, начав с отметки в четыре миллиона лет назад, когда появились первые гоминиды. К тому же я подбросил немало обычной истории, пользуясь как собственными текстами — в том числе и недоделанной рукописью по истории мира, — так и всеми подходящими книгами из библиотеки.

Когда настало время «Немезиды», я пытался писать две книги параллельно, чередуя. «Немезида» стала для меня работой, а «Хронология» — наградой. Если получалось написать десять страниц «Немезиды», я чувствовал себя вправе написать двадцать «Хронологии», и так далее.

Преимущество всегда находилось на стороне «Хронологии». Я знал, что «Немезида» принесет в десять раз больше денег, но уже отдал сердце нехудожественной литературе. В результате «Хронологию» я закончил в конце 1987-го, уложившись в сроки, но «Немезида», которую ожидали к той же дате, осталась недописанной. Только когда Дженнифер погрозила пальцем и установила новый окончательный дедлайн, я взял себя в руки и сдал книгу к марту 1988-го.

Обе вышли в октябре 1989-го. «Хронология науки и открытий от Азимова» — огромная книга,

около 700 страниц, в три раза больше «Немезиды», и я очень ею гордился, хотя меня все же тревожили две вещи.

Первая — подготовка словоуказателя, хоть и не была сложнее, чем в случае моих других больших книг, показалась сложнее, потому что сам я постарел и потому что (хотя тогда еще не осознал это в полной мере) у меня ухудшалось здоровье и я быстрее уставал.

Другой тревожный момент — я слишком уж усердствовал с историческими событиями вне науки, и ненаучная часть заняла значительную долю. В Harper & Row, не желая завышать итоговую цену книги, но и не собираясь выпускать ее в двух томах, вырезали много обычных исторических фактов, хотя не тронули ни единого пассажа об истории науки.

Я согласился без возражений, потому что мне уже пришла новая идея.

Запись исторических событий год за годом напомнила о неудавшемся проекте мировой истории для Walker, который я забросил почти десять лет назад. Почему бы не попытаться еще раз, но с другим подходом, по образу «Хронологии»? Тогда бы, пожалуй, получилось предложить ее Harper & Row в качестве дополнения к первой.

Я взялся за дело и потратил на нее больше времени, чем на любую другую свою книгу по истории. Я начал 15 миллиардов лет назад, с Большого взрыва и создания Вселенной, намереваясь дойти до дня сегодняшнего.

Я перевалил за 1850-й, на котором когда-то запнулся при первой попытке, отчасти благодаря систематическому подходу к структуре книги, а отчасти благодаря большей точности. Впрочем, дойдя до Второй мировой, я понял (снова), что не смогу довести события до настоящего времени. Получится слишком длинно. Мне показалось, что 1945-й — подходящий момент, чтобы остановиться, а когда-нибудь в будущем я смогу написать еще одну книгу по истории мира после 1945-го.

Вообще-то пришлось прерваться на середине Второй мировой — по причинам, которые я скоро объясню, — но теперь я знал, что остановка только временная. Я обязательно закончу книгу, если только не умру.

Конечно, из головы не шел вопрос этики: а что же с контрактом Walker по истории мира?

Я мог бы легко от него отмахнуться. После той первой попытки я написал для Walker под сорок книг, там не могли пожаловаться, будто я ими пренебрегаю.

И все-таки мне заплатили аванс в тысячу долларов. К счастью, в 1989-м Бет Уокер вспомнила о приближении 2000 года и предложила написать книгу о положении дел в человеческой истории на рубеже каждого тысячелетия. Затем, добравшись до настоящего момента, я продолжу и сделаю главу о том, чего можно ожидать в 3000 году.

Я согласился без раздумий при условии, если этим проектом позволят заменить недоделанную историю мира и будут считать аванс в тысячу долларов выплаченным за новую книгу. Они согласились, но настояли на том, чтобы перечислить мне еще тысячу. (В вопросе авансов издательства слушаются меня редко. Вечно суют больше денег, чем я прошу.)

Книга писалась легкой, я управился за несколько месяцев. Она выйдет под названием «Следующее тысячелетие» («The Next Millennium»).

161. Роберт Силверберг

Роберт Силверберг родился в 1936 году, и его жизнь началась практически так же, как и моя. По крайней мере, прочитав первый том моей автобиографии, он сказал, что ему многое напомнило о собственном опыте.

Охотно в это верю — нет сомнений, что он был таким же умным, как и я, и, возможно, так же плохо вписывался в общество, как я. Впрочем, последствия оказалались совсем разными. Я всегда был шумным, наглым и готовым влезть в любую компанию, поэтому те, кому я не нравился, считали меня шутом. Боб же серьезен и мрачен, и, хоть у него есть острое и сильное чувство юмора, блистает он им только периодически — и когда ждешь этого меньше всего.

Я считал эту его серьезность признаком несчастного человека, о чем и написал в предыдущей автобиографии. Он мне позже подтвердил, что действительно был несчастлив в первом браке. Но ведь и я тоже, и если вычесть это общее несчастье, то он все равно остается серьезным, а я — наглым.

Думаю, его это немного беспокоило, потому что помню: как-то раз он сказал, что не может рекламировать себя так же, как Айзек Азимов и Харлан Эллисон. Впрочем, возражу: это не самореклама — просто такие уж мы с Харланом люди. Не будь мы такими от природы, не сумели бы это разыгрывать только для рекламы. Либо это есть в человеке, либо нет.

Впрочем, у Боба много других достоинств. Во-первых, он один из лучших фантастов и если бы родился на пятнадцать лет раньше, то скорее он вошел бы в большую тройку, а не я.

Во-вторых, он чрезвычайно плодовит. По крайней мере, у него явно те же плодовитость и удивительный разброс тем, что и у меня. Он писал первоклассный нон-фикшн, и помню, как с огромным удовольствием читал его книги о строителях курганов доколумбовой Америки или о пресвитере Иоанне[108]. В дальнейшем Боб писал и очень хорошие исторические романы — мне понравилась книга о Гильгамеше из Шумера.

Впрочем, главная разница между мной и Бобом заключается в одном: Боб больше похож на нор-

---

[108] Примечания: 108

Пресвитер Иоанн — персонаж средневековых легенд, правитель могущественного христианского государства, расположенного где-то в Центральной Азии. — Прим. ред.

мального человека. Он любит путешествовать и заниматься еще множеством вещей. А это мешает много писать. Еще он намного практичнее меня. Он намеренно бросил нон-фикшн, потому что это приносит меньше прибыли, тогда как для меня удовольствие от нон-фикшна перевешивает финансовый фактор. А когда Боб почувствовал, что издательства не перевыпускают его книги, он «ушел» из литературы на пять лет. (Для меня такая реакция немыслима. Этим бы я наказал скорее себя, чем издательства или читателей.) К счастью, в конце концов Боб вернулся.

Его первый рассказ вышел в 1954-м, а познакомились мы на фантастической конвенции в Цинциннати в конце июня 1957-го. Когда я вернулся в 1970-м в Нью-Йорк, дель Реи, Силверберги и Азимовы составили эдакий секстет с вечно энергичной Джуди-Линн в качестве заводилы. Несколько раз мы все собирались на седер[109], который Лестер требовал проводить со всей подобающей торжественностью. Еще Лестер отменно готовит, и хотя я не находил в себе нужного религиозного энтузиазма, зато наедался до отвала.

Но потом Боб решил, что Нью-Йорк — это не

[109] Примечания: 109

Седер — ритуальная семейная трапеза, проводимая в первый день еврейского праздника Песах. — Прим. ред.

для него, и уехал в Окленд, штат Калифорния, где с тех пор и живет. Я, конечно, сожалел о расставании с ним и не мог не подумать, что миграция из Нью-Йорка в Калифорнию — примерно то же самое, чем ранее была миграция из Европы в Соединенные Штаты: поиск лучшей доли и новой жизни. В Калифорнии Боб развелся и вскоре снова женился, на этот раз счастливо (как и я).

В 1988-м Марти Гринбергу пришла идея. (Ему постоянно приходят идеи.) Он заметил, что такие стареющие писатели, как я, в молодости написали множество отличных журнальных рассказов, с которыми потом больше ничего не делали, да и не планировали делать. Почему бы не дать классический рассказ молодому писателю, чтобы развернуть в роман?

В частности, почему бы не найти того, кто возьмет мой «Приход ночи», уже сорокасемилетней давности, и расскажет историю как есть, но добавит подробное начало и подробный финал? Я все это выслушал в некоем замешательстве. В конце концов, другой писатель может испортить рассказ и написать что-то совсем не «азимовское».

Марти сказал, что за мной всегда останется последнее слово и даже право вносить изменения при необходимости. Кроме того, он хотел

обратиться к Бобу Силверсбергу, потому что тот — мастер своего дела.

— Да брось, — с недоверием сказал я. — Боб никогда не согласится похоронить свое творчество в азимовском сюжете.

— Согласится, — ответил Марти и оказался прав.

Мне все еще было не по себе. В конце концов, после «Немезиды» с меня причитался еще один роман. Контракт уже подписали, от меня ждали очередную книгу из цикла «Основание». Я все еще не мог заставить себя написать продолжение «Основания и Земли», поэтому планировал заполнить пробел между «Прелюдией к Основанию» и «Основанием».

Новый роман под названием «Путь к Основанию» был начат 4 июля 1989 года, но я уже не на шутку устал от романов. В 1980-е я написал целых семь, в общей сложности почти миллион слов, и уже был готов на очередной перерыв в двадцать лет (если б еще только прожить эти двадцать лет)). К тому же не терпелось закончить свою историю мира, подходившую к отметке в полмиллиона слов.

Тут мне пришло в голову, что если Боб напишет роман «Приход ночи», то это можно считать

художественной книгой 1990-го и я получу годовую передышку, чтобы закончить «Путь к Основанию».

Естественно, оставались всякие тревожные мелочи. Во-первых, что поделать с моей этикой? Правильно ли ставить свое имя на книгу, если большую ее часть напишет Боб, и потом еще требовать равную долю роялти? Я рассказал об этих переживаниях Марти, а он тут же отметил, что у Боба есть преимущество — готовая социальная основа, не говоря уже о существующих персонажах и событиях, — а значит, я имею полное право на свою половину. Я поддался уговорам Марти.

Но мелочи еще оставались. Я объяснил Бобу, что не хочу видеть бессмысленный секс, ненужное насилие или вульгарные выражения, и он на это согласился, подтвердив, что только рад предоставить мне последнее слово в любых разногласиях. Скажу «Удалить!» — он удалит, скажу «Изменить!» — он изменит.

Боб же, со своей стороны, хотел гарантий, что я не постараюсь его затмить и не напишу свое имя на обложке крупным шрифтом (как незадолго до того случилось с Артуром Кларком, чье имя полностью затмило на обложке имя его соавтора). Я ответил, что Боб плохо меня знает, если думает,

что я такое допущу. Мы будем на равных (и в этот раз, памятуя, как обошлись с бедной Карен Френкель, я заранее проверил, что в Doubleday понимают важность этого момента.)

На самом деле убедить Doubleday в необходимости проекта оказалось непросто, потому что там хотели новых романов, а не расширения старого рассказа, но, когда я сказал, что хочу передохнуть, они уступили. И даже согласились на целых три романа. Бобу предстояло расширить не только «Приход ночи», но и «Уродливого мальчугана», и «Позитронного человека» («The Positronic Man»).

В конце концов мне пришла рукопись «Прихода ночи» от Боба. Несмотря на наши договоренности, я в ужасе ждал, что не смогу ее дочитать, и гадал, как буду в этом признаваться Бобу, Марти и Doubleday.

Бояться не стоило. Боб проделал удивительную работу — я едва не поверил, что все написал я сам. Он остался абсолютно верен оригинальному рассказу, мне почти не с чем было поспорить. Боб уже подготовил план своей версии «Уродливого мальчугана». Я его видел и одобрил целиком и полностью.

Боб изменил в «Приходе ночи» название планеты и имя одного персонажа, потому что я

намеренно брал шумерские и египетские названия, чтобы сделать мир чужеродным, но не слишком. Бобу это казалось ошибкой, он не хотел каких-либо напоминаний о Земле, и вполне мог быть прав. Так или иначе, я позволил ему сделать по-своему.

162. Собираются тени

В 1972-м, после выхода «Биографической энциклопедии науки и технологии Азимова», у меня вошло в привычку следить за некрологами в «Нью-Йорк Таймс». Мне нужно было знать, если умрет какой-нибудь ученый, упомянутый в последних главах моей книги. Я записывал точный день и место смерти в свой особый экземпляр, который хранил специально для этого. Так я готовился к будущим переизданиям и с тех пор всегда следовал этой схеме.

Я начинал читать некрологи отстраненно, ведь смерть, понятное дело, только для стариков. Мне тогда было пятьдесят два и казалось, что конец все еще где-то далеко. Но чем старше я становился, тем мало-помалу важнее и зловещей начинали выглядеть некрологи. Теперь эта привычка стала нездоровой и навязчивой.

Подозреваю, это знакомо подавляющему большинству. Огден Нэш написал строчку, которая запомнилась мне навсегда: «Старики знают, когда умирает старик»[110].

---

[110] Примечания: 110
«Old Men», Огден Нэш, 1945. — Прим. пер.

С годами я видел в ней все больше смысла. В конце концов, старик для того, кто давно его знает, вовсе не «старик», а живущий в памяти молодой человек, полный жизни и энергии. Когда умирает старик из твоего круга, с ним умирает и частичка твоей молодости. И хотя сам ты живешь дальше, приходится наблюдать, как смерть частичка за частичкой разъедает твой мир молодости.

Может, и есть какое-то мрачное удовлетворение в том, чтобы остаться последним выжившим, но намного ли это лучше смерти — стать последним листком на дереве, оказаться в одиночестве в незнакомом и враждебном мире, где никто не помнит тебя в детстве, где никто не разделит с тобой воспоминания о давно ушедших временах, что сияли повсюду вокруг, когда мы были молоды?

Такие вот мысли время от времени охватывали меня, когда 2 января 1989 года мне исполнилось шестьдесят девять лет и я знал, что мне остался год до библейских «семидесяти — дней лет наших»[111].

Не подумайте, я не совсем пал духом. По боль-

---

[111] Примечания: 111
Пс. 89:10. — Прим. ред.

шей части я сохранял оптимистичный и жизнерадостный настрой. Поддерживал активный график мероприятий, выступлений, редакторских конференций и бесконечно писал, писал, писал. Но иногда, глухой ночью, когда не спится, я задумываюсь, как же мало осталось тех, кто вместе со мной помнит, с чего все начиналось.

Теперь в фантастику пришли блестящие молодые люди, которые наверняка считают меня живым динозавром, последним из устаревшего клана, необъяснимо дожившим до современности; которые наверняка вспоминают великого Джона Кэмпбелла — если вообще вспоминают — как мифическую ископаемую личность.

Иногда мне кажется, что если бы я не твердил о Кэмпбелле в своих текстах, то он бы наверняка стерся из людской памяти — и точно так же, часто думаю я, сотрется после первого порыва сожалений и мое имя, когда я умру.

Я не думаю, что буду жить вечно, и не сожалею об этом, но все же я слаб и хочу, чтобы меня вечно помнили. И все же сколь редкие из живших, даже достигшие куда больше моего, задерживаются в памяти мира хотя бы дольше века после смерти.

Как видите, все это опасно граничит с грехом, который я ненавижу больше всего, — с жалостью

к себе, — и я с этим борюсь. Однако бывают времена, когда сложно переносить все более частые удары смерти последних лет.

В этой книге я их перечислил уже немало.

В семье из моего поколения умер муж моей сестры Марши, Николас, муж Чоси Беннеттс, Лесли, и ее старший брат Гарольд.

Умерли многие из «пауков-затворников», включая трех прототипов персонажей в рассказах «черных вдовцов»: Гилберт Кэнт, Лин Картер и Джон Д. Кларк. Умерли многие из «Угощения по-голландски», включая президентов Лоуэлла Томаса и Эрика Слоуна.

Умерло великое множество фантастов моего поколения — от Сирила Корнблата в 1950-х до Альфреда Бестера в 1980-х. В детективном братстве скончались двое моих друзей — Стэнли Эллин и Фред Данней (Эллери Куин).

Бенеш Гоффман, физик, всегда сидевший по левую руку от меня на банкетах «Добровольцев Бейкер-стрит», умер в 1986-м. Роберт Л. Фиш, автор детективов, всегда сидевший справа, умер еще раньше. Дэвид Форд, актер, подбросивший задумку первого рассказа «черных вдовцов», умер в 1982-м.

Ллойд Рот, один из моих близких друзей в

давние времена аспирантуры, посоветовавший мне Чарльза Доусона, умер в 1986-м от болезни Альцгеймера.

Однажды на ток-шоу со звонками радиослушателей мне задали вопрос:

— Вы помните Эла Хейкина?

— Конечно, — сказал я. — Он работал со мной на NAES в начале 1940-х. Как он?

— Умер, — раздался равнодушный ответ, и я потерял самообладание в прямом эфире. Он умер в ноябре 1986-го.

Артур Томас, профессор, принявший меня под крыло, когда я просил о разрешении вести исследования для получения докторской степени, умер в 1982-м в девяносто два года. Луис П. Хэммет, преподававший мне физическую химию в 1939-м, — в последний год, когда я демонстрировал успешную успеваемость, — умер в 1987-м, в девяносто два.

Ричард Уилсон, один из старших футурианцев, умер в 1987-м в шестьдесят шесть. Би Махаффи, для которой я в 1952-м написал рассказ «Эверест» («Everest»), когда приехал к ней в офис в Чикаго, умерла в 1987-м в шестьдесят. Бернард Фонорофф, старый приятель с бостонских времен, умер в 1987-м в шестьдесят семь.

Уильям Бойд, который и привел меня в школу медицины, умер в 1983-м, а его первая жена Лайл (тоже большой мой друг) — еще раньше. Мэттью Дероу, другой коллега по школе, умер в 1987-м в семьдесят восемь. Льюис Рорбах, сменивший Честера Кифера на посту главы школы медицины и с кем я поддерживал дружественные отношения, умер в 1989-м в восемьдесят один.

И так без конца. Я все более и более страстно держался за сокращающуюся группку старых друзей: за Спрэга де Кампа, Лестера дель Рея и Фреда Пола — из фантастического братства; за Фреда Уиппла — из Бостона; и так далее.

Спору нет, наступали сумерки, собирались — и сгущались — тени.

163. Дни наши – семьдесят лет

Эти мои мрачные выводы, эти печальные мысли о смерти, бренности и грядущем конце — все это не только итоги философских размышлений и горького опыта, обретенного с годами. Причина более конкретна. Ухудшалось мое здоровье.

Плохим бы я был «отрицателем», если бы это признал, и можете не сомневаться — я ничего и не признавал. Все лето и осень 1989-го я упрямо двигался по выбранному курсу, притворяясь, будто не чувствую тяжесть своих лет.

Мы с Джанет в четвертый раз съездили на мое выступление в Уильямсбург, штат Вирджиния. 19 октября 1989-го мне выпало невероятное удовольствие от ужинов в двух разных местах: в одном я ел кролика, в другом — оленину, и оба блюда были совершенно божественны. Когда я рассказал об этом знакомому, разливаясь в восторгах, мне неодобрительно ответили: «Хочешь сказать, что за один день слопал и Бэмби, и Топотуна?»

15 марта 1989-го я помогал отмечать стопятидесятилетие Бостонского университета. Еще 28 июня 1989-го я выполнил давнее обещание и

выступил с речью в университете Джонса Хопкинса.

Конечно, я продолжал и писать: закончил «Немезиду», «Следующее тысячелетие» и пару книг «Как мы узнали?..». Еще начал «Путь к Основанию» и помог с работой над «Приходом ночи». К тому же усердно трудился над огромной книгой по истории.

И все же на протяжении лета и осени я ощущал необъяснимую и растущую утомляемость. Ходил я медленно, с трудом. Люди время от времени отмечали снижение моей жизнерадостности, и я стыдливо пытался наверстать, но получалось все натужнее.

Более того, я из раза в раз ловил себя на том, как приятно было бы просто прилечь и задремать: тихо погрузиться в сон и уже не просыпаться. Такие мысли мне настолько не свойственны, что всякий раз я отгонял их в ужасе. Даже в двойном ужасе, поскольку не мог не задуматься, во-первых, как отреагируют Джанет и Робин, и, во-вторых, — осознавая это со все большим смятением, — что оставлю незаконченный труд.

Но эта мысль все возвращалась и возвращалась.

И все же в дневник не проникло ни слова о

нарастающей усталости. Я отказывался открыто признавать, что она существует. И все-таки не мог отрицать чего-то неладного, ведь это проявлялось физически, а не только в виде какого-нибудь умудренного цинизма.

Уже 15 марта 1984-го Пол Эссерман заметил, что у меня слегка опухли щиколотки. Началась задержка жидкости, и он посоветовал время от времени принимать мочегонные, чтобы вывести ее излишки.

Задержка жидкости — обычное проявления старости, и Пол не забеспокоился. Я-то, конечно, злился, ведь мне ненавистна сама мысль о том, что мой телесный механизм не работает как часы. Более того, я сопротивлялся необходимости принимать мочегонные, потому что не хотел позориться из-за внезапного желания помочиться и необходимости спешить в уборную.

После шунтирования прошло всего три месяца, и я еще не знал (тогда этого, скорее всего, не знал и Пол), что аппарат искусственного кровообращения повредил мои почки и они уже не работали в полную силу.

Джанет проследила, чтобы я принимал мочегонные (она всегда на стороне врачей и никогда не понимала, что, будучи преданной женой,

должна бы сплотиться со мной против них). Это избавило меня от задержки жидкости — по крайней мере, на какое-то время.

Затем в Ренсселервилле в 1987-м мне вдруг стало хуже. Узнав, что Иззи Адлеру поставили диагноз «рак простаты», я погрузился в отчаяние и боролся с депрессией едой, то есть, как всегда, неразумно объедался.

Более того, меня не заботило, что еда была соленой. Я даже предпочитал соленое. Мне нравится вкус соли. Обожаю анчоусы, копченого лосося, селедку, бекон и все прочее вкусное и соленое. Если что-то было вкусное, но не соленое, я солил — причем щедрой рукой.

Джанет сражалась со мной. Вся ее семья страдала от повышенного давления, и ей приходилось избегать соли, потому что она повышает давление. А у меня, хоть врачи замеряли мне давление каждый раз, когда оказывались на расстоянии тонометра, такая тенденция не наблюдалась.

Поэтому, когда Джанет возмущалась, я свысока отвечал, что давление — не моя беда, а значит, я не собираюсь отказываться от соли. Чего я не знал — и о чем узнал вскоре после поездки в Ренсселервил в 1987-м, — так это что соль усиливает задержку жидкости.

Домой я вернулся с тремя килограммами лишнего веса и с заметно опухшими ногами. И вот это отрицать уже не получалось, потому что в Ренсселервиле я с трудом поднимался по склону от столовой в спальный корпус, хотя раньше я справлялся с легкостью.

Пол Эссерман прописал мне сильный курс мочегонных и жестко заявил: диета без соли до конца жизни.

Эта горькая мысль угнетала и ожесточала меня. Джанет воодушевленно отдалась готовке без соли — в конце концов, она все равно готовила себе именно так, — и как никогда следила за моими блюдами в ресторанах. Я смирился, но, уж поверьте, без криков радости.

Теперь задержка жидкости и некоторые показатели в химии крови (например, высокий уровень креатинина) четко дали понять, что мои почки не справляются, и тогда, 24 августа 1987-го, я познакомился с новым врачом. Это был уролог (или, если по-английски, «специалист по почкам») Джером Ловенштейн. Очень приятный господин с тонким лицом и седыми волосами, и мне он сразу понравился, не считая того, что он повторил приказ «никакой соли».

Благодаря обильным возлияниям мочегонных

я смог исправить задержку жидкости, начавшуюся в Ренсселервилле, но проблема не исчезала. А наоборот, приближалась к кульминации в 1989-м.

У меня начались дни, которые я называл в дневнике «отключением». К примеру, 17 ноября 1989-го я большую часть дня провалялся в постели. Я во всем винил череду почти бессонных ночей. Конечно, тут тоже может быть связь. Только дело не в том, что я просто ленился целый день, а в том, что меня из-за этого не заела совесть. Во время «отключения» я не злился, что валяюсь в постели, — напротив, мне там нравилось и совсем не тянуло вставать.

Но я все-таки заставлял себя шевелиться. Ездил на Лонг-Айленд, чтобы помочь Стэну и Рут справить День благодарения. (Естественно, пошел снег — единственный серьезный снегопад за всю зиму.) 4 декабря мы с Джанет ужинали в «Пикок-Элли» с Фредом Полом. Фред писал книгу об экологии и зазывал меня в соавторы. Я сказал, что присоединюсь с радостью, но это оказался мой последний нормальный день за полгода.

6 декабря я запланировал трехчасовое мероприятие из лекции, вопросов читателей и затем автограф-сессии, но справился с огромным тру-

дом. Впервые за много лет мне не понравилось мое выступление. Закончив, я поспешил домой, изнемогая от усталости, пока Джанет кипела от злости, что я подверг себя трехчасовой работе. Я и сам думал, что откусил больше, чем теперь в силах прожевать.

На следующий день произошло отключение, а потом еще несколько дней я еле волочил ноги. Усталость, с которой я боролся месяцами, наконец взяла верх, и мне даже пришлось написать о ней в дневнике. 13 декабря я записал: «У меня нет сил. Это проблема».

На самом деле это был симптом. А проблему я бы не признал, даже если бы знал о ней.

Запись в дневнике от 14 декабря состоит всего из одного слова: «Болен!»

Пол даже приходил два раза для осмотров к нам домой, и меня это тронуло. Врачи больше не приходят на дом, и для меня это стало важным доказательством, что Пол считает себя не только моим врачом, но и моим другом. (На самом деле он бесконечно предан своей профессии, как и Питер Пастернак. Мне очень повезло, что обо мне заботятся два таких специалиста, хоть я и стараюсь им этого не показывать, потому что люблю на них прикрикнуть.)

Я провел три недели, не вставая с кровати и забросив работу. Конечно, не до конца. Я смог следить за почтой, отвечая только на те письма, на которые ответить нужно было обязательно. Еще писал колонку для The Los Angeles Times». Но работа над книгой по истории застопорилась. И я не сумел внести последние штрихи в «Следующее тысячелетие» или две книги «Как мы узнали?..». Вовсе не смог написать тридцать вторую и последнюю книгу в серии Гарета Стивенса об астрономии. 17, 18 и 19 декабря даже нет записей в моем дневнике.

Время от времени я заставлял себя подняться на ноги по особому поводу. 20 декабря лимузин отвез нас с Джанет в ресторан в центре на ужин с Лу Ароникой из Bantam Books и еще парой человек из Doubleday. Речь шла о планах Doubleday и Bantam выпустить полное переплетенное собрание моих художественных сочинений — романы и рассказы, фантастику и детективы — в едином оформлении.

Это чудесная идея, я был рад и польщен, но еще меня не отпускало слабое ощущение (о котором я не сказал вслух), что обычно подобное собрание выпускают посмертно. Возможно, они, как всякие хорошие бизнесмены, готовились к будущему?

Если и так, я их не винил, — я и сам готовился к будущему. Весь тот печальный декабрь я думал: «Я так близко, так близок, но все же не дотяну до семидесяти».

В тот месяц это стало чуть ли не навязчивой мыслью. Я думал, что умираю, и в припадке злости горько пожаловался Джанет на судьбу, что не дает дожить до волшебного возраста в семьдесят лет.

Что такого волшебного в семидесяти? Загвоздка в том, что про семьдесят лет сказано в Псалтыре, 89:10.

В таком авторитетном источнике, как Библия, это считалось нормальным сроком человеческой жизни. Вообще-то это не так. Средний срок у большей части населения не доходил до семидесяти лет, пока не наступила вторая половина двадцатого столетия. Мы можем столько прожить лишь с современными медициной и наукой. Но в Библии сказано «семьдесят» — и это стало волшебным числом.

Я сравнительно рано в жизни умудрился вбить себе в голову, что умереть после семидесяти — не позорно, но раньше — это уже «преждевременно» и показывает уровень интеллекта и характер человека.

Абсурд, конечно; совершенно иррационально.

И все же я дожил до шестидесяти после приступа, когда сам в это не верил. Затем дожил до шестидесяти пяти, хотя перед тройным шунтированием в это не верил. А теперь было рукой подать до семидесяти, и я думал: «Не дотяну». (Это напоминало 1945-й, когда я стремился к двадцати шести наперегонки с призывом в армию — и не успел.)

Джанет отчаянно пыталась меня утешить. Она сказала:

— Ты сам часто повторял, что 2 января — ненастоящая дата рождения, которую тебе дали при выезде из России, и вполне возможно, что ты родился на два-три месяца раньше. Значит, на самом деле тебе больше семидесяти.

Но на меня это не действовало.

— Мой официальный день рождения — 2 января, — отрезал я. — Если умру раньше, в некрологе The New York Times будет сказано: «Айзек Азимов, 69», а это неприемлемо. Я хочу по самой меньшей мере «Айзек Азимов, 70».

И все же я держался. В Рождество мы с Джанет и Робин пошли к Лесли Беннеттс, чтобы отметить праздник и полюбоваться ее десятимесячным малышом. А на следующий день я впервые за три

недели посетил Doubleday.

Но передвигался я с трудом, ноги чудовищно отекали. У меня началось то, что в былые деньки называли «водянкой», — мои ноги напоминали стволы деревьев. Я не мог натянуть туфли и ходил в тапочках, но все равно испытывал неудобство.

Услышав об этом, Робин заволновалась и потребовала, чтобы я сходил к кардиологу. Поработав в больнице, она стала чаще задумываться о здоровье, и теперь меня без конца пилили уже и Джанет, и Робин.

Но я послушал дочь и 27 декабря встретился с Питером Пастернаком в его кабинете в Университетской больнице. Он послушал мое сердце и сказал:

— У тебя шумы.

— Знаю, — сказал я. — Скорее всего, это врожденное.

Я рассказал, что на медкомиссии для армии в 1945-м, сорок пять лет назад, врачи говорили, что у меня шумы, но этого не хватило, чтобы признать меня негодным к службе.

Пастернак покачал головой.

— Мы не можем так легко закрыть на это глаза, — сказал он. — Учитывая отечность, нужно разобраться, что это за шумы, потому что в них

может быть причина всех проблем.

Так и началась череда анализов.

Наконец пришло 2 января 1990 года, и мне все-таки исполнилось семьдесят — официально. Мы с Джанет и Робин устроили праздничный ужин в нашем китайском ресторане уткой по-пекински. Точнее, праздновали скорее они. Я съел совсем чуточку, потому что утка соленая, поэтому тот день рождения не назовешь счастливым, хоть я и чувствовал огромное облегчение от того, что до него дожил. Не полегчало и при виде открыток со всего света, хором желавших «счастливого и здорового семидесятилетия».

У меня не было ни счастья, ни здоровья, поскольку, несмотря на ежедневную дозу мочегонных, отечность не проходила, а Питер требовал все новых анализов.

164. Больница

За несколько месяцев до того я договорился выступить перед гостями в Mohonk в первые выходные января. Ехать не хотелось, но обещание есть обещание. Мы спросили Питера, и он сказал, что можно рискнуть, поэтому мы уговорили Mohonk прислать за нами лимузин и отправились в путь.

Я выступил в «Мохонке» вечером 5 января 1990-го, и, к моему невероятному удовольствию, все прошло хорошо и мне понравилось. Это четко говорило: может, я и болен, но еще не умер. Уже седьмого мы были дома, и я сразу упал в постель без сил.

9 января я обошел свои издательства и заодно впервые за месяц провел собрание «Угощения по-голландски». Но я был так заметно изможден, так заметно болен, что ужасно напугал Джилл в Doubleday и Шейлу в журнале. Товарищи по «Угощению по-голландски» тоже явно переживали.

Но я отказывался проходить новые диагностические тесты и принял твердое решение.

11 января 1990-го я по собственной воле пришел

к Полу Эссерману. И чуть ли не в слезах произнес длинную прочувствованную речь, суть которой — не нужны мне больше тесты, не нужна госпитализация, ничего не нужно. Я просто хочу умереть с миром, хочу, чтобы меня не отфутболивали друг к другу врачи, проводя свои эксперименты и применяя все более героические усилия, чтобы поддерживать во мне жизнь.

Мне семьдесят, сказал я, умирать уже нестыдно. Я накопил немалое состояние, которое мне самому ни к чему и которое пойдет на содержание жены и детей после моей смерти, и мне не хотелось его растрачивать лишь ради привилегии влачить жалкое существование. Закончил я на том, что только Пол может мне в этом помочь.

Пол все внимательно и молча выслушал. Когда я закончил, он позвонил в Университетскую больницу и договорился о частной палате в отделении для пациентов со страховкой, и к ужину я уже лежал там.

Позже я спросил его, зачем он так поступил, если я только что мучительных полчаса умолял его этого не делать. А он ответил: «Ну, может, ты и готов умереть, но я еще не готов тебя отпускать».

Первой задачей в больнице (где со мной по очереди дежурили Джанет и Робин) стало из-

бавиться от отечности, а для этого надо было вводить мочегонное внутривенно. Мне поставили так называемый гепариновый замок, чтобы вещество поступало в вену на руке по желанию.

Я смотрел на это пессимистично. Без толку, бормотал я. Я обречен на смерть, а они лишь продлевают мои мучения.

Но я ошибался. Внутривенное мочегонное сотворило чудо. В больнице я избавился от восьми литров жидкости, ноги пришли в норму. Я так долго смотрел на эти древесные стволы, что не мог поверить глазам теперь, когда они стали похожи на палки. Было страшно переносить на них вес.

Тогда же в левой ноге (из нее взяли вену для шунтирования, и поэтому она осталась уязвимей для инфекции) начался целлюлит — бактериальное воспаление кожи, которое более вероятно, если кожа уже растянута отеком. Приходилось все время держать левую ногу как можно выше и принимать антибиотики против инфекции. Она тоже прошла.

Главная проблема случилась 16 января, на шестой день в больнице. В Doubleday уже несколько месяцев планировали отметить мое семидесятилетие и сорок лет с издания моей первой

книги «Камешек в небе». Торжество проводили в «Таверне на лугу» и, к моему ужасу, требовался официальный стиль одежды. Я настоял, чтобы это оставили на усмотрение гостей, но, понятное дело, мне-то все-таки пришлось бы лезть в смокинг.

И вот тот день настал, а я лежал в больнице. Но я просто не мог разочаровать сотни людей, поэтому подбил Пола мне помочь. Он согласился никому об этом не рассказывать и сходить со мной, чтобы присмотреть. Затем Джанет «позаимствовала» инвалидную коляску и в три часа дня выкатила меня из больницы, пока никто не видел. Из Doublebay за мной прислали лимузин, доставивший нас в квартиру. Я натянул смокинг, а затем лимузин отвез нас через квартал в «Таверну на лугу», где ждали все мои коллеги из разных издательств, приятели из «Угощения по-голландски» и «Пауков-затворников», все друзья и соседи, близкие и далекие.

Начался прием. Я всех радостно приветствовал, не вставая с коляски и положив левую ногу на стул перед собой. Я отказывался ото всех угощений (слишком соленые) и обходился одним апельсиновым соком. Нэнси Эванс, на то время президент Doubleday, душевно представила меня

публике, и я приступил к речи.

Я рассказал о прошлых столкновениях со смертью, в подробностях описал свою фантазию насчет «Добровольцев Бейкер-стрит» во время шунтирования и приступ разочарования из-за того, что я выжил и не дождусь аплодисментов, которыми бы удостоили покойника.

Естественно, все бешено аплодировали и смеялись, а единственный негативный комментарий поступил от Робин, которая подошла ко мне в слезах и сердито пожаловалась из-за речи. Я ответил:

— Но, Робин, ведь было смешно. Все смеялись.

— А я — нет, — сказала она. — Может, тебе и смешно рассказывать о смерти, потому что ты ненормальный, но мне это несмешно.

Ну, остальные-то смеялись!

К девяти часам я уже вернулся в палату, чувствуя, что все прошло идеально и в больнице никто и ничего не узнает.

Но о приеме знали в The New York Times. Об этом написали на следующий же день, и в больнице видели газету, так что меня отчитали медсестры. Позвонил Лестер дель Рей (который сам не смог прийти по состоянию здоровья) и устроил нагоняй за то, что я рисковал жизнью. Ответить я мог

только одно: «Лестер! Я и не думал, что ты из-за меня так переживаешь!» — но это не помогло его успокоить.

Но больше всего меня беспокоил вопрос колонки. Пора было ее писать, и я бы смог это сделать, только если выбрть тему, для которой не потребуются первоисточники, написать текст от руки, а потом позвонить в The Los Angeles Times и начитать на автоответчик.

Так я и сделал, но, позвонив, наткнулся на девушку, которая, как только я представился, заявила: «Ах вы негодник! Зачем вы сбежали из больницы?»

Я чуть ли не приуныл. Нельзя даже невинную шалость устроить без того, чтобы об этом не прознал весь мир.

Значит, я не смог бы это повторить. Через несколько дней праздновалось шестидесятилетие Analog, поскольку журнал, изначально носивший название Astounding Stories of Superscience, впервые вышел в начале 1930-го. Я уже согласился прийти и произнести большую речь, но теперь не мог. В день праздника я грустно сидел за обедом и клял судьбу.

Тем временем мне наконец поставили диагноз. Меня чуть ли не до смерти замучили катетерами,

компьютерной томографией и ультразвуком, и выяснилось, что шумы в сердце, — связанные, видимо, со врожденной слабостью митрального клапана, — ухудшились в 1989-м. Клапан сдал, началась протечка. В результате кровь не могла успешно дойти от правого ушка предсердия к правому желудочку и происходила регургитация. Это сокращало поступление крови к легким, вот почему я так легко выбивался из дыхания. А главное, сил сердца не хватало, чтобы помогать ослабшим почкам выводить жидкость из организма.

Далее: существовала возможность, что недостаточность митрального клапана объясняется инфекцией. В таком случае его нужно заменять. А значит, мне снова придется вскрывать грудь, точно как на шунтировании, и снова придется класть меня в аппарат искуственного кровообращения. Операция простая, заверили меня. (Бобу Циклину, моему хорошему другу и адвокату, сердечный клапан меняли три раза, в первый раз — в довольно примитивных условиях, и все три раза он перенес без труда.)

Наконец меня выписали из больницы 26 января 1990-го, спустя пятнадцать дней после приема. Однако предупредили о необходимости сдать но-

вые анализы, чтобы определить, действительно ли клапан инфицирован. 2 февраля мне позвонил Питер. Хоть результаты всех анализов показали, что бактериальной инфекции нет, рисковать в больнице не собирались. На следующий день мне придется вернуться и пройти курс внутривенных антибиотиков.

Так 3 февраля я вернулся в больницу — на этот раз в частную палату в обычном отделении, — и провел там четыре недели. Другими словами, вся зима 1989–1990-х прошла либо в больнице, либо дома в постели, либо пока я очень больным ползал по делам.

Тоскливая зима. Я четыре недели пролежал под внутривенной капельницей. Дважды в день в течение часа-двух вещество поступало через замок в вену.

Затем 15 февраля врачи пришли с новостями. Ввиду того что инфекция не обнаружена, они решили не подвергать меня операции и не рисковать новыми повреждениями почек из-за аппарата искуственного кровообращения. Поэтому мне не станут проводить операцию по замене митрального клапана. Сказали, что с регургитацией можно жить, меня это ни за что внезапно не убьет. В самом худшем случае клапан ослабнет

еще больше, симптомы станут сильнее — и уже тогда меня положат на операцию.

Так, 3 марта я вернулся домой, чтобы возобновить обычную жизнь — с протекающим клапаном и барахлящими почками. Врачи предостерегли от тяжелых нагрузок, но согласились, что писательство (даже в моих объемах) — не физическая нагрузка, и я могу продолжать.

165. Новая автобиография

Зима болезни вызвала множество нежеланных осложнений. Накопилась целая гора почты. Джанет каждый день носила важные письма в больницу, и кое с чем я разбирался там. Но большую часть дел пришлось отложить до возвращения, когда, казалось, уже вся двухкомнатная квартира забита доверху конвертами и посылками. Понемногу я разобрал все.

Я даже переделал статью об автомобилях будущего. Меня лишь жалобно просили о небольшой правке, но в больнице я ее сделать не мог.

К счастью, я, как правило, настолько опережаю сроки сдачи статей в F&SF и редакторской колонки в своем журнале, что даже три месяца бездействия не вызвали затруднений. Когда тяжелая зима закончилась, я по-прежнему укладывался в сроки, а уже скоро начал писать с опережением.

А вот колонка для The Los Angeles Times — дело другое. Она обязательно должна быть связана с какой-либо новостью, поэтому с ней не получалось опережать срок больше чем на неделю. Я

был вынужден послать письмо о том, что не смогу вести колонку, пока не выпишусь из больницы, и что, возможно, после трех лет бесперебойной работы я все же заслужил отпуск по болезни.

«Ну конечно», — сказали они — и заполнили четыре пропущенных колонки перепечатками моих же старых текстов. Это было очень любезно, потому что обычные читатели газеты не забыли о моем существовании. Я быстро черкнул новое письмо о том, что не прошу платы за повторы статей, раз уж не вложил в них труда.

Но они, такое ощущение, консультировались с Doubleday, потому что тут же прислали ответ: «Не говори глупостей, Айзек». И оплатили их полностью.

Мне пришлось совсем отменить три выступления и — особенный позор — впервые в жизни опоздать с налоговой отсрочкой на доходы. Мои бухгалтеры попросили отсрочку, но мне казалось, что причина у меня уважительная.

Могу, кстати, добавить, что Джанет все это время была истинным ангелом-хранителем: приходила каждый день, почти каждую ночь оставалась со мной, приносила почту и все, что потребуется, всегда держалась оптимистично и весело. Сносила долгие часы моей сварливости и

утешала меня.

Периодически заглядывала Робин, чтобы сменить Джанет и отпустить ее домой спокойно выспаться. Еще меня навещала Дженнифер. Я изо всех сил старался их отговаривать, потому что мне было стыдно сбивать чужой график только ради того, чтобы они навестили старую развалину. Однако приходили и Стэн с Рут, и мой адвокат Дон Левенталь, и мой брокер Роберт Уорник, и остальные друзья. Марти Гринберг приходил дважды и звонил каждый вечер.

И, конечно, рядом все время присутствовали врачи — Пол Эссерман, Питер Пастернак, Джерри Ловенштейн и армия других. Приходили медсестры, чтобы померить давление, дать таблетки и поставить капельницы с антибиотиками. Приходил технический персонал, чтобы протереть полы, принести еду и сменить воду.

Это был не покой, а натуральный дурдом, и всю эту активность я не одобрял (не считая еды).

Лежа под капельницей с антибиотиками, я не мог ничего, кроме как смотреть телевизор. И смотреть пришлось то, что в здравом уме я бы и в одном доме с собой включать не разрешил, а то и в городе, если возможно. И все же я смотрел жадно, поскольку так было проще коротать

невыносимо тянувшиеся часы.

Но я не только терял время впустую: 26 января 1990-го Джанет сказала мне приступать к третьему тому автобиографии.

Как тут не улыбнуться. Она не теряла бешеного оптимизма в течение всей моей болезни, пытаясь убедить меня, что я, если только захочу, буду жить вечно. Впрочем, по-моему, в глубине души Джанет считала, что мне стоит поторопиться, поскольку писать придется наперегонки со смертью. На этот счет я промолчал — не хотел ее расстраивать, — но сказал:

— С моей прошлой автобиографии прошло всего двенадцать лет, и с тех пор моя жизнь стала еще скучнее, если это вообще возможно. Я могу только сказать, что написал то, а потом — это; произнес речь тут, а потом — там. Единственные события — мое тройное шунтирование и нынешняя болезнь, а это довольно тяжелое чтение.

— Не рассказывай хронологически, — ответила она. — Будь субъективным. Расскажи о своих мыслях.

— И все равно это лишь двенадцать лет, — сказал я.

— Начни сначала. Расскажи обо всей своей жизни, но не вдавайся в нескончаемые подробности.

Описывай широкими мазками и приводи свои впечатления. В конце концов, многие не читали и первые два тома, а если и читали, им будет интересно, если ты подашь все то же самое иначе.

Я в это не верил. Я никакой не глубокомысленный философ и не могу убедить себя, будто кто-то умирает от желания услышать мои мысли. Впрочем, я знаю, что у меня приятный стиль и есть люди, читающие все, что у меня публикуется. И еще было ощущение, что я действительно буду писать наперегонки со смертью. И, как всегда, хотелось порадовать Джанет.

И я тут же начал книгу, и уже через несколько страниц она меня захватила. (Как скажет любой, кто меня читает, моя любимая тема — это я сам.) Я дошел до 105-й страницы, когда меня вызвали в больницу на второй дубль, и пришлось с сожалением оставить книгу, гадая, получится ли вообще ее закончить.

В больницу я, конечно же, прихватил стопку блокнотов и несколько ручек на случай, если от безделья зачешутся руки. Так, разумеется, и случилось — сразу же.

И я начал строчить в блокнотах. Уже через несколько дней закончил новый рассказ «черных вдовцов» «Дом с привидениями» («The Haunted

Cabin») и углубился в рассказ об Азазеле. (В «Доме с привидениями» рассказывается о том, что действительно случилось со мной во время первой госпитализации. Я уже продал рассказ в EQMM.)

9 февраля Джанет пришла, увидела, как я пишу, и спросила, что именно. Я ответил.

— Зачем ты это пишешь? — спросила она. — Почему не пишешь автобиографию?

— Мне ведь нужны первые два тома и дневники, чтобы выстроить все в хронологическом порядке, — сказал я.

— Я же тебе сказала: не нужен тебе никакой строгий хронологический порядок, — ответила Джанет. — Пиши о том, что приходит в голову, под разными заголовками, а когда придется время готовить финальную версию, всегда сможешь расставить их в каком захочешь порядке.

И она, конечно, оказалось полностью права. Я же писал по темам, а не по дням, и мог тасовать их как вздумается. Тогда я начал радостно работать днями напролет, если только мне не ставили капельницу или не приходилось встречать посетителей — врачей, медсестер, санитаров, родных или друзей. Когда Джанет не оставалась со мной на ночь, я просыпался в 5 утра (мое обычное время), включал свет и быстро начинал писать.

До завтрака оставалось всего три часа, и они казались лучшим временем дня — меня отвлекали только тем, что меряли давление, брали кровь на анализ и давали таблетки (плюс приходил Пол).

Перед выпиской я уже имел на руках больше 250 длинных страниц довольно убористым почерком. Это не только помогло не сойти с ума, но и вызвало жизнерадостное и благодушное настроение.

Меня раздражало лишь одно: все, кто заставал меня за работой, спрашивали, что я делаю, а когда я объяснял, неизменно уговаривали купить портативный компьютер. Я отвечал (и к десятому человеку — уже с немалым раздражением), что мне нравится строчить от руки, но вряд ли кто-то поверил.

Выписавшись, я продолжил упорно трудиться над автобиографией. Если это и правда гонки со смертью, то, похоже, я выигрываю, потому что рассчитываю закончить книгу сегодня же, 28 мая 1990-го, всего через четыре месяца после того, как начал. Еще не помешают финальные штрихи, но в общем и целом надеюсь сдать ее в Doubleday через неделю-другую.

Получилось подлиннее, чем меня просили (ну, на 50 процентов), но должно уместиться в один

том — и я сделаю все в своих силах, чтобы книгу редактировали только косметически.

166. Новая жизнь

На самом деле вернулся я не к новой жизни, потому что изо всех сил постараюсь сделать ее такой же, как старая. Но она новая в том смысле, что значительно изменилась — и, пожалуй, к худшему. Я уже восьмидесятилетний старик с протекающим сердечным клапаном и барахлящими почками.

Я все еще не могу ходить далеко или быстро, не остановившись перевести дух, и устаю быстрее, чем хотелось бы. И все-таки это жизнь, я держусь.

Вдобавок к работе над этой книгой веду разные колонки. Перечитал рукописи, до которых не доходили руки во время болезни. Вернулся к еженедельным обходам издателей, а когда 6 марта 1990 года вошел в клуб «Угощение по-голландски», чтобы снова приступить к своим обязанностям ведущего, меня встретили громкими аплодисментами. (Каждый вторник, пока я лежал в больнице, было солнечно. 6 марта, естественно, повалил снег.)

Позже в том же месяце я подготовил новый

сборник статей из F&SF под названием «Тайна Вселенной» («The Secret of the Universe»).

Мы с Джанет даже чаще обычного ходим в театр, и мне особенно понравились новые постановки — «Соперники» Шеридана и «Опера нищих» Гея.

6 апреля 1990 года я впервые после болезни выступил за пределами Нью-Йорка. Я произнес речь в колледже Уильяма Патерсона в Уэйне, штат Нью-Джерси, причем очень удачно. 2 мая меня еще воодушевленней встретила публика в зале со стоячими местами Лехайского университета в Бетлехеме, штат Пенсильвания.

20 апреля я пришел на собрание Общества Гилберта и Салливана, а также написал новый фантастический рассказ «Братишка» («Kid Brother») и продал IASFM.

7 мая я провел ежегодный банкет клуба «Угощение по-голландски», где почетным гостем был Виктор Борге. Это лучший банкет на моей памяти, все остались в восторге. На следующий день я пришел на одиннадцатый ежегодный ужин Хью Даунса.

15 мая я выступил в клубе «Плеерс» с речью о Гилберте и Салливане и представил пять их песен, а 18 мая наконец впервые за полгода попал

на встречу «Пауков-затворников».

Да, новую жизнь я веду прямо как и старую. Все так же занят и делаю все то же, что и всегда (только не ем все подряд), но не тешу себя иллюзией, будто это навсегда. Сумерки по-прежнему сгущаются.

10 мая 1990 года позвонил и справился о моем здоровье Ред Дембнер, который издал мои книжки-викторины и которого я принял в члены «Угощения по-голландски». Из-за издательской работы он посещал клуб нерегулярно и какое-то время меня не видел.

Я заверил, что со мной все сравнительно хорошо, и он сказал:

— Очень рад это слышать. Ты занимаешь в моем сердце особый уголок, Айзек. Давай пообедаем вместе.

— Обязательно, но я знаю, что у тебя очень плотный график, — ответил я. — Выбери удобный тебе день, Ред, позвони — и поужинаем.

Этот день так и не настал. 14 мая Ред умер от инфаркта. Насколько я знаю, это случилось внезапно, без ранних симптомов. Ему было шестьдесят девять лет.

Придет и мой черед, но я прожил хорошую жизнь и достиг всего, чего хотел, и даже больше,

чем был вправе ожидать.

Поэтому я готов.

Но не очень-то готов. 26 мая 1990 года я объявлял на обеде Корлисса Ламонта, великого сторонника гуманизма. Ему восемьдесят восемь, и физически он слаб, но все же простоял на ногах сорок пять минут и произнес превосходную импровизированную речь. Очевидно, его разум в полном расцвете сил.

Вот и я не теряю надежд.

Эпилог
Джанет Азимов

Одно из глубочайших желаний человека — чтобы его знали и понимали. Гамлет велит Горацио рассказать его историю. Ребенок просит рассказать ему сказку и больше всего радуется, когда узнает в персонаже себя.

Айзек говорит в этой автобиографии, будто ее велела написать я, но факт остается фактом: он сам этого хотел — хотел поделиться историей жизни с читателями так, как не поделился в первых двух автобиографиях, более подробных, более точных хронологически, но не таких рефлексивных.

В мае 1990 года Айзек закончил эту работу с надеждой, хотя и понимал, что жить ему осталось недолго. Надеялся он еще на несколько лет, но сердце и почки его подвели, и он скончался 6 апреля 1992 года.

Айзек хотел, чтобы автобиографию издали немедленно и он бы успел ее увидеть, но не получилось. Еще он говорил, что хотел организовать книгу именно так — по «сценам», записанным по

мере возникновения в памяти.

После его смерти редактуру рукописи взяла на себя я. Издатель хотел ее значительно сократить, но, по-моему, книга должна быть такой, как хотел Айзек.

Рукопись заканчивается на мае 1990 года, и кажется, будто Айзек уверен, что читатель скоро ее увидит. Я добавила этот эпилог, чтобы вкратце рассказать читателям, что успело произойти после.

В его дневнике 1990 года сказано, что 30 мая он закончил печатать последнюю версию автобиографии. Он пишет: «Все готово к сдаче — через 125 дней после начала. Немногие напишут за такое время 235 тысяч слов, распыляясь при этом и на другие дела».

На следующий день мы поехали в Вашингтон на обед в советском посольстве. Какое-то время Айзек из-за поездки думал, что оправился от болезни и вернулся к жизни. Особенно он радовался встрече с Горбачевым, потому что конец холодной войны подарил миру надежду. Айзек всей душой верил, что человечество должно сплотиться ради общего блага.

Остальной 1990-й: на музыкальной неделе в Mohonk Айзек выступил с речью о Гилберте и

Салливане. Вдобавок ко вступительной речи на своем последнем «семинаре Азимова» в институте Ренсселера он исполнил и объяснил все куплеты «Знамени, усыпанного звездами»». Были и другие встречи, конвенции и выступления, он даже раздавал автографы на уличной книжной ярмарке на Пятой авеню.

Несмотря на растущую слабость, писал он каждый день. В конце 1990-го он с удовольствием узнал, что это его самый финансово успешный год.

Айзек переживал из-за здоровья — как своего, так и дочери с братом. Впервые и с заметной горечью упомянул в дневнике о депрессии и ухудшении своего состояния. Внешне он старался этого не показывать, чтобы никого не расстраивать, шутил и источал очарование, как всегда.

2 января 1991 года он написал в дневнике: «Дожил. Сегодня мне 71… Меня поздравили с днем рождения в мультфильме «Гарфилд»… небось, теперь обо мне узнало больше людей, чем когда-либо!» Потом: «Приезжала Робин, ходили в «Шун-Ли», ели утку по-пекински и оленину. Было чудесно».

Еще в январе 1991-го он начал работу над сборником смешных историй «Азимов снова смеется»

(«Asimov Laughs Again»), и это приподняло ему настроение. 5 апреля, почти ровно за год до смерти, он закончил сборник на странице со словами о том, что мы с ним любили друг друга все тридцать два года.

Страница завершается так: «Боюсь, моя жизнь почти подошла к концу, я не думаю, что проживу еще долго. Но наша любовь остается, и я ни о чем не жалею.

В жизни у меня была Джанет, у меня были дочь Робин, мой сын Дэвид; у меня было множество хороших друзей; у меня было творчество, а также слава с богатством, которые оно мне принесло; и что бы со мной теперь ни случилось, я прожил хорошую жизнь и доволен ею.

Поэтому прошу не переживать обо мне и не жалеть. Я только надеюсь, что эта книга вас хоть немного посмешила».

Закончив работу и отправив «Азимов снова смеется» в HarperCollins, он еще больше замкнулся в себе. Почерк в дневнике становится все хуже, записи — реже и короче. Но он продолжал работать, сколько мог.

Когда стало сложно печатать, он диктовал мне — например, последнюю статью для F&SF Это было пронзительное «Прощайте — прощайте»

(«Farewell — Farewell») всем его «добрым читателям». В ней он сказал: «Моим стремлением всегда было умереть лицом в клавиатуре, с носом между клавишами, но вышло иначе».

Счастливые моменты еще не закончились — он с удовольствием исполнял обязанности президента клуба «Угощение по-голландски» и представлял перед речами таких гостей, как мэр Динкинс. Мы даже еще раз съездили в Mohonk. Одна из последних записей в дневнике — от 3 августа 1991 года: «Начал редакторскую колонку для Asimov's. Она будет вдвое больше, на тему „Основания“».

Не буду вдаваться в подробности о последних месяцах Айзека с нескончаемыми больницами и ухудшением здоровья. И не буду рассказывать о нем на смертном одре — только скажу, что он не мучился: из-за тяжелой почечной недостаточности он впал в апатию, а потом настал покой.

Мы с Робин были рядом, держали его за руки и говорили, что любим его. Его последние слова: «Я тоже вас люблю».

Хочу пересказать то, что рассказывала Харлану Эллисону о последней неделе Айзека дома. Он уже с трудом разговаривал и почти все время спал, но однажды проснулся с ужасно перепуган-

ным видом.

Он сказал мне:

— Я хочу… я хочу…

— Чего, Айзек? — спросила я.

— Я хочу… я хочу…

— Чего ты хочешь, дорогой?

И вдруг из него словно вырвалось:

— Я хочу… Айзек Азимов!

— Да, — сказала я. — Это ты.

И он произнес с удивлением и торжеством:

— Я — Айзек Азимов!

— И теперь Айзек Азимов может отдохнуть, — ответила я.

Он довольно улыбнулся, сказал «хорошо» и снова заснул.

Чувство юмора не оставило его даже под самый конец. Об этом я говорила в речи на похоронах. Робин, Стэн, жена Стэна Рут и я были в палате с Айзеком в день его смерти. Я сказала:

— Айзек, ты самый лучший.

Он улыбнулся и пожал плечами. А потом лукаво приподнял брови и кивнул, и мы все рассмеялись.

Айзек искренне гордился и восхищался своими достижениями. После его смерти я нашла листок, на котором он написал ручкой (видимо, сразу

после того, как заболел):

За 40 лет я в среднем продавал текст каждые десять дней.

За вторые 20 лет я в среднем продавал текст каждые шесть дней.

За 40 лет я в среднем публиковал 1000 слов в день.

За вторые 20 лет я в среднем публиковал 1700 слов в день.

Писать то, что хотелось, — это была его радость, в это время он расслаблялся и забывал о тревогах. Он ворчал, что в последние годы ему пришлось написать так много романов, но даже они пошли на пользу. Особенно тяжело дался «Путь к Основанию», потому что, убивая Гэри Селдона, Айзек убивал сам себя — и все же он преодолел страх.

Он рассказал мне конец «Пути к Основанию»: Гэри Селдон умирает, всюду кружатся уравнения будущего, и он знает, что заглядывает в будущее, которое сам открыл и помог воплотить.

Айзек сказал: «Я не жалею из-за того, что не увижу все возможные варианты будущего. Мне, как и Гэри Селдону, дарит успокоение своя работа. Я знаю, что изучил, вообразил и записал множество возможных вариантов будущего, словно уже в них побывал».

Однажды, когда мы с Айзеком беседовали о старости, болезни и смерти, он сказал, что не так уж страшно заболеть, постареть и умереть, если твоя жизнь была частью общей структуры. Даже если не дожить до старости, это все равно стоит того — все равно есть удовольствие в том, чтобы побывать частичкой структуры жизни, особенно той частичкой, что выражалась в творчестве и была полна любви.

Айзек Азимов